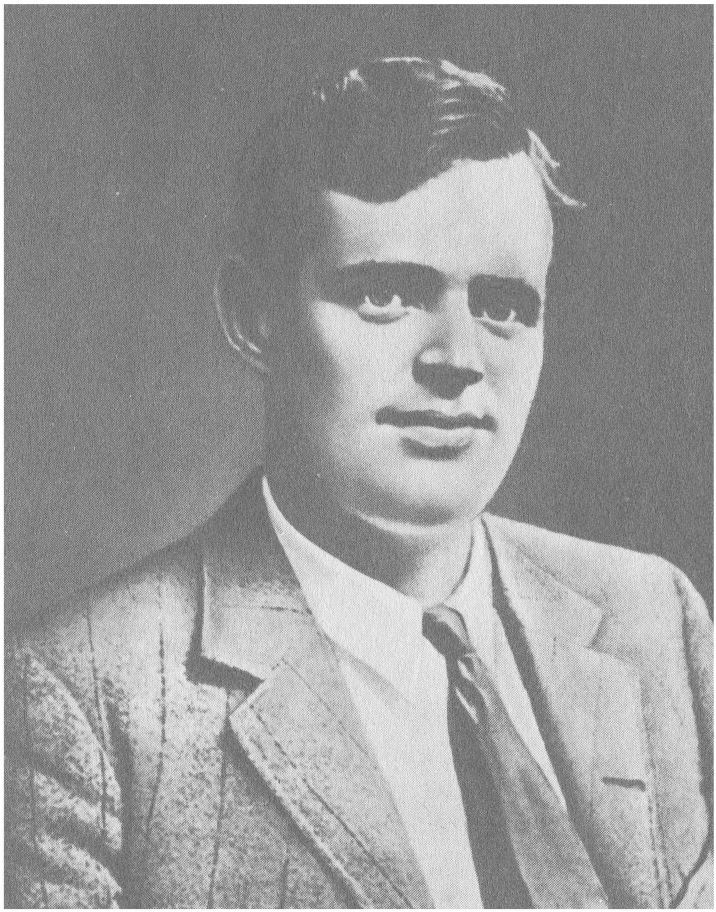
ДЖЕК ЛОНДОН

МАРТИН ИДЕН

РАССКАЗЫ

Scan Kreyder - 08.04.2019 - STERLITAMAK



БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ

* * *

Зарубежная литература

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
БИБЛИОТЕКИ КЛАССИКИ

АНДРЕЕВ Л. Г.
БЕРДНИКОВ Г. П.
ГОЦ Г. С.
ОЗЕРОВ В. М.
ПУЗИКОВ А. И.
СЕВРУК В. Н.
ШМАРИНОВ Д. А.

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

ДЖЕК ЛОНДОН

МАРТИН ИДЕН

РОМАН

РАССКАЗЫ

Перевод
с английского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

ББК 84.7США
Л76

JACK LONDON

Вступительная статья
Г. Злобина

Художник
П. Пинкисевич

Л $\frac{4703000000\text{-}281}{028\,(01)\text{-}86}$ 133-86

© Вступительная статья, оформление. Издательство «Художественная литература», 1986 г.

МЕЧТЫ И СМЕРТЬ МАРТИНА ИДЕНА

Сорок лет, прожитые Джеком Лондоном, точно приходятся на ту эпоху в истории Соединенных Штатов Америки и всего мира, которая превратила эту страну из сравнительно изолированной заатлантической буржуазной республики в ведущую империалистическую державу, а на противоположной стороне земного шара подготовила всемирно-историческую социалистическую революцию. Эпоху богатую, изобилующую радикальными сдвигами в социальной сфере, науке, морали, бурную, чрезвычайно сложную и противоречивую, и ее противоречия не могли не найти отражение в полусотне книг, которые теперь составляют литературное наследие писателя.

Тысяча восемьсот семьдесят шестой — год, когда родился Джек Лондон — был для Америки годом в некотором роде особым.

10 июня президент Грант под бравурные звуки фанфар и заказанного Вагнеру торжественного марша открыл в филадельфийском Фэрмаунт-парке выставку, посвященную столетию образования США. Верно, ни один из восьми миллионов человек — пятая часть населения страны,— посетивших ее за полгода, не миновал гигантскую паровую машину высотой с трехэтажный дом. Она являла собой зримый и зовущий символ промышленного прогресса Нового Света. «Именно в таких предметах, сделанных из железа и стали, наиболее свободно выражается национальный гений»,— заявил Уильям Д. Хоуэллс, известный романист и влиятельный редактор.

А через две недели в далекой Монтане был наголову разбит отряд генерала Кастера, посланный для усмирения мятежных индейцев. Сиу и чейены под водительством Сидящего Быка и Бешеной Лошади защищали священные для них места Паха-Сапа — Черные холмы, куда они приходили говорить с Великим духом. А белых гнала в Блэк-Хиллз неутолимая жажда желтого металла. Сражение на реке Литл-Бигхорн вошло в официозную историю как свидетельство кровожадности краснокожих. На деле же притеснение и истребление коренных американцев — позорная глава в книге покорения континента.

Еще через две недели на другом краю страны, в Южной Каролине, на волне белого террора были зверски убиты несколько негров-солдат милиционной армии, и в ответ вспыхнули расовые волнения.

Нет, не только медью оркестров было отмечено столетие США, которые в то время включили в свой состав территорию Колорадо — в качестве 38 штата.

В том же, 1876-м, создается Социалистическая рабочая партия (ее членом и активным деятелем через двадцать лет станет Джек Лондон), тысячи спортсменов объединяются в Национальную бейсбольную лигу, Александр Белл получает патент на изобретение телефона...

Тысяча восемьсот семьдесят шестым завершалось восьмилетнее президентство Гранта, героя кровопролитной Гражданской войны. Клонился к упадку куцый «Золотой век» послевоенного торгово-промышленного ажиотажа, политико-финансовых махинаций, мошенничества и мещанской мишуры — период, который заклеймил в романе «Позолоченный век» Марк Твен в соавторстве с Чарльзом Д. Уорнером. Яростные предвыборные баталии между республиканцами, партией большой буржуазии Севера, и демократами, выразителями интересов плантаторской верхушки Юга, обернулись бесстыдным примирением вчерашних противников. Оно положило конец реконструкции Юга, то есть социально-политическому переустройству бывших рабовладельческих штатов. И все-таки теперь уже ничто не сдерживало развитие капитализма в США.

В духовной и художественной жизни Америки тоже происходили крутые перемены. Шла смена литературных эпох.

В 1876 году еще здравствовал и работал родившийся в XVIII веке патриарх национальной поэзии Уильям Каллен Брайант: впереди у него была книга стихов «Поток лет». Свой последний сборник «Литература и общественные задачи» выпустил угасающий Эмерсон. На пороге 70-летия грелся в лучах славы невозмутимый Лонгфелло и погружался в поэтические раздумья неугомонный Джон Г. Уитьер — оба только что издали по поэтической книге. Давно забросив прозу, прозябает в неизвестности нью-йоркский таможенный чиновник Герман Мелвилл и публикует длинную поэму «Кларель», навеянную впечатлениями от поездки по святым местам Палестины двадцать лет назад. Едва оправившийся от паралича, стареющий и одинокий Уолт Уитмен анонимно печатает в городской газете Кэмдена, штат Нью-Джерси, статью «Действительное положение Уолта Уитмена в Америке». То был в равной мере крик души и реклама двухтомника сочинений, который поэт подготовил на собственные деньги.

Одновременно на литературную арену выходило новое поколение писателей. В том же 1876 году появились «Приключения Тома Сойера» Марка Твена и издал роман «Габриэль Конрой» Брет Гарт, один из зачинателей школы «местного колорита», открывший в своих рассказах пестрый мир калифорнийских золотоискателей. Свой первый роман «Родерик Хадсон» — о трагедии талантливого скульптора — выпустил Генри Джеймс и продолжал работать над вторым, «Американцем», где вывел «нового человека», капиталиста.

Революция в печатном деле изменила не только способ выпуска книг и журналов, но и условия самого творчества. Художественное слово стано-

вилось товаром. «Издательское дело, став большим бизнесом, приобретало все характерные формы современного индустриального и коммерческого производства...— констатирует академическая «Литературная история Соединенных Штатов Америки».— Конкуренция заставляла издателя формировать новый тип писателя (разрядка моя.— *Г. З.*), так же, как и новый тип читателя. Она принуждала авторов продавать свои творческие усилия подороже».

Литература США была издавна привязана к рынку, но именно в последней четверти XIX века окончательно сформировалась так называемая массовая, точнее коммерческо-конформистская культура. Издательства и редакции журналов были завалены рукописями несметного количества поставщиков духовного ширпотреба. Их имена забыты и не они определяли течение американской литературы. Дух времени требовал нового материала, динамики, социальной зоркости, правдивого отображения общественных и нравственно-психологических противоречий, обострявшихся по мере того, как США становились ведущей капиталистической державой, выказавшей в канун нового, XX века, явные империалистические амбиции (испано-американская война 1898 года).

Этой потребности отвечали репортажная книга Джейкоба Риса о манхэттенской бедноте («Как живет другая половина», 1890) и первый сборник рассказов Х. Гарленда «Главные проезжие дороги» (1891), в котором совсем по-новому, без прикрас изображалась трудная жизнь фермеров Среднего Запада, и первый роман 22-летнего Стивена Крейна «Мэгги, девчонка с улицы» (1893), название которого говорит само за себя. В том же русле лежали первые журналистские опыты Липкольна Стеффенса, который скоро станет центральной фигурой литературно-публицистического движения «разгребателей грязи», роман Генри Фуллера «Обитатели небоскреба» (1893), повествующий о конфликтах в семье чикагского миллионера-деспота, и другие его вещи. Написан, но шесть лет дожидался издателя роман Фрэнка Норриса «Мактиг» (опубликован в 1898) — произведение в духе Золя на тему распада личности под влиянием среды и наследственности. Книги этих писателей, непосредственных предшественников Джека Лондона, образуют то, что принято называть натуральной школой в американской прозе, во многом подготовившей зрелый реализм в литературе США.

Первая печатная работа Лондона — шестистрапичный рассказ «Тайфун у берегов Японии», который Джек послал на конкурс, объявленный «Сан-Франциско колл», и был опубликован в газете 18 ноября 1893 года. Собственно, даже не рассказ, а очерк, написанный по личным впечатлениям от полугодового похода матросом на промысловой шхуне. Очерк отличается не только неподдельной достоверностью описания, но и энергичностью слога, и художественной наблюдательностью: волны обрушивались на палубу и «оставляли в каждой щели, в каждой трещинке дрожащие пятнышки огня, горящие до тех пор, пока их не смывала очередная волна, оставляя на их месте новые». Пройдет еще пять долгих лет, прежде чем имя Лондона появится в «большом» журнале, но семнадцатилетний Джек уже почувство-

вал вкус и силу слова. Если Лондону не удалось сделаться выдающимся стилистом, то стихийная свобода повествования и сдержанный драматизм, мужественная простота, романтическая приподнятость слога и какая-то особая проникновенность, идущая от виденного и пережитого лично, стали отличительными чертами его прозы.

Плавание на «Софи Сазерленд» как бы подвело итог ранним годам Лондона. Позади было бедное, неустроенное детство в Окленде под Сан-Франциско, затянувшееся из-за переездов семьи учение в начальной школе вперемешку со случайной работой ради денег, изнурительный труд на консервной фабрике, браконьерские набеги и служба в рыбачьем патруле, лихие забавы с приятелями из портового района. И на протяжении всего отрочества чтение взахлеб — Мелвилла, Киплинга, Золя, Толстого.

Весной 1894-го Лондон — среди массы безработных и бродяг, движущихся из Калифорнии в Вашингтон, он прошагал и проехал от Тихого океана до Атлантического, отсидел месяц за решеткой за бродяжничество. Это было для него подлинное открытие Америки. Из торопливых каракулей в блокноте потом родилась книга очерков «Дорога» (1907).

На следующий год Лондон опять садится за школьную парту, пускается в путешествие по миру человеческих знаний, увлекается социалистическими идеями, завоевывает репутацию опасного бунтаря. Живет он на случайные заработки, а отнюдь не на случайные публикации в школьном журнале.

Летом 97-го, бросив университет, исписав горы бумаги и не пристроив, не «продав» ни строчки, Лондон подается на Аляску. Почти год провел он среди старателей, охотников, игроков, любителей легкой наживы, зимовал долгую северную зиму в устье реки Стюарт, прошел и проплыл сотни и сотни миль, валялся в госпитале с цингой. Он вернулся в Сан-Франциско без гроша в кармане.

Снова бессонные ночи над рукописями и книгами, снова дни впроголодь, чтобы наскрести несколько центов на марки и попытать счастья в другом журнале, третьем, пятом, снова бесконечное, на пределе отчаяния, ожидание удачи. Он чувствовал в себе неиссякаемую потребность писать, выразить на бумаге красоту и уродливость мира, поразительное многообразие людей, свои переживания. Чтобы писать, ему нужны деньги. А чтобы зарабатывать деньги, не выматывая тело и душу физическим трудом, он должен писать... Он еще не знал, чего стоит эта круговая безысходность, и потому вчитывался в чужие строки, пытаясь разгадать секрет успеха,— впрочем, обо всем этом выразительно рассказал впоследствии сам Лондон в романе «Мартин Иден».

И вот, наконец, в январе 1899-го популярный калифорнийский журнал «Оверленд мансли» («Трансконтинентальный ежемесячник»), основанный тридцать лет назад Брет Гартом, публикует первый «северный» рассказ Джека Лондона — «За тех, кто в пути!». Через месяц был напечатан второй, потом третий... Со страниц рассказов вставал прекрасный и страшный мир белого безмолвия, изнурительной борьбы с безразличной приро-

дой, суровый кодекс мужской чести и пламенная женская любовь, мир, живущий по особым законам, не пригодным для обывателей Сан-Франциско или Нью-Йорка. Началась жизнь Лондона — профессионального писателя, полная подъемов и падений.

Новый, двадцатый век он встречал, подписав контракт на первый сборник из девяти рассказов — «Сын волка», и не с кем-нибудь, а с почтенным бостонским издательством «Хоутон Миффлин»! То, что Лондон видел, слышал, записал на Аляске, стало поистине золотой жилой, которую он разрабатывал на протяжении всей своей жизни. Бывало, что на-гора́ выходила малоценная или вовсе пустая порода, а иногда даже с вредными примесями. Время отсеяло незначительное, наносное, недостойное большого писателя и сохранило то, что и сейчас увлекает, волнует, бередит душу и будит мысль.

Присмотримся поближе к одному из лучших рассказов Лондона, тому, который Н. К. Крупская читала больному Ленину — «Любовь к жизни».

...Который день двое с поклажей и ружьями бредут по безлюдной снежной равнине. Впереди еще немалый путь до тайника, где патроны и припасы. При переходе через речку один поскользнулся на валуне и кричит товарищу, что вывихнул ногу. Тот, не оглядываясь, идет дальше. У потерпевшего «в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя». Он зовет еще раз: Билл! «Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы». Второму трудно идти, боль нестерпима, но еще труднее уверить себя в том, что друг не бросил его.

Так, на первой же странице несколькими скупыми штрихами Лондон создает исходную ситуацию, ситуацию напряженную, чрезвычайную, но чрезвычайность эта порождена не опасностями, которые подстерегают людей на Севере на каждом шагу, не голодом и не страхом перед хищниками, а характером человеческих отношений, изменой нормам этих отношений.

Под самый конец измученному путнику придется выдержать смертельную схватку с волком, и эта финальная сцена естественной борьбы человека со зверем подчеркивает неестественность происшедшего вначале или, напротив, естественность для людей той среды и того общества, к которому они принадлежат — в зависимости от того, как посмотреть.

Так разыгравшаяся посреди белой пустыни драма приобретает социальное измерение. Установка на социальность подкрепляется тем, что герою рассказа достало здравомыслия — пусть не сразу, но все-таки выбросить тяжелый, затрудняющий передвижение заветный мешочек из оленьей кожи. Другой, Билл, не сделал этого и погиб именно потому, что не нашел сил расстаться с золотом. В его гибели — художественное обоснование неминуемости расплаты за предательство.

Между двумя эпизодами, о которых шла речь, располагается основное пространство рассказа, описание того, как, потеряв счет дням и превозмогая смертельную усталость, и голод, и отчаяние, человек идет, тащится, ползет к морю, людям. Он уже потерял всякую надежду, перестал

что-либо чувствовать, у него уже не оставалось воли. «Умереть не больно... Смерть — это значит конец, покой». Но сама «жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед».

Неодолимость жизни, ее торжество над смертью — эта сквозная мысль придает рассказу отчетливое философское звучание. Все три плана произведения: событийный, социальный и философский — существуют не сами по себе, а образуют нерасторжимое, не разложимое иначе, как в анализе, идейно-художественное единство. Оно-то и создает то потрясающее впечатление, которое оставляет этот рассказ.

Рассказ был написан в 1905 году (опубликован в одноименном сборнике в 1907-м), во время самого насыщенного периода в биографии Лондона, насыщенного во всех отношениях — в житейском, литературном, общественном. Даже если кратко пересказать, что он делал, говорил и писал в эти годы, и то будут видны его удивительная энергия и работоспособность, его природная порывистость, разнообразие и разбросанность его интересов.

Летом 1902 года писатель — в Лондоне, селится в трущобах Ист-Энда, изучает условия жизни обитателей дна английской столицы. Результат — книга обличительных репортажей «Люди бездны» (1903). Следующий год был в основном занят работой над «Морским волком» (1904), приключенческим романом, в котором тугая, напряженная фабула не помешала автору развенчать «сильную личность».

На Дальнем Востоке вот-вот должна была вспыхнуть русско-японская война, и в январе 1904-го Лондон принимает предложение херстовского газетного треста отправиться корреспондентом в Японию и Корею. Некоторые его корреспонденции оттуда полны метких зарисовок военного быта, в них ощутимо неприятие японского милитаризма, в других звучит шовинистическая мысль о «желтой опасности», якобы угрожающей цивилизованному, «белому» миру.

Проходит всего несколько месяцев, и Лондон уже выступает в Калифорнии с зажигательными антикапиталистическими речами, называет русских революционеров своими братьями, становится видной фигурой в социалистическом движении, выпускает взрывчатый сборник «Борьба классов» (1905). А спустя некоторое время за крупную сумму покупает в местечке Глен-Эллен, расположенном к северу от Сан-Франциско в долине Сонома,— той самой великолепной Лунной долине, где разворачивается действие его позднего (1913) и идиллического одноименного романа,— в сто тридцать акров участок земли с ранчо: «Через двадцать лет участок будет стоить сто двадцать тысяч долларов, я становлюсь на якорь прочно, основательно». Но Глен-Эллен пока не стало такой гаванью.

Летом 1906 года, после лекционно-пропагандистской поездки по стране, включившей Иейлский университет и Нью-Йорк, Лондон садится за стол и за несколько месяцев пишет политический роман-антиутопию «Железная пята» (1908), в котором рисует Америку под жесточайшей тиранией диктатуры монополистической олигархии. Эта книга не только положила начало традиции антитоталитарного романа, которая продолжена, напри-

мер, Синклером Льюисом («У нас это невозможно», 1935) и Томасом Макгратом («Из рога врата и врата из кости слоновой», 1957), но и явилась одной из первых в мировой литературе, предупреждающих об опасности фашизма, вызревающего в недрах капиталистического общества. И одновременно писатель увлекается идеей семилетнего кругосветного плавания и начинает постройку яхты «Снарк», вкладывая в нее все свои силы и средства.

Спутники Лондона практически не имели навыков судовождения, да и «Снарк» не обладал необходимыми мореходными качествами. Зато полуторагодовое плавание по Тихому океану и пребывание на Гавайях, Маркизских островах, островах Самоа, Фиджи и других дали Лондону материал для многих замечательных «южных» рассказов и — главное — в это время было создано его самое значительное произведение, роман «Мартин Иден». Когда в сентябре 1908-го путешествие из-за болезни Лондона прерывается, калифорнийский журнал «Пасифик мансли» начинает печатать роман. Публикация длилась ровно год, а в сентябре 1909-го он выходит отдельным изданием у «Макмиллана» в Нью-Йорке.

Мы знакомимся с героем романа, когда он, робея и не зная, куда девать загрубелые руки, благоговейно переступает порог дома, полного книг и картин, где живут образованные утонченные люди, знающие толк в дорогих и красивых вещах и называющие его «мистер Иден» — в таком доме он, пожалуй что, отроду не бывал. И расстаемся с ним, когда он, протиснувшись через иллюминатор комфортабельной уютной каюты на океанском пароходе, бесшумно и безразлично соскальзывает в воду...

Совсем недолгий срок отделяет одно событие от другого, наверное, лет пять-шесть. Что же произошло за это время? Как случилось, что молодой, полный сил и надежд матрос, сделавшись литературной знаменитостью, устал, угас и ушел из жизни?

У Маяковского есть строки:

Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть...».

Автор «Мартина Идена» хорошо понимал, на чем держится интерес читателя,— на «вечных темах», надо только повернуть их и выразить по-своему и правдиво. Поэтому преображение неотесанного рабочего парня, прошедшего кочегарки, кубрики и кабаки, тропики, трущобы и потасовки, началось с любви. Он влюбился в Руфь Морз, что называется, с первого взгляда. Вот она, девушка его мечты — восхитительная, воздушная, чистая, не то что фабричные девчонки или скотницы с ферм, которых он знал. Ради такой стоит жить и бороться, ради нее он завоюет мир!

Мартин понимал, какая пропасть их разделяет, и чтобы стать с ней вровень, приобщиться к жизни возвышенной и вечной, надо прежде всего заняться самообразованием и самовоспитанием. Он накидывается на кни-

ги — благо и раньше почитывал и любил стихи, зубрит грамматику и учится правильно говорить, начинает следить за своей внешностью.

После очередного восьмимесячного плавания, куда Мартин нанялся ради заработка, его озаряет великолепная мысль — описать Руфи красоту заброшенных островков Океании, и не только Руфи, но и другим. Да, он станет писателем, он сможет, и «люди увидят, услышат, ощутят мир и его зрением, слухом, его сердцем. Он станет писать все что угодно — о событиях вымышленных и подлинных,— стихи и прозу, и, как Шекспир, пьесы... Писатели — титаны мира».

Американская литература, идущая к реализму, в это время открывала человека из низов, из народа. Первым, пожалуй, по-настоящему, без приукрашивания, реалистически сделал это Марк Твен в 1884 году, создав образы Гека Финна и негра Джима. Тема искусства и положения художника в обществе вошла в нее раньше — тут стоит вспомнить романы Генри Джеймса. Однако художники у Джеймса, как правило, выходцы из состоятельной среды, люди, которые имели возможность развить в себе эстетический вкус и приобрести профессиональные навыки.

Лондон же смело соединил обе темы в одно. Его Мартин Иден — самородок, человек, наделенный пытливым умом и пылкой душой, художественная натура, чутко отзывающаяся на прекрасное и обладающая даром воображения. Его рассказы при первом же посещении Морзов звучат так подлинно, свежо и романтично, как если бы речь шла не о тяжелом моряцком быте, а о каком-то увлекательном приключении.

Правда, еще Драйзер показал простого человека, в котором живет творческое начало — провинциальную простушку, пробившуюся в модные актрисы. И все-таки тема искусства в «Сестре Керри» (1900) остается на периферии романа, который открыл в американской литературе XX век, и гораздо полнее, шире и глубже будет разработана Драйзером в «Гении» (1915). Мартин Иден стоит как бы между Каролиной Мибер и Юджином Витла. Новаторство Лондона — в том, что он достоверно и ярко изобразил, как его герой *становится* писателем, его упорство и мытарства на ухабистом пути самоосуществления.

Мартин достигает, наконец, того, к чему стремился. Но в тот момент, когда начинают печатать все, что он предлагает, и платить за это большие деньги, когда к нему приходит известность и положение, он делает страшное открытие: люди превозносят не его самого, а какого-то другого, ими же выдуманного человека, и даже не человека, а его богатство, его славу. Мартина преследует неотвязная мысль: «Моя работа была уже сделана», но тогда он бедствовал, выбивался из последних сил, голодал, и никто не спешил пригласить его на обед, как это делают сейчас. Он нисколько не изменился с тех пор, когда писал настоящее, и то, что он написал, тоже не изменилось. Безжалостная логика подводила его к мысли, что Мартин Иден — знаменитый писатель — никто, ничто, «призрак, выдумка черни», что он вроде бы даже не живой. Он разочаровался во всем, о чем мечтал,— в знаниях, в творчестве, в любви, и потому не откликнулся на запоздалое

раскаяние Руфи. Положения не спасают благотворительные жесты в отношении сестер, старого товарища, квартирной хозяйки. Он понял истинную цену Успеха. Ему стало тоскливо и тошно. «Со всей ясностью он увидел, что вступил в Долину теней».

Буржуазное общество погубило художника — так чаще всего читают и толкуют лондоновский роман. Толкование верно, но только как итог; оно не вполне учитывает личность героя, субъективный момент в разыгравшейся драме.

Благополучие Морзов слепит Мартину глаза, их внешний лоск он принимает за настоящую культуру, а Руфь вообще кажется ему каким-то неземным недосягаемым существом. Правда, восхищение ее родителями и людьми их круга быстро проходит, и он видит их духовную ограниченность, обывательские предрассудки, лицемерие и ханжескую мораль, прикрываемые хорошими манерами.

Огорчает его и Руфь — тем, что не понимает и не одобряет его тяги к сочинительству, старается наставить его на путь истинный, то есть сделать из него еще одного жалкого клерка. Да, Руфь — бакалавр изящных искусств, но иногда рассуждает как типичный прагматик: раз Мартину не удается напечататься, значит, его суждения о литературе неправильны. Мартин уже чувствует, что перерос ее. Чем ближе они становятся друг другу, тем дальше расходятся их мнения и вкусы. Разрыв наступил, когда газеты и молва заклеймили его как опасного «красного», «врага общества», «предателя родины». Несмотря на влечение, которое Руфь, «истинная дочь Евы», испытывала к Мартину, она не смогла ослушаться благопристойных родителей и перешагнуть через кастовый барьер, подняться над мещанской моралью.

Потом Мартин понял, что «он любил Руфь своей мечты, небесное создание, которое сам же и сотворил, светлую сияющую музу своих стихов», а не «маленькую буржуазку», какой она была на самом деле.

Мартин Иден ошибся в «благородных» людях и обманулся в любви.

Внимательный читатель заметит, что с самого начала к жгучему желанию Мартина писать, причем писать хорошо и правдиво, примешивается нечто чужеродное, несовместимое с творчеством — расчет. Нет, он не скупец, и ему позарез нужны деньги, чтобы не протянуть ноги. И все же... и все же, закончив самую первую свою рукопись — очерк про охотников за сокровищами, он тут же прикидывает, сколько за нее получит. И так с каждой. Зачем мотаться по морям, ежели гораздо легче зарабатывать не выходя из дому, сочинительством.

Мартин бросает строить воздушные замки и предпринимает «трезвый прозаический шаг» — делается литературным ремесленником. «Сперва поденщина и заработок, а уж потом шедевры»,— откровенно излагает он любимой свои планы, не подозревая, чем это чревато. Он сочиняет «страшные рассказы» — «откровенная выдумка и фантазия», рассказы «с фокусом», где голая техника автора подается как искренность, снова и снова вчитывается в чужие газетные поделки, чтобы разгадать, как это сделано, и

составляет собственные сюжетно-тематические схемы, где обязательны слезы, патриотизм и свадебные колокола под занавес. Он превратился в одного из поставщиков массового чтива, принял, так сказать, правила игры, навязанные ему обществом, соблазнился Успехом и торопил его. «Удачное приспособление к среде — вот что такое успех»,— обронил Лондон в очерках «Путешествие на «Снарке».

В сущности, Мартин Иден изменил себе, своему призванию и принципам реализма, которые он декларировал. Не удивительно, что, добившись признания и богатства, он сознает, что иссяк, что ему не хочется писать, а, может, и не способен больше. Растраченный талант — это расплата за неумение пользоваться им.

Еще серьезнее другое заблуждение героя: мысль о своей исключительности. «Он лучше своего окружения»,— думает он о себе, и его помыслы выше, чем у других людей, значит, и «сам он должен быть выше» них. Видя нищету, узость интересов, грубые развлечения своих приятелей и подружек, он чувствует, как на него давит «тяжкое бремя — принадлежность к рабочему люду».

Мартину пока приходится выкладываться как никому, но внутренне он постепенно отрывается от трудового класса, хотя эпизодически встречается с прежними друзьями в дни душевного кризиса, и, яростно бунтуя против буржуа, оказывается на ничейной земле. И тех, и других он считает рабами: первых — рабами работы, вторых — рабами кошелька.

Поэт Бриссенден тщетно пытается убедить Мартина, что выход есть — в социализме: «Социализм неизбежен... современный строй прогнил». Но Мартину мнится, что социализм — удел «слабых и незадачливых, тех, кто, согласно закону биологии, гибнут на задворках жизни».

Ничейная земля — самая уязвимая, самая непрочная. Отсюда — позиция некоего аристократа духа и ярого индивидуалиста, которую занимает Иден, повторяя зады ницшеанства: «Мир принадлежит людям истинного благородства, великолепным белокурым бестиям, умеющим утвердить себя и свою волю».

Может возникнуть вопрос: почему все-таки Лондон не сделал своего героя сторонником социалистических идей? Если коротко, то ответ, очевидно, будет примерно таким: это была бы совсем другая книга, которую писатель, будучи честным человеком и честным художником, не был готов написать ни психологически, ни мировоззренчески. Хотя Лондон любил подписывать письма товарищам по партии — «Ваш во имя Революции», он плохо представлял реальные пути к ней, порой сбивался на анархизм. Его социалистические воззрения, отражавшие слабость прогрессивного движения в США, исторически обусловлены и ограничены и густо замешаны на Американской мечте.

Американская мечта — понятие многосоставное, сложное, помимо демократического содержания в нее входит наивная вера в равные возможности на земле Нового Света, обещающие удачу и успех, и принцип «доверия к себе», попросту говоря — обычай полагаться на собственные руки, сме-

калку, энергию, предприимчивость, выродившийся к концу XIX века в оголтелый, циничный индивидуализм.

В индивидуалистических настроениях Идена сказывается его нравственная незрелость. Чтение Ницше укрепило характер, но не научило подлинной человечности. В романе сталкиваются преимущественно Воля и Необходимость, практически исключающие моральный выбор героя. Поступки Мартина диктуются либо собственными желаниями, порывами, импульсами (сам он добавил бы: и инстинктами), либо силой внешних обстоятельств. (Кстати, тут тоже слышится перекличка с соответствующим местом из «Путешествия на «Снарке»: «Мои «хочу» и «мне нравится» составляют для меня всю ценность жизни».) Мартин и сам ощущает неразвитость своего этического сознания. «Проклятый ницшеанец!» — горько корит он себя за то, что не в состоянии отозваться на искреннее и глубокое чувство Лиззи Конноли («Я гордая, что ты мне друг»). Эта простая девушка — самый привлекательный женский образ в книге.

Мартин Иден прочитал много хороших книг, научился видеть, понимать, воспроизводить красоту.

Он быстро оценил пользу знания, стремился познать правду и уметь точно ее высказывать — эффектные пассажи Спенсера, объясняющие вселенную во взаимосвязи и эволюции всех вещей и явлений, казались ему высшей мудростью.

Однако он не понял или понял слишком поздно, что Красота и Истина не приносят счастья, если разлучены с Добром.

Как знать, Мартин, может быть, и выстоял бы последнее испытание, будь у него крепкий нравственный стержень, настоятельный внутренний императив.

Как бы то ни было, из просчетов и обольщений, из ошибок и заблуждений складывается трагическая вина Мартина Идена, а его история, так прямо, мужественно и печально рассказанная Джеком Лондоном, выливается в грандиозную американскую трагедию — задолго до того, как Драйзер зафиксировал это выражение названием своего эпохального романа.

Роману же Лондона выпало стать предсказанием судьбы многих американских писателей, а, может быть, и его собственной.

Десятые годы — пора роста мировой известности Джека Лондона и одновременно — очевидного творческого спада. Он отнюдь не перестал писать, напротив: книги у него выходили одна за другой. «В издательском мире Джека Лондона стали рассматривать не как человека, а уж скорее как стихийное явление природы»,— вырвалось даже у Ирвинга Стоуна, его увлеченного биографа («Моряк в седле»). Конечно, и в это время Лондон создавал значительные, отличные произведения, но в целом у него усиливается опасный крен в авантюрный жанр, громче звучат пессимистические ноты и рядом — идиллические картинки жизни «на природе», чаще случаются досадные идейные срывы, иные вещи выглядят беллетризованными трактатами. Весной 1914 года он едет от «Кольерса» военным корреспондентом в Мексику, однако его репортажи не идут в сравнение с «Восставшей Мек-

сикой» Джона Рида. Много времени у Лондона отнимает увлечение сельским хозяйством.

Еще в 1910 году он задумывает построить огромный «Дом волка», мечтая возвести то ли родовой замок, то ли общественно-культурный центр при образцовом ранчо. Он вкладывал в это предприятие, можно сказать, всего себя. Через три года дом сгорел, почти готовый.

Никакая фантазия не вообразит более наглядного символа возведения и краха лондоновской мечты. И сейчас стоят над Лунной долиной остатки бурых стен этого немыслимого сооружения. Но похоронить себя Лондон велел на другом краю парка. На простой могиле с обломком скалы вместо надгробия надпись: «Джек Лондон. 1876—1916».

Г. Злобин

Жар души сохранить бы до конца дней!
Хмелем мечты упиваться упрямо!
И ком глины — жилище души моей —
Да не рухнет в пыль опустелым храмом!

ГЛАВА 1

Он отпер дверь своим ключом и вошел, а следом, в смущении сдернув кепку, шагнул молодой парень. Что-то в его грубой одежде сразу выдавало моряка, и в просторном холле, где они оказались, он был явно не к месту. Он не знал, куда девать кепку, стал было засовывать ее в карман пиджака, но тот, другой, отобрал ее. Отобрал спокойно, естественно, и парень, которому тут, видно, было не по себе, в душе поблагодарил его. «Понимает,— подумал он.— Поможет, все обойдется».

Парень враскачку шел за тем, другим, невольно расставляя ноги, словно этот ровный пол то, кренясь, взмывал на волне, то ухал вниз. Шел вперевалку, и большие комнаты становились тесными, и страх его брал, как бы не задеть широкими плечами дверной косяк, не скинуть какую-нибудь дорогую вещицу с низкой каминной полки. Он шарахался то вправо, то влево и лишь умножал опасности, что мерещились ему на каждом шагу. Между роялем и столом посреди комнаты, на котором громоздились книги, могли бы пройти шестеро в ряд, он же пробирался с опаской. Могучие ручищи болтались по бокам. Он не знал, куда их девать, вдруг в страхе отпрянул, точно испуганная лошадь,— вообразил, будто сейчас свалит груду книг на столе, и едва не наскочил на вращающийся табурет перед роялем. Он приметил, какая непринужденная походка у того, впереди, и впервые осознал, что сам ходит совсем не как все прочие люди. И на миг устыдился своей неуклюжести. На лбу выступили капельки пота, он остановился, отер загорелое лицо платком.

— Обождите, Артур, дружище,— сказал он, пытаясь прикрыть тревогу шутливым тоном.— У меня уж голова кругом пошла. Надо ж мне набраться храбрости. Сами знаете, не желал я идти, да и вашему семейству, смекаю, не больно я нужен.

— Ничего-ничего,— ободряюще сказал Артур.— Незачем нас бояться. Мы самые обыкновенные люди. Э, да мне письмо!

Он отошел к столу, вскрыл конверт и принялся читать, давая гостю опомниться. И гость понял и в душе поблагодарил хозяина. Был у него дар понимания, проникновения; и хотя чувствовалось, что ему сейчас отчаянно не по себе, дар этот ни на мпнуту не изменил ему. Он опять вытер лоб, осмотрелся, и теперь лицо уже было спокойно, только взгляд настороженный, словно у дикого зверя, когда он чует ловушку. Оказавшись в незнакомом окружении, со страхом думая, что же будет дальше, он не понимал, как себя здесь вести, ощущал, что ходит и держится неуклюже, боялся, что и каждое его движение, и сама его сила отдает все той же неуклюжестью. Был он на редкость чуток, безмерно застенчив, и затаенная усмешка во взгляде Артура, брошенном поверх письма, резнула его как ножом. Он заметил этот взгляд, но виду не подал, ибо в ту науку, которую он превзошел, входило и умение владеть собой. Взгляд этот ранил его гордость. Он клял себя за то, что пришел, и однако, решил, что, уж раз пришел, будь что будет, отступать он не намерен. Лицо стало жестче, глаза сверкнули воинственно. Все примечая, он спокойнее огляделся по сторонам, и в мозгу отпечаталась каждая мелочь красивого убранства этой комнаты. Ничто не ускользнуло от его зоркого взгляда, широко раскрытые глаза вбирали окружающую красоту, и воинственный блеск в них уступал место теплому сиянию. Он всегда чутко отзывался на красоту, а тут было на что отозваться.

Его внимание приковала картина, писанная маслом. Могучий прибой с грохотом разбивается о выступ скалы, мрачные грозовые тучи затянули небо, а вдали, за линией прибоя, на фоне грозового закатного неба — лоцманский бот в крутом повороте, он накренился, так что видна каждая мелочь на палубе. Была здесь красота, и она влекла неодолимо. Парень позабыл о своей неуклюжей походке, подошел ближе, совсем близко. И красота исчезла. На лице его выразилось замешательство. Он смотрел во все глаза на эту, как ему теперь казалось, неряшливую мазню, потом отступил на шаг. И полотно вновь ослепило красотой. «Картина с фокусом»,— подумал он разочарованно, однако среди множества захлестнувших его впечатлений кольнула досада: такую красоту принесли в жертву фокусу. Живопись была ему неведома. Прежде он только и видел олеографии да литографии, а они всегда четки и определенны, стоишь ли рядом или смотришь издали. Правда, в витринах магазинов он видел и картины, писанные маслом, но стекло не давало вглядеться в них поближе.

Он оглянулся па приятеля, читающего письмо, и увидел на столе книги. В глазах тотчас вспыхнула тоскливая зависть и жадность, точно у голодного при виде пищи. Враскачку он двинулся к столу и вот уже любовно перебирает книги. Скользит глазами по названиям, по именам авторов, выхватывает обрывки текста,—

ласкает том за томом и руками и взглядом,— но лишь одну книгу он когда-то читал. Остальные книги и писатели незнакомы. Ему попался том Суинберна, и он начал читать подряд, стихотворение за стихотворением, и забыл, где он, и щеки у него разгорелись. Дважды он закрывал книгу и, придерживая страницу пальцем, еще раз смотрел имя автора. Свинберн! Надо запомнить. У этого малого глаза на месте, он все видел как надо — и цвет и сверкающий свет. Кто же такой этот Свинберн? Давным-давно помер, как почти все поэты? Или еще живой, пишет? Он поглядел на титульный лист. Да, у Свинберна есть и другие книги. Что ж, утром первым делом надо сходить в библиотеку, разжиться его книжицами. Парень опять погрузился в чтение и забыл обо всем на свете. Он не заметил, что в комнату вошла молодая женщина. Опомнился, лишь услыхав слова Артура:

— Руфь, это мистер Иден.

Он закрыл книгу, заложил указательным пальцем и, еще прежде чем обернулся, ощутил радостное волнение — не от знакомства с девушкой, но от слов ее брата. В этом мускулистом парне таилась трепетная чуткость. Стоило внешнему миру задеть какую-то струну в его сознании — и все мысли, представления, чувства тотчас вспыхнут, запляшут, точно беспокойное пламя. Был он на редкость восприимчив и отзывчив, а живое воображение не знало покоя в беспрестанном поиске подобий и различий. «Мистер Иден» — вот что радостно поразило его, ведь всю жизнь его звали Иден, Мартин Иден или просто Мартин. И вдруг «мистер»! Это кое-что да значит, отметил он про себя. Память мигом обратилась в громадную камеру-обскуру, и перед его внутренним взором заскользили нескончаемой вереницей картины пережитого — кочегарки и кубрики, стоянки и причалы, тюрьмы и кабаки, тифозные бараки и трущобы, и одновременно раскручивалась нить воспоминаний — как называли его при всех этих поворотах судьбы.

А потом он обернулся и увидел девушку. И вихрь призрачных картин растаял. Он увидел бледное воздушное создание с облаком золотистых волос и одухотворенным взглядом огромных голубых глаз. Он не заметил, что́ на ней надето, знал только, что одежда была такая же поразительная, как она сама. Хрупкий золотистый цветок на тоненьком стебле. Нет, дух, божество, богиня — земля не могла породить такую возвышенную красоту. Или, выходит, книги не врут и в высших сферах и впрямь много таких, как она. Ее вполне мог бы воспеть этот малый Свинберн. Видать, когда писал про ту деву, Изольду из книжки со стола, какая-нибудь такая и была у него на уме. Все это он увидел, почувствовал, подумал в одно мгновенье. А меж тем все шло своим чередом. Девушка протянула руку и, прямо глядя ему в глаза, просто, будто мужчина, обменялась с ним рукопожатием. Женщины, каких он до сих

пор встречал, жмут руку по-другому. Да по правде сказать, мало кто из них здоровается за руку. Поток воспоминаний, картин — как он знакомился с женщинами — хлынул, грозя его захлестнуть. Но он отмахнулся от них и смотрел на девушку. Отродясь такой не видал. Ему знакомы совсем другие женщины! И тотчас подле Руфи, по обе стороны, выстроились женщины, которых он знал. Бесконечно долгое мгновенье стоял он посреди какой-то портретной галереи, где царила она, а вокруг расположилось множество женщин, и всех надо было окинуть беглым взглядом и оценить, и непреложной мерой была она. Вот вялые нездоровые лица фабричных работниц и бойкие, ухмыляющиеся девчонки из кварталов к югу от Маркет-стрит. Скотницы с ферм и смуглые мексиканки с неизменной сигаретой в углу рта. Их вытеснили японки с кукольными личиками, жеманно переступающие ножками в туфельках на деревянной подошве; евразийки с нежными лицами, отмеченными печатью вырождения; пышнотелые, темнокожие, увенчанные цветами женщины Южных морей. А потом всех заслонила нелепая чудовищная толпа — неряхи и распустехи, слоняющиеся на панелях Уайтчепеля, опухшие от джина ведьмы из гнусных притонов и все непристойные, сквернословящие исчадия ада, гарпии в ужасающем женском обличье, которые охотятся на матросов, портовая грязь и нечисть, распоследние отребья и отбросы человечества.

— Присядьте, мистер Иден,— говорила меж тем девушка.— Я давно хотела с вами познакомиться, с тех самых пор, как Артур нам рассказал. Вы поступили так мужественно...

Он протестующе махнул рукой, пробормотал, мол, чего он такого особенного сделал, всяк на его месте поступил бы так же. Она заметила, что рука, которой он махнул, покрыта свежими подживающими ссадинами, взглянула на другую, опущенную руку — то же самое. Кинула и еще быстрый оценивающий взгляд, заметила на щеке шрам, другой виднеется из-под волос на лбу, и еще один уходит под крахмальный воротничок. Она подавила улыбку, заметив красную полосу на бронзовой шее — натерло воротничком. Не привык, видно, к жестким воротничкам. Своим женским глазом увидела она и его костюм — дешевый, неизящный крой, на плечах морщит и на рукавах тоже, выпирают бицепсы.

Отмахиваясь и бормоча, мол, ничего такого он не сделал, он подчинился ей, решил, надо где-то сесть. Успел восхититься непринужденностью, с какой села она, и направился к креслу напротив, подавленный сознанием собственной неуклюжести. Ощущение это было ему внове. Всю жизнь, вплоть до сегодняшнего дня, он и знать не знал, ловкий он или неуклюжий. Ни о чем таком он никогда не задумывался. Он опасливо сел на краешек кресла, мучительно гадая, куда девать руки. Как ни положи, всё они не на

месте. Артур пошел к двери, и Мартин Иден проводил его тоскующими глазами. Один на один в комнате с этим бледным неземным созданием он совсем растерялся. Ни тебе бармена — заказать выпивку, ни какого ни то мальчонки — послать за угол за банкой пива, и таким вот приятным образом свести знакомство.

— У вас шрам на шее, мистер Иден,— заговорила девушка.— Как это случилось? Наверно, вы пережили какое-нибудь опасное приключение.

— Один мексиканец полоснул,— ответил он, облизнул запекшиеся губы и прокашлялся.— Драка у нас была. Нож-то я у его выдернул, а он чуть не откусил мне нос.

Сказал он скупо, а перед глазами возникло красочное видение — знойная звездная ночь в Салина-Крус, белая полоса песчаного берега, огни грузовых пароходов в гавани, приглушенные расстоянием голоса пьяных матросов, толпящиеся портовые грузчики, разъяренное лицо мексиканца, звериный блеск глаз при свете звезд, и сталь впивается в шею, фонтан крови. Толпа, крики, два сцепившихся в схватке тела, его и мексиканца, перекатываются опять и опять, взрывают песок, а откуда-то издали томный звон гитары. Все это встало перед глазами, и трепет воспоминания охватил его — интересно, как бы все это получилось у того парня, который нарисовал шхуну там на стене. Белый берег, звезды, огни грузовых пароходов — вот бы здорово, а в середке, на песке, темная гурьба зевак вокруг дерущихся. И чтоб нож как следует виден, блестит в свете звезд. Но всего этого было не угадать по его скупым словам.

— Мексиканец чуть не откусил мне нос,— только и сказал он в заключение.

— О-о! — выдохнула она чуть слышно, будто издалека, и по ее чуткому личику он понял, что это не по ней.

Тут и его опалило жаром, сквозь загар на щеках слегка проступила краска смущения, ему же показалось, будто щеки жжет, как перед открытой топкой в кочегарке. Видать, не положено говорить с порядочной девушкой об эдаких подлостях, о поножовщине. В книгах люди вроде нее про такое не говорят, а может, ничего такого и не знают.

Оба молчали, разговор, едва начавшись, чуть не оборвался. Потом она сделала еще одну попытку, спросила про шрам на щеке. И еще не договорила, а он уже сообразил, что она старается говорить на понятном ему языке, и положил, наоборот, разговаривать на языке, понятном ей.

— Случай такой вышел,— сказал он, потрогав щеку.— Ночью дело было, вдруг заштормило, сорвало гик, потом тали, гик проволочный, хлещет по чему попало, извивается будто змея. Вся вахта старается изловить, я кинулся, ну и схлопотал.

— О-о! — произнесла она на сей раз так, будто все поняла, хотя на самом деле это была для нее китайская грамота, и она представления не имела ни что такое «гик», ни что такое «схлопотал».

— Этот парень, Свинберн,— начал он, желая переменить разговор, как задумал, но коверкая имя.

— Кто?

— Свинберн,— повторил он с той же ошибкой.— Поэт.

— Суинберн,— поправила Руфь.

— Вот-вот, он самый,— пробормотал Мартин, вновь залившись краской.— Он давно умер?

— Да разве он умер? Я не слыхала.— Она посмотрела на него с любопытством.— Где ж вы с ним познакомились?

— В глаза его не видал,— был ответ.— Прочитал вот его стихи из той книжки на столе, перед тем как вам войти. А вам его стихи нравятся?

И она подхватила эту тему, заговорила быстро, непринужденно. Ему полегчало, он сел поудобнее, только сжал ручки кресла, словно оно могло взбрыкнуть и сбросить его на пол. Он сумел направить разговор на то, что ей близко, и она говорила и говорила, а он слушал, старался уловить ход ее мысли и дивился, сколько всякой премудрости уместилось в этой хорошенькой головке, и упивался нежной прелестью ее лица. Что ж, мысль ее он улавливал, только брала досада на незнакомые слова, они так легко слетали с ее губ, и на непонятные критические замечания и рассуждения, зато все это подхлестывало его, давало пищу уму. Вот она, умственная жизнь, вот она красота, теплая, удивительная, такое ему и не снилось. Он совсем забылся, жадно пожирал ее глазами. Вот оно, ради чего стоит жить, бороться, завоевать... эх, да и умереть тоже. Книжки не врут. Есть на свете такие женщины. И она такая. Он воспарил на крыльях воображения, и огромные сияющие полотна раскинулись перед его мысленным взором, и на них возникали смутные гигантские образы — любовь, романтика, героические деяния во имя Женщины — во имя вот этой хрупкой женщины, этого золотого цветка. И сквозь зыбкое трепещущее видение, словно сквозь сказочный мираж, он жадно глядел на женщину во плоти, что сидела перед ним и говорила о литературе, об искусстве. Он и слушал тоже, но глядел жадно, не сознавая, что пожирает ее глазами, что в его неотступном взгляде пылает само его мужское естество. Но она, истая женщина, хоть и совсем мало знающая о мире мужчин, остро ощущала этот обжигающий взгляд. Никогда еще мужчины не смотрели на нее так, и она смутилась. Она запнулась, запуталась в словах. Нить рассуждений ускользнула от нее. Он пугал ее, и однако, оказалось до странности приятно, что на тебя так смотрят. Воспитание предостерегало ее об опасности, о

дурном, коварном, таинственном соблазне; инстинкты же ее победно звенели, понуждая перескочить через разделяющий их кастовый барьер и завоевать этого путника из иного мира, этого неотесанного парня с ободранными руками и красной полосой на шее от непривычки носить воротнички, а ведь он явно запачкан, запятнан грубой жизнью. Руфь была чиста, и чистота противилась ему; но притом она была женщина и тут-то начала постигать противоречивость женской натуры.

— Да, так вот... да, о чем же я? — она оборвала на полуслове и тотчас весело рассмеялась над своей забывчивостью.

— Вы говорили, этому... Суинберну не удалось стать великим поэтом, потому как... а дальше не досказали, мисс,— напомнил он, и вдруг внутри засосало вроде как от голода, а едва он услыхал, как она смеется, по спине вверх и вниз поползли восхитительные мурашки. Будто серебро, подумал он, будто серебряные колокольца зазвенели; и вмиг на один лишь миг перенесло в далекую-далекую землю, под розовое облачко цветущей вишни, он курил сигарету и слушал колокольца островерхой пагоды, зовущие на молитву обутых в соломенные сандалии верующих.

— Да... благодарю вас,— сказала Руфь.— Суинберн потерпел неудачу потому, что он все же чересчур нескромен. Многие его стихи не следовало бы читать. У истинно великих поэтов в каждой строке прекрасная правда и каждая обращена ко всему возвышенному и благородному в человеке. У великих поэтов ни одной строки нельзя опустить, каждая обогащает мир.

— А по мне, здорово это, что я прочел,— неуверенно сказал Мартин,— прочел-то я, правда, немного. Я и не знал, какой он... подлюга. Видать, это в других его книжках вылазит.

— И в этой книге, которую вы читали, многие строки вполне можно опустить,— строго, наставительно сказала Руфь.

— Видать, не попались они мне,— объяснил Мартин.— Я чего прочел, стихи что надо. Прямо светится да сверкает, у меня аж все засветилось в нутре, вроде солнце зажглось, не то прожектор. Зацепил он меня, хотя, понятно, я в стихах не больно смыслю, мисс.

Он запнулся, неловко замолчал. Он был смущен, мучительно сознавал, что не умеет высказать свою мысль. В прочитанном он почувствовал огромность жизни, жар ее и свет, но как передать это словами? Не смог он выразить свои чувства — и представился себе матросом, что оказался темной ночью на чужом корабле и никак не разберется ощупью в незнакомом такелаже. Ладно, решил он, все в его руках, надо будет освоиться на этой новой посудине. Не случалось еще такого, чтоб он с чем-то не совладал, была бы охота, а теперь самое время захотеть выучиться говорить про то, что у него внутри, да так, чтоб она поняла. В его мыслях Руфь заслонила полмира.

— А вот Лонгфелло...— говорила она.

— Ага, этого я читал,— перебил он, спеша выставить в лучшем виде свой скромный запас знаний о книгах, желая дать понять, что и он не вовсе темный,— «Псалом жизни», «Эксцельсиор!» и... все вроде.

Она кивнула и улыбнулась, и он как-то ощутил, что улыбнулась она снисходительно... жалостливо-снисходительно. Дурак он, чего полез хвастать ученостью. У этого Лонгфелло чего доброго книжек пруд пруди.

— Прошу прощенья, мисс, зря я встрял. Сдается мне, я тут мало чего смыслю. Не по моей это части. А только добьюсь я, будет по моей части.

Прозвучало это угрожающе. В голосе слышалась непреклонность, глаза сверкали, лицо стало жестче. Руфи показалось, у него выпятился подбородок, придавая всему облику что-то неприятно вызывающее. Но при этом ее словно обдало хлынувшей от него волною мужественности.

— Я думаю, вы добьетесь, это будет по... по вашей части,— со смехом закончила она.— Вы такой сильный.

Ее взгляд на миг задержался на его мускулистой шее, бронзовой от загара, с грубыми жилами, прямо бычьей, здоровье и сила переливались в нем через край. И хотя он смущенно краснел и робел, ее снова потянуло к нему. Нескромная мысль внезапно поразила ее. Если коснуться этой шеи руками, можно впитать всю его силу и мощь. Мысль эта возмутила девушку. Будто вдруг обнаружилась неведомая ей дотоле порочность ее натуры. К тому же физическая сила в ее глазах — нечто грубое, вульгарное. Идеалом мужской красоты для нее всегда была изящная стройность. И однако мысль оказалась упорной. Откуда оно, желание обхватить руками загорелую шею гостя, недоумевала она. А суть в том, что сама она была отнюдь не крепкая, и тело ее и душа тянулись к силе. Но она этого не знала. Знала только, что ни разу в жизни ни один мужчина никогда не волновал ее так, как этот, который то и дело возмущал ее своей чудовищно безграмотной речью.

— Верно, я не хилый,— сказал он.— Меня с копыт не сковырнешь, я и гвозди жевать могу. А вот сейчас никак не переварю, чего вы говорите. Не по зубам мне. Не учили меня этому. Книжки я люблю, и стихи тоже, и читаю всякую свободную минутку, а только по-вашему отродясь про них не думал. Потому и толковать про них не умею. Я вроде как штурман — занесло невесть куда, а ни карты, ни компаса нету. Надо мне сориентироваться. Может, укажете, куда держать путь? Вы-то откуда узнали все это, про что рассказывали?

— В школе, вероятно, и вообще училась,— ответила она.

— Несмышленышем и я в школу ходил,— возразил было Мартин.

— Да, но я имею в виду среднюю школу, и лекции, и университет.

— В университете учились? — откровенно изумился он. Теперь она стала еще недосягаемей, ее отнесло, по крайней мере, еще на миллион миль.

— И сейчас учусь. Слушаю специальный курс английской филологии.

Что такое «английская филология», он не знал, подумал, и тут он невежда, и принялся спрашивать дальше:

— Стало быть, сколько мне надо учиться, чтоб дойти до университета?

Она улыбнулась, одобряя такую тягу к знаниям.

— Это зависит от того, сколько вы учились до сих пор,— сказала она.— В старшие классы вы не ходили? Нет, конечно. Ну а восемь классов кончили?

— Нет, в седьмой уже не пошел,— ответил он.— Но из класса в класс переходил с отличием.

И тут же обозлился на себя за похвальбу, и так яростно вцепился в ручку кресла, даже кончикам пальцев стало больно. И в эту минуту в дверях появилась какая-то женщина. Девушка встала и стремительно пошла ей навстречу. Они поцеловались и, обняв друг друга за талию, направились к нему. Мамаша, видать, подумал он. Была она высокая, светловолосая, стройная, осанистая и лицом красивая. Платье как раз под стать дому. Глаз радуется, такое оно складное да нарядное. И сама и платье — прямо как на сцене. А потом он вспомнил, сколько раз стоял и глазел, как входят в лондонские театры такие вот важные разряженные дамы, и сколько раз полицейские выталкивали его из крытой галереи на моросящий дождь. И сразу же воспоминания перенесли к Грандотелю в Иокогаме, там с обочины тротуара он тоже видал таких важных дам. Теперь перед глазами замелькали бесчисленные картины самого города Иокогамы и тамошней гавани. Но угнетенный тем, что ему сейчас предстояло, он постепенно погасил калейдоскоп памяти. Он знал, надо встать, тогда тебя познакомят, и неловко поднялся с кресла, и вот он стоит — брюки на коленях пузырятся, руки нелепо повисли, лицо напряглось в ожидании неизбежной пытки.

ГЛАВА 2

До столовой он добирался точно в страшном сне. Останавливался, спотыкался, его шатало, кидало из стороны в сторону, казалось, ему вовек не дойти. Но наконец он все-таки вступил в сто-

ловую, и его посадили подле Нее. Его испугала целая выставка ножей и вилок. Они ощетинились, предвещая неведомые опасности, и он завороженно уставился на них, пока на их слепящем фоне не двинулись чередой новые картины матросского кубрика, где он и его товарищи ели солонину, раздирая ее складными ножами и руками, или видавшими виды оловянными ложками черпали из жестяных мисок густой гороховый суп. В ноздри била вонь от тухлого мяса, в ушах отдавалось громкое чавканье едоков и чавканью вторил треск обшивки и жалобный скрип переборок. Он смотрел, как едят матросы, и решил, что едят они, как свиньи. Да, здесь надо поосторожней. Чавкать он не будет. Надо быть начеку.

Он обвел глазами стол. Напротив сидели Артур с братом Норманом. Ее братья, напомнил он себе, и они сразу показались ему славными ребятами. Как любят друг друга в этой семье! Ему вновь представилась встреча Руфи с матерью — вот они поцеловались, вот идут к нему обнявшись. В его мире таких нежностей между родителями и детьми не увидишь. Ему открылось, каких вершин достиг мир, стоящий над тем, где обретается он. Это — самое прекрасное из того немногого, что уловил здесь его беглый взгляд. Он был глубоко тронут, и нежность, рожденная пониманием, смягчила сердце. Всю свою жизнь он жаждал любви. Любви требовало все его существо. Так уж он был устроен. И однако жил без любви и мало-помалу ожесточался. И даже не знал, что нуждается в ней. Не знал и теперь. Лишь увидел ее воочию, и откликнулся на нее, и подумал, как это прекрасно, возвышенно, замечательно.

Он радовался, что здесь нет мистера Морза. Ему и так нелегко знакомиться с этим семейством — с ней, с ее матерью, с братом Норманом. Артура он уже кое-как знал. А знакомиться еще с отцом — это уж было бы слишком. Казалось, никогда еще он так тяжко не работал. Рядом с этим самый каторжный труд — просто детская игра. На лбу проступила испарина, рубашка взмокла от пота — таких усилий требовал весь этот незнакомый обиход. Приходилось делать все сразу: есть непривычным манером, управляться с какими-то хитроумными предметами, поглядывать исподтишка по сторонам, чтобы узнать, как с чем обращаться, впитывать все новые и новые впечатления, мысленно оценивать их и сортировать, и притом он ощущал властную тягу к этой девушке, тяга становилась неясным, мучительным беспокойством. Жгло желание стать вровень с нею в обществе, и опять и опять сверлила мысль, каким бы способом ее завоевать, и возникали в сознании смутные планы. А еще, когда он украдкой взглядывал на сидящего напротив Нормана или на кого-нибудь другого, проверяя, каким ножом или вилкой надо сейчас орудовать, черты каждого запечатлевались в мозгу, и невольно он старался разобраться в них,

угадать,— что́ они для нее. Да еще надо было что-то говорить, слушать, что говорят ему и о чем перебрасываются словами остальные, и, когда требовалось, отвечать, да следить, как бы с языка по привычке не слетело что-нибудь неприличное. Он и так в замешательстве, а тут в придачу еще лакей, непрестанная угроза, зловещим сфинксом бесшумно вырастает за спиной, то и дело загадывает загадки и головоломки и требует немедленного ответа. С самого начала трапезы Мартина угнетала мысль о чашах для ополаскивания пальцев. Ни с того ни с сего он поминутно спохватывался, когда же их подадут и как их признать. Он слыхал про такой обычай и теперь, оказавшись за столом в этом благородном обществе, где за едой ополаскивают пальцы, он уж беспременно, вот-вот, рано или поздно, увидит эти самые чаши, и ему тоже надо будет ополоснуть пальцы. Но всего важней было решить, как вести себя здесь, мысль эта глубоко засела в мозгу и, однако, все время всплывала на поверхность. Как держаться? Непрестанно, мучительно бился он над этой задачей. Трусливая мыслишка подсказывала притвориться, кого ни то из себя разыграть, другая, еще трусливей, остерегала — не по плечу ему притворяться, не на тот лад он скроен и только выставит себя дураком.

Он маялся этими сомнениями всю первую половину обеда, и оттого был тише воды, ниже травы. И не подозревал, что своей молчаливостью опровергает слова Артура,— тот накануне объявил, что приведет к обеду дикаря, но им бояться нечего — дикарь презанятный. Мартин Иден нипочем бы не поверил, что брат Руфи способен на такое предательство, да еще после того, как он этого брата вызволил из препаршивой заварушки. И он сидел за столом в смятении, что он тут не к месту, и притом зачарованный всем, что происходило вокруг. Впервые в жизни он убедился, что можно есть не только лишь бы насытиться. Он понятия не имел, что за блюда ему подавали. Пища как пища. За этим столом он насыщал свою любовь к красоте, еда здесь оказалась неким эстетическим действом. И интеллектуальным тоже. Ум его был взбудоражен. Здесь он слышал слова, значения которых не понимал, и другие, которые встречал только в книгах,— никто из его окружения, ни один мужчина, ни одна женщина, даже произнести бы их не сумели. Он слушал, как слова эти слетают с языка у любого в этой удивительной семье — ее семье,— и его пробирала дрожь восторга. Вот оно необыкновенное, прекрасное, полное благородной силы, про что он читал в книгах. Он был в том редком, счастливом состоянии, когда видишь, как твои мечты гордо выступают из потаенных уголков фантазии и становятся явью.

Никогда еще жизнь не возносила его так высоко, и он старался оставаться в тени, слушал, наблюдал, радовался и сдержанно, односложно отвечал: «Да, мисс» и «Нет, мисс» — ей и «Да, мэм»

и «Нет, мэм» — ее матери. Отвечая ее братьям, он обуздывал себя,— по моряцкой привычке с языка готово было слететь «Да, сэр», «Нет, сэр». Так не годится, это все равно что признать, будто ты их ниже, а если хочешь ее завоевать, это нипочем нельзя. Да и гордость в нем заговорила. «Право слово,— в какую-то минуту сказал он себе,— ничуть я не хуже ихнего, ну, знают они всего видимо-невидимо, подумаешь, мог бы и я их кой-чему поучить». Но стоило ей или ее матери обратиться к нему «мистер Иден», и, позабыв свою воинственную гордость, он сиял и таял от восторга. Он культурный человек, вот так-то, он обедает за одним столом с людьми, о каких прежде только читал в книжках. Он и сам будто герой книжки, разгуливает по печатным страницам одетых в переплеты томов.

Но пока он сидел там — вовсе не дикарь, каким описал его Артур, а кроткая овечка,— он упрямо думал да гадал, как же себя повести. Был он отнюдь не кроткая овечка, и роль второй скрипки никогда не подошла бы этой благородной, сильной натуре. Говорил он, лишь когда от него этого ждали, и говорил примерно так, как шел в столовую: спотыкался, останавливался, подыскивая в своем многоязычном словаре нужные слова, взвешивая те, что явно годятся, но боязно — вдруг неправильно их произнесешь,— отвергая другие, которых здесь не поймут, или они прозвучат уж очень грубо и резко. И непрестанно угнетало сознание, что из-за этой осмотрительности, мешающей оставаться самим собой, он выглядит олухом. Да еще вольнолюбивый нрав теснили эти жесткие рамки, как теснили шею крахмальные оковы воротничка. Притом он был уверен, что все равно сорвется. Природа одарила его могучим умом, остротою чувств, и неугомонный дух его не знал покоя. Внезапно им овладевал какой-либо замысел или настроение и в муках стремились выразиться и обрести форму, и, поглощенный ими, он забывал, где он, и с языка слетали привычные слова, те самые, из которых всегда состояла его речь.

И когда за плечом у него опять возник докучливый слуга и, прервав его раздумья, настойчиво что-то предложил, Мартин сказал коротко, резко:

— Пау.

За столом все тотчас выжидательно насторожились, чопорный лакей злорадствовал, а Мартин едва не сгорел от стыда. Но тут же нашелся. И объяснил:

— Это по-канакски «хватит», само сорвалось. Пишется: «П-а-у».

Он уловил любопытство в задумчивом взгляде Руфи, устремленном на его руки, и, войдя во вкус объяснений, сказал:

— Я только-только сошел на берег с одного тихоокеанского почтового. Он опаздывал, и в портах залива Пюджет мы работали,

грузили как проклятые смешанный фрахт — вы, верно, не знаете, каково это. Оттого и шкура содрана.

— Да нет, я не об этом думала,— в свою очередь поспешила объяснить Руфь.— У вас кисти кажутся не по росту маленькими.

Щеки его вспыхнули. Он решил, она обличила еще один его изъян.

— Да,— с досадой согласился он.— Слабоваты они у меня. Руки, плечи — ничего, как видно, силища бычья. А дам кому в зубы, глядишь, и себе кулак разобью.

И сразу пожалел о сказанном. Стал сам себе противен. Распустил язык. Не к месту это, здесь так нельзя.

— Какой вы молодец, что пришли на помощь Артуру, заступились за незнакомого человека,— тактично перевела она разговор — она заметила, что он расстроен, хотя и не поняла почему.

А он понял, что она сказала это по доброте, горячая волна благодарности поднялась в нем, и опять он забыл, что надо выбирать слова.

— Чепуха! — сказал он.— Тут бы всякий за парня вступился. Эти бандюги перли на рожон, Артур-то к ним не лез. Они на него накинулись, а уж я — на них, накостылял будь здоров. Тогда и шкуру на руках ободрал, зато зубы кой-кому повышибал. Нипочем не прошел бы мимо. Я как увижу...

Он замолк с открытым ртом, едва не выдав, какая же он мерзкая тварь, едва не показав, что попросту недостоин дышать одним с нею воздухом. И пока Артур, подхватив рассказ, в двадцатый раз расписывал свою встречу с пьяными хулиганами на пароме и как Мартин Иден кинулся в драку и спас его, сам спаситель, нахмурив брови, размышлял о том, какого сейчас свалял дурака, и отчаянней прежнего бился над задачей, как же себя вести среди этих людей. Нет, у него явно ничего не получается. Он не их племени и языка их не знает, так определил он для себя. Подделываться под них он не сумеет. Маскарад не удастся, да и не по нем это — рядиться в чужие одежды. Притворство и хитрости не в его натуре. Будь что будет, а надо оставаться самим собой. Говорить на их языке он еще не умеет, но ничего, научится. Это он решил твердо. А пока, чем играть в молчанку, станет разговаривать как умеет, только малость поприличней, чтоб понимали и не больно возмущались. А еще не станет он, хотя и молча, делать вид, будто в чем смыслит, если на самом деле не смыслит. Так он порешил, и, когда братья, заговорив про университетские занятия, несколько раз произнесли слово «триг», Мартин спросил:

— А это чего такое «триг»?

— Тригонометрия,— сказал Норман.— Высший раздел математики.

— А матика это чего? — последовал новый вопрос, и все засмеялись — на этот раз виной тому был Норман.

— Математика... арифметика,— последовал ответ.

Мартин кивнул. Ему приоткрылись беспредельные горизонты познания. Все, что он видел, становилось для него осязаемым. При редкостной силе его воображения даже отвлеченное обретало ощутимые формы. В мозгу совершалась некая алхимия, и тригонометрия, математика, сама область знаний, которую они обозначали, обратилась в красочную картину. Мартин увидел зелень листвы и прогалины в лесу — то в мягком полумраке, то искрящиеся на солнце. Издалека очертания были смутны, затуманены сиреневой дымкой, но за сиреневой этой дымкой ждало очарование неведомого, прелесть тайного. Он словно хлебнул вина. Впереди — приключения, дело и для ума и для рук, мир, который надо покорить; и вмиг из глубин сознания вырвалась мысль: *покорить, завоевать для нее, этой воздушной, бледной, точно лилия, девушки, что сидит рядом.*

Мерцающее видение было разъято на части, рассеяно Артуром, который весь вечер пытался заставить своего дикаря разговориться. Мартин Иден помнил о принятом решении. Он стал наконец самим собой, поначалу сознательно и расчетливо, но вскоре увлекся — и радостно творил, воссоздавал перед глазами слушателей ту жизнь, какую знал, какою жил сам. Вот он матрос на контрабандистской шхуне «Алкиона», перехваченной таможенным катером. Он смотрел тогда во все глаза и теперь может рассказать, что видел. И он рисует перед слушателями беспокойное море, и суда, и моряков. Он передает им свою зоркость, и все, что видел он, они увидели наконец его глазами. Как истинный художник, отбирал он самое нужное из множества подробностей и набрасывал картины жизни, пламенеющие светом и яркими красками, и наполнял их движением, захватывая слушателей потоком буйного красноречия, вдохновения, силы. Минутами их отпугивала беспощадная обнаженность его рассказа, грубоватая речь, но жестокость тотчас сменялась красотой, а трагедия смягчалась юмором, и перед ними открывались прихотливые повороты и причуды моряцкой натуры.

Он рассказывал, а Руфь не сводила с него изумленных глаз. Его жар обдавал теплом. Неужели до сих пор она всегда жила в холоде, думалось ей. Хотелось прислониться к этому горящему ярким пламенем неистовому человеку, в ком, точно в вулкане, бурлили силы, энергия, здоровье. Так тянуло прислониться к нему, что она с трудом подавила в себе это желание. Но было в ней и другое желание — отшатнуться. Внушали отвращение и эти исполосованные шрамами, потемневшие от тяжелой работы руки, будто в них въелась сама грязь жизни, и красная полоса, натертая

воротничком, и могучие бицепсы. Его грубость отпугивала. Каждое грубое слово оскорбляло слух, вся грубость его жизни оскорбляла душу. И все равно опять и опять к нему тянуло, и наконец подумалось: наверно, есть в нем какая-то злая сила, иначе откуда у него эта власть над ней. Все, во что она твердо верила, вдруг стало зыбким. Его необыкновенные приключения и постоянный риск сокрушали условности. Он так легко встречает опасности, так беззаботно смеется в лицо невзгодам, что кажется, жизнь вовсе не требует серьезных усилий и сдержанности, она — игрушка, которой можно забавляться, вертеть на все лады, беспечно порадоваться ей, а потом беспечно отбросить. «Так играй же! — кричало что-то в Руфи.— Прислонись к нему, раз хочется, обхвати обеими руками его шею!» Возмутительная, безрассудная мысль, но напрасно Руфь напоминала себе, что сама она воплощение чистоты и культуры и обладает всем, чего у него нет. Она огляделась и увидела, что все остальные смотрят на него точно зачарованные; Руфь пришла бы в отчаяние, не заметь она в глазах матери ужаса, смешанного с восхищением, но все-таки ужаса. Этот человек явился из тьмы и несет в себе зло. Мать понимает это, и значит, это правда. И она доверится суждению матери, как доверялась всегда и во всем. Его огонь уже не грел, и страх перед ним не пронизывал душу.

Позднее, за фортепьяно, она играла для него, наперекор ему, играла с вызовом, смутно желая подчеркнуть, как неодолима разделяющая их пропасть. Она обрушила на него музыку, словно беспощадные удары дубиной по голове, и музыка ошеломила его, подавила, но и подхлестнула. Он смотрел па девушку с благоговением. Как и она, ощущал, что пропасть между ними ширится, но еще того быстрее в нем росло стремление преодолеть эту пропасть. Однако слишком чуткий, слишком впечатлительный, не мог он просидеть весь вечер, уставясь в эту пропасть, да еще когда звучит музыка. Он был необычайно восприимчив к музыке. Словно алкоголь, она воспламеняла его чувства, словно наркотик — подхлестывала воображение и возносила над облаками. Она изгоняла низменную прозу жизни, затопляла душу красотой, возвышала, у него вырастали крылья. Той музыки, что играла Руфь, он не понимал. Совсем по-другому барабанили по клавишам в дансингах и ревела медь духовых оркестров, а ничего иного он не слыхал. Но в книгах что-то попадалось о такой вот музыке, и игру Руфи он принимал больше на веру, поначалу терпеливо ожидая певучей мелодии, ясного, простого ритма, озадаченный тем, что ритмы постоянно менялись. Вот он как будто уловил мелодию, расправил крылья воображения, а она тут же тонет в сумбуре враждующих звуков, которые ничего ему не говорят и возвращают на землю его утратившее легкость воображение.

В какую-то минуту ему подумалось, уж не хочет ли она оттолкнуть его этой музыкой. Он ощутил ее неприязнь и пытался разгадать, что же твердят ее пальцы, летая по клавишам. Потом отмахнулся от этой мысли, недостойной, невозможной, и уже свободней отдался музыке. В нем пробуждалась прежняя чудесная окрыленность. Тело стало невесомым, и весь он — дух, уже не прикованный к земле; и в нем и вокруг разливалось ослепительное сияние; а потом все окружающее исчезло, его подхватило и он, качаясь, взмыл над миром, над бесконечно дорогим ему миром. Перед глазами теснились несчетные яркие картины, в них смешалось знакомое и незнакомое. Он входил в неведомые гавани омытых солнцем земель, бродил по базарам меж дикарей, каких еще никто никогда не встречал. Он вдыхал ароматы пряных островов, как бывало теплыми безветренными ночами в море или длинными тропическими днями, он лавировал в полосе юго-восточных пассатов среди увенчанных пальмами коралловых островков, утопающих в бирюзовом море позади и всплывающих в бирюзовом море впереди. Картины эти возникали и исчезали, быстрые как мысль. Вот верхом на необузданном скакуне он летит по сказочно расцвеченным пустынным просторам Аризоны; а через миг уже глядит сквозь мерцающий жар вниз, в Долину Смерти, в гроб повапленный, или плывет на веслах по стынущему океану, где высятся и сверкают под солнцем громады ледяных островов. Он лежит на коралловом атолле, где кокосовые пальмы подступают вплотную к воркующему прибою. Голубоватым пламенем горят останки давным-давно потерпевшего крушение корабля, и в отсветах женщины танцуют хулу, и раздаются варварские любовные клики певцов, поющих под звон укулеле и грохот тамтамов. Чувственная тропическая ночь. Вдалеке, среди звезд темнеет кратер какого-то вулкана. Над головой плывет бледный лунный серп, и низко в небе горит Южный Крест.

Мартин был точно арфа: все, что он в жизни узнал и что стало его сознанием, было струнами, а нахлынувшая на него музыка — ветром, бьющим в струны, и струны отзывались воспоминаниями и грезами. Он не просто чувствовал. Ощущения облекались в форму, цвет, сияние, а воображение, разыгрываясь, дерзко воплощало их в нечто возвышенное, волшебное. Прошлое, настоящее, будущее смешались; и Мартина несло, покачивая, по необъятному теплому миру через доблестные приключения и благородные дела, к Ней и с ней, да, с ней, и он завоевывал ее, и, обхватив одной рукой, влек в полет через королевство своей души.

И Руфь, глянув через плечо, увидела отблески этого на его лице. Лицо преобразилось, огромные глаза сияли на нем, и сквозь завесу звуков созерцали трепетный пульс жизни, исполинские видения, созданные самим его духом. Она поразилась. Грубый не-

складный невежа исчез. Плохо сшитое платье, руки в ссадинах, обожженное солнцем лицо остались, но казались теперь тюремной решеткой, из-за которой глядит великая душа, безмолвная, бессловесная, оттого, что не умеет выразиться вслух. То было мимолетное озарение, в следующий миг Руфь опять увидела перед собой неотесанного парня и посмеялась над прихотью своей фантазии. Но что-то от этого мимолетного впечатления осталось. И когда Мартину пришла пора уходить и он стал неуклюже прощаться, она дала ему почитать том Суинберна и еще Браунинга — слушая курс английской литературы, она занималась Браунингом. Он благодарил, краснея и запинаясь, и таким казался мальчишкой, что волна жалости поднялась в ней, жалости неодолимой, поистине материнской. Она уже не помнила ни неотесанного парня, ни плененную душу, ни мужчину, под чьим по-мужски жадным взглядом ей стало сладко и страшно. Сейчас перед ней был просто мальчишка. Шершавой, заскорузлой рукой он жал ей руку и говорил запинаясь:

— Самый замечательный день в жизни. Я... это... не привык я к такому...— Он беспомощно огляделся.— К таким вот людям, к домам... В новинку мне это... и нравится.

— Надеюсь, вы еще навестите нас,— говорила Руфь, пока он прощался с братьями.

Он нахлобучил кепку, смущенно, враскачку шагнул за дверь и исчез.

— Ну, что ты о нем скажешь? — тотчас спросил Артур.

— Необыкновенно интересен... Будто свежим ветром повеяло,— ответила она.— Сколько ему лет?

— Двадцать... почти двадцать один. Я его сегодня спрашивал. Мне-то казалось, он много старше.

«А я на три года старше»,— думала она, целуя братьев и желая им спокойной ночи.

ГЛАВА 3

Мартин Иден спускался по ступеням, а рука сама сунулась в карман пиджака. Вынырнула с коричневой рисовой бумагой и щепоткой мексиканского табаку, искусно свернула цигарку. Он глубоко затянулся и медленно, неспешно выдохнул клуб дыма.— Черт побери! — громко сказал он с благоговейным изумлением.— Черт побери! — повторил он. И еще раз пробормотал: «Черт побери!» Потом рука потянулась к воротничку, он сорвал его и сунул в карман. Моросил холодный дождик, а Мартин обнажил голову, расстегнул жилет и зашагал враскачку, как ни в чем не бывало. Он едва замечал, что дождит. Восторженно грезил наяву, перебирал в мыслях все только что пережитое.

Наконец-то он встретил Женщину — он не часто думал об этом прежде, не склонен он был думать о женщинах, но такую ждал и смутно надеялся рано или поздно встретить. Сидел с ней рядом за столом. Жал ей руку, глядел ей в глаза и на миг увидал в них прекрасную душу... но нет, не прекраснее глаз, в которых светилась душа, не прекраснее плоти, в которую душа облечена. О плоти он не думал, и это для него было внове, ведь женщины, которых он знал прежде, вызывали в нем только плотские желания. А вот о ее плоти почему-то так не думалось. Словно тело ее не такое, как у всех,— бренное, подвластное недугам. Нет, оно не просто оболочка души. Оно — порождение души, чистое и благодатное воплощение ее божественной сути. Ощущение божественности ошеломило его. Спугнуло мечты и отрезвило. Никогда прежде не воспринимал он ни слов, ни указаний, ни намеков на божественное. Никогда он в божественное не верил. Он всегда был неверующим, всегда добродушно подсмеивался над судовыми священниками и их разговорами о бессмертии души. За гробом жизни нет, возражал он, живешь здесь, сегодня, а потом — вечная тьма. Но вот в глазах девушки он увидел душу, бессмертную душу, которая не может умереть. Никогда еще никто, ни мужчина, ни женщина, не заставил его задуматься о бессмертии. Только она пробудила эту мысль в первый же миг, первым взглядом. И вот он идет, и перед глазами чуть светится ее лицо, бледное и серьезное, милое и чуткое, улыбается милосердно и нежно, как способна улыбаться лишь фея, и такой оно сияет чистотой, какую он и вообразить не мог. Чистота эта сразила его, точно удар. И испугала. Он знавал и добро и зло, но даже не подозревал, что жизни может быть присуща чистота. А теперь, в ней, он постиг чистоту как высшее воплощение доброты и непорочности, которые вместе и составляют жизнь вечную.

И тотчас возникло честолюбивое желание тоже достичь вечной жизни. Он и воды-то этой девушке поднести недостоин, это уж точно; неслыханная удача, сказочное везенье позволили ему увидеть ее в этот вечер, сидеть рядом, говорить с нею. Все вышло случайно. Нет здесь его заслуги. Не достоин он такого счастья. Он готов молиться на нее. Теперь он смиренный, кроткий, полон самоуничижения и сознает собственное ничтожество. С таким настроением идут исповедоваться грешники. Конечно, он грешен. И как у смиренных и униженных в час покаяния нет-нет да и мелькнет перед глазами блистательная картина их будущего торжества, так и ему приоткрывалось будущее, которого он достигнет, завладев ею. Но что это значит — владеть ею, представлялось туманно, совсем не похоже на то, что он прежде понимал под обладанием. Он возносился на крыльях сумасбродного честолюбия, и вот он уже вместе с ней достигает невообразимых высот, делит с ней мысли,

упивается всем, что есть прекрасного и благородного. Ее душой — вот чем он хотел завладеть, стремился к обладанию, очищенному от всего низменного, к свободному единению душ, но додумать это не умел. Не было у него таких мыслей. В сущности, он сейчас вовсе не думал. Чувство возобладало над разумом, и, весь дрожа, трепеща от неведомых доныне ощущений, он блаженно плыл по морю чувствований, где само чувство, восторженное и одухотворенное, возносилось над высочайшими вершинами жизни.

Он шел шатаясь, точно пьяный, и лихорадочно бормотал:

— Черт подери! Черт подери!

Полицейский на углу с подозрением уставился на него, потом распознал моряцкую походку.

— Где набрался-то? — резко спросил он.

Мартин Иден спустился с небес на землю. Натура у него была подвижная, он быстро ко всему приспосабливался, легко перевоплощался, смотря по обстоятельствам. Услыхав окрик полицейского, мгновенно очнулся, стал самым обыкновенным матросом.

— Вот ловко! — со смехом отозвался он.— Вслух говорю, а самому невдомек.

— Еще немного и запоешь,— определил полицейский.

— Не, нипочем. Дайте-ка огоньку, сяду сейчас на трамвай и домой.

Он закурил, попрощался и пошел своей дорогой.

— Надо же! — тихонько воскликнул он.— Этот обалдуй решил, что я пьяный.— Он улыбнулся про себя и задумался.— И верно, пьяный я,— прибавил он.— Вот не думал, чтоб поглядеть на женское лицо и такое с тобой сделается.

На Телеграф-авеню он сел на трамвай, идущий в Беркли. В вагоне полно было юнцов и молодых людей, они распевали песни, а время от времени хором что-нибудь выкрикивали. Мартин Иден с любопытством их разглядывал. Студенты университета. Учатся вместе с ней, из того же общества, может, и знакомы с ней, могли бы каждый день с ней видеться, только захоти. А надо же, не хотят, вот ездили куда-то развлекаться, чем бы провести этот вечер с ней, разговаривать с ней, сидеть вокруг нее, и восхищаться, и обожать. Мысль перекинулась на другое. Он приметил одного из толпы — глазки-щелочки, отвислая губа. Дрянь малый, сразу видать. На корабле стал бы трусом, слюнтяем, доносчиком. Нет, он, Мартин Иден, куда как лучше. При этой мысли он повеселел. Будто стал ближе к Ней. И начал сравнивать себя с этими студентами. Ощутил свое сильное мускулистое тело,— да, он наверняка покрепче будет. А вот головы ихние набиты знаниями, и они могут разговаривать с ней на ее языке. Мысль эта привела его в уныние. Но мозги-то у нас на что? — внутренне воскликнул он. Чего они смогли, то и он сможет. Узнавали про жизнь по книгам, а он-

то жил вовсю, по-настоящему. Он тоже много чего знает, только совсем про другое. Есть ли среди них такие, кто умеет вязать узлы, стоять за штурвалом, на вахте? Жизнь его развернулась перед ним вереницей картин — опасности, риск, лишения, тяжкий труд. Он припомнил свои неудачи, передряги, в какие попадал, пока набирался ума-разума. Уж в этом он их превзошел. Рано или поздно им тоже придется зажить подлинной жизнью, и хватить лиха. Очень хорошо. Покуда они будут проходить эту науку, он сможет изучать другую сторону жизни по книгам.

Трамвай пересекал местность, отделявшую Окленд от Беркли, дома здесь были редки, и Мартин глядел в оба, чтоб не прозевать знакомый двухэтажный домик с самодовольной вывеской «Розничная торговля Хиггинботема за наличный расчет». На углу Мартин Иден сошел. Задержался взглядом на вывеске. Она говорила ему больше, чем сами слова. Буквы и те выдавали самовлюбленное ничтожество, душонку, склонную к мелким подлостям. Бернард Хиггинботем был женат на сестре Мартина, и Мартин Иден хорошо его изучил. Он отпер дверь своим ключом и поднялся на второй этаж. Здесь обитал его зять. Бакалейная лавка помещалась внизу. В воздухе стоял запах гниющих овощей. Ощупью пробираясь по коридору, Мартин споткнулся об игрушечную коляску, брошенную кем-то из его многочисленных племянников и племянниц, и с грохотом стукнулся о дверь. «Скряга! — пронеслась мысль.— Скаредничает, грошовую лампочку не зажжет, а квартирантам недолго и шею сломать».

Он нашарил дверную ручку и вошел в освещенную комнату, где сидели его сестра и Хиггинботем. Она латала мужнины брюки, а он, тощий, длинный, развалился на двух стульях,— со второго свешивались ноги в поношенных домашних туфлях. Оторвавшись от газеты, он взглянул поверх нее на вошедшего темными лживыми колючими глазами. При виде зятя в Мартине всегда поднималось отвращение. Никак не понять, что нашла в этом Хиггинботеме сестра. Этакое вредное насекомое, так и подмывает раздавить его ногой. «Ничего, когда-нибудь я еще набью ему морду»,— нередко утешал себя Мартин, вынужденный терпеть его присутствие. Глазки зятя, злобные, точно у хорька, впились в него с неудовольствием.

— Ну, чего еще? — резко спросил Мартин.— Выкладывай.

— Эту дверь красили только на прошлой неделе,— угрожающе и вместе жалобно произнес мистер Хиггинботем.— А ты знаешь, сколько нынче дерут профсоюзники. Ходил бы поосторожней.

Мартин собрался было ответить, да раздумал — что толку связываться. Не задерживаясь взглядом на подлом, мерзком человечишке, он посмотрел на литографию на стене. И поразился. Преж-

де она всегда нравилась ему, а сейчас будто увидел впервые. Барахло — вот что это такое, как все в этом доме. Мысленно он вернулся в дом, откуда только что ушел, и увидел сперва картины, а потом Ее — пожимая ему руку на прощанье, она глядела на него так славно, по-доброму. Он забыл, где находится, забыл про Бернарда Хиггинботема, пока сей джентльмен не спросил:

— Призрак, что ль, увидел?

Мартин очнулся, посмотрел в ехидные, свирепые, трусливые глаза-бусинки, и перед ним, как на экране, возникли эти же глаза, когда Хиггинботем продает что-нибудь внизу, в лавке,— подобострастные, самодовольные, масленые и льстивые.

— Да,— ответил Мартин.— Увидел призрак. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Гертруда.

Он пошел из комнаты, споткнулся о распоровшийся шов заштопанного ковра.

— Не хлопай дверью,— остерег Хиггинботем.

Мартина бросило в жар, но он сдержался и без стука притворил за собой дверь.

Хиггинботем с торжеством поглядел на жену.

— Напился,— хрипло прошептал он.— Говорил я тебе, малый напьется.

Она покорно кивнула.

— Глаза у него очень блестели,— согласилась она,— и воротничка нету, а уходил в воротничке. Но, может, и всего-то выпил стаканчик-другой.

— Да его ноги не держат,— заявил супруг.— Я-то видел. Идет — спотыкается. Сама слыхала, в коридоре чуть не грохнулся.

— Наверно, об Алисину коляску споткнулся,— сказала она.— В темноте не видать.

В душе Хиггинботема поднимался гнев, и голос он тоже возвысил. Весь день в лавке он был тише воды, ниже травы, дожидаясь вечера, когда среди домашних можно наконец стать самим собой.

— Говорят тебе, твой драгоценный братец пришел пьяный.

Он чеканил слова холодно, резко, безжалостно, точно штамповальная машина. Жена вздохнула и промолчала. Была она крупная, тучная, всегда неряшливо одетая, всегда замученная бременем своей плоти, домашних забот и мужнина нрава.

— Говорят тебе, сидит это в нем, от папаши унаследовал,— продолжал Хиггинботем тоном обвинителя.— Помрет в канаве, тем же манером. Сама знаешь.

Жена со вздохом кивнула и продолжала шить. Оба не сомневались, что Мартин вернулся пьяный. Не способные воспринять красоту, они не распознали в блестящих глазах и пылающих щеках примет первой юношеской любви.

— Прекрасный пример подает детям,— вдруг фыркнул Хиггинботем, нарушив молчание, его злила безответность жены. Иногда ему хотелось даже, чтобы она больше ему перечила.— Если еще раз придет выпивший, пускай выметается. Поняла? Не желаю терпеть его дебоширства, нечего ему пьянством растлевать невинных деток.— Хиггинботему нравилось новое для него слово, недавно вычитанное в газете.— Да, растлевать, вот как это называется.

И опять жена только вздохнула, горестно покачала головой и все продолжала шить. Хиггинботем вернулся к газете.

— А за последнюю неделю он заплатил? — метнул он поверх газетного листа.

Она кивнула, потом прибавила:

— Кой-какие деньжата у него еще есть.

— А когда опять в море?

— Видать, когда спустит все заработанное,— ответила она.— Вчера в Сан-Франциско ездил приглядеть корабль. Только он еще при деньгах, и разборчивый он, не на всякий корабль станет наниматься.

— Нечего ему, голодранцу, задирать нос,— фыркнул Хиггинботем.— Разборчивый нашелся!

— Он чего-то говорил, мол, какая-то шхуна готовится плыть на край света, клад будут искать... если, мол, хватит у него денег дождаться, поплывет с ними.

— Захотел бы остепениться, я б его взял возчиком,— сказал супруг, но в голосе не было и намека на благожелательность.— Том взял расчет.

На лице жены отразились тревога и недоумение.

— Сегодня вечером ушел. Нанялся к Карузерам. Они будут ему платить больше, мне это не по карману.

— Говорила я тебе, уйдет он,— воскликнула жена.— Ты мало ему платил, он больше стоит.

— Потише у меня,— взъелся Хиггинботем.— Тыщу раз тебе говорил, не суйся в мои дела. Дождешься у меня.

— Мне все равно,— она шмыгнула носом.— Том был хороший парнишка.

Супруг свирепо поглядел на нее. Совсем от рук отбилась.

— Не был бы твой братец бездельником, я взял бы его возчиком,— проворчал он.

— За стол и жилье он платит,— возразила она.— И он мне брат, и ничего тебе пока что не задолжал, какое у тебя право беспереч к нему цепляться. Я ведь тоже не бесчувственная, хоть и прожила с тобой семь лет.

— А сказала ему, пускай бросает читать за полночь, не то будешь брать с него за газ? — спросил Хиггинботем.

Жена не ответила. Бунтарский дух ее сник, задавленный в глубине усталой плоти. Муж торжествовал. Победа осталась за ним. Глаза блеснули, с наслаждением он слушал, как она хлюпает носом. Он упивался, унижая ее, унизить ее теперь куда легче, чем бывало в первые годы супружества, пока орава детворы и вечные мужнины придирки не измотали ее вконец.

— Ну, скажешь завтра, только и делов,— продолжал Хиггинботем.— И вот что, пока не забыл, пошли-ка завтра за Мэриан, пускай посидит с детишками. Тома-то нет, придется самому стать за возчика, а ты, имей в виду, будешь заместо меня в лавке.

— Так ведь завтра у меня стирка,— слабо возразила жена.

— Тогда встань пораньше и сперва постирай. Я до десяти не выеду.

Он злобно зашуршал газетой и опять принялся читать.

ГЛАВА 4

Мартин Иден, у которого от стычки с зятем все кипело внутри, ощупью пробрался по темному коридору и вошел к себе в крохотную каморку для прислуги, где только и умещались кровать, умывальник да стул. Мистер Хиггинботем из скаредности прислугу не держал — жена и сама справится. К тому же комната прислуги позволяла пускать не одного, а двух квартирантов. Мартин положил Суинберна и Браунинга на стул, снял пиджак и сел на кровать. Пружины одышливо заскрипели под ним, но он не обратил на это внимания. Начал было снимать башмаки, но вдруг уперся взглядом в стену напротив, где на белой штукатурке проступали длинные грязно-бурые пятна — следы протекшего сквозь крышу дождя, и увидел: на этом нечистом фоне то плывут, то вспыхивают видения. Он забыл про башмаки и смотрел долго-долго, потом губы его дрогнули и он шепнул: «Руфь!»

«Руфь!» Он и помыслить не мог, что обыкновенный звук может быть так прекрасен. Имя это ласкало слух, и Мартин упоенно повторял его: «Руфь!» То был талисман, волшебное слово, заклинанье. Стоит прошептать его — и вот уже перед ним мерцает ее лицо, золотым сияньем заливает грязную стену. И не только стену. Оно уплывает в бесконечность, и душа устремляется за ним в эти золотые глубины на поиск ее души. Все лучшее, что было в Мартине, изливалось великолепным потоком. Уже одна мысль о ней облагораживала и очищала его, делала лучше и рождала желание стать лучше. Это было ново. Никогда еще не встречал он женщину, рядом с которой стал бы лучше. Наоборот, все они будили в нем животное. Он этого и не подозревал, но как ни жалок был их дар, многие отдали ему лучшее, что в них было. Никогда

не задумываясь о самом себе, он не догадывался, что есть в нем что-то, пробуждающее любовь в женских сердцах,— и потому их так к нему влечет. Женщины часто его добивались, сам же он ничуть их не добивался; и никогда бы не подумал, что благодаря ему иные женщины становились лучше. До сих пор он смотрел на них с беззаботной снисходительностью, а теперь ему казалось, женщины вечно цеплялись за него, тянули вниз своими грязными руками. Было это несправедливо по отношению и к ним и к себе. Но, впервые задумавшись о самом себе, он и не мог судить по справедливости, прошлое теперь виделось ему позорным, и он сгорал от стыда.

Он порывисто поднялся и попробовал разглядеть себя в грязном зеркале над умывальником. Провел по зеркалу полотенцем и опять стал себя рассматривать, долго, внимательно. Впервые в жизни он посмотрел на себя по-настоящему. Глаза у него были зоркие, но до этой самой минуты замечали лишь вечно изменчивую картину мира, в который он всматривался так жадно, что всматриваться в себя было уже недосуг. Он увидел голову и лицо молодого двадцатилетнего парня, но, непривычный оценивать мужскую внешность, не понял, что тут хорошо, а что плохо. На широкий выпуклый лоб падают темные каштановые пряди, волнистые, даже чуть кудрявятся — ими восхищалась каждая женщина, каждой хотелось гладить их ласково, перебирать. Но он лишь скользнул по этой грриве взглядом, решив, что в Ее глазах это не достоинство, зато долго, задумчиво разглядывал высокий квадратный лоб, стараясь проникнуть внутрь, понять, хорошая ли у него голова. Толковые ли мозги скрываются за этим лбом — вот вопрос, который сейчас его донимал. На что они способны? Далеко ли они его поведут? Приведут ли к Ней?

Интересно, видна ли душа в этих серо-стальных глазах, часто совсем голубых, вдвойне зорких оттого, что привыкли всматриваться в соленые дали озаренного солнцем океана. И еще интересно, какими его глаза кажутся ей. Он попробовал вообразить, что чувствует она, глядя в его глаза, но фокус не удался. Он вполне мог влезть в чужую шкуру,— но лишь если знал, чем и как тот человек живет. А чем и как живет она? Она чудо, загадка, где уж ему угадать хоть одну ее мысль! Ладно, по крайней мере, глаза у него честные, низости и подлости в них нет. Коричневое от загара лицо поразило его. Ему и невдомек было, что он такой черный. Он закатал рукав рубашки, сравнил белую кожу ниже локтя, изнутри, с лицом. Да, все-таки он белый человек. Но руки тоже загорелые. Он вывернул руку, другой рукой перекатил бицепс, посмотрел с той стороны, куда меньше всего достает солнце. Рука там совсем белая. Подумал, что бронзовое лицо, отраженное в зеркале, когда-то было таким же белым, и засмеялся: ему и в мысль не пришло,

что немного найдется на свете бледноликих фей, которые могли похвастаться кожей светлей и глаже, чем у него, светлей, чем там, где ее не опалило яростное солнце.

Рот был бы совсем как у херувима, если бы не одна особенность его полных чувственных губ: в минуту напряжения он крепко их сжимает. Порою стиснет в ниточку — и рот становится суровый, непреклонный, даже аскетический. У него губы бойца и любовника. Того, кто способен упиваться сладостью жизни, а может ею пренебречь и властвовать над жизнью. Подбородок и нижняя челюсть сильные, чуть выдаются вперед с оттенком той же воинственности. Сила в нем уравновешивает чувственность и как бы привносит в нее свежесть, заставляя любить красоту только здоровую и отзываться ощущениям чистым. А меж губами сверкают зубы, которые не ведали забот дантиста и не нуждались в его помощи. Белые зубы, крепкие, ровные, решил Мартин, разглядывая их. И, разглядывая, вдруг забеспокоился. Откуда-то из глубин памяти всплыло смутное впечатление: вроде есть на свете люди, которые каждый день чистят зубы. Люди, что стоят куда выше него, люди ее круга. Наверно, и она каждый день чистит зубы. Что бы она подумала, узнай она, что он отродясь не чистил зубы? Он непременно купит зубную щетку, будет и у него такая привычка. Завтра же начнет, не откладывая. Одними только подвигами до нее не дотянешься. Придется и в обиходе своем все менять, и зубы чистить, и ошейник носить, хотя надеть крахмальный воротничок для него — все равно что отречься от свободы.

Он все не опускал руку, потирая большим пальцем мозолистую ладонь и разглядывая ее — грязь будто въелась в самую плоть, никакой щеткой не отдерешь. А какая ладонь у нее! Вспомнил и чуть не захлебнулся восторгом. Точно лепесток розы, подумал он; прохладная и нежная, будто снежинка. Вот уж не представлял, что женская рука, всего лишь рука, может быть такой восхитительно нежной. Вообразилось чудо — как она ласкает, такая рука, он поймал себя на этой мысли и виновато покраснел. Слишком грубо, не годится так думать о ней. Такая мысль вроде спорит с возвышенностью ее души. Вся она — хрупкий светлый дух, недосягаемый для всего низменного, плотского; и все-таки опять и опять возвращалось это ощущение — ее нежная ладонь в его руке. Он привык к шершавым, мозолистым рукам фабричных девчонок и женщин, занятых тяжелой работой. Что ж, понятно, отчего их руки такие жесткие, но ее ладонь... Она такая нежная оттого, что никогда не знала труда. С благоговейным страхом он подумал: а ведь кому-то незачем работать ради куска хлеба, и между ним и Руфью разверзлась пропасть. Ему вдруг представилась эта аристократия — люди, которые не трудятся. Будто огромный бронзовый идол вырос перед ним на стене, надменный и могу-

щественный. Сам он работал с детства, кажется, даже первые воспоминания связаны с работой, и все его родные работали ради куска хлеба. Вот Гертруда. Руки ее загрубели от бесконечной домашней работы и то и дело распухают от стирки, багровеют, точно вареная говядина. А вот другая его сестра, Мэриан. Прошлым летом она работала на консервном заводе, и ее славные тоненькие ручки теперь все в шрамах от ножей, резавших помидоры. Да еще по суставу на двух пальцах отхватила прошлой зимой резальная машина на картонажной фабрике. В памяти остались загрубелые ладони матери, когда она лежала в гробу. И отец работал до последнего вздоха; к тому времени, как он умер, ладони его были покрыты мозолями в добрых полдюйма толщиной. А у Нее руки мягкие, и у ее матери, и даже у братьев. Вот это всего поразительней; вернейший, ошеломляющий знак высшей касты, знак того, как бесконечно далека Руфь от него, Мартина.

Горько усмехнувшись, он опять сел на кровать и наконец снял башмаки. Дурак. Опьянел от женского лица, от нежных белых ручек. А потом у него перед глазами, на грязной штукатурке стены, вдруг возникла картина. Он стоит у мрачного многоквартирного дома. Поздний вечер, лондонский Ист-Энд, и подле него стоит Марджи, пятнадцатилетняя фабричная девчонка. Он проводил ее домой после обеда, который раз в году хозяин устраивает для рабочих. Она жила в этом мрачном доме, где и свинье-то не место. Он протянул руку на прощанье. Марджи подставила губы для поцелуя, но он не собирался ее целовать. Почему-то он ее побаивался. И тогда она лихорадочно стиснула его руку. Он почувствовал, какая у нее жесткая мозолистая ладонь, и волна жалости захлестнула его. Он увидел ее тоскливые голодные глаза, истощенное недоеданием почти еще детское тело, пугливо и неистово рванувшееся из детства к зрелости. И он обнял ее с бесконечным состраданием, наклонился и поцеловал в губы. Она негромко радостно вскрикнула и по-кошачьи прильнула к нему. Несчастный заморыш! Мартин все вглядывался в эту картину далекого прошлого. По коже поползли мурашки, как в тот вечер, когда она приникла к нему и сердце его согрела жалость. Какая серая картина, все склизко серое, и под моросящим дождем склизкие камни мостовой. А потом лучезарное сиянье разлилось по стене, и, заслоняя ту картину, проступило, замерцало бледное лицо Руфи в короне золотых волос, далекое и недосягаемое, как звезда.

Он взял со стула книги — Браунинга и Суинберна — и поцеловал их. «А все равно она мне сказала прийти опять»,— подумал он. Еще раз глянул на себя в зеркало и громко, торжественно произнес:

— Мартин Иден, завтра первым делом пойдешь в библиотеку и почитаешь, как полагается вести себя в обществе. Понятно?

Он погасил свет, и под тяжестью его тела заскрипели пружины.

— И еще надо бросить ругаться, дружище, надо бросить ругаться,— сказал он вслух.

Он задремал, потом заснул, и такие ему снились диковинные сны, какие может увидеть разве что курильщик опиума.

ГЛАВА 5

Наутро он проснулся и после радужных снов очутился в парной духоте, все пропахло мыльной пеной и грязным бельем, сотрясалось от дребезжания и скрежета тяжких будней. Выйдя из своей каморки, Мартин услыхал хлюпанье воды, резкий окрик, громкую затрещину — это задерганная сестра отвела душу на комто из своих многочисленных отпрысков. Вопль малыша пронзил Мартина как ножом. Он ощутил, что все, даже самый воздух, которым он дышит, мерзко, низменно. Как далеко это от красоты и покоя, которыми полон дом Руфи. Там мир духовный, здесь — материальный, и притом низменно материальный.

— Элфрид, поди сюда,— позвал он плачущего малыша и полез в карман брюк за деньгами, он держал их небрежно и тратил с той же легкостью, с какой жил. Сунул мальчонке монету в двадцать пять центов, прижал его на минуту к себе, хотелось унять его слезы.

— А теперь беги, купи леденцов, да смотри поделись с братьями и сестрами. Купи таких, чтоб сосать подольше.

Гертруда подняла разгоряченное лицо от корыта и глянула на него.

— Хватило бы и пятицентовика. Всегда ты так, не знаешь цену деньгам. Теперь малый объестся, живот заболит.

— Ничего, сестренка,— весело возразил Мартин.— Над моими деньгами трястись нечего. Доброе тебе утро, и поцеловал бы, да ты вот занятая.

Быть бы с сестрой поласковее, хорошая она и по-своему его любит. Но с годами она все больше становится на себя непохожа, бывает, ее не поймешь. Тяжкая работа, куча ребятишек, сварливый муж — наверно, из-за всего этого она так переменилась. И вдруг Мартину вообразилось, будто все ее существо вбирает в себя что-то от гниющих овощей, вонючей мыльной воды и замусоленной мелочи, которую она принимает за прилавком.

— Поди позавтракай,— буркнула она, хотя в душе была довольна. Из всего бродячего выводка братьев Мартин всегда был ее любимцем. И прибавила, вдруг ощутив, как что-то дрогнуло в ее сердце: — Дай-ка я поцелую тебя.

Большим и указательным пальцем она сняла стекающую пену с одной руки, потом с другой. Мартин обхватил ее расплывшуюся талию и поцеловал влажные от жары и пара губы. Ее глаза наполнились слезами — не столько от сильного чувства, сколько от слабости, которую вызывала вечная непосильная работа. Сестра оттолкнула его, но он уже успел заметить ее слезы.

— Завтрак в духовке,— поспешно сказала она.— Джим, должно, уж встал. Я спозаранку на ногах, стирка у меня. А теперь пошевеливайся и поскорей выметайся. Дома нынче хорошего не жди, Том-то взял расчет, придется Бернарду самому побывать за возчика.

Мартин пошел на кухню, а сердце щемило, распаренное лицо сестры, ее неряшливый вид растравляли душу. Будь у нее на это немного времени, она бы его любила. Но она до полусмерти замучена. Скотина Бернард Хиггинботем, совсем ее загонял. И однако Мартин поневоле почувствовал, что в сестрином поцелуе не было никакой прелести. Правда, то был необычный поцелуй. Уже многие годы Гертруда целовала его, лишь когда он уходил в плаванье или возвращался. Но сегодняшний поцелуй отдавал мыльной пеной, а губы у нее дряблые. Они не прижались к его губам быстро, сильно, как положено в поцелуе. Это был поцелуй усталой женщины, чья усталость копилась так долго, что она разучилась целоваться. Мартин помнил ее девушкой — до того, как выйти замуж, она, бывало, после тяжелого рабочего дня в прачечной ночь напролет танцевала с лучшими танцорами, а наутро прямиком с танцев опять отправлялась в прачечную — и хоть бы что. А потом он подумал о Руфи, у нее, наверно, губы прохладные и нежные, ведь вся она — прохлада и нежность. Должно быть, она и целует, как пожимает руку, как смотрит на тебя,— бесхитростно, от души. Он осмелился представить, будто ее губы коснулись его губ, да так живо это представил, что у него закружилась голова и показалось, он парит в облаке розовых лепестков и весь пропитался их ароматом.

На кухне он застал Джима, второго квартиранта, тот лениво ел овсяную кашу и смотрел скучливо, отсутствующим взглядом. Он был подручным слесаря, и его слабовольный подбородок, сластолюбие и вместе с тем трусоватая тупость были верным знаком, что в жизни ему не преуспеть.

— Чего не ешь? — спросил он, когда Мартин уныло ковырнул уже простывшую недоваренную кашу.— Опять вчера напился?

Мартин покачал головой. Все, что вокруг, угнетало своим убожеством. Казалось, Руфь Морз теперь от него дальше прежнего.

— А я напился,— беспокойно хихикнув, похвастался Джим.— Набрался под завязку. И девчонка подвернулась первый сорт! Домой меня Билли доставил.

Мартин кивком подтвердил, что слушает — так уж он был устроен,— выслушивал всякого, кто бы с ним ни заговорил,— и налил себе чашку чуть теплого кофе.

— В Лотос-клуб на танцы пойдешь вечером? — спросил Джим.— Пиво будет, а если нагрянет компания из Темескала, заварушки не миновать. Мне-то плевать. Все равно поведу свою подружку. Ух, и погано ж у меня во рту!

Он скривился, попытался смыть мерзкий вкус глотком кофе.

— Ты Джулию знаешь?

Мартин покачал головой.

— Подружка моя,— объяснил Джим,— пальчики оближешь. Познакомил бы тебя с ней, да боюсь, отобьешь. И чего девчонки к тебе льнут, ей-ей не пойму, а только все они от нас к тебе кидаются, прямо тошно.

— У тебя ни одной не переманил,— равнодушно ответил Мартин. Надо ж как-то досидеть за завтраком.

— Ну да, не переманил,— вскинулся Джим.— А Мэгги?

— Ничего у меня с ней не было. Даже и не танцевал с ней больше, только в тот вечер.

— Во-во, того раза и хватило! — воскликнул Джим.— Станцевал ты с ней да поглядел на нее — крышка. Оно конечно, у тебя на уме ничего такого не было, а она мне сразу от ворот поворот. Больше и не глядит на меня. Знай все про тебя спрашивает. Ты б только захотел, она б тебе живо свиданье назначила.

— Так ведь я не хотел.

— А все едино. Где уж мне с тобой тягаться.— Джим посмотрел на него с восхищением.— И чем это ты их зацепляешь, Март?

— Не сохну по ним, вот чем,— был ответ.

— Прикидываешься, мол, тебе до них и дела нет? — жадно допытывался Джим.

Мартин призадумался, ответил не сразу.

— Пожалуй, и так можно, да сдается, оно по-другому. Мне и правда нет до них дела... почти что. А ты прикинься, глядишь, и подействует.

— Эх, не был ты вчера на танцульке в гараже Райли,— ни с того ни с сего заявил Джим.— Многие ребята сплоховали. Был там один красавчик из Западного Окленда. По кличке Крыса. Такой ловкий. Никто в подметки ему не годился. Мы все жалели, что тебя нет. А где тебя носило?

— Ездил в Окленд,— ответил Мартин.

— Представление глядел?

Мартин отодвинул тарелку и встал.

— Вечером на танцах будешь? — крикнул вдогонку Джим.

— Нет, навряд ли,— ответил Мартин.

Он спустился по лестнице и вышел на улицу, спеша надышаться. В спертом воздухе квартиры он задыхался, а болтовня подручного доводила до бешенства. В иные минуты он еле сдерживался, готов был ткнуть того мордой в тарелку с кашей. Казалось, чем дольше Джим болтает, тем дальше отступает от него Руфь. Как стать достойным ее, когда водишь компанию с такой вот скотиной? Мартина ужаснула огромность встающей перед ним задачи, придавило тяжкое бремя — принадлежность к рабочему люду. Все держит его и не дает подняться — сестра, ее дом и семья, подручный слесаря Джим, все, кого он знает, все, с чем связан самой жизнью. Он ощутил оскомину от жизни, а ведь прежде она радовала, хотя вокруг было все то же. Никогда его не одолевали сомнения, разве только над книгами, так ведь книги они книги и есть,— красивые сказки о сказочном неправдоподобном мире. Но теперь он увидел этот мир, подлинный, самый настоящий, и на вершине его — цветок, женщину по имени Руфь; и с этих пор ему суждена горечь, и острая, болезненная тоска, и мука безнадежности, тем более жгучие, что питает их надежда.

Он поколебался, в какую читальню пойти, в Берклийскую или Оклендскую, и порешил в Оклендскую, ведь в Окленде живет Руфь. Как знать, вдруг он ее встретит там: библиотека — самое подходящее для нее место. С чего начинать в библиотеке, он не знал и долго бродил между бесчисленными рядами полок с беллетристикой, и наконец девушка, похожая на француженку, с тонкими чертами лица — она, видно, тут распоряжалась,— сказала ему, что справочный отдел наверху. Он не сообразил спросить совета у человека, сидящего там за столом, и отправился путешествовать среди полок с книгами по философии. Про философские книги он слыхал, но ему и не снилось, что по этой части столько понаписано. Высокие полки с громоздящимися на них увесистыми томами вызывали растерянность и в то же время подзадоривали. Тут было над чем поломать голову. В математическом отделе он увидел книги по тригонометрии, принялся было листать и в недоумении уставился на непонятные формулы и цифры. Он же умеет читать на родном языке, а это какая-то чужая речь. Норману и Артуру она известна. Он слышал ее от них. А ведь они братья Руфи. Он ушел от этих полок в отчаянии. Казалось, книги наступают со всех сторон, сейчас раздавят. Раньше он и не догадывался, что запас человеческих знаний так велик. Стало страшно. Да разве его мозгу со всем этим совладать? Потом вспомнилось, что есть же люди, и немало, кто с этим совладал; и он шепотом дал себе великую клятву, страстно поклялся, что, раз с этим справились те люди, справится и он, он не глупее других.

Так он бродил там и разглядывал набитые мудростью человечества полки, и уныние то и дело сменялось восторгом. В одном

из смешанных отделов он наткнулся на «Конспект Норрье». Он благоговейно переворачивал страницы. Этот язык ему все же сродни. Их роднит море. Потом он увидел «Навигационный справочник» Боудича и книги Лекки и Маршалла. Вот он будет изучать навигацию. Бросит пить, выучится и станет капитаном. В эту минуту ему казалось: Руфь совсем рядом. Став капитаном, он женится на ней (если она пойдет за него). А не пойдет, что ж, благодаря Ей он станет жить достойно и все равно бросит пить. Потом вспомнил про страховые компании и про судовладельцев, и те и другие над капитаном хозяева, и те и другие могут его погубить, а выгода у них прямо противоположная. Он окинул взглядом комнату, десять тысяч книг, и прищурился. Нет, ну его, море. В этом книжном богатстве — силища, и если ему суждены великие дела, он должен совершить их на суше. И потом, капитанам ведь не положено брать с собой в плаванье жен.

Наступил полдень, а там день стал клониться к вечеру. Мартин забыл про еду, он рылся в книгах о правилах приличия, ведь не только о том, какое новое дело выбрать, думал он, он ломал голову и над совсем простым и определенным вопросом. Если познакомился с девушкой из хорошего общества и она пригласила тебя заходить, скоро ли можно зайти? Вот как сложился у него в уме этот вопрос. Обширный свод правил хорошего тона ужаснул его, и он запутался в лабиринте объяснений — как принято у воспитанных людей обмениваться визитными карточками. Он бросил поиски. Он не нашел того, что искал, зато понял, какая прорва времени требуется, чтобы вести себя как положено воспитанному человеку, и еще понял, что этому учатся с колыбели.

— Нашли, что вам было нужно? — спросил человек за столом, когда Мартин уходил.

— Да, сэр,— ответил он.— Хорошая у вас библиотека.

Тот кивнул.

— Приходите почаще, будем вам рады. Вы моряк?

— Да, сэр,— ответил он.— Еще приду.

И спускаясь по лестнице, с недоумением спросил себя: «А как это он прознал, что я моряк?»

И весь первый квартал шел скованно, прямо, неуклюже, а потом задумался, забылся и зашагал, как всегда, свободно, враскачку.

ГЛАВА 6

Ужасное нетерпенье, сродни голоду, обуяло Мартина Идена. Он жаждал вновь увидать девушку, чьи тоненькие ручки ухватили его жизнь великаньей хваткой. И не мог набраться храбрости и пойти к ней. Боялся, а вдруг прошло еще слишком мало времени

и он окажется виноват в страшном нарушении страшной штуки, называемой этикетом. Долгие часы проводил он в Оклендской и Берклийской библиотеках, да притом не только записался туда сам, но записал своих сестер Гертруду и Мэриан и еще Джима, чье согласие получил за несколько кружек пива. Он брал книги по четырем абонементам, и теперь в его каморке допоздна горел свет и мистер Хиггинботем стребовал с него за это лишних пятьдесят центов в неделю.

Он читал уйму книг, и они лишь обостряли его беспокойство. Каждая страница каждой книги была щелкой, позволявшей заглянуть в царство знаний. Чтение разжигало аппетит, и голод усиливался. Притом Мартин не представлял, с чего надо начинать, и постоянно ощущал, насколько ему не хватает знания самых азов. Ссылки на имена и события, которые, как он понимал, должны были быть ясны каждому, ставили его в тупик. Так же было и с поэзией, он читал много стихов и приходил от них в неистовый восторг. Он прочел стихотворения Суинберна, которых не было в томике, полученном от Руфи, и прекрасно понял «Долорес». Но Руфь, конечно же, не поняла, решил он. Где ей понять такое, при ее изысканной жизни? Потом ему попались стихи Киплинга, и его захватила певучесть, ритм, волшебство, в которые тот облекал все привычно знакомое. Его изумило, как тонко этот поэт чувствует жизнь, какой он проницательный психолог. Для Мартина *психология* была новым словом. Он купил толковый словарь, что нанесло изрядный урон его кошельку и приблизило день, когда придется снова уйти в плаванье, чтобы опять заработать денег. К тому же это привело в ярость Хиггинботема, который предпочел бы, чтобы Мартин отдавал свои деньги в уплату за жилье.

Подойти к дому Руфи днем Мартин не решался, зато вечерами рыскал вокруг, точно вор, украдкой поглядывал на окна, ему были милы даже стены ее жилища. Несколько раз он чуть было не попался на глаза ее братьям, а однажды шел следом за мистером Морзом, на освещенных улицах всматривался в его лицо и при этом всю дорогу мечтал о какой-нибудь внезапной опасности, чтобы можно было кинуться и спасти ее отца. В другой вечер его бдение было вознаграждено — в окне второго этажа мелькнула Руфь. Он увидел только ее голову и плечи и поднятые руки — она поправляла перед зеркалом прическу. То было лишь мгновенье, но для Мартина хватило мгновения,— кровь забурлила вином и запела в жилах. А потом Руфь опустила штору. Но теперь он знал, где ее комната, и с той поры часто топтался там, в тени дерева на другой стороне улицы, и курил сигарету за сигаретой. Как-то днем он увидел ее мать, та выходила из банка, и он лишний раз убедился, какое огромное расстояние отделяет от него Руфь. Она из тех, кто имеет дело с банками. Он отродясь не был

в банке и думал, что подобные учреждения посещают только очень богатые и очень могущественные люди.

В одном отношении с ним произошел нравственный переворот. На него подействовала ее опрятность и чистота, и всем своим существом он теперь жаждал стать опрятным. Это необходимо, иначе он никогда не будет достоин дышать одним с ней воздухом. Он стал чистить зубы, скрести руки щеткой для мытья посуды и, наконец, в аптечной витрине увидел щеточку для ногтей и догадался, для чего она. Он купил ее, а продавец, поглядев на его ногти, предложил ему еще и пилку для ногтей, так что он завел еще одну туалетную принадлежность. В библиотеке ему попалась книжка об уходе за телом, и он тотчас пристрастился обливаться по утрам холодной водой, чем немало удивил Джима и смутил Хигинботема, который не одобрял подобные новомодные фокусы, но всерьез задумался, не стребовать ли с Мартина дополнительной платы за воду. Следующим шагом были отутюженные брюки. Став внимательней к внешности, Мартин быстро заметил разницу: у трудового люда штаны пузырятся на коленях, а у всех, кто рангом повыше, ровная складка идет от колен к башмакам. Узнал он и отчего так получается и вторгся в кухню сестры в поисках утюга и гладильной доски. Поначалу у него случилась беда: он непоправимо сжег одну пару брюк и купил новые, и этот расход еще приблизил день, когда надо будет отправиться в плаванье.

Но перемены коснулись не только внешнего вида, они шли глубже. Он еще курил, но больше не пил. Прежде ему казалось, выпивка — самое что ни на есть мужское занятие, и он гордился, что голова у него крепкая и уж почти все собутыльники валяются под столом, а он все не хмелеет. Теперь же, встретив кого-нибудь из товарищей по плаванию, а в Сан-Франциско их было немало, он, как и раньше, угощал их, и они его угощали, но для себя он заказывал кружку легкого пива или имбирную шипучку и добродушно сносил их насмешки. А когда на них нападала пьяная плаксивость, приглядывался к ним, видел, как пьяный понемногу превращается в животное, и благодарил бога, что сам уже не такой. Каждый жил не так, как хотел, и рад был про это забыть, а напившись, эти тусклые тупые души уподоблялись богам, и каждый становился владыкой в своем раю, вволю предавался пьяным страстям. Мартину крепкие напитки были теперь ни к чему. Он был пьян по-иному, глубже,— пьянила Руфь, она зажгла в нем любовь и на миг дала приобщиться к жизни возвышенной и вечной; пьянили книги, они породили мириады навязчивых желаний, не дающих покоя; пьянило и ощущение чистоты, которой он достиг, от нее еще прибыло здоровья, бодрость и сила так и играли в нем.

Как-то вечером он наудачу пошел в театр — вдруг она тоже там — и действительно углядел ее с галерки. Она шла по проходу

партера с Артуром и каким-то молодым человеком в очках, с курчавой гривой, при виде которого в Мартине мигом вспыхнули и опасения и ревность. Она села в первом ряду, и он уже мало что видел в этот вечер, только ее — издали, словно в дымке — хрупкие белые плечи и пышные золотистые волосы. Зато другие смотрели по сторонам, и, изредка взглядывая на соседей, он заметил двух девушек в ряду перед ним, чуть в стороне, они оборачивались и бойко улыбались ему. Он всегда легко знакомился. Не свойственно было ему задирать нос. В прежние времена он улыбнулся бы в ответ, и не только, и подзадорил бы их на новые улыбки. Но теперь все стало по-другому. Ответив улыбкой, он отвернулся и намеренно не смотрел в сторону девушек. Но несколько раз, забыв и думать про них, он случайно встречал их улыбки. В один день себя не переделаешь, не мог он подавить в себе присущее ему добродушие, и в такие минуты тепло, дружески улыбался девушкам. Все это было привычно. Он понимал, они по-женски заигрывают с ним. Но все теперь стало по-другому. Далеко внизу, в партере, сидела единственная на свете женщина, совсем иная, бесконечно непохожая на этих девушек из его среды, и оттого они вызывали у него лишь жалость и печаль. В душе он желал им обрести хоть малую толику ее достоинств и светлой красоты. Он ни за что бы их не обидел за кокетство. Оно не польстило ему, он даже почувствовал себя униженным: не будь он простым матросом, с ним бы не заигрывали. Принадлежи он к кругу Руфи, они не отважились бы на это, и при каждом их взгляде Мартин чувствовал, как цепко держит родная ему среда, не давая вырваться.

Он встал раньше, чем занавес опустился в последний раз,— хотел увидеть Руфь, когда она выйдет из театра. На тротуаре у подъезда всегда толпятся мужчины, можно надвинуть кепку на глаза, укрыться за чьей-нибудь спиной, и она его не заметит. В толпе, которая хлынула на улицу, он оказался из первых, но едва занял место на краю тротуара, как появились обе девушки. Он понял, они ищут его, и готов был сейчас проклясть в себе то, что влечет к нему женщин. Понял, когда неторопливо, будто ненароком они подошли поближе. Замедлили шаг и, поравнявшись с ним, оказались в гуще толпы. Одна, проходя, задела Мартина и словно бы только теперь его заметила. Была она тоненькая, темноволосая, с черными дерзкими глазами. Но обе улыбнулись ему, и он ответил улыбкой.

— Привет! — сказал он.

Это вышло само собой — сколько раз все так и начиналось при подобных случайных встречах. Да и как было не сказать. Присущая ему широта натуры, терпимость и доброжелательность не дали бы поскупиться на такую малость. Черноглазая девушка приветливо улыбнулась, довольная и явно готовая остановиться, а

подружка, держа ее под руку, хихикнула и тоже явно не прочь была задержаться. Он поспешно соображал. Вдруг Руфь выйдет и увидит, что он разговаривает с ними, это не годится. Он круто повернулся и естественно, будто так и надо, зашагал рядом с черноглазой. Теперь-то он не был неловким, и язык не прилипал к гортани. Он чувствовал себя в своей тарелке, распрекрасно шутил, сыпал жаргонными словечками, острил — все как и положено поначалу при таких вот знакомствах и быстротечных романах. На углу, где почти весь людской поток двинулся прямо, он хотел свернуть. Но черноглазая пошла следом, ухватила его за руку повыше локтя и, увлекая за собой подругу, крикнула:

— Постой, Билл! Куда помчался? Чего это ты вдруг — решил, что ль, избавиться от нас?

Он со смехом остановился и обернулся к ним. Видно было, как позади них под фонарями движется толпа. А здесь темнее, и можно незамеченным увидеть, как мимо пройдет Руфь. Должна пройти, ведь это дорога к ее дому.

— Как ее звать? — спросил он ту, что хихикала, кивнув на черноглазую.

— У ней спроси,— прыснула она в ответ.

— Так как же? — повернувшись к черноглазой, спросил он.

— А ты сам еще не назвался,— возразила она.

— А ты не спрашивала,— Мартин улыбнулся.— Зато сразу попала в точку. Я и есть Билл, право слово.

— Прямо уж! — Она глянула ему в глаза горячо, призывно.— Ну, по-честному, как тебя?

И опять заглянула в глаза. Вся извечная женская суть красноречиво выразилась в этом взгляде. И он без труда разгадал ее, и уже знал наверняка, что, едва он пойдет в наступление, она начнет застенчиво, мягко уклоняться, готовая в любую минуту дать обратный ход, окажись он недостаточно напорист. И потом, все-таки он живой человек, не мог он не ощутить, как она привлекательна, и конечно же, ее внимание льстило мужскому тщеславию. Да, он отлично понимал эту игру, знал таких девчонок как свои пять пальцев. Добропорядочные, по меркам их среды, они тяжко трудятся, получают гроши и, презирая возможность себя продать, чтобы зажить полегче, робко мечтают о крупице счастья в пустыне жизни, а впереди, в будущем, борьба двух возможностей: беспросветный тяжкий труд или черная пропасть последнего падения, куда путь короче, хотя платят больше.

— Билл,— ответил Мартин и кивнул в подтверждение.— Верное слово, Билл и есть.

— Не разыгрываешь? — допытывалась она.

— Никакой он не Билл,— встряла ее подруга.

— А ты почем знаешь? — спросил он.— Ты ж меня раньше в глаза не видала.

— А мне и так видать, заливаешь,— был ответ.

— По-честному, Билл, как тебя звать-то? — спросила черноглазая.

— Сойдет хоть Билл,— признался он.

Она игриво ткнула его в плечо.

— Я ж знала, врешь, а все одно, ты славный парень.

Он поймал ее зовущую руку и ощутил на ладони знакомые рубцы и меты.

— Когда с консервного ушла? — спросил он.

— А ты почем знаешь? Да он мысли угадывает! — в один голос воскликнули девушки.

Он вел с ними бессмысленный разговор, обычный между теми, кто не умеет мыслить, а перед его внутренним взором высились библиотечные полки, хранящие вековечную мудрость человечества. С горечью улыбнулся он этой несообразности, и его одолели сомнения. Но меж тем, что он видел внутренним зрением, и шутливой болтовней он успевал следить за текущей мимо толпой из театра. И вот он увидел Ее в свете фонарей, между братом и незнакомым молодым человеком в очках, и сердце у него упало. Так долго ждал он этой минуты. Он успел заметить что-то светлое, пушистое, что укрывало ее царственную головку, заметил благородство линий ее укутанной фигурки, изящество ее осанки и руки, которая слегка приподняла юбку; и вот уже ее не видно, а перед ним девушки с консервной фабрики с их безвкусными попытками принарядиться, с безнадежными потугами сохранить опрятность, в дешевых платьях, с дешевыми лентами, с дешевенькими кольцами на пальцах. Его потянули за рукав, и он услышал голос:

— Проснись, Билл! Чего это с тобой?

— Что ты говоришь? — спросил он.

— Да ничего,— ответила темноглазая, вскинув голову.— Я только сказала...

— Что?

— Я говорю, хорошо бы ты где ни то откопал приятеля... для нее (показав на подругу), и мы б куда сходили выпили фруктовой воды с мороженым, а то кофе или еще чего.

Мартина вдруг одолела душевная тошнота. Слишком резок был переход от Руфи — к такому. Совсем рядом с дерзкими вызывающими глазами этой девушки сияли ему из непостижимых глубин непорочности ясные лучистые, точно у святой, глаза Руфи. И он ощутил, как в нем встрепенулись силы. Он лучше своего окружения. Жизнь для него означает больше, чем для этих фабричных девчонок, которые только и думают о мороженом да ухажере. А ведь в мыслях он всегда жил иной, тайной жизнью. Он

пытался поделиться своими мыслями, но не нашлось ни одной женщины, да и ни одного мужчины, кто бы его понял. Пытался, да, но только озадачивал слушателей. А раз его мысли выше их понимания, значит, и сам он должен быть выше, убеждал он себя сейчас. В нем заговорила сила, и он сжал кулаки. Если для него жизнь означает больше, так и потребовать от нее надо больше; но с таких вот разве чего стребуешь. Этим дерзким черным глазам нечего ему предложить. Известно, какие за ними скрываются мысли,— о мороженом да еще кой о чем. А вот глаза рядом с ними, глаза как у святой,— они предлагали все мыслимое и немыслимое, до чего он еще и додуматься не мог. Книги и картины предлагают они, красоту и покой и все утонченное изящество более возвышенного существования. Ему знаком ход каждой мысли этой черноглазой. Там все равно как часовой механизм. Можно проследить движение каждого колесика. Они зовут к низменному удовольствию, ограниченному, как могила, оно быстро приедается; и за ним ждет лишь могила. А глаза святой зовут к тайне, к невообразимому чуду, к жизни вечной. Он увидел в них ее душу и свою душу тоже.

— Одно плохо в этой программе,— вслух сказал он.— Свиданье у меня.

В глазах девушки вспыхнуло разочарование.

— Не иначе, больного друга надо навестить,— съехидничала она.

— Нет, настоящее свиданье, как полагается...— Мартин запнулся.— С девушкой.

— Не врешь, нет? — серьезно спросила она.

Он посмотрел ей прямо в глаза:

— Нет, верно говорю. А чего б нам в другой раз не встретиться? Ты так и не сказала, как тебя звать. И живешь где?

— Лиззи,— ответила она, смягчаясь, сжала его локоть, на минуту прильнула к нему.— Лиззи Конноли. Живу на углу Пятой и Маркет-стрит.

Он еще немного поболтал с ними и распрощался. И домой пошел не сразу; стоя под деревом, где обычно нес свою вахту, он смотрел на окно и шептал: «У меня свиданье с тобой, Руфь. Только с тобой».

ГЛАВА 7

С того вечера, когда он впервые увидел Руфь, он целую неделю просидел над книгами, а пойти к ней все не решался... Не раз бывало — наберется храбрости и уже готов пойти, но опять одолеют сомнения и решимость тает. Он не знал, в какой час по-

лагается зайти, спросить об этом было не у кого, и он боялся безнадежно оплошать. От прежних приятелей и прежних привычек он отошел, новых приятелей не завел, только и оставалось что читать, и он посвящал чтению столько часов, что не выдержал бы и десяток пар обычных глаз. Но у него зрение было превосходное, да и вообще превосходное, редкостное здоровье. К тому же ум у него был вовсе нетронутый. Всю жизнь оставался нетронутым, не ведающим отвлеченных мыслей, какие может зародить книга, он был точно добрая почва,— и вполне созрел для посева. Его не изнуряли ученьем, и он так жадно вгрызался в книжную премудрость, что не оторвешь.

К концу недели Мартину казалось, прошли столетия,— так далеко позади осталась прежняя жизнь, прежние взгляды. Но ему отчаянно не хватало подготовки. Он пытался читать книги, которые требовали многолетнего специального образования. Сегодня он берется за книгу по древней философии, а назавтра — по сверхсовременной, и от столкновения противоречивых идей голова идет кругом. Так же вышло и с экономистами. В библиотеке он увидел на одной полке Карла Маркса, Рикардо, Адама Смита и Милля, и малопонятные умозаключения одного не помогали убедиться, что идеи другого устарели. Он был сбит с толку, но все равно жаждал понять. Его заинтересовали сразу экономика, промышленность и политика. Проходя через Муниципальный парк, он заметил небольшую толпу, а посредине — человек пять-шесть, они раскраснелись, громко, с жаром о чем-то спорили. Он присоединился к слушателям и услышал новый, незнакомый язык философов из народа. Один оказался бродягой, другой лейбористским агитатором, третий студентом юридического факультета, а остальные — рабочие, любители поговорить. И Мартин впервые услыхал о социализме, анархизме, о едином налоге и узнал, что существуют непримиримые общественные учения. Он услыхал сотни незнакомых терминов, принадлежащих к тем областям знания, которых он при своей малой начитанности пока даже не касался. А потому он не мог толком уследить за ходом спора, и оставалось лишь гадать и с трудом нащупывать мысли, заключенные в столь непонятных выражениях. Были там еще черноглазый официант из ресторана — теософ, член профсоюза пекарей — агностик, какой-то старик, который озадачил всех странной философией: что в мире существует, то разумно, и еще один старик, который без конца вещал о космосе, об атоме-отце и атоме-матери.

За несколько часов, что Мартин там пробыл, в голове у него все перепуталось, и он кинулся в библиотеку смотреть значение десятка неведомых слов. Из библиотеки он унес под мышкой четыре тома: «Тайную доктрину» госпожи Блаватской, «Прогресс и нищету», «Квинтэссенцию социализма» и «Войну религии и науки».

На свою беду, он начал с «Тайной доктрины». Каждая строчка ощетинивалась длиннющими непонятными словами. Он читал полусидя в постели и чаще смотрел в словарь, чем в книгу. Столько было незнакомых слов, что, когда они попадались вновь, он уже не помнил их смысла, и приходилось вновь лезть в словарь. Он стал записывать значение новых слов в блокнот и заполнял листок за листком. А разобраться все равно не мог. Читал до трех ночи, голова шла кругом, но не уловил в этой книге ни единой существенной мысли. Он поднял глаза, и ему показалось, комната вздымается, кренится, устремляется вниз, будто корабль во время качки. Он отшвырнул «Тайную доктрину», пустил ей вслед заряд ругательств, погасил свет и улегся спать. С другими тремя книгами ему повезло немногим больше. И не потому, что он туп, ни в чем не способен разобраться; мысли эти были бы ему вполне доступны, но не хватало привычки мыслить, не хватало и слов-инструментов, которые помогли бы мыслить. Он догадался об этом и некоторое время подумывал было читать только словарь, пока не усвоит все слова до единого.

Зато утешением для него стала поэзия, он без конца читал стихи, и всего больше радости приносили ему поэты не слишком сложные, их было легче понять. Он любил красоту и нашел ее в стихах. Поэзия, как и музыка, глубоко волновала его; и сам того не зная, через нее он готовил ум к работе более трудной, которая ему еще предстояла. Страницы его разума были чисты, все прочитанное, что ему нравилось, легко, строфа за строфой отпечатывалось на этих страницах, и скоро он уже с великой радостью повторял их наизусть вслух или про себя, наслаждаясь музыкой и красотой этих строк. Потом он случайно наткнулся на «Классические мифы» Гейли и «Век сказки» Булфинча, стоявшие бок о бок на библиотечной полке. Это было озарение, яркий свет во тьме его невежества, и он с еще большей жадностью накинулся на стихи.

Библиотекарь так часто видел Мартина, что стал привечать его и всякий раз встречал улыбкой и кивком. Оттого Мартин и решился обратиться к нему. Взял несколько книг и, пока тот ставил штампы в карточках, выпалил:

— Послушайте, я у вас хочу кой-что спросить.

Библиотекарь улыбнулся и приготовился слушать.

— Вот если познакомился с молодой леди и она приглашает заходить, через какое время можно зайти?

Мартин почувствовал, что рубашка стала тесна и прилипла к плечам, даже в пот бросило, так трудно было про это спросить.

— Да, по-моему, когда угодно,— ответил библиотекарь.

— Да, но... тут одна загвоздка,— возразил Мартин.— Она... я... понимаете, тут такое дело: вдруг ее не застанешь дома. Она в университете учится.

— Тогда зайдите еще раз.

— Не так я вам сказал,— дрогнувшим голосом признался Мартин, решая полностью отдаться на милость этого человека.— Я-то вовсе неученый, из простых, хорошего общества не нюхал. Эта девушка... совсем не то, что я, она... Я ей в подметки не гожусь. Может, дурак я, по-вашему, нашел про что спрашивать? — вдруг резко оборвал он себя.

— Нет-нет, что вы, уверяю вас,— возразил тот.— Ваш вопрос несколько выходит за рамки справочного отдела, но я буду только рад помочь вам.

Мартин поглядел на него с восхищением.

— Вот бы мне навостриться эдак языком чесать, тогда ко дну не пойдешь,— сказал он.

— Прошу прощенья?

— Я говорю, вот бы мне так разговаривать, легко да вежливо, ну, все такое.

— А! — понимающе отозвался тот.

— В какое время лучше идти? Середь дня... не больно близко к обеду или там к чаю? Или вечером? А то в воскресенье?

— Вот вам мой совет,— оживился библиотекарь.— Позвоните ей по телефону и выясните.

— Так и сделаю,— сказал Мартин, взял книги и пошел к дверям. На полдороге обернулся и спросил: — Когда разговариваешь с молодой леди... ну, хоть с мисс Лиззи Смит... как надо говорить, «мисс Лиззи» или «мисс Смит»?

— Говорите «мисс Смит»,— со знанием дела сказал библиотекарь.— Всегда говорите «мисс Смит»... пока не познакомитесь поближе.

Так Мартин Иден разрешил эту задачу.

— Приходите в любое время, я всю вторую половину дня дома,— ответила Руфь по телефону, когда он, запинаясь, спросил, как бы вернуть ей книги.

Она сама встретила его на пороге и женским глазом тотчас заметила отглаженные брюки и едва уловимую, но несомненную перемену к лучшему во всем его облике. И еще ее поразило его лицо. Казалось, оно чуть ли не яростно пышет здоровьем, волны силы исходят от него и обдают ее. И опять потянуло прислониться к нему, согреться его теплом, и опять она подивилась, как действует на нее его присутствие. А он, стоило, здороваясь, коснуться ее руки, в свой черед опять ощутил блаженное головокружение. Разница между ними заключалась в том, что Руфь с виду оставалась спокойной и невозмутимой, Мартин же покраснел до корней волос. С прежней неловкостью, спотыкаясь, он шагал за нею и поминутно рисковал задеть что-нибудь из мебели плечом.

Едва они уселись в гостиной, он почувствовал себя свободнее,

куда свободней, чем ожидал. Это благодаря ей; и оттого, как приветливо она держалась, он любил ее сейчас еще неистовее. Сперва поговорили о тех книгах, что он брал у нее,— о Суинберне, перед которым он преклонялся, и о Браунинге, которого не понял; Руфь переводила разговор с одной темы на другую и при этом обдумывала, чем бы ему помочь. С той первой их встречи она часто об этом думала. Она очень хотела ему помочь. Он вызывал у нее жалость и нежность, каких она ни к кому еще не испытывала, и жалость не унижала Мартина, скорее, в ней было что-то материнское. Такого человека не пожалеешь обычной жалостью, ведь он мужчина в полном смысле слова — он пробудил в ней девичьи страхи, взволновал душу, заставил трепетать от незнакомых мыслей и чувств. И опять неодолимо тянуло смотреть на его шею и сладостно было думать, а что если обхватить ее руками. Желание это и сейчас казалось сумасбродным, но Руфь уже стала привыкать к нему. У нее и в мыслях не было, что сама новорожденная любовь явится ей в подобном обличье. В мыслях не было, что чувство, вызванное Мартином, и есть любовь. Она думала, что ей просто-напросто интересен человек незаурядный, в котором заложены и ждут пробуждения многие достоинства, и даже воображала, будто ее отношение к нему — чистейшая филантропия.

Не знала она, что желает его; а для Мартина все было по-другому. Он-то знал, что любит, и желал ее, как не желал никого и ничего за всю свою жизнь. Он любил поэзию за красоту, но с тех пор как познакомился с Руфью, перед ним распахнулись врата в безбрежные просторы любовной лирики. Благодаря Руфи он понял даже больше, чем когда читал Булфинча и Гейли. Была одна строчка, на которую неделю назад он бы и внимания не обратил: «Без памяти влюбленный, он умереть готов за поцелуй», а теперь она не шла у него из головы. Чудо и правда этой строки восхищали, и, глядя на Руфь, он знал, что и сам мог бы с радостью умереть за поцелуй. Это он и есть без памяти влюбленный, и никакой другой титул не заставил бы его возгордиться больше. Наконец-то он понял смысл жизни, понял, для чего появился на свет.

Он не сводил с нее глаз и слушал ее, и дерзкие мысли рождались у него в голове. Он вспоминал неистовый восторг, какой испытал, когда в дверях она подала ему руку, и страстно мечтал вновь ощутить ее руку в своей. Невольно то и дело переводил взгляд на ее губы и жаждал коснуться их. Но не было в этой жажде ничего грубого, приземленного. С беспредельным восторгом следил он за их игрой, за каждым их движением, когда с них слетали слова, и однако то были не обыкновенные губы, как у других людей. Не просто губы из плоти и крови. То были уста непорочной души, и казалось, желает он их по-иному, совсем-совсем не так, как тянуло его к губам других женщин. Он мог бы целовать ее

губы, коснуться их своими плотскими губами, но с тем возвышенным, благоговейным пылом, с каким лобзают ризы господни. Он не сознавал, что в нем происходит переоценка ценностей, не подозревал, что свет, сияющий в его глазах, когда он смотрит на нее, сияет и в глазах всех мужчин, охваченных любовью. Не догадывался, какой пылкий, какой мужской у него взгляд, даже и вообразить не мог, что под этим жарким пламенем трепещет и ее душа. Всепокоряющая непорочность Руфи возвышала, преображала, и его чувства, мысли возносились к отрешенному целомудрию звездных высей, и знай он, что блеск его глаз пронизывает ее горячими волнами и разжигает ответный жар, он бы испугался. А Руфь в смутной тревоге от этого восхитительного вторженья, порой сама не зная почему, сбивалась, замолкала на полуслове и не без труда вновь собиралась с мыслями. Она всегда говорила легко, и непривычные заминки озадачили бы ее, не реши она с самого начала, что слишком уж необычен ее собеседник. Ведь она так впечатлительна, и, в конце концов, вполне естественно, что сам ореол выходца из неведомого ей мира так на нее действует.

В глубине сознания все время сидел тот же вопрос, как бы ему помочь, к этому она и клонила, но Мартин ее опередил.

— Может, вы дадите мне один совет? — начал он, и она с такой готовностью кивнула, что сердце Мартина заколотилось.— Помните, в тот раз я говорил, не могу я толковать про книги и про всякое другое, не умею? Ну, я после много про это думал. В библиотеку сколько много ходил, прорву книжек перебрал, да почти все мне не по зубам. Может, лучше начну я с самого начала. Учиться-то я толком не учился, никакой возможности не было. Сызмальства трудился до седьмого поту, а теперь, как побывал в библиотеке, глянул на книжки совсем другими глазами, да и книжки-то совсем другие, сдается мне, не те я книжки прежде читал. Понятно, на ранчо или там в кубрике и вот хоть у вас в доме книжки-то разные. А я одни те книжки и читал. Ну, и все равно... Не хвалясь скажу: не такой я, как они, с кем компанию водил. Не то чтоб лучше матросов или там ковбоев, с кем по свету мотался... Я, знаете, и ковбоем был, недолго... только вот книжки всегда любил, читал все, что под руку попадет... Ну и вот... думал, что ли, по-другому.

Да, так к чему я гну-то. В таком вот доме я отродясь не бывал. А на прошлой неделе пришел и вижу все это, и вас, и мамашу вашу, и братьев, и всякое разное... ну, и мне поправилось. Слыхал я про такое, и в книжках тоже читал, а поглядел на ваш дом... ну, прямо как в книжках. Ну, и, стало быть, нравится мне это. Сам такого захотел. И сейчас хочу. Хочу дышать воздухом, какой в этом доме... чтоб полно книг, и картин, и красивых вещей, и люди разговаривают без крику, а сами чистые, и мысли у них чистые.

Я-то весь век чем дышал — жратва, да плата за квартиру, да потасовки, да попойки, только про это и разговор. Вон вы в тот раз пошли встречать мамашу, поцеловали ее, а я подумал: такой красоты сроду не видал. Я сколько много в жизни видал, а из других, кто кругом меня, почитай никто этого не видит, так уж получается. Я люблю видеть, мне охота видеть побольше, и по-другому охота видеть.

Все до дела не дойду. А дело вот оно: хочу я пробиться к такой жизни, какая у вас в доме. Жизнь — это куда больше, чем нализаться, да вкалывать с утра до ночи, да мотаться по свету. Так вот, как мне пробиться? Как приняться, с чего начать? Сил-то я не пожалею, я, знаете, в работе кого хошь загоню и обгоню. Только вот начать, а уж там буду работать день и ночь. Может, вам смешно, мол, нашел, про что спрашивать. Уж кого-кого, а вас бы спрашивать не годится, понимаю, да только больше спросить некого... вот разве Артура. Может, его и надо было спросить. Если б я...

Голос ему изменил. Хорошо продуманный план споткнулся об ужаснувшее Мартина предположение, что спрашивать следовало Артура и что он оказался дурак дураком. А Руфь заговорила не сразу. Слишком поглощена она была усилиями понять, как же эта спотыкающаяся, корявая речь и примитивность мысли сочетаются с тем, что она читала в его лице. Никогда еще не заглядывала она в глаза, излучающие такую силу. Перед ней был человек, для которого нет невозможного,— вот что прочла она в его взгляде, и однако он не умеет толково высказать свои мысли. Одно с другим как-то не вязалось. Сама же она рассуждала слишком сложно, а соображала стремительно и не способна была по справедливости оценить простоту. Однако уже в том, как он пытался высказаться, она уловила внутреннюю силу. Ей почудилось: его разум — исполин, что корчится, пытаясь вырваться из оков. Когда она наконец заговорила, в ее лице светилось бескопечное сочувствие.

— Вы сами сознаете, чего вам не хватает: образования. Вам следует начать с самого начала — вернуться в среднюю школу, окончить ее, а потом поступить в университет.

— Но на это нужны деньги,— перебил Мартин.

— Ах да! — воскликнула она.— Об этом я не подумала. Но у вас, наверное, есть родные... кто-нибудь, кто мог бы вам помочь?

Он покачал головой.

— Отец с матерью померли. Есть у меня две сестры... одна замужем, и вторая, сдается мне, скоро выйдет замуж. И еще полно братьев... Я самый младший... да от них никто подмоги не видал. Всегда только об себе и думали, шатались по свету, искали, где более лучше. Старший помер в Индии. Двое нынче в Южной Америке, один в плаванье, китов промышляет, еще один с цирком бро-

дяжит, на трапеции крутится. И я, видать, вроде них. С одиннадцати годов сам об себе заботился... как мать померла. Выходит, самому надо учиться, да только надо мне узнать, с чего начинать.

— Мне кажется, прежде всего надо взяться за грамматику. Вы говорите...— она собиралась сказать «ужасно», но спохватилась и докончила: — не очень грамотно.

Мартин покраснел, его бросило в пот.

— Ну да, по-матроссски, и такое словечко, бывает, вверну, вам не понять. Так ведь одни эти слова мне и даются. В голове-то есть и другие слова... из книжек понабрался... да выговорить не умею, потому и не говорю.

— Дело не столько в том, что́ вы говорите, сколько в том, как именно говорите. Вы не сердитесь, что я с вами откровенна? Я не хочу вас обидеть.

— Нет-нет! — воскликнул Мартин и в душе поблагодарил ее за доброту.— Валяйте. Должен я знать, так уж лучше от вас узнать, чем от кого еще.

— Ну так вот, вы говорите «чем от кого еще» или «кого ни то еще» вместо «кого-нибудь еще». Вы употребляете тавтологичные сочетания.

— А это чего такое? — требовательно спросил он, потом робко прибавил: — Видите, я даже не пойму, чего вы объясняете.

— Боюсь, я просто ничего не объяснила,— с улыбкой сказала она.— Вы говорите «более лучше». Прилагательное «лучший» в сравнительной степени нельзя сочетать со словом «более». В этом сочетании слово «более» избыточное, ненужное. Нельзя сказать: «Он одет более лучше», правильно в этом случае: «Он одет лучше».

— Все очень даже понятно,— сказал он.— А раньше мне было невдомек. «Я буду говорить лучше», а не «более лучше». Ясное дело. Раньше мне было невдомек, а теперь уж больше никогда так не скажу.

Она обрадовалась и удивилась, что он так быстро и точно схватывает.

— Все это вы прочтете в грамматике,— продолжала Руфь.— Я и еще кое-что заметила в вашей речи. Вы говорите «сколько много», когда надо сказать «как много» или просто — «много».

— Скажите пример,— попросил он.

— Ну...— Она задумалась, наморщила лоб, крепко сжала губы, а он смотрел на нее, и она казалась ему в эту минуту еще прелестнее.— Вот например: «Сколько много книг я прочел», или «Я сколько много всего в жизни видал».

Он поворачал фразы в голове.

— Вам это не режет слух? — подсказала она.

— Видать, так неправильно,— не вдруг ответил он.

— Лучше не говорить «видать».

Как мило выговорила она это слово.

Мартин вспыхнул.

— И вы говорите «ложить» вместо «класть»,— продолжала Руфь.— И «ихний» вместо «их» и «от их», «у их» вместо «от них», «у них».

— Как такое? — Он наклонился к ней, чувствуя, что перед всей этой ее мудростью впору стать на колени.

— Вы произносите... да нет, незачем все это перечислять. Вам необходима грамматика. Я сейчас возьму учебник и покажу, с чего начать.

Она встала, и в голове у него мелькнуло что-то из прочитанных в книжке правил поведения, и он неловко поднялся, опасаясь, то ли, что надо, делает, вдруг она подумает, будто он собрался уходить...

— Кстати, мистер Иден,— окликнула она его уже от дверей,— что такое «нализаться»? Вы несколько раз так сказали.

— А, нализаться,— засмеялся он.— Жаргон это. Мол, вы напились виски, пива, или еще чего и захмелели.

— И еще одно,— Руфь тоже засмеялась.— Не употребляйте «вы» в безличных предложениях. «Вы» — очень личное местоимение, и сейчас вы сказали не совсем то, что намеревались.

— Не пойму я, о чем вы.

— Ну как же, вот вы сказали мне, мол, «вы напились виски, пива... и захмелели». Получается, что это я захмелела, понимаете?

— А вы бы не захмелели?

— Разумеется, захмелела бы,— с улыбкой ответила Руфь.— Но было бы вежливей, если бы вы ничего подобного мне не приписывали. В таких случаях предпочтительней обходиться без местоимений.

Она вернулась с грамматикой, подвинула свой стул к Мартину и села, и он подумал: видно, это он должен был подвинуть ей стул. Она листала страницы, а их склоненные головы оказались совсем рядом. И так он был поражен волнующей близостью Руфи, что едва ли воспринимал план будущих занятий, который она ему рисовала. Но вот она стала объяснять, как много значат спряжения, и он начисто забыл о ней. Он впервые слышал о спряжениях, важнейшие основы языка приоткрылись ему, и открытие привело его в восторг. Он ниже наклонился к странице, и волосы Руфи коснулись его щеки. До сих пор только раз ему случалось потерять сознание, а сейчас показалось, это повторится. Дыханье перехватило, удары сердца отдавались в горле — не вздохнуть. Никогда еще она не казалась такой близкой. В этот миг через глубокую пропасть, разделявшую их, перекинулся мост. Но его чувство к ней вовсе не стало от этого менее возвышенным. Не она

опустилась до него. Это он воспарил в облаках и его подняло к ней. Он и в этот миг преклонялся перед нею, это было сродни благоговейному пылу верующего. Ему казалось, он покусился на святая святых, и он тихонько, осторожно отвел голову, уклоняясь от прикосновенья, от которого трепетал, будто под электрическим током, а Руфь этого и не заметила.

ГЛАВА 8

Шли недели, Мартин изучал грамматику, пересматривал книжки о правилах поведения в обществе и с жадностью читал все, что заблагорассудится. От прежнего своего окружения он оторвался. Девушки, бывавшие в Лотос-клубе, гадали, что с ним приключилось, и донимали расспросами Джима, а кое-кто из парней, завсегдатаев гаража Райли, не слишком стойких в драках, только радовался, что его больше не видно. Тем временем Мартин раскопал в библиотеке еще один клад. Если грамматика дала ему понятие о том, как строится язык, то эта книга дала понятие о том, как строится поэзия, и за дорогой ему красотой он стал различать размеры, ритмику и форму, стал постигать, как и отчего возникает красота. Еще одна современная книга, которая ему попалась, рассматривала поэзию как реалистическое искусство, рассматривала всесторонне, со множеством примеров из лучших произведений. Никакие романы не читал он так увлеченно, как эти серьезные книги. И свежий, за все двадцать лет не обремененный науками ум, подхлестываемый зрелой жаждой познавать, схватывал прочитанное поистине мужской хваткой, неведомой уму ученическому.

Когда с нынешней выигрышной позиции он оглядывался назад, прежний его мир — мир суши и моря и кораблей, матросов и алчных женщин — казался совсем маленьким; и однако он сливался с его теперешним миром и становился шире. Мартин стремился осмыслить все сущее в единстве и цельности и, когда стал находить точки соприкосновения этих двух миров, поначалу удивился. А возвышенность и красота мышления, открывавшаяся ему в книгах, облагораживала его. И оттого он все тверже верил, что в верхах общества, в кругах, к которым принадлежит Руфь и ее родные, так возвышенно мыслят все и согласно с таким строем мысли живут. Мир, в котором жил он, был низменным, и он хотел очиститься от грязи низменной повседневности и подняться в те возвышенные сферы, где обитали высшие классы. Все детство и юность его одолевало смутное беспокойство, чего-то ему недоставало, он сам не знал чего, и пока не встретил Руфь, все время искал что-то и не находил. Теперь же беспокойство стало острым,

мучительным, он понимал наконец, понимал ясно, отчетливо, что ему нужно: красота, и напряженная умственная жизнь, и любовь.

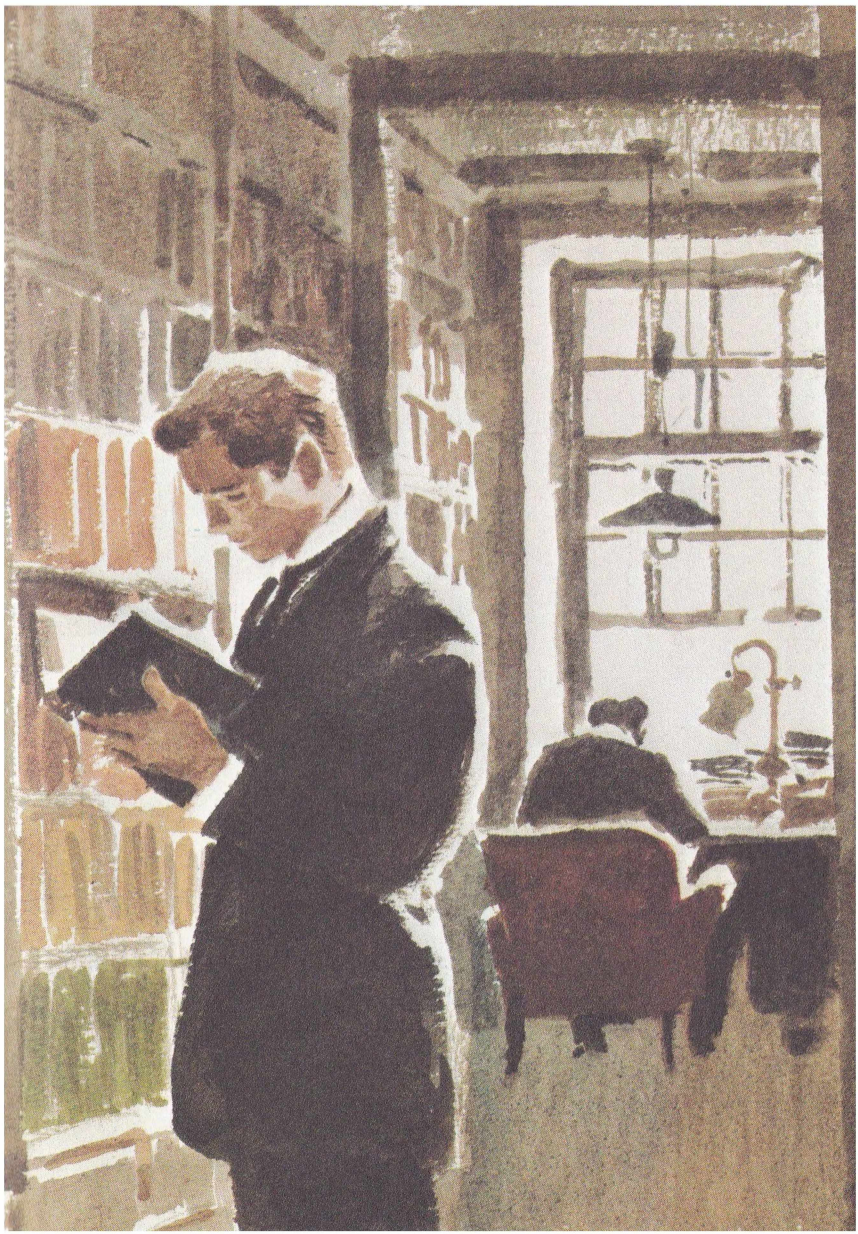
За эти несколько недель он раз шесть видел Руфь, и каждая встреча вдохновляла его. Руфь помогала ему в занятиях грамматикой, поправляла произношение и надоумила взяться за математику. Но встречи их были посвящены не только этим простейшим занятиям. Слишком много он уже повидал, слишком зрелый был у него ум, и конечно же, он не мог удовлетвориться одними только дробями, кубическими корнями, грамматикой, синтаксическим разбором; и временами они разговаривали о другом — о стихах, которые он недавно прочел, о поэте, чьим творчеством она занималась в последнее время. И если она читала вслух свои любимые строфы, Мартин наслаждался безмерно. Никогда ни у одной женщины не слышал он такого голоса. Малейший его звук воспламенял любовь, каждое слово повергало в волнение и трепет. Голос ее покорял, как музыка, богатством оттенков, мягкостью и глубиной — такое рождают культура и утонченность души. Он слушал ее, а в памяти звучали резкие крики темнокожих дикарок и злобных старых ведьм и чуть менее грубые, но все равно режущие слух голоса фабричных работниц, женщин и девушек его среды. Потом все они воплощались в зримые образы и чередой проходили перед его мысленным взором, и каждая, по контрасту, умножала прелесть Руфи. Мартин блаженствовал тем больше, что он знал, она до тонкости постигает суть прочитанного, с радостным трепетом по достоинству оценивает красоту выраженной на бумаге мысли. Она много читала ему из «Принцессы», и так чутко, всей душой отзывалась на красоту, что нередко он видел у нее на глазах слезы. В такие минуты ее волнение возвышало его, он чувствовал себя чуть ли не божеством, и, глядя на нее и слушая, казалось, глядел в лицо самой жизни, читал ее тайны. А потом он осознал, какой тонкости восприятия достиг, и решил, что это от любви и нет на свете ничего прекраснее любви, и, пройдя вспять коридорами памяти, оглядел все прежние утехи и наслаждения — опьяненье вином, женские ласки, грубые драки и состязанья в силе,— и рядом с высокой страстью, что владела им сейчас, все ему показалось мелким и низменным.

Руфь не очень понимала, что происходит. Она никогда еще не испытывала сердечных треволнений. Все познания по этой части она брала из книг, где по прихоти автора все повседневное преображается в сказку; она не подозревала, что этот неотесанный матрос прокрадывается к ней в сердце, что там копятся потаенные силы, что однажды они вырвутся на свободу и в ней забушует пожар. Истинного пламени любви она не знала. Ее понятия о любви были чисто теоретические, ей представлялся ясный огонек, ласковый, как роса на заре или легкая зыбь на озере, не-

жаркий, как бархатно-черные летние ночи. Пожалуй, ей казалось, что любовь — это безмятежная привязанность, нежное служение любимому в неярком свете напоенного ароматом цветов неземного покоя. Ей и не снились вулканические потрясения любви, палящий жар, что испепеляет сердце, обращает в бесплодную пустыню. Не знала она, какие силы таятся в людях и в ней самой; пучины жизни прикрывала красивая сказка. Супружеская привязанность, соединявшая ее родителей, представлялась ей идеальной любовной близостью, и она предвкушала, как рано или поздно, без потрясений и волнений, и сама вступит в такую же исполненную тихой прелести жизнь бок о бок с любимым.

Оттого она и смотрела на Мартина Идена как на некую новинку, личность необычную, и воображала, что этой новизной и необычностью он так на нее и действует. Что ж тут удивительного. Ведь когда смотришь на диких животных в зверинце, когда видишь, как разыгралась буря, когда вздрагиваешь при вспышке зигзага молнии, тоже испытываешь непривычные чувства. Во всем этом узнаешь стихию, что-то стихийное есть и в нем. Он приносит с собой дыхание морских ветров, необъятных просторов. Отблески тропического солнца пламенеют в его лице, а в упругих вздувшихся мышцах ощущается первобытная сила жизни. Таинственный мир суровых людей и еще более суровых дел, мир, недоступный ей, оставил на нем рубцы и шрамы. Он неприручен, дик, и то, как он покорен ей, в глубине души льстило ее тщеславию. Да еще родилось самое обыкновенное желание приручить дикаря. Желание неосознанное, у нее и в мыслях не было, что, в сущности, она хочет вылепить его по образу и подобию своего отца, которого она считала прекраснейшим человеком. И где ей, такой неискушенной, было понять, что ощущение стихийности, которое исходит от него, и есть величайшая стихия на свете — сама любовь,— сила, что необоримо влечет друг к другу через весь мир мужчин и женщин, и столь же властно вынуждает оленей в должный час убивать друг друга ради самки, и даже простейшие частицы заставляет соединяться.

Быстрый духовный рост Мартина изумлял и занимал Руфь. Она обнаружила в нем достоинства, о которых и не подозревала и которые раскрывались день ото дня, точно цветы на щедрой почве. Она читала ему вслух Браунинга и часто поражалась, как оригинально он толковал спорные места. Ей не понять было, что, зная людей и самую жизнь, он как раз поэтому очень часто толковал эти места правильнее, чем она. Его суждения казались ей наивными, хотя нередко дерзкий полет мысли уносил его в такие звездные дали, куда она не в силах была следовать за ним, и лишь загоралась и трепетала от столкновения с этой неведомой силой. Потом она играла ему, уже без всякого вызова, но испытывая его



«Мартин Иден»

«Мартин Иден»

музыкой, и музыка проникала в глубины, каких ей было не измерить. Все его существо раскрывалось навстречу музыке, словно цветок навстречу солнцу, и он быстро одолел пропасть, отделявшую привычные ему подстегивающие ритмы и созвучия танцулек от той классики, которую Руфь знала чуть ли не наизусть. Однако он обнаружил плебейское пристрастие к Вагнеру — когда Руфь познакомила его с увертюрой к «Тангейзеру», музыка эта захватила его как ничто другое. В этой увертюре словно отразилась вся его жизнь. Его прошлое воплотилось в музыкальной теме «Грота Венеры». Руфь же для него слилась с темой «Хора пилигримов»; и, восхищенный увертюрой, он уносился ввысь, в далекие дали, в смутный мир духовных поисков, где вечно борются добро и зло.

Случалось ему усомниться, правильно ли она определяет и толкует то или иное музыкальное произведение, и на время он заражал сомнениями Руфь. Но когда она пела, сомнениям места не было, в пении была вся Руфь, и он только изумлялся дивной мелодичности ее чистого сопрано. И невольно сравнивал: что перед этим пискливые голосишки и надрывное взвизгиванье недокормленных и необученных фабричных девчонок и хриплые вопли, пропитые голоса женщин в портовых городах. Руфь с удовольствием пела и играла ему. По правде сказать, впервые в жизни к ней в руки попала живая душа, с которой можно было поиграть, душа податливая, паслаждением было лепить ее как глину; ведь Руфи казалось, будто она формирует его душу, и она движима была самыми благими намерениями. Да и приятно было проводить с ним время. Он уже не вызывал неприязни. Враждебность, которую она ощутила при первой встрече, была, в сущности, страхом перед тем, что всколыхнулось в ней самой, а потом страх угас. Она сама того не понимала, но словно чувствовала, что он принадлежит ей. К тому же его присутствие бодрило. Она усердно занималась в университете и, когда отрывалась от пыльных книг и ощущала исходящее от этого человека дыхание свежего морского ветра, у нее прибывало сил. Сила! Именно силы ей недоставало, и он щедро дарил ей силу. Оказаться с ним в одной комнате или встретить его в дверях — значило получить жизненный заряд. А когда он уходил, она с новым запасом энергии, с удвоенным пылом возвращалась к своим книгам.

Она хорошо знала стихи Браунинга, но ей и в голову не приходило, что играть с чужой ли душой, со своей ли не годится. Мартин все больше интересовал ее, и теперь она была одержима желанием перекроить его жизнь.

— Вот хотя бы мистер Батлер,— сказала она однажды, когда с грамматикой, математикой и поэзией на сегодня было покончено.— Вначале у него не было особых преимуществ. Его отец

был кассир в банке, но много лет страдал чахоткой, умер в Аризоне, и после его смерти мистер Батлер, его еще звали просто Чарльз Батлер, оказался один в целом свете. Видите ли, отец был из Австралии, так что в Калифорнии родных у него не было. Он пошел работать в типографию — я слышала это от него много раз — и вначале получал три доллара в неделю. Теперь же его годовой доход тридцать тысяч, не меньше. Как он этого достиг? Он был честен, добросовестен, усерден и бережлив. Он отказывал себе в удовольствиях, не то что большинство молодых людей. Он взял себе за правило каждую неделю откладывать определенную сумму, как бы это ни было трудно. Вскоре он, разумеется, зарабатывал уже не три доллара в неделю, а больше, и чем выше становился его заработок, тем больше он откладывал.

Днем он работал, а после работы посещал вечернюю школу. Он всегда думал о будущем. Потом он поступил в полную среднюю школу, тоже вечернюю. Ему было только семнадцать лет, а он уже прекрасно зарабатывал в качестве наборщика, но он был честолюбив. Он хотел выдвинуться, а не только зарабатывать на хлеб, и готов был на многие лишения, чтобы в конце концов добиться успеха. Он решил изучить право и поступил в контору моего отца рассыльным,— подумайте только! — всего на четыре доллара в неделю. Но он умел быть бережливым и кое-что экономил даже из этих четырех долларов.

Она замолкла, надо было перевести дыхание и проверить, как Мартин принимает ее рассказ. И увидела в его лице живой интерес к нелегкой юности мистера Батлера, однако при этом он и хмурился тоже.

— Да, нелегко пришлось парню,— заметил он.— Четыре доллара в неделю. Попробуй-ка проживи. Бьюсь об заклад, никаких разносолов не видывал. Я вон отдаю за жилье и за стол пять долларов в неделю, и ем только что досыта, верно вам говорю. Видать, собачья была у него жизнь. Харч...

— Он сам готовил себе еду,— перебила Руфь,— на керосинке.

— Харч у него, видать, был хуже матросского на самых распоследних судах, а уж это хуже некуда, там, бывает, матроса голодом морят.

— Но подумайте, какого положения он добился! — с восторгом воскликнула Руфь.— Подумайте, что он может себе позволить на свои теперешние доходы! Теперь он может стократ возместить лишения той ранней поры.

Мартин пристально на нее посмотрел.

— А вот бьюсь об заклад,— сказал он,— невесело ему нынче, хоть он и при больших деньгах. Смолоду голодом сидел, кишки свои не жалел, теперь, видать, ему от них лихо.

Под его испытующим взглядом Руфь опустила глаза.

— Бьюсь об заклад, теперь он желудком хворает! — вызывающе бросил Мартин.

— Да, правда,— призналась она,— но...

— Бьюсь об заклад,— не дослушал Мартин,— серьезный он всегда, угрюмый, вроде старого филина, и нет веселья ему, при всех его тыщах. И когда кто другой радуется, ему не больно весело смотреть. Верно я говорю?

Она кивнула и поспешила объяснить:

— Но просто он человек другого склада. Серьезный, рассудительный. Он всегда такой был.

— А как же,— подхватил Мартин.— Три доллара в неделю, четыре доллара в неделю, молодой парень сам куховарит на керосинке и гроши откладывает, день-деньской работает, вечерами учится — одна только работа, и ни тебе поухаживать, ни тебе повеселиться, даже и не знает, как это люди веселятся... Нет уж, слишком поздно он заполучил свои тридцать тыщ.

Чуткое воображение мигом высветило перед внутренним взором Мартина множество подробностей существования того парнишки, его душу, стиснутую единственным стремлением, что и привело его к тридцати тысячам годового дохода. С обычной для свободного полета его мысли стремительностью и полнотой ему ясно представилась вся жизнь Чарльза Батлера.

— Знаете,— прибавил он,— жалко мне мистера Батлера. Молодой он был, не соображал, а ведь обокрал себя, из-за этих тридцати тыщ в год вовсе жизни не видал. Теперь и за тридцать тыщ, экие деньжищи, не купить ему никакой радости, а ведь мальчишкой мог нарадоваться за десять центов — не откладывал бы их, а взял леденцов или там орехов, а то билетик на галерку.

Вот такая необычность взгляда и пугала Руфь. Не только удивляла новизной, не только противоречила ее мнениям,—Руфь всегда ощущала здесь зародыш правды, которая грозила опрокинуть или изменить ее собственные убеждения. Будь ей четырнадцать, а не двадцать четыре, она и сама, слушая Мартина, стала бы, пожалуй, по-иному смотреть на мир; но ей было двадцать четыре, и, консервативная по натуре и воспитанию, она уже впитала представления того узкого круга, в котором родилась и выросла. Правда, причудливые суждения Мартина в первую минуту ее тревожили, но она приписывала их своеобразию натуры этого человека и его удивительной жизни и быстро забывала. Однако, хотя она и не одобряла его взглядов, горячность Мартина, блестящие глаза, искренность, которой дышало его лицо, неизменно приводили ее в трепет, влекли к нему. Она бы никогда не подумала, что у этого выходца из совсем другого мира в такие минуты бывали

прозрения, недоступные ей, и что мыслит он и шире и глубже. Ее ограниченность была ограниченностью ее мирка; но ум ограниченный не замечает своей ограниченности, видит ее лишь в других. А потому Руфь полагала, что мыслит широко и, если их взгляды расходятся, виной тому ограниченность Мартина; и она мечтала помочь ему увидеть мир таким, каким видит она, расширить его горизонты, чтобы они совпадали с ее собственными.

— Но я еще не все рассказала,— продолжала она.— По словам моего отца, мистер Батлер с самого начала работал как ни один посыльный. Он всегда отличался необыкновенным усердием. Никогда не опаздывал, обычно приходил в контору даже раньше, чем положено. И однако он экономил время. Каждую свободную минуту посвящал ученью. Учился счетоводству и машинописи, а за уроки стенографии платил тем, что диктовал по вечерам репортеру по судебным делам, которому требовалась практика. Скоро он стал письмоводителем и сумел достичь в своем деле совершенства. Мой отец оценил его по достоинству и понял, что он способен выдвинуться. По совету отца он поступил в юридический колледж. Стал юристом, и, как только вернулся в контору, отец сделал его своим младшим партнером. Он замечательный человек. Он несколько раз отказывался от места в сенате Соединенных Штатов, и отец говорит, что он, если захочет, может стать членом Верховного суда, как только освободится вакансия. Такая жизнь — вдохновляющий пример для всех нас. Она показывает, что волевой человек может подняться над своей средой.

— Замечательный человек,— искренне сказал Мартин.

Но что-то в этом повествовании оскорбило его чувство красоты, его понятие о жизни. Он не видел в жизни мистера Батлера цели, ради которой стоило во всем себе отказывать и терпеть лишения. Будь это любовь к женщине или стремление к красоте, Мартин бы понял. Когда с ума сходишь от любви, на все пойдешь ради поцелуя, но не маяться же ради тридцати тысяч в год. Нет, не по душе ему карьера мистера Батлера. В конце концов, было в таком успехе что-то жалкое. Тридцать тысяч в год, конечно, хорошо, но больные кишки и неспособность радоваться простым человеческим радостям начисто обесценивают этот роскошный доход.

Многое из этих своих размышлений он попытался высказать Руфи, но она возмутилась в душе и ясно поняла, что его еще надо шлифовать и шлифовать. То была очень обычная узость мышления, те, кто ею страдают, убеждены, что их цвет кожи, их верования и политические взгляды — самые лучшие, самые правильные, а все прочие люди во всем мире обделены судьбой. Из-за этой же узости иудей в древние времена благодарил господа бога, что тот не создал его женщиной, из-за нее же нынешний миссионер от-

правляется на край света, стремясь своей религией вытеснить старых богов; и из-за нее же Руфь жаждала перекроить этого выходца из иного мира по образу и подобию людей своего круга.

ГЛАВА 9

Мартин Иден возвратился из плавания, любовь гнала его в Калифорнию. Когда деньги его иссякли, он нанялся матросом на шхуну, отправлявшуюся на поиски сокровищ; восемь месяцев напрасных усилий — и Соломоновы острова стали свидетелями бесславного конца экспедиции. В Австралии с командой рассчитались, и Мартин тут же нанялся на корабль, идущий в Сан-Франциско. За эти восемь месяцев он немало заработал, так что теперь очень нескоро надо будет опять выйти в море, да еще и сумел много заниматься и много прочесть.

Ученье давалось ему легко, и эту способность поглощать знания подкрепляла неукротимость духа и неукротимость любви к Руфи. Он взял с собой грамматику, читал и перечитывал ее опять и опять, пока его перегруженный знаниями мозг не овладел этой премудростью. Он подмечал, как грешат против грамотности его товарищи по плаванию, и всякий раз мысленно поправлял их неуклюжие выражения и повторял про себя уже по всем правилам. Он радовался открытию, что ухо его становится чувствительным к ошибкам, что у него появляется некое грамматическое чутье. Искаженное слово, неверное произношение резали ему слух, как фальшивая нота, но пока еще такая фальшивая нота нередко вырывалась и у него самого. Научиться всем этим повшествам с ходу он не мог.

Несколько раз подряд проштудировав грамматику, Мартин взялся за словарь и каждый день выучивал по два десятка новых слов. Оказалось, это задача не простая, и, стоя впередсмотрящим или за штурвалом, он упорно повторял слова из все удлиняющегося списка, их произношение и значения, и от этого неизменно клонило в сон. «Вряд ли», «по зрелом размышлении», «оставляет желать лучшего» — эти и иные выражения он шепотом повторял, стремясь привыкнуть к языку, каким разговаривала Руфь. «Их, их», а не «ихний», «что-то, что-то» а не «чтой-то» — настойчиво, тысячи раз твердил он и с удивлением стал замечать, что начинает разговаривать правильнее, чем сам капитан с помощниками и господа из кают-компании, охотники за сокровищами, которые финансировали экспедицию.

Капитан был норвежец с тусклыми глазами, у него невесть откуда оказалось собрание сочинений Шекспира, которое сам он и не думал читать, и Мартин стал стирать на капитана, а взамен

получил доступ к драгоценным томам. И так он погрузился в шекспировские драмы, так легко запечатлелись у него в памяти многие места, которые особенно пришлись по душе, что одно время весь мир стал ему представляться елизаветинскими трагедиями и комедиями и даже думать он начал белыми стихами. Это оттачивало слух и давало прекрасное представление о богатстве родного языка; вдобавок это познакомило со многим, что устарело и вышло из употребления.

Восемь месяцев были проведены с толком, и, мало того что Мартин приобщался к правильной речи и высокому строю мыслей, он многое понял в себе. Рядом со скромностью — ведь он так мало знает — в нем теперь была уверенность в своей силе. Он чувствовал, что резко отличается от товарищей по плаванию, и у него хватало ума осознать, что разделяет их, скорее, не уже им достигнутое, а то, чего он еще способен достичь. Что смог он, смогли бы и они; но что-то зрело, бродило в нем, подсказывая, что он может больше, чем уже сделал. Несказанная красота мира томила душу,— вот если бы Руфь была здесь, разделить бы это с ней. Он решил, что опишет ей красивейшие уголки Океании. Творческое начало вспыхнуло в нем, побуждая воссоздать эту красоту, и не для одной Руфи, но для многих людей. И тут в неслыханном блеске его озарила великолепная мысль. Он станет писателем. Люди увидят, услышат, ощутят мир и его зрением, слухом, его сердцем. Он станет писать все что угодно — о событиях вымышленных и подлинных,— стихи и прозу, и, как Шекспир, пьесы. Вот дело жизни, вот она, возможность приблизиться к Руфи. Писатели — титаны мира, и, уж конечно, они будут получше мистеров батлеров, пускай даже у тех и тридцать тысяч годового дохода и, стоит им захотеть, они сразу станут членами Верховного суда.

Едва родившись, мысль эта овладела им, и весь обратный путь в Сан-Франциско был как сон. Он опьянел от своего нежданного могущества, ему казалось, что для него нет ничего невозможного. Посреди пустынных просторов океана перед ним отчетливо вырисовывалось будущее. Лишь теперь он впервые ясно увидел Руфь и ее мир. Мир этот возник перед его мысленным взором во плоти,— можно было и так и эдак повернуть его и хорошенько разглядеть. Многое оказалось смутно, расплывчато, но Мартин увидел целое, а не подробности, и еще увидел, как этим миром овладеть. Писать! Мысль эта разгорелась в нем. Он начнет, как только возвратится. И первым делом опишет путешествие охотников за сокровищами. Продаст рассказ какой-нибудь сан-францисской газете. А Руфи ничего не скажет, и она вдруг увидит его имя напечатанным и удивится и обрадуется. Он будет писать, а учиться не бросит. Ведь в сутках двадцать четыре часа. Он непобедим. Он умеет работать, и никаким крепостям перед ним не устоять. Ему

больше не придется плавать простым матросом; и тут в его воображении промелькнула паровая яхта. Есть писатели, у которых свои паровые яхты. Конечно, нужен разгон, предостерег он себя, хорошо, если поначалу удастся заработать столько, чтоб можно было учиться дальше. А потом, пройдет время, много ли, мало — неизвестно, он выучится, подготовится и напишет замечательные вещи, и его имя будет у всех на устах. Но куда важней — несравнимо важней, важней всего на свете,— он покажет, что достоин Руфи. Слава — это прекрасно, однако великолепная мечта его родилась ради Руфи. Не славы он ищет, он просто без памяти влюблен.

Он приехал в Окленд с туго набитым кошельком, поселился в той же каморке у Бернарда Хиггинботема и засел за работу. Даже не дал знать Руфи, что возвратился. Решил пойти к ней, когда напишет очерк про охотников за сокровищами. Отложить встречу с ней было не так уж трудно — в нем пылала яростная жажда творчества. К тому же очерк приблизит к нему Руфь. Много ли надо написать, он не знал, но сосчитал, сколько слов на развороте воскресного приложения к «Сан-францисскому наблюдателю», и решил так держать. За три дня, работая как бешеный, он закончил повествованье, старательно, покрупнее для разборчивости переписал его, и тогда узнал из пособия по стилистике, взятого в библиотеке, что существуют на свете абзацы и кавычки. Прежде он ни о чем таком не задумывался и тотчас принялся заново переписывать свое сочинение, поминутно справляясь с пособием, и за один день узнал о том, как строить рассказ, больше, чем средний школьник узнает за год. Переписав свой очерк во второй раз и тщательно свернув трубочкой, он наткнулся в какой-то газете на советы начинающим авторам, и оказалось, что рукописи ни в коем случае нельзя сворачивать трубочкой, а писать следует на одной стороне страницы. Он же нарушил оба эти правила. Из той же заметки он узнал еще, что крупные газеты платят не менее десяти долларов за столбец. И когда переписывал рукопись в третий раз, утешался, умножая десять столбцов на десять долларов. Получалось все время одно и то же: сто долларов — повыгодней, чем плавать матросом. Не эти бы промахи, на все про все ушло бы три дня. Сотня долларов за три дня! В море он бы их заработал за три месяца, а то и поболе. Экая глупость — мотаться по морям, если можешь писать, порешил он, хотя деньги сами по себе ничего не значат. Они тем ценны, что дают свободу, позволяют купить приличную одежду,— а все это приблизит его, и очень быстро, к тоненькой бледной девушке, которая перевернула всю его жизнь и вдохновила его.

Он запечатал рукопись в большой конверт и адресовал ее редактору «Сан-францисского наблюдателя». Ему представлялось,

будто все, что присылают в газету, немедленно печатается, и, послав рукопись в пятницу, он надеялся в воскресенье увидеть свое творение на страницах газеты. Отличный способ оповестить Руфь, что он вернулся. Тогда в воскресенье во вторую половину дня он позвонит ей и увидит ее. А меж тем его уже занимала новая мысль, и он гордился, что она такая здравая, разумная и скромная. Он напишет приключенческую повесть для мальчишек и отошлет в «Спутник юношества». И он пошел в публичную библиотеку просмотреть комплекты «Спутника юношества». Оказалось, повести с продолжением печатаются там обычно в пяти номерах, около трех тысяч слов в каждом. Были и такие, которые печатались даже в семи номерах, и он решил писать именно такую.

Однажды он нанялся на китобойное судно, направлявшееся в Арктику,— плавание должно было продлиться три года, но уже через полгода все кончилось кораблекрушением. Одаренный живым, подчас необузданно пылким воображением, Мартин, однако, всему предпочитал доподлинную правду и хотел писать о том, что знает. Охоту на китов он знал и, основываясь на этом знании жизни, принялся сочинять приключения двух мальчишек — своих героев. Пустячная работа, решил он в субботу вечером. В тот день он закончил первый кусок в три тысячи слов, чем позабавил Джима, зато Хиггинботем весь обед злобно язвил насчет «писаки», который завелся в их семействе.

Мартин же с тайной радостью представлял, как зять захлопает глазами, когда раскроет поутру воскресный выпуск «Наблюдателя» и увидит очерк про охотников за сокровищами. В то воскресенье он спозаранку был уже у входной двери и лихорадочно перелистывал газету. Перелистал и еще раз, очень внимательно, потом сложил и оставил там, где взял. Хорошо хоть, никому загодя не сказал про свое сочинение. Наверно, ошибся в расчетах, написанное не так-то быстро попадает на страницы газеты, решил он, поразмыслив. Притом, в его сочинении нет таких уж свежих новостей, и скорей всего редактор прежде напишет ему об этом.

После завтрака он опять засел за повесть с продолжением. Слова так и лились, хотя он нередко отрывался — искал в словаре значение слова или заглядывал в учебник стилистики. А уж заглянув, часто при этом читал и перечитывал какую-нибудь главу, не больше одной за раз; и утешался тем, что, пока он не пишет то замечательное, что в себе чувствует, он, во всяком случае, набивает руку в искусстве строить сочинение и учится додумывать и выражать свои мысли. Он трудился дотемна, потом отправился в читальню и до самого закрытия, до десяти часов, вдумчиво читал журналы и еженедельники. Такую он себе составил программу на неделю. Каждый день писал три тысячи слов и каждый вечер с пристрастием изучал журналы, раздумывая над

рассказами, очерками и стихами, по мнению редакторов годными для печати. Одно было несомненно. Он может писать не хуже всего этого великого множества писателей, а дайте только срок, и он напишет так, как им и не снилось. Прочитав в «Книжных новостях» заметку о гонорарах журнальных авторов, он обрадовался не столько, что Киплинг получал доллар за слово, сколько тому, что первоклассные журналы платят не меньше двух центов за слово. «Спутник юношества» несомненно первоклассный журнал, а стало быть, за три тысячи слов, которые он написал в тот день, он получит шестьдесят долларов — в плаванье столько заработаешь за два месяца!

Вечером в пятницу он дописал последнюю часть — всего получилась двадцать одна тысяча слов. По два цента за слово получается четыреста двадцать долларов — неплохо за неделю работы. Столько денег сразу у него сроду не было. Не придумаешь, на что их все и потратить. Он напал на золотую жилу. Из нее можно черпать и черпать. Он купит еще одежды, подпишется на разные журналы, купит десятки справочников, а то ходи каждый раз в библиотеку. И все равно большая часть четырехсот двадцати долларов остается неистраченной. Он не знал, как тут быть, пока не додумался нанять прислугу Гертруде и купить Мэриан велосипед.

Он отправил пухлую рукопись в «Спутник юношества» и, задумав очерк о ловле жемчуга, в субботу после обеда пошел к Руфи. Он заранее позвонил по телефону, и она сама встретила его в дверях. И опять ее обожгло жаркой волной — таким все в нем дышало здоровьем. Казалось, эта жаркая сила разлилась по всему ее телу, и Руфь затрепетала. Мартин взял ее руку в свои, заглянул в ее голубые глаза и вспыхнул, но за восемь месяцев под солнцем лицо его стало совсем бронзовым, и этот свежий загар скрыл краску на щеках, но не скрыл полосу на шее, натертую жестким воротничком. Красный след позабавил Руфь, но едва она заметила, как Мартин одет, смеяться расхотелось. Костюм сидел отлично — первый его костюм от портного — и казалось, Мартин стал стройнее, лучше сложен. К тому же кепку заменила мягкая шляпа, Руфь велела ее надеть и с одобрением отозвалась о том, как он теперь выглядит. Она уж и не помнила, когда так радовалась. Эта перемена — дело ее рук, тут есть чем гордиться, и она, конечно, конечно же, будет помогать ему и дальше.

Но самая серьезная перемена произошла в его речи, и именно это было ей всего приятнее. Он стал говорить не только правильнее, но и непринужденней, и его словарь стал много богаче. Однако стоило ему разволноваться или увлечься, и он опять ошибался в произношении слова, неправильно строил фразу. И, случалось, смущенно запинался, вставляя в разговор лишь недавно

выученное слово. Но при этом речь его не только стала непринужденнее; Руфь с удовольствием отметила, как свободен, остроумен ход его мысли. Именно веселые шутки, способность добродушно подтрунивать и сделали его любимцем в своем кругу, но раньше он не находил нужных слов, не умел правильно выражаться, а потому и не мог проявить эту способность при Руфи. Он еще только начинал осваиваться, чувствовать, что он не вовсе чужак здесь. Но был очень осторожен, намеренно осторожен, предпочитал, чтобы веселый и легкий тон задавала Руфь, а сам хоть и не отставал, не осмеливался ее опережать.

Он рассказал, чем был занят, поделился своими планами — зарабатывать на жизнь писательством и учиться дальше. Но, к немалому его разочарованию, Руфь этого не одобрила. Его план не слишком ей понравился.

— Видите ли,— откровенно сказала она,— писательство должно быть профессией, как и все остальное. Я, разумеется, в этом не очень сведуща. Я лишь высказываю общепринятое мнение. Разве можно стать кузнецом, не проучившись этому ремеслу три года... или, кажется, пять? Писателям же платят много больше, чем кузнецам, и, должно быть, очень многие хотели бы писать... пробуют стать писателями.

— Ну, а может быть, я как раз для того и создан, чтобы писать? — допытывался Мартин, втайне ликуя, что так ловко подбирает слова, и вся эта сцена, самый дух ее, тотчас высветились на широком экране воображения рядом с другими сценами его жизни — сценами грубыми, жестокими, пошлыми, мерзкими.

Вся эта пестрая мозаика мигом вспыхнула перед ним, не прервав беседу, не нарушив спокойное течение его мыслей. На экране воображения он увидел себя и милую прелестную девушку — они сидят напротив друг друга и беседуют на правильном языке в комнате, полной книг и картин, где все так изысканно и культурно, все озарено ярким светом незыблемого великолепия; а по обе стороны тянутся, отступая к отдаленным краям экрана, совсем иные, уродливые, сцены, каждая — отдельная картинка, и он, зритель, волен разглядывать любую. Он видел их сквозь медленно плывущие пряди и клубы зловещего тумана, что истаивал в лучах ярко-красного, слепящего света. Вот ковбои у стойки пьют обжигающее горло виски, слышны непристойности, грубая брань, и сам он тут же, с ними, пьет и сквернословит заодно с самыми буйными или сидит за столом под коптящей керосиновой лампой, и стучат, звенят монеты, и карты переходят из рук в руки. Вот он на полубаке «Сасквеханны», голый по пояс, сжав кулаки, без перчаток бьется в знаменитой схватке с Рыжим Ливерпулем; а вот треклятая палуба «Джона Роджерса» в то серое утро, когда они попытались взбунтоваться, помощник капитана в предсмертных муках судо-

рожно дергается на крышке грузового люка, револьвер в руках капитана изрыгает огонь и дым, а вокруг теснятся разъяренные матросы, их лица искажены ненавистью, они отчаянно богохульствуют и падают под выстрелами... И опять перед Мартином та, главная картина, спокойная, чистая, освещенная ровным светом, где среди книг и картин сидит Руфь и беседует с ним; вот и фортепьяно, на котором она потом будет ему играть, и до него доносится эхо его же тщательно выбранных, правильно произнесенных слов: «Ну, а может быть, я как раз для того и создан, чтобы писать?»

— Но даже если человек как раз для того и создан, чтобы стать кузнецом,— со смехом возразила она,— я не слышала, чтобы кто-нибудь стал кузнецом, не обучившись этому ремеслу.

— А что вы мне посоветуете? — спросил он.— И не забудьте, я чувствую, у меня есть способность писать... не могу объяснить, просто знаю, есть у меня эта способность.

— Надо получить солидное образование,— был ответ,— независимо от того, станете ли вы в конце концов писателем. Какое бы поприще вы ни избрали, образование необходимо, и притом не поверхностное, не бессистемное. Вам бы следовало закончить среднюю школу.

— Да...— начал он, но она перебила, досказала то, о чем не подумала сразу:

— При этом вы, разумеется, могли бы продолжать писать.

— Пришлось бы,— хмуро сказала он.

— Почему? — Она взглянула на него немало озадаченная, ей не слишком приятно было, что он упорствует в своей затее.

— Потому что если не писать, не будет и средней школы. Мне надо на что-то жить и покупать книги и одежду.

— Совсем забыла,— засмеялась она.— Ну зачем вы не родились человеком со средствами?

— Лучше крепкое здоровье и воображение,— ответил он.— Набитая мошна дело хорошее, да ведь человеку этого мало.

— Не говорите «набитая мошна»,— воскликнула Руфь с милой досадой.— Это вульгарно, ужасно.

Мартин побагровел.

— Да-да, верно,— заикаясь, пробормотал он,— и пожалуйста, поправляйте меня каждый раз.

— Я... я с удовольствием...— Теперь уже она запнулась.— В вас столько хорошего, я хотела бы, чтобы вы избавились от недостатков.

И тотчас он обратился в глину в ее руках и также горячо желал, чтобы она лепила из него что хочет, как она желала перекроить его наподобие своего идеала мужчины. И когда она заметила, что время сейчас для него удачное, вступительные экзаме-

ны в среднюю школу начинаются в следующий понедельник, он сразу же сказал, что будет их сдавать.

Потом она играла и пела ему, а он глядел на нее с тоской и жадностью, упивался ее прелестью и дивился, что ее не слушают сейчас, не томятся по ней сотни поклонников, как томится по ней он.

ГЛАВА 10

В тот вечер он остался обедать и, к удовольствию Руфи, произвел благоприятное впечатление на ее отца. Они говорили о моряцкой профессии, в чем Мартин разбирался отлично, и мистер Морз заметил потом, что гость произвел на него впечатление весьма здравомыслящего молодого человека. Мартин старался избегать матросского жаргона, подыскивал верные слова и оттого говорил медленно, зато успевал собраться с мыслями... Он держался свободнее, чем при первом знакомстве, почти год назад, и его застенчивость и скромность даже пришлись по вкусу миссис Морз, которой понравилась заметная в нем перемена к лучшему.

— Он первый мужчина, который хоть как-то привлек внимание Руфи,— сказала она мужу.— До сих пор наша дочь была так не по возрасту безразлична к мужчинам, что я уже серьезно беспокоилась.

Мистер Морз пытливо посмотрел на жену.

— Ты постараешься, чтобы этот матрос ее разбудил? — спросил он.

— Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы она не осталась старой девой,— был ответ.— Если благодаря этому молодому Идену в ней проснется естественный интерес к мужчинам, это будет неплохо.

— Совсем неплохо,— отозвался муж.— Но предположим... а иной раз следует предполагать заранее, дорогая... предположим, в ней проснется интерес именно к нему?

— Невозможно! — Миссис Морз рассмеялась.— Она на три года старше него, и вообще это невозможно. Ничего такого не случится. Положись на меня.

Итак, роль Мартина была предопределена, а сам он тем временем затевал некое сумасбродство — на эту мысль его навели Артур и Норман. Воскресным утром братья отправляются на велосипедах в горы, сперва Мартина это никак не заинтересовало, но тут он узнал, что Руфь тоже ездит на велосипеде и участвует в прогулке. Сам он ездить не умел, и велосипеда у него не было, но раз она умеет, значит, надо и ему начать; и распрощавшись вечером с Морзами, он по дороге домой зашел в магазин и выложил

за велосипед сорок долларов. Это куда больше, чем он зарабатывал тяжким трудом за месяц, и кошелек его изрядно отощал; зато когда он прибавил сотню долларов, которую предстояло получить в «Наблюдателе», к четыремстам двадцати — уж меньше-то «Спутник юношества» не заплатит,— он решил, что теперь можно не больно ломать голову, куда девать эдакую прорву денег. Не огорчился он и когда, надумав сразу же доехать на велосипеде домой, погубил костюм. В тот же вечер он из лавки Хиггинботема позвонил портному и заказал новый. Потом втащил велосипед по узенькой лестнице, которая, наподобие пожарной, примыкала к дому с тыла, отодвинул у себя кровать от стены, и оказалось, теперь в комнатушке только и поместятся он да велосипед.

Воскресенье он хотел потратить на подготовку к экзаменам в среднюю школу, но увлекся историей о ловцах жемчуга и весь день лихорадочно писал, воссоздавал из слов пламеневшую в нем красоту и необыкновенные приключения. Рассказ об охотниках за сокровищами и в это утро не появился на страницах «Наблюдателя», но пыл Мартина не угас. Он унесся в недосягаемые выси, не услышал, как его дважды позвали к столу — и остался без тяжеловесного обеда, который по воскресеньям неизменно украшал стол Хиггинботема. Такими обедами мистер Хиггинботем наглядно показывал, как он преуспел в жизни и сколь многого достиг, и по этому случаю неизменно разражался препошлой речью во славу американских порядков и возможности выйти в люди, предоставленной благодаря этим порядкам каждому, кто в поте лица добывает хлеб свой,— а он сам, всякий раз напоминал он, уже вышел в люди, превратился из приказчика во владельца бакалейной лавки «Розничная торговля Хиггинботема за наличный расчет».

В понедельник утром Мартин Иден со вздохом глянул на неоконченных «Ловцов жемчуга» и поехал в Окленд в среднюю школу. А когда через несколько дней справился о результатах экзаменов, оказалось, что он провалился по всем предметам, кроме родного языка.

— Вы превосходно владеете языком,— сообщил преподаватель Хилтон, пристально глядя на него через толстые стекла очков,— но по всем остальным предметам вы не знаете ничего, ровным счетом ничего, а что касается истории Соединенных Штатов, ваше невежество чудовищно, просто чудовищно, иначе не скажешь. Я посоветовал бы вам...

Хилтон замолчал и, одаренный сочувствием и воображением не больше чем какая-нибудь из его пробирок, уставился на Мартина. Он преподавал в средней школе физику, весьма мало зарабатывал, обременен был большим семейством и солидным запасом тщательно заученных, но отнюдь не осмысленных знаний.

— Слушаю вас, сэр,— почтительно сказал Мартин, думая,

что лучше бы на месте Хилтона сейчас оказался человек из справочного отдела библиотеки.

— Я посоветовал бы вам вернуться в неполную среднюю школу, по крайней мере, года на два. Прощайте.

Провал этот не слишком огорчил Мартина, и он изумился, увидев, как омрачилось лицо Руфи, когда она услыхала совет Хилтона. Она была так явно разочарована, что он и сам огорчился, но больше из-за нее.

— Вот видите, я была права,— сказала она.— Вы знаете гораздо больше любого из тех, кто поступает в старшие классы, а экзамены не выдержали. Все оттого, что знания у вас отрывочные, случайные. Вам необходимо систематическое образование, его могут дать лишь опытные учителя. Вам надо изучить самые основы. Мистер Хилтон прав, и на вашем месте я поступила бы в вечернюю школу. За полтора года вы пройдете там двухлетний курс. Кроме того, дни у вас останутся свободными и вы сможете писать или, если не сумеете этим зарабатывать на жизнь, будете где-нибудь служить.

«Но если дни уйдут на работу, а вечера на школу, когда же мне видеться с вами?» — прежде всего подумал Мартин, но от вопроса удержался. И вместо этого сказал:

— Как-то это по-ребячьи — учиться в вечерней школе. Но это бы ладно, был бы толк. А по-моему, толку не будет. Сам я выучусь быстрей, чем с учителями. На школу уйдет прорва времени (он подумал о Руфи, он так жаждет ее завоевать), не могу я терять время зря. Нет у меня лишнего времени.

— Вам необходимо еще очень многое узнать.— Руфь смотрела участливо, и Мартина кольнула совесть: какая же он скотина, что не соглашается с ней.— Физикой и химией без лабораторных занятий овладеть нельзя, а в алгебре и геометрии, как вы сами убедитесь, тоже немыслимо разобраться без учителей. Вам нужны опытные преподаватели, специалисты, владеющие искусством передавать знания.

Он помолчал, подыскивая слова, которые не прозвучали бы похвальбой.

— Вы не подумайте, что я хвастаюсь,— начал он.— Ничего похожего. А только сдается мне, у меня, можно сказать, дар учиться. Я могу заниматься сам. Я тут как рыба в воде. Вы сами видите, как я справился с грамматикой. И я еще много чему выучился, вы даже не представляете, сколько я всего узнал. И это я только начинаю. Дайте срок, я...— Он запнулся, хотел увериться, что говорит правильно,— я наберу темп. Это еще первые шаги. Я только начинаю кумекать...

— Пожалуйста, не говорите «кумекать»,— прервала Руфь.

— Смекать,— поспешно поправился он.

— Лучше обходиться без этого слова,— возразила она.

Он все барахтался, стараясь выплыть.

— Я куда гну, я только начинаю соображать, что тут к чему.

Из жалости она воздержалась от замечания, и Мартин продолжал:

— Сдается мне, знания — они вроде штурманской рубки. Как приду в библиотеку, всегда про это думаю. Дело учителей по порядку растолковать ученикам все, что есть в рубке. Учителя — проводники по штурманской рубке, вот и все. Ничего нового они тут не выдумывают. Не они все это сработали, не они создали. В рубке есть карты, компас, все, что надо, а учительское дело все новичкам показать, чтоб не заблудились. Ну, а я не заблужусь. Я уж дорогу распознаю. Почти всегда знаю, где я есть... опять не так сказал?

— Выражение «где я есть» неправильное.

— Ну да,— с благодарностью согласился Мартин.— Я почти всегда знаю, где я. Так где же я? Да в штурманской рубке. А некоторым, видать...

— Наверно,— поправила она.

— Некоторым, наверно, нужны проводники... почти всем, а я так думаю, я могу обойтись без них. Я уже сколько времени пробыл в рубке и вот-вот научусь разбираться, соображу, какие мне нужны карты, какие берега я хочу исследовать. Раскинул я мозгами и вижу: сам я, один, справлюсь куда быстрей. Известно ведь, ход эскадры применяется к скорости самого тихоходного корабля, ну, и с учителями так же. Нельзя им идти быстрей рядовых учеников, а я пойду своим шагом и обгоню их.

— «Тот шагает быстрей, кто шагает один»,— процитировала Руфь.

— А с вами я все равно бы шагал быстрей,— готов был выпалить Мартин, и ему уже представились бескрайние залитые солнцем просторы и полные звезд бездны, и он плыл там вместе с нею, обхватив ее рукой, и ее светло-золотистые волосы льнули к его лицу. И в тот же миг он осознал свое жалкое косноязычие. Господи! Если бы он мог передать ей словами то, что видел сам! Взволновало, мучительной тоской отозвалось желание нарисовать те картины, что, незваные, вспыхивали в зеркале памяти. А, вот оно! Тайна приоткрылась ему. Вот что, оказывается, делали великие писатели и замечательные поэты. Вот почему они стали титанами. Они умели выразить то, что думали, чувствовали, видели. Дремлющие на солнцепеке собаки часто скулят и лают, но они не способны рассказать, что же им привиделось такое, отчего они заскулили и залаяли. Он часто гадал, что же они видят. Вот и сам он — всего лишь дремлющий на солнцепеке пес. Он видит величественные, прекрасные картины, но, чем пересказать их

Руфи, только и может скулить да лаять. Нет, больше он не станет дремать на солнце. Он подымется, стряхнет с себя сон и будет стараться изо всех сил, работать не покладая рук, учиться — пока не прозреет, не заговорит, пока не сумеет разделить с ней богатство запечатленных в памяти картин. Открыли ведь другие секрет выразительности, обратили слова в послушных слуг, ухитряются так их сочетать, что вместе слова эти значат куда больше, чем сумма их отдельных значений. Мартина глубоко взволновала приоткрывшаяся ему тайна, и опять засияли перед ним залитые солнцем просторы и звездные бездны... А потом он заметил, какая стоит тишина, и увидел, что Руфь весело смотрит на него и глаза ее смеются.

— Я грезил наяву,— сказал он, и от звука этих слов екнуло сердце. Откуда взялись у него такие слова? Они совершенно точно выразили то, из-за чего прервался их разговор. Произошло чудо. Никогда еще не выражал он возвышенную мысль так возвышенно. Но ведь он никогда и не пытался облечь в слова возвышенные мысли. Вот именно. Теперь все понятно. Он никогда не пробовал. А Суинберн пробовал, и Теннисон, и Киплинг, и все другие поэты. В уме промелькнули «Ловцы жемчуга». Он ни разу не осмелился заговорить о важном, о красоте, которой был одержим,— об этом источнике его вдохновенья. Он вернется к истории о ловцах жемчуга, и она станет совсем другая. Беспредельность красоты, что по праву наполняла эту историю, поразила его, и опять он загорелся и осмелел и спросил себя, почему не воспеть эту красоту прекрасными стихами, как воспевали великие поэты. А вся непостижимая прелесть, вдохновенный восторг его любви к Руфи! Почему не воспеть и любовь, как воспевали великие поэты? Они складывали стихи о любви. Сложит и он. Черт побери...

Со страхом он услышал, как этот возглас отдался в ушах. Замечтавшись, он чертыхнулся вслух. Кровь бросилась в лицо, хлынула волнами, поглощая бронзу загара, и вот уже краска стыда разлилась по шее до самого воротничка и вверх, до корней волос.

— Я... я... простите меня,— пробормотал он.— Я задумался.

— А прозвучало это у вас как будто молитесь,— храбро ответила Руфь, но внутренне вся сжалась, похолодела. Впервые при ней выругался знакомый человек, и она была возмущена — не только из принципа и не от благовоспитанности,— буйный порыв жизни, ворвавшийся в отгороженный от всего грубого сад ее девичества, глубоко ее оскорбил.

Но она простила и удивилась, как легко ей было простить. Отчего-то прощать ему оказалось совсем нетрудно. У него не было возможности стать таким, как другие мужчины, и он так старается, и делает успехи. Она и не подозревала, что ее снисходитель-

ность к нему может быть вызвана какими-то иными причинами. Да и как ей было понять. До двадцати четырех лет она прожила в безмятежном равновесии, ни разу даже не влюбилась, а потому не умела разбираться в своих чувствах; не испытав еще жара настоящей любви, не сознавала, что сейчас в ней разгорается любовь.

ГЛАВА 11

Мартин опять вернулся к «Ловцам жемчуга» и давно бы уже покончил с ними, если бы то и дело не отрывался, пытаясь писать стихи. Его вдохновляла Руфь, и стихи он писал любовные, но ни одного не завершил. Высоким искусством поэзии за день не овладеешь. Рифма, ритм, композиция стиха уже сами по себе достаточно сложны, но кроме этого, сверх этого, есть и еще что-то неуловимое, ускользающее, он ощущал это во всех прекрасных стихах великих поэтов, а поймать, заключить в свои стихи не мог. То был сам непостижимый дух поэзии, Мартин чуял его близость, охотился за ним, но тот не давался. Казалось, это — жаркое сияние, обманный уплывающий туман, до которого не дотянуться, лишь изредка вдруг посчастливится ухватить несколько прядей и сплести из них строчки, которые звенели внутри неотступным эхом или проплывали перед мысленным взором воздушными видениями неправдоподобной красоты. Это обескураживало. Он жаждал высказать себя, а получалась обыкновеннейшая болтовня, такое мог всякий. Он читал написанное вслух. Уверенной поступью шагал размер, рифма подхватывала, отбивала столь же безукоризненный ритм, но не было в них ни жара, ни высокого волнения, которое ощущал в себе Мартин. Не мог он этого понять и, в отчаянии, поверженный, угнетенный, снова и снова возвращался к очерку. Конечно же, проза более легкий способ высказаться.

После «Ловцов жемчуга» он написал очерк о море и о жизни матросов, и об охоте на черепах, и еще о северо-восточных пассатах. Потом попробовал себя в рассказе и с ходу написал шесть рассказов и разослал их в разные журналы. Он писал много, усердно, с утра до вечера, до поздней ночи, отрывался лишь, чтобы пойти в читальню, в библиотеку за книгами или к Руфи. Он был поистине счастлив. Жизнь была полна как никогда. Пламя, горевшее в нем, не слабело ни на миг. К нему пришла радость созидания, та, которой будто бы владеют только боги. Все, что было вокруг — запах гниющих овощей и мыльной пены, неряшливый вид сестры, злорадная ухмылка Хиггинботема,— просто сон. Подлинная жизнь шла у него в голове, и каждый рассказ был частицей этой подлинной жизни.

Дня не хватало. Столько всего хотелось узнать. Он урезал сон до пяти часов, и оказалось, этим вполне можно обойтись. Попробовал спать четыре с половиной часа и с сожалением вернулся к пяти. Он бы с радостью посвятил все остающееся от сна время любому из своих занятий. Жаль было отрываться от сочинительства ради ученья, отрываться от ученья и идти в библиотеку, приходилось гнать себя из штурманской рубки знаний или из читальни, от журналов, полных секретами мастерства тех, кто сумел продать плоды трудов своих. Что-то рвалось в нем, когда надо было встать и уйти от Руфи, но по темным улицам он не шел, а мчался, спеша скорее попасть домой, к своим книгам. А труднее всего было захлопнуть учебник алгебры или физики, отложить книгу и карандаш, закрыть усталые глаза и уснуть. Самая мысль, что надо выключиться из жизни, даже так ненадолго, была ненавистна, и утешало одно, что уже через пять часов зазвенит будильник. Все же он потеряет не больше пяти часов, а потом трезвон вырвет его из беспамятства, и начнется новый чудесный день длиной в девятнадцать часов.

Тем временем шла неделя за неделей, деньги таяли, а новых доходов не было. Через месяц после того, как он послал в «Спутник юношества» приключенческую повесть для мальчишек, рукопись ему вернули. Отказали в самых деликатных выражениях, и Мартин ничуть не обиделся, решил, что редактор славный малый. Совсем иные чувства вызвал у него редактор «Сан-францисского наблюдателя». Прождав ровно две недели, Мартин ему написал. Еще через неделю написал опять. На исходе месяца поехал в Сан-Франциско и направился к редактору. Но увидеться с этой высокой персоной не удалось, помешал охранявший врата цербер — рыжий мальчишка-рассыльный. К концу пятой недели рукопись вернулась по почте, без единого сопроводительного слова. Ни письменного отказа, ни объяснения, ничего. Так же поступили с его материалами и прочие ведущие сан-францисские газеты. Получив рукописи, Мартин послал их в журналы восточных штатов, но их вернули и того быстрей, в сопровождении печатных бланков с отказом.

Так же вернулись и рассказы. Мартин читал их и перечитывал, они нравились ему, очень нравились, он просто понять не мог, почему их отвергают, пока однажды не прочел в какой-то газете, что рукописи должны быть перепечатаны на машинке. Все стало ясно. Ну конечно, редакторы так заняты, у них нет ни времени, ни сил разбираться в чужом почерке. Он взял напрокат пишущую машинку и за один день научился печатать. Каждый день теперь он перепечатывал написанное за день, а прежние рукописи перепечатывал, как только они возвращались. К немалому его удивлению, стали приходить обратно и те, что он отпечатал

на машинке. Казалось, челюсть у него стала еще упрямей, подбородок выпятился воинственней, и он отправил рукописи в другие редакции.

Подумалось, что он не судья своим же сочинениям. Он испробовал — как отнесется к ним Гертруда. Прочел ей вслух рассказ. Глаза у нее заблестели, она посмотрела на него с гордостью и сказала:

— Знатно, вон ты, стало быть, чего пишешь.

— Да, да. А рассказ... нравится он тебе? — нетерпеливо спросил Мартин.

— Знатно, а как же,— был ответ.— Знатно, страх как интересно.

Мартин, однако, заметил, сестру что-то смущает. На ее добродушном лице все ясней проступало недоумение. И он ждал.

— Слышь, Март,— после долгого молчания,— а чем дело-то кончилось? Этот молодой, он еще все пыжится, чудно так разговаривает, досталась она ему?

Он объяснил развязку, написанную, как ему казалось, мастерски и вполне понятно, и сестра сказала:

— Во-во, я это и хотела знать. Чего ж ты так прямо не написал?

Он прочел ей не один рассказ и не два и уяснил себе одно: ей нравятся счастливые концы.

— Знатный рассказ, рассказ что надо,— объявляла она, отрывалась от корыта, распрямляла спину, красной распаренной рукой отирала потный лоб,— а только запечалилась я. Плакать охота. Печалей этих кругом и так полно. Вот про чего хорошее подумаешь, тогда и самой вроде хорошо. Слышь, а что б ему жениться на ней и... Ты не в обиде, Март? — опасливо спрашивала она.— Устала я, потому, видать, и хочется хорошего. А все одно, знатный рассказ... знатный, а как же. И куда ж ты его запродашь?

— Ну, это уж другое дело,— засмеялся Мартин.

— Нет, а как и впрямь запродашь, сколько, думаешь, дадут?

— Да уж сотню. Никак не меньше, такие нынче цены.

— Ишь как? Вот бы и впрямь запродать.

— Легкие денежки, а? — Потом с гордостью прибавил: — Это я за два дня написал. Выходит, полсотни долларов в день.

Он страстно хотел прочесть свои рассказы Руфи, но не смел. Надо подождать, пускай сперва хоть несколько напечатают, решил он, тогда она поймет, чего ради он трудился. Тем временем он продолжал усиленно заниматься. Никогда еще дух приключений не манил его так неодолимо, как во время этих поразительных странствий в царстве разума. Он купил учебники по физике и химии и не оставлял занятия алгеброй, решал теперь и новые задачи, вникал в опыты. Результаты лабораторных работ он прини-

мал на веру, а могучая сила воображения помогала ему представлять реакции химических веществ яснее, чем рядовому студенту во время опытов в лаборатории. Мартин поглощал страницы, несущие груз знаний, и, ошеломленный, обретал ключи к природе вещей. Прежде он воспринимал мир, не задумываясь, а теперь постигал, как все в этом мире устроено, как связаны, взаимодействуют энергия и материя. В сознании постоянно вспыхивали объяснения то одного, то другого, что было давно знакомо. Он думал, как это мудро и просто — рычаг, блок, вспоминал корабельные лебедки, ганшпуги, тали. Теперь ему понятна стала теория навигации, благодаря которой корабли безошибочно находят путь в морских просторах, где нет ни дорог, ни вех. Ему открывались секреты штормов, и дождей, и приливов, и причины возникновения пассатов, и он задумался, не поспешил ли он со своим очерком о северо-восточном пассате. Сейчас-то он, конечно, написал бы лучше. Раз он побывал с Артуром в Калифорнийском университете, затаив дыхание, исполненный благоговения, прошел по лабораториям, смотрел, как делаются опыты, и слушал лекцию профессора физики.

Но сочинительство он не забросил. Поток рассказов не иссякал, и еще он начал писать стихи попроще, какие встречал в журналах, но однажды, потеряв голову, попусту потратил две недели — написал белыми стихами трагедию и был огорошен, когда ее тотчас отвергли шесть журналов. Потом он открыл для себя Хенли и по образцу его «Больничных зарисовок» написал цикл стихов о море. Незамысловатые эти стихи полны были света, красок, романтики, приключений. Он назвал их «Голоса моря», и ему казалось, ничего лучше он еще не писал. Стихотворений было тридцать, Мартин написал их за месяц, сочиняя по одному в день, после окончания дневной работы над прозой, а прозы он за день писал столько, сколько обычный преуспевающий автор пишет за неделю. Труд не пугал его. Да это разве труд! Он обретал дар речи, и вся красота и чудо, что годами копились в его немой доныне, косноязычной душе, теперь полились живым неукротимым потоком.

«Голоса моря» он не показал никому, даже редакторам. Он им больше не доверял. Но не от недоверия не представил он «Голоса» на их суд. Такими прекрасными казались ему эти стихи, что он хотел приберечь их до того далекого лучезарного дня, когда решится прочесть их Руфи и разделить их с ней. А пока он хранил их у себя, читал вслух, возвращался к ним снова и снова и под конец уже знал на память.

Он жил полной жизнью каждое мгновенье, не только наяву, но и во сне, все эти пять часов ум его бунтовал против передышки и претворял мысли и события дня в несусветные, немыслимые чу-

деса. В сущности, он никогда не отдыхал, и организм менее выносливый, мозг не столь уравновешенный не выдержали бы, сломились. Он теперь реже бывал вечерами у Руфи: приближался июнь, скоро ей сдавать экзамены на степень бакалавра и она окончит университет. Бакалавр искусств! Он думал о ее ученой степени, и ему казалось, она слишком далеко умчалась, не догнать.

Один вечер в неделю она дарила ему, и он приходил поздно и обычно оставался обедать, а потом слушал, как Руфь играла на фортепьяно. То были праздники. Атмосфера дома Морзов, так резко отличающаяся от той, в какой жил Мартин, и сама близость Руфи укрепляли решимость взобраться на те же высоты. Не красота, живущая в нем, двигала им, не острое желание творить — он сражался ради нее. Он прежде всего и превыше всего любил. Все остальное он подчинил любви. Отвага любящего затмила отвагу искателя знаний. Ведь мир изумлял не столько тем, что состоял из атомов и молекул, движимых необоримой силой, сколько тем, что в нем жила Руфь. Она была изумительнее всего, что он знал, о чем мечтал, о чем догадывался.

Но его удручала разделявшая их пропасть. Так далека была от него Руфь, он не знал, как к ней подступиться. У девушек и женщин своего круга он пользовался успехом, но ни одну из них никогда не любил, а ее любил, и она была не просто из другого мира. Сама его любовь вознесла ее над миром. Она совсем особенная, она так на всех не похожа, что, подобно всякому влюбленному стремясь к близости с ней, он совершенно не знал, как это сделать. Правда, обретая знания и дар речи, он становился ближе к ней, говорил на ее языке, находил общие с ней мысли и радости, но это не утоляло острую любовную тоску. Воображение влюбленного окружало ее ореолом святости — слишком она святая, чистый, бесплотный дух, и не может быть с ней близости во плоти. Как раз его любовь и отодвигала ее в недосягаемую даль. Сама любовь отказывала ему в том единственном, чего жаждала.

А потом, однажды, внезапно, через разделявшую их пропасть на миг был перекинут мост, и с той поры пропасть стала не такой широкой. Они ели вишни, огромные, сочные, черные вишни, исходившие темно-красным соком. А после она читала ему вслух «Принцессу» Теннисона, и вдруг Мартин заметил у нее на губе вишневое пятнышко. На миг она перестала быть божеством. Она же из плоти и крови, из обыкновенной плоти, как он и как все люди, те же законы правят и ее телом. У нее такие же губы, как у него, и их тоже окрасила вишня. А если так с губами, значит, и с ней со всей. Она женщина, вся как есть, просто-напросто женщина. То было внезапное откровение. И оно ошеломило его. Будто у него на глазах солнце упало с неба или он увидел осквернённую святыню.

А потом он понял, что же это означает, и сердце заколотилось, требуя вести себя с этой женщиной как подобает влюбленному, ведь она вовсе не дух из иных миров, она просто женщина, вишневый сок оставил след на ее губах. Дерзкая мысль эта бросила его в дрожь, а душа пела и ликовал разум, убеждая его, что он прав. Руфь, видно, уловила какую-то перемену в нем и перестала читать, подняла голову, улыбнулась. Он перевел взгляд с ее голубых глаз на губы — вишневое пятнышко сводило его с ума. Он чуть было не рванулся к ней, не обнял, как обнимал других прежде, когда жил беспечно, как жилось. Ему казалось, она подалась вперед, ждала, и он удержался лишь огромным усилием воли.

— Вы совсем не слушаете,— укорила она.

И засмеялась, довольная его смущением, а он, встретив ее открытый взгляд, понял, что она и не подозревает, что он сейчас чувствует, и устыдился. Да, в мыслях своих он занесся невесть куда. Любая знакомая ему женщина догадалась бы,— любая, но не Руфь. А Руфь не догадалась. Вот она, разница. Руфь и впрямь совсем другая. Его ужаснуло сознание собственной грубости, охватил благоговейный трепет перед ее чистотой и наивностью, и вновь он смотрел на нее через пропасть. Мост обрушился.

А все-таки с этой минуты Руфь стала ему ближе. Случай этот остался в памяти, и, когда одолевало уныние, Мартин жадно вспоминал о нем. Пропасть уже больше не была так безмерна, как прежде. Он преодолел огромное расстояние, куда большее, чем требовалось, чтобы получить степень бакалавра искусств, даже десяток степеней. Руфь чиста, это верно, такая чистота ему прежде и не снилась, но от вишен на ее губах остаются следы. Она подвластна законам вселенной так же неотвратимо, как он. Она должна есть, чтобы жить, а если промочит ноги, схватит простуду. Но не в том дело. Раз она чувствует голод, и жажду, и жару, и холод, значит, может почувствовать и любовь, любовь к мужчине. Ну, а он мужчина. Тогда отчего бы не к нему? «Все зависит от меня,— лихорадочно бормотал Мартин.— Я добьюсь, чтоб она выбрала меня. Добьюсь».

ГЛАВА 12

Однажды под вечер Мартин бился над сонетом, в который никак не укладывалась красота и мысль, что в жарком мареве маячила у него в мозгу, и тут его позвали к телефону.

— Похоже, дамочка звонит... по голосу слыхать, не из простых,— с поганой ухмылкой сказал подозвавший его Хиггинботем.

Мартин подошел к телефону в углу комнаты, и, когда услыхал голос Руфи, его обдало теплом. В единоборстве с сонетом он

совсем о ней забыл, и при звуке ее голоса любовь сразила его, словно внезапный удар. Что за голос! Мягкий, нежный, певучий, словно доносящаяся издали едва уловимая мелодия или, вернее, словно звон серебряного колокольчика, безупречный, кристально чистый звук. У обыкновенных женщин не бывает таких голосов. Что-то в нем небесное, и доносится он из иных миров. Мартин едва различал, что он говорит, так чаровал его этот голос, но виду не подавал, ведь Хиггинботем так и сверлил его глазами хорька.

Руфь не сказала ничего особенного — просто вечером Норман должен был пойти с ней на лекцию, но у него разболелась голова, и она так огорчена, билеты уже взяты, и, если у него нет других дел, не будет ли он так добр, не пойдет ли с ней?

Не пойдет ли? Он силился обуздать ликованье, готовое прорваться в голосе. Невероятно! До сих пор он виделся с ней только в доме Морзов. Не смел хоть раз куда-нибудь ее пригласить. И ни с того ни с сего, пока он говорил с нею по телефону, нахлынуло неодолимое желание умереть за нее, в воспаленном мозгу вспыхивали и гасли видения героического самопожертвования. Он так ее любит, так отчаянно, так безнадежно. В эту минуту безмерного счастья, оттого что она пойдет с ним, войдет на лекцию с ним, с Мартином Иденом, она вознеслась над ним так высоко, что казалось, только и остается умереть за нее. Иначе не выразить свою огромную, неземную любовь к ней. Такое возвышенное отречение от истинной любви дано изведать всем любящим, изведал его и Мартин в этот миг у телефона, в вихре пламенного блаженства; и он чувствовал, умереть за нее значило бы, что он жил и любил достойно. А ему едва минул двадцать один год, и он никогда еще никого не любил.

Он повесил трубку, рука дрожала, от внезапно испытанной сладостной полноты слияния с ней накатила слабость. Глаза лучисто сияли, лицо, отрешенное от всего суетного, преобразилось, дышало какой-то неземной чистотой.

— Свидания назначаешь, а? — съехидничал зять.— Сам знаешь, чем это кончается. Угодишь на скамью подсудимых.

Но Мартин не мог спуститься с небес. Даже грязный намек не вернул его на землю. Он не снизошел до гнева и обиды. Ему только что явилось дивное виденье, и он уподобился богу, и мог лишь горько, глубоко пожалеть это ничтожество. Он и не взглянул на Хиггинботема, поднял на него глаза, но все равно не увидел; и, словно во сне, вышел из комнаты, надо было переодеться. Только уже у себя, завязывая галстук, он как бы заново услышал застрявший в ушах неприятный звук. Вслушался и запоздало сообразил: это Бернард Хиггинботем презрительно фыркнул ему вслед.

Парадная дверь Морзов закрылась за Мартином и Руфью, и, спускаясь с крыльца, он вдруг отчаянно растерялся. Оказалось, сопровождать ее на лекцию не одно только блаженство. Неизвестно, как себя вести. Ему случалось видеть, как ходят по улицам люди ее круга — обычно женщина идет под руку с мужчиной. Но бывает, опять же, что идут и не под руку, неизвестно, может, под руку ходят только вечером, или только мужья с женами, или вообще родня.

Перед тем как ступить на тротуар, он вспомнил Минни. Минни всегда строго держалась правил хорошего тона. Уже при второй встрече она отчитала его за то, что он шел со стороны домов, и решительно заявила, что, если джентльмен провожает даму, ему полагается идти с края тротуара. И всякий раз как они переходили через улицу, Минни непременно наподдавала ему по ноге — напоминала, чтобы опять шел там где следует. Интересно, откуда она взяла это правило, докатилось оно до нее из хорошего общества, и впрямь ли так полагается?

Почему бы не попробовать, решил он и, едва они ступили на тротуар, перешел за спиной Руфи к краю. И сразу оказался перед новой задачей. Предложить ей руку? Сроду ни одной девушке не предлагал руку. Девушки, с которыми он был знаком, никогда не брали парней под руку. В первые дни знакомства парочка просто идет рядом, а потом, на улицах потемнее,— в обнимку, и девушка кладет голову парню на плечо. Но теперь все иначе. Руфь не такая, как те девчонки. Надо что-то делать.

Он согнул руку в локте, чуть-чуть согнул, на пробу, словно и не предлагал ей, а небрежно, вроде он всегда так ходит. И чудо свершилось. Руфь взяла его под руку. От этого прикосновенья он ощутил восхитительный трепет, на несколько мгновений словно оторвался от земли и вместе с ней парил в воздухе. Но скоро опять спустился на землю, встревоженный новым осложнением. Они переходят через улицу. Значит, он окажется с внутренней стороны тротуара. А положено идти со стороны мостовой. Как быть — опустить руку и перейти? А потом — переходить каждый раз, опять и опять? Что-то здесь не так, не станет он скакать с места на место, нечего валять дурака. Однако он не совсем успокоился, и, оказавшись с внутренней стороны тротуара, стал быстро, с жаром что-то рассказывать, сделал вид, будто увлекся разговором,— если ошибся и надо было перейти, она подумает, что он просто заговорился.

Они пересекали Бродвей, и он столкнулся с новой задачей. В ярком свете электрических огней он увидел Лиззи Конноли и ее смешливую подружку. Он заколебался было, но тотчас рука поднялась, он снял шляпу. Не мог он предать своих, и не перед одной Лиззи Конноли снял он шляпу. Она кивнула, смело глянула

на него не мягким и кротким взглядом, как у Руфи, нет, в ее красивых глазах был вызов, она перевела их на Руфь, явно заметила и ее лицо, и платье, угадала положение в обществе. Он почувствовал, Руфь тоже скользнула по ней взглядом, тихим и кротким, как у голубки, однако вмиг оценила эту фабричную девчонку в дешевых украшениях и несуразной шляпке, в каких щеголяли в ту пору все такие девчонки.

— Какая хорошенькая девушка! — чуть погодя сказала Руфь.

Мартин едва не задохнулся от благодарности, хотя сказал совсем не то:

— Ну не знаю. Наверное, это дело вкуса, по-моему, не такая уж она хорошенькая.

— Да что вы, такие правильные черты, как у нее, большая редкость. Безукоризненно правильные черты. Лицо точеное, словно камея. И глаза прекрасные.

— Вам так кажется? — рассеянно сказал Мартин, ведь для него в целом свете лишь одна женщина была прекрасна и она сейчас рядом и опирается на его руку.

— Кажется? Будь у этой девушки возможность как следует одеться, мистер Идеи, и если ее научить держаться, вы были бы ослеплены ею, да и все мужчины тоже.

— Ее надо было бы научить правильно говорить,— заметил Мартин,— не то большинство мужчин не поняли бы ее. Будьте уверены, если она заговорит по-своему, вы и четверти не поймете.

— Чепуха! Вы совсем как Артур, вас невозможно переубедить.

— Вы забыли, как я разговаривал вначале. С тех пор я научился новому языку. А прежде разговаривал, как эта девушка. Теперь я хоть как-то владею вашим языком и могу вам сказать: вы не знаете языка той девушки. А знаете, почему она так держится? Теперь я думаю о таких вещах, хотя прежде никогда о них не задумывался, и начинаю понимать... многое.

— Почему же она так держится?

— Она сколько лет по много часов работала у машин. Молодое тело — оно податливое, тяжелая работа мнет его, будто глину, на каждой работе по-своему. Я когда встречу рабочего человека, почти всякого могу с ходу определить, кто он такой. Вот поглядите на меня. Почему я хожу враскачку? Потому что сколько лет провел в море. А был бы все эти годы ковбоем, не так бы ходил, зато ноги были б кривые, тело-то молодое, податливое. И с этой девушкой то же самое. Вы приметили, глаза у ней, можно сказать, жесткие. Не было у ней никогда защиты и опоры. Самой пришлось о себе заботиться, а раз девушка сама о себе заботится, где уж глазам смотреть мягко и нежно, как... вот, к примеру, как вы смотрите.

— Наверно, вы правы,— совсем тихо сказала Руфь.— Какая жалость, такая хорошенькая девушка.

Он посмотрел на нее и увидел в ее глазах свет сострадания. А потом вспомнил, ведь он любит ее, и растерялся: непостижимо, как выпало ему на долю такое счастье — любить ее, вести ее на лекцию, и она опирается на его руку.

«Кто ты есть, Мартин Иден? — глядя в зеркало, требовательно спросил он себя в тот вечер, возвратясь домой. Он разглядывал себя долго, с любопытством.— Кто ты есть? Что ты такое? Откуда взялся? По справедливости твое место рядом с девчонками вроде Лиззи Конноли. Твое место — в толпе тружеников, там, где все низменно, грубо, уродливо. Твое место среди «вьючных животных» и «ломовых лошадей», в грязи, зловонии и смраде. Вон как несет заплесневелыми овощами. Гниет картошка. Нюхай, черт подери, нюхай! А ты посмел уткнуться в книгу и слушать прекрасную музыку, учишься любить прекрасные картины, говорить правильно, хорошим языком, думать, о чем наш брат вовсе не думал и не подумает, отрываешься от «рабочей скотинки» и от всяких Лиззи Конноли и любишь бледную женщину, почти что бесплотный дух, витающую за миллион миль от тебя, среди звезд. Кто ты есть? И что ты такое, черт тебя подери? И ты думаешь добиться успеха?!»

Он погрозил кулаком себе, глядящему из зеркала, сел на край кровати и ненадолго забылся в мечтах, уставясь в пустоту, ничего не видя. Потом достал блокнот, учебник аглебры и углубился в квадратные уравнения, а часы ускользали, и померкли звезды, и серый рассвет затопил окно.

ГЛАВА 13

В этом великом открытии повинна кучка речистых социалистов и философов из рабочих, которые в теплые дни, поближе к вечеру, ораторствовали в Муниципальном парке. Раз-другой в месяц, проезжая парком, по дороге в библиотеку, Мартин слезал с велосипеда, слушал их споры и потом с неохотой ехал прочь. Спорили здесь куда грубее, чем за столом у мистера Морза. Люди тут не отличались степенностью и сдержанностью. Они легко теряли самообладание и переходили на личности, у них частенько слетали с языка и ругательства, и непристойные намеки. Раз-другой у него на глазах начиналась потасовка. И однако почему-то казалось, есть в их рассуждениях что-то насущно важное. Их словопренья куда больше будоражили мысль, чем благоразумный невозмутимый догматизм мистера Морза. Эти люди безжалостно коверкали язык, размахивали руками как безумные, оспаривали

мысли противника с первобытной яростью, но почему-то казалось, они много ближе к жизни, чем мистер Морз и его приятель Батлер.

Несколько раз Мартин слышал, как в парке ссылались на Герберта Спенсера, а потом однажды появился и последователь Спенсера, убогий бродяга в грязном пальто, старательно застегнутом до самого горла, чтобы скрыть отсутствие рубашки. Разгорелось генеральное сражение, и в густом сигаретном дыму, среди спорщиков, которые без конца сплевывали табак, бродяга твердо стоял на своем, даже когда один рабочий-социалист язвительно провозгласил: «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его». Мартин никак не мог понять, о чем спор, но заинтересовался Спенсером и, доехав до библиотеки, взял там «Основные начала», книгу, которую бродяга поминал чаще всего.

Так сделан был первый шаг к великому открытию. Однажды Мартин уже пробовал взяться за Спенсера, но выбрал «Основы психологии» и потерпел такую же позорную неудачу, как с мадам Блаватской. Решительно ничего не понял и вернул книгу, не прочитав. Но на этот раз, поздним вечером, после алгебры, физики и попытки написать сонет, он уже в постели открыл «Основные начала». Наступало утро, а он все еще читал. Было не до сна. В этот день он и не писал. Не вставал с постели, а когда все тело затекло, растянулся на полу и читал то лежа на спине и держа книгу высоко над собой, то поворачивался с боку на бок. Следующую ночь он спал и с утра писал, а потом книга опять его соблазнила, и он зачитался, забыл обо всем на свете, забыл даже, что в конце дня его ждет Руфь. И опамятовался лишь когда Бернард Хиггинботем рывком распахнул дверь и рявкнул: он что, думает, у них тут ресторан, что ли.

С детства Мартин одержим был желанием узнать как можно больше. Эта жадная пытливость и погнала его странствовать по свету. Но теперь, читая Спенсера, он понял нечто новое, такое, что оставалось бы для него за семью печатями, проплавай он и проскитайся хоть всю жизнь. До сих пор он лишь скользил по поверхности, подмечал отдельные явления, накапливал отрывочные сведения, кое-что по мелочам неглубоко обобщал,— и ему казалось, ничто в мире не связано друг с другом, все в нем безалаберно, все дело капризного случая. Он следил за полетом птиц и здраво размышлял над механизмом полета; но ни разу не задавался вопросом, какие пути развития привели к появлению птиц, этих живых летающих механизмов. Он и не подозревал, что происходило какое-то развитие. Не догадывался, что птицы непременно должны были появиться. Они существовали спокон веку. Существовали — и все тут.

Так было с птицами и так же со всем остальным. Тщетно он пытался без запаса простейших знаний, без всякой подготовки

приобщиться к философии. Средневековая метафизика Канта ничего ему не объяснила, лишь заставила усомниться, что у него хватит ума на такую премудрость. Точно так же его попытка разобраться в теории эволюции оборвалась на безнадежно специальном томе Роумейнза. Он ровно ничего не понял, только решил, что эволюция — скучнейшая теория, созданная множеством людишек, которые души не чают в прорве невразумительных слов. А теперь оказалось, эволюция не просто теория, но признанный ход развития, и ученые уже не спорят на этот счет, они спорят лишь о формах эволюции.

И вот этот самый Спенсер нарисовал ему стройную картину мира, свел все знания воедино, уточнил основные факты, и перед его изумленным взором предстала вселенная столь наглядно, словно заточенная в бутылку модель корабля, какие так искусно мастерят моряки. И правит здесь не капризный случай. Здесь правит закон. Послушная закону, летает птица, и, послушная тому же самому закону, несущая в себе зачатки иной жизни, склизкая тварь корчилась, извивалась, пока у нее не появились ноги и крылья и она не стала птицей.

Ступень за ступенью Мартин всходил на высоты интеллектуальной жизни, и вот он на вершине, где еще не бывал. Все, что было раньше недоступно, открывает ему свои тайны. Он опьянел от обретенной ясности. По ночам, в подавляющих величием сновидениях, он пребывал с богами, а днем, пробудясь, бродил, отрешенный, точно сомнамбула, и, не замечая окружающего, всматривался во вновь открытый мир. За столом не слышал пустых разговоров о ничтожных или гнусных мелочах и во всем, что попадалось на глаза, нетерпеливо отыскивал причину и следствие. В куске мяса на тарелке ему сияло солнце, и он мысленно прослеживал путь солнечной энергии через все превращения назад к ее источнику за сотни миллионов миль, или прослеживал ее дальнейший путь к мышцам, которые двигают руку и она режет мясо, к мозгу, откуда исходят приказы мышцам двигаться и резать мясо, и вот уже перед внутренним взором само солнце сияет у него в мозгу. Озаренный этой мыслью, он не слыхал, как Джим шепнул: «Рехнулся»,— не видел, с какой тревогой смотрит на него сестра, не заметил, как Бернард Хиггинботем многозначительно покрутил пальцем у виска: дескать, у шурина ум за разум зашел.

Пожалуй, больше всего Мартина поразила взаимосвязь знаний, всех знаний. Он всегда был пытлив и, что бы ни узнал, откладывал в отдельную ячейку памяти. Так, у него был огромный запас сведений о мореплавании. И уже немалый запас представлений о женщинах. Но ему казалось, между мореплаванием и женщинами нет ничего общего. Ничто не связывало эти разные ячейки памяти. Он счел бы смехотворным, невозможным, будто,

по самой природе знания, возможна какая-то связь между женщиной, бьющейся в истерике, и шхуной, подхваченной штормом или потерявшей курс. А Герберт Спенсер показал ему, что не только нет в этом ничего смехотворного, но напротив, тут непременно должна быть связь. Все соотносится одно с другим, от отдаленнейшей звезды, затерянной в небесных просторах, до мириадов атомов в песчинке под ногой.

Это новое представление не переставало изумлять Мартина, и он ловил себя на том, что постоянно ищет связь между всем и вся в подлунном мире и в заоблачных высях. Он составлял списки самых несочетаемых явлений и понятий и не успокаивался, пока не удавалось установить между ними родство — родство между любовью, поэзией, землетрясением, огнем, гремучими змеями, радугой, драгоценными камнями, уродствами, солнечными закатами, львиным рыком, светильным газом, людоедством, красотой, убийством, рычагом, точкой опоры и табаком. Таким образом он объединял вселенную и разбирался в ней, разглядывал или бродил по ее закоулкам, тропинкам и дебрям не как перепуганный скиталец в чащобе неразгаданных тайн, сам не ведающий, чего ищет, нет, он наблюдал, и отмечал на карте, и постигал все, что только можно. И чем больше узнавал, тем горячей восхищался вселенной, и жизнью, и тем, что сам живет в этом мире.

— Дурак! — кричал он своему отражению в зеркале.— Ты хотел писать и пытался писать, а о чем было писать? Что у тебя такого было за душой? Кой-какие ребяческие понятия да незрелые чувства, жадное, но неосознанное чувство красоты, дремучее невежество, сердце, готовое разорваться от любви, и мечта, огромная, как эта любовь, и бесплодная, как твое невежество. А еще хотел писать. Ты только еще начинаешь постигать что-то, о чем можно писать. Ты хотел творить красоту, но где тебе, ты же ведать не ведаешь, что она такое — красота. Ты хотел писать о жизни, но ты же ведать не ведаешь самых ее основ. Ты хотел писать о мире, о том, как устроен мир, а мир для тебя головоломка, и об этом говорили бы и твои писания. Но не унывай, Мартин, дружище! Ты еще напишешь. Ты уже знаешь кое-что, самую малость, но ты на правильном пути и узнаешь больше. Когда-нибудь, если повезет, ты будешь знать едва ли не все, что возможно. И тогда будешь писать.

Он поведал Руфи о своем замечательном открытии, хотел разделить с ней всю свою радость, все изумление. Но она осталась едва ли не равнодушна. Молча выслушала — видно, уже успела познакомиться с этим в университете. Открытие не взволновало ее, как Мартина, и не реши он, что не так уж, видно, это для нее ново и неожиданно, он бы поразился. Оказалось, Артур и Норман тоже верят в теорию эволюции и читали Спенсера, хотя, похоже, он не повлиял на них всерьез, а косматый малый в очках, Уилл

Олни, при имени Спенсера презрительно фыркнул и повторил шуточку, которую Мартин слышал в парке: «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его».

Но Мартин простил ему насмешку, так как начал понимать, что Олни вовсе не влюблен в Руфь. Позднее, по всевозможным мелочам, он убедился, что тот не только равнодушен к Руфи, но даже относится к ней неприязненно, и это Мартина огорошило. Не укладывалось это у него в голове. Престранное явление, никак его не связать со всем остальным, что происходит в мире. Однако он пожалел молодого чудака — видно, бедняга жестоко обделен природой, оттого и неспособен оценить всю красоту, все совершенство Руфи. Несколько воскресений они ездили на велосипедах в горы, и Мартин мог воочию убедиться, что между Руфью и Олни шла необъявленная война. Олни предпочитал общество Нормана, предоставляя Артуру и Мартину сопровождать Руфь, за что Мартин был ему весьма признателен.

До чего же отрадны были для Мартина те воскресенья,— конечно, всего отрадней оттого, что рядом была Руфь, но еще и оттого, что ставили его почти на равную ногу с молодыми людьми ее круга. Хотя они долгие годы получали систематическое образование, Мартин убедился, что вовсе не уступает им в умственном развитии, а часы, проведенные за разговором с ними, давали случай применить на деле знание родного языка — недаром он так старательно занимался грамматикой. Он забросил книжки о правилах хорошего тона и опять стал внимательно присматриваться, как ведут себя эти молодые люди. Если не считать минут, когда он слишком увлекался разговором, он постоянно был начеку, зорко наблюдал за каждым их шагом, перенимал у них маленькие секреты благовоспитанности и учтивости.

Поначалу Мартина удивляло, что Спенсера очень мало читают.

— Герберт Спенсер...— сказал библиотекарь,— о да, великий ум.— Но, похоже, суть трудов этого великого ума ему неизвестна. Однажды вечером, после обеда, на котором был и мистер Батлер, Мартин заговорил о Спенсере. Мистер Морз резко обрушился на английского философа за агностицизм, но признался, что «Основные начала» не читал, а мистер Батлер заявил, что Спенсер нагоняет на него тоску,— не читал ни единой его строчки и прекрасно обходится без него. Мартин засомневался, и, не обладай он таким самостоятельным умом, он согласился бы с общим мнением и махнул на Спенсера рукой. Но ему мысли Спенсера казались убедительными; он был уверен: махнуть рукой на Спенсера — все равно что мореплавателю выбросить за борт компас и хронометр. И он продолжал вгрызаться в теорию эволюции, чем дальше, тем уверенней сам овладевал предметом, да еще черпал подтверждения в трудах многих и многих ничем не связанных между собой авторов.

Чем больше он читал, тем шире оказывался круг знаний, ему еще неведомых, и он непрестанно горевал, что в сутках всего-навсего двадцать четыре часа.

Так коротки были дни, что он наконец решил бросить алгебру и геометрию. К тригонометрии он и не подступался. Потом вычеркнул из расписания занятий и химию, оставил только физику.

— Я не специалист,— оправдываясь, сказал он Руфи.— И не собираюсь становиться специалистом. Наук такое множество, хорошо, если за всю жизнь человек овладеет хотя бы десятой долей. Мне нужно общее образование. А когда понадобятся специальные знания, я обращусь к книгам специалистов.

— Но ведь это совсем не то, что владеть знаниями самому,— возразила Руфь.

— А зачем все знать самому? Мы пользуемся работами специалистов. На то они и существуют. Вот сегодня я видел, у вас в доме работают трубочисты. Они специалисты, и, когда они сделают свое дело, вы с удовольствием будете пользоваться прочищенными дымоходами, а ведь вы не знаете, как дымоходы устроены.

— Боюсь, это притянуто за уши.

Она как-то странно посмотрела на Мартина, и в ее взгляде, в тоне он ощутил упрек. Но он был уверен в своей правоте.

— Все подлинные мыслители, величайшие умы человечества, опирались на специалистов. Так поступал Герберт Спенсер. Он обобщил открытия тысяч исследователей. Чтобы открыть все это самому, он должен был бы прожить тысячу жизней. Так же и Дарвин. Он воспользовался всем тем, что узнали цветоводы и скотоводы.

— Вы правы, Мартин,— сказал Олни.— Вы понимаете, что вам нужно, а Руфь не понимает. Она не понимает даже, что нужно ей самой.

— Да-да,— торопливо продолжал он, не давая ей возразить.— Я знаю, вы это называете общей культурой. Но если стремишься к общей культуре, совершенно не важно, что именно изучаешь. Можно изучать французский, а можно немецкий, а можно отказаться от того и от другого и заняться эсперанто, и все равно это приобщит вас к культуре. В тех же целях можно заняться греческим или латынью, хотя они никогда вам не пригодятся. И все равно это будет, видите ли, культура. Да что там, вот Руфь изучала древнеанглийский, и весьма успешно, было это два года назад, а сейчас она только и помнит: «Когда апрель обильными дождями...»,— как бишь у Чосера?

— И все равно это приобщало к культуре,— со смехом продолжал он, опять не давая Руфи возразить.— Знаю. Со мной та же история.

— Но вы так говорите о культуре, словно она должна быть только средством,— воскликнула Руфь. Глаза ее сверкали, на щеках вспыхнули красные пятна.— Культура сама по себе — цель.

— Но Мартину не того надо.

— Откуда вы знаете?

— К чему вы стремитесь, Мартин? — требовательно, глядя в упор, спросил Олни.

Мартину стало не по себе, он с мольбой смотрел на Руфь.

— Да, к чему вы стремитесь? — спросила Руфь.— Разрешите наш спор.

— Да, конечно, я стремлюсь к культуре,— неуверенно проговорил Мартин.— Я люблю красоту, а культура поможет тоньше, острее чувствовать красоту.

Она кивнула, явно торжествуя.

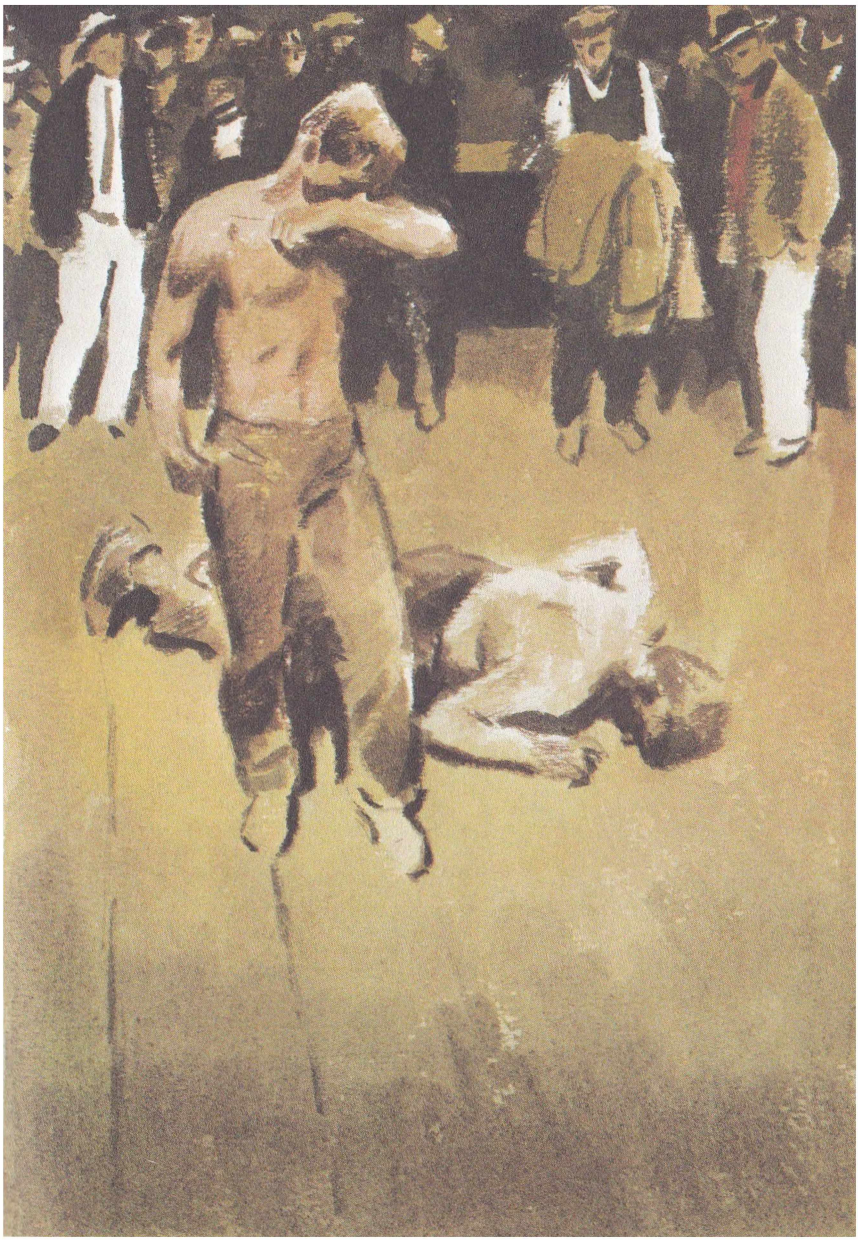
— Вздор, и вы сами это знаете,— отозвался Олни.— Мартину нужна профессия, а не культура. Для него культура неотъемлема от профессии, так уж получилось. А пожелай он стать химиком, мог бы обойтись без культуры. Мартин хочет стать писателем, а сказать об этом боится, ведь это будет значить, что вы неправы.

— А почему он хочет стать писателем? — продолжал Олни.— Потому что он не богач. Почему вы забиваете себе голову древнеанглийским и культурой вообще? Потому что вам не надо пробивать себе дорогу в жизни. На то у вас есть отец. Он покупает вам платья и все прочее. Наше образование — ваше, мое, Артура, Нормана — какой от него толк? Мы наглотались этой самой культуры, а если наши папочки сегодня разорятся, нам придется завтра же сдавать экзамены на право преподавать в школе. В самом лучшем случае, Руфь, вы только и сумеете стать учительницей где-нибудь в провинции или преподавать музыку в пансионе для девиц.

— А вы-то что сумеете? — спросила она.

— Ничего путного. Буду получать доллара полтора на какой-нибудь черной работе, а может быть, меня взяли бы репетитором в заведение Хенли для умственно отсталых, заметьте, я сказал «может быть», а может быть, к концу первой же недели меня выставили бы за непригодностью.

Мартин внимательно следил за их спором и, убежденный, что прав Олни, возмущался, однако, его довольно бесцеремонным обращением с Руфью. Пока он слушал, у него сложилось новое понятие о любви. Рассудок не имеет ничего общего с любовью. Совершенно не важно, правильно рассуждает та, кого любишь, или неправильно. Любовь выше рассудка. Ну, не понимает Руфь, что ему позарез нужна профессия, но ведь от этого она мила ему ничуть не меньше. Она ему бесконечно мила, и каковы бы ни были ее взгляды, это ничего не меняет.



«Мартин Иден»

«Мартин Иден»

— Что такое? — спохватился он, когда Олни каким-то вопросом прервал ход его размышлений.

— Я говорю, надеюсь, у вас хватит ума не засесть за латынь.

— Но латынь не просто культура,— перебила Руфь.— Это умственный багаж.

— Так как же, неужели вы засядете за латынь? — не отставал Олни.

Мартин не знал, как выпутаться. Он видел, Руфь нетерпеливо ждет его ответа.

— Боюсь, у меня не останется времени,— сказал он наконец.— Я бы и рад, но не останется времени.

— Видите, Мартин старается не ради культуры,— ликовал Олни.— Он хочет чего-то добиться, преуспеть.

— Но ведь занятия латынью развивают интеллект. Это тренирует ум. Дисциплинирует его.— Руфь с надеждой смотрела на Мартина, словно ждала, что он передумает.— Ведь вот футболисты перед важными играми непременно тренируются. Так же нужна и латынь для мыслящего человека. Это тренировка ума.

— Вздор и чепуха! Так нам твердили в детстве. Но одного нам тогда не говорили. Предоставили нам самим после открыть эту истину.— Олни помолчал для внушительности, потом прибавил: — А не сказали нам, что каждому джентльмену надо изучать латынь, но знать ее джентльмену не надо.

— Нет, это несправедливо,— воскликнула Руфь.— Так я и знала, что вы все высмеете и вывернете наизнанку.

— Ладно, я сострил,— был ответ,— а все-таки это справедливо. Латынь только и знают аптекари, адвокаты да латинисты. И если Мартин метит в аптекари, в адвокаты или в преподаватели латыни, значит, я не угадал. Но тогда спрашивается, при чем тут Герберт Спенсер? Мартин только что открыл его для себя и совсем на нем помешался. А почему? Потому что Спенсер открывает ему какой-то путь. Ни меня, ни вас Спенсер никуда не приведет. Нам незачем куда-то идти. Вы просто-напросто выйдете замуж, мне же только и надо будет присматривать за поверенными и управляющими, а уж они станут пасти денежки, которые мне оставит папаша.

Олни собрался уходить, но у дверей приостановился и дал прощальный залп:

— Оставьте вы Мартина в покое, Руфь. Он сам знает, что ему надо. Посмотрите, сколько он уже успел. Как подумаю, мне иногда тошно делается, тошно и стыдно за себя. Он уже знает о мире, о жизни, о назначении человека и обо всем прочем много больше, чем Артур, Норман, я, да и вы, кстати, несмотря на всю нашу латынь, и французский, и древнеанглийский, несмотря на всю нашу культуру.

— Но Руфь моя учительница,— рыцарски вступился Мартин.— Тем немногим, что я знаю, я обязан ей.

— Чушь! — Олни посмотрел на Руфь, лицо у него стало злое.— Вы еще вздумаете меня уверять, будто читаете Спенсера по ее совету, как бы не так. И о Дарвине и об эволюции она знает не больше, чем я о копях царя Соломона. Какое это головоломное спенсеровское толкование чего-то вы на нас недавно обрушили? Неопределенное, непоследовательное, какая-то там гомогенность. Обрушьте-ка это на нее — и посмотрите, поймет ли она хоть слово. Это, видите ли, не культура. Так-то вот, и, если вы займетесь латынью, Мартин, я перестану вас уважать.

И хотя спор этот был интересен Мартину, он все время ощущал и какую-то досаду. Речь шла об ученье, о занятиях — о том, как овладеть основами знаний, и этот задиристо-мальчишеский тон никак не вязался с тем подлинно важным, что волновало Мартина,— он-то стремился глубоко проникнуть в жизнь, вцепиться в нее накрепко орлиной хваткой, его до боли потрясали грандиозные открытия, и уже рождалось понимание, что он всем этим способен овладеть. Ему казалось, он словно поэт, выброшенный кораблекрушением на неведомую землю,— он владеет могучим даром выражать красоту, а запинается, заикается, тщетно пробует петь на грубом варварском наречии своих новых собратьев. Вот и он так. Остро, мучительно чувствует то великое, всеобъемлющее, что есть в мире, а вынужден топтаться и пробираться ощупью среди школярской болтовни и спорить, следует ли ему изучать латынь.

— Да при чем тут латынь, черт подери? — крикнул он в тот вечер своему отражению в зеркале.— На кой мне эта мертвечина. Почему и мной и живущей во мне красотой должны заправлять мертвецы? Красота жива и непреходяща. Языки возникают и отмирают. Они прах мертвых.

А потом он подумал, что совсем недурно выражает свои мысли, и, ложась спать, недоумевал, почему не удается так разговаривать, когда рядом Руфь. При ней он превращается в школьника и говорит школьным языком.

— Дайте мне время,— сказал он вслух.— Дайте только время. Время! время! время! — вечная его жалоба.

ГЛАВА 14

Не благодаря Олни, но наперекор Руфи, наперекор своей любви к Руфи он все-таки решил не браться за латынь. Для него деньги — время. Столько еще есть всего, что куда важнее латыни, столько областей знания громко и властно взывают к нему. И надо писать. Надо зарабатывать деньги. А его еще ни разу не напечата-

ли. Два десятка рукописей без конца скитаются по журналам. Как другим удается печататься? Долгими часами просиживал он в публичных библиотеках, жадно, пристально вчитывался в написанное другими, сравнивал со своим и доискивался, доискивался: что же за секрет они открыли, почему им удается продать свои работы.

Поразительно, сколько печатают всяческой мертвечины. Ни света, ни жизни, ни красок. Ни проблеска жизни, а ведь продано, по два цента за слово, по двадцать долларов за тысячу — так говорилось в газетной заметке. Непостижимо, счету нет рассказам, написанным, правда, легко, но начисто лишенным жизненной силы и подлинности. Жизнь так необыкновенна, она чудо, она полна загадок, грез, героических свершений, а в этих рассказах одни серенькие будни. Он ощупал напряжение и накал жизни, ее жар и кипенье и мятежное неистовство — вот бы о чем писать! Хотелось восславить дерзновенных храбрецов, не теряющих надежду, безрассудных влюбленных, титанов, которые борются в напряжении и накале, среди ужаса и трагедий, и сама жизнь уступает их натиску. А журнальные рассказы, похоже, усердно прославляют всяких мистеров Батлеров, скаредных охотников за долларами, и серенькие любовные интрижки серепьких людишек. Может, это оттого, что сами редакторы журналов такие серенькие? Или они попросту боятся жизни — и писатели эти, и редакторы, и читатели?

Но главная его беда, что нет у него знакомых редакторов и писателей. Не знает он ни одного писателя и даже никого, кто хотя бы пробовал писать. Нет никого, кто бы с ним потолковал, хоть что-то объяснил, что-то посоветовал. Ему стало казаться, что редакторы вовсе и не люди. Похоже, они винтики в какой-то машине. Вот что это такое — просто-напросто машина. Он изливает душу в рассказах, очерках, в стихах и вверяет их этой самой машине. Аккуратно складывает листы, вкладывает в большой конверт вместе с рукописью столько-то марок, заклеивает конверт, лепит на него еще марки и опускает в почтовый ящик. Конверт отправляется в путь, а через какое-то время почтальон приносит ему рукопись уже в другом большом конверте, а на нем те самые марки, которые он приложил, отсылая ее. Нет там, на другом конце пути, живого редактора, а лишь хитроумное устройство из винтиков, которое перекладывает рукопись в другой конверт и лепит на него марки. Это все равно как торговые автоматы: бросишь в щель мелкую монету, механизм зажужжит и выбросит тебе плитку жевательной резинки или шоколадку. Смотря по тому, в какую щель опустил монету. Так и с редакторской машиной. Попадешь в одну щель — высылают чек, в другую — листок с отказом. Мартин пока попадал только во вторую.

Именно листки с отказом довершали чудовищное сходство происходящего с действием автомата. Листки эти отпечатаны были

по одному стандарту, и он получил их сотни — по десятку, а то и больше на каждую из ранних рукописей. Если бы в каком-нибудь из этих отказов была одна-единственная строчка, за которой чувствовался бы написавший ее живой человек, Мартин бы взбодрился. Но ни один редактор не подтвердил таким образом, что он и вправду существует. Вот и оставался единственный вывод: там, куда приходят рукописи, живых людей нет, лишь безостановочно крутятся хорошо смазанные винтики этой самой машины.

Он был отличный борец, самоотверженный, упорный, и готов был бы еще годами питать эту машину; но он истекал кровью, и исход борьбы решали не годы, а недели. Каждую неделю счет за жилье и стол приближал его к гибели, и почти так же неумолимо истощали его почтовые расходы на сорок рукописей. Он уже не покупал книг и экономил на мелочах, пытаясь отсрочить неизбежный конец; но экономить не умел и на неделю приблизил этот конец, дав младшей сестре, Мэриан, пять долларов на платье.

Он сражался во тьме, без совета, без поддержки, вопреки общему неодобрению. Даже Гертруда начала поглядывать на него косо. Сперва, как любящая сестра, она была снисходительна к его, как она считала, дури, но теперь, как заботливая сестра, встревожилась. Ей стало казаться, что это уже не дурь, а безумие. Мартин видел ее тревогу и страдал куда больше, чем от неприкрытого сварливого презрения Бернарда Хиггинботема. Мартин верил в себя, но никто не разделял его веры. Даже Руфь не верила в него. Она хотела, чтобы он все свое время посвятил ученью, и хотя не высказывала прямого неодобрения его попыткам писать, но никогда и не одобряла их. Мартин ни разу не предложил ей показать, что он пишет. Слишком был чуток и щепетилен. Притом она напряженно занималась в университете, и не мог он отнимать у нее время. Но, окончив университет, Руфь сама захотела посмотреть что-нибудь из написанного им. Мартин и ликовал и робел. Вот и нашелся судья. Ведь она бакалавр искусств. Она изучала литературу под руководством опытных преподавателей. Возможно, и редакторы тоже искушенные судьи. Но она поведет себя иначе. Не вручит она ему стандартный листок с отказом, не скажет, что, если его работы не печатают, предпочитая им другие, это еще не значит, что они не заслуживают внимания. Она живой человек, она поговорит с ним как всегда умно, все схватывая на лету, и что всего важнее,— ей приоткроется подлинный Мартин Иден. В его работах она различит его сердце и душу и поймет, хотя бы отчасти, каковы его мечты и какая ему дана сила.

Мартин подобрал несколько своих отпечатанных на машинке рассказов, посомневался было, потом прибавил к ним «Голоса моря». Стоял июнь, и к концу дня они на велосипедах покатили к холмам. Это второй раз он оказался наедине с ней вне дома, и,

пока они ехали среди душистой теплыни, овеваемые свежим прохладным дыханием морского ветерка, Мартин всем существом ощущал, как прекрасен, как хорошо устроен мир и как замечательно жить на свете и любить. Они оставили велосипеды на обочине и взобрались на круглую побуревшую вершину холма, где опаленные солнцем травы дышали зрелой сухой сладостью и довольством сенокосной поры.

— Эта трава свое дело сделала,— сказал Мартин, когда они сели, Руфь — на его пиджак, а он растянулся прямо на земле. Он вдыхал сладкий дух порыжелой травы не только легкими, но и мыслью, мгновенно перенесясь от частного к общему.— Совершила то, ради чего существовала,— продолжал он, с нежностью поглаживая сухие былинки.— Унылые зимние ливни только подхлестнули ее стремление к цели, она выстояла яростной весной, расцвела, приманила насекомых и пчел, рассеяла семена, мужественно исполнила свой долг перед собой и миром и...

— Отчего вы всегда так нестерпимо-практически смотрите на все? — перебила его Руфь.

— Наверно, оттого, что я изучаю эволюцию. Сказать по правде, у меня только-только открылись глаза.

— Но мне кажется, этот практицизм мешает вам видеть красоту, вы ее губите, словно дети, которые ловят бабочек и при этом стирают яркую пыльцу с чудесных крылышек.

Мартин покачал головой.

— Красота полна значения, а этого я прежде не знал. Просто воспринимал красоту саму по себе, будто она существует просто так, безо всякого смысла. Ничего не понимал в красоте. А теперь понимаю, вернее, только еще начинаю понимать. Понимаю, что она такое, трава, понимаю всю скрытую алхимию солнца, дождя, земли, благодаря которой она стала травой, и от этого она теперь, на мой взгляд, еще прекраснее. Право же, в судьбе каждой травинки есть и романтика, и даже необыкновенные приключения. Сама эта мысль волнует воображение. Когда я думаю об игре энергии и материи, об их потрясающем единоборстве, я чувствую, что готов писать о травинке эпическую поэму.

— Как хорошо вы говорите! — рассеянно сказала Руфь, и он заметил, что смотрит она на него испытующе.

Он смутился под этим взглядом, растерялся, густо покраснел.

— Надеюсь, я... я понемногу учусь говорить,— запинаясь, вымолвил он.— Во мне столько всего, о чем я хочу сказать. Но все это так огромно. Я не нахожу слов, не могу выразить, что там, внутри. Иногда мне кажется, весь мир, вся жизнь, все на свете поселилось во мне и требует: будь нашим голосом. Я чувствую, ох, не знаю, как объяснить... Я чувствую, как это огромно, а на-

чинаю говорить, выходит детский лепет. До чего трудная задача — передать чувство, ощущение такими словами, на бумаге или вслух, чтобы тот, кто читает или слушает, почувствовал или ощутил то же, что и ты. Это великая задача. Вот я зарываюсь лицом в траву, вдыхаю ее запах, и он повергает меня в трепет, будит тысячи мыслей и образов. Я вдохнул дыхание самой вселенной, и мне внятны песни и смех, свершение и страдание, борьба и смерть; и в мозгу рождаются картины, они родились, уж не знаю как, из дыхания травы, и я рад бы рассказать о них вам, миру. Но где мне? Я косноязычен. Вот сейчас я попытался дать вам понять, как действует на меня запах травы, и не сумел. Только и получился слабый, нескладный намек на мои мысли и чувства. По-моему, у меня выходит просто жалкая тарабарщина. А невысказанное меня душит. Немыслимо! — в отчаянии он вскинул руки.— Это не объяснишь! Никакими словами не передашь!

— Но вы и в самом деле хорошо говорите,— настойчиво повторила Руфь.— Только подумайте, как вы продвинулись за то короткое время, что мы знакомы. Мистер Батлер выдающийся оратор. Во время предвыборной кампании его всегда просят выступать с речами. А на днях за обедом вы говорили ничуть не хуже. Просто он более сдержанный. Вы слишком горячитесь, но постепенно научитесь собой владеть. Из вас еще выйдет отличный оратор. Вы далеко пойдете... если захотите. У вас это отлично получается. Я уверена, вы можете вести за собой людей и за что бы вы ни взялись, вы преуспеете, как преуспели в грамотности. Из вас вышел бы отличный адвокат. Вы бы могли блистать на политическом поприще. Ничто не мешает вам добиться такого же замечательного успеха, какого добился мистер Батлер. И обойдетесь без несварения желудка,— с улыбкой прибавила она.

Так они беседовали, Руфь с обычной своей мягкой настойчивостью опять и опять повторяла, что Мартину необходимо серьезное образование, что латынь дает неоценимые преимущества, это одна из основ при вступлении на любое поприще. Она рисовала свой идеал преуспевающего человека, и это был довольно точный портрет ее отца, с некоторыми черточками и оттенками, позаимствованными у мистера Батлера. Мартин слушал жадно, весь обратился в слух, он лежал на спине и, глядя в лицо Руфи, радостно ловил каждое движение ее губ, когда она говорила. Но к ее словам оставался глух. Картины, что она рисовала, отнюдь его не привлекали, он ощущал тупую боль разочарования да еще жгучую любовную тоску. Ни разу не помянула она о его писательстве, и забытые лежали на земле захваченные с собой рукописи.

Наконец, когда оба умолкли, Мартин взглянул на солнце, прикинул, высоко ли оно еще в небе, и, подобрав рукописи, тем самым напомнил о них.

— Совсем забыла,— поспешно сказала Руфь.— А мне так хочется послушать.

Мартин стал читать рассказ, он льстил себя надеждой, что это у него один из лучших. Рассказ назывался «Вино жизни», вино это пьянило его, когда он писал,— пьянило и сейчас, пока читал. Была какая-то магия в самом замысле рассказа, и Мартин еще расцветил ее магией слов, интонаций. Прежний огонь, прежняя страсть, с какой он писал тогда, вспыхнули вновь, завладели им, подхватили, и он был слеп и глух ко всем изъянам. Не то чувствовала Руфь. Вышколенное ухо различало слабости и преувеличения, чрезмерную выспренность новичка и мгновенно улавливало каждый сбой, каждое нарушение ритма фразы. Интонацию рассказа Руфь замечала, пожалуй, лишь там, где автор изъяснялся чересчур напыщенно, и тогда ее неприятно поражало явное дилетантство. Таково было и ее окончательное сужденье: рассказ дилетантский, но Мартину она этого говорить не стала. Когда он дочитал, только и отметила мелкие огрехи и сказала, что рассказ ей понравился.

Как же он был разочарован! Да, конечно, замечания ее справедливы, но ведь не ради же этих школьных поправок делился он с ней написанным. Не о мелочах речь. Это дело наживное. Мелочи он исправит. Научится исправлять. Что-то огромное, важное поймал он в жизни и попытался заключить в свой рассказ. Вот это огромное, важное, взятое из жизни он и прочел ей, а не просто фразы, где так или эдак расставлены точки и запятые. Он хотел, чтобы Руфь вместе с ним почувствовала то огромное, что стало частью его самого, что он видел собственными глазами, постарался осмыслить, вложил в напечатанные на машинке слова. Что ж, значит, не удалось, решил он про себя. Может быть, редакторы и правы. Он почувствовал что-то огромное, важное, а передать не сумел. Мартин ничем не выдал, до чего он разочарован, очень легко соглашался с замечаниями Руфи, так что она и представить не могла, насколько несогласен он с ней в глубине души.

— А этот я назвал «Выпивка»,— сказал он, раскрывая другую рукопись.— Его отвергли уже четыре или пять журналов, и все равно, по-моему, он хороший. По правде сказать, не знаю, как к нему относиться, знаю только, что-то я в нем схватил. Может, вы со мной и не согласитесь. Рассказ короткий... всего две тысячи слов.

— Чудовищно! — воскликнула Руфь, когда он дочитал.— Ужас... немыслимый ужас!

С тайным удовлетворением заметил Мартин, как она побледнела, глаза расширены, взгляд напряженный, руки стиснуты. Он добился своего. Он передал то, что родилось у него в голове из воображения и чувства. Ее задело за живое. Не важно, понравился

ей рассказ или нет, но он захватил ее, завладел ею, заставил сидеть, слушать и забыть о мелочах.

— Это жизнь,— сказал он,— а жизнь не всегда красива. И может, я странно устроен, а только, по-моему, есть в этом своя красота. Мне кажется, красота вдесятеро прекрасней оттого, что она — здесь, где...

— Но почему несчастная женщина не могла...— вне всякой связи прервала его Руфь. Не объяснив, что же ее так возмущает, сама себя перебила: — О, это унизительно! Это непристойно! Это грязно!

На миг Мартину показалось, сердце его перестало биться. Грязно! Вот уж не думал. И не хотел этого. Рассказ горел перед ним огненными буквами, он тщетно искал грязь в этом огненном сиянии. И сердце снова стало биться. Нет, он не виновен.

— Ну почему вы не выбрали что-нибудь пристойнее? — говорила она.— Мы знаем, в мире существует грязь, но это еще не основание...

Она все говорила, сердито, с досадой, но Мартин уже не слушал. Он улыбался про себя, глядя в ее девичье лицо, такое безгрешное, такое пронзительно безгрешное, что чистота эта, казалось, проникает и в него, освобождает от всякого мусора, омывает каким-то лучистым светом, свежим, нежным, бархатистым, точно сиянье звезд. *Мы знаем, в мире существует грязь!* Господи, что уж она об этом знает, и он усмехнулся, точно милой шутке. И тотчас вспышка воображения нарисовала ему в несчетных подробностях необъятное море житейской грязи, которое он знал, которое избороздил вдоль и поперек, и он простил Руфи, что она не поняла рассказа. Не могла она понять, и не ее это вина. Слава богу, что родилась и выросла в такой безгрешности. Но он-то знает жизнь, ее непотребство, а не только чистоту, и то, что есть в ней возвышенного, вопреки отравляющей ее мерзости, и, черт возьми, он еще скажет об этом свое слово миру. Святые на небесах чисты и непорочны — как может быть иначе? Тут не за что восхвалять. Но святые среди мерзости — вот где вечное чудо! Вот ради чего стоит жить. Видеть нравственное величие, что поднимается из гнусной клоаки, подняться самому и еще не отмытыми от грязи глазами впервые приметить красоту, далекую, едва различимую; видеть, как из слабости, немощи, порока, из зверской жестокости возникает сила, и правда, и высокий благородный талант...

Тут он поймал слова Руфи:

— И вся атмосфера так низменна. А ведь столько существует возвышенного. Возьмите «Памяти Генри Халама».

Он чуть было не сказал: «Или «Локсли Холл», и сказал бы, но тут им опять завладело воображение и он загляделся на нее: вот перед ним женщина, вторая половина рода человеческого, со-

здание, которое развилось из едва ожившей материи — тысячи тысяч веков ползло, медленно взбиралось по исполинской лестнице жизни — и возникло на высшей ступени, и стало наконец Руфью, чистой, непорочной, божественной, наделенной властью внушить ему любовь, жажду чистоты, стремление приблизиться к божественному началу,— ему, Мартину Идену, который тоже каким-то поразительным образом поднялся из серой массы, из болота, из бессчетных ошибок и неудач нескончаемого созидания. Вот она, романтика, и чудо, и торжество. Вот о чем он будет писать, найти бы только настоящие слова. Святые на небесах — всего лишь святые, с них большего не спросишь. А он человек.

— В вас есть сила,—донеслось до него,—но сила первобытная.

— Вроде слона в посудной лавке,— подсказал Мартин, и Руфь одарила его улыбкой.

— Вам необходимо научиться разборчивости. Необходимо выработать вкус, изящество, стиль.

— Слишком я высоко занесся,— пробормотал он.

Она одобрительно улыбнулась и приготовилась слушать следующий рассказ.

— Не знаю, как он вам покажется,— будто извиняясь, сказал Мартин.— Рассказ странный. Похоже, он оказался мне не по плечу, но задумал-то я неплохо. Не обращайте внимания на мелочи. Главное, доходит ли то самое важное, что в нем есть. Тут есть важное, есть настоящее, есть правда, только, похоже, не сумел я внятно это высказать.

Он читал, читал и наблюдал за ней. Наконец-то ее задело, подумалось ему. Руфь сидела не шевелясь, едва дыша, не сводила с него глаз, сама не своя от волнения, захваченная, как ему подумалось, магией того, что он создал. Он назвал рассказ «Приключение» и воистину возвеличил в нем приключение — не книжное, а настоящее приключение,— оно великий мастер задавать свирепые задачи, ошеломить карой, ошеломить и наградой, капризное и вероломное, оно требует немыслимого терпенья, изнурительных дней и ночей тяжкого труда, венчает ослепительным солнечным сиянием славы либо смертью в безвестности после долгих скитаний, пытки жаждой и голодом или чудовищным бредом губительной лихорадки; оно ведет — через кровь, и пот, и тучи жалящих насекомых, чередой мелких низменных связей — к блистательным высотам и великим свершениям.

Все это, все это и еще больше вложил Мартин в рассказ, и, глядя, как она сидит и слушает, поверил, что это ее и взволновало. Глаза ее широко раскрылись, бледные щеки разгорелись, и под конец ему казалось, она сейчас задохнется. А Руфь и вправду была взволнована, но не рассказом, а им самим. Рассказ не произвел на нее впечатления; ее взволновали могучие токи, исходившие от

Мартина, избыток силы, что переливалась через край и захлестывала ее. Как ни странно, этими токами был насыщен сам рассказ и через него-то пока передавалась ей сила Мартина. Руфь ощущала только напор силы, но не догадывалась, по какому каналу хлынула к ней эта сила, ей лишь казалось, будто она захвачена тем, что он написал, захватило же ее совсем другое: ужасающая и опасная мысль, незваная, неожиданная. Она поймала себя на том, что ей любопытно: а каково это быть замужем, и, осознав своеволие и пыл этой мысли, ужаснулась. Это нескромно, так на нее непохоже. Женское естество не донимало Руфь, до сей поры она жила в царстве грез, куда увел ее Теннисон. И даже тончайшие намеки этого тончайшего поэта на то непристойное, что вторгалось в отношения королев и рыцарей, ей не были внятны. Всегда она жила в полудреме, и вот жизнь властно, повелительно стучится во все ее двери. Ум, объятый страхом, требовал запереться на все замки и засовы, а взбунтовавшиеся инстинкты побуждали распахнуть врата навстречу непонятному и чудесному гостю.

Мартин, очень довольный, ждал, что она скажет. Не сомневался, как она рассудит, и поражен был, когда услышал:

— Это красиво. Очень красиво,— убежденно повторила она, чуть помедлив.

Ну да, красиво, но есть же в рассказе что-то большее, чем просто красота, какое-то жгучее великолепие, а красота лишь покорно ему служит. Мартин молчал, растянувшись на земле, и перед ним недоброй тенью вырастало мрачное сомнение. Он потерпел неудачу. Ничего он не способен высказать. Он видел величайшее чудо, каких не много на свете, и не сумел это передать.

— А что вы думаете о... о лейтмотиве? — он запнулся, смутился, впервые употребил прежде незнакомое слово.

— Лейтмотив нечеток,— ответила Руфь.— Это мой единственный серьезный упрек. Я проследила за развитием темы, но в рассказе слишком много ответвлений. Слишком растянуто. Вводя столько побочных линий и обстоятельств, вы тормозите действие.

— Так ведь таков и есть главный лейтмотив,— торопливо объяснил он,— важнейший подспудный лейтмотив — в нем всеобщее, всечеловеческое, что проходит через весь рассказ. Я все время пытался выявить это в сюжете, у которого тут роль второстепенная. Я был на правильном пути, но, видно, не справился. Не сумел передать, к чему клоню. Но со временем научусь.

Она не могла взять в толк, о чем это он. Хоть и стала она бакалавром искусств, а то, что он говорил, было выше ее разумения. И, не понимая собственной ограниченности, она полагала, что это он виноват, не умеет ясно и последовательно выразить свою мысль.

— Слишком многословно,— сказала она.— Но местами очень красиво.

Он слышал ее голос словно издалека — спорил в эту минуту сам с собой, читать ей «Голоса моря» или нет. Глухое отчаяние охватило его, а Руфь смотрела на него испытующе, и ее одолевали незваные своевольные мысли о замужестве.

— Вам хочется славы? — внезапно спросила она.

— Да, отчасти,— признался Мартин.— Это ведь тоже увлекательно. Тут важно не то, что прославился, а сам путь к славе. И потом, для меня слава была бы только средством достичь коечего другого. По правде сказать, именно ради этого я очень хочу славы.

— Ради вас,— хотел он прибавить и, наверно, прибавил бы, откликнись она на то, что он ей прочел. Но ее поглощали другие мысли, она соображала, на каком поприще он мог бы сделать карьеру, и оттого не спросила, на что же он намекал, к чему в конечном счете стремится. Карьера писателя не для него. В этом она не сомневалась. Он доказал это сейчас своими дилетантскими незрелыми опусами. Рассказывает он хорошо, но облечь свои мысли и чувства в литературную форму не способен. Она сравнивала его с Теннисоном, с Браунингом, со своими любимыми прозаиками, и, конечно же, он безнадежно проигрывал. Однако она не сказала всего, что думала. Странная тяга к нему заставляла медлить со строгим приговором. В конце концов, жажда писать лишь ребяческая слабость, со временем он ее перерастет. И тогда посвятит себя занятиям более серьезным. И преуспеет. Наверняка. Он такой сильный, он не может потерпеть неудачу... только бы бросил писать.

— Я бы хотела, чтобы вы показывали мне все, что пишете, мистер Иден,— сказала она.

Он залился радостным румянцем. Значит, ей интересно. И по крайней мере, она не отвергла рассказ. Иные места ей показались красивыми, впервые он услышал слово одобрения.

— Непременно покажу,— горячо отозвался он.— И обещаю вам, мисс Морз, я непременно добьюсь своего. Я знаю, я прошел длинный путь и идти еще далеко, но я доберусь до цели, хоть ползком, а доберусь.— Он протянул рукопись.— Вот «Голоса моря». Когда вернетесь домой, я вам дам их, прочтите на досуге. Только потом скажите начистоту, что о них думаете. Мне ведь больше всего нужен критический разбор. И, пожалуйста, будьте откровенны со мной!

— Безусловно я буду откровенна,— пообещала Руфь, пряча неловкость, ведь она не была с ним откровенна, и навряд ли будет вполне откровенна в следующий раз.

ГЛАВА 15

«Первый бой позади,— сказал Мартин зеркалу десять дней спустя.— Но предстоит второй бой, и третий, и еще многое множество, разве что...»

Он не договорил, оглядел свою жалкую каморку, с грустью задержался взглядом на кипе возвращенных рукописей в больших конвертах, что так и лежали в углу на полу. Нет марок, чтобы снова отправить их странствовать, и вот уже неделю они все прибывают и прибывают. А завтра, и послезавтра, и послепослезавтра будут возвращаться еще другие, пока не вернутся все до одной. Отослать их снова он не сможет. Он уже на месяц опоздал с платой за взятую напрокат машинку и не может уплатить, денег осталось только на недельную плату за стол и жилье да на взнос в бюро по найму.

Он сел, задумчиво уставился на стол. На нем полно чернильных пятен. Кляксы, кляксы... и вдруг ощутил самую настоящую нежность.

— Дружище,— сказал он столу,— я провел с тобой немало счастливых часов, и, в сущности, ты был мне предан. Ты ни разу не отверг меня, ни разу не послал мне листка с незаслуженным отказом, ни разу не пожаловался, что работаешь сверх сил.

Он уронил руки на стол, уткнулся в них лицом. У него перехватило горло, он чуть не заплакал. И вспомнилось его первое сражение, в шесть лет, он тогда отбивался кулаками, по щекам бежали слезы, а его противник, двумя годами старше, лупцевал и тузил его так, что Мартин совсем обессилел. Он упал наконец, корчась в приступах тошноты, из носа струилась кровь, из подбитых глаз градом катились слезы, а кольцом обступившие их двоих мальчишки дико вопили.

— Бедняга ты, малец,— пробормотал он.— Опять попал в такую же переделку. Совсем тебя измордовали. И нет больше сил.

Картина того первого сражения еще стояла перед глазами, а потом истаяла, и ее сменяли чередой дальнейшие сражения. Через полгода Чурбан (так прозвали того мальчишку) опять его излупил. Но на этот раз и Мартин подбил ему глаз. Здорово получилось! Мартину привиделись все эти сражения, одно за другим, и всякий раз Чурбан торжествовал победу. Но Мартин никогда не удирал. И воспоминание об этом прибавило ему сил. Он всегда оставался и стойко переносил удары. Чурбан, злобный чертенок, никогда его не щадил. А он держался. Не сдавался, и все тут!

Потом ему привиделся узкий проулок меж ветхими бараками. Проулок упирался в одноэтажную кирпичную постройку, откуда доносился мерный грохот печатных машин,— там печатали первый выпуск «Любознательного». Ему было в ту пору одинна-

дцать, Чурбану — тринадцать, и оба продавали «Любознательного» на улицах. Оттого они там и оказались — ждали газету. И конечно же, Чурбан опять на него налетел, только драка окончилась ничем, потому что без четверти четыре двери печатного цеха растворились и вся орава мальчишек кинулась разбирать газеты.

— Завтра положу тебя на обе лопатки,— услышал он обещанье Чурбана, услышал и свой тоненький, дрожащий от накипающих слез голос, мол, завтра сразимся. И назавтра он пришел, бегом бежал из школы, чтобы поспеть первым, на две минуты опередил Чурбана. Мальчишки говорили, он молодец и надавали ему советов, и толковали, как и в чем он сплоховал, и сулили ему победу, пускай только дерется как ему сказано. И те же мальчишки надавали советов и Чурбану. А как наслаждались они, глядя на драку. Мартин задержался на этом воспоминании и позавидовал: отличное представление устроили они с Чурбаном для тех мальчишек! Драка разгорелась и длилась целых полчаса без перерывов, пока не отворилась дверь печатного цеха.

Он видел себя мальчишкой, и день за днем он спешил из школы к типографии. Ходить быстро он не мог. Из-за бесконечных драк он хромал, двигался с трудом. Руки от кисти до локтя были сплошь в синяках — даром, что ли, он отражал бессчетные удары, кое-где ссадины и ранки гноились. Голова и плечи болели, болела спина, не было на нем живого местечка, в голове — тяжесть и муть. В школе он не играл, и не учился тоже. Даже неподвижно просидеть весь день за партой, не вставая и в перемену, и то было мукой. Казалось, эти ежедневные сражения начались тысячи лет назад, жизнь обратилась в нескончаемую пытку и не будет этим ежедневным дракам конца. Почему он не положит на обе лопатки Чурбана? — часто думал он, ведь тогда конец его, Мартина, мучениям. Ни разу не пришло ему в голову отказаться от драки, признать себя окончательно побежденным.

И вот он тащится в проулок, измученный телом и душой, зато постигает науку истинного упорства, противостоит своему вечному врагу, Чурбану, а тот, мучась не меньше, уже готов бы покончить с этими драками, если бы не эта орава мальчишек-газетчиков, ведь они ждут зрелища, и, как ни тяжко, надо быть гордым. Однажды после двадцати минут отчаянных попыток изничтожить друг друга, не нарушая правил, не разрешающих лягаться, бить ниже пояса, ударить поверженного, Чурбан, задыхаясь и едва держась на ногах, предложил считать, что они квиты. И сейчас за столом, уронив голову на руки, Мартин со счастливым волнением увидел себя в тот далекий миг — его шатает, он задыхается, давится кровью с разбитых губ, и все равно неверной походкой движется на Чурбана, сплевывает кровь, чтоб заговорить, и орет, что ника-

кие не квиты, а если Чурбан желает, пускай сдается. Но нет, Чурбан не сдался и сражение продолжалось.

На другой день, и на третий, и еще бессчетное множество раз проулок был свидетелем их сражений. Каждый день перед началом, едва он замахивался, его пронизывала боль, и первые удары, которые они наносили друг другу, были нестерпимо мучительны, а потом все ощущения притуплялись, и он дрался вслепую, подпрыгивал, пританцовывал, уклонялся от ударов, и, словно во сне, виделись ему крупные черты, горящие звериные глазки Чурбана. Только это он и видел, все остальное вокруг лишь кружащаяся в в вихре пустота. Ничего нет в мире, кроме этого лица, и вовек не будет покоя, блаженного покоя, пока он, Мартин, не разобьет его в лепешку кровоточащими кулаками или пока кровоточащие кулаки, имеющие какое-то отношение к этому лицу, не разобьют в лепешку его самого. И уж тогда он так ли, эдак ли обретет покой. А счесть, что они квиты, просто квиты,— нет, невозможно.

Наступил день, когда он приплелся в проулок, а Чурбана там не было. Чурбан не пришел. Мальчишки поздравили его, сказали, он победил Чурбана. Но Мартин не был удовлетворен. Не победил он Чурбана, и Чурбан его не победил. Дело кончилось ничем. Лишь потом они узнали, что в тот самый день у Чурбана неожиданно умер отец.

Мартин перенесся через годы в Аудиториум, на галерку. Было ему семнадцать, и он только что вернулся из плаванья. Началась заварушка. Кто-то к кому-то пристал, Мартин вступился, и перед ним оказались горящие глаза Чурбана.

— Разделаюсь с тобой после представленья,— прошипел его давний враг.

Мартин кивнул. К ним, учуяв заварушку, уже спешил вышибала.

— Жду тебя на улице после представленья,— прошептал Мартин, а по лицу его можно было подумать, будто он поглощен танцорами, выплясывающими на сцене в деревянных башмаках.

Вышибала свирепо на них глянул и отошел.

— Ты с компанией? — спросил Мартин в перерыве.

— Ясно.

— Тогда и я себе сыщу,— объявил Мартин.

В антракте он сыскал подмогу — троих ребят, которых знал по гвоздильной мастерской, пожарного с железной дороги, полдюжины любителей пошуметь и еще столько же из компании, приводившей в трепет весь квартал Восемнадцатой — Маркет-стрит.

В потоке зрителей, хлынувшем из театра, обе компании незаметно разошлись на противоположные стороны улицы. Потом на безлюдном углу сошлись держать военный совет.

— Мост Восьмой улицы самое подходящее,— сказал рыжий

парень из компании Чурбана.— Драться можно посередке под фонарем, а появятся фараоны, дадим деру в другую сторону.

— Ладно, идет,— сказал Мартин, посоветовавшись с заводилами из своих.

Мост Восьмой улицы, переброшенный через один из рукавов дельты Сан-Антонио, в длину не меньше трех городских кварталов. Посреди моста и по концам горели электрические фонари. И эти крайние фонари не дадут ни одному полицейскому ступить на мост незамеченным. Для битвы, что ожила сейчас под сомкнутыми веками Мартина, место безопасное. Он видел две оравы, воинственные и угрюмые, они держались поодаль друг от друга, каждая — позади своего бойца; видел, как сам он и Чурбан раздеваются. В стороне выставлены дозоры, их задача — не спускать глаз с освещенных концов моста. Один из любителей пошуметь держал куртку Мартина, рубашку, матросскую бескозырку; если вмешается полиция, он мигом кинется с ними подальше от греха. И вот Мартин выходит на середину и в упор смотрит на Чурбана, предостерегающе подняв руку, и снова он слышит слова, что сказал тогда:

— Никаких рукопожатий. Понял? Будем биться и боле ничего. И чтоб пощады не просить. Счеты у нас старые, деремся до победного. Кто кого уложит на обе лопатки.

Мартин приметил, Чурбан было заколебался, но перед двумя сворами взыграла прежняя рисковая гордость.

— Да чего там! — ответил он.— Еще разговоры разговаривать! До конца так до конца.

И они кинулись друг на дружку, будто молодые бычки, во всем великолепии юности, вооруженные лишь кулаками, да ненавистью, да жаждой исколошматить, изувечить, изничтожить. Все, чего достиг человек за время тысячелетнего мучительного восхождения, было забыто. От всего этого остался лишь электрический фонарь, веха на великом пути к вершинам. Мартин и Чурбан были два дикаря из каменного века, те самые, что укрывались в пещерах и на деревьях. Все глубже и глубже опускались они в пучину, на илистое дно, где зарождались примитивные начатки жизни, и подобно крупицам звездной пыли в небесах и атомам во всем сущем, движимые слепой стихийной силой, притягивались, отталкивались и снова притягивались, опять и опять, без конца.

— Господи! Ну и скоты, свирепое зверье! — пробормотал Мартин, вновь наблюдая за той дракой. При его редкостной силе воображения, он словно смотрел в кинетоскоп. Он был сразу и зритель и участник. Все впитанное за долгие месяцы приобщения к культуре и самоусовершенствования содрогалось от этого зрелища; а потом настоящее стерлось в сознании, призраки прошлого завладели им, и снова он — прежний Мартин Иден, он только что воз-

вратился из плавания и дерется с Чурбаном на мосту Восьмой улицы. Он терпел боль, и надрывался, и потел, и истекал кровью, и бурно ликовал, когда ободранные кулаки попадали в цель.

Два бешеных смерча, заряженные ненавистью, в неистовом круговороте сшибались друг с другом. Время шло, и две враждебные оравы притихли. Никогда еще не видели они такого накала ярости — и ужаснулись. Эти двое оказались еще более жестокими, чем они сами. Безоглядность первых минут, пыл силы и молодости сменились осторожной расчетливостью. Ни тому ни другому не удавалось взять верх. «Верная ничья» — донеслось до Мартина. Потом он сделал ложный выпад вправо, влево, получил ответный яростный удар и почувствовал — рассечена скула. Голыми руками такого не сделаешь. Рана была страшная, среди зрителей поднялся ропот изумления. Мартин залился кровью. Но не выдал подозрения. Он повел себя невероятно осторожно,— он хорошо знал, на какое коварство и гнусную низость способны его собратья. Он помедлил, присматриваясь, потом будто в бешенстве кинулся, но на полдороге остановился — увидел наконец, как блеснул металл.

— Подыми руку! — заорал он.— Свинчаткой меня вдарил.

Обе своры, злобно рыча, рванулись вперед. Еще миг, и начнется общая потасовка, и он не сможет отомстить. Он осатанел.

— Все прочь! — хрипло завопил он.— Поняли? Эй вы, поняли?

И все шарахнулись назад. Сами звери, в нем они увидели сверхзверя и, укрощенные, подчинились.

— Никто не суйся, уж я с ним сочтусь! Гони свинчатку!

Чурбан, отрезвев и малость струхнув, отдал гнусное оружие.

— Это ты ему передал, ты, Рыжий, за спинами пролез,— продолжал Мартин и швырнул свинчатку в воду.— Я видал — рядом отираешься, еще подумал, какого черта. Опять чего затеешь, забью насмерть. Понял?

И опять они дрались, в полнейшем изнеможении, в изнеможении безмерном, невообразимом, и наконец толпа зверей, насытясь видом крови, в страхе от происходящего, забыла о распрях и стала упрашивать их разойтись.

Видно было, Чурбан вот-вот рухнет и испустит дух или испустит дух стоя; изуродованный кулаками Мартина и уже на себя непохожий, он дрогнул, заколебался; но Мартин ринулся на него и осатанело бил, бил опять и опять.

Казалось, прошла вечность, Чурбан слабел на глазах, а удары с обеих сторон все сыпались, и тут раздался хруст и правая рука Мартина бессильно повисла. Перелом. Все слышали хруст и поняли, что он означает; понял и Чурбан, как тигр кинулся на искалеченного врага и обрушил на него град ударов. Команда Мартина рванулась вперед, готовая вступиться. Оглушенный беспрерывно

сыплющимися на него ударами, Мартин невольно всхлипывал и стонал в безмерном отчаянии, в муке, но остановил защитников бешеной неистовой бранью.

Он бил одной левой, и, пока бил, упрямо, почти в полубеспамятстве, до него донесся словно издалека приглушенный опасливый ропот обеих команд и чей-то дрожащий голос:

— Это ж, ребята, не драка. Убийство, надо их растащить.

Но растаскивать не стали, и Мартин был рад и устало, безостановочно бил левой, лупил кровавое месиво, что маячило напротив,— не лицо, нет, что-то мерзкое, страшное качалось перед его затуманенными глазами и невнятно бормотало, безымянное, невыразимо гнусное, и упорно не исчезало. И он лупил, лупил, все медленнее и медленнее, и последние остатки жизненной силы вытекали из него, и проходили века, вечность, огромные промежутки времени, и наконец он будто сквозь туман заметил, как это безымянное оседает, медленно оседает на грубый дощатый настил моста. И вот Мартин стоит над ним и, качаясь на подламывающихся дрожащих ногах и в поисках опоры цепляясь за воздух, говорит чужим, неузнаваемым голосом:

— Ну что, хватит с тебя? Слышь, хватит с тебя?

Он повторял все одно и то же, опять и опять — требовательно, умоляюще, угрожающе, а потом почувствовал: ребята из его команды держат его, похлопывают по спине, пытаются натянуть на него куртку. И тогда на него нахлынула тьма, и он канул в небытие.

Жестяной будильник на столе неутомимо тикал, подсчитывая секунды, но Мартин Иден по-прежнему сидел, уронив голову на руки и не слышал счета секунд. Ничего уже он не слышал. Ни о чем не думал. С такой полнотой пережил он тогдашнее сызнова, что, как и тогда, на мосту Восьмой улицы, потерял сознанье. Долгую минуту длилась тьма и беспамятство. Потом, будто восстав из мертвых, он вскочил, глаза загорелись, по лицу катился пот.

— Я одолел тебя, Чурбан! — закричал он.— Одиннадцать лет понадобилось, но я тебя одолел!

Колени дрожали, такая накатила на него слабость, он, спотыкаясь, шагнул к кровати, опустился на край. Он был еще в тисках прошлого. Недоумевающе, тревожно огляделся по сторонам, пытаясь понять, где он, и наконец ему попалась на глаза кипа рукописей в углу. И колеса памяти закрутились, перенесли его на четыре года вперед, и он вновь осознал настоящее, книги, которые вошли в его жизнь, мир, открывшийся ему с их страниц, свои мечты и честолюбивые замыслы, свою любовь к бледному, воздушному созданию, к девушке, нежной и укрытой от жизненных волнений, которая умерла бы от ужаса, окажись она хоть на миг сви-

детельницей того, что он сейчас пережил,— той мерзости жизни, из которой он выбрался.

Он встал, поглядел на себя в зеркало.

— Итак, ты поднимаешься из грязи, Мартин Иден,— торжественно произнес он.— Протираешь глаза, чтобы увидеть сияние, и устремляешься к звездам, подобно всему живому до тебя, и даешь умереть в тебе обезьяне и тигру, и готов отвоевать бесценнейшее наследие, какие бы могущественные силы им ни владели.

Он пристальней всмотрелся в свое отражение и рассмеялся.

— Малость истерики и мелодрамы, а? — осведомился он.— Ну да ничего. Ты одолел Чурбана, одолеешь и редакторов, хоть бы пришлось потратить дважды по одиннадцать лет. Не можешь ты остановиться на полпути. Надо идти дальше. Сражаться до конца, и никаких гвоздей.

ГЛАВА 16

Будильник зазвонил, вырвав Мартина из сна, да так резко, что, если бы не его великолепный организм, у него бы тотчас разболелась голова. Он спал крепко, но проснулся мгновенно будто кошка, и проснулся полный нетерпенья, радуясь, что пять часов беспамятства позади. Он терпеть не мог сонное забытье. Слишком много всего надо сделать, слишком насыщена жизнь. Жаль каждого украденного сном мгновения, и не успел еще оттрещать будильник, а он уже сунул голову в таз, и от ледяной воды пробрала дрожь наслаждения.

Но не пошел сегодня день по заведенному порядку. Не ждал его незаконченный рассказ, не было и нового замысла, которому не терпелось бы воплотиться в слова. Накануне Мартин занимался допоздна, и сейчас близился час завтрака. Он взялся было за главу из Фиска, но не мог сосредоточиться и закрыл книгу. Сегодня начинается новое сражение — на какое-то время он перестанет писать. В нем поднялась печаль сродни той, с какою покидаешь отчий дом и семью. Он посмотрел на сложенные в углу рукописи. Вот оно. Он уходит от них, от своих злосчастных, опозоренных, всеми отвергнутых детей. Он нагнулся, стал их листать, перечитывать отдельные куски. Самое любимое — «Выпивка» — удостоилось чтения вслух, и «Приключение» тоже. Рассказ «Радость», последнее его детище, законченный накануне и брошенный в угол из-за отсутствия марок, особенно нравился ему.

— Не понимаю,— бормотал он.— Или, может, не понимают редакторы. Чем это плохо? Каждый месяц печатают много хуже. Все, что они печатают, хуже... ну, почти все.

После завтрака он вложил пишущую машинку в футляр и повез в Окленд.

— Я задолжал за месяц,— сказал он служащему в конторе проката.— Но вы передайте управляющему, я сейчас еду работать, примерно через месяц вернусь и рассчитаюсь.

Он переправился на пароме в Сан-Франциско и зашагал к бюро по найму.

— Нужна работа, годится любая,— сказал он агенту, но его прервал на полуслове только что вошедший парень, одетый с дешевым шиком — так одеваются рабочие, которых тянет к красивой жизни. Агент безнадежно покачал головой.

— Ничего не подвернулось, а? — сказал парень.— А мне нынче хоть кого, а надо позарез.

Он обернулся, пристально посмотрел на Мартина, Мартин ответил таким же пристальным взглядом, увидел опухшее, словно бы слинявшее лицо, красивое и безвольное, и понял, парень кутил ночь напролет.

— Работу ищешь? — осведомился тот.— А что умеешь?

— Черную работу, моряцкую, на машинке печатаю, только стенографию не знаю, верхом ездить могу, никакой работой не погнушаюсь, возьмусь за любую,— был ответ.

Парень кивнул.

— Подходяще. Я — Доусон, Джо Доусон, мне нужен человек в прачечную.

— Не знаю, потяну ли.— Перед Мартином мелькнула забавная картинка: он гладит воздушные дамские вещички. Но парень отчего-то ему приглянулся, и он прибавил: — Хотя простую стирку могу. Уж этому-то я в плаванье научился.

С минуту Джо Доусон раздумывал.

— Слышь, давай попробуем столковаться. Сказать, об чем речь?

Мартин кивнул.

— Так вот, прачечная маленькая, за городом, при гостинице, значит, в Горячих ключах. Работают двое, главный и помощник. Главный — я. Ты работаешь не на меня, а только под моим началом. Ну как, подучиться согласен?

Мартин ответил не сразу. Предложенье соблазнительное. Всего несколько месяцев в прачечной, и опять будет время учиться. Он умеет и работать и учиться в полную силу.

— Жратва что надо и отдельная комната,— сказал Джо.

Это решило дело. Отдельная комната, где можно будет без помехи жечь лампу.

— Но работа адова,— прибавил тот.

Мартин многозначительно погладил выпиравшие на руках бицепсы.

— Не на легкой работе нажиты.

— Тогда давай столкуемся.— Джо потрогал голову.— Ух, башка трещит, прямо глаза не смотрят. Вчера вечером напился... все спустил... все как есть. Значит, мы так с тобой будем. Платят двоим сотню, да еще жилье и стол. Мне шло шестьдесят, помощнику сорок. Но прежний знал дело. Ты новичок. Покуда тебя обучу, спервоначалу еще и твоей работы хлебну. Считай, сейчас положу тебе тридцать, а потом дойдет и до сорока. Без обмана. Как выучишься управляться сам, сразу получишь сорок.

— Идет,— объявил Мартин, протянул руку, и они обменялись рукопожатием.— Вперед сколько-нибудь не дашь — на проезд и еще всякое?

— Пропился вчистую,— горестно ответил Джо и опять потрогал гудящую голову.— Только и есть обратный билет.

— И я на мели... за квартиру отдам последнее.

— Улизни,— присоветовал Джо.

— Не могу. Сестре задолжал.

Джо озадаченно присвистнул, и так прикинул и эдак, но ничего не придумал.

— Опрокинем по стаканчику, на это хватит,— уныло сказал он.— Пошли, может, чего и сообразим.

Мартин отказался.

— Непьющий?

На этот раз Мартин кивнул, и Джо пожаловался:

— Мне бы так! Да не получается,— сказал он, будто оправдываясь.— Всю неделю работаешь как проклятый, ясно, потом напиваешься. А не напьюсь, так глотку себе перережу, не то всю лавочку спалю. А ты непьющий, это хорошо. Так и держи.

Мартин понимал, какая пропасть отделяет его от этого человека — виной тому книги,— но без труда перемахнул через пропасть назад. Всю жизнь он прожил среди рабочего люда, и дух товарищества накрепко соединил его с теми, кто в поте лица добывает свой хлеб. Задачу, как добраться до места, он решил сам, у Джо слишком трещала голова. Вещи он отправит по билету Джо. А сам — на то есть велосипед. До места семьдесят миль. За воскресенье он доедет, и в понедельник утром можно приступать к работе. А пока пойдет домой, сложит пожитки. Прощаться ему не с кем. Руфь и вся ее семья проводит лето в горах Сиерра-Невады, на озере Тахо.

В воскресенье вечером, усталый, пропыленный, он приехал в Горячие ключи. Джо бурно его приветствовал. Все воскресенье он работал, обмотав гудящую с похмелья голову мокрым полотенцем

— С прошлой недели стирка накопилась, я ж за тобой ездил,— объяснил он.— Сундук твой прибыл. Он в твоей комнате. Ну и тяжеленный. Чего это в нем? Золотые слитки?

Джо сел на кровати, а Мартин принялся разбирать вещи. Они были в ящике из-под консервов для завтрака, и Хиггинботем стребовал за него полдоллара. Мартин прибил к ящику две веревочные ручки, чтобы его можно было сдать в багаж. Джо смотрел, вытаращив глаза,— из ящика появились рубашки, несколько смен белья, а потом пошли книги и еще книги.

— До самого дна книги?— спросил он.

Мартин кивнул и продолжал выкладывать книги на кухонный столик, который заменял в комнате умывальник.

— Ишь ты! — вырвалось у Джо; он помолчал, соображая, как к этому отнестись. До чего-то додумался.

— Слышь, а тебе девчонки — как... без интереса? — полюбопытствовал он.

— Не очень,— был ответ.— Раньше вовсю бегал, пока не взялся за книги. Как взялся, времени не хватает.

— А здесь и вовсе не хватит. Будешь работать да спать, боле ничего.

Мартин подумал, что спит ночью только пять часов, и улыбнулся. Его комната помещалась над прачечной, в том же строении, что и мотор, который качал воду, давал электрический ток и приводил в движение стиральные машины. Механик, живущий в соседней комнате, заглянул познакомиться с новым подручным и помог Мартину удлинить провод у электрической лампочки, чтобы можно было переносить ее от стола к кровати.

Наутро Мартина подняли в четверть седьмого, чтобы поспеть к завтраку без четверти семь. В том же доме, где прачечная, оказалась ванна для гостиничной прислуги, и он потряс Джо тем, что принял холодную ванну.

— Ай да ты, ну молодец,— заявил Джо, когда они сели завтракать в углу гостиничной кухни.

За столом с ними сидели механик, садовник, подручный садовника и двое или трое конюхов. Ели торопливо, угрюмо, разговаривали мало, и, слушая их, Мартин понял, как далеко он от них ушел. Их ограниченность угнетала его, не терпелось поскорей отделаться от этой компании. Так же наспех, как они, он проглотил дрянное водянистое варево и, когда оказался за порогом кухни, вздохнул с облегчением.

Маленькая паровая прачечная была отлично оборудована, современнейшие машины выполняли всю доступную машине работу. Джо растолковал Мартину что и как, и тот принялся сортировать груды грязного белья, а сам Джо включил стиральную машину и начал перемешивать жидкое мыло, такое едкое, что пришлось ему обмотать рот, нос и глаза махровыми полотенцами и он стал походить на мумию. Докончив разборку, Мартин помог выжимать белье. После стирки белье загружали в бак, крутящий-

ся со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту, и центробежная сила выжимала воду. Потом Мартину пришлось сновать от выжималки к сушилке и обратно, а между делом еще и отделить от остального белья чулки и носки. После полудня один подавал чулки и носки под отжимный каток, другой складывал их, а тем временем разогревались утюги. Потом до шести — горячие утюги и нижнее белье, и в шесть Джо с сомнением покачал головой.

— Не управились,— сказал он.— Придется работать после ужина.

И после ужина они работали до десяти, в слепящем электрическом свете, пока не отгладили, не сложили в кастелянской последнюю штуку нижнего белья. Был жаркий калифорнийский вечер, и даже при распахнутых настежь окнах помещение, где на раскаленной докрасна плите нагревались утюги, обратилось в пекло. Мартин и Джо, в нижних рубашках и в трусах, с голыми руками, обливались потом и ловили ртом воздух.

— Все равно как грузить судно в тропиках,— сказал Мартин, когда они поднялись наверх.

— Приладишься,— отозвался Джо.— Хватка у тебя есть. Если и дальше так будешь, просидишь на тридцати долларах от силы месяц. На второй получишь свои сорок. Только не говори, будто впервой за утюг взялся. Все одно не поверю.

— Сроду ни одной тряпки не выгладил, до сегодняшнего дня, право слово,— возразил Мартин.

У себя в комнате он почувствовал, до чего устал, и удивился,— забыл, что четырнадцать часов провел на ногах и работал без роздыха. Поставил будильник на шесть утра и отсчитал назад пять часов — получился час ночи. До часу можно читать. Скинул башмаки, давая отдых распухшим ногам,— и уселся за стол с книгами. Открыл Фиска на том месте, где остановился два дня назад, и принялся читать. Но первый же абзац поставил его в тупик, и он принялся читать сначала... Когда проснулся, все мышцы цепенели и ныли, холодный ветер с гор задувал в окно, пробирал насквозь. Мартин посмотрел на часы. Они показывали два. Проспал четыре часа. Он разделся, забрался в кровать и, едва опустив голову на подушку, заснул.

Во вторник они тоже не давали себе передышки. Мартина восхищала скорость, с какой работал Джо. У него все в руках горело. Нервы и мышцы напряжены до предела, за долгий рабочий день ни секунды не потратил зря. Весь сосредоточенный на работе, на том, как выгадать время, он указывал Мартину, что там, где тот делает пять движений, довольно трех, а где три, хватит двух. «Экономия движений», так определил это Мартин, и присматривался, и старательно подражал. Он и сам был работник хоть куда, быстрый и ловкий, и неизменно гордился тем, что никому не при-

ходится что-то доделывать за него и никто не может его обогнать. Вот и сейчас он работал так же сосредоточенно, целеустремленно, на лету ловил советы и подсказки напарника. Ему удавалось пройтись по воротничкам и манжетам так, что между слоями материи не застревал крахмал и они потом не пузырились при глажке и делал он это с такой быстротой, что заслужил похвалу Джо.

Работа не прерывалась ни на минуту, не одно, так другое. Джо не медлил, не мешкал, мигом переходил от дела к делу. Они накрахмалили двести белых сорочек — одним рывком хватали сорочку так, что манжеты, воротничок, манишка оказывались в вытянутой вперед правой руке. Одновременно левой рукой подтягивали остальное, чтобы не попало в крахмал, а правую окунали в крахмал, такой горячий, что, если каждый раз не сунуть руку в ведро с холодной водой, он прилипнет к руке. И работали в этот вечер до половины одиннадцатого — подкрахмаливали отделанное оборками тонкое и воздушное дамское бельишко.

— Я за тропики, чтоб никакой тебе одежки,— со смехом заявил Мартин.

— Тогда я безработный,— серьезно возразил Джо.— Я никакой другой работы не умею.

— А эту умеешь дай бог всякому.

— Еще бы! С одиннадцати годов начал, в Контра-Коста, в Окленде, стряхивал воду до отжимного катка. Восемнадцать годов минуло, а я только в прачечных и работал. Но и то сказать, на такую каторгу попал впервой. Тут по крайности еще одного надо. Завтра работаем весь вечер. В среду вечером всегда запускаю отжимный каток — воротнички да манжеты.

Мартин завел будильник, подсел к столу и открыл Фиска. Но и первый абзац не дочитал. Строчки затуманились, слились, он стал клевать носом. Поднялся, походил взад-вперед, безжалостно колотил кулаками по голове, но сонное оцепенение одолеть не удалось. Поставил перед собой книгу, подпер веки пальцами — и заснул с широко открытыми глазами. Тогда он сдался и, едва сознавая, что делает, разделся и повалился на кровать. Он спал семь часов тяжелым сном животного и, разбуженный трезвоном будильника, почувствовал, что еще не выспался.

— Много читаешь? — спросил Джо.

Мартин покачал головой.

— Не горюй. Нынче вечером надо все прокатать, а уж в четверг пошабашим в шесть. Тогда почитаешь.

В тот день Мартин стирал шерстяное вручную в большом баке с едким жидким мылом, с помощью хитроумного приспособленья — втулки от фургонного колеса и поршня, соединенных с пружиной над баком.

— Мое изобретенье,— гордо сказал Джо.— Это будет получше стиральной доски и твоих костяшек, да еще выгадываешь полчаса в неделю, не меньше, полчаса в эдаком деле не пустяк.

Разглаживать катком воротнички и манжеты тоже придумал Джо.

— Кроме как в этой прачечной, боле нигде так не делают,— объяснил он вечером, когда они трудились до седьмого пота уже при ярком свете электрических лампочек.— А без этого в субботу в три часа не кончишь. Я наловчился, вот в чем соль. Надо подгадать температуру и давление и прокатать три раза. Гляди! — Он помахал манжетой.— Ни вручную, ни на гладильной машине лучше не получится.

В четверг Джо взъярился. Принесли лишний узел — фасонного дамского белья.

— Хватит,— заявил он.— Сыт по горло. Хватит с меня. На черта мне это, всю неделю надрывался как каторжный, каждую минутку сберегал, а мне подкидывают лишнюю кучу фасонного в крахмал? У нас тут свободная страна, и я скажу этому жирному голландцу, кто он такой есть. Так прямо и скажу. Безо всякого. Будет знать, как подбрасывать лишку!

— Придется работать до ночи,— сказал он уже через минуту, он передумал и подчинился судьбе.

И в тот вечер Мартин тоже не читал. Всю неделю он не видел газет и, как ни странно, ничуть по ним не соскучился. Не до новостей ему было. Слишком он устал, измучился, ничто его не интересовало, и однако к концу дня в субботу, если они в три кончат, он задумал съездить на велосипеде в Окленд. Это семьдесят миль, и столько же назад в воскресенье во второй половине дня, и уж что-что, а отдохнуть перед новой рабочей неделей он не успеет. Было бы легче поехать поездом, но билет в оба конца два с половиной доллара, а он намерен скопить денег.

ГЛАВА 17

Мартин многому научился. В первую неделю они с Джо однажды за полдня обработали двести белых сорочек. Джо управлялся с гладильной машиной — горячими утюгами, подвешенными на стальной пружине и опускавшимися как пресс. Он гладил стойку, обшлага, ворот, расправлял их под нужным углом к сорочке и наводил глянец на манишку. Едва кончив, кидал сорочку на полку между ним и Мартином, тот хватал ее и «доводил». Иначе говоря, гладил все, что не накрахмалено.

Изматывающая работа, час за часом, в бешеном темпе. Поодаль, на просторных верандах гостиницы, мужчины и женщины

в белых прохладных одеждах потягивали ледяные напитки, умеряли жар. А в прачечной нечем было дышать. Огромная плита раскалялась только что не добела, утюги двигались взад-вперед по влажной ткани, и над ними клубился жаркий пар. Накал утюгов был совсем не тот, что дома у хозяйки. Утюг, который шипит, когда его тронешь мокрым пальцем, для Мартина и Джо был недостаточно горячий, их утюги так не попробуешь. Они проверяли утюг, поднося его близко к щеке, и определяли, хорош ли, полагаясь на какое-то таинственное чутье, которое восхищало Мартина, но оставалось непонятным. Если только что взятый утюг оказывался чересчур горяч, его подвешивали на железный крюк и окунали в холодную воду. И опять же тут требовалась безупречная верность сужденья. Лишняя доля секунды в воде — и неуловимая толика жара потеряна; а Мартин еще успевал иной раз подивиться развившейся у него точности, автоматической точности, безошибочной, как у машины.

Но дивиться было недосуг. Работа требовала предельной сосредоточенности. Весь он, и голова и руки, в непрестанном напряжении — он просто разумная машина, и все, что делало его человеком, теперь служит этому машинному разуму. Для вселенной, для ее великих загадок в сознании уже нет места. Все широкие просторные коридоры мозга наглухо закрыты и запечатаны. Только один уголок души еще отзывается на внешний мир — будто штурманская рубка, откуда он управляет мышцами рук, десятью ловкими пальцами да утюгами, что проворно двигаются по своей курящейся паром дорожке — столько-то плавных, размеренных движений, и ни единым больше, такой-то длины размах руки, и ни на волос больше,— по несчетным рукавам, бокам, спинам и нижним краям — и аккуратно, чтобы не помять,— отбрасывает отглаженную сорочку на приемную раму. И, торопливо отбрасывая, уже протягивает руку за следующей сорочкой. И так час за часом, а между тем мир за стенами прачечной замирает под пылающим солнцем Калифорнии. Но в жаркой духоте прачечной работа не замирает ни на миг. Постояльцам гостиницы, отдыхающим на прохладных верандах, требуется чистое белье.

Мартин обливался потом. Он без конца пил воду, но такая стояла жара и таких усилий требовала работа, что влагой исходила вся его плоть, все поры. В море всегда, кроме редких самых напряженных часов, за работой вполне можно было поразмыслить о своем. Капитану корабля было подвластно время Мартина, а вот хозяину гостиницы оказались подвластны и его мысли. Мартин только и думал что о выматывающей душу, изнуряющей тело работе. Ни о чем другом думать уже не было сил. Он больше не помнил, что любит Руфь. Она как будто и не существовала — за-

гнанной душе некогда было о ней вспомнить. Лишь когда он, еле волоча ноги, добирался поздно вечером до постели и утром за завтраком, она мимолетно возникала в памяти.

— Вот он где, ад, верно? — заметил однажды Джо.

Мартин кивнул, но его взяло зло. И так ясно, чего болтать. За работой они не разговаривали. Разговоры нарушали ритм, вот как сейчас — Мартин сбился, не провел вовремя утюгом, и, чтобы вернуться к прежнему ритму, пришлось сделать два лишних движения.

В пятницу утром запустили стиральную машину. Дважды в неделю надо было стирать гостиничное белье: простыни, наволочки, покрывала, скатерти, салфетки. Покончив со стиркой, тут же взялись за фасонное белье. Обращение с ним требовалось неспешное, искусное, осторожное, и Мартин овладел мастерством не сразу. К тому же рисковать тут было нельзя. Ошибки кончались катастрофой.

— Гляди-ка,— сказал Джо, протягивая Мартину тонкий как паутина чехол корсета, который можно было спрятать в кулаке.— Подпалишь — двадцать долларов из жалованья долой.

И Мартин не подпалил эту паутинку, он расслабил мышцы, но напряг внимание и при этом сочувственно слушал, как ругательски ругается Джо, потея и мучаясь над красивыми вещичками, что носят женщины, которым не приходится самим их стирать. Для Мартина стирка фасонного белья была как страшный сон, и для Джо тоже. Фасонное белье пожирало их с трудом сэкономленные минуты. Оно отняло у них целый день. В семь вечера они отложили его и прокатали постельное, скатерти и прочее гостиничное белье. С десяти, когда постояльцы уже спали, опять потели над фасонным бельем до полуночи, до часу, до двух. В половине третьего наконец отделались.

Утром в субботу опять фасонное и разная мелочь, и к трем часам дня со всей недельной работой покончили.

— Неужто опять будешь семьдесят миль до Окленда крутить педали? — спросил Джо, когда они сидели на крыльце и победоносно покуривали.

— Надо,— был ответ.

— Чего тебя несет, к девчонке?

— Нет, сэкономлю два с половиной доллара на железнодорожном билете. Хочу обменять книги в библиотеке.

— Послал бы срочной почтой. В один конец всего четвертак.

Мартин призадумался.

— А завтра передохни,— настаивал Джо.— Без роздыха не вытянешь. По себе знаю. Я вчистую вымотался.

Оно и видно было. Всю неделю он яростно работал, неутоми-

мо отвоевывал у времени секунды и минуты, ловко избегал промедлений и сокрушал препятствия, источал неодолимую энергию,— мощный человек-мотор, он работал не щадя сил, все горело у него в руках, и вот теперь, завершив недельный труд, он был в полном изнеможении. Он вконец умаялся, вымотался, измученное красивое лицо осунулось. Он вяло попыхивал сигаретой, и голос звучал до странности глухо, бесцветно. Огня, живости — как не бывало. Жалкая это была победа.

— А на той неделе опять начинай сызнова,— грустно сказал он.— И на черта мне это сдалось? Бывает, рад бы податься в бродяги. Ихний брат не работает, а с голоду ж не помирает. Слышь! Сейчас бы кружку пива, да пороху не хватает топать за ней в поселок. Ты не дури, оставайся, а книжки свои пошли срочной почтой.

— А все воскресенье что тут делать? — спросил Мартин.

— Отдыхать. Ты сам не знаешь, до чего замучился. Да я в воскресенье вовсе замученный, газету и то читать сил нет. Раз было захворал я тифом. Два месяца с половиной в больнице отлежал. И никакой тебе работы. Во была красота.

Мартин принял ванну, а после ванны оказалось, Джо исчез. Скорей всего пошел выпить кружку пива, решил Мартин, но прошагать полмили, лишь бы в этом удостовериться, слишком длинное путешествие. Он скинул башмаки, лег на кровать и попытался сообразить, что делать дальше. За книгу и не брался. Такой он был измочаленный, даже в сон не клонило, и он лежал, оцепенев от усталости, почти без мыслей, до самого ужина. Джо к столу не явился, и лишь когда Мартин услышал слова садовника, мол, Джо, видать, загулял в баре, он понял, что к чему. Сразу после ужина он лег спать, а поутру решил, что отдохнул на славу. Джо все не возвращался; Мартин раздобыл воскресную газету и улегся в тенистом уголке под деревьями. Он и не заметил, как прошло утро. Спать он не спал, и никто его не тревожил, а меж тем газета осталась недочитанная. Он опять взялся за нее после обеда, и тут его сморил сон.

Так прошло воскресенье, в понедельник он уже крутился как белка в колесе, разбирал грязное белье, а Джо, крепко обвязав голову полотенцем, со стонами и проклятьями запустил стиральную машину и перемешивал жидкое мыло.

— Просто не могу без этого,— объяснил он.— Как подходит вечер субботы, должен выпить, хоть тресни.

Прошла еще неделя, великое сражение, что ежедневно затягивалось до позднего вечера, при электрическом свете, завершилось победой в субботу в три часа дня, и Джо вкусил свой миг убогого торжества, а потом его опять потянуло искать забвения в ближнем кабаке. Мартин и это воскресенье провел как первое.

Спал в тени деревьев, с трудом, бесцельно проглядывал газету, не один час провалялся так, ничего не делал, ни о чем не думал. Слишком его сморило, и никаких мыслей не было, одно лишь недовольство собой. Он был сам себе противен, словно что-то внутри подгнило или вылезла наружу какая-то сидевшая в нем мерзость. Божественный огонь в нем угас. Честолюбие притупилось, Мартин уже не ощущал его уколов, не хватало жизненной силы. Он был мертв. Казалось, мертва душа. Он обратился в скотину, в рабочую скотину. Стал слеп к красоте солнечных лучей, просквозивших зеленую листву, и глух к лазури небосвода, которая, бывало, нашептывала ему о просторах вселенной, о тайнах, трепетно ждущих — когда же их раскроют. Жизнь казалась нестерпимо бессмысленной и скучной, от нее мутило. Зеркало внутреннего зрения скрыла черная завеса, а воображение лежало в затемненной больничной палате, куда не проникал ни единый луч света. Он завидовал Джо — там, в поселке, он буйствует и дебоширит, хмельной дурман бродит у него в голове, бушует хмельная радость и льются хмельные слезы, он неправдоподобно, восхитительно пьян и не помнит об утре понедельника, о предстоящей неделе убийственного труда.

Миновала третья неделя, и Мартин возненавидел себя, возненавидел жизнь. Угнетало ощущение, что он неудачник. Не зря редакторы отвергали его писанину. Теперь он ясно это понимал и смеялся над собой и над своими мечтами. Руфь вернула ему «Голоса моря» почтой. Письмо ее он прочел равнодушно. Она всячески постаралась убедить его, что стихи ей понравились, что они хороши. Но лгать она не умела, не умела и обманывать себя. Она считала, что стихи не удались, и по каждому вымученному, неглубокому суждению он чувствовал, что она их не одобряет. Что ж, она права. Перечитывая теперь стихи, Мартин твердо в это уверовал. Чувство красоты, ощущение чуда покинуло его, и, читая стихи, он поймал себя на недоумении: с чего ему вздумалось такое написать? Смелость языка показалась ему смехотворной, меткие выражения — уродливыми, все было нелепо, фальшиво, неправдоподобно. Будь у него силы хоть на какое-то действие, он сразу бы сжег эти свои «Голоса». Но чтобы швырнуть их в огонь, надо было еще пойти в котельную гостиницы, стихи того не стоили. Всю энергию поглощала стирка чужого белья. Для своих дел ее не осталось.

Вот в воскресенье он непременно возьмет себя в руки и ответит Руфи. Но в субботу днем, когда он вымылся после работы, его охватило неодолимое желание забыться. «Пойду-ка я гляну, как там Джо»,— сказал он себе и сразу же понял, что лжет. Но осмыслить, откуда эта ложь, недоставало сил. А и были бы они, все равно не стал бы он об этом думать, хотелось одного — забыться.

Медленно, небрежной походкой двинулся он в поселок, и чем ближе к кабачку, тем быстрей, против воли, шагал.

— А я думал, ты непьющий,— такими словами встретил его Джо.

Мартин не унизился до оправданий, он спросил виски, налил себе полный стакан и только тогда передал бутылку Джо.

— Давай поживей,— сказал он резко.

Джо замешкался с бутылкой, и Мартин не стал его ждать, залпом выпил и налил еще.

— Теперь могу тебя подождать,— мрачно сказал он,— а только поторапливайся.

Тот поторопился, и они выпили вместе.

— Допекла тебя работенка, а? — спросил Джо.

Мартин не пожелал об этом говорить.

— Работа — сущий ад, верно,— продолжал Джо.— А только обидно мне глядеть, что ты запил, Март, ох, обидно. Ну, будем здоровы!

Мартин пил молча, отрывисто заказывал еще выпивку, и буфетчик, женоподобный малый с голубыми слезящимися глазами и волосами, зализанными на прямой пробор, уже трепетал перед ним.

— Стыд и срам, как из нас, бедолаг, все соки выжимают,— заметил Джо.— Зашибаю я здорово, а то спалил бы ихнюю лавочку да и смотался. Только то их и спасает, что зашибаю, верное слово.

Но Мартин промолчал. Еще стакан, еще, и наконец он ощутил, как наползает хмельной дурман. Теперь-то он ожил — впервые за три недели он ощутил дыхание жизни. Вернулись мечты. Вырвалось из темной больничной палаты воображение, яркое, пылающее, и пошло его соблазнять. Ясней ясного стало зеркало внутреннего зрения, и снова в нем засияли, мгновенно сменяя друг друга, мимолетные образы. Чудо и красота идут с ним об руку, снова он всемогущ. Он пытался рассказать про это Джо, но у Джо были свои видения — наивернейшие планы, как сбросить ярмо прачки и гладильщика и самому стать владельцем распрекрасной паровой прачечной.

— Слышь, Март, уж у меня ребятишки работать не будут, нет, нипочем. А после шести ни одна живая душа не будет работать. Слышь, чего говорю? Машин будет вдосталь и рабочих рук, не к чему надрываться с утра до ночи, и вот убей меня бог, Март, я тебя поставлю управляющим, будешь ты тут старшой. Я уже все обмозговал. Бросаю зашибать и два года коплю деньгу... накоплю, а потом...

Но Мартин отвернулся, предоставил ему делиться своими планами с буфетчиком, а после отвлек этого достойнейшего мужа,

пускай подаст выпить двоим вновь пришедшим — двум фермерам, которые охотно приняли приглашение Мартина. Мартин был неслыханно щедр, угощал всех и каждого — батраков, конюха, подручного садовника и самого буфетчика и вороватого бродягу, что проскользнул сюда как тень и как тень маячил в конце стойки.

ГЛАВА 18

В понедельник утром, загружая первую партию белья в стиральную машину, Джо кряхтел и охал.

— Слышь, Март...— начал он.

— Отвяжись! — рявкнул Мартин.

— Прости, Джо,— сказал он в полдень, когда они сделали перерыв на обед.

Джо чуть не прослезился.

— Ничего, дружище,— сказал он.— В аду крутимся, другой раз и не стерпишь. А знаешь, я вроде полюбил тебя, право слово. Потому и обидно сделалось. Я как спервоначалу на тебя глянул, ты мне по душе пришелся.

Мартин пожал ему руку.

— Давай смотаемся,— предложил Джо.— Ну ее, эту прачечную к чертям, пойдем бродяжить. Я отродясь не пробовал, а сдается мне, невелика хитрость. И ничего делать не будем. Ты только подумай — ничего не делать! Я когда хворал тифом, в больнице лежал, во где была красота. Еще бы разок захворать.

Медленно тащилась неделя. Гостиница была переполнена, и прачечную без конца заваливали фасонным бельем. Джо и Мартин совершали чудеса доблести. Они сражались до поздней ночи, при свете электричества, еду глотали наспех, успевали даже поработать полчаса до завтрака. Мартину стало не до холодных ванн. Каждый гнал, гнал, гнал, и Джо властно подгонял мгновенья, старательно собирал их в стадо, не терял ни единого, без конца пересчитывал, точно скупец золото, крутился как одержимый, как бешеный, неистовая машина, и помогала ей вторая искусная машина, которая думала, будто была когда-то человеком, неким Мартином Иденом.

Но подумать удавалось лишь в редкие минуты. Жилище мысли было заперто, окна заколочены досками, а сам он — только призрачный сторож. Всего лишь тень. Джо прав. Оба они тени, и нескончаем тяжкий труд в преддверии ада. Или все это сон? Минутами, когда в жаркой и паркой духоте он водил по белью тяжелыми раскаленными утюгами взад и вперед, ему чудилось, все это и впрямь только сон. Совсем скоро, или, может, через тысячу

лет, он проснется в своей каморке, подле стола в чернильных пятнах, и примется писать с того места, где остановился накануне. Или, может, и это был тоже сон, и он проснется, когда пора будет стать на вахту, вывалится из койки в кренящемся кубрике, поднимется на палубу, под тропические звезды, возьмется за штурвал и его обдует прохладным пассатом.

Настала суббота и все та же бесплодная победа в три пополудни.

— Чего ж, пойду выпью пивка,— сказал Джо странно бесцветным голосом, означавшим, как всегда после рабочей недели, совершенный упадок сил.

И вдруг Мартин словно проснулся. Открыл сумку с инструментами, смазал велосипед, смазал передачу, отрегулировал подшипники. Джо только еще плелся к кабаку, когда Мартин промчался мимо,— он низко пригнулся к рулю. Мерно и сильно, во всю мочь жал он педали, в лице решимость одолеть семьдесят миль, подъемы, спуски, дорожную пыль. Ночевал он в Окленде, в воскресенье проделал семьдесят миль обратного пути. А утром в понедельник, усталый, начал новую рабочую неделю. Зато остался трезв.

Миновала пятая неделя и шестая, Мартин жил и работал, как машина, в нем сохранялся лишь проблеск чего-то, лишь теплилась в душе искра и каждую субботу и воскресенье заставляла его с бешеной скоростью одолевать сто сорок миль. Но это был не отдых. Это действовала некая сверхмашина, помогая затушить искру — единственное, что еще осталось в нем от прошлой его жизни. В конце седьмой недели, почти бессознательно, не в силах противиться, он поплелся вместе с Джо в поселок, и утопил жизнь в вине, и обрел жизнь до утра понедельника.

А потом опять в конце каждой недели одолевал на велосипеде сто сорок миль, вытеснял оцепенение от безмерно тяжкой работы новым оцепенением от усилий уж вовсе непомерных. В конце третьего месяца он в третий раз пошел с Джо в поселок. Он забылся, и снова жил, и, ожив, в миг озарения ясно увидел, что сам обращает себя в животное — не тем, что пьет, но тем, как работает. Пьянство — следствие, а не причина. Оно следует за этой работой так же неотвратимо, как вслед за днем наступает ночь. Нет, обращаясь в рабочую скотину, он не покорит вершины — вот что нашептало ему виски, и он согласно кивнул. Виски — оно мудрое. Оно умеет раскрывать секреты.

Он спросил перо, бумагу, заказал выпивку на всех и, покуда все вокруг с воодушевлением пили за его здоровье, оперся на стойку и нацарапал несколько слов.

— Это телеграмма, Джо,— сказал он.— На, читай.

Джо читал с пьяной добродушной ухмылкой. Но прочитанное,

похоже, отрезвило его. Он с упреком глянул на Мартина, на глазах выступили слезы, потекли по щекам.

— Неужто бросаешь меня, Март? — уныло спросил он.

Мартин кивнул, подозвал какого-то парня и велел снести листок в телеграфную контору.

— Погоди! — еле ворочая языком, пробормотал Джо.— Дай сообразить.

Он ухватился за стойку, ноги подкашивались, Мартин обнял его за плечи, чтоб не свалился, покуда соображает.

— Пиши, оба уходим, стирать больше некому,— вдруг объявил Джо.— Дай-ка, я подпишу.

— А ты-то с чего уходишь? — спросил Мартин.

— С чего и ты.

— Но я пойду в море. А ты не можешь.

— Ага,— был ответ,— зато я бродяжить могу, вот что.

Мартин посмотрел на него испытующе и потом воскликнул:

— Черт подери, Джо, а ведь ты прав! Бродягой быть куда лучше, чем ломовой лошадью. Поживешь, парень! Ты ж еще никогда и не жил.

— Нет, я раз в больнице лежал,— возразил Джо.— Во была красота. Тифом хворал... я тебе не рассказывал?

Мартин переправил в телеграмме, что расчет берут двое, а не один. А Джо меж тем продолжал:

— Про выпивку в больнице и думать забыл. Чудно, правда? Ну, а работаешь весь день как вол, тут уж без выпивки нельзя. Примечал, как повара напиваются? Жуть!.. И пекари тоже. Такая у них работа. Им без выпивки никак нельзя. Слышь, дай-ка я заплачу половину за телеграмму.

— Давай бросим жребий,— предложил Мартин.

— Подходи все, пей,— позвал Джо, вместе с Мартином кидая на мокрую стойку игральные кости.

В понедельник утром Джо был вне себя от радостного волнения. Не замечал, что разламывается голова, нисколько не думал о работе. Стада мгновений ускользали и терялись, а беспечный пастух смотрел в окно на солнце и на деревья.

— Ты только глянь! — восклицал он.— Это ж все мое! Задаром! Захочу — разлягусь вон там, под деревьями, и просплю хоть тыщу лет. Март, слышь, Март, давай кончать мороку. На кой ждать? Вон оно, раздолье, там спину гнуть не надо, у меня туда билет... и никакого тебе обратного, черт меня подери!

Через несколько минут, наполняя тележку грязным бельем для стиральной машины, Джо заметил сорочку управляющего гостиницы. Джо знал его метку, и вдруг его осенило: свободен! — и он возликовал, бросил сорочку на пол и принялся топтать ее.

— Тебя бы эдак, тебя, чертова немчура! — заорал он.— Тебя,

тебя самого, вот так вот! На тебе, на тебе, на, вот тебе, будь ты проклят! Эй, держите меня! Держите!

Мартин со смехом оттащил его к стиральной машине. Во вторник вечером прибыли новые рабочие, и до конца недели пришлось их обучать, натаскивать. Джо сидел в прачечной и объяснял, что и ка́к надо, а работать не работал.

— Пальцем не шевельну,— объявил он.— Пальцем не шевельну! Пускай хоть нынче увольняют, только тогда и обучать не стану, враз уйду. Хватит с меня, наработался! Буду теперь в товарных вагонах раскатывать да в тенечке дремать. А вы пошевеливайтесь, вы, рабочая скотинка! Во-во. Валяйте. Надрывайтесь! До седьмого поту! А помрем, сгнием, что вы, что я, так не все ль равно, как живешь-то?.. Ну? Вы мне скажите... не все ль равно, в конце-то концов?

В субботу они получили жалованье, и пришла пора Джо с Мартином расставаться.

— Видать, нечего и просить тебя, все одно не передумаешь, не пойдешь со мной бродяжить? — погрустнев, спросил Джо.

Мартин покачал головой. Он стоял подле велосипеда, готовый тронуться в путь. Они пожали друг другу руки, и Джо на миг задержал руку Мартина.

— Мы еще повстречаемся, Март,— сказал он.— Вот ей-ей. Нутром чую. До свиданья, Март, бывай здоров. Полюбился ты мне черт-те как, право слово!

Он одиноко стоял посреди дороги и глядел вслед Мартину, пока тот не скрылся за поворотом.

— Золото, а не парень,— пробормотал он.— Чистое золото.

И он поплелся по дороге к водокачке, там на запасном пути с полдюжины пустых товарных вагонов ждали, когда их прицепят к составу.

ГЛАВА 19

Руфь и все семейство Морзов были уже дома, и Мартин, возвратясь в Окленд, часто с ней виделся. Она стала бакалавром и покончила с ученьем, а у него работа высосала все силы души и тела, и он совсем не писал. Никогда еще не было у них друг для друга столько свободного времени, и между ними быстро росла новая близость.

Поначалу Мартин только и знал что отдыхал. Много спал, долгими часами ничего не делал, думал и размышлял. Он словно приходил в себя после тяжкого испытания. И впервые понял, что возвращается к жизни, когда ощутил некоторый интерес к газете. Потом снова начал читать — немудрящие романы, стихи,— а еще

через несколько дней с головой погрузился в давно заброшенного Фиска. На редкость крепкий и здоровый, он обрел новые жизненные силы, он обладал великолепным даром молодости — быстро воспрянуть телом и духом.

Он объявил Руфи, что, как только хорошенько отдохнет, вновь отправится в плаванье, и она не скрыла разочарования.

— Зачем вам это? — спросила она.

— Для денег,— был ответ.— Надо запастись для следующей атаки на редакторов. Деньги — ресурсы войны, в моем случае деньги и терпение.

— Но если нужны только деньги, почему вы не остались в прачечной?

— Потому что прачечная превращала меня в животное. При такой работе поневоле запьешь.

Руфь посмотрела на него с ужасом.

— Неужели вы?..— дрожащим голосом спросила она.

Так легко было бы вывернуться, но Мартин по природе своей был правдив, да еще вспомнил давнее решение говорить правду, чем бы это ни грозило.

— Да,— ответил он.— Бывало. Несколько раз.

Она вздрогнула и отодвинулась.

— Ни с одним человеком из тех, кого я знаю, этого не бывало.

— Значит, они не работали в прачечной гостиницы в Горячих ключах.— Мартин горько засмеялся.— Труд — хорошая штука. Он необходим для здоровья, так говорят все проповедники, и, бог свидетель, я никогда не боялся тяжелой работы! Но, как известно, хорошенького понемножку, а тамошняя прачечная это уже чересчур. Потому я опять и ухожу в плаванье. Думаю, это в последний раз — когда вернусь, непременно возьму эти журналы штурмом. Уверен.

Она молчала, явно не сочувствовала ему, и, глядя на нее, Мартин угрюмо подумал: где же ей понять, через что он прошел!

— Когда-нибудь я об этом напишу — «Вырождение под гнетом труда», или «Психология пьянства в рабочем классе», или еще как-нибудь в этом роде.

Никогда еще, с самой первой встречи, не были они так далеки друг от друга, как в этот день. Признание Мартина, откровенность, вызванная духом бунтарства, были отвратительны Руфи. Но само это отвращение потрясло ее много сильнее, чем вызвавшая его причина. Так, значит, вот насколько стал ей близок Мартин — однажды осознанное, открытие это прокладывало путь к еще большей близости. Притом Руфь еще и пожалела Мартина и по наивности, по совершенному незнанию жизни, задумала его перевоспитать. Она спасет этого неотесанного молодого человека, идущего

по неверному пути. Спасет от проклятья, наложенного на него прежним окружением, спасет и от него самого, ему же наперекор. Она была уверена в высоком благородстве своих побуждений и не подозревала, что источник их — тайная ревность и жажда любви.

Стояла чудесная погожая осень, и они уезжали на велосипедах за город, к холмам, и то он, то она вслух читали стихи, прекрасные строки облагораживали душу, рождали возвышенные мысли. Так она исподволь внушала ему необходимость самоотречения, жертвенности, терпенья, трудолюбия и целеустремленности — тех отвлеченных добродетелей, которые, как она полагала, воплотились в ее отце, и в мистере Батлере, и в Эндрю Карнеги, каковой из нищего мальчишки-эмигранта превратился в филантропа, известного всему миру своими щедрыми пожертвованиями на библиотеки.

Мартин дорожил этими днями, радовался им. Он яснее понимал теперь ход ее мыслей, и душа ее уже не была для него непостижимым чудом. Теперь он мог рассуждать с нею обо всем как равный, и расхождения во взглядах никак не умаляли его любовь. Напротив, он любил еще горячее, потому что любил ее такой, какая была она на самом деле, и даже хрупкость прибавляла ей прелести в его глазах. Он знал историю болезненной Элизабет Баррет, которая многие годы не вставала с постели до того самого дня, когда загорелась страстью к Браунингу и сбежала с ним, выпрямилась, ощутила землю под ногами и увидела небо над головой: то, что сделал Браунинг для Элизабет Баррет, он, Мартин, сделает для Руфи. Но прежде она должна его полюбить. Остальное просто. Он даст ей силу и здоровье. Перед ним мелькали картины их жизни в будущем: работа, уют, благополучие во всем, и вот они вдвоем читают стихи и говорят о них, она полулежит на полу, на разбросанных подушках и читает ему вслух. Вот что будет определять их жизнь. И всегда ему рисовалась та же картина. Или вслух читает он, обняв ее одной рукой, а она положила голову ему на плечо. Или они вместе раздумывают над страницами, полными красоты. К тому же Руфь любила природу, и щедрое воображение Мартина переносило их чтения в иные места. Вот они читают в долине, отгороженной от всего мира крутыми обрывистыми скалами, или на лугу, высоко в горах, или же среди серых песчаных дюн, и у ног пенятся волны, или далеко-далеко в тропиках на каком-нибудь острове — детище вулкана, где низвергаются водопады и взлетает облако мельчайших брызг и эта влажная завеса колышется и трепещет при каждом дуновенье прихотливого ветерка и уносится к океану. Но на переднем плане всегда они вдвоем, он и Руфь, властелины красоты, они неизменно читают и делятся мыслями, всегда на фоне природы, а еще дальше

в глубине всегда смутно, в дымке, видятся работа, успех, заработанные им деньги, которые дают независимость от мира и от всех его сокровищ.

— Я бы посоветовала моей дочурке поостеречься,— сказала однажды Руфи миссис Морз.

— Я знаю, о чем ты. Но это невозможно. Он не...

Руфь покраснела, но виной тому было девичье смущение — ведь ей впервые пришлось обсуждать то, что в жизни свято, и обсуждать с матерью, которую она тоже свято чтила.

— Не твоего круга,— докончила за нее мать.

Руфь кивнула.

— Мне не хотелось так говорить, но это верно. Он неотесанный, грубый, сильный... чересчур сильный... Его жизнь не была...

Она замялась, не могла договорить. Так ново было говорить на подобные темы с матерью. И опять мать докончила ее мысль.

— Его жизнь была не безупречна, вот что ты хотела сказать.

Опять Руфь кивнула и опять залилась краской.

— Да, об этом,— сказала она.— Хоть и не по своей вине, но он слишком часто соприкасался с...

— С грязью?

— Да, с грязью. И он меня пугает. Иной раз я в ужас прихожу, с такой легкостью он рассказывает о своих прежних безрассудствах, будто это совершенные пустяки. А это ведь далеко не пустяк, правда?

Они сидели обнявшись, и, когда Руфь замолчала, миссис Морз погладила руку дочери, ждала, что она еще скажет.

— Но он мне ужасно интересен,— продолжала Руфь.— В каком-то смысле он мой подопечный. И потом, он мой первый друг-мужчина... ну, не совсем друг, вернее, сразу и друг и подопечный. А подчас, когда он меня пугает, мне кажется, я завела бульдога, просто для развлечения, как иные заводят подружек, но бульдог не игрушка, он тянет вовсю, показывает зубы, и страшно, вдруг сорвется с поводка.

И опять мать ждала.

— Я думаю, он меня и занимает, почти как бульдог. И в нем много хорошего... хотя много и такого, что мне не понравилось бы, ну, при других отношениях. Вот видишь, я обо всем этом подумала. Он бранится, курит, пьет, он дрался, он сам мне говорил, и ему это нравится... так и сказал. Он совсем не такой, каким должен быть мужчина... каким я хотела бы видеть (тут голос ее стал еле слышен)... мужа. И потом, он чересчур сильный. Мой избранник должен быть высокий, стройный, темноволосый... изящный, пленительный принц. Нет, мне не грозит опасность влюбиться в Мартина Идена. Худшей участи я и представить не могу.

— Но я не это имела в виду,— уклончиво возразила мать.—

А о нем ты подумала? Видишь ли, он такой во всех отношениях неподходящий, и вдруг он тебя полюбит?

— Но он... он уже полюбил! — воскликнула Руфь.

— Этого следовало ожидать,— мягко сказала миссис Морз.— Всякий, кто тебя узнает, непременно полюбит. Как может быть иначе?

— А Олни меня терпеть не может! — горячо воскликнула Руфь.— И я его тоже. При нем меня так и тянет язвить. Поневоле наговорю ему дерзостей, а если почему-то и сдержусь, так он сам наговорит мне дерзостей. А с Мартином Иденом мне хорошо. Еще никто меня никогда так не любил... то есть, ни один мужчина... такой любовью. А это чудесно — быть любимой... такой любовью. Сама понимаешь, мамочка, о чем я. Так приятно чувствовать себя женщиной.— Всхлипнув, Руфь уткнулась лицом в колени матери.— Наверное, по-твоему, я очень гадкая, но я честно тебе рассказываю, что чувствую.

Миссис Морз слушала со странной печалью и с радостью. Ее дочурка, девочка, ставшая бакалавром изящных искусств, исчезла, уступила место дочери-женщине. Опыт удался. Странный пробел в натуре Руфи заполнился, заполнился безболезненно. Неотесанный матрос сыграл свою роль, и, хотя Руфь не полюбила его, он заставил ее почувствовать себя женщиной.

— У него дрожат руки,— призналась Руфь, от смущения все не смея поднять голову.— Это так забавно, так смешно, но мне и жаль его. А когда руки у него уж очень дрожат, а глаза уж очень сияют, ну, тогда я отчитываю его за то, что он живет не так, как надо, а, стараясь исправиться, идет неверным путем. Но он меня боготворит, я знаю. Его глаза и руки не лгут. И при мысли об этом, при одной только мысли об этом я чувствую себя совсем взрослой и еще чувствую, есть у меня что-то, что принадлежит только мне... как у всех девушек... и... и молодых женщин. А еще я знаю, прежде я была не такая, как все, я понимала, что тебя это тревожит. Ты думала, что не даешь мне заметить свою тайную тревогу, а я заметила и очень хотела... «преуспеть», как говорит Мартин Иден.

То был заветный час для матери и дочери, они сумерничали и разговаривали со слезами на глазах, и Руфь была сама невинность и откровенность, мать же, исполненная сочувствия и понимания, спокойно наставляла ее и направляла.

— Он на четыре года моложе тебя,— сказала она.— И никак не обеспечен. Ни положения, ни жалованья. Он непрактичен. Если он тебя любит, ему во имя здравого смысла следовало найти место, что дало бы ему право жениться, а он занимается пустяками — пишет рассказики и тешит себя мечтами, как дитя малое. Боюсь, Мартин Иден никогда не повзрослеет. Ему не хватает со-

знания ответственности, он не способен взяться за дело, достойное мужчины, как твой отец и все наши знакомые... хотя бы как мистер Батлер. Боюсь, Мартин Иден никогда не научится зарабатывать деньги. А для счастья деньги необходимы, так устроен наш мир... не миллионные состояния нужны, нет, но достаточные средства, чтобы жить прилично и с комфортом. Он... он никогда не заговаривал о своих чувствах?

— Ни словом не обмолвился. Даже не пытался. А если бы попытался, я бы его остановила, понимаешь, мамочка, я ведь его не люблю.

— Очень рада. Не хотелось бы мне, чтобы моя дочь, моя единственная дочь, воплощение чистоты и добродетели, полюбила такого человека. На свете есть подлинно достойные мужчины — чистые, преданные, мужественные. Надо только подождать. В один прекрасный день тебе встретится такой человек, ты его полюбишь, и он полюбит тебя, и ты будешь счастлива с ним, как были всегда счастливы друг с другом я и твой отец. И есть одно, о чем всегда следует помнить...

— Да, мамочка?

Негромко, с нежностью в голосе миссис Морз сказала:

— Это дети.

— Я... я об этом думала,— призналась Руфь, вспоминая, как, случалось, досаждали ей эти нескромные мысли, и опять залилась краской девичьего смущения оттого, что приходится говорить об этом вслух.

— Именно из-за детей мистер Иден тебе совершенно не подходит,— решительно продолжала миссис Морз.— Они не должны унаследовать ничего нечистого, а ему, боюсь, как раз чистоты недостает. Твой отец рассказывал мне, как живут матросы, и... и ты сама понимаешь.

Руфь в знак согласия сжала руку матери. Ей казалось, будто она и вправду поняла, хотя представлялось ей что-то смутное, непостижимое, что-то ужасное, недоступное воображению.

— Ты ведь знаешь, я всегда обо всем тебе говорю,— начала она.— Только иногда ты меня спрашивай, вот как в этот раз. Мне хотелось с тобой поделиться, но я не знала, как это сказать. Я знаю, это излишняя стыдливость, но ты мне помоги. Иногда спрашивай меня, вот как в этот раз... помогай мне с тобой делиться. Мамочка, ведь ты тоже женщина! — восторженно воскликнула она, когда они встали, и, осознав странно сладостное равенство с матерью, сжала ее руки, выпрямилась, в сумерках посмотрела ей в лицо.— Если бы не наш разговор, мне и в голову бы это не пришло. Пока я не сознавала, что я женщина, я и о тебе так не думала.

— Мы обе женщины,— сказала мать, притянула Руфь к себе

и поцеловала.— Мы обе женщины,— повторила она, когда они, обняв друг друга за талию, выходили из комнаты, радостно взволнованные, что теперь они по-новому сроднились.

— В нашей дочурке проснулась женщина,— часом позже с гордостью сказала мужу миссис Морз.

Он долгим внимательным взглядом посмотрел на жену.

— Другими словами,— сказал он,— другими словами, она влюбилась.

— Нет, но она любима,— с улыбкой возразила жена.— Опыт удался. Наконец-то она пробудилась.

— Тогда надо от него отделаться,— быстро, сухо, деловито заявил Морз.

Но супруга покачала головой.

— В этом нет необходимости. Руфь сказала, что он через несколько дней уходит в плавание. А когда вернется, ее здесь не будет. Мы отошлем ее к тетушке Кларе. И притом год на Востоке — в другой обстановке, среди других людей, других представлений — именно это ей и нужно.

ГЛАВА 20

Мартина опять одолело желание писать. Рассказы и стихи сами собой возникали в голове, и он делал заметки на будущее, когда выложит все это на бумагу. Но не писал. Устроил себе короткие каникулы, решил посвятить их любви и отдыху, и в том и в другом преуспевал. Скоро жизнь уже опять бурлила в нем, и каждый раз при встрече с ним Руфь в первую минуту по-прежнему ошеломляли его сила и могучее здоровье.

— Будь осторожна,— снова предупредила ее мать.— Боюсь, ты слишком часто видишься с Мартином Иденом.

Но Руфь смеялась — ей ничто не грозит. Она уверена в себе, и ведь через считанные дни он уходит в плавание. А потом, когда возвратится, она будет уже гостить на другом краю континента. Однако его сила и могучее здоровье завораживали. Ему тоже сказали о ее предполагаемом отъезде, и он чувствовал, что надо спешить. Но он понятия не имел, как ухаживать за такой девушкой. Да еще мешал богатый опыт обращения с девушками и женщинами нимало на нее не похожими. Они знали, что такое любовь, и жизнь, и флирт, Руфь же ровно ничего об этом не знала. Ее поразительное целомудрие страшило его, замораживало готовые сорваться с языка пылкие слова, помимо его воли убеждало, что он ее не достоин. Мешало и другое. Он никогда еще не любил. В его насыщенном событиями прошлом женщины нравились ему, иные увлекали, а вот настоящей любви он не знал. Стоило небрежно, по-хозяйски свистнуть, и женщина уже тут как тут. То были про-

сто развлечения, эпизоды, часть игры, в которую играют мужчины, но почти всегда далеко не самая важная для них часть. А теперь он впервые оказался в роли просителя — нежного, робкого, неуверенного. Он не знал, как себя вести, не знал языка любви, а кристальная чистота любимой пугала его.

Сталкиваясь с жизнью в самых разных ее обличьях, кружась в изменчивом ее водовороте, Мартин усвоил одно правило: когда играешь в незнакомую игру, первый ход предоставь другому. Правило это выручало его тысячи раз, да в придачу отточило его наблюдательность. Он умел приглядываться к тому, что незнакомо, и дождаться, когда обнаружится, в чем тут слабость, где уязвимое место. Все равно как в кулачном бою пробными ударами пытаться обнаружить слабину противника. И обнаружив ее,— этому его научил долгий опыт — использовать ее, использовать вовсю.

Так и теперь — он ждал, приглядывался к Руфи, ему отчаянно хотелось заговорить о своей любви, но он не смел. Боялся ее испугать и не был уверен в себе. И даже не догадывался, что ведет себя именно так, как надо. Любовь появилась на свете еще прежде членораздельной речи, с первых же шагов научилась выражать себя самыми верными способами и уже никогда не забывала их. Как повелось исстари, без затей, Мартин и ухаживал за Руфью. Поначалу он даже не подозревал об этом, но потом догадался. Прикосновенье руки к ее руке было куда красноречивей любых слов, а его сила потрясала воображение Руфи и влекла неотразимей всех напечатанных в книгах стихов и высказанной словами страсти бессчетных поколений влюбленных. На все, что он мог бы выговорить, она отозвалась бы наполовину, а вот касанье руки, самое мимолетное соприкосновенье взывало прямо к инстинкту. Ее рассудок был молод, как она сама, а женские инстинкты стары, как род человеческий, и еще того старше. Молоды они были в той далекой древности, когда молода была любовь, и оттого они мудрее условностей, убеждений и всего прочего, что появилось позднее. Итак, рассудок ее оказался ни при чем. Здесь он не требовался, и Руфь не отдавала себе отчета, с какой силой Мартин порою взывал к той стороне ее натуры, которая требовала любви. И при этом было ясно как день, что он ее любит, и она радовалась доказательствам его любви — сиянью глаз, излучающих нежность, дрожи рук, неизменному жарко вспыхивающему под загаром румянцу. Она пошла даже дальше,— робко поощряла его, но так деликатно, что он и не подозревал об этом, да Руфь и сама едва ли подозревала, ведь это получалось само собой. Она трепетала при виде этих доказательств своего женского могущества и, как истинная дочь Евы, с наслаждением, играючи, его мучила.

А Мартин, от недостатка опыта и от избытка страсти потеряв дар речи, ухаживал за ней бесхитростно и неуклюже, пользуясь

все тем же языком прикосновений. Ей нравилось, когда он касался ее руки, больше чем нравилось, как-то сладко волновало. Этого Мартин не понимал, но ясно понимал, что он Руфи не противен. Не сказать, чтобы руки их встречались часто, разве лишь когда они здоровались и прощались; но когда готовили в дорогу велосипеды и перевязывали ремнями книги стихов, собираясь за город, или сидя рядом перелистывали страницы, рука одного нет-нет да и касалась ненароком руки другого. И когда, склонясь над книжкой, они упивались прекрасными страницами, волосы ее нет-нет да и касались его щеки, а плечо — плеча. Она улыбалась про себя, едва ни с того ни с сего ей вдруг захочется взъерошить ему волосы; ему же, когда они уставали от чтения, отчаянно хотелось положить голову ей на колени и с закрытыми глазами помечтать о будущем, о поре, когда они будут вместе. В прошлом, на воскресных пикниках в Шелмонд-парке или в Шетзен-парке, он бывало клал голову к девушке на колени и, вовсе о ней не думая, безмятежно засыпал крепким сном, а девушка заслоняла его лицо от солнца, и смотрела на него влюбленными глазами, и дивилась, с какой царственной небрежностью он принимает ее любовь. Прежде ему ничего не стоило положить голову на девичьи колени, а вот когда рядом Руфь, об этом и помыслить невозможно. Однако именно в этой сдержанности и таилась сила его обаяния. Именно благодаря своей сдержанности он и не отпугивал Руфь. Она же, утонченная и робкая, вовсе не догадывалась, какой опасный оборот принимают их отношения. Едва заметно и не сознавая этого, она тянулась к Мартину, день ото дня он становился ей ближе, и он жаждал сделать следующий шаг, но не смел.

Но однажды он посмел — застав ее как-то среди дня в затененной гостиной, с мучительной головной болью.

— Ничто не помогает,— ответила она на его расспросы.— И я никогда не принимаю порошки от головной боли, доктор Холл мне запретил.

— Пожалуй, я могу вас вылечить безо всяких лекарств,— сказал Мартин.— Я, конечно, не уверен, но можно попробовать. Это всего лишь массаж. Я выучился этому фокусу у одного японца. Все они великие мастера массажа. Потом учился еще раз, немного по-другому, на Гавайях. Они называют свой массаж «ломи-ломи». Он помогает почти во всех случаях, когда помогают лекарства, и еще во многих, когда лекарства не помогают.

Едва ощутив на лбу и висках руки Мартина, Руфь глубоко вздохнула.

— Как хорошо,— сказала она.

Спустя полчаса она опять заговорила, спросила только:

— Вы не устали?

Спросила просто из вежливости — наперед знала, каков будет

ответ. И погрузилась в дремотное раздумье о том, как успокоительна, как целебна его сила. Из кончиков его пальцев струилась жизнь и, казалось, изгоняла боль — и наконец боль утихла, Руфь уснула, и Мартин тихонько выскользнул из комнаты.

В этот вечер она позвонила ему по телефону и поблагодарила.

— Я проспала до самого ужина,— сказала Руфь.— Вы совершенно исцелили меня, мистер Иден, просто не знаю, как вас благодарить.

Он отвечал пылко, сбивчиво, ошалев от счастья, и, пока шел этот телефонный разговор, в мыслях все время трепетало воспоминание о Браунинге и хрупкой Элизабет Баррет. Что было сделано однажды, можно сделать еще раз, и он, Мартин Иден, способен это сделать и сделает — для Руфи Морз. Он вернулся к себе в комнату, к «Социологии» Спенсера, что лежала раскрытая на кровати. Но читать не мог. Любовь терзала его, подчинила волю, и, наперекор прежнему решению, он оказался за столиком в чернильных пятнах. В тот вечер Мартин сочинил сонет, и он стал первым в любовном цикле из пятидесяти сонетов, который закончен был за два месяца. Он писал и думал при этом о «Любовных сонетах с португальского», писал в состоянии наилучшем для истинного творчества, на огромном подъеме, в муках, в сладостном безумии любви.

Многие часы, когда он оставался один, без Руфи, Мартин посвящал «Стихам о любви» и чтению дома или в публичных библиотеках, лучше ознакомился там с последними журналами, с их направлением и содержанием. Часы, которые он проводил подле Руфи, будили то надежду, то сомнения и одинаково сводили с ума. Спустя неделю после того как Мартин снял у Руфи головную боль, Норман затеял прогулку при луне по озеру Мерритт, Артур и Олни его поддержали, Мартин единственный умел управляться с лодкой, и пришлось ему взяться за это. Руфь села рядом с ним на корме, а трое молодых людей расположились посредине и яростно, многословно заспорили о делах студенческих.

Луна еще не взошла, Руфь смотрела на усыпанный звездами небосвод, с Мартином она не обменялась ни словом, и вдруг ей стало очень одиноко. Она взглянула на Мартина. Порыв ветра так накренил лодку, что на палубу плеснула вода, а Мартин, одной рукой держа румпель, другой управляя грот-штоком, чуть изменил курс и в то же время зорко всматривался вперед, стараясь увидеть северный берег. Он не замечал взгляда Руфи, и она внимательно приглядывалась к нему, пытаясь понять и представить, что за душевный вывих заставляет его, на редкость способного молодого человека, растрачивать время впустую — писать стихи и рассказы, посредственные и обреченные на неуспех.

При слабом свете звезд блуждающий взгляд Руфи различал гордую посадку головы на могучей шее, и, как прежде, захотелось обхватить эту шею руками. Сила, прежде ненавистная, теперь притягивала. Ощущение одиночества стало острей, накатила усталость. Утомительно было сидеть в кренящейся лодке, вспомнилось, как Мартин излечил ее, когда у нее разболелась голова и какой на нее снизошел божественный покой. Сейчас он рядом, совсем рядом, и лодка будто клонит ее к нему. И вдруг захотелось прислониться к Мартину, опереться, довериться его силе; едва зародившееся желание это, не успела Руфь его осознать, завладело ею и заставило прислониться к Мартину. Или это накренилась лодка? Бог весть. Руфь не знала этого, не поняла. Знала только, что прислонилась к Мартину, и так хорошо ей стало, так умиротворенно и покойно. Может, во всем виновата лодка — качнула ее к Мартину. Но Руфь не пыталась выпрямиться. Она прислонялась к его плечу,— слегка, но все-таки прислонялась, и не отодвинулась, когда он чуть изменил позу, чтобы ей было удобней.

Это было безумство, но Руфь не желала себе признаться в безумстве. Она уже не та, что прежде, теперь она чувствует как женщина, и по-женски жаждет к кому-то прильнуть, и, лишь едва-едва прислонясь к плечу Мартина, жажду эту словно бы утолила. И уже не ощущала усталости. А Мартин молчал. Заговори он, чары рассеялись бы. Но своей сдержанностью в любви он их длил. Он был ошеломлен, голова кружилась. Он не понимал, что происходит. Это же чудо — уж не бредит ли он? Он подавил безумное желание выпустить парус и румпель и сжать Руфь в объятиях. Чутье подсказало: нет, это не годится, и он порадовался, что руки заняты, благо есть парус и румпель, и отогнал искушенье. Но он уже не так осторожно приводил судно к ветру, бессовестно выпускивал ветер из паруса, лишь бы продлить путь к северному берегу. На подходе к берегу придется маневрировать, и отрадная близость нарушится. Искусно управляя парусом, он замедлил ход лодки, но так, что спорщики ничего не заметили, и мысленно простил все самые трудные в его жизни плавания, ведь они подарили ему такую дивную ночь, научив властвовать над морем, и лодкой, и ветром, и вот Руфь сидит подле него, и на плече он ощущает милую ему тяжесть.

Всходила луна, и, едва ее свет коснулся паруса и жемчужным сияньем озарил лодку, Руфь отстранилась от Мартина. И в тот же миг почувствовала, что и он отстраняется. Бессознательно оба постарались, чтобы те трое ничего не заметили. Без слов оба ощутили всю сокровенность случившегося. И Руфь сидела поодаль от него, щеки ее горели, теперь-то она осознала, что произошло. Она виновата в чем-то таком, что хотела бы скрыть и от братьев, и от Олни. Отчего же она так поступила? Никогда еще она не делала

ничего подобного, а ведь и прежде не раз лунными ночами каталась на лодке с молодыми людьми. Никогда ей ничего такого не хотелось. Ее охватил стыд, ошеломила загадочность пробуждающегося в ней женского начала. Украдкой она глянула на Мартина — он был сейчас занят лодкой, менял курс — и готова была возненавидеть его, ведь это из-за него она повела себя так постыдно, так нескромно. Подумать только, из-за него! Наверно, мама была права, они слишком часто видятся. Никогда больше такого не случится, решила она, и видеться они впредь будут реже. Несуразная мысль пришла ей в голову — при первой же встрече наедине объяснить, солгать, упомянуть мимоходом, будто перед тем, как взошла луна, ей чуть не стало дурно. И сразу вспомнилось, как они отстранились друг от друга, едва появилась разоблачительница-луна, и Руфь поняла, он догадается, что она лжет.

А потом дни понеслись стремглав, и Руфь уже не узнавала себя в странной непонятной незнакомке, которая вытеснила ее прежнюю,— это новое, донельзя своенравное существо не желало разбираться в своих мыслях и чувствах, отказывалось заглянуть в будущее, подумать о себе и о том, куда же ее несет течением. Захватывающая тайна лихорадила ее, то пугала, то чаровала, и неизменно приводила в недоумение. Лишь одно она знала твердо, и это обеспечивало ей безопасность. Она не позволит, чтобы Мартин заговорил о своей любви. Лишь бы не допустить признания, и все обойдется. Через считанные дни он уйдет в море. И даже если он заговорит, все обойдется. Как может быть иначе, ведь она не любит его. Разумеется, для него это будут мучительные полчаса, и полчаса неловкости для нее — ведь впервые ей сделают предложение. При этой мысли она трепетала от радости. Она настоящая женщина — есть мужчина, который вот-вот попросит ее руки. То был немалый соблазн для ее женской сути. Самая основа ее жизни, всего того, что делало Руфь Руфью, дрожала, как струна. Мысль эта билась в мозгу, словно притянутый пламенем мотылек. Дошло до того, что Руфь уже представляла, как Мартин делает ей предложение, сама подыскивала для него слова и тут же репетировала свой отказ, смягчала его добротой и призывала Мартина перенести это как подобает истинному благородному мужчине. И ему необходимо отказаться от курения. Непременно надо его убедить. Но нет, нельзя допускать, чтобы он заговорил. Его можно остановить, и это она обещала маме. Ее обдало жаром, щеки горели, с сожалением рассталась она с картиной, которую так живо вообразила. Первое предложение подождет более подходящего времени, более приемлемого поклонника.

ГЛАВА 21

Наступил дивный осенний день, он дышал теплом и истомой, полон был чуткой тишины уходящего лета, день калифорнийского бабьего лета, когда солнце подернуто дымкой и от легких дуновений блуждающего ветерка даже не всколыхнется дремотный воздух. Легчайшая лиловая мгла, не туман, но марево, сотканное из цветных паутинок, пряталось в укромных уголках меж холмами. И на холмах клубом дыма лежал Сан-Франциско. Разделяющий их залив матово отсвечивал, словно расплавленный металл, на нем замерли или неспешно дрейфовали с ленивым приливом парусники. Далекая Тамальпайс, едва видная за серебристой дымкой, громадой вздымалась у Золотых ворот, под склоняющимся к западу солнцем пролив казался дорогой из тусклого золота. А дальше, смутный, необъятный, раскинулся Тихий океан, и над ним, у горизонта, беспорядочно громоздились облака и двигались к суше предвестьем неистового дыхания зимы.

Лето доживало последние дни. Но оно медлило, выцветало и меркло на холмах, все щедрее разливало багрянец по долинам, ткало себе дымчатый саван из угасающего могущества и насытившегося буйства и умирало в спокойном довольстве оттого, что прожило жизнь и жизнь эта была хороша. Среди холмов, на любимом своем пригорке Мартин и Руфь сидели рядом, склонясь над книгой, и он читал вслух любовные сонеты женщины, которая любила Браунинга, как любили мало кого из мужчин.

Но не читалось им сегодня. Слишком сильно было очарование этой бренной красоты. Золотая летняя пора умирала как жила, прекрасная, нераскаянная, сладострастная, а воздух был густо настоян на памятных восторгах и довольстве. И настой этот опьянял их обоих мечтами, истомой, размывал решимость и волю, и за смутной дымкой, за багряными туманами уже не различить было строгие лики нравственных устоев и здравого смысла. Размягченного, растроганного Мартина опять и опять обдавало жаром. Головы их были совсем рядом, стоило блуждающему ветерку, чуть дохнув, шевельнуть ее волосы — они касались лица Мартина, и страницы плыли у него перед глазами.

— По-моему, вы читаете и ни одно слово до вас не доходит,— сказала Руфь в какую-то минуту, когда он сбился и перепутал строчки.

Мартин посмотрел на нее горящим взглядом, смутился было и вдруг выпалил:

— По-моему, и до вас тоже не доходит. О чем был последний сонет?

— Не знаю,— честно, со смехом призналась она.— Уже забыла. Давайте не будем больше читать. День так хорош.

— Не скоро мы опять приедем сюда,— печально произнес Мартин.— Там, на горизонте, собирается шторм.

Книга выскользнула у него из рук на землю, и они забылись, и молча, дремотно смотрели па дремлющий залив, смотрели — и не видели. Руфь искоса глянула на шею Мартина. И не склонилась к нему, нет. Ее повлекла какая-то сила, ей неподвластная, сильнее земного тяготения, неодолимая, как судьба. Лишь какой-нибудь дюйм разделял их — и вот уже не разделяет. Плечо ее коснулось его плеча легко, точно мотылек цветка, и так же легко он ответил на ее прикосновенье. Она почувствовала, как плечо его подалось к ней и весь он затрепетал. Сейчас бы ей отодвинуться. Но ничто уже не зависело от нее. Она не владела собой, своей волей — в сладостном безумии, что охватило ее, о воле, о самообладании уже не думалось.

Рука Мартина несмело потянулась, коснулась ее талии. В мучительном восторге она ждала, прислушивалась к этому медленному движению. Ждала, сама не зная чего — она тяжело дышала, губы горели, пересохли, сердце неистово колотилось, ее пронизывало лихорадочное предвкушенье. Рука Мартина поднялась выше, он притянул Руфь к себе, притянул медленно, нежно. Она уже не в силах была ждать. Устало вздохнула и вдруг неожиданно для себя порывисто прижалась головой к груди Мартина. Он тотчас наклонил голову, и Руфь потянулась губами к его губам.

Должно быть, это любовь, подумала она в единственный миг, когда еще способна была подумать. Какой стыд, если это не любовь. Да нет, конечно же, любовь. И она еще крепче прижалась к нему, прильнула всем телом. И почти сразу чуть высвободилась из его объятий, порывисто, ликующе обвила руками загорелую шею. Острая сладкая боль пронзила ее, боль любви, утоленного желания; глухо застонав, она разжала руки, и почти в обмороке сникла в объятиях Мартина.

До сих пор ни слова не было сказано, и еще долго они не говорили ни слова. Дважды Мартин наклонялся и целовал ее, и оба раза она робко отвечала поцелуем и счастливо приникала к нему всем телом. Она льнула к нему, не в силах оторваться, а он бережно, легко поддерживал ее и невидящими глазами смотрел на смутные очертания огромного города по ту сторону залива. В кои-то веки никакие образы не теснились у него в мозгу. Только пульсировали краски и огни, и отблески, жаркие, как этот день, жаркие, как его любовь. Он наклонился к Руфи. Она нарушила молчание.

— Когда вы полюбили меня? — прошептала она.

— С самого начала, с первой минуты, как только вас увидел. Влюбился до безумия, и чем дальше, тем отчаянней любил. А сейчас люблю безумно, как никогда, Руфь, милая. Я просто помешался, голова кругом идет от радости.

У нее вырвался долгий вздох.

— Как хорошо, что я женщина, Мартин... милый,— вымолвила она.

Мартин сжимал ее в объятиях опять и опять, потом спросил:

— А вы? Когда вы поняли?

— О, я понимала все время, почти с самого начала.

— Эх я, слепой крот! — воскликнул Мартин с ноткой досады в голосе.— У меня этого и в мыслях не было, пока я вот сейчас... пока я не поцеловал тебя.

— Я не о том.— Руфь чуть отодвинулась, посмотрела на него.— Я хотела сказать, я почти с самого начала знала, что ты любишь меня.

— А ты? — требовательно спросил Мартин.

— Ко мне это пришло так внезапно.— Руфь говорила очень медленно, глаза излучали тепло, трепетное волнение и нежность, легкий румянец проступил и остался на щеках.— Я и не думала об этом до той минуты, когда... когда ты обнял меня. И до той минуты вовсе не думала, что могу выйти за тебя замуж, Мартин. Как ты сумел меня околдовать?

— Сам не знаю,— засмеялся Мартин,— вот если только любовью, я ведь так люблю, можно бы и каменное сердце растопить, не то что живое женское сердце, а у тебя сердце живой женщины.

— Я думала, любовь совсем не такая,— как-то неожиданно вырвалось у Руфи.

— А какая?

— Я думала, все будет иначе.— Руфь заглянула ему в глаза, потом продолжала, потупясь: — Понимаешь, я совсем ничего не знала о любви.

Мартин хотел было опять притянуть ее к себе, но побоялся, не слишком ли он жадничает, и лишь чуть напряглась рука. Но тут же он почувствовал, как Руфь подалась навстречу, и вот она уже опять в его объятиях и опять слились их губы.

— Что скажут мои родные? — вдруг в тревоге спросила Руфь в одну из тех минут, когда Мартин отпускал ее.

— Не знаю. Стоит захотеть, и мы в любую минуту это узнаем.

— А если мама против? Я просто боюсь ей говорить.

— Давай я скажу,— храбро вызвался Мартин.— По-моему, твоей матери я не по вкусу, но я уж сумею завоевать ее симпатию. Тот, кто сумел завоевать тебя, завоюет кого угодно. А если нам это не удастся...

— Да?

— Что ж, у тебя буду я, а у меня — ты. Но я думаю, миссис Морз согласится на наш брак, отказ нам не грозит. Она слишком тебя любит.

— Я не хотела бы разбить ей сердце,— задумчиво сказала Руфь.

Он готов был заверить ее, что материнское сердце разбить не так-то легко, но сказал другое:

— А любовь превыше всего.

— Знаешь, Мартин, иногда ты меня пугаешь. Вот и сейчас я думаю, какой ты теперь, какой был прежде, и мне страшно. Ты должен быть со мной очень, очень добрым. В конце концов, не забудь, я еще девчонка. Я никогда еще не любила.

— Я тоже. Оба мы — дети. И нам выпало редкое счастье, мы оба полюбили впервые — и не кого-нибудь, а друг друга.

— Но этого не может быть! — горячо воскликнула Руфь и порывисто высвободилась из объятий Мартина.— С тобой этого не может быть. Ты был матросом, а говорят, матросы... матросы...

Она осеклась, не договорила.

— Непременно заводят в каждом порту по жене? — подсказал Мартин.— Ты это хотела сказать?

— Да,— еле слышно ответила Руфь.

— Так ведь это не любовь,— убежденно сказал Мартин.— Я бывал во многих портах, а пока в первый раз не увидел тебя, понятия не имел о любви. Ты знаешь, когда я в тот вечер простился и ушел, меня чуть не арестовали.

— Арестовали?

— Да. Полицейский принял меня за пьяного. А я и вправду был пьян... от любви к тебе.

— Но ты сказал, что мы с тобой дети, а я сказала, с тобой этого не может быть, а потом мы отвлеклись.

— Я сказал, что до тебя никогда никого не любил,— ответил Мартин.— Ты моя первая любовь, самая первая.

— Но ведь ты был матросом,— возразила Руфь.

— А это вовсе не мешает мне полюбить тебя первую.

— Но у тебя были женщины... другие женщины...

И к величайшему изумлению Мартина Идена, она разразилась слезами, и потребовалось немало поцелуев и ласки, чтобы утихла эта буря. И все время в памяти Мартина вертелось киплинговское «И знатная леди, и Джуди О'Грэди по сути схожи они».

Так оно и есть, решил он теперь; хотя романы, которые он прочел, и уверили его было в другом. По романам он представлял себе, что в хорошем обществе девушка удостаивает мужчину вниманием только после того, как он, по всем правилам, попросит ее руки. В его-то прежнем окружении никого особенно не смущало, если юноши и девушки добивались близости, покоряли друг друга поцелуями и ласками, но чтобы так же себя вели особы в хорошем обществе, этого он вообразить не мог. И однако романы ошибались. Вот оно, доказательство. Те же прикосновенья и ласки, без слов,

что действуют на девушек из рабочего класса, действуют и на девушек из верхов. Все они из плоти и крови, все по сути схожи; вспомнись ему прочитанный Спенсер, он бы и раньше сообразил. Он держал Руфь в объятиях, успокаивал ее, а сам радовался, что и знатная леди, и Джуди О'Грэди, в сущности, так схожи. Эта простая истина приближала к нему Руфь, делала ее досягаемой. Ее милое тело из той же плоти, что и у всех, и у него самого. Нет преграды их браку. Лишь принадлежность к разным классам разделяет их, а это различие чисто внешнее. Его можно и преодолеть. Мартин как-то читал о рабе, который возвысился и стал императором Рима. А раз так, может и он возвыситься до Руфи. При всей ее чистоте и святости, образованности и неземной красоте души, она по самой природе своей просто женщина, такая же, как Лиззи Конноли и все прочие лиззи конноли. Всего, чего можно ждать от них, можно ждать и от нее. Она способна любить и ненавидеть, пожалуй, даже закатить истерику; и, конечно же, способна ревновать, как ревнует сейчас, все тише всхлипывая напоследок в его объятиях.

— И потом, я старше тебя,— вдруг сказала она, открыв глаза и глядя на него снизу вверх,— на три года.

— Ну нет, ты еще ребенок, по пережитому опыту я старше тебя на сорок лет,— возразил он.

А на самом деле, если говорить о любви, оба они были дети, и как дети наивно и неумело проявляли свою любовь, и это несмотря на ее университетский диплом и звание бакалавра и несмотря на его знакомство с философией и суровый жизненный опыт.

Лучезарный день угасал понемногу, а они сидели и говорили, как свойственно влюбленным, дивясь чуду любви и капризу судьбы, что их свела, твердо убежденные, что любят так, как до них никто никогда не любил. Упорно, опять и опять возвращались они к своим первым впечатлениям друг о друге и тщетно пытались разобраться, что же они чувствуют друг к другу и насколько глубоко это чувство.

Вечернее солнце опускалось в громоздящиеся на западе облака, и небо на горизонте порозовело, и даже в зените сияло тем же теплым светом. Все вокруг затопил, окутал розовый свет, и Руфь запела «Прощай, чудесный день». Пела тихонько, прильнув к его плечу, рука в его руке, сердца отданы друг другу.

ГЛАВА 22

Когда Руфь вернулась домой, миссис Морз тотчас все поняла по ее лицу, тут не требовалось и материнское чутье. Щеки еще горели, яснее слов рассказывая нехитрую повесть, а всего красноре-

чивей были глаза — огромные, сияющие, они со всей несомненностью отражали внутреннее ликование.

— Что случилось? — спросила миссис Морз, дождавшись, когда Руфь легла в постель.

— Ты знаешь? — дрожащими губами спросила Руфь.

Вместо ответа мать обняла ее, ласково погладила по голове.

— Он ничего не сказал,— выпалила Руфь.— Я не хотела, чтобы так случилось, и я ни за что не позволила бы ему сказать... только он и не сказал.

— Но раз не сказал, значит, и случиться ничего не могло, правда?

— А все равно случилось.

— Бог с тобой, детка, что за вздор? — в недоумении спросила миссис Морз.— Право, я не понимаю, о чем ты. Что же все-таки случилось?

Руфь удивленно посмотрела на мать.

— Я думала, ты поняла. Ну вот, мы с Мартином обручились.

Миссис Морз недоверчиво, досадливо засмеялась.

— Нет, он ничего не сказал,— объяснила Руфь.— Он просто любит меня, вот и все. Я удивилась не меньше тебя. Он ни слова не сказал. Просто обнял меня. И... и я потеряла голову. И он целовал меня, и я его целовала. Я не могла удержаться. Просто не могла иначе. И тогда я поняла, что люблю его.

Она замолчала, с надеждой ждала благословляющего поцелуя матери, но миссис Морз холодно молчала.

— Это ужасно, я знаю,— упавшим голосом вновь заговорила Руфь.— Даже не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь. Но я ничего не могла поделать. До той минуты я и вообразить не могла, что я его люблю. И ты, пожалуйста, сама скажи папе.

— Может быть, не стоит говорить папе? Лучше я повидаюсь с Мартином Иденом, побеседую с ним и все ему объясню. Он поймет и освободит тебя от твоего обещания.

Руфь будто пружиной подбросило.

— Нет! нет! — воскликнула она.— Я совсем не хочу освобождаться. Я люблю его, любовь — это чудесно. Я выйду за него... конечно, если вы мне позволите.

— У нас с отцом другие планы, Руфь, детка, нет, нет, мы никого для тебя не выбрали, ничего похожего. Мы только хотим, чтобы твоим мужем стал человек нашего круга, хороший, достойный, истинный джентльмен, которого ты сама выберешь, когда полюбишь его.

— Но я уже люблю Мартина,— печально возразила Руфь.

— Мы бы никак не стали влиять на твой выбор, но ты наша дочь и с подобным замужеством мы примириться не можем. В тебе столько утонченности, нежности, а этот человек даст тебе лишь

вульгарность и неотесанность. Он тебе во всех отношениях не пара. Он не сможет содержать тебя. Мы не так глупы, чтобы мечтать о миллионах, но достаток дело другое, и наша дочь должна выйти замуж за человека, который обеспечит ей хотя бы достаток, а не за искателя приключений без гроша в кармане, за матроса, ковбоя, контрабандиста, бог весть кем он только не был, да еще ко всему у него ветер в голове и ни малейшего чувства ответственности.

Руфь молчала. Мысленно она соглашалась с каждым словом матери.

— Он попусту тратит время на свои писания, старается достичь того, чего достигали лишь немногие люди, и притом с высшим образованием. Тот, кто задумал жениться, должен к женитьбе готовиться. А он? Я уже говорила, и я знаю, ты со мной согласна, он лишен чувства ответственности. А как могло быть иначе? Все матросы такие. Он не научился ни бережливости, ни умеренности. Сколько лет швырял деньгами, это вошло в привычку. Он, разумеется, не виноват, но такова уж его натура. А ты подумала,— сколько лет он вел беспутную жизнь? Это ведь неизбежно! Ты подумала об этом, дочь моя? Ты ведь понимаешь, что значит выйти замуж.

Руфь содрогнулась, прижалась к матери.

— Я думала.— Руфь надолго умолкла. Для ее мысли не сразу нашлись подходящие слова.— Это ужасно. Думать об этом неприятно. Я сказала тебе, это страшное несчастье, что я его полюбила, но я ничего не могу с собой поделать. Ты могла не полюбить папу? Вот и я так. Что-то есть во мне, в нем... я до сегодняшнего дня и не подозревала... но что-то есть, и от этого я не могу не любить его. Я не собиралась влюбляться в него, но вот видишь, люблю,— докончила Руфь с каким-то робким торжеством.

Они говорили еще долго, и почти ни к чему не пришли, и под конец согласились на том, что подождут некое неопределенное время, ничего не предпринимая.

На том же согласились позднее в тот вечер и миссис Морз с мужем, когда она призналась ему, какой неудачей обернулись ее планы.

— Едва ли могло быть по-другому,— рассудил мистер Морз.— Этот матрос — единственный молодой человек, с которым она постоянно виделась. Должна же она была рано или поздно проснуться, вот и проснулась, а тут как раз этот матрос, единственный молодой человек поблизости, и конечно же, она тотчас в него влюбилась или вообразила, что влюбилась, разницы никакой.

Миссис Морз предпочла не воевать с дочерью, а действовать медленно, исподволь. Времени предостаточно, у Мартина не то положение, чтобы он сейчас мог жениться.

— Пусть видится с ним сколько ей угодно,— посоветовал мистер Морз.— Держу пари, чем лучше она его узнает, тем скорее

разлюбит. И дай ей побольше возможностей для сравнения. Пускай в доме чаще бывает молодежь. Приглашай девушек и молодых людей — пускай у нас бывают самые разные молодые люди, толковые, кто чего-то уже достиг или на пути к этому, люди ее круга, джентльмены. Будет ей наглядная мера для сравнения. Станет ясно и понятно, что он такое. И в конце-то концов, он еще мальчишка, ему всего двадцать один, Руфь тоже еще ребенок. У обоих это ребяческое увлечение, они его перерастут.

На том и порешили. В семействе признали, что Мартин и Руфь помолвлены, но никому о помолвке не сообщили. Надеялись, что в конечном счете это не понадобится. Подразумевалось также, что помолвка будет долгой. Мартина не просили ни устроиться на службу, ни перестать писать. Они не собирались подталкивать его на перемены к лучшему. А все поведение Мартина было на руку его противникам, ибо меньше всего он думал устраиваться на службу.

— Не знаю, одобришь ли ты мой поступок! — сказал он Руфи несколько дней спустя.— Я решил, что жить и столоваться у сестры слишком дорого, теперь буду жить отдельно. Снял маленькую комнатку в Северном Окленде, знаешь, там живет тихий народ, кто ушел на покой и все такое, и я купил керосинку, сам буду на ней готовить.

Руфь безмерно обрадовалась. С особенным удовольствием услышала о керосинке.

— Мистер Батлер тоже так начинал,— сказала она.

Упоминание о сем достойном джентльмене несколько покоробило Мартина, и он продолжал:

— Я наклеил марки на все свои рукописи и опять разослал их в редакции. Сегодня переселяюсь, а завтра начинаю работать.

— Подыскал место! — воскликнула она, и примостилась к нему, и сжала ему руку, и заулыбалась, всем существом выдавая радостное удивление.— И ничего мне не говорил. Что за место?

Мартин покачал головой.

— Я не о той работе, я опять буду писать.— Лицо у Руфи вытянулось, и он поспешно продолжал: — Пойми меня правильно. Теперь я уже не строю никаких воздушных замков. Это трезвый, прозаический, деловой шаг. Это лучше, чем опять идти в море, и денег я заработаю больше, чем можно заработать на любом месте в Окленде, не имея специальности.

Понимаешь, за каникулы, которые я себе устроил, мне многое стало ясно. Я не надрывался до бесчувствия на тяжелой работе и не писал — во всяком случае, для печати. Была только любовь к тебе, да еще я много думал. И кое-что прочел, но это тоже значило думать, читал я главным образом журналы. Я размышлял о себе, о мире, о своем месте в мире, о своих возможностях, о том, сумею

ли завоевать положение, достойное тебя. А кроме того, я читал «Философию стиля» Спенсера и понял многое, что прямо касается меня — вернее, моих сочинений и, в сущности, почти всех сочинений, которые каждый месяц появляются в журналах.

А все вместе—мои мысли, и чтение, и любовь—привело вот к чему: я намерен заделаться литературным поденщиком. Я оставлю пока что шедевры и займусь шутками, злободневными газетными заметками, сенсационными сообщениями, стихотворными фельетонами, юмористическими стишками — всей этой чепухой, на которую, видно, самый большой спрос. Кроме того, существуют специальные агентства, они снабжают газеты материалами и рассказами и всякой мелочью для воскресных приложений. Я могу наловчиться и поставлять им то, что им требуется, и зарабатывать на этом не меньше хорошего жалованья. Иные литераторы, такие, знаешь, свободные художники получают четыреста долларов в месяц, если не пятьсот. Я вовсе не жажду уподобиться этой братии, но я буду зарабатывать вполне достаточно и у меня будет еще вдоволь времени для себя, а ни на какой службе это было бы невозможно. Конечно, у меня будет время для занятий и для настоящей работы. В промежутках между ремесленными поделками я буду пробовать себя в серьезной литературе, буду заниматься и готовиться к серьезному литературному труду. Мне и самому удивительно, какой я уже прошел путь! Поначалу, когда я пробовал писать, мне писать было не о чем, разве что о каких-то пустячных случаях из моей жизни, и я не умел их толком понять и оценить. Ведь мыслей у меня не было... В самом деле не было. Слов для мыслей и то не было. Пережил я немало, но все это оставалось множеством лишенных смысла картинок. А потом я стал набираться знаний и новых для меня слов, и пережитое оказалось уже не просто множеством картин. Все по-прежнему было ярко и зримо, но я еще и научился понимать то, что вижу. Вот тогда я и начал писать по-настоящему, «Приключение», «Радость», «Выпивка», «Вино жизни», «Толчея», любовный цикл и «Голоса моря» — это настоящее. Я напишу и еще такое и лучше, но писать буду в свободное время. Теперь я больше не витаю в облаках. Сперва поденщина и заработок, а уж потом шедевры. Я написал вчера вечером полдюжины шуточек для юмористических еженедельников, просто чтобы показать тебе, а когда собрался спать, мне вдруг вздумалось на пробу написать триолет, тоже шуточный, и за час я их сочинил четыре. Оплачивают их, должно быть, по доллару за штуку. Четыре доллара за то, что пришло в голову перед сном.

Этому, конечно, грош цена, работенка скучная и дрянная, но не скучней и не дрянней, чем корпеть над бухгалтерскими книгами за шестьдесят долларов в месяц — до самой смерти складывать

колонки бессмысленных цифр. И потом, эта писанина все же както связана с литературой и оставляет мне время писать настоящее.

— Но что пользы писать настоящее, эти твои шедевры? — требовательно спросила Руфь.— Ты ведь не можешь их продать.

— Ну нет, могу,— начал Мартин, но Руфь его перебила:

— Вот ты назвал все эти вещи, ты считаешь их хорошими, но ведь ни одну не напечатали. Нельзя нам пожениться и жить на шедевры, которые не продаются.

— Тогда мы поженимся и станем жить на триолеты, они-то будут продаваться,— храбро заверил он, обнял любимую и притянул к себе, однако Руфь осталась холодна.

— Вот послушай,— с напускной веселостью продолжал Мартин.— Не искусство, зато доллар.

Отлучился я кстати,
А ко мне между тем
Заявился приятель,
Думал денег занять он—
И напрасно совсем:
Он явился некстати
И отбыл ни с чем [1].

Веселенький ритм этих стишков никак не вязался с унынием, которое проступило на лице Мартина, когда он кончил. Вызвать улыбку у Руфи ему не удалось. Она смотрела на него серьезно, с тревогой.

— Может быть, это и доллар,— сказала она,— но это доллар шута, плата клоуну в цирке. Неужели ты не понимаешь, Мартин, для тебя это унизительно. Я хочу, чтобы человек, которого я люблю и уважаю, занимался чем-то более достойным и утонченным, чем сочинение шуточек и жалких виршей.

— Ты хочешь, чтобы он походил... допустим, на мистера Батлера? — подсказал Мартин.

— Я знаю, что ты не любишь мистера Батлера...

— Мистер Батлер человек как человек,— прервал Мартин.— Мне только не нравится, что у него несварение желудка. Но хоть убей, не вижу разницы, сочинять ли шуточки и забавные стишки или печатать на машинке, писать под диктовку и вести конторские книги. Все это средства, не цель. По-твоему, я должен начать со счетовода, чтобы потом стать преуспевающим адвокатом или коммерсантом. Я же хочу начать с литературной поденщины, а затем стать настоящим писателем.

— Разница есть,— настаивала Руфь.

— Какая же?

— Так ведь твои хорошие работы, те, которые ты сам счита-

[1] Стихи здесь и далее в переводе Н. Галь.

ешь хорошими, ты не можешь продать. Ты пытался, сам знаешь, но редакторы их не покупают.

— Руфь, милая, дай мне время,— взмолился он.— Ремесленная работа — это же ненадолго, я не отношусь к ней серьезно. Дай мне два года. За это время я добьюсь успеха, и редакторы будут рады купить мои настоящие работы. Я знаю, что говорю, я верю в себя. Я знаю, на что способен, знаю теперь и что такое литература, знаю, какую труху поставляют изо дня в день бездарные щелкоперы,— и знаю, что через два года выйду на прямую дорогу к успеху. А дельцом мне не стать, коммерсант из меня никакой. Не по душе мне это. По-моему, все это — скучное, тупое, мелочное торгашество, путаница и обман. Да что говорить, не гожусь я для этого. Дальше конторщика я не продвинусь, а конторщик получает гроши, какое тогда у нас с тобой может быть счастье? Я хочу, чтобы у тебя было все самое лучшее на свете, и откажусь от этого только во имя чего-то, что будет еще лучше. И я непременно добьюсь этого, добьюсь всего самого лучшего. Рядом с доходом преуспевающего писателя деньги мистера Батлера — просто мелочь. Нашумевшая книга приносит от пятидесяти до ста тысяч долларов,— иногда больше, иногда меньше, но, как правило, примерно столько.

Руфь молчала, она была явно разочарована.

— Ну как? — спросил Мартин.

— Я надеялась и рассчитывала на другое. Я думала и продолжаю думать, что тебе лучше всего изучить стенографию — на машинке ты печатать умеешь — и пойти служить в контору к папе. Ты очень способный, и я уверена, из тебя выйдет превосходный адвокат.

ГЛАВА 23

Оттого что Руфь не верила в него как писателя, она ничего не утратила в его глазах. За эти каникулы — короткую передышку, которую он себе позволил, Мартин немало часов разбирался в своих мыслях и чувствах и потому многое узнал о себе. Он понял, что красота ему милее славы, а славы он ищет главным образом из-за Руфи. Именно ради нее жаждет он славы. Он хочет стать знаменитостью, «преуспеть», как он это назвал,— чтобы любимая могла им гордиться, сочла его достойным себя.

Сам же он страстно любил красоту, и радость, которую получал, служа ей, была ему достаточной платой. А еще, превыше красоты, он любил Руфь. Нет на свете ничего прекраснее любви, думал он. Любовь — это она совершила в нем переворот, неотесанного матроса пристрастила к книгам, сделала его художником, и оттого для Мартина она была прекрасней и выше учения, прекрас-

пей и выше занятий искусством. Он уже заметил, что мыслит глубже и шире, чем Руфь, чем Норман с Артуром и их отец. Несмотря на все преимущества университетского образования, вопреки ее званию бакалавра искусств он превзошел ее в силе интеллекта, и умственный багаж, который он накопил примерно за год самоучкой, позволил ему теперь так глубоко разбираться в мире, в искусстве и в жизни, как Руфь и мечтать не могла.

Все это Мартин понимал, но это никак не мешало ни его любви к Руфи, ни ее любви к нему. Слишком прекрасна, слишком благородна любовь, слишком он ей верен, чтобы запятнать свое чувство, осуждая за что-то любимую. Не все ли равно для любви, что Руфь по-иному смотрит на искусство, на то, как следует себя вести, на Французскую революцию, на избирательные права для женщин? Это все детища ума, а любовь не знает логики, она выше разума. Не может он принижать любовь. Он боготворит ее. Любовь пребывает на вершинах, над долинами разума. Это существованье возвышенное, венец бытия, и редкому человеку она дается. Философы-позитивисты, чье учение Мартин предпочитал другим, разъяснили ему биологический смысл любви, и, продолжая цепь их тончайших научных рассуждений, он пришел к мысли, что в любви человеческий организм достигает высшей цели своего существования, в любви не до́лжно сомневаться, ее надо принимать от жизни как величайшую награду. Блажен, кто любит, больше всех живущих дано ему, и радостно было думать о «без памяти влюбленном», что пренебрегает всем земным — богатством, и здравомыслием, общественным мнением и рукоплесканьями и даже самой жизнью и «все отдает за поцелуй».

Многое из этого Мартин успел продумать прежде, кое-что продумал потом. Между тем он работал, не оставляя себе времени на отдых, за исключением часов, что проводил с Руфью, и жил поспартански. Два с половиной доллара он платил за комнатушку, которую снимал у португалки Марии Сильва, вдовы, лихой бабы, она тяжело трудилась, а нрав у нее был и того тяжелей, и ухитрялась с грехом пополам прокормить целую ораву ребятишек, а горе и усталость порой заливала дешевым некрепким вином — брала галлон за пятнадцать центов в погребке на углу. Поначалу Мартин возненавидел эту бабу и ее сквернословие, но глядя, как мужественно она борется с нищетой, стал ею восхищаться. В домишке было четыре комнаты считая кухню; когда въехал Мартин, осталось три. Одна, гостиная,— веселая от пестрого половика из крашеной пряжи, но и печальная от карточки с извещением о похоронах и от фотографии одного из многочисленных умерших Мариных младенцев в гробу — предназначалась только для приема гостей. Шторы в ней всегда были спущены, а Марииной босоногой команде строго-настрого заказано было ступать в эти священные

пределы, кроме особо торжественных случаев. Стряпала она в кухне, там же все ели, там она еще и стирала, крахмалила и гладила всю неделю напролет, кроме воскресенья, ибо основной доход ей приносила стирка на более состоятельных соседей. Оставалась спальня, такая же крохотная, как комнатушка Мартина, и там теснились и ночевали сама Мария Сильва и семеро детишек. Мартин не уставал дивиться этому чуду — как они там умещаются. Каждый вечер из-за тонкой перегородки ему слышно было во всех подробностях, как они укладываются, визжат, и ссорятся, и тихонько щебечут, и сонно чирикают, будто пичуги. Другим источником дохода Марии были коровы, она держала двух, утром и вечером доила, а днем они незаконно добывали себе пропитание — щипали травку на пустырях и по обочинам тротуаров, всегда под охраной одного или нескольких ее оборванных мальчишек, причем главная забота пастушат была устеречь коров от фараона.

В своей комнатушке Мартин жил, спал, занимался, писал и вел хозяйство. У единственного окна, что выходило на крыльцо, стоял кухонный столик, служивший Мартину и письменным столом, и библиотекой, и столом для пишущей машинки. Кровать у стены напротив занимала три четверти комнаты. Возле стола с одного края стоял дрянной комод, сработанный лишь бы продать, а вовсе не для удобства владельца, и от него что ни день отщеплялась фанеровка. Стоял он в углу, а в противоположном углу, по другую сторону стола, была кухня: керосинка на ящике из-под крупы, в ящике тарелки и кухонная утварь, над ними на стене полка для провизии, на полу ведро с водой. Воду приходилось носить из кухни, в комнате крана не было. В дни, когда Мартин стряпал, поднималось много пара и комод лущился вовсю. Над кроватью Мартин подвесил к потолку велосипед. Сперва хотел держать его в подвале, но босоногое племя Сильва разболтало подшипники, проткнуло шины и вытащило его на улицу. Тогда Мартин попробовал пристроить его на крылечке, но поднялся юго-восточный ветер и всю ночь машина мокла под дождем. И пришлось Мартину отступить и подвесить велосипед у себя под потолком.

В тесном стенном шкафу хранилась одежда и книги, которые скопились у Мартина и которым уже не хватало места ни на столе, ни под столом. Читая, Мартин привык делать заметки, да такие подробные, что в комнатушке уж вовсе было бы не повернуться, не придумай он развешивать их на бельевых веревках, которые протянул в несколько рядов. Но и так комната была слишком забита, и скоро он уже с трудом лавировал в ней. Дверь можно было отворить, только если закроешь дверцу стенного шкафа, и vice versa [1]. Пересечь комнату по прямой было невозможно. От двери к

[1] Наоборот *(лат.)*.

изголовью кровати приходилось идти зигзагами, поминутно меняя курс, и в темноте он всякий раз на что-нибудь натыкался. Справившись с дверями и дверцами, надо было круто свернуть вправо, не то своротишь кухню. Потом он брал влево, чтобы не наскочить на изножье кровати, но стоило отклониться чуть больше и наткнешься на угол стола. Ловко извернувшись, удавалось миновать угол и, держась правой стороны, пройти по своеобразному каналу, правым берегом которого была кровать, а противоположным — стол. Когда перед столом на обычном месте стоял единственный стул, канал оказывался несудоходным. Когда стул был не нужен, Мартин ставил его вверх ножками на кровать, но иной раз, стряпая, сидел на стуле и читал, пока закипит вода, ухитрялся даже прочесть абзац-другой, пока жарилось мясо. И так мал был кухонный угол, что, сидя на стуле, Мартин мог достать все, что требовалось для стряпни. В сущности, стряпать сидя было удобно, стоя же он нередко заслонял себе свет.

Здоровый желудок Мартина способен был переварить все что угодно, да еще он умел готовить различные кушанья, питательные и притом дешевые. В его меню чаще всего входил гороховый суп, а также картошка и крупная коричневая фасоль, которую он готовил на мексиканский лад. Рис, приготовленный так, как не умели и вовек бы не научились готовить американские хозяйки, он ел по меньшей мере раз в день. Сушеные фрукты стоили дешевле свежих. Мартин постоянно варил их, и они всегда были под рукой и шли с хлебом вместо масла. Изредка он позволял себе побаловаться бифштексом или суповой косточкой. Кофе пил дважды в день, без молока и сливок, а вечером заменял его чаем; но и то и другое приготовлено было отменно.

Приходилось быть поэкономнее. Каникулы поглотили почти все, что Мартин заработал в прачечной, а свои поделки он заслал так далеко, что ответов из редакций можно было ждать не раньше, чем через несколько недель. За исключением тех часов, когда он встречался с Руфью или накоротке навещал свою сестру Гертруду, он жил затворником и успевал сделать за день столько, что всякий другой потратил бы на это не меньше трех дней. Спал он всего пять часов и работал изо дня в день по девятнадцать часов, выдержать такое можно было только при его железном здоровье. Он не терял ни единой минуты. К зеркалу прикреплял листки, где выписаны были новые слова, их значения и произношение: бреясь, одеваясь, причесываясь, он их заучивал. Такие же списки вывешивал на стене над керосинкой и тоже учил их, пока стряпал или мыл посуду. Списки постоянно менялись. Каждое незнакомое или не совсем понятное слово, встреченное в книге, Мартин тотчас выписывал, а когда их набиралось достаточно, печатал список и прикреплял к зеркалу или к стене. Он и в кармане носил такие листки

и порой просматривал на улице или пока ждал в бакалейной или мясной лавке.

Он пошел дальше. Читая преуспевающих авторов, отмечал каждую их удачу, продумывал использованные для этого приемы — приемы повествования, композиции, стиля, мысль, сравнения, остроты; и все это выписывал и продумывал. Он никому не подражал. Он искал принципы. Составлял списки впечатляющих и привлекательных особенностей, потом из множества их, отобранных у разных писателей, выводил какой-то общий принцип и, оснащенный таким образом, обдумывал новые, свои собственные приемы и уже со знанием дела взвешивал, определял и оценивал их. Таким же образом он выписывал яркие выражения, живые разговорные обороты, едкие, точно кислота, или обжигающие, как огонь, фразы, что вдруг попадутся в бесплодной пустыне обыденной речи, пламенеющие, сочные, ароматные. Всегда искал принцип, лежащий за этим и под этим. Он хотел знать, как что сделано, тогда он сможет сделать это сам. Ему мало было видеть прекрасный лик красоты. В тесной своей комнатушке-лаборатории, где кухонный чад смешивался с неистовым шумом и гамом Мариной босоногой команды, он препарировал красоту — препарировал, изучал анатомию красоты,— и приближался к тому, чтобы создавать ее самому.

Так уж он был устроен, мог работать, только понимая, что делает. Не мог он работать вслепую, во тьме, не ведая, что творит, не мог довериться только случаю и счастливой звезде своего гения в надежде создать нечто замечательное и прекрасное. Он хотел понимать, почему и как такое создано. Он творил не стихийно, а обдуманно, рассказ или стихотворение сначала целиком складывались у него в голове и он уже видел конец и сознавал, как напишет все до конца. Иначе попытка была обречена на провал. С другой стороны, ему нравились слова и фразы, которые рождались вдруг, сами собой, а потом выдерживали все испытания на красоту и силу и придавали задуманному невероятные, непередаваемые оттенки. Перед такими озарениями он склонял голову, восхищался ими, понимая, что они выше, чем любое заранее обдуманное творение. И сколько бы он ни анатомировал красоту в поисках ее основ и законов, он всегда сознавал, что есть еще в красоте сокровеннейшая тайна, в которую он не проник, как не проник еще и никто другой. Он усвоил, читая Спенсера, что человеку никогда не познать до конца суть вещей и явлений и что тайна красоты не менее глубока, чем тайна жизни, да нет, глубже, знал, что красота и жизнь нераздельно сплетены друг с другом и что сам он лишь одна из нитей той же непостижимой ткани, где сплелись солнечный свет, и звездная пыль, и неведомое чудо.

Полный этими мыслями, он и написал эссе «Звездная пыль» — резкий выпад не против основ критики, но против основных, ве-

дущих критиков. Написал блестяще, с философской глубиной и с тонкой иронией. И куда бы Мартин ни посылал эти страницы, все журналы незамедлительно их отвергали. Но Мартин, освободясь от мыслей на эту тему, невозмутимо пошел дальше своей дорогой. Когда он вынашивал какую-нибудь мысль и она созревала, он тотчас кидался к машинке, это вошло в привычку. А что написанному не доводилось увидеть свет, мало его трогало. Важнее всего написать — и тем самым завершить долгую цепь раздумий, связать воедино нити разрозненных мыслей, окончательно обобщить факты, которые обременяли мозг. Написать статью — значило осознанным усилием освободить голову для свежих фактов и мыслей. Было это сродни привычке людей, угнетенных подлинными или воображаемыми горестями, время от времени нарушать долгое мучительное молчание и «отводить душу», выкладывая все до последнего слова.

ГЛАВА 24

Проходили недели. Деньги у Мартина почти иссякли, а чеков от издателей так и не было. Все важнейшие рукописи вернулись назад и отправлены вновь, и участь поделок ничуть не лучше. Он уже не стряпал разнообразные блюда. У него только и оставалось что неполный мешок рису и немного сухих абрикосов, и пять дней подряд он трижды в день готовил один лишь рис да абрикосы. Потом началась жизнь в кредит. Бакалейщик-португалец, которому он до сих пор платил наличными, перестал отпускать провизию, когда долг Мартина достиг огромной суммы в три доллара восемьдесят пять центов.

— Видишь, какая штука,— сказал бакалейщик,— ты не найти работа, плакать моя деньги.

И Мартину нечего было ответить. Ничего тут не объяснишь. Так дело не делается — давать в кредит здоровущему рабочему парню, которому лень работать.

— Ты найти работа, я опять давать еда,— заверил Мартина бакалейщик.— Нет работа, нет еда. Дело есть дело.— И потом, чтобы показать, что суть именно в деловой предусмотрительности, а против Мартина он ничего не имеет, предложил: — Ты выпить стаканчик, я угощать, ведь мы оставаться друзья.

И Мартин запросто выпил в знак, что они остаются друзьями, и лег спать без ужина.

В зеленной, где Мартин покупал овощи, лавочник-американец вел дело куда менее строго и отказал в кредите, когда Мартин ему задолжал целых пять долларов. Булочник остановился на двух долларах, а мясник на четырех. Мартин подсчитал свои долги, и

оказалось, у него и кредиту всего-то в общей сложности на четырнадцать долларов восемьдесят пять центов. Пора уже платить за пользование машинкой, но он рассчитал, что два месяца с этим можно подождать, это составит еще восемь долларов. И уж тогда весь возможный кредит будет исчерпан.

В зеленной лавке под конец куплен был мешок картошки, и неделю Мартин питался одной картошкой, трижды в день картошка и больше ничего. Случайный обед у Руфи помогал еще продержаться, хотя было истинным мученьем отказываться от всяческой снеди, когда изобилие разносолов на столе чуть не сводило с ума. Преодолевая стыд, он нет-нет да и наведывался к сестре в часы обеда и там ел, сколько хватало смелости, во всяком случае больше, чем позволял себе за столом у Морзов.

День за днем он работал, и день за днем почтальон приносил отвергнутые рукописи. Денег на марки не осталось, и рукописи эти громоздились под столом. Как-то у него сорок часов не было во рту ни крошки. Он не мог надеяться перекусить у Руфи, она на две недели уехала погостить в Сан-Рафаэль, а пойти к сестре не давал стыд. В довершение всех бед почтальон, разнося дневную почту, выложил Мартину сразу пять отвергнутых рукописей. Тогда-то Мартин и отправился в Окленд, надев пальто, а вернулся без него, зато в кармане позвякивали пять долларов. Он заплатил по доллару каждому из лавочников и у себя в кухне поджарил мясо с луком, сварил кофе и в большой кастрюле потушил чернослив. Пообедав, он сел за письменный стол и к полуночи закончил статью под названием «О пользе ростовщичества». Допечатал ее и швырнул под стол — купить марки было не на что, от пяти долларов не осталось ни цента.

Потом он заложил часы, а там и велосипед и, урезав расход на еду, купил марок, наклеил на все рукописи и сызнова их разослал. Ремесленная работа его разочаровала. Никто не желал покупать его поделки. Он сравнил их с теми, что печатались в газетах, в еженедельниках и дешевых журнальчиках, и решил, что его мелочишки лучше среднего уровня, куда лучше,— и однако их не покупали. Потом он узнал, что почти все газеты печатают главным образом материалы, которыми их бесплатно снабжают особые агентства, и раздобыл адрес такого агентства. Посланные туда вещицы он получил обратно вместе со стандартным листком — извещением, что все необходимые материалы поставляют сами сотрудники агентства.

В одном солидном журнале для юношества он увидел множество мелких зарисовок и анекдотов. И решил попытать счастья. Все заметки ему вернули, и хотя он посылал все новые и новые материалы, ни один не напечатали. Много спустя, когда это уже не имело значения, Мартин узнал, что редакторы агентства и их по-

мощники, выгадывая себе надбавку к жалованью, сочиняли такую мелочишку сами. Юмористические еженедельники возвращали его шутки и стишки, а бездумные изящные вирши, предназначавшиеся для услаждения изысканной публики, которые он посылал в толстые журналы, оказывались никому не нужны. Тогда он принялся писать забавные истории для газет. Он знал, он может писать лучше тех, что печатаются. Раздобыл адреса двух агентств печати, поставляющих материалы для газет, и затопил их такими историями. Написал двадцать коротких историй, ни одну не пристроил и забросил это. А ведь изо дня в день он читал такие вот короткие рассказики в газетах и еженедельниках, десятки, чуть не сотни, и ни один гроша ломаного не стоил по сравнению с тем, что писал он. Мартин совсем пал духом, он решил, что ничего не понимает в литературе, что собственная писанина загипнотизировала его, и он зря возомнил о себе невесть что.

Бесчеловечная редакторская машина по-прежнему работала бесперебойно. Он вкладывал в конверт рукопись и марки, опускал в почтовый ящик, и недели через три, через месяц на крыльцо поднимался почтальон и вручал ему рукопись, присланную обратно. Да нет там никаких живых редакторов из плоти и крови. Одни лишь винтики, колесики, хорошо смазанные передачи — хитроумный механизм с автоматическим управлением. Мартин впал в такое отчаяние, что усомнился, существуют ли они вообще, эти самые редакторы, ведь еще ни разу никто из них не подал признаков жизни, а по тому, как упорно, безо всяких критических замечаний отвергалось все им написанное, казалось вполне вероятным, что редакторы — это миф, измышленный и поддерживаемый рассыльными, наборщиками и печатниками.

Часы, проведенные подле Руфи, оставались единственной его радостью, да и они не всегда были радостны. Его неотступно грызла тревога, терзала и мучила сильней, чем в былые дни, когда он еще не завоевал ее любовь — ведь до завоевания любимой было все так же далеко. Он попросил два года, время летело, а он ничего еще не достиг. И его не оставляло сознание, что она не одобряет его занятий. Она не говорила об этом прямо, но косвенно давала это понять так же ясно и определенно, как если бы высказала вслух. Она не возмущалась, нет, но не одобряла; девушка не столь кроткого нрава на ее месте возмущалась бы, она же всего лишь была разочарована. А разочаровалась потому, что человек, которого она намеревалась лепить по своему вкусу, не желал, чтобы его лепили. До какого-то предела он был податлив, как воск, а потом вставал на дыбы, не хотел он, чтобы его перекраивали по образу и подобию ее отца и мистера Батлера.

Того, что было в Мартине сильного и благородного, Руфь не замечала или, еще того хуже, не понимала. Человек, наделенный

такой гибкой натурой, что мог жить в самых неподходящих условиях, казался ей своевольным и чудовищно упрямым, оттого что не могла она приспособить его к своему, единственно ей известному образу жизни. Не дано ей было следовать за полетом его мысли, и когда она не понимала его рассуждения, полагала, что он ошибается. Рассуждения всех окружающих были понятны ей. Она всегда понимала, что говорят мать и отец, братья и Олни, а потому, когда не понимала Мартина, виноватым считала его. То была извечная трагедия — когда ограниченность стремится наставлять на путь истинный ум широкий и чуждый предубеждений.

— Ты свято чтишь ходячие истины, все, что общепринято и общепризнано,— сказал однажды Руфи Мартин, когда они заспорили о Прапсе и Вандеруотере.— Согласен, чтобы цитировать, они куда как хороши — два самых видных критика в Соединенных Штатах. Каждый школьный учитель в Америке смотрит на Вандеруотера снизу вверх как на главу американской критики. Однако я читал его писанину, и мне кажется, это образец бессмысленного краснобайства. Да ведь он — спасибо Джилетту Берджесу — попросту банален и смертельно скучен. И Прапс не лучше. Его «Ядовитые мхи» прекрасно написаны. Все запятые на местах, а тон — ну до чего величественный, до чего же величественный. Ему платят больше всех критиков в Америке, хотя — прости меня боже — никакой он не критик. В Англии уровень критики много выше.

Но эти двое изрекают то, что думает публика, и притом изрекают так красиво, так нравственно, так самодовольно — вот где собака зарыта. Их рецензии благонравны как воскресенье в Англии. Они — рупор общественного мнения. Они поддерживают преподавателей языка и литературы, а те поддерживают их. И ни у одного из них не откопаешь ни единой своеобычной мысли. Они признают только общепринятое — в сущности, они и есть общепринятое. Они не блещут умом, и общепринятое прилипает к ним так же легко, как ярлык пивного завода к бутылке пива. И роль их заключается в том, чтобы завладеть молодыми умами, студенчеством, загасить в них малейший проблеск самостоятельной оригинальной мысли, если такая найдется, и поставить на них штамп общепринятого.

— Мне кажется,— возразила Руфь,— придерживаясь общепринятого, я ближе к истине, чем ты, когда ты ополчаешься на все это, словно дикарь с островов Южного моря.

— Все святыни сокрушили сами миссионеры,— со смехом возразил Мартин.— И к несчастью, все миссионеры отправились к язычникам, и дома теперь некому сокрушать авторитеты мистера Вандеруотера и мистера Прапса.

— А заодно и преподавателей колледжей,— прибавила Руфь.

Мартин решительно покачал головой.

— Нет, преподаватели естественных наук пускай остаются. Это поистине замечательный народ. А вот девяти десятым филологов и лингвистов, этим безмозглым попугайчикам, очень бы полезно проломить головы.

Это было довольно жестоко по отношению к преподавателям словесности, а для Руфи прозвучало святотатством: Не могла она не сравнивать преподавателей, подтянутых, эрудированных, в хорошо сидящих костюмах, с хорошо поставленными голосами, в ореоле культуры и утонченности,— с этим невозможным юнцом, которого она почему-то любит, хотя костюм никогда не будет сидеть на нем хорошо, его выпирающие мускулы свидетельствуют о тяжком труде, в разговоре он горячится, спокойные доказательства подменяет бранью, а невозмутимое самообладание пылкими возгласами. Те, по крайней мере, хорошо зарабатывают и они джентльмены — да, да, она вынуждена в этом признаться,— а он не может заработать ни гроша, и, конечно же, он отнюдь не джентльмен.

Она не взвешивала слов Мартина, не вдумывалась, доказательны ли они. Пришла к убеждению, что он неправ, исходя — правда неосознанно — из сопоставлений чисто внешних. Профессора и преподаватели правы в своих суждениях о литературе, потому что они сделали карьеру. Суждения Мартина о литературе ошибочны, потому что он не мог продать плоды своих трудов. Говоря словами Мартина, они преуспели, а он — нет. Да и странно было бы, чтобы он оказался прав,— он, который еще так недавно стоял в этой самой гостиной, пунцовый от смущения, неуклюже здоровался с теми, кому его представляли, со страхом озирался по сторонам, как бы, раскачиваясь на ходу, не задеть плечом какую-нибудь безделушку, спрашивал, давно ли помер Суинберн, и хвастливо заявлял, что читал «Эксцельсиор!» и «Псалом жизни».

Сама того не сознавая, Руфь подтвердила слова Мартина, что она преклоняется перед общепринятым. Мартину был внятен ход ее мыслей, но он воздержался от дальнейшего спора. Не за ее отношение к Прапсу, Вандеруотеру и к преподавателям английской словесности он любил Руфь и уже начинал понимать и все больше убеждался, что иные предметы его размышлений и области знания, доступные и открытые ему, для нее не только книга за семью печатями, но она даже и об их существовании не подозревает.

Руфь полагала, что он ничего не смыслит в музыке, а, говоря об опере,— умышленно все ставит с ног на голову.

— Тебе понравилось? — однажды спросила она Мартина, когда они возвращались из оперы.

В тот вечер он повел ее в оперу, ради чего весь месяц жестоко экономил на еде. Напрасно ждала она, чтобы он заговорил о своих

«Мартин Иден»

«Мартин Иден»

впечатлениях, и наконец, глубоко взволнованная увиденным и услышанным, сама задала ему этот вопрос.

— Мне понравилась увертюра,— ответил он.— Это было великолепно.

— Да, конечно, но сама опера?

— Тоже великолепно, я имею в виду оркестр, хотя я получил бы куда больше удовольствия, если бы эти марионетки молчали или вовсе ушли со сцены.

Руфь была ошеломлена.

— Надеюсь, ты не о Тетралани и не о Барильо? — недоверчиво переспросила она.

— Обо всех о них,— обо всей этой компании.

— Но ведь они великие артисты,— возразила Руфь.

— Ну и что? Своими ужимками и кривляньем они только мешали слушать музыку.

— Но неужели тебе не понравился голос Барильо? — спросила Руфь.— Говорят, он первый после Карузо.

— Конечно, понравился, а Тетралани и того больше. Голос у нее прекраснейший, по крайней мере так мне кажется.

— Но, тогда, тогда...— Руфи не хватало слов.— Я тебя не понимаю. Сам восхищаешься их голосами, а говоришь, будто они мешали слушать музыку.

— Вот именно. Я бы многое отдал, чтобы послушать их в концерте, и еще того больше отдал, лишь бы не слышать их, когда звучит оркестр. Боюсь, я безнадежный реалист. Замечательные певцы отнюдь не всегда замечательные актеры. Когда ангельский голос Барильо поет любовную арию, а другой ангельский голос — голос Тетралани — ему отвечает, да еще в сопровождении свободно льющейся блистательной и красочной музыки — это упоительно, поистине упоительно. Я не просто соглашаюсь с этим. Я это утверждаю. Но только посмотришь на них, и все пропало — Тетралани ростом метр три четверти без туфель, весом сто девяносто фунтов, а Барильо едва метр шестьдесят, черты заплыли жиром, грудная клетка точно у коренастого кузнеца-коротышки, и оба принимают театральные позы, и прижимают руки к груди или машут ими, как помешанные в сумасшедшем доме; и все это должно означать любовное объяснение хрупкой красавицы-принцессы и мечтательного красавца принца — нет, не верю я этому, и все тут. Чепуха это! Нелепость! Неправда! Вот и все. Это неправда. Не уверяй меня, будто хоть одна душа в целом свете вот так объясняется в любви. Да если бы я посмел вот так объясниться тебе в любви, ты бы дала мне пощечину.

— Но ты не понимаешь,— возразила Руфь.— Каждое искусство по-своему ограниченно. (Она торопливо вспоминала слышанную в университете лекцию об условности искусства.) В живопи-

си у холста только два измерения, но мастерство художника позволяет ему создать на полотне иллюзию трех измерений, и ты принимаешь эту иллюзию. То же самое и в литературе — писатель должен быть всемогущ. Ты ведь согласишься с правом писателя раскрывать тайные мысли героини, хотя прекрасно знаешь, что героиня думала обо всем этом наедине с собой, и ни автор, ни кто другой, не могли подслушать ее мысли. Так же и в театре, в скульптуре, в опере, во всех видах искусства. Какие-то противоречия неизбежны, их надо принимать.

— Ну да, понимаю,— ответил Мартин.— В каждом искусстве свои условности. (Руфь удивилась, что он так к месту употребил это слово. Можно было подумать, будто и он окончил университет, а не нахватался случайных знаний из книг, взятых наудачу в библиотеке.) Но даже условности должны быть правдивы. Деревья, нарисованные на картоне и поставленные по обе стороны сцены, мы принимаем за лес. Это достаточно правдивая условность. Но, с другой стороны, морской пейзаж мы не примем за лес. Не сможем принять. Это насилие над нашими чувствами. Так и ты не можешь, вернее, не должна была принять это неистовство, и кривлянье, и мучительные корчи двух помешанных за убедительное изображение любви.

— Но не думаешь же ты, что разбираешься в музыке лучше всех авторитетных ценителей? — возразила Руфь.

— Нет-нет, у меня и в мыслях этого не было. Просто я вправе иметь собственное мнение. Я старался тебе объяснить, почему слоновья резвость госпожи Тетралани мешает мне насладиться оркестром. Ценители музыки во всем мире, может быть, и правы. Но я-то чувствую по-своему и не желаю подчинять свой вкус единодушному мнению всех на свете ценителей. Если мне что-то не нравится, значит, не нравится, и все тут; так с какой стати, спрашивается, я стану делать вид, будто мне это нравится, только потому, что большинству моих соплеменников это нравится или они воображают, что нравится. Не могу я что-то любить или не любить по велению моды.

— Но, видишь ли, музыка требует подготовки,— не соглашалась Руфь,— а опера тем более. И может быть...

— Может быть, я не подготовлен к тому, чтобы слушать оперу? — перебил Мартин.

Руфь кивнула.

— Это верно,— согласился он.— И надо думать, мне очень повезло, что меня туда не водили с детства. А водили бы, и сегодня вечером я бы растрогался и прослезился, и клоунское кривлянье драгоценной парочки только еще прибавило бы красоты их голосам и оркестровому сопровождению. Ты права. Дело главным образом в подготовке. А я уже вырос из пеленок. Мне требуется или

правда или ничего. Иллюзия, которая не убеждает, это явная ложь, и когда коротышка Барильо, распалясь, страстно стискивает в объятиях великаншу Тетралани, тоже охваченную страстью, и поет ей о своей несравненной любви, я вижу в этом только ложь.

И опять Руфь мерила мысли Мартина, исходя из сопоставлений чисто внешних, в согласии со своей верой в общепринятое. Кто он таков, чтобы он оказался прав, а весь культурный мир не прав? Она попросту не воспринимала ни слов его, ни мыслей. Слишком прочно в ней укоренилось все общепринятое, чтобы сочувствовать его бунтарским взглядам. Она с самого детства слушала музыку, с самого детства любила оперу, и в ее окружении все любили оперу. Так по какому же праву приходит Мартин Иден, который еще недавно только и слышал регтаймы да простонародные песенки, и судит о великой музыке? Руфь сердилась на него, и сейчас, идя рядом с ним, чувствовала себя оскорбленной. В лучшем случае, если уж быть очень снисходительной, она, пожалуй, готова счесть его утверждения капризом, нелепой и неуместной выходкой. Но когда у дверей ее дома он на прощанье обнял ее и нежно, влюбленно поцеловал, она все забыла в приливе любви к нему. И потом, в постели, никак не могла уснуть и сама себе удивлялась, не впервые за последнее время, как это она полюбила такого странного человека, и еще несмотря на неодобрение родных.

А назавтра Мартин Иден отложил ремесленную работу и в один присест отстучал эссе, которое назвал «Философия иллюзии». Наклеил марку, и рукопись отправилась в путь, но в последующие месяцы для нее потребовалось еще много марок и много раз суждено ей было пускаться в путь.

ГЛАВА 25

Мария Сильва была бедна и отлично знала все приметы бедности. Для Руфи слово «бедность» обозначало существование, лишенное каких-то удобств. Тем и ограничивалось ее представление о бедности. Она знала, что Мартин беден, и это связывалось для нее с юностью Линкольна, мистера Батлера и многих других, кто потом добился успеха. К тому же, сознавая, что бедным быть не сладко, она, как истая дочь среднего сословия, преспокойно полагала, будто бедность благотворна — подобно острой шпоре, подгоняет по пути к успеху всех и каждого, кроме безнадежных тупиц и вконец опустившихся бродяг. И потому, когда она узнала, что безденежье заставило Мартина заложить часы и пальто, она не встревожилась. Ее это даже обнадежило, значит, рано или поздно он поневоле опомнится и вынужден будет забросить свои писания.

Руфь не видела по лицу Мартина, что он голодает, хотя он

осунулся, похудел, а щеки, и прежде впалые, запали еще больше. Перемены в его лице ей даже нравились. Ей казалось, это облагородило его, не стало избытка здоровой плоти и той животной силы, что одновременно и влекла ее, и отталкивала. Иногда она замечала необычный блеск его глаз и радовалась, ведь такой он больше походил на поэта и ученого — на того, кем хотел быть, кем хотела бы видеть его и она. Но Мария Сильва читала в его запавших щеках и горящих глазах совсем иную повесть, день за днем замечала в нем перемены, по ним узнавала, когда он без денег, а когда с деньгами. Она видела, как он ушел из дому в пальто, а вернулся раздетый, хотя день был холодный и промозглый, и сразу приметила, когда голодный блеск в глазах потух и уже не так западают щеки. Заметила она и когда не стало часов, а потом велосипеда, и всякий раз после этого у него прибывало сил.

Видела она и как не щадя себя он работает и по расходу керосина знала, что он засиживается за полночь. Работа! Мария понимала, он работает еще побольше, чем она сама, хотя работа его и другого сорта. И ее поразило открытие: чем меньше он ест, тем усиленней работает. Бывало, приметив, что он уже вовсе изголодался, она как бы между прочим посылала ему с кем-нибудь из своей ребятни только что испеченный хлеб, смущенно прикрываясь добродушным поддразниванием — тебе, мол, такой не испечь. А то пошлет с малышом миску горячего супу, а в душе спорит сама с собой, вправе ли обделять родную плоть и кровь. Мартин был ей благодарен, ведь он доподлинно знал жизнь бедняков и знал, уж если существует на свете милосердие, так это оно и есть.

Однажды, накормив свой выводок тем, что оставалось в доме, Мария истратила последние пятнадцать центов на бутыль дешевого вина. Мартин как раз зашел в кухню за водой, и она пригласила его выпить. Он от души выпил за ее здоровье, а она в ответ — за его. Потом она выпила за успех в его делах, а он — за то, чтобы Джеймс Грант все-таки объявился и заплатил ей за последнюю стирку. Джеймс Грант плотничал поденно, платил не очень исправно и задолжал Марии три доллара.

Оба, и Мария и Мартин, пили кислое молодое вино на голодный желудок, и оно тотчас ударило в голову. Такие во всем разные, они равно были одиноки в своей обездоленности, и, хотя обходили ее молчанием, она-то их и связывала. С изумлением Мария узнала, что он побывал на Азорах, где она жила до одиннадцати лет. И изумилась вдвойне, что он побывал на Гавайских островах, куда она переселилась с Азор вместе с родителями. А когда он сказал, что был на Мауи, на том самом острове, где она рассталась с девичеством и вышла замуж, да не один раз был, а дважды, ее изумлению не было границ. Она познакомилась с будущим своим мужем на Кахулави — Мартин и там был дважды! Да-да, она помнит

пароходы, груженные сахаром, и он на них и плавал — ну и ну, до чего тесен мир. А в Уилуку? Он и там был! Может, и надсмотрщика тамошней плантации знал? А как же, и не один стаканчик с ним опрокинул.

Так они предавались воспоминаниям и заливали голод молодым кислым вином. И Мартину будущее уже не казалось таким тусклым. Перед глазами маячил успех. Вот-вот ухватишь. Потом он вгляделся в изборожденное морщинами лицо сидящей перед ним женщины, замученной тяжким трудом, вспомнил ее супы и только что испеченный хлеб, и жаркая благодарность вспыхнула в нем,— вот бы ее облагодетельствовать!

— Мария! — воскликнул он вдруг.— Чего бы тебе хотелось?

Она поглядела на него озадаченно.

— Что бы тебе хотелось иметь прямо сейчас, сию минуту, если б было можно?

— Обувка всем ребятишкам, семь пар обувка.

— Будет тебе обувка,— провозгласил Мартин, и Мария серьезно кивнула.— Только я про то, что покрупней, есть у тебя желание покрупней?

Глаза у Марии заблестели веселым добродушием. Вон что, шутить с ней вздумал, а ведь с ней нынче мало кто шутит.

— Подумай хорошенько,— предупредил Мартин, когда она уже готова была ответить.

— Ладно,— сказала она.— Я подумал хорошенько. Хочу дом этот мой стал, совсем мой, и не платить аренда семь доллар в месяц.

— Будет тебе этот дом,— пообещал Мартин,— и очень скоро. А теперь скажи самое большое свое желание. Считай, я господь бог, и чего ни пожелаешь, все у тебя будет. Вот теперь говори, я слушаю.

Мария с важностью поразмыслила, спросила не вдруг, предостерегающе:

— Не испугаешься?

— Нет-нет,— засмеялся Мартин.— Не испугаюсь. Давай говори.

— Самый, самый большой,— предостерегла Мария.

— Вот и ладно. Выкладывай.

— Ну, тогда...— Как ребенок, она глубоко вздохнула и выговорила наконец заветнейшее, самое главное в жизни желание.— Я хочу молочный ранчо, хороший молочный ранчо. Много корова, много земля, много трава. Чтоб близко Сан-Леандро. Сан-Леандро мой сестра живет. Буду продавать молоко в Окленд. Будет много деньги. Джо и Ник не пасут корова. Они ходят школа. Время идет, идет, они станут хороший механик, работают железная дорога. Да, вот чего я хотел — молочный ранчо.

Мария замолчала, поглядела на Мартина, глаза ее весело блеснули.

— Будет тебе ранчо,— мигом ответил Мартин.

Мария кивнула, учтиво прикоснулась губами к стакану вина и к дарителю дара, который ей, конечно же, вовек не получить. У Мартина доброе сердце, и она в сердце своем оценила его намерение так высоко, словно ей и вправду достался этот дар.

— Да, Мария,— продолжал Мартин.— Нику и Джо не придется разносить молоко, и все ребятишки пойдут в школу, и круглый год будут обуты. Молочная ферма будет первый сорт, со всем, что полагается. Будет и дом, и конюшня для лошадей, и, конечно, хлев. Будут и куры, и свиньи, и огород, и плодовые деревья, и все такое, и коров хватит, сможешь нанять работника, а то и двух. Тогда тебе делать ничего не придется, только присматривать за детьми. Да что тут говорить, найдется хороший человек, выйдешь замуж и станешь жить припеваючи, а он пускай заправляет делами на ранчо.

И щедро одарив ее из своего грядущего благополучия, Мартин взял свой единственный хороший костюм и отнес в заклад. Только от полной безвыходности он это сделал,— ведь тем самым он отрезал себе дорогу к Руфи. Другого сколько-нибудь приличного костюма у него не было, и хотя в мясную лавку, в булочную, изредка даже к сестре ему было в чем пойти, явиться в такой потрепанной одежде к Морзам нечего было и думать...

Он все писал без роздыха, в упоении, почти потеряв надежду. Ему стало казаться, что и вторая битва проиграна, и придется идти служить. Тогда все будут довольны — бакалейщик, сестра, Руфь, и даже Мария, которой он уже месяц должен за квартиру. За прокат машинки не плачено два месяца, и агентство требует либо денег, либо машинку. В отчаянии, почти готовый сдаться, заключить перемирие с судьбой, пока не соберется с силами для новой битвы, он решил держать экзамены на железнодорожного почтового служащего. К своему удивлению, он прошел первым. Место было обеспечено, но когда откроется вакансия, этого не знал никто.

И как раз теперь, когда положение стало хуже некуда, редакционная машина, всегда работавшая как часы, дала сбой. Выскочил, видно, винтик, или смазка пересохла, а только однажды утром почтальон принес Мартину небольшой тонкий конверт. В левом верхнем углу стоял адрес редакции и название — «Трансконтинентальный ежемесячник». Сердце у него екнуло, он вдруг ощутил слабость, в глазах потемнело, странно задрожали коленки. Спотыкаясь, добрел он до своей комнаты, опустился на кровать, так и не распечатав конверт, и тут понял, как люди падают замертво, получив счастливое известие.

Конечно же, это счастливое известие. Рукописи в таком кон-

вертике нет, значит, она принята к печати. Мартин помнил, какой рассказ посылал в «Трансконтинентальный ежемесячник». «Колокольный звон», один из «страшных» рассказов, и в нем целых пять тысяч слов. А раз первоклассные журналы платят по одобрении, значит, в конверте чек. Два цента за слово — двадцать долларов за тысячу; чек должен быть на сто долларов. Сотня долларов! Вскрывая конверт, он мигом припомнил все свои долги: три доллара восемьдесят пять центов бакалейщику, мяснику ровно четыре, булочнику два, в зеленную пять, итого четырнадцать восемьдесят пять. Потом два пятьдесят за квартиру и еще два пятьдесят за месяц вперед, за два месяца за машинку — восемь долларов и еще за месяц вперед — четыре, итого тридцать один доллар восемьдесят пять центов. И наконец, по закладным плюс проценты ростовщику — часы пять с половиной долларов, пальто пять с половиной, велосипед семь долларов семьдесят пять центов, костюм пять с половиной (шестьдесят процентов ростовщику, но не все ли равно?) — общий итог пятьдесят шесть долларов десять центов. Он прямо видел эту сумму — сто долларов,— словно она была написана в воздухе огненными цифрами, и даже если вычесть все долги, он все равно богач: в кармане сорок три доллара девяносто центов. Да притом будет заплачено за месяц вперед за комнату и за машинку.

Между тем он вытащил из конверта один-единственный отпечатанный на машинке листок — письмо и развернул его. Чека не было. Мартин заглянул в конверт, посмотрел его на свет, но не поверил своим глазам и дрожащими от спешки пальцами разорвал конверт. Чека не было. Он прочел письмо, торопливо промчался глазами по строчкам, бегло просмотрел место, где редактор хвалил рассказ,— скорей, скорей к самой сути — почему не послан чек. Такого объяснения он не нашел, зато нашел нечто, отчего разом сник. Письмо выскользнуло из рук. Глаза потускнели, он откинулся на подушку, натянул на себя одеяло до самого подбородка.

Пять долларов за «Колокольный звон» — пять долларов за пять тысяч слов! Вместо двух центов за слово, десять слов за цент! И ведь редактор похвалил рассказ! А чек он получит, когда рассказ будет напечатан. Значит, это все пустая болтовня, будто платят самое малое два цента за слово, и притом сразу, когда рассказ принят. Это враки, и его попросту провели. Знай он это, он бы и не начинал писать. Он пошел бы работать, работать ради Руфи. Он вспомнил день, когда впервые взялся за перо, и ужаснулся, столько потерял времени — и все ради цента за десять слов. Должно быть, все, что он читал о высоких денежных вознаграждениях писателям, тоже враки. Все эти полученные не из первых рук сведения о писательской профессии неверны, вот оно доказательство.

Номер «Трансконтинентального ежемесячника» стоит двадцать пять центов, а его солидная разрисованная обложка — свидетельство, что это перворазрядный журнал. Достойный, почтенный журнал этот издается давно, с тех пор, когда Мартина и на свете не было. И на обложке каждого номера из месяца в месяц слова одного великого писателя — сия звезда мировой литературы, чьи «блестки» впервые появились на этих самых страницах, возвещает, что «Трансконтинентальный ежемесячник» вдохновенно исполняет высокую миссию. И этот возвышенный, гордый, боговдохновенный ежемесячник платит пять долларов за пять тысяч слов! Великий писатель недавно умер за границей — помнится, в крайней нищете, чему же тут удивляться, если авторам так щедро платят.

Да, он попался на удочку, газеты врали почем зря о писателях и их гонорарах, и он потерял на этом два года. Но теперь он изрыгнет наживку. Больше он вовек не напишет ни строчки. Он сделает то, чего хотела от него Руфь, чего хотели все,— найдет место. Мысль, что надо поступить на службу, напомнила ему о Джо, Джо, который бродяжил и бездельничал в свое удовольствие. Мартин глубоко, с завистью вздохнул. Он так вымотался за долгие дни, когда работал по девятнадцать часов в сутки. Да, но ведь Джо не любил и не было у него тех обязательств, что накладывает любовь, вот он и позволяет себе бездельничать. Ему же, Мартину, есть ради чего работать, и он будет работать. Завтра спозаранку отправится на поиски места. И даст знать Руфи, что исправился и готов служить у ее отца.

Пять долларов за пять тысяч слов, десять слов за цент — вот она, рыночная цена искусства! Какое разочарование, какая ложь, какой позор — он думал об этом непрестанно, а когда закрывал глаза, перед ним вспыхивали огненные цифры — 3 доллара 85 центов, долг бакалейщику. Его пробирала дрожь, болели все кости. Особенно донимала боль в пояснице. Болела голова — темя, затылок, самый мозг болел и, казалось, распухал, и лоб болел невыносимо. А ниже, под сомкнутыми веками, безжалостно горели цифры — 3,85 доллара. Он открыл глаза, чтобы не видеть их, но белый свет в комнате словно ожег глазные яблоки, и пришлось снова закрыть глаза, и снова загорелись 3,85.

Пять долларов за пять тысяч слов, десять слов за цент — мысль эта прочно засела в мозгу, и не мог он избавиться от нее, как не мог избавиться от цифры 3,85 под веками. Что-то менялось в цифре, он с любопытством следил, и вот уже на ее месте загорелась цифра 2. Вот оно что, подумал Мартин, это булочнику! Потом появились 2,5. Цифра озадачила, Мартин стал лихорадочно гадать, что же она означает, словно дело шло о жизни и смерти. Безусловно, он кому-то должен два пятьдесят, но кому? Властная

злобная вселенная требовала, чтобы он нашел ответ, и в напрасных поисках он бродил по нескончаемым коридорам сознания, открывал загроможденные старой рухлядью чуланы и кладовки с обрывками всевозможных воспоминаний и сведений. Прошли века, и наконец легко, без труда, вспомнилось: это его долг Марии. С огромным облегчением Мартин обратился душой к мучителю-экрану под сомкнутыми веками. Задача решена, теперь можно отдохнуть. Но нет, 2,5 померкли, и на их месте вспыхнуло 8. А это кому? Опять предстоит безотрадный поход по закоулкам сознания в поисках ответа.

Долго ли он так бродил, Мартин не знал, но прошла, кажется, вечность, и он очнулся от стука в дверь, от голоса Марии, она спрашивала, не заболел ли он. Глухо, сам не узнавая своего голоса, он ответил, что просто задремал. С удивлением заметил, что в комнате темно, уже ночь. А письмо пришло в два часа дня, и тут он понял, что болен.

Под сомкнутыми веками опять медленно разгоралась цифра 8, и вновь началась та же каторга. Но Мартин стал хитрый. Незачем бродить по закоулкам сознания. Дурак он был раньше. Он потянул рукоятку, и само сознание закрутилось вокруг него, чудовищное колесо судьбы, карусель памяти, светило, что мчит по орбите мудрости. Быстрей, быстрей вращалось оно, и вот уже Мартина затянуло воронкой водоворота и швырнуло в кружащийся черный хаос.

Словно так и должно быть, он очутился у бельевого катка и подкладывал под него накрахмаленные манжеты. И тут заметил, на манжетах напечатаны цифры. Новая система метить белье, подумал он, но, вглядевшись, увидел на одной из манжет цифру 3,85. Счет бакалейщика, догадался Мартин, на барабане катка летают счета, не манжеты. Хитроумная догадка мелькнула у него. Он бросит счета на пол, и тогда не надо платить. Придумано — сделано. Он злорадно комкает манжеты, кидает на чудовищно грязный пол. Груда все растет и растет, каждый счет повторяется тысячекратно, а вот счет на два пятьдесят — его долг Марии — встретился только раз. Значит, Мария не стребует с него платы, и он великодушно решил, что только ей и заплатит; и среди груды на полу принялся искать ее счет. Он отчаянно искал сотни лет, и вдруг появился толстый голландец, управляющий гостиницей. Лицо его пылало гневом, и зычно, так, что разнеслось по вселенной, он заорал: «Я вычту стоимость манжет из твоего жалованья!» А манжет высилась уже не груда — гора, и Мартин понял: чтобы расплатиться, он обречен работать здесь тысячу лет. Что ж, только и оставалось прикончить управляющего и сжечь прачечную. Но здоровущий голландец опередил его — схватил за шиворот и принялся дергать, как марионетку, вверх-вниз. Поволок над гладильными

досками, над плитами и катками в прачечную, над прессом для отжимки белья, над стиральной машиной. Мартин все двигался вверх-вниз, у него застучали зубы, разболелась голова и он только диву давался, откуда у голландца такая сила.

И опять он очутился перед катком, теперь он принимал манжеты, которые с другой стороны подкладывал редактор какого-то журнала. Каждая манжета была чеком, в лихорадочном ожиданье Мартин проглядывал их, но бланки не были заполнены. Миллион лет стоял Мартин и принимал чистые бланки и ни одного не упускал, боялся прозевать заполненный. И наконец такой нашелся. Трясущимися руками Мартин поднес его к свету. На пять долларов. «Ха-ха-ха!» — засмеялся редактор по ту сторону катка. «Что ж, тогда я тебя убью»,— сказал Мартин. Вышел в прачечную за топором и видит, Джо крахмалит рукописи. Мартин попытался остановить его, замахнулся топором. Но топор повис в воздухе, а Мартин вновь оказался в гладильне, и вокруг бушевала метель. Нет, это не снег валил, а чеки на крупные суммы, каждый не меньше чем на тысячу долларов. Мартин принялся их подбирать, и разбирал, и складывал в пачки по сто штук, и каждую пачку надежно перевязывал.

Поднял он глаза от этой работы и видит: стоит перед ним Джо и жонглирует утюгами, крахмальными сорочками и рукописями. И то и дело берет и подкидывает еще и пачку чеков, и все это пролетает сквозь крышу, описывает громадный круг и скрывается из виду. Мартин кинулся на Джо, но тот схватил топор и пустил его по летящему кругу. Потом оторвал Мартина от пола и швырнул туда же. Мартин пролетел сквозь крышу, хватаясь за рукописи, и, когда опустился, у него была их целая охапка. Но не успел опуститься, как опять его подкинуло, и второй раз, и третий, и снова, без числа, кругами вверх и вниз. А где-то вдалеке детский тоненький голосок напевал: «Закружи меня в вальсе, мой Билли, все кругом, и кругом, и кругом».

Он схватил топор посреди Млечного Пути из чеков, крахмальных сорочек и рукописей и собрался, как только окажется на земле, убить Джо. Но на землю он не вернулся. Вместо этого в два часа ночи Мария услышала через тонкую перегородку его стоны, вошла к нему в комнату и принялась согревать его горячими утюгами и прикладывать влажные тряпки к измученным болью глазам.

ГЛАВА 26

Утром Мартин Иден не пошел искать работу. Было уже за полдень, когда он опамятовался и обвел взглядом комнату, глаза все еще болели. Восьмилетняя Мэри, одна из семейства Сильва,

которая несла подле него вахту, увидела, что он очнулся, и пронзительно закричала. Из кухни поспешно вошла Мария. Приложила натруженную руку к горячему лбу Мартина, пощупала пульс.

— Ты поесть будешь? — спросила она.

Мартин помотал головой. Что-что, а есть ему вовсе не хотелось, даже странно, неужели он когда-нибудь бывал голоден.

— Я болен, Мария,— слабым голосом сказал он.— Что это со мной? Не знаешь?

— Грипп,— ответила она.— Через два, через три день проходит. Сейчас лучше не ешь. После много можно есть, завтра можно.

Мартин не привык болеть и, когда Мария с дочкой вышли, попробовал встать и одеться. Огромным усилием воли — голова кружилась, а глаза так болели, что трудно было держать их открытыми,— он ухитрился подняться с кровати, но тут же в изнеможении повалился на стол. Полчаса спустя он ухитрился опять лечь в постель, и только и мог, что лежать, не открывая глаз, прислушиваться к болям и слабости. Несколько раз входила Мария, сменяла холодный компресс на лбу. Но больше ничем не тревожила, у нее хватало мудрости не донимать его болтовней. И он, благодарный, бормотал про себя:

— Будет тебе молочное ранчо, Мария, будет, будет.

Потом вспомнился уже отошедший в далекое прошлое вчерашний день. Казалось, с тех пор как он получил письмо из «Трансконтинентального», прошла целая жизнь, целая жизнь прошла с тех пор, как он покончил со всем прежним и начал новую страницу. Он из кожи вон лез и вот лежит поверженный. Не замори он себя голодом, ему бы никакой грипп нипочем. Он ослабел, и у него не хватило сил перебороть микроб болезни, который проник в его кровь. И вот что получилось.

— Что толку написать целую библиотеку и умереть? — спросил он вслух.— Меня это не устраивает. Хватит с меня литературы. Я — за бухгалтерию, за конторские книги, и за ежемесячное жалованье, и за скромный домик для нас с Руфью.

Два дня спустя, съев яйцо с двумя гренками и выпив чашку чаю, он спросил, какие ему пришли письма, но оказалось, читать он еще не может — слишком болят глаза.

— Прочти мне, Мария,— попросил он.— Большие длинные конверты не надо. Кидай их под стол. Прочти маленькие письма.

— Не знаю читать,— был ответ.— Тереза знает, она ходит в школа.

Итак, Тереза Сильва, девяти лет от роду, вскрыла письма и принялась читать их Мартину. Он рассеянно слушал длиннейшее требование от агентства проката оплатить пользование машинкой, а сам ломал голову над тем, как найти работу. И вдруг не поверил своим ушам, прислушался.

— «Мы предлагаем вам сорок долларов за право серийного выпуска Вашей повести,— медленно по складам читала Тереза,— при условии, что вы согласитесь с предложенными поправками».

— Какой это журнал? — крикнул Мартин.— Дай-ка сюда.

Он мог читать и уже не чувствовал боли. Сорок долларов предлагала «Белая мышь», рассказ назывался «Водоворот», тоже один из ранних «страшных» рассказов. Он прочел письмо от начала до конца, еще раз и еще. Редактор прямо писал, что с идеей повести он, Мартин, не справился, но сама идея оригинальна и ради нее они и покупают повесть. Если он разрешает сократить ее на треть, они по получении ответа вышлют ему сорок долларов.

Мартин попросил перо и чернила и написал редактору, что тот, если угодно, может сократить хоть на три трети и пускай сразу шлет сорок долларов.

Тереза отнесла письмо в почтовый ящик, а Мартин лег и задумался. Значит, это все же не враки. «Белая мышь» платит по одобрении. В «Водовороте» три тысячи слов. Отнять треть, получается две тысячи. При сорока долларах получается два цента за слово. Платят по одобрении и по два цента за слово — газеты писали правду. А он-то думал, «Белая мышь» третьесортный журнальчик! Выходит, он не разбирается в журналах. Он воображал, будто «Транскоптинентальный» первоклассный журнал, а он платит цент за десять слов. «Белую мышь» он ни во что не ставил, а она платит в двадцать раз больше «Транскоптинентального», и платит по одобрении.

Что ж, одно ясно: когда он выздоровеет, он не пойдет искать работу. У него в голове полно рассказов ничуть не хуже «Водоворота», и при сорока долларах за штуку можно заработать куда больше, чем на любом месте при любой должности. Он уже подумал, что битва проиграна, а она выиграна. Правота избранного пути доказана. Дальше все ясно. «Белая мышь» — только начало, теперь он будет завоевывать журнал за журналом. Работу ради денег побоку. Правду сказать, это была пустая трата времени, поделки не принесли ему ни гроша. Он посвятит себя работе, настоящей работе, будет изливать все лучшее, что в нем есть. Вот если бы Руфь была здесь и могла разделить его радость... Просмотрев оставленную на постели почту, он нашел письмецо и от нее. Руфь нежно упрекала его, не понимая, почему он так надолго исчез. Мартин с обожанием перечитывал письмо, любовался ее почерком, каждой буковкой, и наконец поцеловал ее подпись.

А в ответном письме он бесстрашно признался, что не бывал у нее оттого, что заложил свой лучший костюм. Написал, что был болен, но уже почти поправился и дней через десять — пятнадцать (как только обернется письмо в Нью-Йорк и обратно) выкупит костюм и примчится к ней.

Но Руфь не пожелала ждать десять, а то и пятнадцать дней. Да еще когда возлюбленный болен. Назавтра же среди дня она приехала в сопровождении Артура в экипаже Морзов, к неописуемому восторгу всего выводка Сильва и всех соседских мальчишек и к ужасу Марии. Она надавала тумаков своим отпрыскам, тесно обступившим приезжих на крохотном крылечке, и, совсем уже несусветно коверкая слова, старалась извиниться за свой вид. Закатанные рукава, руки в мыльной пене, намокшая грубая мешковина, повязанная вместо фартука, говорили яснее ясного, за каким занятием ее застали. Ее постояльца спрашивали двое таких важных господ, что она совсем разволновалась и забыла пригласить их в крохотную гостиную. Направляясь в комнату Мартина, они прошли через кухню, черную, полную сырости и пара, оттого что в разгаре была большая стирка. Мария, суетясь, нечаянно задела дверь к Мартину дверью кладовки, и долгие пять минут через эту приоткрытую дверь в комнату больного врывались клубы пара, запах мыльной пены и грязного белья.

Руфь искусно славировала вправо, влево, опять вправо и между столом и кроватью протиснулась к Мартину; но Артур повернул слишком круто, и в углу, где Мартин стряпал, зазвенела и загремела кухонная утварь. Артур не задержался в комнатушке. Руфь заняла единственный стул, брат же, исполнив свой долг, вышел на улицу и стал у ворот, а семеро маленьких Сильва окружили его и глазели, как на чудо-юдо в ярмарочном балагане. Экипаж обступила толпа ребятни из всех соседних кварталов, жадно предвкушая какую-нибудь трагическую развязку. На этой улице экипажи появлялись только по случаю свадеб и похорон, а сейчас никто не женился и не умер, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее и стоит подождать.

За долгий срок Мартин отчаянно истосковался по Руфи. Природа наделила его любящим сердцем, и он, как мало кто, нуждался в сочувствии. Он изголодался по сочувствию, что означало для него полное, глубокое понимание; но ему еще предстояло узнать, что Руфь способна сочувствовать больше из жалости и деликатности, свойственным ее мягкому характеру, и очень мало понимает того, кому сочувствует. И пока Мартин сжимал ее руку и радостно говорил, любовь к нему заставила ее ответно сжать ему руку, а при виде его беспомощности, при виде следов страданий на лице глаза ее увлажнились и засветились нежностью.

Но когда он рассказывал о двух письмах от издателей, о том, в какое отчаяние привело его письмо из «Трансконтинентального» и в какой восторг — известие от «Белой мыши», Руфь не прислушивалась к нему. Она слышала его слова и понимала их буквальный смысл, но не была с ним, не разделяла ни его отчаяния, ни восторга. Она оставалась верна себе. Судьба рассказов ее не ин-

тересовала. Ее интересовало другое — их брак. Впрочем, она не сознавала этого, как не сознавала, что хочет заставить Мартина служить, потому что инстинктивно готовится к материнству. Если бы ей сказали об этом прямо, назвав все своими именами, она бы покраснела от смущения, а потом возмутилась бы и стала утверждать, что лишь заботится о любимом человеке и хочет, чтобы он сделал блестящую карьеру. И пока Мартин изливал ей душу, в восторге от первого успеха на выбранном пути, она едва слышала его, а сама то и дело озиралась, потрясенная тем, что видит.

Впервые в жизни смотрела Руфь в убогое лицо бедности. Голодающий возлюбленный — ей всегда казалось, это так романтично, но она понятия не имела, как живут голодающие возлюбленные. Ничего похожего ей и не снилось. Она оглядывала комнату, переводила взгляд на Мартина и снова оглядывалась по сторонам. Парной запах грязного белья, который ворвался из кухни с ее приходом, вызывал тошноту. Если эта ужасная женщина часто стирает, Мартин, наверно, весь пропитался этим запахом. Ведь низменное заразительно. Она смотрела на Мартина и, кажется, уже различала на нем позорный след окружающей обстановки. Впервые она видела его небритым, и трехдневная щетина была ей отвратительна. Это не только делало его таким же мрачным, нечистым, как домишко Сильва снаружи и изнутри, но, казалось, подчеркивало в нем животную силу, так ненавистную Руфи. И вот пожалуйста, два его рассказа одобрены, он с такой гордостью об этом говорит, он окончательно утвердился в своем безумии. Еще немного, и он сдался бы и пошел служить. Теперь же он останется в этом мерзком доме и еще не один месяц будет писать и голодать.

— Чем тут пахнет? — вдруг спросила Руфь.

— Наверно, Мариной стиркой,— был ответ.— Я уже начинаю привыкать к этим запахам.

— Нет-нет, не то. Чем-то другим. Чем-то затхлым, тошнотворным.

Мартин потянул носом воздух.

— Ничего не чувствую, разве что застоявшийся табачный дым,— сказал он.

— Вот-вот. Это ужас. Почему ты так много куришь, Мартин?

— Не знаю, пожалуй, больше обычного курю, когда мне одиноко. А потом, знаешь, это такая давняя привычка. Я приучился к куреву еще мальчишкой.

— По-моему, довольно гадкая привычка,— упрекнула Руфь.— Можно задохнуться, прямо как в аду.

— Это табак виноват. Мне по карману только самый дешевый. Но вот погоди, придет чек на сорок долларов. Тогда стану курить такой, что и ангелам покажется вроде ладана. Но ведь прав-

да неплохо, две одобренных рукописи за три дня? Эти сорок пять долларов покроют почти все мои долги.

— Сорок пять долларов за два года работы? — усомнилась Руфь.

— Нет, меньше чем за неделю работы. Передай мне, пожалуйста, книгу с того края стола, конторскую книгу в серой обложке.— Мартин раскрыл книгу и стал быстро листать.— Да, верно. «Колокольный звон» за четыре дня, «Водоворот» за два дня. Выходит сорок пять долларов за неделю работы, сто восемьдесят долларов в месяц. Такого жалованья мне нигде не получить. А я ведь только начинаю. Я хочу, чтобы у тебя столько всего было, на это и тысячи долларов в месяц не слишком много. А пятьсот долларов жалованья и вовсе мало. Эти сорок пять долларов только первый шаг. То ли будет, когда возьмусь всерьез. Вот тогда увидишь, поддам тогда пару.

Руфь не поняла моряцкого оборота и опять заговорила о курении.

— У тебя и так слишком надымлено, и дело не в сорте табака. Неприятен не сорт табака, неприятно, что ты куришь. Ты дымоход, действующий вулкан, ходячая дымовая труба, это ужасно, Мартин, милый, ты сам знаешь.

Она наклонилась к нему, посмотрела умоляюще, и глядя на ее нежное лицо, в чистые ясные глаза, он вдруг, как бывало, ощутил, что недостоин ее.

— Мне так хочется, чтобы ты больше не курил,— прошептала она.— Ну пожалуйста... ради меня.

— Ладно, брошу,— воскликнул Мартин.— Любимая моя, я сделаю все, что ни попросишь, ты же знаешь.

Огромное искушение вдруг овладело Руфью. Мгновенно открылось ей, как может он быть широк, уступчив, и поверилось — попроси она, и он бросит писать, лишь бы исполнить ее волю. Слова уже готовы были сорваться с ее губ. Но она их не произнесла. Ей не хватило храбрости, она не посмела. Вместо этого она потянулась ему навстречу и в его объятиях прошептала:

— На самом деле это ведь не ради меня, Мартин, но ради тебя самого. Я уверена, тебе вредно курить, и потом, что хорошего быть рабом чего-то, тем более рабом наркотика.

— Я всегда буду твоим рабом,— с улыбкой сказал Мартин.

— В таком случае я начинаю повелевать.

Она бросила на него лукавый взгляд, хотя в глубине души жалела уже, что не высказала самое главное свое пожелание.

— Монаршье слово для меня закон.

— Что ж, тогда вот мое первое пожелание: памятуй о бритье ежедневном. Посмотри, ты оцарапал мне щеку.

Итак, все свелось к нежным объятиям и шуткам. Но кое-чего

Руфь добилась, а добиться всего сразу она и не надеялась. Ее женскому самолюбию льстило, что она уговорила Мартина бросить курить. В следующий раз она убедит его пойти служить — разве не сказал он, что сделает все, о чем она ни попросит.

Она поднялась и обошла комнату, осмотрела натянутые над головой бельевые веревки с висящими на них заметками, поинтересовалась загадочным приспособлением на потолке, к которому подвешивался велосипед, с грустью поглядела на груду рукописей под столом — сколько же времени потрачено впустую... Керосинка привела ее в восторг, но, проверив полки для провизии, она убедилась, что они пусты.

— Бедный ты мой, да у тебя здесь нет никакой еды,— с кроткой жалостью сказала она.— Ты же голодаешь.

— Я держу провизию у Марии в шкафу и в холодном чулане,— солгал Мартин.— Там все лучше сохраняется. С голоду я не помру. Вот посмотри-ка!

Руфь подошла к нему, он согнул руку в локте, и она увидела, как под рукавом рубашки тугим, твердым бугром напружинились мускулы. Зрелище это было ей неприятно. Оно оскорбляло ее чувства. Но плоть ее, все существо, каждая клеточка стремились к этой силе, томились по ней, и, чем бы отшатнуться от Мартина, она опять, сама не зная как, потянулась к нему. И в следующий миг, когда Мартин сжал ее в объятиях, ее рассудок, такой далекий от глубин жизни, вознегодовал, а сердце, женское сердце, которому ведома сама суть жизни, торжествовало и ликовало. Вот в такие минуты Руфь особенно остро ощущала безмерную любовь к Мартину — когда его сильные руки обнимали ее и крепко сжимали, стискивали жарко, до боли, она едва не теряла сознание от наслажденья. В такие минуты казалось, все оправдано — что она предает общепризнанные правила, оскверняет свои высокие идеалы, а главное, молчаливо нарушает волю родителей. Они ведь не хотят, чтобы она вышла замуж за этого человека. Их возмущает ее любовь к нему. И сама Руфь — та спокойная, благоразумная Руфь, какой она становится вдали от Мартина,— порой возмущается этой своей любовью. А рядом с Мартином она его любит — подчас, правда, любовью досадливой, тревожной, но все равно это любовь, и любовь сильнее ее.

— Грипп — пустяки,— говорил Мартин.— Малость помучил, и голова изрядно болела, но с тропической лихорадкой никакого сравненья.

— А у тебя и тропическая лихорадка была? — рассеянно спросила Руфь, поглощенная блаженным чувством, которое испытывала в его объятиях.

Вот так рассеянно она задавала ему вопросы, и он рассказывал, и вдруг слова Мартина ее испугали.

Тропической лихорадкой он болел в тайной колонии тридцати прокаженных на Гавайских островах.

— Да как же ты там оказался? — возмутилась она.

Такая великолепная беспечность, когда речь идет о здоровье,— едва ли не преступление.

— А я ничего не знал,— ответил Мартин.— Понятия не имел, что там проказа. Я сбежал с корабля, выбрался на остров и двинулся подальше от берега, хотел укрыться понадежнее. Три дня кормился плодами гуавы, малайскими яблоками, да бананами, всем, что найдется в джунглях. На четвертый день набрел на тропу, на узенькую тропинку. Она вела в глубь острова, в гору. Как раз туда, куда я держал путь, и видно было, что по ней недавно прошли. В одном месте она шла по гребню горного кряжа, узкому, как лезвие ножа. На самом гребне ширина тропинки была меньше трех футов, а по обе стороны — пропасть в несколько сот футов глубиной. Если иметь вдоволь патронов, там можно защищаться одному против сотни тысяч.

Это был единственный путь в глубь острова, где я хотел укрыться. Через три часа я вышел по этой тропе в маленькую горную долину, в выемку, что образовалась среди выступов застывшей лавы. Долина была возделана, рядами росли таро и плодовые деревья, и стояло с десяток хижин. Но едва я увидел жителей, я понял, куда меня занесло. Хватило одного взгляда.

— Что же ты сделал? — задохнувшись от волнения, спросила Руфь; как всякая Дездемона, она слушала испуганная и зачарованная.

— А что было делать? Их вождем оказался добрый старик, болезнь у него зашла уже далеко, но правил он как король. Это он нашел долину и основал поселок — что противозаконно. Но у него были ружья и сколько угодно патронов, а канаки ведь привыкли охотиться на диких коз и диких свиней и стреляют без промаха. Нет, Мартину Идену было не убежать оттуда. Он остался и прожил там три месяца.

— Но как же ты спасся?

— Я бы и по сей день торчал там, если бы не одна тамошняя девушка — наполовину китаянка, на четверть белая и на четверть гавайка. Бедняжка, она была красавица, и притом образованная. Дочь одной богатой женщины из Гонолулу, чуть ли не миллионерши. Ну, и эта девушка наконец меня вызволила. Понимаешь, ее мать давала деньги тому поселку, и девушка не боялась, что ее за меня накажут. Только сперва взяла с меня клятву, что я вовек не выдам их убежище, и я не выдал. Никогда и никому и словом не обмолвился, тебе первой говорю. У девушки были только самые начальные признаки проказы. Немного скрючены пальцы правой руки да пятнышко у локтя. И все. Сейчас ее, наверно, уже нет в живых.

— Неужели ты не боялся? И как, наверно, рад был, что выбрался, не заразился этой ужасной болезнью?

— Ну, поначалу я малость трусил,— признался Мартин,— а потом привык. Да еще очень жалел ту несчастную девушку. И оттого забывал о страхе. Так она была хороша, и душа прекрасная, и наружность, болезнь едва-едва коснулась ее, и все же она была обречена оставаться там и жить, как живут дикари, и медленно гнить заживо. Проказа куда ужаснее, чем можно себе представить.

— Бедняжка,— тихонько прошептала Руфь.— Удивительно, что она тебя отпустила.

— Почему же удивительно? — не понял Мартин.

— Ведь она, должно быть, любила тебя,— все так же негромко сказала Руфь.— Скажи откровенно, любила?

За время работы в прачечной и долгого затворничества загар Мартина слинял, а от голода и болезни он побледнел еще больше, но сейчас по бледному лицу медленно разлилась краска. Он открыл было рот, но Руфь не дала ему заговорить.

— Не важно, не трудись отвечать. Это совершенно лишнее,— со смехом сказала она.

Но в ее смехе Мартину послышался металл, а глаза блеснули холодно. И ему вдруг вспомнился штормовой ветер, что налетел однажды на севере Тихого океана. Перед глазами возникла та ночь, ясное небо, полнолуние, и в лунном свете холодно блестят могучие валы. Потом он увидел ту девушку из убежища прокаженных и вспомнил: да, она полюбила его и оттого дала ему уйти.

— Она была благородна,— сказал он просто.— Она спасла мне жизнь.

Ничего больше не было сказано, но Мартин услыхал приглушенный, без слез всхлип Руфи, она отвернулась, долго смотрела в окно. А когда вновь обернулась к нему, лицо было уже спокойное, и в глазах не осталось холодного отблеска бури.

— Я такая глупая,— грустно сказала она.— Но я ничего не могу с собой поделать. Я так люблю тебя, Мартин, очень люблю, очень. Со временем я стану терпимей, а пока просто не могу иначе, я ревную к призракам прошлого, ведь твое прошлое полно призраков.

Он хотел было возразить, она ему не позволила.

— Да, это так, по-другому быть не может. И вон бедняга Артур машет мне, пора ехать. Он устал ждать. А теперь до свиданья, милый.

— В аптеках есть какое-то снадобье, которое помогает бросить курить,— прибавила Руфь уже от двери.— Я пришлю тебе.

Дверь закрылась и тотчас отворилась опять.

— Люблю, люблю,— прошептала Руфь и на этот раз действительно ушла.

Мария, глядя на Руфь с благоговением, что не помешало ей заметить и качество материи на платье и его крой (невиданный в этом квартале крой необычайной красоты), проводила гостью до экипажа. Толпа разочарованных мальчишек глядела вслед экипажу, пока он не скрылся из виду, и тогда все уставились на Марию, которая вдруг стала самой выдающейся личностью на всей улице. Но один из ее же отпрысков положил конец торжеству матери — объявил, что важные господа приезжали не к ней, а к постояльцу. И мимолетная слава Марии угасла, зато Мартин стал замечать, что окрестные жители — все народ скромный — взирают на него почтительно. Что до Марии, ее уважение к Мартину возросло невероятно, а будь свидетелем приезда господ в экипаже португалец-бакалейщик, он наверняка открыл бы Мартину кредит еще на три доллара восемьдесят пять центов.

ГЛАВА 27

Мартину засияло солнце удачи. Назавтра после приезда Руфи он получил чек на три доллара из нью-йоркского бульварного еженедельника в уплату за три своих триолета. Еще через два дня некая чикагская газета приняла его «Охотников за сокровищами» и пообещала по напечатании заплатить десять долларов. Цена невелика, но то были первые написанные им страницы, самая первая попытка высказать свою мысль на бумаге. И ко всему на той же неделе приключенческая повесть для мальчиков, его второй опыт, была принята ежемесячником для юношества под названием «Юность и время». Правда, в повести была двадцать одна тысяча слов, а предложили за нее шестнадцать долларов по выходе в свет, иначе говоря, примерно семьдесят пять центов за тысячу слов, но правда и другое: ведь это всего лишь вторая попытка Мартина и теперь он сам прекрасно понимал, что повесть слабая и неуклюжая.

Но неуклюжесть даже ранних его опытов не была неуклюжестью посредственности. Их отличала неуклюжесть чрезмерной силы — та самая, что выдает новичка, который бьет из пушек по воробьям и на комара замахивается дубинкой. И Мартин рад был продать эти первые пробы пера хоть за бесценок. Он понимал, насколько они слабы,— это он понял очень быстро. Но он твердо верил в свои позднейшие работы. Он стремился стать не просто поставщиком журнальной беллетристики. Он старался овладеть всеми тонкостями мастерства. Однако силой он не жертвовал. Сила его росла как раз потому, что он сознательно ее сдерживал. И не от-

ступал от того, чем больше всего дорожил,— от правды жизни. Он был реалист, хотя делал все, чтобы пронизать реализм красотой, которую дарит воображение. Он стремился к реализму страстному, пронизанному мечтой и верой. Он хотел изображать жизнь такой, как она есть, со всеми ее духовными исканиями и всем тем, что задевает душу.

Читая книги и журналы, он заметил, что есть две литературные школы. Для одних авторов человек — бог, и они забывают о его земном происхождении, а для других он — скот, эти забывают о его высоких помыслах, великих духовных возможностях. Обе школы, и божественная и земная, по мнению Мартина, ошибаются, и повинна в этом узость взглядов и задач. Должно быть, правда где-то посредине,— правда, не слишком лестная для тех, кто видит в человеке лишь божественное начало, но опровергающая тех, кто замечает в нем лишь начало плотское, скотское. Мартин считал, что в рассказе «Приключение», который когда-то показался Руфи незначительным, он достиг наибольшей для беллетристики степени правды; а в эссе «Божественное и скотское» он прямо высказал и обобщил свои взгляды.

Но «Приключение» и все его лучшие, по мнению самого Мартина, работы все еще стучались в двери редакций. Ранние опыты лишь тем были хороши в глазах Мартина, что принесли какие-то деньги, и «страшные» рассказы, два из которых были куплены, он тоже вовсе не считал настоящей литературой и лучшим среди написанного. Ведь это была откровенная выдумка, фантазия, хотя и сдобренная очарованием живой жизни, в чем и таилась сила этих рассказов. Преувеличенное и невероятное он обрядил в реальные одежды и считал это фокусом, пусть даже ловким фокусом. С истинной литературой это несовместимо. Написаны оба рассказа искусно, но Мартин ни во что не ставил искусство, лишенное человечности. Фокус заключался в том, чтобы искусство автора выдать за человеческое чувство, и это удалось в полдюжине «страшных» рассказов, которые он написал до того, как поднялся до «Приключения», «Радости» и «Вина жизни».

Три доллара, полученные за триолеты, помогли Мартину продержаться, пока не пришел чек из «Белой мыши». Первый чек он разменял у недоверчивого португальца-бакалейщика, заплатив доллар в счет своего долга, а оставшиеся два доллара разделил между булочником и хозяином зеленной лавки. Он еще не настолько разбогател, чтобы купить мяса, и, дожидаясь чека из «Белой мыши», сидел впроголодь. Не сразу Мартин решил, как этот чек разменять. Никогда еще он не был в банке, тем более по делу, и на него напало наивное, ребяческое желание зайти в один из больших оклендских банков, небрежно кинуть чек и получить сорок долларов наличными. Однако практический здравый смысл под-

сказывал размепять чек у бакалейщика и тем самым поднять веру в свою кредитоспособность. Мартин нехотя покорился доводам в пользу бакалейщика, заплатил ему сполна и получил сдачу звонкой монетой. Расплатился он и с другими лавочниками, выкупил костюм и велосипед, заплатил за месяц пользования машинкой, заплатил Марии за просроченный месяц и за месяц вперед. И осталось у него в кармане на случай непредвиденных расходов еще почти три доллара.

Пустячная сумма эта казалась Мартину настоящим богатством. Едва получив назад костюм, он пошел повидать Руфь и по дороге не мог удержаться, позвякивал горсткой серебра в кармане. Так долго он был без гроша, что, подобно спасенному от голодной смерти, который не в силах отвести глаза от оставшейся на столе пищи, Мартин не мог выпустить из рук серебро. Он не был ни скуп, ни жаден, но деньги значили для него больше, чем столько-то долларов и центов. Они означали успех, и оттиснутые на монетах орлы олицетворяли для него крылатую победу.

Оказывается, мир удивительно хорош. В глазах Мартина он и вправду стал прекраснее. Долгие недели то был тусклый, сумрачный мир, а теперь, когда почти все долги заплачены и в кармане позвякивают три доллара, а голова полна сознанием успеха, оказалось, солнце ярко светит и греет и даже внезапный дождь, что застиг прохожих врасплох и промочил до нитки, Мартина только развеселил. Когда он голодал, он часто раздумывал о голодных, которых в мире тысячи, но теперь, наевшись досыта, уже не обременял себя мыслями о том, что в мире тысячи голодных. Он забыл про них и, страстно влюбленный, вспомнил о влюбленных, которым в мире счету нет. Сами собой зазвучали строки любовной лирики. Увлеченный творческим порывом, он прозевал нужную остановку, проехал трамваем два лишних квартала и вовсе не почувствовал досады.

У Морзов он застал много народу. В доме гостили две двоюродные сестры Руфи из Сан-Рафаэля, и под предлогом, что их надо развлекать, миссис Морз, как задумала раньше, старалась окружить Руфь молодыми людьми. Кампания началась во время вынужденного отсутствия Мартина и сейчас была в разгаре. Миссис Морз порешила приглашать людей деловых, серьезных. Итак, когда пришел Мартин, там кроме сестриц Дороти и Флоренс были два университетских профессора, один — латинист, другой специалист по английской филологии; молодой офицер, только что возвратившийся с Филиппин, в прошлом школьный товарищ Руфи; некто Мелвил, личный секретарь Джозефа Перкинса, главы сан-францисского страхового общества; и, наконец, всамделишный главный бухгалтер банка, Хэпгуд, моложавый человек тридцати пяти лет, питомец Станфордского университета, член Нильского клуба

и клуба «Единство» и осмотрительный оратор, во время выборной кампании выступающий за республиканскую партию,— иными словами, во всех отношениях многообещающий молодой человек. Среди женщин одна писала портреты, другая была профессиональная музыкантша, и еще одна, со степенью доктора социологии, известная во всем штате представительница благотворительной организации, опекающей трущобы Сан-Франциско. Но в планах миссис Морз женщины значили не так уж много. В лучшем случае они служили необходимым дополнением. Надо же как-то привлечь в дом деловых, серьезных мужчин.

— Когда разговариваешь, не горячись,— предостерегла Руфь Мартина перед тем, как началось тяжкое испытание знакомства.

Поначалу Мартин держался довольно скованно, его угнетала собственная неуклюжесть, особенно он боялся, как когда-то, своротить плечом мебель или задеть безделушку. К тому же его смущало это общество. Никогда еще он не бывал в таком избранном обществе, тем более в таком многочисленном. Больше всех его заинтересовал главный бухгалтер Хэпгуд, и Мартин решил при первой же возможности разобраться, что это за человек. Ибо хоть Мартин и робел и относился к этим людям с почтением, он был уверен в себе и ему необходимо было помериться с ними силами, понять, что же они узнали из книг и из жизни, чего не знает он.

Руфь опять и опять поглядывала на Мартина, проверяя, каково ему в обществе, и с удивлением и радостью убедилась, что с ее кузинами он держится легко и непринужденно. Он и правда не волновался — стоило ему сесть, и он уже не беспокоился, что невзначай своротит что-нибудь плечом. Двоюродных сестер Руфь считала неглупыми, по-своему остроумными, и никак не могла понять, почему позднее, перед сном, они так расхваливали Мартина. Он же, среди своих известный остряк и весельчак, душа общества на всех танцульках и воскресных пикниках, и в новом окружении довольно легко развеселился и стал сыпать добродушными шуточками. А в этот вечер подле него стояла удача, и похлопывала по плечу, и говорила, что он делает успехи,— и можно было смеяться и смешить и не смущаться.

Но позднее опасения Руфи оправдались, Мартин и профессор Колдуэл отошли в сторону и оказались у всех на виду, и, хотя Мартин теперь не размахивал руками, Руфь с неудовольствием заметила, что он слишком возбужден, слишком блестят и сверкают у него глаза, слишком быстро, горячо, слишком напористо он говорит, не сдерживается и кровь уже прихлынула к щекам. Не хватает ему воспитанности и самообладания, в этом он прямая противоположность молодому профессору английской филологии, с которым у него завязался разговор.

Но что Мартину приличия! Он тотчас отметил тренированный

ум собеседника, оценил его широкую образованность. И вдобавок профессор Колдуэл оказался совсем не такой, каким Мартин представлял себе рядового английского филолога. Мартин непременно хотел вызвать того на профессиональный разговор. Колдуэл поначалу противился, но Мартин все-таки заставил его уступить: не понимал он, почему в гостях человек не должен разговаривать о своем деле.

— Нелепо это и несправедливо,— сказал он Руфи еще с месяц назад.— Почему не полагается разговаривать о своем деле? Чего ради людям встречаться друг с другом, если не обмениваться лучшим, что в них есть? А лучшее в них то, чем они интересуются, чем зарабатывают на жизнь, на чем специализируются, чем заняты день и ночь, что даже во сне им снится. Представь-ка, вдруг мистер Батлер, соблюдая этикет, примется излагать свое мнение о Поле Верлене, о немецкой драме или о романах Д'Аннунцио. Да мы помрем со скуки. По мне, уж если надо слушать Батлера, пусть уж он рассуждает о своей юриспруденции. Это лучшее, что в нем есть, а жизнь коротка, и я хочу взять от каждого лучшее, что в нем есть.

— Но разве мало тем, которые интересуют всех? — возразила Руфь.

— Ошибаешься,— горячо заспорил Мартин.— Все люди и все слои общества или, вернее, почти все люди и слои общества подражают тем, кто стоит выше. Ну, а кто в обществе стоит выше всех? Бездельники, богатые бездельники. Как правило, они не знают того, что знают люди, занятые каким-либо делом. Слушать разговоры о деле бездельникам скучно, вот они и определили, что это узкопрофессиональные разговоры и вести их в обществе не годится. Они же определили, какие темы не узкопрофессиональные и о чем, стало быть, годится беседовать: это новейшие оперы, новейшие романы, карты, бильярд, коктейли, автомобили, скачки, ловля форелей или голубого тунца, охота на крупного зверя, парусный спорт и прочее в том же роде,— и заметь, все это бездельники хорошо знают. По сути, это — узкопрофессиональные разговоры бездельников. И самое смешное, что многие умные люди или те, кто слывет умными людьми, позволяют бездельникам навязывать им свои дурацкие правила. А вот мне нужно от человека лучшее, что в нем есть, и пусть меня обвиняют в пристрастии к узкопрофессиональным разговорам, в вульгарности, в чем угодно.

И Руфь тогда ничего не поняла. Нападки Мартина на общепринятое показались ей лишь своенравием, вечно он упорствует в своих суждениях.

Итак, Мартин заразил профессора Колдуэла своей искренностью и вызвал на серьезный разговор. Подойдя к ним, Руфь услышала слова Мартина:

— С университетской кафедры вы, конечно, не проповедуете такую ересь?

Профессор Колдуэл пожал плечами.

— Как всякий честный налогоплательщик, я, знаете ли, политик. Сакраменто дает нам средства, а мы раболепствуем перед Сакраменто, и перед Попечительским советом университета, и перед нашей партийной прессой или перед прессой обеих партий.

— Ну да, ясно, но сами-то вы как? — гнул свое Мартин.— Вы же там, наверно, как рыба без воды.

— Пожалуй, в университетском кругу таких, как я, немного. Временами я действительно чувствую себя рыбой, вытащенной из воды, понимаю, что место мне в Париже или среди пишущей братии, или в пещере отшельника, или среди вконец одичавшей богемы — попивал бы кларет, у нас в Сан-Франциско его называют итальянское красное, обедал бы в дешевых ресторанчиках Латинского квартала и громогласно излагал радикальнейшие взгляды на все сущее. Право, я нередко почти уверен, что рожден был радикалом. Но на свете слишком много такого, в чем я совсем не уверен. Я робею, когда остаюсь один на один со своей человеческой слабостью, ведь она мешает мне всесторонне осмыслить любой из вопросов — важнейших вопросов человеческого бытия.

Мартин слушал Колдуэла и вдруг поймал себя на том, что с губ его готова сорваться «Песнь пассата»:

Я в полдень сильней,
Но всего верней
При луне надуваю парус.

Слова так и просились на язык, и до Мартина дошло, что собеседник напоминает ему пассат, северо-восточный пассат, упорный, свежий и сильный. Спокойный человек, надежный, однако что-то в нем сбивает с толку. У Мартина было ощущение, что Колдуэл никогда не высказывается откровенно, до конца, как раньше нередко бывало ощущение, будто пассат никогда не дует в полную силу, всегда есть у него в запасе и еще силы, которые он никогда не пускает в ход. Живое воображение Мартина, как всегда, не дремало. Мозг его был словно богатая кладовая, где память хранила множество фактов и вымыслов, и доступ к ним всегда открытый, все в полном порядке, все к его услугам. В любую минуту, что бы ни случилось, Мартин мигом находил в своих запасниках контрастный или схожий образ. Получалось это само собой, и воображаемое неизменно сопутствовало тому, что совершалось въяве. Как лицо Руфи в миг ревности вызвало перед глазами давно забытую картину шторма в лунную ночь, а беседуя с профессором Колдуэлом, Мартин снова увидел белые валы, гонимые северо-восточным пассатом по темно-лиловому океану, так минута за минутой вста-

вали перед ним, всплывали перед глазами или возникали на экране сознания все новые образы-воспоминания, не сбивая с толку, но скорее помогая разобраться в настоящем. Образы эти, несчетное множество видений, рожденных то давними поступками или переживаниями, то книгами, то обстоятельствами, событиями вчерашнего дня или прошлой недели, спал ли Мартин, бодрствовал ли, вечно толпились у него в памяти.

Так и сейчас, слушая непринужденные речи профессора Колдуэла — разговор умного, культурного человека,— Мартин все видел себя в прошлом. Вот он — отъявленный хулиган, в шляпе с широченными полями и в двубортном пиджаке по шикарной моде городской окраины, и его мечта — стать уж вовсе лихим парнем, да только из тех, кого еще не трогает полиция. Это прошлое он не приукрашивает в собственных глазах, не думает отказываться от него. Да, одно время был он обыкновенный хулиган, вожак шайки, которая доставляла немало хлопот полиции и держала в страхе честный рабочий люд. Но мечты его изменились. Он оглядел гостиную, которую наполняли превосходно воспитанные, превосходно одетые мужчины и женщины, вдохнул дух культуры и утонченности, а меж тем по комнате заносчиво прошелся призрак ранней юности в шляпе с широченными полями и в двубортном пиджаке, лихой и бедовый. И этот хулиган с городской окраины растворился в нем, собеседнике настоящего университетского профессора.

Ведь, в сущности, никогда у него не было постоянного и прочного места в жизни. Он приходился ко двору везде, куда бы ни попал, всегда и везде оказывался общим любимцем, потому что в работе ли, в игре ли он оставался верен себе, всегда был готов и умел воевать за свои права и требовать уважения. Но нигде он не пустил корней. Им всюду были довольны те, кто рядом, но сам он вполне доволен не бывал. Не было в нем покоя, вечно что-то звало и манило его, и он скитался по жизни, сам не зная, чего ищет и откуда зов, пока не обрел книги, творчество и любовь. И вот он здесь, единственный из всех своих товарищей по былым приключениям, кто стал вхож в дом Морзов.

Но все эти мысли и видения не мешали Мартину внимательно слушать профессора Колдуэла. Он слушал, вдумывался, придирчиво оценивал и видел, как основательно и широко образован его собеседник. А сам в ходе разговора порой отмечал провалы и пробелы в своих знаниях, целые области, ему неведомые. Однако, спасибо Спенсеру, он имеет представление о просторах человеческого знания. И только дело времени заполнить белые пятна на карте этих просторов. А тогда держитесь, вам всем несдобровать! Он будто сидел у ног профессора, благоговел и внимал, но постепенно начал различать некую слабость в его суждениях — слабость на-

столько неожиданную, едва уловимую, что, не проскальзывай она в каждом суждении Колдуэла, Мартин, пожалуй, и не приметил бы ее. Когда же он наконец поймал ее, он сразу почувствовал себя ровней Колдуэлу.

Руфь подошла к ним во второй раз в ту самую минуту, как Мартин заговорил.

— Я скажу вам, в чем вы неправы или, вернее, отчего ваши рассуждения уязвимы. Вы не принимаете в расчет биологию, ту, что может полностью объяснить жизнь всего живого на земле, от лабораторных опытов по превращению неживого в живое до шире чайших эстетических и социологических обобщений.

Руфь ужаснулась. Она прослушала у профессора Колдуэла два курса и смотрела на него снизу вверх, как на олицетворение всех на свете знаний.

— Я вас не совсем понимаю,— неуверенно вымолвил профессор.

Что-что, а понимает его Колдуэл прекрасно, в этом Мартин не сомневался.

— Тогда постараюсь объяснить,— сказал Мартин.— Помню, я читал в истории Египта что-то в таком роде: египетское искусство невозможно понять, не изучив прежде состояние египетского земледелия.

— Совершенно верно,— профессор кивнул.

— И по-моему,— продолжал Мартин,— в свою очередь, разобраться в земледелии невозможно, если не изучил сперва материю и основной закон жизни. Как можно понять законы и устои, верования и обычаи, не понимая не просто природу тех, кто их создал, но природу материи, из которой созданы сами люди? Разве литература менее связана с жизнью общества, чем архитектура и скульптура Египта? Разве найдется во вселенной хоть что-то, не подвластное закону эволюции? Да, конечно, существует тщательно разработанная теория эволюции различных искусств, но мне кажется, она слишком механистична. Человека она оставляет без внимания. Эволюция инструмента, лиры, музыки, песни, танца — все прекрасно разработано, ну а как же эволюция самого человека, развитие важнейших внутренних его органов, что были в нем прежде, чем он сработал первый инструмент или пробормотал первую свою песнь? Вот чего нет в ваших рассуждениях и вот что я называю биологией. Это биология в самом широком понимании.

Я знаю, я говорю бессвязно, но я стараюсь растолковать свою мысль. Она пришла мне в голову, пока я вас слушал, и я не успел отточить формулировки. Вы сами говорили о слабости человека, которая мешает ему всесторонне осмыслить происходящее. И сами же — так мне кажется — оставляете в стороне роль биологии, са-

мое материю, то важнейшее, из чего сотканы все искусства, основу и нить всех человеческих деяний и свершений.

К изумлению Руфи, Мартин не был тотчас же разбит наголову, и услышав, как отвечает профессор, она подумала, что тот просто снисходит к молодости собеседника. Долгую минуту профессор Колдуэл молчал и теребил цепочку часов.

— Знаете, однажды мне уже пришлось выслушать точно такую же критику,— сказал он наконец.— То был человек величайшего ума, ученый и эволюционист Джозеф Леконт. Но его уже нет в живых, и я надеялся, что больше никто не заметит мою ахиллесову пяту, но вот являетесь вы и обличаете меня. Впрочем, если говорить серьезно, признаюсь откровенно, в вашей точке зрения есть доля правды... и немалая. Я слишком погружен в гуманитарные науки, отстал от сегодняшнего естествознания и могу лишь сожалеть о недостатках моего образования и о вялости характера, которая мешает мне наверстать упущенное. Верите ли, я никогда не переступал порога физической или химической лаборатории. Да-да, представьте. Леконт был прав, и вы тоже правы, мистер Иден, во всяком случае, до известной степени. Затрудняюсь в точности определить насколько.

Под каким-то предлогом Руфь увела Мартина и уже в сторонке зашептала:

— Напрасно ты взял в плен профессора Колдуэла. Наверно, и другие хотели бы с ним побеседовать.

— Виноват,— сокрушенно сказал Мартин.— Но мне удалось расшевелить его, и он оказался так интересен, я забыл обо всем на свете. Знаешь, это такой блестящий ум, такой интеллектуал, первый раз я с таким разговаривал. И вот еще что. Раньше я думал, каждый, кто учился в университете или занимает высокое положение в обществе, непременно блестяще умен,— вот как этот Колдуэл.

— Он — исключение,— ответила Руфь.

— Похоже на то. А теперь с кем ты хочешь, чтобы я поговорил?.. Вот что, сведи меня с этим банковским главным бухгалтером.

Мартин беседовал с Хэпгудом пятнадцать минут, и Руфь была очень довольна, возлюбленный вел себя безупречно. Глаза его ни разу не сверкнули, щеки не вспыхнули, а его спокойствие и уравновешенность при разговоре поразили Руфь. Но уважение Мартина ко всему банковскому племени сразу резко упало, и остаток вечера он не мог избавиться от впечатления, что банковский бухгалтер и болтун — синонимы. Офицер оказался добрым малым — простодушный, здоровый и здравомыслящий, он был вполне доволен местом в жизни, которое досталось ему по праву рождения и удачи. Когда выяснилось, что тот два года проучился в университете, Мартину осталось только недоумевать, как он ухитрился рас-

терять все свои познания. Но все равно этот молодой человек понравился Мартину больше сыплющего банальностями банковского главного бухгалтера.

— Бог с ними, с банальностями,— сказал он потом Руфи,— всего ужасней другое, слышать не могу, до чего напыщенно, чопорно и самодовольно, до чего свысока и тягуче он все это изрекает. Да за то время, пока он сообщал мне, что Объединенная рабочая партия слилась с демократами, я успел бы ему изложить всю историю Реформации. Ты знаешь, он передергивает в разговорах, как профессиональный игрок в картах. Я как-нибудь покажу тебе, что я имею в виду.

— Жаль, что он тебе не понравился,— ответила Руфь.— Он любимец мистера Батлера. Мистер Батлер говорит, он надежен и честен, называет его Скала, Петр [1], говорит, на таких держатся банки.

— Не сомневаюсь — по тому немногому, что видел, и уж совсем немногому, что от него слышал. Но вот почтения к банкам у меня поубавилось. Ты не против, что я говорю так откровенно, Руфь, милая?

— Нет-нет, это необычайно интересно.

— Я ведь только варвар, получающий первые впечатления от цивилизации,— чистосердечно признался Мартин.— Для цивилизованного человека подобные впечатления уж наверно новы и занимательны.

— А что ты скажешь о моих кузинах? — осведомилась Руфь.

— Они мне понравились больше других женщин. Веселости в них хоть отбавляй, а зазнайства и притворства самая малость.

— Значит, другие женщины тебе все-таки понравились?

Мартин покачал головой.

— Эта дама-благотворительница просто попугай от социологии. Голову даю на отсечение, если кинуть ее среди звезд, как Томлинсона, в ней не сыщешь ни единой собственной мысли. Что до портретистки, она нестерпимо скучна. Ей бы выйти за банковского бухгалтера,— самая подходящая пара. А уж музыкантша! Какое мне дело, что у нее проворные пальцы, и совершенная техника, и экспрессия — ведь ясно как день: в музыке она ничего не смыслит.

— Она играет прекрасно,— запротестовала Руфь.

— Да, без сомнения, во всем, что касается техники, она поднаторела, но вот о духе музыки понятия не имеет. Я ее спросил, что для нее музыка,— ты ведь знаешь, эта сторона меня всегда интересует,— а она не знала, только и смогла ответить, что обожает

---

[1] Петр — скала, камень (от *греч.*).

музыку, что музыка величайшее из искусств и для нее дороже жизни.

— Ты всех заставлял говорить об их работе,— упрекнула Руфь.

— Да, признаюсь. И уж если они не могли толком поговорить о своем деле, каково было бы слушать, как они разглагольствуют о чем-нибудь другом. Я-то прежде думал, здесь, где люди наслаждаются всеми преимуществами культуры...— Мартин на минуту примолк, и в дверь шагнула и вызывающей походкой прошла по гостиной тень его самого в юности,— шляпа с широченными полями, двубортный пиджак.— Так вот, я думал, здесь все, и мужчины и женщины, блистают умом и талантом. А теперь, по тому немногому, что я успел увидеть, мне кажется, почти все они — сборище глупцов, большинство из них, а девяносто процентов остальных наводят скуку. Вот профессор Колдуэл совсем другой. Он — человек, весь как есть, до мозга костей.

Руфь просияла.

— Расскажи мне о нем,— настойчиво попросила она.— Не о том, какой он блестящий ум и незаурядная личность, достоинства я знаю, а вот есть ли в нем, по-твоему, и противоположные свойства. Мне очень любопытно.

— Боюсь попасть впросак,— шутливо заупрямился Мартин.— Лучше сперва скажи ты... Или ты видишь в нем одни только достоинства?

— Я прослушала у него два курса, знала его два года, оттого мне так интересно твое первое впечатление.

— Хочешь узнать его дурные свойства. Что ж, ладно. Думаю, твое прекрасное мнение о нем оправдано. По крайней мере из всех, кого я знаю, он самый замечательный образец интеллектуала. Но у этого человека совесть нечиста. Нет-нет,— поспешно прибавил Мартин.— Ничего ничтожного или вульгарного. Понимаешь, мне показалось, он проник в самую суть жизни и отчаянно испугался того, что увидел, и сам перед собой притворяется, будто ничего этого не видел. Пожалуй, это звучит не очень внятно. Попробую сказать иначе. Он набрел на тропу, ведущую к потерянному храму, но не пошел по ней; возможно, мельком он увидел и храм, но потом постарался убедить себя, что то был только мираж, игра теней в листве. Или еще так скажу. Человек мог кое-что сделать, но решил, что это бессмысленно, и теперь все время в глубине души жалеет, что не сделал: он втайне смеялся над наградой, которую заслужил бы деянием, и однако еще затаенней жаждал награды, жаждал радости деяния.

— Я в профессоре ничего такого не вижу,— сказала Руфь.— И право, не понимаю, что ты хочешь сказать.

— У меня это только смутное ощущение,— Мартин пошел на

попятный.— Причин так думать у меня нет. Это только ощущение, и очень возможно, что я ошибаюсь. Уж наверно ты его знаешь лучше.

В этот вечер Мартин ушел от Руфи в странном замешательстве, ощущения у него были самые противоречивые. Он так трудно шел к этим высотам, так стремился к этим людям, а они его разочаровали. С другой стороны, успех ободрил его. Подъем оказался легче, чем он ожидал. Он одолел подъем — и теперь (не страдая ложной скромностью, он не скрывал этого от себя) он выше тех, к кому стремился, кроме, конечно, профессора Колдуэла. Он знал больше них о жизни и о книгах и диву давался, куда они подевали свое образование. Ведь он не знал, что сам обладает выдающимся умом, не знал также, что гостиные всевозможных Морзов не то место, где можно встретить людей, доискивающихся до глубин, задумывающихся над основными законами бытия; и не подозревал, что люди эти — точно одинокие орлы, одиноко парят в лазурной небесной выси над землей, обремененной толпами, чей удел — стадное существованье.

ГЛАВА 28

Но удача потеряла адрес Мартина, и ее посланцы уже не стучались в дверь. Двадцать пять дней, работая и в воскресенья и в праздники, трудился он над большим, примерно в тридцать тысяч слов, этюдом «Позор солнца». То была тщательно обдуманная атака на мистицизм школы Метерлинка — из крепости позитивной науки он нападал на мечтателей, ждущих чуда, однако не ниспровергал красоту и чудо, ту красоту и чудо, что совместимы с подлинной жизнью. Несколько позднее он продолжил атаку, написал два коротких эссе — «Взыскующие чуда» и «Мерило своего «я». И принялся оплачивать путевые расходы всех трех работ — из журнала в журнал.

За двадцать пять дней, посвященных «Позору солнца», он продал юморесок на шесть с половиной долларов. Одна шутка дала ему полдоллара, а вторая, купленная первоклассным юмористическим еженедельником, принесла доллар. И еще два юмористических стихотворения заработали ему одно — два доллара, другое — три. И вот, исчерпав кредит в лавках (хотя бакалейщик поверил теперь ему в долг на пять долларов), Мартин опять отнес в заклад велосипед и костюм. Агентство опять требовало с него за машинку, настойчиво напоминая, что согласно договору плату непременно следует вносить вперед.

Приободренный тем, что несколько мелочей все же куплено, Мартин опять принялся за поделки. В конце концов, может быть,

на них и просуществуешь. Под столом скопилось двадцать коротких рассказов, отвергнутых газетным синдикатом. Он перечел их, стараясь понять, как следует писать рассказы для газет, и, читая, вывел точный рецепт. Оказалось, в газете рассказ не должен быть трагическим, у него не должно быть несчастливого конца, ему отнюдь не нужны ни красота стиля, ни проницательность мысли, ни неподдельная тонкость чувств. Но чувства необходимы, притом в изобилии — благородные и чистые чувства того сорта, каким он аплодировал с галерки в ранней юности — чувства вроде тех, какими полны ура-патриотические пьесы и мелодрамы о «бедном, но честном малом».

Мартин усвоил эти предосторожности, тон позаимствовал у «Герцогини» и, руководствуясь своим рецептом, принялся изготовлять смесь. Рецепт состоял из трех частей: 1. Двое влюбленных ссорятся и расстаются; 2. благодаря какому-нибудь поступку или по стечению обстоятельств они вновь соединяются; 3. свадебные колокола. Третья часть была величиной постоянной, но в первую и вторую можно было подставлять несчетное множество вариантов. Так, влюбленных может разлучить недоразумение, прихоть судьбы, ревнивые соперники, разгневанные родители, злокозненные опекуны и коварные родственники, и так далее и тому подобное; а вновь соединить их может отважный поступок влюбленного, подобный же поступок влюбленной, перемена в его или ее чувствах, вынужденное признание злокозненного опекуна, коварного родственника или ревнивого соперника, добровольное признание любого из них, какая-нибудь внезапно открывшаяся тайна, влюбленный может взять сердце девушки штурмом, либо покорить долгим благородным самопожертвованием, и т. д. без конца.

Очень соблазнительно повернуть примирение так, чтобы предложение сделала она, мало-помалу Мартин находил и другие несомненно пикантные и соблазнительные хитрости. Но свадебные колокола в конце неизбежны, тут нельзя себе позволить никаких вольностей; хоть весь мир провались в тартарары, хоть настань конец света, а все равно свадебные колокола должны звонить. Минимальную дозу рецепт предписывал в двенадцать тысяч слов и максимальную в пятнадцать тысяч.

Пока Мартин не полностью превзошел искусство сочинять короткие рассказы для газет, он разработал с полдюжины схем и, выстраивая рассказ, постоянно в них заглядывал. Схемы эти напоминали хитроумные таблицы, какие в ходу у математиков, они состояли из десятков клеток и множества рядов, их можно было читать сверху вниз, снизу вверх, справа налево, слева направо, и, не думая, не рассуждая, черпать из них тысячи различных решений, каждое из которых будет бесспорно верным и точным. Таким образом, за полчаса Мартин мог при помощи своих схем сколотить

дюжину сюжетов, потом откладывал их, а когда выдавалась удобная минута, разрабатывал. Он мог превратить такую схему в рассказ за час перед сном, после целого дня серьезной работы. Позднее он как-то признался Руфи, что мог писать их чуть ли не во сне. Тут только и требовалось сколотить сюжет, но это он делал чисто механически.

Мартин ничуть не сомневался в верности своего рецепта, в кои-то веки он понял, чего хотят редакторы, и первые два рассказа отослал, твердо веря, что они принесут ему чеки. И через двенадцать дней они действительно принесли чеки, по четыре доллара каждый.

Между тем он делал новые и тревожные открытия в отношении журналов. Хотя «Трансконтинентальный» опубликовал «Колокольный звон», оттуда чека не последовало. Деньги нужны были позарез, и Мартин написал в редакцию. Но получил лишь уклончивый ответ и просьбу прислать еще что-нибудь из его работ. В ожидании ответа он два дня голодал и теперь снова заложил велосипед. Аккуратно, дважды в неделю, он писал в «Трансконтинентальный», требуя свои пять долларов, но ответом его удостаивали далеко не всякий раз. Не знал он, что «Трансконтинентальный» уже многие годы висит на волоске, что это журнал даже не третьего, а десятого сорта, нет у него ни доброго имени, ни постоянных читателей и подписчиков, и он кое-как существует хлесткими заметками, отчасти патриотическими призывами да еще объявлениями, которые помещают на его страницах благотворительности ради. Не знал он и того, что «Трансконтинентальный» — единственный источник существования для редактора и коммерческого директора и выжать из него средства на жизнь они умудряются, лишь вечно переезжая с места на место в бегах от уплаты аренды и никогда, если их не возьмут за горло, не платя по счетам. Невдомек Мартину было и то, что принадлежащие ему пять долларов присвоил коммерческий директор и пустил на окраску своего дома в Аламеде, причем красил сам, вечерами, так как ему не по карману было платить маляру по ставкам профсоюза, а первый же нанятый им нечлен профсоюза угодил в больницу с переломом ключицы; кто-то выдернул у него из-под ног лестницу.

Не получил Мартин и десяти долларов, обещанных чикагской газетой, которая приняла «Охотников за сокровищами». Очерк напечатали, он проверил это в центральной читальне, но от редактора не мог добиться толку. Все письма оставались без ответа. Чтобы убедиться, что они доходят по назначению, Мартин несколько писем послал заказными. Значит, его просто грабят, грабеж среди бела дня. Он голодает, а у него крадут его добро, его товар, плата за который — единственная для него возможность купить хлеба.

«Мартин Иден»

«Мартин Иден»

Еженедельник «Юность и время», едва успев напечатать две трети его повести с продолжениями, объемом в двадцать одну тысячу слов, перестал существовать. И рухнула надежда получить свои шестнадцать долларов.

В довершение всего с одним из лучших, по мнению самого Мартина, рассказов «Выпивка» случилась беда. В отчаянии, в лихорадочных поисках подходящего журнала, Мартин послал этот рассказ в Сан-Франциско в светский еженедельник «Волна». «Волну» он выбрал главным образом потому, что надеялся быстро получить ответ — ведь рассказу предстояло лишь переплыть залив из Окленда. Две недели спустя он, вне себя от радости, увидел в газетном киоске, в последнем номере журнала, свой рассказ, напечатанный полностью, с иллюстрациями и на почетном месте. Он пошел домой и с бьющимся сердцем гадал, сколько же ему заплатят за одну из лучших его вещей. И до чего же приятно, что рассказ так вот сразу приняли и напечатали. Радость была еще полнее от неожиданности, ведь редактор не известил Мартина, что рассказ принят. Он подождал неделю, две, две с половиной, наконец отчаяние взяло верх над скромностью и Мартин написал редактору «Волны», что, вероятно, коммерческий директор запамятовал о его небольшом гонораре.

Даже если заплатят только пять долларов, этого хватит на бобы и гороховый суп, чтобы написать еще полдюжины рассказов, и возможно, ничуть не хуже.

Редактор ответил до того невозмутимо, что Мартин восхитился.

«Благодарим Вас за Ваш замечательный дар,— прочел он.— Все в редакции прочли рассказ с огромным удовольствием и, как видите, опубликовали его в ближайшем же номере и на почетном месте. Искренне надеемся, что иллюстрации Вам понравились.

Перечитав Ваше письмо, мы увидели, что Вы по недоразумению решили, что мы платим за материалы, нами не заказанные. У нас это не принято, а ведь Ваша рукопись поступила не по заказу. Когда мы получили рассказ, мы, естественно, полагали, что это наше правило Вам известно. Мы можем лишь глубоко сожалеть об этом прискорбном недоразумении и заверить Вас в нашем неизменном уважении. Еще раз благодарим Вас за ваш любезный дар, надеемся в ближайшем будущем получить от Вас и еще материалы.

Остаемся... и проч.»

Был в письме и постскриптум, смысл которого сводился к тому, что хотя «Волну» никому не высылают бесплатно, Мартину рады будут предоставить бесплатную подписку на следующий год.

После этого опыта Мартин стал печатать наверху первой

страницы всех своих рукописей: «Подлежит оплате по вашей обычной ставке».

Придет день, утешал он себя, когда они будут подлежать оплате по *моей* обычной ставке.

В ту пору он открыл в себе страсть к совершенству, она заставила его переписать и отшлифовать «Толчею», «Вино жизни», «Радость», «Голоса моря» и еще кое-что из ранних работ. Как и прежде, ему не хватало и девятнадцати часов в день. Он писал невероятно много и невероятно много читал, за работой забывая о мученьях, которые испытывал, бросив курить. Обещанное Руфью средство от куренья с кричащей этикеткой Мартин засунул в самый недосягаемый угол комнаты. Особенно он страдал без табака, когда приходилось голодать; но как бы часто он ни подавлял острое желание курить, оно не слабело. Мартин считал отказ от курева самым трудным из всего, чего он достиг, а на взгляд Руфи, он всего лишь поступал правильно. Лекарство от курения она купила ему на деньги, что получала на булавки, и скоро начисто об этом забыла.

Свои сработанные по шаблону рассказики он терпеть не мог, издевался над ними, но они-то шли успешно. Благодаря им он все выкупил из заклада, расплатился почти со всеми долгами и купил новые шины для велосипеда. Рассказики хотя бы кормили его и давали время для работы, на которую он возлагал все надежды; но по-настоящему его поддержали сорок долларов, полученные раньше от «Белой мыши». Они укрепили его веру в себя и надежду, что подлинно первоклассные журналы станут платить неизвестному автору по крайней мере столько же, если не больше. Но вот загвоздка: надо еще пробиться в эти первоклассные журналы. Лучшие его рассказы, этюды, стихи напрасно стучались в их двери, а меж тем каждый месяц он читал в них прорву нудной, пошлой, безвкусной писанины. Если бы хоть один редактор снизошел черкнуть мне одну-единственную ободряющую строчку! Пускай то, что я пишу, непривычно, пускай это не подходит для их журналов по соображениям благоразумия, но есть же в моих рассказах хоть что-то стоящее, и не так мало, что заслуживает доброго слова. И Мартин брал какую-нибудь свою рукопись, к примеру «Приключение», читал и перечитывал ее и тщетно пытался понять, чем же оправдано молчание редакторов.

Наступила чудесная калифорнийская весна, а с ней кончилась полоса достатка. Несколько недель Мартина тревожило странное молчание литературного агентства, поставляющего газетам короткие рассказы. И однажды ему сразу вернули по почте десять безупречно сработанных рассказиков. Их сопровождало краткое извещение: в агентстве избыток материалов и оно снова начнет покупать рукописи не раньше чем через несколько месяцев.

А Мартин в расчете на эти десять вещиц даже позволил себе кое-какие роскошества. Последнее время агентство платило ему по пять долларов за штуку и принимало все подряд. И он полагал, что эти десять как бы уже проданы, и соответственно жил так, словно у него в кармане пятьдесят долларов. И вдруг опять началась полоса безденежья,— он продолжал посылать свои ранние опыты в издания, которые его печатали, но платили гроши, а поздние предлагал журналам, которые их не покупали. И опять он стал наведываться в Окленд к ростовщику, отдавать вещи в заклад. Несколько шуток и юмористических стишков, проданные нью-йоркским еженедельникам, позволяли только-только сводить концы с концами. Тогда-то он написал в несколько солидных изданий, выходящих ежемесячно или раз в три месяца, справляясь об условиях публикации, и из ответов узнал, что там редко рассматривают рукописи, присланные не по заказу, а в основном печатают материалы, которые заказывают известным специалистам, авторитетам в той или иной области.

ГЛАВА 29

Лето для Мартина выдалось тяжелое. Рецензенты и редакторы разъехались отдыхать, и те издания, которые обычно сообщали о своем решении недели через три, теперь задерживали рукописи месяца на три, а то и больше. Одно утешало: из-за этого застоя он экономил на почтовых расходах. Только вороватые журнальчики, видно, не утратили расторопности, и Мартин отдал им все свои ранние опыты, такие, как «Ловцы жемчуга», «Профессия моряка», «Ловля черепах» и «Северо-восточный пассат». Эти рукописи не принесли ему ни гроша. Правда, после полугодовой переписки Мартин пошел на уступки — и получил безопасную бритву за «Ловлю черепах», а за «Северо-восточный пассат» «Акрополь», пообещав заплатить пять долларов наличными и сверх того выслать пять годовых подписок, выполнил только вторую половину обещания.

За сонет о Стивенсоне Мартин ухитрился выжать два доллара из бостонского журнала, издатель которого обладал изысканным вкусом Мэтью Арнольда [1], но тощим кошельком. «Пери и жемчужина» — остроумная поэма-пародия в двести строк, только что законченная, с пылу с жару, покорила сердце редактора журнала, издающегося в Сан-Франциско на средства железнодорожной компании. Редактор написал Мартину и предложил вместо го-

[1] Мэтью Арнольд (1822—1888) — английский поэт, критик, эссеист.

норара за поэму бесплатный проезд по железной дороге. Мартин письмом спросил, можно ли передать это право другому лицу. Оказалось, нет, нельзя, а значит, денег за это не выручишь, и потому он попросил вернуть поэму. Поэму он получил вместе с сожалениями редактора и опять послал ее в Сан-Франциско, на этот раз в «Осу», модный ежемесячник, который был когда-то основан и умело вознесен в число звезд первой величины одним блестящим журналистом. Но популярность «Осы» стала меркнуть задолго до того, как Мартин появился на свет. Редактор обещал Мартину за поэму пятнадцать долларов, но, напечатав ее, казалось, забыл о своем обещании. Несколько напоминаний Мартина остались без ответа, тогда он сочинил гневное письмо, и ответ пришел. Отвечал уже новый редактор, он холодно сообщал, что не считает себя ответственным за ошибки своего предшественника, и, кстати сказать, сам он о поэме отнюдь не высокого мнения.

Но бессовестней всех обошелся с Мартином чикагский журнал «Глобус». Мартин долго не хотел предлагать издателям «Голоса моря» — пока его не вынудил к этому голод. Десяток журналов их отверг, и наконец они осели в редакции «Глобуса». В цикле этом было тридцать стихотворений, и Мартин должен был получить по доллару за каждое. В первый месяц было напечатано четыре стихотворения, и он сразу же получил чек на четыре доллара; но, заглянув в журнал, пришел в ужас, так жестоко расправились с его стихами. У одних стихотворений изменили название; вместо латинского «Finis» поставили «Конец», «Песнь Внешнего рифа» заменили на «Песнь кораллового рифа». Одному стихотворению дали совсем иное, никак не подходящее название: вместо «Огни медузы» редактор напечатал «Обратный путь». А над самими стихами учинили поистине зверскую расправу. Мартина бросало в пот, он глухо стонал и хватался за голову. Фразы, строки, строфы были выброшены, перетасованы или перепутаны самым немыслимым образом. Кое-где его строки и строфы были заменены чужими. Не верилось, что редактор в здравом уме и твердой памяти мог так чудовищно обойтись с рукописью, и всего вероятней казалось, что стихи изувечил какой-нибудь мальчишка на побегушках или стенографистка. Мартин тотчас написал редактору, взмолился: пусть остальные стихи не печатают и вернут ему. Он писал снова и снова, просил, умолял, грозил, но письма оставались без ответа. Месяц за месяцем продолжалась расправа, пока не вышли все тридцать стихотворений, и месяц за месяцем Мартин получал чек за те, что появлялись в очередном номере.

Наперекор всем злосчастьям его поддерживало воспоминание о сорока долларах из «Белой мыши», хотя все больше и больше времени приходилось тратить на поделки. Оказалось, можно прожить, печатаясь в сельскохозяйственных еженедельниках и в спе-

циальных газетах и журналах, а вот религиозные еженедельники могут запросто уморить голодом. В самую трудную пору, когда черный костюм был в закладе, Мартину — как он думал — неслыханно повезло, он стал победителем конкурса, устроенного окружным комитетом республиканской партии. Конкурс шел по трем жанрам, Мартин участвовал во всех трех, горько смеясь над собой — вот до чего он докатился! Его стихотворение получило первую премию в десять долларов, песня к выборной кампании — вторую премию в пять долларов, заметка о принципах республиканской партии — первую премию в двадцать пять долларов, это казалось ему весьма лестно и приятно, пока он не попытался получить эти деньги. Что-то приключилось в окружном комитете, и, хотя в нем состояли богатый банкир и сенатор, деньги не появлялись. А пока там тянули, Мартин доказал, что отлично разбирается в принципах демократической партии, завоевав первую премию на таком же конкурсе. И даже деньги получил — двадцать пять долларов. А вот сорок долларов, выигранные в конкурсе республиканской партии, он так и не получил.

Не зная, как извернуться, чтобы повидать Руфь, и решив, что, если идти пешком из Северного Окленда до ее дома и обратно, на это уйдет уйма времени, Мартин выкупил из заклада велосипед, а черный костюм оставил. Велосипед упражнял мускулы и, сберегая время для работы, позволял при этом встречаться с Руфью. Для велосипедиста парусиновые брюки до колен и старый свитер — костюм вполне приличный, и можно было во второй половине дня поехать на прогулку вдвоем. А поговорить с нею в доме Морзов больше не удавалось, там была в разгаре кампания развлечений, начатая ее матерью. Те, кого Мартин там встречал и на кого еще совсем недавно смотрел снизу вверх, девушки и молодые люди из круга Руфи, стали ему скучны. Они уже не казались ему существами высшей породы. Нужда, разочарование и непомерная напряженная работа издергали его, он стал раздражителен, и разговоры этой публики его бесили. И не потому, что он слишком возомнил о себе. Узость их ума очевидна, если мерило — мыслители, чьи книги он прочитал. В доме Руфи он не встречал людей, выделяющихся умом, за исключением профессора Колдуэла, но Колдуэла он встретил там только раз. А прочие сплошь были тупицы, пичтожества, догматики и невежды. Всего сильней поражало их невежество. Что с ними стряслось? Куда они девали свои познания? Им доступны были те же книги, что и ему. Как же они ничего не извлекли из этих книг?

Мартин знал, есть на свете великие умы, проницательные и трезвые мыслители. Доказательства тому — книги, книги, благодаря которым он стал образованнее всяких морзов. И он знал: в мире существуют люди и умнее и значительнее тех, кого он встре-

чал у Морзов. Он читал английские романы, где, случалось, светские господа и дамы беседовали о политике, о философии. И читал о салонах в больших городах, даже в Америке, где собираются вместе люди искусства и науки. Когда-то он по глупости воображал, будто все хорошо одетые и выхоленные господа, стоящие над рабочим классом, наделены могуществом интеллекта и силой красоты. Ему казалось, крахмальный воротничок — верный признак культуры, и он, введенный в заблуждение, верил, будто высшее образование и духовность — одно и то же.

Что ж, он будет пробираться дальше и выше. И возьмет с собой Руфь. Он так ее любит, и он уверен, она всюду будет блистать. Он давно уже понял, что в детстве и юности ему мешало развиваться его окружение, а теперь осознал, что и Руфь была скована своим окружением. Не оказалось у нее возможности совершенствоваться. Книги на полках в отцовском кабинете, картины на стенах, ноты на фортепьяно — все это показное, все мишура. К настоящей литературе, настоящей живописи, настоящей музыке Морзы и им подобные слепы и глухи. Но превыше всего этого сама жизнь, а от жизни они безнадежно далеки, понятия о ней не имеют. Они принадлежат к унитарианской церкви, носят маску терпимости, даже некоторого свободомыслия, и однако в своих естественнонаучных взглядах отстали на два поколения: они мыслят на уровне средневековья, а их понятия об основах бытия на земле и о вселенной поразили Мартина чисто метафизическим подходом, столь же молодым, как самый молодой народ на земле, и столь же древним, как пещерный человек, и еще древнее — подобное же мировосприятие в эпоху плейстоцена заставляло первого обезьяночеловека бояться темноты, а первого дикаря-иудея создать Еву из ребра Адама. Декарт сотворил идеалистическую теорию вселенной, исходя из представлений своего ничтожного «я», а знаменитый британский священник [1] обрушился на эволюцию в столь злой сатире, что немедленно заслужил рукоплескания и его имя осталось пресловутой закорючкой на скрижалях истории.

Так Мартин думал, размышлял, и наконец его осенило, что разница между адвокатами, офицерами, дельцами, главными бухгалтерами, между всеми теми, с кем он недавно познакомился, и хорошо ему знакомым рабочим людом, в сущности, состоит в том, что они по-разному едят, по-разному одеваются, селятся в разных кварталах. Но и тем и другим безусловно недостает чего-то существенного, что нашел он в себе и в книгах. Морзы показали ему все, чем блистает их круг, и светила эти отнюдь его не ослепили. Сам он — нищий и в рабстве у ростовщика, но он выше тех, с кем по-

[1] Имеются в виду Джонатан Свифт и четвертая часть его знаменитой книги «Путешествия Гулливера».

знакомился у Морзов, и сознает это; и когда, выкупив из заклада свой единственный приличный костюм, он почувствовал себя человеком и снова стал бывать среди них, в нем все дрожало от оскорбления — так чувствовал бы себя оскорбленным принц, которого судьба обрекла жить среди козопасов.

— Вы ненавидите и боитесь социалистов,— однажды за обедом сказал Мартин мистеру Морзу,— но почему? Ведь вы не знаете ни их самих, ни их взглядов.

Разговор о социализме зашел оттого, что миссис Морз принялась до неприличия расхваливать мистера Хэпгуда. Мартин терпеть его не мог и от одного упоминания об этом самовлюбленном пошляке начинал горячиться.

— Да,— сказал он,— говорят, Чарли Хэпгуд — подающий надежды молодой человек. И это верно. Он еще успеет стать губернатором штата и — как знать? — может, еще войдет и в сенат Соединенных Штатов.

— Почему вы так думаете? — спросила миссис Морз.

— Я слышал его речь во время предвыборной кампании. Она уж так хитроумно глупа и лишена всякой оригинальности, и притом так убедительна, что руководители просто не могли не счесть его человеком надежным и подходящим, ведь его плоские рассуждения в точности соответствуют плоским рассуждениям рядового избирателя, и... ну, известно ведь, когда преподносишь человеку его же собственные мысли, да еще принаряженные, это ему лестно.

— Право, мне кажется, вы завидуете мистеру Хэпгуду,— вступила в разговор Руфь.

— Упаси бог!

На лице Мартина выразился такой ужас, что миссис Морз кинулась в бой.

— Не утверждаете же вы, будто мистер Хэпгуд глуп? — ледяным тоном спросила она.

— Не глупее рядового республиканца,— резко сказал Мартин,— или любого демократа, какая разница. Все они тупы, если не хитры, но хитрых раз-два — и обчелся. Среди республиканцев подлинно умны только миллионеры и их сознательные приспешники. Эти знают что к чему и своей выгоды не упустят.

— Я республиканец,— небрежно вставил мистер Морз.— Соблаговолите сказать, к какой категории вы отнесете меня?

— Ну, вы приспешник бессознательный.

— Приспешник?

— Ну да. Вы работаете на акционерные компании. Уголовные дела не ведете, интересы рабочих не защищаете. Ваш доход не зависит от тех, кто избивает жен, или от карманных воришек. Вы получаете средства к существованию от хозяев общества, а кто

человека кормит, тот над ним и хозяин. Да, вы приспешник. В ваших интересах отстаивать интересы капитала, которому вы служите.

Мистер Морз даже немного покраснел.

— Должен признаться, сэр, вы повторяете речи негодяев-социалистов.

Вот тут-то Мартин и заявил:

— Вы ненавидите и боитесь социалистов, но почему? Ведь вы не знаете ни их самих, ни их взглядов.

— Ваши-то взгляды, уж во всяком случае, попахивают социализмом,— ответил мистер Морз.

Меж тем Руфь в тревоге переводила взгляд с одного на другого, а миссис Морз сияла, радуясь случаю, который восстановил главу семьи против Мартина.

— Хоть я и говорю, что республиканцы глупы и уверен, что свобода, равенство и братство — мыльные пузыри, это еще не делает меня социалистом,— с улыбкой возразил Мартин.— Хоть я и расхожусь во мнениях с Джефферсоном и с тем французом, чьей антинаучной теории он следует, это еще не делает меня социалистом. Поверьте, мистер Морз, вы куда ближе к социализму, чем я, его заклятый враг.

— Изволите шутить,— только и нашелся ответить хозяин дома.

— Нисколько. Я говорю вполне серьезно. Вы все еще верите в равенство, и однако служите акционерным обществам, а акционерные общества изо дня в день усердно хоронят равенство. И вы называете меня социалистом, потому что я отрицаю равенство, потому что высказываю вслух те истины, которые вы утверждаете самой своей жизнью. Республиканцы — враги равенства, хотя большинство их, воюя против равенства, без конца твердит о равенстве. Во имя равенства они уничтожают равенство. Вот почему я называю их глупцами. Ну, а я индивидуалист. Я уверен, что в беге побеждает проворнейший, а в битве — сильнейший. Этот урок я усвоил из биологии, по крайней мере мне кажется, что усвоил. Итак, я индивидуалист, а индивидуалист извечный, прирожденный враг социализма.

— Но вы бываете на собраниях социалистов,— с вызовом бросил мистер Морз.

— Конечно, как лазутчик — в лагере противника. А как иначе узнать врага? Кроме того, на их собраниях я получаю удовольствие. Они отменные спорщики, и, правы они или нет, они много читали. Любой из них знает о социологии и прочих логиях куда больше среднего капиталиста. Да, я раз шесть бывал на их собраниях, но не стал от этого социалистом, как не стал республиканцем, хоть и наслушался Чарли Хэпгуда.

— Что ни говорите, а все-таки мне кажется, вы склоняетесь на сторону социалистов,— беспомощно возразил мистер Морз.

«Ну и ну,— подумал Мартин,— ни черта он не понял. Ни единого слова, где же вся его образованность?»

Так на путях своего развития Мартин оказался лицом к лицу с моралью, коренящейся в экономике, с моралью классовой, и скоро она стала злейшим его врагом. Сам он придерживался морали осмысленной, и еще больше пошлой напыщенности его оскорбляла мораль тех, кто его окружал, нелепая мешанина из практицизма, метафизики, слюнтяйства и фальши.

Образчик этой нелепой и нечистой смеси он встретил и в более близком окружении. За его сестрой Мэриан ухаживал трудолюбивый молодой механик из немцев, который, основательно изучив дело, завел собственную мастерскую по ремонту велосипедов. Вдобавок он стал приторговывать дешевыми велосипедами и жил теперь в достатке. Незадолго перед тем как объявить о помолвке, Мэриан навестила Мартина и, шутки ради, стала гадать ему по руке. В следующий раз она привела с собой Германа Шмидта. Мартин как положено принял гостей и поздравил, но речь его, слишком изящная и непринужденная, пришлась не по вкусу дубоватому жениху сестры. Плохое впечатление еще усилилось оттого, что Мартин прочел стихи, посвященные прошлому приходу Мэриан. Стихи были легкие, изысканные, Мартин назвал их «Гадалка». Прочитал он стихи и удивился: на лице сестры ни малейшего удовольствия. Наоборот, глаза ее с тревогой устремлены на жениха; Мартин проследил за ее взглядом и в асимметричных чертах этой почтенной личности прочел одно лишь хмурое, сердитое неодобрение. О стихах не сказано было ни слова, гости вскоре ушли, и Мартин забыл об этом случае, хотя в ту минуту поразился: ему казалось, любая женщина, хотя бы и работница, должна быть польщена и рада, если о ней написаны стихи.

Через несколько дней Мэриан опять к нему пришла, на этот раз одна. И, едва переступив порог, принялась горько упрекать его за то, как он себя вел.

— Послушай, Мэриан, ты так говоришь, будто стыдишься своих родных или, по крайней мере, своего брата,— с укором заметил Мартин.

— А я и стыжусь,— выпалила она.

От обиды в глазах у нее заблестели слезы, и Мартин растерялся. Чем бы ни была вызвана эта обида, она непритворна.

— Да с чего твоему Герману ревновать, Мэриан, я же твой брат и стихи написал о собственной сестре?

— Он не ревнует,— всхлипнула Мэриан.— Он говорит, это неприлично, не... непристойно.

Ошарашенный Мартин протяжно присвистнул, потом разыскал и перечел копию «Гадалки».

— Ничего такого тут нет,— сказал он наконец, протягивая листок сестре.— Прочти сама и покажи, что тут непристойно. Так ты, кажется, сказала?

— Он говорит, есть, ему видней,— был ответ. Мэриан отмахнулась от листка, поглядела на него с отвращением.— И он говорит, ты должен это изорвать. Он говорит, не желает он, чтоб про его жену такое писали, а каждый потом читай. Стыд, говорит, какой, он этого не потерпит.

— Послушай, Мэриан, да это же чепуха,— начал Мартин и вдруг передумал.

Перед ним несчастная девчонка, все равно переубеждать ее или ее мужа бесполезно, и, хотя вся история бессмысленна и нелепа, он решил покориться.

— Ладно,— объявил он, мелко изорвал рукопись и бросил в корзинку.

Хорошо уже то, что первый экземпляр все-таки отдан в редакцию одного из нью-йоркских журналов. Мэриан с мужем ничего не узнают, и ни ему самому, ни им, ни кому другому не повредит, если милое, безобидное стихотворение когда-нибудь напечатают.

Мэриан потянулась было к корзинке, замешкалась, попросила:

— Можно?

Мартин кивнул и задумчиво смотрел, как она собирает бумажные клочки — наглядное свидетельство успеха ее миссии — и сует в карман жакета. Она напомнила ему Лиззи Конноли, хотя не так была полна жизни, дерзости, великолепного задора, как та повстречавшаяся ему дважды девушка-работница. И однако они очень схожи — одеждой, повадками, и Мартин улыбнулся про себя, представив забавную картинку: вот которая-нибудь из них появляется в гостиной миссис Морз. Но веселость угасла, и его обдало холодом безмерного одиночества. Эта его сестра и гостиная Морзов — вехи на дороге, по которой он идет. И он оставил их позади. Он с нежностью оглядел немногие свои книги. Только они ему и остались, единственные его друзья.

— Что такое? — в изумлении спросил он, вдруг возвращенный к действительности.

Мэриан повторила вопрос.

— Почему я не поступаю на службу? — Мартин рассмеялся, но не совсем искренне.— Я вижу, этот твой Герман накрутил тебя.

Сестра покачала головой.

— Не ври,— резко сказал Мартин, и Мэриан виновато кивнула, подтверждая справедливость обвинения.

— Так вот, скажи своему Герману, чтоб не совался куда не

следует. Скажи, мол, когда я пишу стихи о девушке, за которой он ухаживает, это его дело, а остальное его не касается. Понятно? По-твоему, писатель из меня не получится, так? — продолжал он.— По-твоему, никчемный я человек?.. ничего не добился и позорю своих родных?

— По мне, ты бы лучше определился на место,— твердо сказала Мэриан, она явно говорила искренне.— Герман сказал...

— К чертям Германа! — добродушно перебил Мартин.— Я вот что хочу знать: когда вы поженитесь. И узнай у своего Германа, соизволит ли он принять от меня свадебный подарок.

Сестра ушла, а Мартин призадумался и разок-другой рассмеялся, но горек был его смех — он видел, что сестра и ее жених, и все и каждый, будь то люди его класса или класса, к которому принадлежит Руфь, одинаково подгоняют свое ничтожное существованьице под убогие ничтожные шаблоны; косные, они сбиваются в стадо, в постоянной оглядке друг на друга, они рабы прописных истин, и потому безлики и неспособны жить подлинной жизнью. Вот они проходят перед ним вереницей призраков: Бернард Хигинботем об руку с мистером Батлером, Герман Шмидт плечом к плечу с Чарли Хэпгудом, и одного за другим и попарно он оценивал их и отвергал, оценивал по меркам разума и морали, которым его научили книги. Тщетно он спрашивал себя, где же великие души, великие люди? Не находил он их среди поверхностных, грубых и тупых умов, что явились на зов воображения в его тесную комнатушку. Они ему были отвратительны, как, наверно, Цирцее отвратительны были ее свиньи. Но вот он отослал последнего и, казалось, остался один, и тут явился запоздавший, нежданный и незваный. Мартин вгляделся: шляпа с широченными полями, двубортный пиджак и походка враскачку — он узнал молодого хулигана, прежнего себя.

— Ты был такой же, как все, парень,— усмехнулся Мартин.— Ничуть не нравственней и не грамотней. Ты думал и действовал не по-своему. Твои мнения, как и одежда, были скроены по тому же шаблону, что у всех, ты поступал так, как считали правильным другие. Ты верховодил в своей шайке, потому что другие объявили: ты парень что надо. Ты дрался и правил шайкой не потому, что тебе это нравилось, нет, в душе ты все это презирал, но потому, что тебя похлопывали по плечу. Ты лупил Чурбана потому, что не хотел сдаваться, а сдаваться не хотел отчасти потому, что был ты грубое животное, и еще потому, что верил, как все вокруг, будто мужчина должен быть кровожаден и жесток, должен уметь измордовать, изувечить ближнего. Да что говорить, ты, молокосос, даже девчонок отбивал у других парней не потому, что обмирал по этим девчонкам, а потому что теми, кто тебя окружал, кто определял уровень твоей морали, движет инстинкт дико-

го жеребца или козла. Ну вот, прошли годы, что же теперь ты об этом думаешь?

Словно в ответ, видение мигом преобразилось. Шляпу с широченными полями и двубортный пиджак сменила не столь топорная одежда; не стало грубости в лице, жестокости во взгляде; и лицо, очищенное и облагороженное общением с красотой и знанием, просияло внутренним светом. Теперь видение очень походило на него сегодняшнего, и, вглядываясь, Мартин увидел настольную лампу, освещавшую это лицо, и книгу, над которой оно склонилось. Он взглянул на заглавие и прочел: «Курс эстетики». Потом он слился с видением, подрезал фитиль и уже сам принялся читать дальше «Курс эстетики».

ГЛАВА 30

В ясный осенний день, в такой же день бабьего лета, как тот, когда год назад они открылись друг другу в любви, Мартин читал Руфи «Стихи о любви». В этот предвечерний час они, как часто бывало, расположились на своем любимом бугорке среди холмов. Руфь порой перебивала Мартина восторженными восклицаниями, и теперь, отложив последнюю страницу рукописи к остальным, Мартин ждал ее суда.

Руфь медлила и начала не вдруг, запинаясь, не решаясь облечь в слова суровый приговор.

— По-моему, это прекрасные стихи, да, прекрасные, но ведь денег они не принесут, ты согласен? Понимаешь, что я хочу сказать? — продолжала она почти умоляюще.— То, что ты пишешь, не подходит для издателей. Что-то, уж не знаю что, не позволяет тебе заработать этим на жизнь, может быть, тут дело в спросе. Только, пожалуйста, милый, пойми меня правильно. Я польщена, и горда, и все такое, что стихи эти посвящены мне, иначе какая бы я была женщина. Но они не помогают нам пожениться. Неужели ты не понимаешь, Мартин? Не считай меня корыстной. Любовь, наше будущее — вот что меня тревожит. С тех пор, как мы узнали, что любим друг друга, прошел целый год, а день свадьбы не стал ближе. Не сочти нескромностью, что я так прямо говорю о нашем браке, но ведь на карту поставлена моя любовь, вся моя жизнь. Почему ты не попытаешься устроиться в газету, если уж тебе так необходимо писать? Почему не стать репортером... хотя бы на время?

— Это испортит мой стиль,— негромко, устало возразил Мартин.— Ты не представляешь, как я отрабатывал стиль.

— Ну, а эти рассказики для газет,— заспорила Руфь,— ты сам называешь их поделками. Ты столько их написал. Они разве не портят тебе стиль?

— Нет, то совсем другое. Рассказики я вымучивал, выжимал из себя после того, как весь день оттачивал стиль. А работа репортера — это сплошное ремесленничество с утра до вечера, там вся жизнь уходит на поделки. И вся жизнь — какой-то водоворот, только и знаешь настоящую минуту, нет ни прошлого, ни будущего, и уж, конечно, недосуг подумать о стиле, разве что о репортерском, но это уже никакая не литература. Стать репортером сейчас, когда у меня только-только складывается, кристаллизуется свой стиль, для меня как писателя — самоубийство. Ведь каждый такой рассказик, каждое слово каждого рассказика было насилием над собой, писалось вопреки уважению к себе, вопреки моему уважению к красоте. Поверь, от этого занятия меня тошнит. Грех этим заниматься. И втайне я был доволен, когда их не покупали, хоть и приходилось отдавать в заклад костюм. Но какая была радость писать «Стихи о любви»! Высочайшая творческая радость! Она — награда за все.

Мартин не знал, что Руфь не понимает творческой радости. Слова эти она употребляла, от нее-то он и услышал их впервые. Она читала об этом, изучала это в университете, когда готовилась стать бакалавром изящных искусств; но сама неспособна была ни на самостоятельную мысль, ни на творческое усилие, и все, что будто бы говорило о ее высокой культуре, она повторяла с чужих слов, все получено было из третьих рук.

— А может быть, редактор не без основания правил «Голоса моря»? — спросила Руфь.— Не забудь, прежде чем стать редактором, он должен был доказать, что разбирается в литературе.

— Это лишь подтверждает, как живуче все общепринятое,— возразил Мартин, не сдержав давнего ожесточения против редакторской братии.— То, что существует, не только правильно, но и лучшее из всего возможного. Раз оно существует, значит, хорошо, полезно, имеет право существовать,— и, заметь, как верит рядовой человек, существовать не только в нынешних условиях, но и в любых условиях. Верит он в такую чепуху, разумеется, из-за своего невежества, а невежество его рождено всего-навсего убийственной формой мышления, описанной Вейнингером. Эти приверженцы общепринятого воображают, будто мыслят, и, сами лишенные способности мыслить, распоряжаются жизнью тех немногих, кто и вправду мыслит.

Мартин замолчал, до него вдруг дошло, что Руфи не понять его речей.

— Знать не знаю, кто такой этот Вейнингер,— отрезала Руфь.— И все эти рассуждения носят слишком общий характер, я просто не улавливаю твоей логики. Я говорила о способности редактора разобраться...

— Да откуда она, эта способность,— прервал Мартин.— Девяносто девять процентов редакторов обыкновенные неудачники. Несостоявшиеся писатели. Не думай, будто они предпочли нудную необходимость торчать за редакторским столом, зависеть от тиража и коммерческого директора радости творить. Они пробовали писать — и не сумели. И получается дьявольская нелепость. Каждую дверь в литературу охраняют сторожевые псы — несостоявшиеся писатели. Редакторы, помощники редакторов, младшие редакторы,— в большинстве, и те, кому журналы и издатели поручают читать рукописи, тоже, почти все — люди, которые хотели писать и не сумели. И однако они, меньше всех пригодные для этой роли, именно они решают, что следует и что не следует печатать,— именно они, доказавшие, насколько они заурядны и бездарны, судят незаурядность и талант. А вслед за ними идут газетные и журнальные критики, опять же почти сплошь несостоявшиеся писатели. Не уверяй меня, будто они не мечтали творить, не пытались писать стихи или прозу, пытались, да не вышло. Недаром рядовая рецензия тошнотворна, как рыбий жир. Ты же знаешь мое мнение о рецензентах и так называемых критиках. Правда, есть и замечательные критики, но они редки, словно кометы в небе. Если я провалюсь как писатель, в самый раз заделаться редактором. Что-что, а на хлеб с маслом да еще и с джемом заработаю.

Руфь мигом приметила противоречие в словах возлюбленного и обратила это против него.

— Но, Мартин, если так, если все двери на запоре, как ты сейчас убедительно доказал, откуда же взялись знаменитые писатели?

— Они достигли невозможного,— ответил он.— Они работали так блистательно, с таким огнем, что испепелили всех, кто стоял на их пути. Успех каждого из них — чудо, выигрыш там, где ставка тысяча против одного. Они добились успеха потому, что они закаленные в битвах гиганты Карлейля, против которых никому не устоять. Вот и я, я должен достичь невозможного.

— А если не удастся? Ты же должен подумать и обо мне, Мартин.

— Не удастся? — он посмотрел на нее так, словно услышал такое, о чем и помыслить невозможно. Потом в глазах блеснуло понимание.— Если не удастся, я стану редактором, а ты женой редактора.

В ответ на шуточку Руфь нахмурилась — и это вышло у нее так прелестно, так мило, что Мартин обнял ее и поцелуями согнал тень с ее лица.

— Ну, не надо, оставь,— не без труда она воспротивилась пленяющей ее силе.— Я говорила с папой и с мамой. В первый

раз в жизни я так взбунтовалась. Потребовала, чтобы меня выслушали. Я оказалась очень непослушной дочерью. Ты ведь знаешь, они предубеждены против тебя, но я снова и снова твердила, что люблю тебя и никогда не разлюблю, и наконец папа сдался и сказал, если ты хочешь, прямо сейчас поступай к нему в контору. И сам предложил с первого же дня платить тебе прилично, чтобы мы могли пожениться и купить где-нибудь домик. По-моему, это очень благородно с его стороны... ведь правда?

С тупой болью отчаяния в сердце Мартин машинально потянулся за табаком и бумагой (забыл, что больше не носит их с собой), хотел свернуть цигарку, пробормотал что-то невнятное, а Руфь продолжала:

— Откровенно говоря,— ты не обижайся, я только хочу, чтобы ты ясно понял, как он к тебе относится,— ему не нравятся твои радикальные взгляды, и он считает, что ты ленив. Я-то знаю, ты совсем не ленивый. Я знаю, ты очень усердно работаешь.

«Даже она этого не знает»,— подумалось Мартину.

— Ну, а как насчет моих взглядов? — спросил он.— По-твоему, они такие уж радикальные?

Он смотрел ей прямо в глаза и ждал ответа.

— По-моему... ну... они меня сильно смущают,— ответила Руфь.

Все ясно. Мартин был подавлен, жизнь вдруг стала беспросветной, он даже забыл о предложении Руфи, об этой ее попытке уговорить его пойти служить. А она, не решаясь больше настаивать, готова была ждать ответа, пока не понадобится снова спросить о том же.

Долго ждать не пришлось. Мартину тоже было о чем ее спросить. Он хотел понять, верит ли она в него по-настоящему, и не прошло и недели, как оба получили ответ. Мартин ускорил события — прочел Руфи свой «Позор солнца».

— Почему бы тебе не стать репортером? — спросила она, когда он дочитал до конца.— Ты так любишь писать, и я уверена, ты бы добился успеха. Был бы видным журналистом, человеком с именем. Есть же замечательные специальные корреспонденты. Они прекрасно зарабатывают и разъезжают по всему свету. Куда их только не посылают — и в сердце Африки, как Стенли, и брать интервью у папы римского, и в Тибет, в места, где не бывал ни один исследователь.

— Значит, мой этюд тебе не понравился? — вместо ответа спросил Мартин.— По-твоему, я могу показать себя в журналистике, но не в литературе?.

— Нет-нет, конечно, понравился. Очень хорошо написано. Но боюсь, для читателя это слишком сложно. Для меня, во всяком случае, сложно. Звучит прекрасно, но непонятно. Твой научный

жаргон до меня не доходит. Ты всегда слишком увлекаешься, милый, и, наверно, разобрался в таких вещах, в которых и я, и другие разобраться неспособны.

— Вероятно, тебе мешает философская терминология,— только и мог сказать Мартин.

Он прочитал ей сейчас самое зрелое из всего, что когда-либо продумал и высказал на бумаге, он еще не остыл от волнения, и приговор Руфи ошеломил его.

— Как бы плохо это ни было написано, неужели тебе совсем не интересно? — допытывался он.— Неужели не интересна сама мысль?

Руфь покачала головой.

— Нет, это так непохоже на все, что я читала раньше. Я читаю Метерлинка и понимаю его...

— Мистицизм его понимаешь? — не удержался Мартин.

— Да, а вот твоя статья, ты ведь как будто нападаешь на него, этого я не понимаю. Конечно, что касается оригинальности...

Мартин нетерпеливо махнул рукой, но смолчал. А потом вдруг спохватился, что Руфь все говорит, говорит уже давно.

— В конце концов, писательство было твоей забавой,— говорила она.— Право же, ты забавлялся достаточно долго. Пора принять жизнь всерьез — нашу с тобой жизнь, Мартин. До сих пор ты жил только для себя.

— Ты хочешь, чтобы я пошел служить? — спросил он.

— Да. Папа предложил тебе...

— Это я понял,— перебил Мартин,— но я хочу знать, ты что, больше в меня не веришь?

Руфь молча сжала его руку, глаза ее затуманились.

— В твое писательство, милый,— призналась она чуть слышно.

— Ты читала множество моих работ,— резко продолжал он.— Что ты о них думаешь? Они безнадежно плохи? А если сравнить с тем, что пишут другие?

— Но других печатают, а твое... твое нет.

— Это не ответ. По-твоему, литература вовсе не мое призвание?

— Тогда я отвечу.— Руфь собралась с духом.— Я не думаю, что ты создан писателем. Прости меня, милый. Ты заставил меня сказать это прямо. И ты ведь знаешь, в литературе я разбираюсь лучше тебя.

— Да, ты бакалавр изящных искусств,— раздумчиво сказал Мартин,— должна бы разбираться... Но я еще не все сказал,— продолжал он после тягостного для обоих молчания.— Я знаю, на что способен. Никто не знает этого лучше меня. Я добьюсь успеха. Меня не остановишь. Мысли так и кипят во мне, ждут

воплощения в стихах, в прозе, в статьях. Нет, я не прошу, чтобы ты поверила в это. Не прошу верить ни в меня, ни во все то, что я пишу. Об одном прошу: люби меня и верь в любовь.

Год назад я просил тебя дать мне два года. Один мне еще остался. И я верю, клянусь тебе, еще до того, как он кончится, я добьюсь успеха. Помнишь, ты когда-то сказала: чтобы стать писателем, мне надо пройти через ученичество. Что ж, я и прошел. Я гнал вовсю, я уложился в недолгий срок. В конце пути ждала меня ты, и я не давал себе поблажки. Я забыл, что значит спокойно уснуть, понимаешь?

Поспать всласть и проснуться, просто оттого что выспался,— как давно я этого не знаю. Теперь меня поднимает будильник. Я завожу будильник на тот или иной час, смотря по тому, раньше или позже лег, и это последние мои осмысленные движения — завожу будильник, гашу лампу и проваливаюсь в сон.

Если за чтением я начинаю клевать носом, я откладываю серьезную книгу и берусь за более легкую. А если начинаю засыпать и над ней, бью кулаком по голове — гоню сон. Где-то я читал про человека, который боялся уснуть. Да, у Киплинга. Человек этот приспособил шпору — когда засыпал, в обмякшее тело впивалось стальное острие. Ну, и я сделал то же самое. Я смотрю на часы и решаю не убирать свою шпору до полуночи, или до часу, или до двух. И если засыпаю раньше времени, она меня пришпоривает. Месяцами я спал со шпорой. Я дошел до того, что пять с половиной часов сна стали мне казаться непозволительной роскошью. Теперь я сплю четыре часа. Я изголодался по сну. Бывает, от недосыпа я брежу наяву, бывает, меня соблазняет смерть — ее покой и сон, бывает, меня преследуют строки Лонгфелло:

Молчаливо глубокое море,
Все в нем спит без тревоги и горя.
Только шаг — в тишину, в глубину —
И ко дну — и навеки усну.

Это, разумеется, чепуха. Просто сдают нервы, переутомлен мозг. Но ведь главное — ради чего все это? Ради тебя. Чтобы сократить срок ученичества. Чтобы поторопить Успех. Теперь ученичество окончено. Я знаю, как снаряжен. Даю голову на отсечение, каждый месяц я узнаю больше, чем обычный студент колледжа за год. Я это знаю, поверь. Я не стал бы тебе все это рассказывать, но мне позарез необходимо, чтобы ты меня поняла. Это не похвальба. Мое мерило — книги. Сегодня твои братья — дикари, невежды по сравнению со мной, столько знаний я выжал из книг, пока они спали. Было время, я хотел прославиться. Сейчас слава меня мало заботит. Мне нужна ты, по тебе я изголо-

дался больше, чем по еде, по одежде, по признанию. Есть у меня мечта: положить голову тебе на грудь и спать долго, долго... года не пройдет, и мечта моя сбудется.

Исходящая от Мартина сила волна за волной обдавала Руфь, и как раз тогда, когда он был всего упорней, неподатливей, ее всего неодолимей влекло к нему. Неукротимая заразительная энергия трепетала сейчас страстью в его голосе, сверкала в глазах всей мощью ума и бьющей через край жизни. В этот миг на один только миг уверенность Руфи дала трещину, и в просвет она увидела подлинного Мартина Идена, великолепного, непобедимого; и как бывают минуты слабости у дрессировщика, так и Руфь на миг усомнилась было, сумеет ли приручить этого неистово самобытного человека.

— И еще одно,— стремительно продолжал Мартин.— Ты меня любишь. Но почему? Как раз за то, что есть во мне и что заставляет меня писать. Любишь, потому что я в чем-то не такой, как мужчины, которых ты знала и могла бы полюбить. Я не создан для конторы или бухгалтерии, для торгашеского крохоборства и всяческого крючкотворства. Заставь меня заняться всем этим — стать таким, как все эти люди, выполнять ту же работу, дышать тем же воздухом, исповедовать те же взгляды,— и ты уничтожишь разницу между нами, уничтожишь меня, уничтожишь именно то во мне, что любишь. Я жив тем, что жажду писать. Будь я заурядный болван, я бы не захотел писать, а ты бы не захотела меня в мужья.

— Но ты забываешь,— прервала Руфь, быстрый ум ее мгновенно уловил нехитрую параллель: — Всегда были чудаки-изобретатели, одержимые несбыточными мечтами, пытались, например, изобрести вечный двигатель, а их семьи из-за этого голодали. Несомненно жены любили их и страдали вместе с ними и за них, но не за сумасбродное увлечение каким-нибудь вечным двигателем, а вопреки ему.

— Верно,— был ответ.— Но не все изобретатели были чудаками, иные голодали, стараясь изобрести вещи полезные и осуществимые, и, как известно, иногда им это удавалось. Право же, я не стремлюсь к невозможному...

— Ты сам называл это «достичь невозможного»,— вставила Руфь.

— Это же не буквально. Я стремлюсь к тому, что удавалось другим до меня,— писать и зарабатывать этим на хлеб.

Руфь промолчала, и это подхлестнуло Мартина.

— Значит, по-твоему, моя цель такая же несбыточная мечта, как вечный двигатель? — спросил он.

Руфь сжала его руку — ласково, с нежностью матери, жалеющей обиженного ребенка, и для Мартина это было внятным от-

ветом. А для Руфи он в ту минуту и правда был лишь обиженный ребенок, одержимый, стремящийся к невозможному.

К концу разговора она опять напомнила, как настроены против него ее отец и мать.

— Но ты меня любишь? — спросил Мартин.

— Да! Да! — воскликнула Руфь.

— А я люблю тебя, не их, и пускай делают что хотят, мне все равно.— В голосе Мартина звучало торжество.— Я верю в твою любовь, и не страшна мне их враждебность. В этом мире все может сбиться с дороги, только не любовь. Любовь не станет на ложный путь, разве что она малодушный недокормыш.

ГЛАВА 31

Мартин случайно встретил на Бродвее свою сестру,— случай оказался счастливый, хотя Мартин и растерялся. Гертруда ждала на углу трамвая и первая увидела брата, заметила, какое у него напряженное, исхудалое лицо, какое отчаяние и тревога в глазах. Мартина и вправду терзали тревога и отчаяние. Он только что был у ростовщика, пытался выжать еще немного денег за велосипед, но тщетно. С наступлением дождливой осени Мартин заложил велосипед, а черный костюм придержал.

— У вас еще есть черный костюм,— отвечал ему ростовщик, который знал на память все его имущество.— Не вздумайте сказать, что вы заложили костюм у этого еврея Липки. Потому что тогда...

Вид у него был угрожающий, и Мартин поспешно воскликнул:

— Нет-нет, костюм у меня. Но он мне нужен для одного дела.

— Прекрасно,— сказал процентщик помягче.— И мне он нужен для дела, иначе я не могу вам дать денег. По-вашему, я сижу тут для собственного удовольствия?

— Но ведь велосипед стоил сорок долларов, и он в хорошем состоянии,— заспорил Мартин.— А вы мне дали под него всего только семь долларов. Нет, даже не семь, шесть с четвертью — взяли вперед проценты.

— Хотите еще немного денег, несите костюм,— был ответ, и Мартин вышел из душной лавчонки в таком отчаянии, что оно отразилось на его лице и вызвало у сестры жалость.

Едва они встретились, с Телеграф-авеню подошел трамвай и остановился, впуская послеобеденных покупателей. Мартин помог Гертруде подняться на ступеньку, сжал ей руку повыше локтя, и она поняла, это он прощается. Она обернулась, посмотрела на него. При виде его изможденного лица ее опять пронзила жалость.

— Ты не едешь? — спросила она.

И тотчас сошла с трамвая.

— Я пешком... надо же размяться,— объяснил Мартин.

— Ну и я с тобой пройдусь квартал-другой,— заявила миссис Хиггинботем.— Может, и мне получшеет. Что-то я последние дни вроде как вареная.

Мартин глянул на нее — да, недаром она пожаловалась: одета неряшливо, появилась нездоровая полнота, плечи ссутулились, лицо усталое, обмякшее и походка тяжелая, деревянная, какая-то пародия на походку человека раскованного, не обремененного заботами.

— Хватит, дальше не ходи,— сказал Мартин на первом же углу, хотя она и так уже остановилась,— сядешь на следующий трамвай.

— Господи! До чего ж я уморилась! — тяжело дыша, сказала Гертруда.— Так ведь и ты еле шлепаешь в эдаких-то башмаках. Подметки совсем прохудились, до Северного Окленда нипочем не дойдешь.

— У меня дома еще пара, получше,— сказал Мартин.

— Приходи завтра обедать, ладно? — неожиданно пригласила сестра.— Мистера Хиггинботема не будет. В Сан-Леандро поедет, дела у него.

Мартин покачал головой, но, услыхав про обед, не совладал с собою — глаза блеснули, выдавая, что он голоден как волк.

— У тебя ни гроша, Март, вон ты почему пешком идешь. Размяться! — Гертруда хотела презрительно фыркнуть, но только засопела.— Стой-ка, обожди.— И порывшись в сумке, сунула Мартину в руку пять долларов.— Я и позабыла, Март, у тебя ж был день рожденья,— запинаясь, пробормотала она.

Мартин невольно зажал в руке монету. Тотчас понял, нельзя ее принять, и замер, раздираемый сомнениями. Этот золотой означал пищу, жизнь, бодрость духа и тела, силу писать дальше, и — как знать? — может быть, написать что-то такое, что принесет множество золотых. Перед глазами засветились рукописи двух только что законченных эссе. Вот они валяются под столом на кипе возвращенных рукописей, ведь у него нет марок, и вот перед глазами отпечатанные на машинке названия: «Служители тайны» и «Колыбель красоты». Он еще ни одному журналу их не предлагал. Они настоящие, как все, что он писал в этом роде. Если бы только у него были для них марки! Уверенность, что в конце концов ему повезет, верный союзник голода, вспыхнула в нем, и он поспешно опустил монету в карман.

— Я отдам, Гертруда, в сто раз больше отдам,— сглотнув ком в горле, выговорил Мартин, глаза его влажно заблестели.—

Помяни мое слово! — вдруг уверенно воскликнул он.— Года не пройдет, высыплю тебе в руки ровно сотню этих желтеньких кругляшей. Я не прошу тебя верить. Вот подожди — и увидишь.

А Гертруда и не верила. От недоверчивости ей стало не по себе, и, не найдя более подходящих слов, она сказала:

— Голодный ты, Март, я уж знаю. По тебе сразу видать. Приходи почаще обедать. Как мистера Хиггинботема дома не будет, я к тебе пошлю кого из ребятишек. И слышь, Март...

Он ждал, в глубине души уже зная, что она сейчас скажет, слишком ясен был ему ход ее мыслей.

— Не пора ль тебе, Март, найти место?

— А ты не думаешь, что я добьюсь своего? — спросил Мартин.

Гертруда покачала головой.

— Никто в меня не верит, Гертруда, только я сам,— страстно, с вызовом сказал Мартин.— У меня уже есть хорошие вещи, и немало, и рано или поздно их купят.

— А ты почем знаешь, что они хорошие?

— Потому что...— Мартин запнулся, а в мозгу у него возникла панорама литературы и истории литературы, и он понял: печего и пытаться втолковать ей, почему он в себя верит.— Ну, потому что это лучше, чем девяносто девять процентов того, что печатают в журналах.

— Надо бы тебе образумиться,— беспомощно возразила Гертруда, неколебимо уверенная, однако, что правильно определила его беду.— Надо бы тебе образумиться,— повторила она,— а завтра приходи обедать.

Мартин подсадил ее в трамвай и поспешил на почту, где три из пяти долларов потратил на марки, а под вечер по дороге к Морзам опять зашел на почту, взвесил множество длинных пухлых конвертов и наклеил на них все марки, кроме трех двухцентовых. Вечер этот сыграл огромную роль в жизни Мартина, потому, что после обеда он познакомился с Рассом Бриссенденом. Как Бриссенден там оказался, кто из друзей или знакомых его привел, Мартин не знал. Даже и расспрашивать о нем Руфь не стал. Короче говоря, Бриссенден показался Мартину личностью бесцветной, пустой, не стоящей внимания. Час спустя он решил, что Бриссенден вдобавок невежа — шастает по комнатам, глазеет на картины, а то возьмет со стола или вытащит с полки книгу или журнал и уткнется в них. Под конец, забыв, что он в гостях, в чужом доме, никого не замечая, уселся в глубоком моррисовском кресле и углубился в вытащенный из кармана тоненький томик. Читал и рассеянно поглаживал, ерошил волосы. За весь вечер Мартин еще только раз взглянул на него — он шутил с несколькими молодыми женщинами и явно их очаровал.

Случилось так, что, уходя домой, Мартин нагнал Бриссендена, уже переступившего порог.

— А, это вы? — окликнул его Мартин.

Тот неприветливо что-то буркнул, однако пошел рядом. Мартин больше не пытался завязать разговор, и несколько кварталов они прошли в довольно тягостном молчании.

— Надутый старый осел!

Неожиданность и ядовитая сила этого возгласа ошарашила Мартина. Вышло забавно, и однако спутник становился ему все неприятнее.

— Чего ради вы к ним ходите? — резко бросил тот ему после того, как они молча прошли еще квартал.

— А вы? — не растерялся Мартин.

— Сам не знаю, черт возьми,— был ответ.— Ну, по крайней мере, это впервые я так оплошал. В сутках двадцать четыре часа, надо же их как-то убить. Пойдемте выпьем.

— Пойдемте,— согласился Мартин.

И сам растерялся, с какой стати вдруг принял приглашение. Дома, до того как лечь, предстояло несколько часов заниматься поделками, потом, когда ляжет, его ждет том Вейсмана, не говоря уже об «Автобиографии» Герберта Спенсера, которая для него заманчивей самого завлекательного романа. Чего ради тратить время на малоприятного человека, мелькнула мысль. Но привлекли, пожалуй, не этот человек и не выпивка, а то, что ей сопутствует — яркие огни, зеркала, сверкающие бокалы, разгоряченные весельем лица, звучный гул мужских голосов. Вот что притягательно — голоса мужчин, людей бодрых, уверенных, тех, кто отведал успеха и, как свойственно мужчине, может потратиться на выпивку. Он, Мартин, одинок — вот в чем беда, вот почему он ухватился за приглашение, как хватает приманку — любую, самую ничтожную — хищная рыба. С тех пор как он выпивал с Джо в Горячих ключах, Мартин только еще раз выпил вина в баре, когда его угостил португалец-бакалейщик. Усталость ума не вызывает такого острого желания выпить, как усталость физическая, и обычно Мартина не тянуло к спиртному. Но как раз сейчас выпить хотелось, вернее, хотелось оказаться там, где шумно и людно, где подают спиртное и пьют. Таким местом и был «Грот», где они сидели с Бриссенденом, откинувшись в глубоких кожаных креслах, и пили виски с содовой.

Завязался разговор. Говорили о многом, и то Бриссенден, то Мартин по очереди заказывали еще виски с содовой. Сам Мартин мог выпить очень много, не хмелея, но только диву давался, глядя, как пьет собеседник, и время от времени замолкал, дивясь его речам. Очень быстро у Мартина сложилось впечатление, что Бриссенден знает все на свете, что это второй настоящий интеллекту-

ал, которого он встретил в своей жизни. Но он заметил в Бриссендене и то, чего лишен был профессор Колдуэл,— огонь, поразительную чуткость и прозорливость, неукротимое пламя гения. Живая речь его била ключом. С тонких губ, словно из какой-то умной жестокой машины, слетали отточенные фразы, которые разили и жалили, а потом эти тонкие губы, прежде чем что-то вымолвить, ласково морщились, и звучали мягкие, бархатистосочные фразы, что сияли и славили, и исполнены были неотразимой красоты, и эхом отзывались на загадочность и непостижимость бытия; и еще они, эти тонкие губы, точно боевая труба, возвещали о громе и смятении грандиозной битвы, звучали и фразы, чистые, как серебро, светящиеся как звездные просторы, в них отчетливо выражено было последнее слово науки, но было и нечто большее — слово поэта, смутная неуловимая истина, для которой как будто и нет слов, и однако же выраженная тончайшими ускользающими оттенками слов самых обыкновенных. Каким-то чудесным прозрением он проникал за пределы обыденного и осязаемого, туда, где нет такого языка, чтобы рассказать о виденном, и однако неизъяснимым волшебством своей речи вкладывал в знакомые слова неведомые значения и открывал Мартину то, чего не передашь заурядным душам.

Мартин забыл об испытанной поначалу неприязни. Вот оно перед ним, наяву, то лучшее, о чем рассказывали книги. Вот он, подлинно высокий ум, живой человек, на которого можно смотреть снизу вверх. «Я во прахе у ног твоих»,— опять и опять повторял про себя Мартин.

— Вы изучали биологию,— многозначительно сказал он вслух.

К его удивлению, Бриссенден покачал головой.

— Но вы утверждаете истины, к которым может подвести только биология,— настаивал Мартин и опять встретил непонимающий взгляд Бриссендена.— В своих выводах вы близки авторам, которых уж наверняка читали.

— Рад это слышать,— был ответ.— Если крохи моих знаний сокращают мой путь к истине, это весьма утешительно. Хотя меня весьма мало интересует, прав я или неправ. Все равно это бесполезно. Человеку не дано узнать абсолютную истину.

— Вы ученик Спенсера! — торжествующе воскликнул Мартин.

— С юности его не читал, да и тогда читал только его «Образование».

— Вот бы мне так мимоходом подхватывать знания,— выпалил Мартин полчаса спустя. Он придирчиво оценивал умственный багаж Бриссендена.— Вы — настоящий философ, вот что самое поразительное. Вы утверждаете как аксиому новейшие факты,

которые науке удалось установить только a posteriori [1]. Вы делаете верные выводы мгновенно. Вы сокращаете путь, да еще как. Вы устремляетесь к истине со скоростью света, это какой-то дар сверхмысли.

— Да, как раз это всегда тревожило преподобного Джозефа и брата Даттона,— сказал Бриссенден.— Нет, нет, сам я отнюдь не служитель божий. Просто мне повезло — по прихоти судьбы я получил образование в католическом колледже. А вы где набирались познаний?

Мартин рассказывал, а сам внимательно присматривался к Бриссендену, ничего не упускал, перебегал взглядом с длинного худого аристократического лица и сутулых плеч к брошенному на соседний стул пальто, карманы которого вытянулись и оттопырились под грузом книг. Лицо Бриссендена и длинные узкие кисти рук темны от загара, даже слишком темны, подумал Мартин. Странно это. Бриссенден явно не охотник до загородных прогулок. Где же его так обожгло солнцем? Что-то недоброе почудилось Мартину в этом загаре, когда он опять и опять вглядывался в узкое лицо с обтянутыми скулами и впалыми щеками, благородство которого подчеркивал тонкий орлиный нос. Глаза самой обыкновенной величины. Не такие уж большие, но и не маленькие, неприметно карие; но в них тлел огонек, вернее, таилось нечто двойственное, до странности противоречивое. В глазах был неукротимый вызов, даже какая-то жестокость, и однако взгляд этот пробуждал жалость. Мартин поймал себя на том, что невесть почему жалеет Бриссендена — впрочем, очень скоро ему предстояло узнать почему.

— А я чахоточный,— небрежно объявил Бриссенден чуть погодя, сказав перед тем, что вернулся из Аризоны.— Я прожил там два года из-за тамошнего климата.

— А опять в здешнем климате жить не боитесь?

— Боюсь?

Бриссенден всего лишь повторил то, что сказал Мартин. Но его лицо, лицо аскета, ясней слов сказало, что он не боится ничего. Глаза сузились, глаза орла, и у Мартина перехватило дыхание, он вдруг увидел орлиный клюв, расширенные ноздри,— воплощенная гордость, дерзкая решимость. Великолепно, с дрожью восторга подумал Мартин, даже сердце забилось сильнее. А вслух он процитировал:

Под тяжкой палицей судьбы
Я не склоняю головы.

— Вы любите Хенли,— сказал Бриссенден, лицо его мгновенно изменилось, засветилось безмерной добротой и нежно-

[1] Исходя из опыта *(лат.)*.

стью.— Ну конечно, иначе просто быть не могло. Хенли! Отважная душа. Среди нынешних рифмоплетов — журнальных рифмоплетов — он возвышается точно гладиатор среди евнухов.

— Вы не любите журналы? — несмело, с сомнением в голосе спросил Мартин.

— А вы любите? — гневно рявкнул Бриссенден, Мартин даже испугался.

— Я... Я пишу... вернее, пытаюсь писать для журналов,— запинаясь выговорил он.

— Это лучше,— смягчился Бриссенден.— Вы пытаетесь писать, но не преуспели. Уважаю ваш неуспех и восхищаюсь им. Я понимаю, как вы пишете. Это сразу видно. В том, что вы пишете, есть одно свойство, которое закрывает путь в журналы. Есть мужество, а этот товар журналам не требуется. Им нужны нюни и слюни, и, видит бог, им это поставляют, только не вы.

— Я не гнушаюсь поделок,— возразил Мартин.

— Наоборот...— Бриссенден чуть помолчал, оценил бесцеремонным взглядом бьющую в глаза бедность Мартина,— оглядел сильно потрепанный галстук и замахрившийся воротничок, лоснящиеся рукава пиджака, бахрому на одной манжете, перевел взгляд на впалые щеки Мартина.— ...Наоборот, поделки гнушаются вас, так гнушаются, что и не надейтесь стать с ними вровень. Послушайте, приятель, я мог бы оскорбить вас, мог бы предложить вам поесть.

Против воли Мартина кровь бросилась ему в лицо, и Бриссенден торжествующе засмеялся.

— Сытого таким приглашением не оскорбишь,— заключил он.

— Вы дьявол! — вскипел Мартин.

— Так ведь я вас не пригласил.

— Не посмели.

— Ну, как знать. А теперь вот приглашаю.

И он приподнялся на стуле, словно готовый тотчас отправиться в ресторан.

Мартин сжал кулаки, кровь стучала в висках.

— Боско! Он глотает их живьем! Глотает живьем! — воскликнул Бриссенден, подражая Spieler [1], местной знаменитости — глотателю змей.

— Вас я и правда мог бы проглотить живьем,— сказал Мартин, в свой черед смерив бесцеремонным взглядом его, изголоданного болезнью и тощего.

— Только я того не стою.

— Наоборот,— Мартин чуть подумал,— повод того не стоит.— Он рассмеялся искренне, от всей души.— Признаюсь, вы

[1] Зазывала в балагане на ярмарке.

заставили меня свалять дурака, Бриссенден. Я голоден, вы это поняли, удивляться тут нечему, и нет в этом для меня ничего позорного. Вот видите, издеваюсь над условностями и убогой прописной моралью, но являетесь вы, бросаете меткое, справедливое замечание — и вот я уже раб тех же убогих прописей.

— Вы оскорбились,— подтвердил Бриссенден.

— Конечно, минуту назад. Предрассудки, память ранней юности. Когда-то я усвоил их, и они наложили отпечаток на все, что я усвоил после. У всякого своя слабость, у меня — эта.

— Но вы одолеваете ее?

— Конечно, одолеваю.

— Уверены?

— Уверен.

— Тогда пойдемте поедим.

— Я заплачу,— ответил Мартин, пытаясь расплатиться за виски с содовой остатками от своих двух долларов, но Бриссенден сдвинул брови, и официант положил деньги на стол.

Мартин поморщился, сунул деньги в карман, и на миг на плечо его доброй тяжестью легла рука Бриссендена.

ГЛАВА 32

Назавтра же перед вечером Марию взволновало событие: к Мартину явился еще один гость. Но на этот раз она не растерялась и усадила Бриссендена среди великолепия своей благопристойной гостиной,

— Надеюсь, вы не против, что я пришел? — начал Бриссенден.

— Нет-нет, нисколько,— ответил Мартин, обмениваясь с ним рукопожатием и указывая на единственный в его комнате стул, а сам сел на кровать.— Но откуда вы узнали, где я живу?

— Позвонил Морзам. К телефону подошла мисс Морз. И вот я у вас.— Он вытянул из кармана пальто тоненькую книжку и кинул ее на стол.— Вот книжка одного поэта. Прочтите и оставьте себе.— И когда Мартин стал возражать, перебил его.— Куда мне книги? Утром опять шла кровь горлом. Виски у вас есть? Нету, конечно. Минутку.

Бриссенден поднялся и вышел. Высокий, тощий, он спустился с крыльца и обернулся, закрывая калитку, и Мартин, который смотрел ему вслед, с внезапной острой болью заметил, какая у него впалая грудь, как ссутулились некогда широкие плечи. Потом достал два стакана и принялся читать книгу, это оказался последний сборник стихов Генри Вогена Марло.

— Шотландского нет,— объявил, возвратясь, Бриссенден.—

Этот паршивец продает только американское виски. Но бутылку я взял.

— Я пошлю кого-нибудь из малышни за лимонами, и мы сварим пунш,— предложил Мартин.— Интересно, сколько получает Марло за такую вот книжку? — продолжал он, взяв ее в руки.

— Вероятно, долларов пятьдесят,— был ответ.— Хотя считайте, ему повезло, если удалось покрыть все расходы или если он нашел издателя, который рискнул его напечатать.

— Значит, поэзией не проживешь? — И голос и лицо Мартина выдавали, как он удручен.

— Разумеется, нет. Какой дурак на это надеется? Рифмоплетством — пожалуйста. Взять хоть Брюса, и Вирджинию Спринг, и Седжуика. У этих дела идут недурно. Но поэзия... знаете, чем зарабатывает на жизнь Марло?.. преподает в школе для дефективных в Пенсильвании, это не служба, а сущий ад, хуже не придумаешь. Я бы с ним не поменялся, будь даже у него впереди пятьдесят лет жизни. А вот то, что он пишет, сверкает среди современного рифмованного хлама, как оранжевый рубин в куче моркови. А что о нем болтали рецензенты! Будь она проклята, вся эта бездарная мелкота!

— Да, слишком много понаписано про настоящих писателей теми, кто писать не умеет,— подхватил Мартин.— Ведь вот о Стивенсоне и его творчестве сколько чепухи написано, просто ужас!

— Воронье, стервятники! — сквозь зубы выругался Бриссенден.— Знаю я эту породу... с удовольствием клевали его за «Письмо в защиту отца Дамьена», разбирали по косточкам, взвешивали...

— Мерили его меркой своего ничтожного «я»,— перебил Мартин.

— Да, именно, хорошо сказано... пережевывают и слюнявят Истинное, Прекрасное, Доброе и наконец похлопывают его по плечу и говорят: «Хороший пес, Фидо». Тьфу! «Жалкое галочье племя», как сказал о них в свой смертный час Ричард Рилф.

— Пытаются ухватить звездную пыль, издеваются над великими, кто проносится над миром, точно огненный метеор,— горячо подхватил Мартин.— Однажды я написал о них памфлет, об этих критиках, вернее, о рецензентах.

— Покажите,— нетерпеливо попросил Бриссенден.

Мартин извлек копию «Звездной пыли», и Бриссенден погрузился в чтение — он посмеивался, потирал руки и совсем забыл про пунш.

— Сдается мне, что и вы крупица звездной пыли, брошенной в мир гномов, а им весь свет застит золото,— сказал он, дочитав до конца.— Первая же редакция, разумеется, выхватила памфлет у вас из рук?

Мартин полистал свои записи.

— Его отвергли двадцать семь журналов.

Бриссенден искренне захохотал и хохотал бы долго, но отчаянно закашлялся.

— Послушайте, вы же наверняка пишете стихи,— вымолвил он, задыхаясь.— Покажите что-нибудь.

— Не читайте сейчас,— попросил Мартин.— Давайте лучше поговорим. Я их заверну, и вы возьмете их домой.

Бриссенден унес с собой «Стихи о любви» и «Пери и жемчужину», а на другой день пришел опять, и первые его слова были:

— Давайте еще.

Он решительно заявил, что Мартин подлинный поэт, и тут выяснилось, что и сам он поэт. Стихи Бриссендена ошеломили Мартина, и его поразило, что тот даже не пытался их напечатать.

— Чума на все их дома! [1] — ответил Бриссенден, когда Мартин вызвался предложить их редакциям.— Любите красоту ради нее самой,— сказал он,— и к черту журналы. Мой совет вам, Мартин Иден,— вернитесь к кораблям и к морю. На что вам город и эта мерзкая человеческая свалка? Вы каждый день зря убиваете время, торгуете красотой на потребу журналишкам и сами себя губите. Как это вы мне недавно цитировали? А, вот «Человек, последняя из эфемерид». Так на что вам, последнему из эфемерид, слава? Если она придет к вам, она вас отравит. Верьте мне, вы слишком настоящий, слишком искренний, слишком мыслящий, не вам довольствоваться этой манной кашкой! Надеюсь, вы никогда не продадите журналам ни строчки. Служить надо только красоте. Служите красоте, и будь проклята толпа! Успех! Что такое успех, черт возьми? Вот ваш стивенсоновский сонет, который превосходит «Привидение» Хенли, вот «Стихи о любви», морские стихи — это и есть успех. Радость не в том, что твоя работа пользуется успехом, радость — когда работаешь. И не заговаривайте мне зубы. Я-то знаю. И вы знаете. Красота ранит. Это непреходящая боль, неисцелимая рана, разящее пламя. Чего ради вы торгуетесь с журналами? Пусть все завершится красотой. Чего ради из красоты чеканить монеты? Да у вас это и не получится, зря я волнуюсь. Если читать журналы, в них и за тысячу лет не найдется ничего, что сравнялось бы с одной-единственной строкой Китса. Бог с ней, со славой и с золотом, подите завтра на корабль и возвращайтесь в море.

— Не ради славы, ради любви,— усмехнулся Мартин.— Похоже, в вашей вселенной нет места любви, а в моей красота — служанка любви.

С жалостью и восхищением посмотрел на него Бриссенден.

---

[1] Бриссенден перефразирует слова смертельно раненного Меркуцио в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

— Вы так молоды, Мартин, мой мальчик, так молоды. Вы взлетите высоко, но у вас тончайшие крылья, а узор на них — прекраснейшая пыльца. Не опалите их. Но вы, конечно, уже их опалили. Понадобилась какая-нибудь девчонка, которую вы превозносите, чтобы появились «Стихи о любви», вот в чем позор.

— Я превозношу не только женщину, но и любовь,— со смехом возразил Мартин.

— Философия безумия,— вспылил Бриссенден.— Я убедил себя в этом, когда забывался, накурившись гашиша. Но берегитесь. Города, эти царства буржуа, убьют вас. Чего стоит логово торгашей, где я вас встретил. Гнилые души — это еще мягко сказано. В такой среде нравственное здоровье не сохранишь. Она растлевает. Все они там растленные, мужчины и женщины, в каждом только и есть, что желудок, а интеллектуальные и духовные запросы у них как у моллюска...

Он вдруг умолк, посмотрел на Мартина. И тут его осенило, он все понял. Ужас и недоумение выразились на его лице.

— И вы написали свои потрясающие «Стихи о любви» в честь этой жалкой девицы, этой бледной немочи!

Миг — и Мартин схватил его за горло, стиснул, затряс так, что у того застучали зубы. Но, заглянув в глаза Бриссендена, Мартин не увидел там страха, нет,— разве что любопытство да язвительную усмешку. Мартин опомнился, одним движением швырнул его поперек кровати и разжал руку.

Минуту-другую Бриссенден задыхался, мучительно хватал ртом воздух, потом засмеялся.

— Был бы я вашим должником на веки вечные, если б вы окончательно вытрясли из меня душу,— сказал он.

— Последние дни я на взводе,— извинился Мартин.— Надеюсь, ничего худого я вам не сделал. Сейчас приготовлю свежий пунш.

— Эх вы, юный эллин! — продолжал Бриссенден.— Вы хотя бы гордитесь своим телом? Оно того стоит! Ну и силач же вы! Молодая пантера, львенок. Ну-ну, придется вам поплатиться за этакую силищу.

— То есть? — не поняв, переспросил Мартин и протянул Бриссендену стакан.— Вот выпейте и не ругайте меня.

— Из-за...— Бриссенден отпил глоток и одобрительно улыбнулся.— Из-за женщин. Они будут вас донимать всю жизнь, уже донимают, или я ничего не смыслю. А душить меня не надо, я все равно свое скажу. Это, конечно, юношеская любовь; но во имя Красоты в следующий раз покажите, что у вас есть вкус. Боже милостивый, да чего вы ждете от буржуазной девицы. Забудьте про них. Найдите женщину пылкую, с горячей кровью, чтоб потешалась над жизнью, и насмехалась над смертью, и любила, пока

любится. Такие женщины есть, и они полюбят вас с такой же готовностью, как любая малодушная неженка, выросшая под колпаком в буржуазной теплице.

— Малодушная? — вскинулся Мартин.

— Именно, все они — мелкие души, долбят убогую прописную мораль, которую сызмальства вдолбили в них, а жить настоящей жизнью боятся. Они будут любить вас, Мартин, но свою жалкую мораль будут любить больше. Вам нужно великолепное бесстрашие перед жизнью, души крупные и свободные, ослепительно яркие бабочки, а не какая-то серенькая моль. Но если, на свою беду, вы протянете еще долго, вам успеют надоесть и женщины. Да нет, не протянете вы. Не вернетесь вы к кораблям и морям, а потому будете слоняться по этим рассадникам заразы, по городам, пока гниль не проест вас до костей.

— Отчитывайте меня сколько угодно, спорить не стану,— сказал Мартин.— В конце концов, у каждого своя мудрость, в зависимости от склада души, моя для меня столь же бесспорна, как ваша для вас.

Они смотрели по-разному на любовь, на журналы и еще на многое, но полюбились друг другу, и Мартин всем сердцем привязался к Бриссендену. Они виделись каждый день, хотя в душной комнатенке Мартина Бриссенден мог выдержать не больше часа. Он всегда приносил с собой бутылку виски, а когда они обедали вместе где-нибудь в городе, за едой то и дело потягивал шотландское виски с содовой. Он неизменно платил за обоих, и благодаря ему Мартин испробовал разные деликатесы, впервые выпил шампанского, отведал рейнвейна.

И однако Бриссенден оставался для него загадкой. По облику аскет, он, несмотря на слабеющее здоровье, отнюдь не отказывался от чувственных радостей. Смерти он не боялся, с едкой горечью высмеивал любой образ жизни, но, умирая, жадно любил жизнь, каждую кроху бытия. Он был одержим безумным желанием жить, ощущать трепет жизни, «все испытать за краткий миг, пока и я — пылинка в звездном вихре бытия», как выразился он однажды. Он рисковал пробовать наркотики, шел и на другие странные опыты в погоне за новой встряской, за неизведанными ощущениями. Он рассказал Мартину, что однажды прожил три дня без воды, нарочно промучился, лишь бы изведать во всей полноте восторг, с каким утоляешь жесточайшую жажду. Кто он, откуда, Мартин так и не узнал. Был он человек без прошлого, чье близкое будущее — неминуемая могила, а настоящее — горькая лихорадка жизни.

ГЛАВА 33

Мартин неотвратимо проигрывал сражение. Как он ни урезывал себя во всем, заработки от поделок не покрывали расходов. В День благодарения черный костюм оказался в закладе, и он не мог принять приглашение Морзов на обед. Причина отказа огорчила Руфь, и тогда он решился на отчаянный шаг. Сказал в конце концов, что придет,— съездит в Сан-Франциско, в редакцию «Трансконтинентального», потребует причитающиеся ему пять долларов и на них выкупит костюм.

Утром он взял в долг у Марии десять центов. Он предпочел бы взять их у Бриссендена, но этот сумасброд куда-то запропастился. Он не показывался уже две недели, и Мартин напрасно ломал голову, не понимая, чем мог его обидеть. За десять центов он переправился на пароме в Сан-Франциско и, шагая по Маркет-стрит, раздумывал, в какой попадет переплет, если не получит свои деньги. Ему тогда никак не вернуться в Окленд, ведь занять десять центов не у кого, в Сан-Франциско ни души знакомой.

Дверь в редакцию «Трансконтинентального» была приоткрыта, Мартин хотел уже отворить ее,— и замер, услыхав оттуда громкий голос:

— Не в том дело, мистер Форд,— воскликнул кто-то (по своей переписке с журналом Мартин знал, что Форд — редактор). Дело в том, намерены ли вы платить? И платить наличными, деньги на бочку? Мне нет дела, каково приходится вашему «Трансконтинентальному» и на что вы рассчитываете в будущем году. Я желаю получить что положено за свою работу. Прямо говорю: пока не заплатите мне звонкой монетой, рождественский номер не выйдет. До свиданья. Когда будут деньги, приходите.

Дверь распахнулась, человек с разгневанным лицом проскочил мимо Мартина и, сжимая кулаки и бормоча проклятия, помчался к выходу. Мартин решил не заходить сразу и с четверть часа послоняться по коридорам. Потом распахнул дверь и вошел. Ему это было внове, никогда еще он не бывал в редакции. Визитные карточки тут, видимо, не требовались, посыльный пошел доложить мистеру Форду, что какой-то человек хочет его видеть. Вернулся, кивнул посетителю и провел его в кабинет, в святая святых редакции. Прежде всего Мартину бросился в глаза неимоверный беспорядок, будто на свалке. Потом он увидел за бюро моложавого человека с пышными усами, тот встретил его любопытным взглядом. Мартина изумило его безмятежно спокойное лицо. Стычка с типографом явно не нарушила его душевного равновесия.

— Я... я Мартин Иден,— заговорил Мартин. («И хочу получить мои пять долларов» — просилось на язык.)

Но он впервые встретился с живым редактором, и не хотелось

с ходу его пугать. К его удивлению, мистер Форд так и подскочил, воскликнул «Да что вы!» — и вот уже обеими руками горячо жмет ему руку.

— Не могу выразить, как я счастлив вас видеть, мистер Иден. Сколько раз пытался представить, какой вы.

Он отстранил Мартина на расстояние вытянутой руки и сияющими глазами оглядел не лучший костюм Мартина, он же самый худший, изношенный, уже не поддающийся починке, зато складка брюк тщательно отглажена, для чего Мартин воспользовался утюгом Марии.

— Признаться, я полагал, что вы гораздо старше. Ведь в вашем рассказе такая широта и мощь, такая зрелость и глубина мысли. Этот ваш рассказ — шедевр, я его оценил с первых же строк. Позвольте рассказать о первом впечатлении. Но нет, сперва позвольте вас познакомить с моими сотрудниками.

Ни на минуту не умолкая, мистер Форд повел Мартина в редакционную комнату и там представил своему помощнику мистеру Уайту, худенькому тщедушному человечку с редкими шелковистыми усами, рука у него была ледяная, словно он пришел с мороза.

— А вот мистер Эндс, мистер Иден. Мистер Эндс, знаете ли, наш коммерческий директор.

И вот Мартин уже пожимает руку лысому человеку со злыми глазами, еще не старому, насколько можно судить по лицу, заросшему белоснежной, тщательно подстриженной бородой — супруга коммерческого директора сама занималась этим по воскресеньям и заодно подбривала ему сзади шею.

Все трое обступили Мартина, наперебой бурно восхищались его рассказом и так трещали, словно заключили пари, кто будет говорить всех быстрее.

— Мы-то удивлялись, почему вы к нам не заглянете,— говорил мистер Уайт.

— А у меня нет денег на проезд, я живу по ту сторону залива,— брякнул Мартин, пускай поймут, что ему до зарезу нужны деньги.

«Мой роскошный костюм вполне красноречиво свидетельствует, как я нуждаюсь»,— подумал он. Опять и опять, при каждом удобном случае он намекал, зачем пришел. Но его поклонники оставались глухи. Они пели ему хвалы, рассказывали, как восторгались его рассказом при первом чтении и при последующем. И как восторгались их жены, чада и домочадцы, но ни словом не обмолвились о том, что намерены ему заплатить.

— Я вам еще не рассказал, как впервые прочитал ваш рассказ? — говорил мистер Форд.— Ну конечно же, нет. Я ехал из Нью-Йорка на Запад, в Огдене поезд остановился, и разносчик принес со станции последний номер «Трансконтинентального».

«О черт, подумал Мартин, ты раскатываешь в пульмановских вагонах, а я голодаю оттого, что ты не отдаешь мне жалкие пять долларов!» Все в нем кипело. Оскорбление, нанесенное ему «Трансконтинентальным», безмерно разрослось, ведь так мучительны были мрачные месяцы напрасных надежд, голода, лишений, а вдобавок и сейчас терзал голод, напоминал, что он не ел со вчерашнего дня, да и вчера уснул на пустой желудок. Ярость ослепила его. Эту троицу и грабителями не назовешь, этакое мелкое жулье. Враньем и посулами выманили у него рассказ и оставили ни с чем. Ладно же, он им покажет. И он твердо решил, не уйдет он отсюда, пока не получит свои деньги. Вспомнилось: ведь если он их не получит, ему не на что вернуться в Окленд. Лицо у него стало свирепое, и вся тройка встревожилась и струхнула, но Мартин, хоть и с трудом, взял себя в руки.

А они стали еще речистей. Мистер Форд опять принялся вспоминать, как он впервые прочел «Колокольный звон» и в то же время мистер Эндс старался пересказать, сколь высоко оценила «Колокольный звон» его племянница, как-никак школьная учительница в Аламеде.

— Вот что,— сказал наконец Мартин.— Я затем пришел, чтобы мне заплатили за этот самый рассказ, который всем вам так понравился. Вы обещали после публикации заплатить пять долларов.

На подвижном лице мистера Форда мгновенно выразилась радостная готовность, он сунул было руку в карман, но вдруг обернулся к мистеру Эндсу и сказал, что забыл деньги дома. Мистер Эндс нахмурился, не сумев скрыть досаду, рука его невольно дернулась, готовая прикрыть карман брюк. Вот где деньги, понял Мартин.

— Простите,— сказал мистер Эндс,— но я только что заплатил типографу, часу не прошло, отдал всю наличность. Легкомысленно, конечно, иметь при себе так мало, но платить типографу еще не пришло время, а он просил как об одолжении сразу же выплатить ему аванс, для меня это оказалось полной неожиданностью.

Оба выжидательно посмотрели на мистера Уайта, но сей джентльмен засмеялся и пожал плечами. Уж его-то совесть чиста. Он пришел в «Трансконтинентальный» изучать журналистику, а вместо этого изучил главным образом финансовую политику. «Трансконтинентальный» задолжал ему жалованье за четыре месяца, но он уже знал: сперва надо задобрить типографа, а уж потом помощника редактора.

— Вот нелепость, мистер Иден, в каком положении вы нас застали,— небрежно начал мистер Форд.— А все наша беспечность, уверяю вас. Но мы вот что сделаем. Завтра же утром пер-

вым делом отправим вам чек по почте. У вас ведь есть адрес мистера Идена, мистер Эндс?

Да, адрес у мистера Эндса есть, и завтра же утром первым делом будет отправлен чек. Мартин имел весьма туманное представление о банках и чеках, но не понимал, почему нельзя дать ему чек сегодня с таким же успехом, как завтра.

— Значит, условились, мистер Иден, завтра же вышлем вам чек,— сказал мистер Форд.

— Деньги мне нужны сегодня,— бесстрастно ответил Мартин.

— Так неудачно сложились обстоятельства... Если бы вы оказались у нас в любой другой день,— вкрадчиво заговорил мистер Форд, но его тут же прервал мистер Эндс — у этого явно не хватало выдержки, недаром такие злые у него были глаза.

— Мистер Форд уже все вам объяснил,— отрезал он.— И я тоже. Чек будет послан...

— Я тоже объяснил,— перебил Мартин,— я объяснил, что деньги нужны мне сегодня.

Грубость коммерческого директора уязвила Мартина, он насторожился и зорко за ним следил — догадываясь, что наличность «Трансконтинентального» покоится в брючном кармане сего джентльмена.

— Так неудачно...— начал мистер Форд.

Но тут мистер Эндс нетерпеливо повернулся, явно собираясь выйти из комнаты. В тот же миг Мартин кинулся к нему и схватил за горло, так что снежно-белая борода мистера Эндса, хоть и не утратив безупречной аккуратности, вздернулась к потолку под углом в сорок пять градусов. Мистер Уайт и мистер Форд с ужасом увидели, что коммерческого директора трясут, как пыльный ковер.

— Выкладывай монету, почтенный губитель молодых талантов! — потребовал Мартин.— Выкладывай, не то сам из тебя все до цента вытрясу, хоть бы и одной мелочью.— И остерег обоих напуганных зрителей: — Не лезьте. Кто вмешается, изувечу.

Мистер Эндс задыхался и, лишь когда Мартин слегка ослабил хватку, сумел показать, что согласен раскошелиться. Несколько раз лазил он в карман брюк и в конце концов выудил четыре доллара пятнадцать центов.

— Вывернуть карманы,— распорядился Мартин.

Из карманов вывалились еще десять центов. Для верности Мартин заново пересчитал добычу.

— Теперь вы! — крикнул он мистеру Форду.— Мне нужно еще семьдесят пять центов.

Мистер Форд не мешкая обшарил все карманы и выложил шестьдесят центов.

— Больше нет, точно? — с угрозой спросил Мартин, забирая мелочь.— А в жилетных карманах что?

В знак своей честности мистер Форд вывернул два жилетных кармана. Из одного выпал на пол картонный прямоугольник. Форд поднял его и хотел было сунуть обратно, но тут Мартин воскликнул:

— А это что? Билет на паром? Ну-ка давайте сюда. Он стоит десять центов. Засчитываю и его. Стало быть, вместе с проездным билетом я получил четыре доллара девяносто пять центов. За вами еще пять центов.

Он свирепо глянул на мистера Уайта и увидел, что тщедушный человечек уже протягивает ему пятицентовик.

— Благодарю,— сказал Мартин всей троице сразу.— Всего наилучшего.

— Грабитель! — прорычал мистер Эндс.

— Карманник,— не остался в долгу Мартин и вышел, хлопнув дверью.

Победа окрылила Мартина, и так окрылила, что, вспомнив про пятнадцать долларов, которые задолжала ему «Оса» за «Пери и жемчужину», он решил тотчас отправиться туда и получить свои деньги. Но «Осой» заправляла компания здоровенных, чисто выбритых молодцов, откровенных пиратов, которые грабили всех и вся и друг друга тоже. После того как в редакции была поломана кой-какая мебель, редактор (в колледже он считался хорошим спортсменом) с умелой помощью коммерческого директора, агента по рекламе и швейцара выдворили Мартина за дверь и еще подтолкнули, ускорив тем его спуск с лестницы.

— Приходите еще, мистер Иден, всегда будем рады вас видеть,— со смехом крикнули ему вслед с площадки.

Мартин поднялся и усмехнулся.

— Ну и ну! — пробормотал он в ответ.— В «Трансконтинентальном» просто овечки, а вот вас, ребята, можно хоть сейчас на ринг.

В ответ опять рассмеялись.

— Должен сказать, мистер Иден, для поэта вы и сами не промах,— откликнулся редактор «Осы».— Позволено спросить, где вы научились так отбивать правой?

— Там же, где вы научились полунельсону,— ответил Мартин.— А под глазом-то у вас будет синяк.

— Надеюсь, шеей ворочать сможете,— заботливо пожелал редактор.— Послушайте, а может, пойдем выпьем всей компанией в честь этого дела?.. Не в честь увечий, понятно, а в честь нашей маленькой стычки?

— Пошли,— согласился Мартин,— и подбросим монету: если я проиграю, плачу я.

Грабители и ограбленный выпили вместе, полюбовно решив, что сражение выиграл сильнейший и что пятнадцать долларов за «Пери и жемчужину» по праву принадлежат сотрудникам «Осы».

ГЛАВА 34

Артур остался у калитки, а Руфь поднялась по ступенькам Мариного крыльца. Она слышала быстрый стук пишущей машинки, и когда Мартин впустил ее в комнату, увидела, что он заканчивает последнюю страницу какой-то рукописи. Руфь приехала удостовериться, будет ли он у них на обеде в День благодарения, но не успела, Мартин был слишком полон другим.

— Послушай, сейчас я тебе это прочту! — воскликнул он, раскладывая экземпляры и аккуратно выравнивая стопки.— Это последний мой рассказ, он совсем непохож на все прежние. До того непохож, что мне даже страшно, и все-таки в душе я надеюсь, что он получился. Будь судьей. Это из жизни на Гавайях. Я его назвал «Уики-Уики».

Лицо Мартина горело жаром творчества, а Руфь в его холодной комнате пробирала дрожь и при встрече ее поразило, какие холодные у Мартина руки. Она внимательно слушала, пока он читал, и хотя, изредка поднимая глаза, он видел на ее лице одно лишь неодобрение, но, дочитав, спросил:

— Честно, что ты об этом думаешь?

— Я... я не знаю,— ответила Руфь.— А это можно... по-твоему, это удастся где-нибудь напечатать?

— Боюсь, что нет,— признался Мартин.— Для журналов слишком сильно. Но рассказ настоящий, честное слово, настоящий!

— Но почему ты упорно пишешь так, что тебя заведомо не напечатают? — неумолимо продолжала Руфь.— Разве ты пишешь не для того, чтобы заработать на жизнь?

— Да, верно, но проклятый рассказ оказался сильней меня. Я не мог удержаться. Он требовал, чтобы его написали.

— Но этот герой, этот Уики-Уики, почему он у тебя так грубо выражается? Конечно же, такая грубость оскорбит читателей, и конечно, именно поэтому редакторы справедливо отвергают твои работы.

— Потому что настоящий Уики-Уики разговаривал бы именно так.

— Но это дурной вкус.

— Это жизнь,— горячо ответил Мартин.— Это правда. Это настоящее. А я должен писать жизнь такой, какой я ее вижу.

Руфь не ответила, с минуту длилось неловкое молчание. Мартин не мог толком ее понять оттого, что любил, а она не могла его понять оттого, что слишком он был крупен и не укладывался в тесные рамки ее понятий.

— Кстати, я получил гонорар в «Трансконтинентальном»,— сказал Мартин, стараясь направить разговор в более спокойное русло. Перед глазами предстала усатая троица, какой он ее видел напоследок, выжав свои четыре доллара девяносто центов и проездной билет, и он фыркнул.

— Значит, придешь! — радостно воскликнула Руфь.— Я затем и приехала, чтобы узнать.

— Приду? — рассеянно пробормотал Мартин.— Куда?

— Ну как же, завтра на обед. Ты же собирался, если получишь эти деньги, выкупить костюм.

— Совсем забыл,— смиренно признался он.— Понимаешь, сегодня утром полицейский забрал двух Марииных коров и теленка, взяли за потраву, и... ну, так вышло, у Марии не было ни гроша, и пришлось мне заплатить за нее штраф. Вот и ухнули пять долларов «Трансконтинентального» — весь «Колокольный звон» ухнул в карман полицейского.

— Значит, не придешь?

Мартин оглядел свое одеяние.

— Не могу.

Слезы разочарования и укора заблестели в голубых глазах Руфи, но она ничего не сказала.

— В следующий День благодарения я приглашу тебя на обед у Дельмонико,— весело сказал Мартин,— или пообедаем в Лондоне, или в Париже, где захочешь. Вот увидишь!

— На днях я видела в газете сообщение, что в железнодорожном почтовом ведомстве открылось несколько вакансий,— вдруг сказала Руфь.— Ты ведь по конкурсу прошел первым, не так ли?

Пришлось Мартину сознаться, что ему предлагали место, но он отказался.

— Я был так уверен... я и сейчас уверен... в себе,— сказал он под конец.— Через год я буду зарабатывать больше, чем десяток почтовых служащих. Подожди и сама увидишь.

— Вот как,— только и сказала она в ответ. И поднялась, натягивая перчатки.— Мне пора, Мартин. Меня ждет Артур.

Мартин обнял ее, поцеловал, но возлюбленная осталась холодна. Тело ее не напряглось, руки не обхватили его за шею, губы встретили его поцелуй без обычного жара.

Рассердилась, решил Мартин, возвратясь от калитки. Но почему? Так случилось, что полицейский захватил Марииных коров. Но ведь это просто невезенье. Никто тут не виноват. Мартину и в

голову не пришло, что можно было поступить иначе. А, да, он малость виноват, что отказался от места, мелькнула новая мысль. И ей не понравился «Уики-Уики».

С верхней ступеньки крыльца он обернулся и увидел почтальона — тот разносил предвечернюю почту. Мартин принял стопку длинных конвертов, и, как всегда, в нем вспыхнула лихорадочная надежда. Один конверт оказался не длинный. Небольшой, тонкий, с отпечатанным обратным адресом «Нью-йоркского наблюдателя». Мартин стал было вскрывать конверт и замешкался. Это не может быть известие, что рассказ принят. В этот журнал он рукописей не посылал. А вдруг... сердце замерло от невероятной мысли... вдруг они заказывают ему статью; но тотчас он опомнился — не может этого быть.

Короткое официальное письмо, подписанное заведующим редакцией, всего лишь извещало, что ему пересылают полученное журналом анонимное письмо и заверяют, что анонимные письма редакция никогда и ни при каких обстоятельствах не принимает во внимание.

Вложенное письмо оказалось написано от руки, печатными каракулями. Безграмотное, густо сдобренное оскорблениями, оно утверждало, что «так называемый Мартин Иден», который продает рассказы разным журналам, никакой не писатель, на самом-то деле он ворует рассказы из старых журналов, переписывает на машинке и рассылает под своим именем. На конверте был почтовый штамп «Сан-Леандро». Мартин сразу понял, чьих это рук дело. Грамотность Хиггинботема, словечки и выражения Хиггинботема, хиггинботемская логика и нелепый склад ума выпирали из каждой строчки. Тут ощущалась не тонкая рука итальянца, а заскорузлый кулак лавочника, его зятя.

Но почему? — тщетно гадал Мартин. Что плохого сделал он Бернарду Хиггинботему? Поступок уж до того непонятный, до того бессмысленный. Его никак не объяснишь. За неделю редакторы различных журналов из восточных штатов переслали Мартину еще с десяток подобных писем. Очень благородно с их стороны, решил Мартин. Ведь эти редакторы совсем его не знают, и однако иные даже посочувствовали ему. Анонимные письма явно им отвратительны. Стало быть, злобная попытка ему навредить провалилась. Скорее это даже к добру — по крайней мере, многие редакторы узнали его имя. Быть может, когда-нибудь, читая его рукопись, они и вспомнят, мол, это тот самый, про кого было анонимное письмо. И как знать, вдруг при оценке его рукописи подобное воспоминание будет гирькой на весах в его пользу?

Примерно в это время Мартин сильно упал в глазах Марии. Однажды утром он застал ее в кухне, когда она стонала от боли, по ее щекам от слабости текли слезы, а перед ней высилась груда

неглаженого белья. Мартин мигом определил, что у нее грипп, дал ей горячего виски — в бутылках, которые приносил Бриссенден, набрались кой-какие остатки — и велел лечь в постель. Но Мария заупрямилась. Белье надо прогладить и до вечера разнести клиентам, заспорила она, не то завтра семерым голодным ребятишкам нечего будет есть.

К ее удивлению (потом она не уставала рассказывать об этом до своего смертного часа), Мартин Иден схватил с плиты утюг и кинул на гладильную доску фасонистую блузку с длинным рукавом. Это была выходная блузка Кейт Фланнаген, самой привередливой модницы на свете. Да еще мисс Фланнаген нарочно предупредила, чтоб блузку ей доставили сегодня же вечером. Все знали, за ней ухаживает кузнец Джон Коллинз, и, как по секрету было известно Марии, завтра мисс Фланнаген и мистер Коллинз собирались в парк Золотые ворота. Тщетно пыталась Мария спасти блузку. Мартин отвел ее к стулу, до которого она еле доплелась, усадил, и тут она вытаращила глаза. Вчетверо быстрей, чем управилась бы она сама, Мартин отгладил блузку и заставил ее признать, что отгладил ничуть не хуже ее самой.

— Я бы и побыстрей работал, будь утюги погорячее.

А он и так орудовал раскаленными утюгами, она бы такими нипочем не решилась гладить.

— Ты не так обрызгиваешь,— упрекнул он ее.— Дай-ка я тебя научу, как надо. Самое главное — придавить. Сбрызнула — и сразу придави, тогда пойдет быстрей.

Из кучи деревянного хлама в погребе он достал ящик, приспособил к нему крышку и порылся в железном ломе, который ребятня Сильва приготовила на продажу. Сложил свежесбрызнутое белье в ящик, накрыл доской и придавил утюгом — пресс был готов и действовал.

— Теперь гляди, Мария,— сказал Мартин, скинув с себя верхнюю рубашку и схватив утюг, по его словам, «и впрямь горячий».

— А кончил гладить и давай стирать шерстяное,— рассказывала потом Мария.— Говорит: «Дуреха ты дуреха, Мария. Сейчас покажу тебе, как стирать шерстяное»,— и показал, да. За десять минут смастерил машина — один бочка, один втулка от колесо, два шеста, и готов машина.

Это было изобретение Джо из Горячих ключей. Втулка от старого колеса прикреплялась к концу вертикально стоящего шеста — получалась мешалка. Это в свою очередь крепко соединялось с пружиной, прикрепленной к потолочной балке, так что втулка ходила вверх-вниз, перемешивала шерстяные вещи, лежащие в бочке, и одной рукой можно было как следует их поколачивать.

— Теперь Мария не стирать шерстяное,— неизменно кончал-

ся ее рассказ.— Теперь ребятишки управлять с бочка, да втулка, да шест. Он хитрый голова, мистер Иден.

И все же ловко смастерив машину и преобразовав Мариину кухню-прачечную, Мартин непоправимо уронил себя в глазах Марии. Романтический ореол, которым его наградило ее воображение, поблек в холодном свете истины: он бывшая прачка! Все его книги, и важные его друзья, которые приезжали к нему в колясках или приносили несчетные бутылки виски, все уже не имело значения. Оказывается, он всего-навсего простой рабочий, человек ее породы, из ее класса. Он стал ей понятнее, доступней, но не осталось в нем ничего загадочного.

Пропасть между Мартином и его родными все ширилась. Вслед за беспричинным нападением Хиггинботема показал себя и мистер Герман Шмидт. Мартину удалось продать несколько зарисовок для газет, кое-что из юмористических стихов и шуток, и на время дела его заметно поправились. Он расплатился с частью долгов и даже сумел выкупить из заклада черный костюм и велосипед. Велосипед требовалось починить — погнулась ось педали,— и в знак доброго отношения к будущему зятю Мартин отправил велосипед в мастерскую Шмидта.

К вечеру того же дня Мартин с удовольствием получил свой велосипед, его доставил какой-то мальчонка. Похоже, мистер Шмидт тоже настроен дружелюбно, подумал Мартин при виде такой любезности. Из починки велосипед обычно приходилось брать самому. Но оглядев велосипед, Мартин обнаружил, что его и не думали чинить. А чуть позднее, позвонив сестрину жениху, он услышал, что эта личность не желает иметь с ним никакого дела «ни в каком виде, ни в какой форме, никоим образом».

— Герман Шмидт,— весело ответил Мартин,— кажется, я сейчас приду и расквашу ваш немецкий нос.

— Только суньтесь в мастерскую, и я пошлю за полицией,— последовал ответ.— Я вас проучу. Знаю я вас, чуть что в драку, да со мной не выйдет. Не желаю иметь ничего общего с таким хулиганьем. Бездельник, лодырь, меня не проведешь. Не удастся вам меня доить, хоть я и женюсь на вашей сестре. Почему вы не хотите работать и честно зарабатывать на жизнь, а? Отвечайте!

Мартин отнесся к этому философски, не дал волю гневу, удивленно и насмешливо присвистнул и повесил трубку. Но потом ему стало не до смеха, всей тяжестью навалилось одиночество. Никто его не понимает, никому он, видно, не нужен, кроме Бриссендена, а Бриссенден исчез неведомо куда.

В сумерках Мартин вышел с покупками из зеленной лавки и зашагал к дому. На углу остановился трамвай, и сердце Мартина радостно забилось при виде знакомой тощей фигуры. То был Брис-

сенден, и, прежде чем трамвай двинулся и заслонил его, Мартин успел приметить оттопыренные карманы пальто — в одном явно были книги, в другом бутылка виски.

ГЛАВА 35

Бриссенден не объяснил, почему так долго пропадал, а Мартин не стал допытываться. Сквозь пар, поднимающийся над пуншем, отрадно было видеть бледное, изнуренное лицо друга.

— Я тоже не бездельничал,— заявил Бриссенден, выслушав отчет Мартина о том, что он успел написать.

Он вытащил из внутреннего кармана рукопись и протянул Мартину, тот прочитал заглавие и удивленно посмотрел на Бриссендена.

— Да, именно,— засмеялся Бриссенден.— Неплохое название, а? «Эфемерида»... то самое слово. Я от вас его услышал, вы так назвали человека, он у вас всегда несгибаемый, одухотворенная материя, последний из эфемерид, гордый своим существованием в краткий миг, отведенный ему под солнцем. Это гвоздем засело у меня в голове — и пришлось написать, чтобы от этого избавиться. Скажите, каково это на ваш взгляд.

Мартин стал читать, и поначалу вспыхнул, а потом побледнел. Это было само совершенство. Форма одержала победу над содержанием, если это можно назвать победой — все содержание, до последнего атома, было выражено с таким мастерством, что у Мартина от восторга закружилась голова, на глаза навернулись жаркие слезы, по спине пошел холодок. То была большая поэма, в шестьсот или семьсот строк,— причудливая, поразительная, загадочная. Необычайные, невероятные стихи, однако вот они, небрежно написанные черным по белому. Они — о человеке и его напряженнейших духовных исканиях, о его мысли, проникающей в бездны космоса в поисках отдаленнейших солнц и спектров радуги. То был безумный разгул воображения умирающего, чье дыхание прерывается всхлипом и слабеющее сердце неистово трепещет перед тем, как остановиться навсегда. В этом величавом ритме с громом восставали друг на друга холодные светила, проносились вихри звездной пыли, сталкивались угасшие солнца, и вспыхивали в черной пустоте новые галактики; и тонкой серебряной нитью пронизывал все это немолчный, слабый, чуть слышный голос человеческий, жалобное лепетанье средь воплей планет и грохота миров.

— Такого в литературе еще не было,— сказал Мартин, когда к нему наконец вернулся дар речи.— Потрясающие стихи!.. потрясающие! Мне просто в голову ударило. Я как пьяный. Этот ве-

ликий и тщетный вопрос... Я ни о чем другом думать не могу. Этот вопрошающий вечный голос человеческий, неустанная тихая жалоба все звучит в ушах. Он словно комариный похоронный марш среди трубного зова слонов и львиного рыка. Голос едва слышен, а жажда его неутолима. Я говорю глупо, знаю, но поэма чудо, вот что. Ну как вам это удается? Как?

Мартин перевел дух и снова принялся восхвалять поэму.

— Я больше не стану писать. Я бездарь. Вы показали мне, что такое работа настоящего мастера. Гений! Это не просто гениально. Это больше, чем гениально. Это обезумевшая истина. Это настоящее, дружище, в каждой строчке настоящее. Хотел бы я знать, понимаете ли вы это, вы, философ. Сама наука не может вас опровергнуть. Это прозрение, выкованное из черного металла космоса и обращенное в великолепные звучные ритмы. Вот, больше я не скажу ни слова. Я потрясен, раздавлен. Хотя нет, еще одно. Позвольте, я найду для нее издателя.

Бриссенден усмехнулся.

— Нет в христианском мире журнала, который посмел бы ее напечатать... сами понимаете.

— Ничего такого я не понимаю. Я понимаю другое: любой журнал в христианском мире мигом за нее ухватится. Такое на дороге не валяется. Это не просто поэма года. Это поэма века.

— Хотел бы я поймать вас на слове.

— Не будьте таким уж пессимистом,— предостерег Мартин.— Редакторы журналов не сплошь болваны. Я-то знаю. Давайте держать пари. Спорю на что угодно — вашу «Эфемериду» примет если не первый же, так второй журнал.

— Ухватился бы за ваше предложение, только одно меня удерживает,— сказал Бриссенден и, помолчав, продолжал: — Вещь хороша... лучше всего, что я написал. Я-то знаю. Это моя лебединая песнь. Я чертовски ею горжусь. Боготворю ее. Это получше виски. Великолепная вещь, совершенство, о такой я мечтал, когда был молод и простодушен, полон прелестных иллюзий и чистейших идеалов. И вот теперь, на пороге смерти я ее написал. И не хочу я, чтобы ею завладело, осквернило ее стадо свиней. Нет, я не иду на пари. «Эфемерида» моя. Я создал ее и поделился с вами.

— А как же другие? — возразил Мартин.— Назначение красоты — дарить человечеству радость.

— Это моя красота.

— Не будьте эгоистом.

— Я не эгоист,— сказал Бриссенден и сдержанно усмехнулся, как всякий раз, когда он бывал доволен тем, что готово было слететь с его тонких губ.— Я щедр и самоотвержен, как изголодавшийся боров.

Тщетно пытался Мартин поколебать его решение. Твердил,

что его ненависть к журналам — сумасбродство, фанатизм, он в тысячу раз достойнее презрения, чем юнец, который сжег храм Дианы в Эфесе. Под градом обвинений Бриссенден преспокойно прихлебывал пунш и соглашался: да, все так, все справедливо, за исключением того, что касается журнальных редакторов. Его ненависть к ним не знала границ, и нападал он на них еще яростнее Мартина.

— Пожалуйста, перепечатайте для меня «Эфемериду»,— сказал он.— Вы это сделаете в тысячу раз лучше любой машинистки. А теперь я хочу вам кое-что посоветовать.— Он вытащил из кармана пальто пухлую рукопись.— Вот ваш «Позор солнца». Я его прочел, и не один раз, а дважды, трижды... Это высшая похвала, на какую я способен. После ваших слов об «Эфемериде» мне следует молчать. Но одно я вам скажу: когда «Позор солнца» напечатают, то-то будет шуму. Разгорятся споры, которые принесут вам тысячи долларов, так как сделают вас знаменитым.

Мартин рассмеялся.

— Сейчас вы посоветуете отправить «Позор» в журналы.

— Ни в коем случае... разумеется, если вы хотите, чтобы его напечатали. Предложите рукопись первоклассным издательствам. Найдется рецензент, который будет достаточно безумен или достаточно пьян, и даст о ней благоприятный отзыв. Вы много читали. Суть прочитанного переплавилась в вашем мозгу и вылилась в «Позор солнца», настанет день, когда Мартин Иден прославится, и не последнюю роль в этом сыграет эта работа. Итак, найдите для нее издателя... чем скорее, тем лучше.

Бриссенден засиделся допоздна и, уже на ступеньке трамвая, вдруг обернулся к Мартину и сунул ему в руку скомканную бумажку.

— Вот, возьмите,— сказал он.— Я был сегодня на скачках, и мне сказали, какая лошадь придет первой.

Зазвенел звонок, трамвай тронулся, оставив Мартина в недоумении, что за измятая, засаленная бумажка зажата у него в руке. Вернувшись к себе, он разгладил ее и увидел, что это стодолларовый билет.

Мартин не постеснялся им воспользоваться. Он знал, у друга всегда полно денег, и знал также, был глубоко уверен, что дождется успеха и сможет вернуть долг. Наутро он заплатил по всем счетам, дал Марии за комнату за три месяца вперед и выкупил у ростовщика все свои вещи. Потом выбрал свадебный подарок Мэриан и рождественские подарки поскромней для Руфи и Гертруды. И наконец, на оставшиеся деньги повез в Окленд все семейство Сильва. С опозданием на год, он все-таки исполнил свое обещание, и все от мала до велика, включая Марию, получили по паре обуви. А в придачу свистки, куклы, всевозможные игрушки,

пакеты и фунтики со сластями и орехами, так что они едва могли все это удержать.

Ведя за собой эту красочную процессию, он вместе с Марией зашел в кондитерскую в поисках самых больших леденцов на палочке и неожиданно увидел там Руфь с матерью. Миссис Морз оторопела. Даже Руфь была задета, ибо приличия кое-что значили и для нее, а ее возлюбленный бок о бок с Марией, во главе этой команды португальских оборвышей,— зрелище не из приятных. Но сильней задело ее другое, она сочла, что Мартину недостает гордости и чувства собственного достоинства. А еще того хуже — случай этот показал ей, что никогда Мартину не подняться над средой, из которой он вышел. Бедняк, рабочий — само происхождение Мартина уже клеймо, но так бесстыдно выставлять его напоказ перед всем миром, перед ее миром — это уже слишком. Хотя ее помолвка держалась в тайне, об их давних, постоянных встречах не могли не судачить; а в кондитерской оказалось несколько ее знакомых, и они украдкой поглядывали на ее поклонника и его свиту. Руфь не обладала душевной широтой Мартина и не способна была стать выше своего окружения. Случившееся уязвило ее, чувствительная душа ее содрогалась от стыда. И приехав к ней позднее в тот же день с подарком в нагрудном кармане, Мартин решил отдать его как-нибудь в другой раз. Плачущая Руфь, плачущая горько, сердитыми слезами, это было для него откровение. Раз она так страдает, значит, он грубое животное, хотя в чем и как провинился — хоть убейте, непонятно. Ему и в голову не приходило стыдиться своих знакомств, и в том, что ради рождества он угостил семейство Сильва, он не усматривал ни малейшего неуважения к Руфи. С другой стороны, когда Руфь объяснила ему свою точку зрения, он понял ее,— что ж, видно, это одна из женских слабостей, которым подвержены все женщины, даже самые лучшие.

ГЛАВА 36

— Пойдемте, я покажу вам людей из настоящего теста,— однажды январским вечером сказал Бриссенден.

Они пообедали вместе в Сан-Франциско и ждали обратного парома на Окленд, как вдруг ему вздумалось показать Мартину «людей из настоящего теста». Он повернулся и стремительно зашагал по набережной, тощая тень в распахнутом пальто, Мартин едва поспевал за ним. В оптовой винной лавке он купил две четырехлитровые оплетенные бутыли старого портвейна и, держа по бутыли в каждой руке, влез в трамвай, идущий к Мишшен-стрит; Мартин, нагруженный несколькими бутылками виски, вскочил следом.

«Видела бы меня сейчас Руфь»,— мелькнуло у него, пока он гадал, что же это за настоящее тесто.

— Возможно, там никого и не будет,— сказал Бриссенден, когда они сошли с трамвая, свернули направо и углубились в самое сердце рабочего района южнее Маркет-стрит.— В таком случае вы упустите то, что так давно ищете.

— Что же именно, черт возьми? — спросил Мартин.

— Людей, умных людей, а не болтливых ничтожеств, с которыми я вас застал в логове того торгаша. Вы читали настоящие книги и почувствовали себя там белой вороной. Что ж, сегодня я вам покажу других людей, которые тоже читали настоящие книги, так что вы больше не будете в одиночестве.

— Не то чтобы я вникал в их вечные споры,— сказал Бриссенден на следующем углу.— Книжная философия меня не интересует. Но люди они незаурядные, не то что свиньи-буржуа. Только держите ухо востро, не то они заговорят вас до смерти — о чем бы ни шла речь.

— Надеюсь, мы застанем там Нортона,— еле выговорил он немного погодя; он тяжело дышал, но напрасно Мартин пытался взять у него бутыли с портвейном.— Нортон — идеалист, учился в Гарварде. Невероятная память. Идеализм привел его к философии анархизма, и родные выгнали его из дому. Его отец президент железнодорожной компании, мультимиллионер, а сын голодает в Сан-Франциско, редактирует анархистскую газетку за двадцать пять долларов в месяц.

Мартин плохо знал Сан-Франциско, и уж вовсе не знал район южнее Маркет-стрит, и понятия не имел, куда его ведут.

— Рассказывайте еще,— попросил он.— Что там за народ? Чем они зарабатывают на жизнь? Как сюда попали?

— Надеюсь, Хамилтон дома,— Бриссенден остановился передохнуть, опустил бутыли наземь.— Вообще-то он Строун-Хамилтон... двойная фамилия, через дефис,— он из старого южного рода. Бродяга... человека ленивее я в жизни не встречал, хотя служит канцеляристом, вернее, пробует служить в кооперативном магазине социалистов за шесть долларов в неделю. Но он по природе перекати-поле. Забрел в Сан-Франциско. Однажды он просидел весь день на уличной скамейке, за весь день во рту ни крошки, а вечером, когда я пригласил его пообедать в ресторане, тут, за два квартала, он говорит: «Еще идти. Купите-ка мне лучше пачку сигарет, приятель». Он, как и вы, исповедовал Спенсера, покуда Крейс не обратил его в моиста-материалиста. Если удастся, я вызову его на разговор о монизме. Нортон тоже монист... Но идеалист, для него существует только дух. Он знает не меньше Крейса и Хамилтона, даже больше.

— Кто такой Крейс? — спросил Мартин.

— Мы к нему идем. Бывший профессор... уволен из университета... обычная история. Память — стальной капкан. На жизнь зарабатывает чем придется. Одно время, когда очутился вовсе на мели, был бродячим фокусником. Неразборчив в средствах. Может и украсть — хоть саван с покойника... на все способен. Разница между ним и буржуа, что крадет, не обманывая себя. Готов говорить о Ницше, о Шопенгауэре, о Канте, о чем угодно, но, в сущности, из всего на свете, включая Мэри, ему по-настоящему интересен только его монизм. Его божок — Геккель. Единственный способ его оскорбить — это ругнуть Геккеля.

— Ну вот и место сборищ.— Войдя в подъезд, Бриссенден поставил обе бутыли и перевел дух — надо было еще подняться по лестнице. Это был обыкновенный двухэтажный угловой дом, внизу — бакалейная лавка и пивная.— Здесь обитает вся компания, занимает весь верх. Но только у Крейса две комнаты. Идемте.

Свет в верхнем коридоре не горел, но в полной темноте Бриссенден двигался привычно как домовой. Приостановился, опять заговорил.

— Есть у них еще такой Стивенс. Теософ. Когда разойдется, даже дважды два усложнит и запутает. Сейчас мойщик посуды в ресторане. Любит хорошую сигару. Я раз видел, он перекусил за десять центов в забегаловке, а потом выкурил сигару за пятьдесят. У меня в кармане припасены две штуки, на случай если он покажется.

И еще один есть, Парри, австралиец, статистик и ходячая энциклопедия. Спросите его, каков был урожай зерновых в Парагвае в тысяча девятьсот третьем, или сколько простынной ткани Англия поставила в Китай в тысяча восемьсот девяностом, или в каком весе Джимми Бритт победил Бетлинга Нелсона, или кто был чемпионом Соединенных Штатов в полусреднем весе в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом, и он выдаст правильный ответ со скоростью игорного автомата. И еще есть Энди, каменщик, полон идей обо всем на свете, хороший шахматист; и Харри, пекарь, ярый социалист и один из профсоюзных вожаков. Кстати, помните стачку поваров и официантов — это Хамилтон организовал тот профсоюз и провернул стачку — все заранее спланировал вот тут, у Крейса. Проделал это все ради собственного удовольствия, но в профсоюзе не остался, слишком ленив. А если бы захотел, пошел бы далеко. На редкость способный человек, но непревзойденный лентяй.

Бриссенден продвигался в темноте, пока не завиднелась полоска света из-под какой-то двери. Стук, чей-то голос в ответ, дверь отворилась, и вот уже Мартин обменивается рукопожатием с Крейсом, смуглым красавцем с ослепительно белыми зубами,

черными вислыми усами и черными сверкающими глазами. Мэри, полная молодая блондинка, мыла тарелки в задней комнатке (она же кухня и столовая). Первая комната служила спальней и гостиной. Гирлянды выстиранного белья висели так низко над головой, что поначалу Мартин не заметил двух мужчин, беседующих в углу. Они шумно и радостно приветствовали Бриссендена и его бутыли, и, когда Мартина познакомили, оказалось, это Энди и Парри. Мартин присоединился к ним и внимательно слушал рассказ Парри о боксерском состязании, на котором он был накануне вечером; тем временем Бриссенден, как заправский бармен, готовил пунш и разливал вино и виски с содовой. Потом он скомандовал: «Давайте всех сюда» — и Энди пошел по всему этажу созывать жильцов.

— Нам повезло, почти все дома,— шепнул Мартину Бриссенден.— Вот и Нортон и Хамилтон, подите познакомьтесь. Стивенса, я слышал, нету. Попробую заведу их на монизм. Вот погодите, они опрокинут стаканчик-другой, тогда разойдутся.

Поначалу разговор перескакивал с одного на другое. И все равно Мартин не мог не оценить живую игру их мысли. У каждого был свой взгляд на вещи, хотя взгляды их зачастую оказывались противоположными; и хотя спорили они остроумно и находчиво, но не поверхностно. Мартин скоро понял — это было ясно, о чем бы ни зашла речь,— что у каждого есть связная система знаний и цельное, хорошо обоснованное представление об обществе и о вселенной. Они не пользовались готовыми мнениями, все они, каждый на свой лад, были мятежники, и никто не изрекал избитых истин. Мартин никогда не слышал, чтобы у Морзов обсуждался такой широкий круг разнообразнейших тем. Казалось, они о чем угодно могут с увлечением толковать хоть ночь напролет. Разговор переходил от новой книги миссис Хемфри Уорд к последней пьесе Шоу, через будущее драмы к воспоминаниям о Менсфилде. Они одобряли или высмеивали передовые статьи утренних газет, говорили об условиях труда в Новой Зеландии, а потом о Генри Джеймсе и Брандере Мэтьюзе, обсуждали притязания Германии на Дальнем Востоке и экономическую сторону «желтой опасности», ожесточенно спорили о выборах в Германии и о последней речи Бебеля, а там доходила очередь и до местных политических махинаций, до новейших замыслов и распрей руководства Объединенной рабочей партии, до сил, приведенных в действие, чтобы вызвать забастовку портовых рабочих. Мартина поразила их осведомленность. Им было известно то, о чем никогда не писали газеты — пружины, и рычаги, и невидимые глазу руки, которые приводят в движение марионеток. К удивлению Мартина, молодая хозяйка, Мэри, вступила в разговор и оказалась на редкость умной и знающей, таких женщин Мартин еще не встречал.

Побеседовали о Суинберне и Россетти, а потом она принялась толковать о таком, о чем он и представления не имел, завела его на боковые тропинки французской литературы. Он отыгрался, когда она принялась защищать Метерлинка, а он пустил в ход тщательно продуманные мысли, которые развивал в «Позоре солнца».

Появились еще несколько человек, в комнате стало не продохнуть от табачного дыма, и тут Бриссенден дал старт.

— Вот вам новая жертва, Крейс,— сказал он.— Неоперившийся птенец, пылкий поклонник Герберта Спенсера. Обратите его в геккельянца, если сумеете.

Крейс будто проснулся, засиял, как металл под лучом света, а Нортон посмотрел на Мартина сочувственно, с мягкой, девичьей улыбкой, словно обещая надежно его защитить.

Крейс повел наступление на Мартина, но Нортон вмешался раз, другой, третий, и вскоре между ним и Крейсом завязался ожесточенный поединок. Мартин слушал и не верил ушам. Невероятно, непостижимо, да еще в рабочем квартале к югу от Маркет-стрит. В устах этих людей ожили книги, которыми он зачитывался. Они говорили страстно, увлеченно. Мысль горячила их, как других горячат алкоголь или гнев. Философия перестала быть сухими печатными строчками из книг легендарных полубогов вроде Канта и Спенсера. Философия ожила, воплотилась вот в этих двоих, наполнилась кипучей алой кровью, преобразила их лица. Порой кто-нибудь еще вставлял слово, и все зорко, напряженно следили за спором и не переставая курили.

Идеализм никогда не привлекал Мартина, но то, как преподносил его сейчас Нортон, было откровением. Логика нортоновских рассуждений показалась ему убедительной, но, видно, не убеждала Крейса и Хамилтона, они насмехались над ним, обличали его в метафизике, а он, в свою очередь, насмешливо обличал в метафизике их обоих. Противники метали друг в друга слова «феномен» и «ноумен». Те двое обвиняли Нортона в стремлении объяснить сознание, исходя из самого сознания. Нортон же обвинял их в жонглировании словами, в том, что они воздвигают теорию, опираясь на слово, тогда как теория должна опираться на факты. Такое обвинение их ошеломило. Ведь важнейший их принцип был — рассуждать, исходя из фактов и фактам давать наименования.

Нортон углубился в философские сложности Канта, и Крейс напомнил ему, что все милые немецкие философийки, испустив дух, переправляются в Оксфорд. Немного погодя Нортон напомнил хамилтоновский закон краткости доказательств, и те двое тотчас заявили, что они-то неуклонно следуют этому закону. Мартин сидел, обхватив руками колени, слушал и наслаждался. Однако Нортон вовсе не был последователем Спенсера и тоже покушался на

душу новичка,— он не только возражал своим противникам, но и стремился обратить Мартина в свою веру.

— Как известно, Беркли так и не был опровергнут,— сказал он, прямо глядя на Мартина.— Больше всех в этом преуспел Герберт Спенсер, но и его успехи невелики. А большего не добиться даже самым верным последователям Спенсера. На днях я читал эссе Сейлиби, и он только и сказал, что Герберт Спенсер, опровергая Беркли, почти преуспел.

— А что сказал Юм, вам известно? — спросил Хамилтон. Нортон кивнул, но Хамилтон все равно продолжал для сведения остальных.— Он сказал, что аргументы Беркли неопровержимы, но не убеждают.

— Не убеждают Юма,— последовало возражение.— А у Юма та же точка зрения, что у вас, с одной лишь разницей: у него хватило мудрости признать, что Беркли неопровержим.

Нортон был чуток и уязвим, хотя ни на минуту не терял самообладания, Крейс же и Хамилтон, точно два свирепых дикаря, выискивали, куда бы побольнее кольнуть и ударить. Спор затянулся, и Нортон, выведенный из себя бесконечными обвинениями в метафизике, ухватился за стул, чтобы не вскочить, серые глаза его сверкали, девичье лицо стало жестким и уверенным, и он обрушился на позиции противника.

— Ладно, слушайте, вы, геккельянцы, пусть я рассуждаю как шаман, но, скажите на милость, вы-то как рассуждаете? Вам не на что опереться, вы носитесь со своим позитивизмом, вечно приплетаете его куда попало, совсем не к месту. Задолго до того, как появилась школа материалистического монизма, у него была уже выбита почва из-под ног и нет у него никакого фундамента. Это Локк сделал, Джон Локк. Двести лет назад... даже больше... в своем «Опыте о человеческом разуме» он доказал, что врожденных идей не существует. Ну и прекрасно, а вы по сей день твердите то же самое. Весь вечер уверяете меня, что врожденных идей не существует. А что это значит? Это значит, что человек никогда не узнает реальную сущность вещей. При рождении в голове у человека пусто. Пять чувств могут дать мозгу представление лишь о внешнем, то есть о феноменах. Что касается ноуменов, при рождении их не существует, и они никак не могут проникнуть в мозг...

— Неверно...— прервал было Крейс.

— Дай досказать! — крикнул Нортон.— О действии и взаимодействии силы и материи мы узнаем лишь постольку, поскольку они так или иначе приходят в соприкосновение с нашими чувствами. Видите, чтобы облегчить себе задачу, я готов допустить, что материя существует; и я намерен разбить вас с помощью ваших

же доводов. По-другому этого не сделать, ведь вы оба по самой своей природе неспособны понять философскую абстракцию.

Так что же, исходя из вашей позитивной науки, вам известно о материи? Она известна вам только по ее феноменам, по ее внешним признакам. Вы воспринимаете лишь ее изменения, вернее, те ее изменения, которые что-то меняют в вашем сознании. Позитивная наука имеет дело только с феноменами, а вы, сумасброды, воображаете, что вам доступны ноумены, и мните себя онтологами. Однако по самому определению позитивной науки она занимается лишь внешней стороной явлений. Как сказал кто-то, знание, получаемое при помощи чувственного восприятия, не может подняться над феноменами.

Вы не можете опровергнуть Беркли, даже если вы полностью уничтожили Канта, и однако, утверждая, будто наука доказала, что бога не существует, или — а это одно и то же — что существует материя, вы волей-неволей признаете, что Беркли ошибается... Заметьте, я допускаю существование материи только для того, чтобы вы могли понять мою мысль. Будьте, если угодно, позитивистами, но в позитивной науке онтологии нет места, так что оставьте ее в покое. Спенсер прав в своем агностицизме, но если Спенсер...

Однако пора было уходить, чтобы поспеть на последний паром в Окленд, и Мартин с Бриссенденом выскользнули из комнаты, а Нортон все говорил, а Крейс с Хамилтоном ждали, когда он кончит, готовые наброситься на него подобно охотничьим псам.

— Вы дали мне заглянуть в волшебную страну,— сказал Мартин на пароме.— Когда видишь таких людей, стоит жить. У меня сейчас мысли так и кипят. Я впервые по достоинству оценил идеализм. Но принять его не могу. Нет, я всегда буду реалистом. Видно, уж таким уродился. Но хотел бы я кое-что ответить Крейсу и Хамилтону, и, пожалуй, у меня найдется словечко-другое и для Нортона. Не вижу, чтобы они в чем-то опровергли Спенсера. Никак не успокоюсь, чувствую себя мальчишкой, впервые побывавшим в цирке. Надо мне кое-что почитать. Непременно прочту Сейлиби. По-моему, Спенсер все равно неопровержим, и в следующий раз я вмешаюсь в спор.

Но Бриссенден уже дремал, дышал он тяжело, подбородком уткнулся в кашне, прикрывавшее впалую грудь, и тело его в длинном и чересчур просторном пальто подрагивало в такт оборотам гребных винтов.

ГЛАВА 37

На другое утро Мартин первым делом поступил и наперекор совету Бриссендена, и наперекор его распоряжению. Он упаковал «Позор солнца» и послал по почте в «Акрополь». Уж наверно, найдется журнал, который напечатает его детище, и журнальная публикация привлечет внимание книжных издательств. «Эфемериду» он тоже упаковал и отправил в журнал. Предубеждение Бриссендена против журналов явно обратилось в манию, а все-таки, решил Мартин, великая поэма должна увидеть свет. Он, однако, не собирался ее печатать без разрешения автора. Пусть какой-нибудь из солидных журналов примет ее, и, вооружившись этим одобрением, можно будет снова выдержать бой с Бриссенденом и добиться его согласия.

В то утро Мартин сел за повесть, которую задумал больше месяца назад, и с тех пор она не давала ему покоя, так и рвалась на бумагу. По-видимому, это будет увлекательнейшая морская повесть, где все современно — и приключения и любовь,— где действуют подлинные герои, в подлинном мире, при подлинных обстоятельствах. Но за крутыми поворотами сюжета будет еще нечто, чего поверхностный читатель нипочем не разглядит, но от чего повесть ничуть не станет для него менее интересной и увлекательной. И не повесть сама по себе, а именно это скрытое нечто заставило Мартина сесть за нее. В сущности, его сюжеты всегда рождались из значительной, всеобъемлющей темы. Найдя такую тему, Мартин обдумывал характеры подходящих для ее воплощения героев, определял подходящее место и время. Он решил назвать повесть «Запоздавший» и рассчитывал уложиться в шестьдесят тысяч слов — при его редкостной работоспособности сущий пустяк. В этот первый день он с первых минут испытывал наслаждение мастера, сознающего, что он отлично владеет своими орудиями. Его уже не мучил страх, что острие соскользнет и испортит работу. Долгие месяцы напряженного труда и ученичества не пропали даром. Теперь можно было с уверенностью посвятить себя задачам посерьезнее, которые хотелось решить в повести; он работал час за часом, и, как никогда прежде, чувствовал, до чего уверенная у него хватка, как глубоко, всеобъемлюще он умеет показать жизнь и события жизни. «Запоздавший» поведает об определенных событиях из жизни определенных людей; но, спасибо Герберту Спенсеру, он, конечно же, поведает еще и нечто значительное, что будет правдой для всех времен, всех широт, для всей жизни, подумал Мартин, на миг откинувшись на стуле. Да-да, спасибо Герберту Спенсеру и вернейшему ключу к жизни, учению об эволюции, который вложил ему в руки Спенсер.

Мартин сознавал, что вещь получается значительная. «Она пойдет! Пойдет!» — звучало у него в ушах. Конечно, пойдет. Наконец-то он пишет то, за что наверняка ухватятся журналы. Повесть развернулась перед ним как огненный свиток. Мартин оторвался от нее лишь ненадолго, чтобы записать в блокноте один абзац. Это будет последний абзац «Запоздавшего»,— так сложилась уже в голове вся книжка, что самый конец он мог написать задолго до того, как подошел к концу. Он сравнил свою еще не написанную повесть с морскими повестями других авторов и почувствовал, что она будет неизмеримо лучше. «Лишь один человек мог бы написать что-нибудь подобное,— пробормотал он,— это Конрад. И даже Конрад подскочит от удивления, пожмет мне руку и скажет: «Хорошо сработано, Мартин, дружище».

Он трудился весь день и лишь в последнюю минуту вспомнил, что должен обедать у Морзов. Спасибо Бриссендену, черный костюм вернулся из заклада и опять можно бывать на званых обедах. По пути Мартин успел еще забежать в библиотеку, чтобы взять какую-нибудь из книг Сейлиби. Ему попался «Цикл жизни», и в трамвае он открыл статью о Спенсере, которую упомянул Нортон. Он читал, и в нем разгоралось бешенство. Он побагровел, стиснул зубы, и сам того не замечая, сжимал, разжимал и вновь сжимал кулак, будто держал какую-то гадину и хотел придушить ее насмерть. Сойдя с трамвая, он зашагал быстрым шагом разъяренного человека и с такой злостью нажал на звонок у двери Морзов, что сразу опомнился и вошел в дом уже с улыбкой, потешаясь над самим собой. Но едва вошел, его охватило глубокое уныние. Он упал с высоты, где парил весь день на крыльях вдохновения. «Буржуа», «логово торгаша» — эхом отдавались в уме слова Бриссендена. Но что из того? — сердито спросил он себя. Он женится на Руфи, а не на ее семье.

Казалось, никогда еще он не видел Руфь такой красивой, одухотворенной, воздушной и вместе с тем такой цветущей. Щеки порозовели, глаза так и манили — глаза, в которых он впервые увидел вечность. В последнее время он забыл о вечности, научное чтение уводило его в сторону; но вот оно в глазах Руфи, доказательство, что вечность существует, и оно убедительнее всяких речей. Все споры исчезали перед ее глазами, потому что в ее глазах он видел любовь. И в его глазах была любовь, а любовь неопровержима. Такова была его страстная вера.

Те полчаса, что Мартин провел с Руфью перед обедом, он был безмерно счастлив, доволен жизнью. Но все равно за столом пришла неизбежная реакция, после напряженного рабочего дня никаких сил не осталось. Он сознавал, что глаза у него усталые и внутри накипает досада. Вспомнилось, что за этим самым столом, где теперь он ощущал презрение, а чаще скуку, он когда-то

впервые обедал среди образованных людей, приобщался к тому, что казалось ему высшей культурой и утонченностью. Представилось, до чего он был жалок в ту далекую пору: смущенный дикарь, мучительно перепуганный, весь в поту, озадаченный множеством непонятных штучек, с помощью которых следовало есть, как он трепетал перед грозным лакеем, как пытался с маху приобщиться к жизни, что ведут в этом обществе, на головокружительных высотах, а под конец решил честно быть самим собой, не прикидываясь, будто все ему понятно, будто он знает, как себя здесь вести.

Чтобы успокоиться, Мартин глянул на Руфь, так пассажир на пароходе, вдруг со страхом подумав о кораблекрушении, ищет глазами спасательный круг. Что ж, это он, во всяком случае, здесь нашел — любовь и Руфь. Все остальное не выдержало испытания книгами. А вот Руфь и любовь выдержали; биология подтверждает их правомерность. Любовь — самое возвышенное выражение жизни. Для любви хлопотала природа, создавая и его, и всех нормальных людей. Десять тысяч веков трудилась она, да что там — сто тысяч, миллион, и он, человек, лучшее, что она создала. Это она обратила его любовь в сильнейшую движущую силу и увеличила ее могущество в мириады раз, наделив его даром воображения, она послала его в мир преходящий, чтобы он трепетал восторгом и нежностью и сливался с любимой. Рука Мартина под столом нашла рядом руку Руфи, и они обменялись жарким пожатием. Она кинула на Мартина быстрый взгляд, глаза ее сияли, полные нежности. И он, охваченный трепетом, тоже смотрел на нее глазами сияющими и нежными; по он не понимал, что сияние и нежность ее взгляда,— лишь слабое отражение того, что прочла она в его глазах.

Перед Мартином, наискосок, по правую руку мистера Морза, сидел судья Блаунт, член Верховного суда штата. Мартин не раз встречался с ним и недолюбливал его... Этот судья и отец Руфи рассуждали о политике профсоюзов, о положении дел в Окленде, о социализме, и вот социализмом мистер Морз нет-нет да попрекал Мартина. Наконец судья Блаунт посмотрел через стол, благодушно и по-отечески снисходительно. Мартин улыбнулся про себя.

— Вы перерастете это, молодой человек,— утешил он.— Время — лучшее лекарство от детских болезней.— Судья повернулся к Морзу.— Я полагаю, споры в таких случаях бесполезны. Пациент только становится еще упрямее, отстаивая свою точку зрения.

— Это верно,— с важностью согласился мистер Морз.— Но больного иной раз следует предостеречь, что недуг серьезен.

Мартин весело рассмеялся, но далось ему это нелегко. Слиш-

ком длинный был день, слишком много потрачено сил, такое даром не проходит.

— Вы оба, несомненно, отличные доктора,— сказал он,— но если вас хоть немного интересует мнение пациента, позвольте сказать вам, что диагносты вы неважные. В сущности, вы оба страдаете той самой болезнью, которую приписываете мне. Что же до меня, я к ней не восприимчив. Недозрелая философия социализма, которая будоражит вам кровь, меня не коснулась.

— Недурно, недурно,— пробормотал судья.— Отличный прием в споре — приписать свои взгляды противнику.

— Я сужу по вашим же словам.— Глаза Мартина сверкали, но он не давал себе воли.— Видите ли, судья, я слушал ваши предвыборные речи. Благодаря некоему логическому кунштюку — это, кстати сказать, мое любимое, хоть и никому не понятное определение,— вы убедили себя, что верите в систему конкуренции и выживания сильнейшего, и в то же время со всей решительностью поддерживаете всевозможные меры, направленные на то, чтобы сильнейшего обессилить.

— Молодой человек...

— Не забывайте, я слышал ваши предвыборные речи,— предостерег Мартин.— Все это широко известно: и ваше мнение относительно упорядочения торговли между штатами, и об упорядочении прав железных дорог и «Стандарт-ойл», и о сохранении лесов, и относительно тысячи других подобных мер,— а это есть не что иное как социализм.

— Вы что же хотите сказать, что не верите в необходимость ограничить непомерную власть?

— Не о том спор. Я хочу сказать, что вы плохой диагност. Хочу сказать, что я не заражен микробом социализма. Хочу сказать, что не я, а вы выхолощены болезнью, вызванной этим микробом. Я же закоренелый противник социализма, как и вашей ублюдочной демократии, которая по сути своей просто лжесоциализм, прикрывающийся одеянием из слов, которые не выдержат проверки толковым словарем.

Я реакционер, такой законченный реакционер, что мою позицию вам не понять, ведь вы живете в обществе, где все окутано ложью, и сквозь этот покров неспособны ничего разглядеть. Вы только делаете вид, будто верите, что выживает и правит сильнейший. А я действительно верю. Вот в чем разница. Когда я был чуть моложе, всего на несколько месяцев, я верил в то же, что и вы. Видите ли, ваши идеи, идеи ваших сторонников произвели на меня впечатление. Но лавочники и торгаши — правители в лучшем случае трусливые; они знают одно — толкутся и хрюкают у корыта, стараясь ухватить побольше, и я отшатнулся — если угодно, к аристократии. В этой комнате я единственный индивидуа-

лист. Я ничего не жду от государства, я верю в сильную личность, в настоящего крупного человека — только он спасет государство, которое сейчас гнило и никчемно.

Ницше был прав. Не стану тратить время и разъяснять, кто такой Ницше. Но он был прав. Мир принадлежит сильному, сильному, который при этом благороден и не валяется в свином корыте торгашества и спекуляции. Мир принадлежит людям истинного благородства, великолепным белокурым бестиям, умеющим утвердить себя и свою волю. И они поглотят вас — социалистов, которые боятся социализма и мнят себя индивидуалистами. Ваша рабская мораль сговорчивых и почтительных нипочем вас не спасет. Да, конечно, вы в этом ничего не смыслите, я больше не стану вам этим докучать. Но одно запомните. В Окленде индивидуалистов раз-два — и обчелся, и один из них — Мартин Иден.

И он повернулся к Руфи в знак, что больше спорить не намерен.

— Я сегодня издерган,— вполголоса сказал он.— Мне хочется не разговоров, а любви.

— Вы не убедили меня,— сказал мистер Морз.— Все социалисты — иезуиты. Это их верный признак.

Мартин пропустил его слова мимо ушей.

— Мы еще сделаем из вас доброго республиканца,— сказал судья Блаунт.

— Ну, сперва явится настоящая сильная личность,— добродушно возразил Мартин и опять повернулся к Руфи.

Но мистер Морз был недоволен. Ему не нравилось, что будущий зять ленив, не склонен к разумной скромной работе, не вызывали уважения его взгляды, и сам он был непонятен. И мистер Морз перевел разговор на Герберта Спенсера. Судья Блаунт умело его поддержал, а Мартин, заслышав имя философа, мигом насторожился и стал слушать, как судья, исполненный важности и самодовольства, обличает Спенсера. Время от времени мистер Морз посматривал на Мартина, будто говорил: «Вот так-то, мой дорогой».

— Болтливые сороки,— прошептал Мартин и продолжал разговаривать с Артуром и Руфью.

Но долгий утомительный день и вчерашняя встреча с людьми из настоящего теста давали себя знать, да еще он кипел из-за прочитанной в трамвае статьи.

— Что с тобой? — вдруг тревожно спросила Руфь, почувствовав, что он с трудом сдерживается.

— Нет бога, кроме непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его,— говорил в эту минуту судья Блаунт.

Мартин не выдержал и обернулся к нему.

— Грошовое остроумие,— негромко заговорил он.— Впервые я услышал эту фразу в Муниципальном парке из уст рабочего, который должен бы соображать получше. С тех пор я часто ее слышал, и от этой трескучей фразы меня каждый раз тошнит. Постыдились бы! Слышать имя этого благородного, великого человека из ваших уст — все равно что увидеть каплю росы в выгребной яме. Вы омерзительны.

Это было как гром среди ясного неба. Судья Блаунт свирепо уставился на Мартина, весь побагровел, словно его вот-вот хватит удар, и в комнате воцарилась гробовая тишина. Мистер Морз втайне ликовал. Дочь явно шокирована. Что и требовалось; наконец-то проявилась хулиганская натура этого молодчика, которого он невзлюбил.

Рука Руфи умоляюще сжала под столом руку Мартина, но он уже закусил удила. Его бесили претензии и фальшь этих неспособных мыслить господ, что занимают высокие посты. Член Верховного суда штата! Всего каких-нибудь два года назад он, Мартин, взирал из болота на таких вот знаменитостей и почитал их богами.

Судья Блаунт пришел в себя и попытался продолжать, обращаясь к Мартину с подчеркнутой учтивостью, что, как понял Мартин, делалось ради дам. И Мартин еще сильней разозлился. Неужто в мире вовсе не осталось честности?

— Где вам спорить со мной о Спенсере! — воскликнул Мартин.— Вы знаете его не лучше, чем его соотечественники. Понимаю, это не ваша вина. Таково уж презренное невежество нашего времени. Сегодня вечером, по дороге сюда, я столкнулся с его образчиком, я читал статью Сейлиби о Спенсере. Вам не мешало бы ее прочесть. Она доступна. Можете купить в любом книжном магазине или взять в библиотеке. Вас бы разобрал стыд, ваше невежество, ваши оскорбления и мелочные нападки на благородного человека — сущие пустяки перед тем, что наворотил Сейлиби. Это уж такой стыд и срам, что ваша постыдная болтовня по сравнению с ним невинный лепет.

Некий философ-академик, недостойный дышать одним воздухом со Спенсером, назвал его «Философом недоучек». Сомневаюсь, чтоб вы прочли хоть десять страниц Спенсера, но существовали критики — и, надо думать, поумнее вас,— которые прочли из него не больше вашего и, однако, посмели заявить, будто в его сочинениях нет ни одной дельной мысли,— и это о Спенсере, чей гений наложил печать на все научные исследования, на все современное мышление, о человеке, который стал отцом психологии, который произвел переворот в педагогике, так что сегодня сынишку французского крестьянина обучают грамоте и арифметике, следуя принципам Спенсера. И это презренное комариное племя набрасывает-

ся на него, оскорбляет его память, а само кормится его идеями, применяет их в жизни. Ведь тем немногим, что осело у них в мозгах, они прежде всего обязаны Спенсеру. Не будь Спенсера, у этих ученых попугаев не оказалось бы и малой толики подлинного знания.

И однако даже ректор Фербенкс из Оксфорда, человек, чье положение повыше вашего, судья Блаунт, сказал, что потомки отвергнут Спенсера, скорее назвав его мечтателем и поэтом, чем мыслителем. Да вся эта шатия сплошь — болтуны и брехуны. Один изрек: «Основные начала» не вовсе лишены литературных достоинств». А другие заявляли, что он не оригинальный мыслитель, а просто усердный труженик. Болтуны и брехуны! Болтуны и брехуны!

Мартин круто оборвал свою речь, и в комнате воцарилась мертвая тишина. В семье Руфи судью Блаунта почитали как человека влиятельного и достигшего высокого положения, и вспышка Мартина всех ужаснула. Остаток вечера прошел как на похоронах, судья Блаунт и мистер Морз беседовали только друг с другом, общий разговор никак не клеился. А потом, когда Руфь осталась наедине с Мартином, разразилась буря.

— Ты невыносим! — рыдала она.

Но его гнев еще не потух, и он продолжал бормотать:

— Скоты! Скоты!

Руфь сказала, что он оскорбил судью.

— Сказав ему правду в глаза? — возразил Мартин.

— Мне все равно, правда это или неправда,— настаивала она.— Существуют границы приличия, и ты не имеешь права никого оскорблять.

— А тогда какое право у судьи Блаунта оскорблять правду? — резко спросил Мартин.— Уж конечно, нападать на правду куда предосудительней, чем оскорбить ничтожество вроде этого Блаунта. А он поступил еще хуже. Он чернил имя великого, благородного человека, которого уже нет в живых. Ах скоты! Скоты!

Мартин снова разъярился, слишком много было для этого причин, и Руфь пришла в ужас. Никогда еще не видела она его в такой ярости и не могла понять этого непостижимого сумасбродства. И однако к ужасу примешивалось восхищение, которое все еще влекло ее к Мартину, и вот она прислонилась к нему, и в этот миг наивысшего напряжения обняла его за шею. Она была уязвлена и возмущена его выходкой и, однако, трепеща, прильнула к нему, а он, обнимая ее, бормотал: «Скоты! Скоты!» И потом, все еще обнимая ее, сказал:

— Руфь, милая, я больше не буду у вас обедать и портить твоим настроение. Они меня не любят, зачем же мне им навязы-

ваться, раз я им не по вкусу. И ведь они мне тоже не по вкусу. Тьфу! Мне от них тошно. И подумать только, до чего я был глуп — воображал, если кто занимает высокие посты и живет в красивых домах и у него есть образование и счет в банке, значит, это люди достойные!

ГЛАВА 38

— Пошли! Идемте к здешним социалистам!

Так говорил Бриссенден, еще слабый после кровохарканья, которое произошло полчаса назад, второй раз за три дня. И, верный себе, осушил зажатый в дрожащих пальцах стакан виски.

— Да на что мне социализм? — вскинулся Мартин.

— Постороннему тоже можно произнести речь, дается пять минут,— уговаривал больной.— Заведитесь и выскажитесь. Скажите им, почему вы противник социализма. Скажите, что вы думаете о них и об их сектантской этике. Обрушьте на них Ницше, и получите за это взбучку. Затейте драку. Им это полезно. Им нужен серьезный спор, и вам тоже. Понимаете, я хотел бы, чтобы вы стали социалистом прежде, чем я помру. Это придаст смысл вашей жизни. Только это и спасет вас в пору разочарования, а его вам не миновать.

— Для меня загадка, почему вы, именно вы, социалист,— размышлял Мартин.— Вы так ненавидите толпу. Ну что в этой черни может привлечь вашу душу завзятого эстета. Похоже, социализм вас не спасает.— И он укоризненно показал на стакан, Бриссенден снова наливал себе виски.

— Я серьезно болен,— услышал он в ответ.— Вы — дело другое. У вас есть здоровье и многое, ради чего стоит жить, и надо покрепче привязать вас к жизни. Вот вы удивляетесь, почему я социалист. Сейчас объясню. Потому что социализм неизбежен; потому что современный строй прогнил, вопиюще противоречит здравому смыслу и обречен; потому что времена вашей сильной личности прошли. Рабы ее не потерпят. Их слишком много, и волей-неволей они повергнут наземь так называемую сильную личность еще прежде, чем она окажется на коне. Никуда от них не денешься, и придется вам глотать их рабскую мораль. Признаюсь, радости мало. Но все уже началось, и придется ее заглотать. Да и все равно вы с вашим ницшеанством старомодны. Прошлое есть прошлое, и тот, кто утверждает, будто история повторяется, лжет. Конечно, я не люблю толпу, но что мне остается, бедняге? Сильной личности не дождешься, и я предпочту все что угодно, лишь бы всем не заправляли нынешние трусливые свиньи. Ну ладно, идемте. Я уже порядком нагрузился и, если посижу здесь еще немного, напьюсь

вдрызг. А вам известно, что сказал доктор... К черту доктора! Он у меня еще останется в дураках.

Был воскресный вечер, и в маленький зал до отказа набились оклендские социалисты, почти сплошь рабочие. Оратор, умный еврей, вызвал у Мартина восхищение и неприязнь. Он был сутулый, узкоплечий, с впалой грудью. Сразу видно: истинное дитя трущоб, и Мартину ясно представилась вековая борьба слабых, жалких рабов против горстки властителей, которые правили и будут править ими до конца времен. Этот тщедушный человек показался Мартину символом. Вот олицетворение всех слабых и незадачливых, тех, кто, согласно закону биологии, гибнет на задворках жизни. Они не приспособлены к жизни. Несмотря на их лукавую философию, несмотря на муравьиную склонность объединять свои усилия, Природа отвергает их, предпочитая личность исключительную. Из множества живых существ, которых она щедрой рукой бросает в мир, она отбирает только лучших. Ведь именно этим методом, подражая ей, люди выводят скаковых лошадей и первосортные огурцы. Без сомнения, иной творец мог бы для иной вселенной изобрести метод получше; но обитатели нашей вселенной должны приспосабливаться к ее миропорядку. Разумеется, погибая, они еще пробуют извернуться, как изворачиваются социалисты, как вот сейчас изворачиваются оратор на трибуне и обливающаяся пóтом толпа, когда они тут все вместе пытаются изобрести новый способ как-то смягчить тяготы жизни и перехитрить свою вселенную.

Так думал Мартин, и так он и сказал, когда Бриссенден подбил его выступить и задать всем жару. Он повиновался и, как было здесь принято, взошел на трибуну и обратился к председателю. Он начал негромко, запинаясь, на ходу формулируя мысли, которые закипели в нем, пока говорил тот еврей. На таких собраниях каждому оратору отводили пять минут; но вот время истекло, а Мартин только еще разошелся и ударил по взглядам социалистов разве что из половины своих орудий. Он заинтересовал слушателей, и они криками потребовали, чтобы председатель продлил Мартину время. Они увидели в нем достойного противника и ловили каждое его слово. Горячо, убежденно, без обиняков, нападал он на рабов, на их мораль и тактику и ничуть не скрывал от слушателей, что они и есть те самые рабы. Он цитировал Спенсера и Мальтуса и утверждал, что все в мире развивается по законам биологии.

— Итак,— наконец подвел он итог,— государство, состоящее из рабов, выжить не может. Извечный закон эволюционного развития действителен и для общества. Как я уже показал, в борьбе за существование для сильного и его потомства естественней выжить, а слабого и его потомство сокрушают, и для них естествен-

ней погибнуть. В результате сильный и его потомство выживают, и пока существует борьба, сила каждого поколения возрастает. Это и есть развитие. Но вы, рабы,— согласен, быть рабами участь незавидная,— но вы, рабы, мечтаете об обществе, где закон развития будет отменен, где не будут гибнуть слабые и неприспособленные, где каждый неприспособленный получит вволю еды, где все переженятся и у всех будет потомство — у слабых так же, как у сильных. А что получится? Сила и жизнестойкость не будут возрастать от поколения к поколению. Наоборот, будут снижаться. Вот вам возмездие за вашу рабскую философию. Ваше общество рабов, построенное рабами и для рабов, неизбежно станет слабеть и рассыплется в прах — по мере того как будут слабеть и вырождаться члены этого общества. Не забывайте, я утверждаю принципы биологии, а не сентиментальной этики. Государство рабов не может выжить...

— А как же Соединенные Штаты?..— крикнул кто-то с места.

— И в самом деле, как же Соединенные Штаты? — отозвался Мартин.— Тринадцать колоний сбросили своих правителей и образовали так называемую республику. Рабы стали сами себе хозяева. Никто не правил ими сильной рукой. Но жить безо всяких правителей невозможно, и появились правители новой породы — крупных, мужественных, благородных людей сменили хитрые пауки-торгаши и ростовщики. И они опять вас поработили, но не открыто, по праву сильного с оружием в руках, как сделали бы истинно благородные люди, а исподтишка, при помощи паучьих ухищрений, лести, пресмыкательства и лжи. Они купили ваших рабских судей, развратили ваших рабских законников и обрекли ваших сыновей и дочерей на ужасы, пострашней рабского труда на плантациях. Два миллиона ваших детей непосильно трудятся сегодня в Соединенных Штатах, в этой олигархии торговцев. У вас, десяти миллионов рабов, нет сносной крыши над головой, и живете вы впроголодь.

Так вот. Я показал вам, что общество рабов не может выжить, потому что по самой природе своей это общество опровергает закон развития. Стоит создать общество рабов, и оно начинает вырождаться. Легко вам на словах опровергать всеобщий закон развития, ну, а где он, новый закон развития, который послужит вам опорой? Сформулируйте его. Он уже сформулирован? Тогда объявите его во всеуслышание.

Под взрыв криков Мартин прошел к своему месту. Человек двадцать вскочили на ноги и требовали, чтобы председатель предоставил им слово. Один за другим, поддерживаемые одобрительными возгласами, они горячо, увлеченно, в азарте размахивая руками, отбивали нападение. Буйный был вечер, но то было интеллектуальное буйство — битва идей. Кое-кто отклонялся в сторону,

но большинство ораторов прямо отвечали Мартину. Они ошеломляли его новым для него ходом мысли, и ему открывались не новые законы биологии, а новое толкование старых законов. Спор слишком задевал за живое, чтобы постоянно соблюдать вежливость, и председатель не раз яростно стучал, колотил по столу, призывая к порядку.

Случилось так, что в зале сидел молокосос-репортер, которого отрядили туда в день, небогатый событиями, и он исступленно жаждал сенсации. Журналист он был самый заурядный. Этакое легкомысленное и бойкое перо. Уследить за спором он по невежеству не мог. И сидел с приятным чувством своего неизмеримого превосходства над этими одержимыми болтунами из рабочего класса. Вдобавок он питал величайшее уважение ко всем, кто занимает высокие посты и определяет политику государств и газет. А еще у него была мечта — достичь того свойственного идеальному репортеру совершенства, при котором из ничего можно сделать нечто, и даже весьма шумное нечто.

О чем тут спорили, он так и не понял. Да и на что ему было понимать. В таких словах, как «революция», он обрел ключ. Как палеонтолог способен воссоздать весь скелет по одной выкопанной кости, так и он готов был воссоздать всю речь по одному слову «революция». Он сделал это той же ночью, и сделал недурно; а поскольку больше всего шуму поднялось от выступления Мартина, молокосос-репортер всю сочиненную им речь приписал ему, сделал его главным заправилой всего действа, преобразив его реакционный индивидуализм в самую что ни на есть зажигательную речь социалиста, «красного». Сей молокосос был еще и художественной натурой — широкими мазками он наложил местный колорит — ораторствуют длинноволосые, с горящими глазами истерики и выродки, голоса дрожат от страсти, вскидываются сжатые кулаки, и все это на фоне ругани, воплей, хриплого рычания разъяренных людей.

ГЛАВА 39

Назавтра Мартин за кофе читал в своей комнатушке утреннюю газету. Впервые увидел он свое имя в газетном заголовке, да еще на первой странице, и с удивлением узнал, что он — известнейший вождь оклендских социалистов. Он пробежал пылкую речь, которую сфабриковал для него репортер, поначалу возмутился, а под конец со смехом отбросил газету.

— Он настрочил это либо спьяну, либо по злому умыслу,— сказал Мартин попозже днем, сидя на кровати, когда Бриссенден пришел и тяжело опустился на единственный стул.

— Не все ли вам равно? — спросил Бриссенден.— Вам же не нужно одобрение гнусных буржуа, которые читают эту газету.

Мартин ответил не сразу.

— Нет, что до их одобрения, оно ничуть меня не волнует,— сказал он,— я ничуть его не ищу. Но тут есть другая сторона, скорее всего эта история несколько осложнит мои отношения с семьей Руфи. Ее отец всегда утверждает, что я социалист, и это дурацкое вранье окончательно его убедит в его правоте. Не скажу, чтобы меня волновало его мнение... а, да какая разница? Я хочу вам прочесть то, что написал сегодня. Это, разумеется, «Запоздавший», я уже дошел почти до середины.

Он читал вслух, и вдруг Мария распахнула дверь и впустила в комнату молодого человека в чистеньком костюмчике — тот быстро огляделся, явно заметил керосинку и кухню в углу и лишь потом перевел взгляд на Мартина.

— Присаживайтесь,— сказал Бриссенден.

Мартин подвинулся, освобождая посетителю место, и ждал объяснения — зачем он пожаловал.

— Вчера вечером я слушал вашу речь, мистер Иден, и пришел взять у вас интервью,— начал тот.

Бриссенден рассмеялся.

— Собрат-социалист? — спросил репортер, окинув Бриссендена быстрым взглядом: бледный, тощий, почти уже мертвец — неоценимая находка для газетной сенсации.

— И это он написал тот отчет,— негромко сказал Мартин.— Да он же совсем мальчишка!

— Почему вы не взгреете его? — спросил Бриссенден.— Вернули бы мне на пять минут мои легкие, тысячу долларов не пожалел бы.

Молокосос был несколько озадачен этим разговором о нем при нем и все же как будто его здесь нет. Но ведь за блестящее описание собрания социалистов его похвалили и отрядили взять интервью у Мартина Идена, вождя организованной угрозы обществу.

— Вы не против, если мы вас сфотографируем, мистер Иден? — спросил он.— На улице ждет наш редакционный фотограф, и он говорит, лучше сфотографировать вас прямо сразу, пока не село солнце. А после можно будет взять интервью.

— Фотограф,— раздумчиво произнес Бриссенден.— Взгрейте его, Мартин, взгрейте!

— Наверно, я старею,— был ответ.— Надо бы взгреть, да что-то неохота. Не стоит того.

— Ради его матери,— убеждал Бриссенден.

— Об этом стоит подумать,— ответил Мартин.— Но нет, вряд

ли стоит тратить на него порох. Понимаете, взгреть парня — для этого нужен порох. Да и какой смысл?

— Верно... ясное дело,— весело объявил молокосос, а сам уже с опаской поглядывал на дверь.

— Но там сплошная неправда, ни слова правды не написал,— продолжал Мартин, обращаясь к Бриссендену.

— Понимаете, это же общий очерк,— отважился вставить репортер,— и потом, такой очерк прекрасная реклама. Вот что важно. Это вам на пользу.

— Прекрасная реклама, Мартин, дружище,— внушительно повторил Бриссенден.

— И мне на пользу... подумать только! — подбавил Мартин.

— Одну минутку... где вы родились, мистер Иден? — спросил молокосос, выразив на лице усиленное внимание.

— Он не делает заметок,— сказал Бриссенден.— Он все помнит.

— Я обхожусь без заметок,— молокосос старался не выдать тревоги.— Умелый репортер не нуждается в заметках.

— Он обошелся без заметок... для вчерашнего отчета.— Но Бриссенден отнюдь не исповедовал квиетизм и вдруг резко переменил позицию.— Если вы не взгреете его, Мартин, так взгрею я, даже если сразу после этого упаду замертво.

— Может быть, просто его отшлепаем? — спросил Мартин.

Бриссенден обдумал его предложение и кивнул.

Миг — и Мартин уже сидел на краю кровати, а юный репортер лежал лицом вниз у него на коленях.

— Смотри не кусайся,— предостерег Мартин,— не то придется заехать в морду, обидно будет, вон ты какой красавчик.

Поднятая рука Мартина опустилась — и пошло, и пошло, вверх, вниз, быстро, размеренно. Молокосос вырывался, ругался, извивался, но кусаться не смел. Бриссенден пресерьезно на это взирал, но в какую-то минуту увлекся и, сжимая бутылку виски, взмолился:

— Ну-ка, я разок попробую.

— Жалко, рука устала,— сказал наконец Мартин и отступился.— Совсем онемела.

Он приподнял молокососа и водрузил на кровать.

— Погодите, я упрячу вас за решетку,— огрызнулся мальчишка, по багровым щекам текли слезы злой обиды.— Вы еще поплатитесь. Я вам покажу.

— Ну и ну! — заметил Мартин.— Он даже не понимает, что ступил на скользкую дорожку. Возвести поклеп на ближнего своего непорядочно, недостойно, не по-мужски, а он такое натворил и не понимает.

— Он пришел к нам, чтобы его вразумили,— вставил Бриссенден.

— Да, пришел ко мне, а сперва оклеветал меня и напакостил мне. Теперь бакалейщик наверняка откажет мне в кредите. И, что самое скверное, несчастный мальчишка не сойдет с этой дорожки, покуда не выродится в первоклассного газетчика и первоклассного негодяя.

— Но еще не все потеряно,— промолвил Бриссенден.— Как знать, может, вы окажетесь скромным орудием его спасения. Почему вы не даете мне двинуть ему хоть разок. Я бы тоже рад приложить руку к его спасению.

— Я в-в-в-вас засажу, о-об-боих засажу, с-с-скоты,— рыдала заблудшая душа.

— Нет, слишком у него красивенький да слабовольный ротик,— скорбно покачал головой Мартин.— Боюсь, понапрасну я натрудил руку. Этого молодого человека не исправишь. В конечном счете он станет весьма знаменитым преуспевающим газетчиком. У него нет совести. Уже одно это приведет его к славе.

При таких словах молокосос ступил за порог, до последней минуты трепеща, что Бриссенден запустит в него бутылкой, которую еще сжимал в руках.

Назавтра из утренней газеты Мартин узнал о себе еще немало нового. «Мы заклятые враги общества,— оказывается, сказал он во время интервью.— Нет, мы не анархисты, мы социалисты». Репортер заметил ему, что между двумя течениями разница как будто невелика, и Мартин в знак согласия молча пожал плечами. Лицо у него, оказывается, резко асимметричное, описаны и другие признаки вырождения. Особенно бросаются в глаза руки типичного убийцы и свирепый блеск налитых кровью глаз.

Мартин узнал также, что по вечерам он выступает перед рабочими в Муниципальном парке и что среди анархистов и социалистов, которые там будоражат умы, он привлекает больше всего народу и произносит самые революционные речи. Молокосос живо описал жалкую комнатушку Мартина с керосинкой и единственным стулом и его приятеля, жуткого бродягу, который выглядит так, будто он только что вышел из одиночной камеры после двадцати лет заточения в крепости.

Молокосос не терял времени даром. Где он только не побывал, немало разнюхал о родных Мартина и сфотографировал лавку Хиггинботема, а перед ней — хозяина, Бернарда Хиггинботема собственной персоной. Сей джентльмен был изображен как рассудительный, исполненный достоинства коммерсант, которого глубоко возмущают социалистические взгляды шурина, а сам шурин, по его определению, бездельник и лодырь, не желает устраиваться на работу, когда ему предлагают, и наверняка угодит за решетку.

Было взято интервью и у Германа Шмидта, мужа Мэриан. Он назвал Мартина паршивой овцой их семейства и решительно отрекся от него. «Он пытался тянуть с меня денежки, но я живо его отвадил,— сказал Шмидт репортеру.— Знает бездельник, что у нас ему не поживиться. От человека, который не хочет работать, хорошего не жди, можете мне поверить».

На этот раз Мартин не на шутку обозлился. Бриссендена все это только забавляло, но его уговоры не утешали Мартина, который понимал, что предстоит трудное объяснение с Руфью. Ну, а ее папаша, несомненно, в восторге и уж постарается извлечь из случившегося все что можно, чтобы расстроить помолвку. Как постарался мистер Морз, Мартину пришлось узнать очень скоро. Послеобеденная почта принесла письмо от Руфи. Предчувствуя беду, Мартин вскрыл письмо и прочел тут же возле двери, едва получив. Читая, он машинально полез в карман за табаком и бумагой, как бывало, пока он не бросил курить. Он не сознавал, что карман пуст, не сознавал даже, чего ищет.

Письмо было очень спокойное. Никаких следов гнева. Но в каждой строчке, с начала и до конца, чувствовалось, что Руфь оскорблена и разочарована. Он обманул ее ожидания. Она надеялась, что он одолеет свою ребяческую необузданность, сумеет оценить ее любовь к нему и научится жить, как подобает серьезному и порядочному человеку. А теперь ее родители решительно потребовали, чтобы она порвала с ним. Она не может не признать, что у родителей есть для этого все основания. Они с Мартином не пара и не могут быть счастливы друг с другом. Все это было ошибкой с самого начала. Лишь об одном пожалела она в письме, и это больно задело Мартина. «Если бы только Вы поступили на службу и попробовали себя на каком-нибудь поприще,— писала она.— Но этого просто не могло быть. Слишком сумасбродной, беспорядочной была прежде вся Ваша жизнь. Я понимаю, это не Ваша вина. Вы могли поступать только в соответствии со своим характером и воспитанием. И потому не виню Вас, Мартин. Пожалуйста, помните об этом. Просто мы совершили ошибку. Мои родители были правы, мы не созданы друг для друга, и следует радоваться, что это выяснилось не слишком поздно... Не пытайтесь увидеться со мной,— писала под конец Руфь.— Встреча была бы трудна и для нас обоих, и для мамы. Я чувствую, что и так доставила ей слишком много мучений и тревоги. Мне понадобится много времени, чтобы искупить свою вину».

Мартин внимательно, с начала до конца перечитал письмо и сел писать ответ. Он коротко пересказал свое выступление на собрании социалистов и подчеркнул, что оно было прямой противоположностью речам, которые приписала ему газета. А конец письма был страстной мольбой влюбленного, взывающего к любимой.

«Прошу тебя, ответь,— писал он,— и напиши лишь об одном. Ты меня любишь? Только на этот единственный вопрос я жду ответа».

Но ни завтра, ни через день ответа не было. «Запоздавший» лежал нетронутый на столе, а под столом с каждым днем росла гора возвращенных рукописей. Впервые богатырский сон Мартина нарушила бессонница, и долгими ночами он без сна ворочался с боку на бок. Трижды звонил он у двери Морзов, и служанка, открывавшая дверь, трижды не впускала его. Бриссенден лежал больной у себя в гостинице, не в силах выйти, и хотя Мартин часто навещал его, но не хотел беспокоить своими неприятностями.

А неприятностей было хоть отбавляй. Последствий выходки молокососа-репортера оказалось еще больше, чем предвидел Мартин. Бакалейщик-португалец отказал ему в кредите, а зеленщик, который был чистокровным янки и гордился этим, назвал его предателем родины и вовсе отказался иметь с ним дело — патриотизм его так разыгрался, что он перечеркнул счет Мартина, пусть предатель и не пытается отдать ему долг. Подобные же настроения чувствовались и в пересудах соседей, их возмущение разгоралось с каждым часом. Все отвернулись от предателя-социалиста. Несчастную Марию одолевали сомнения и страхи, но она по-прежнему была предана Мартину. Соседские ребятишки оправились от благоговейного трепета, который им внушил приехавший однажды к Мартину великолепный экипаж, и с безопасного расстояния обзывали его «лодырем» и «бродягой». Однако выводок Сильва решительно стоял за него, дал не один жестокий бой, защищая его честь, и, в придачу ко всем Мариным волнениям и заботам, теперь дня не проходило без синяков и расквашенных носов.

Однажды на улице в Окленде Мартин повстречался с Гертрудой и узнал то, чего и следовало ждать: Бернард Хиггинботем взбешен, заявил, что Мартин опозорил семью, и чтоб ноги его не было у них в доме.

— Уехать бы тебе, Мартин! — взмолилась Гертруда.— Уезжай, подыщи где-нибудь работу, остепенись. А поутрясется все, забудется, тогда и воротишься.

Мартин покачал головой, но объяснять ничего не стал. Что тут объяснишь? Он был потрясен тем, какая пропасть непонимания разверзлась между ним и его родными. Никогда не перебраться ему через эту пропасть, не объяснить свою точку зрения, ницшеанскую точку зрения на социализм. Нет таких слов в его родном языке, да и в любом другом языке, чтобы растолковать им его взгляды и поведение. По их понятиям, для него самое правильное найти постоянную работу. С этого они начинают и этим кончают. Таков их лексикон прописных истин. Найди место! Устройся на работу! Несчастные тупые рабы, думал он, слушая сестру. Неуди-

вительно, что мир принадлежит сильным. Рабы помешаны на своем рабстве. Для них работа — золотой идол, перед которым они падают ниц, которому поклоняются.

Гертруда предложила брату денег, и он опять покачал головой, хоть и знал, завтра не миновать идти к ростовщику.

— От Бернарда держись подальше,— предостерегла она.— Пройдет месяца три, поостынет он, тогда, глядишь, и возьмет тебя, если захочешь, возчиком, товар возить. А если во мне какая нужда, пошли за мной, я-то приду. Не забывай.

Шумно всхлипывая, она пошла прочь, и при виде этой грузной фигуры, этой неуклюжей походки жалость пронзила Мартина. Он глядел вслед сестре, и здание ницшеанского учения словно бы пошатнулось и закачалось. Отвлеченное понятие «класс рабов» — это ладно, но в применении к собственным родным такое определение не слишком подходит. И однако если есть на свете рабы, попираемые сильными, так сестра Гертруда — олицетворение раба. Этот парадокс заставил Мартина свирепо усмехнуться. Хорош ницшеанец, допустил, чтобы твои взгляды поколебались при первом же сердечном порыве, при первом же душевном волнении; это в тебе самом пробудилась мораль раба,— вот, по сути, что такое твоя жалость к сестре. Истинные аристократы духа выше жалости, выше сострадания. Жалость и сострадание родились в скрытых от мира переполненных жилищах рабов, это всего лишь мука и пот отверженных и слабых.

ГЛАВА 40

«Запоздавший» по-прежнему лежал забытый на столе. Все рукописи, которые Мартин разослал по журналам, вернулись и лежали под столом. Только одну он отправлял снова и снова — «Эфемериду» Бриссендена. Велосипед и черный костюм опять были в закладе, и агентство проката пишущих машинок вновь беспокоилось из-за арендной платы. Но все это больше не волновало Мартина. Он пытался заново обрести в этом мире почву под ногами, а до тех пор ничего он не станет предпринимать.

Через несколько недель случилось то, на что он надеялся. Он встретил на улице Руфь. Правда, ее сопровождал брат, Норман, и они хотели пройти мимо — и Норман сделал Мартину знак не подходить.

— Если вы станете навязываться сестре, я позову полицейского,— пригрозил он.— Она не желает с вами разговаривать, и ваша настойчивость оскорбительна.

— Не мешайте, не то придется позвать полицейского, но тогда ваше имя попадет в газеты,— угрюмо ответил Мартин.— А те-

перь прочь с дороги, и если хотите, зовите полицейского. Я намерен поговорить с Руфью.

— Я хочу услышать это из твоих уст,— сказал Мартин.

Ее кинуло в дрожь, она побледнела, но взяла себя в руки и выжидающе посмотрела на Мартина.

— В письме я задал тебе вопрос,— напомнил он.

Норман нетерпеливо дернулся, но быстрый взгляд Мартина обуздал его.

Руфь покачала головой.

— Ты поступаешь так по своей воле? — требовательно спросил он.

— Да. По своей воле.— Она говорила негромко, твердо, обдуманно.— Вы меня опозорили, я стыжусь встречаться со знакомыми. Я знаю, все обо мне сплетничают. Больше мне нечего вам сказать. Из-за вас я несчастлива, и я не хочу больше вас видеть.

— Знакомые! Сплетни! Газетные враки! Да разве все это сильнее любви? Я понимаю одно: значит, ты никогда меня не любила.

Бледное лицо Руфи вспыхнуло.

— После всего, что было? — слабым голосом воскликнула она.— Мартин, вы сами не понимаете, что говорите. Я не фабричная работница.

— Вы же видите, она не желает иметь с вами ничего общего,— выпалил Норман и повел Руфь прочь.

Мартин шагнул в сторону и дал им пройти, бессознательно сунул руку в пустой карман в поисках табака и бумаги для курева.

До Северного Окленда дорога не близкая, и Мартин понял, что она осталась позади, лишь когда поднялся по ступенькам и очутился у себя. Оказалось, он сидит на краю кровати и озирается, словно лунатик, которого разбудили. Увидел на столе рукопись «Запоздавшего», придвинул стул, потянулся за пером. В нем слишком сильно было стремление к законченности. А тут перед ним нечто незавершенное. Он все медлил с этим, пока не завершил другое дело. Теперь с ним покончено и можно всецело отдаться вот этой работе, пока не доведешь ее до конца. Что будет потом, Мартин не знал. Знал только, что в жизни его наступил перелом. Какой-то период подошел к концу, и он устранял недоделки, как свойственно рабочему человеку. Будущее сейчас ему не любопытно. Он и без того очень скоро узнает, что там ему припасено. Так ли, эдак, не имеет значения. Казалось, ничто сейчас не имеет значения.

Пять дней неотрывно работал он над «Запоздавшим», никуда не ходил, никого не видел, почти не ел. Утром шестого дня почтальон принес ему тоненький конверт от редактора «Парфено-

па». С одного взгляда он понял, что «Эфемерида» принята. «Мы послали поэму на отзыв мистеру Картрайту Брюсу,— писал редактор,— и он так высоко оценил ее, что мы не можем выпустить ее из рук. Чтобы Вы убедились, как приятно нам опубликовать поэму, хочу Вам сообщить, что мы поставили ее в августовский номер, июльский номер уже сверстан. Не откажите в любезности передать мистеру Бриссендену, как мы польщены и признательны ему. Просьба сразу же выслать нам его фотографию и сообщить биографические сведения. Если предлагаемый нами гонорар недостаточен, пожалуйста, немедля телеграфируйте, какая сумма для Вас приемлема».

Поскольку они предложили гонорар в триста пятьдесят долларов, Мартин не счел нужным телеграфировать. И надо еще получить согласие Бриссендена. Итак, он был прав. Нашелся редактор журнала, который знает толк в поэзии. И оплата превосходная, даже для поэмы века. А что до Картрайта Брюса, Мартин знал, это единственный критик, вызывающий у Бриссендена хоть малую толику уважения.

Мартин ехал в трамвае, смотрел на убегающие назад дома и перекрестки и невесело думал, что не ощущает ликованья, какое должен бы вызвать успех друга и его, Мартина, знаменательная победа. Единственно стоящий критик в Соединенных Штатах высоко оценил поэму, и, значит, прав был Мартин, утверждая, что настоящая вещь в конце концов пробьется в журнал. Но пружина восторга ослабла, и он поймал себя на том, что ему сейчас куда важней просто увидеть Бриссендена, чем принести ему добрую весть. Письмо из «Парфенона» напомнило, что все пять дней, посвященные «Запоздавшему», он ничего не знал о Бриссендене и даже не вспомнил о нем. Только теперь он понял, как оцепенела душа, и устыдился, что забыл о друге. Но и стыд не слишком обжег. Все ощущения притупились, кроме тех, что связаны с творчеством, с работой над «Запоздавшим». Ко всему остальному он в эти дни был слеп и глух. Да он и сейчас еще слеп и глух. Весь этот мир, через который с шумом мчался трамвай, казался далеким и призрачным, и если бы каменная громада мелькнувшей неподалеку колокольни внезапно рассыпалась в прах и рухнула на него, вряд ли он удивился бы и, уж конечно бы, не испугался.

В гостинице он поспешно поднялся в номер Бриссендена и тут же поспешно спустился. Номер оказался пуст. Вещей тоже не было.

— Что, мистер Бриссенден не оставлял какого-нибудь адреса? — спросил он портье, и тот посмотрел на него с любопытством.

— Вы разве не слыхали? — спросил он.

Мартин покачал головой.

— Да все газеты про это писали. Его нашли в постели мертвым. Самоубийство. Прострелил себе голову.

— Похороны уже были? — Мартину почудилось, это спросил откуда-то издалека чей-то чужой голос.

— Нет. Осмотрели тело да и отправили на Восток. Его родные наняли законников, а уж те обо всем позаботились.

— Они, видно, не теряли времени,— заметил Мартин.

— Как сказать. Застрелился-то он пять дней назад.

— Пять дней?

— Да, пять дней.

— Вот как,— сказал Мартин, повернулся и вышел.

На углу он зашел на телеграф и отправил в «Парфенон» телеграмму, советуя печатать поэму. В кармане у него было лишь пять центов на обратный проезд, и он послал телеграмму с оплатой при доставке.

Дома он тотчас опять засел за работу. Проходили, сменяясь, дни и ночи, а он сидел за столом и писал. Он никуда не выходил, если не считать ростовщика, и ел, если чувствовал голод и было из чего приготовить, а если готовить было не из чего, обходился без еды. Мысленно он давно уже выстроил повесть, главу за главой, но потом придумалось иное начало, гораздо сильнее, и Мартин его написал, хотя на это потребовалось еще двадцать тысяч слов. Не так уж необходимо было тут стремиться к совершенству, но этого требовала его натура художника. Он работал по-прежнему в оцепенении, странно отрешенный от всего вокруг, и в привычной писательской упряжке ощущал себя призраком прошлого. Вспомнилось, кто-то когда-то сказал, будто призрак — это дух умершего, которому не хватило ума понять, что он умер; и Мартин на минуту задумался — может быть, он и вправду мертв и только не сознает этого?

Настал день, когда «Запоздавший» был закончен. Агент конторы проката пришел за машинкой и сидел на кровати, пока Мартин, сидя на стуле, допечатывал последние страницы последней главы. «КОНЕЦ» отстучал он заглавными буквами, и для него это был поистине конец. Он даже с облегчением смотрел, как выносят из комнаты пишущую машинку, потом лег на постель. Он совсем обессилел от голода. Уже тридцать шесть часов у него маковой росинки во рту не было, но он об этом не думал. Закрыв глаза, лежал он на спине без мыслей, медленно погружаясь то ли в оцепенение, то ли в беспамятство, в котором тонуло сознание. В полубреду он вслух бормотал строки неизвестного поэта, которые любил читать ему Бриссенден. Это однообразное бормотанье пугало Марию, которая в тревоге прислушивалась за дверью. Беспокоили ее не слова, не слишком ей понятные, беспокоило, что он непрестанно что-то бормочет.

Кончил петь —
не трону струн.
Замирают песни быстро,
Так под ветром гаснут искры.
Кончил петь —
не трону струн.
Пел когда-то утром чистым —
Вторил дрозд веселым свистом.
Стал я нем,
скворец усталый,
Песен в горле не осталось,
Время пенья миновалось.
Кончил петь —
не трону струн.

Не в силах больше это выносить, Мария метнулась к плите, налила миску супу, зачерпнула со дна кастрюли побольше мелко нарубленного мяса и овощей. Мартин приподнялся на кровати, сел и принялся есть, уверяя Марию, что разговаривал не во сне и что нет у него никакой лихорадки.

Мария ушла, а он сидел на кровати мрачный, поникший, тусклым невидящим взглядом обводил комнату, и вот на глаза ему попалась надорванная обертка журнала, полученного с утренней почтой и еще не раскрытого, и в помраченном сознании блеснул свет. «Парфенон»,— подумал Мартин,— августовский «Парфенон», в нем должна быть «Эфемерида». Если бы Бриссенден дожил!»

Он листал журнал и вдруг замер. Поэма была напечатана на видном месте, под броской заставкой, на полях рисунки в стиле Бердсли. С одной стороны заставки — фотография Бриссендена, с другой — британского посла сэра Джона Вэлью. Из редакторского вступления следовало, что однажды сэр Вэлью сказал, будто в Америке нет поэтов, а «Парфенон» публикацией «Эфемериды» отвечает: «Вот вам, сэр Вэлью, получайте!» Картрайт Брюс был подан как замечательнейший американский критик, и приводились его слова, что «Эфемерида» замечательнейшая поэма, другой такой американская литература не знает. И заканчивалось это вступление так: «Мы еще не сумели оценить все достоинства «Эфемериды», а быть может, и никогда не сумеем вполне их оценить. Но мы неоднократно перечитывали поэму, поражались — где нашел мистер Бриссенден такие слова, как удачно подобрал их и как сумел связать в единое целое». А дальше шла сама поэма.

— Да, повезло, что вы не дожили до этого, Брисс, дружище,— пробормотал Мартин, опустил журнал, и тот соскользнул между колен на пол.

Все это отдавало тошнотворной дешевкой, пошлостью, но Мартин равнодушно заметил, что не так уж ему и тошно. Он бы рад был обозлиться, но и не пытался, не хватало сил. Слишком в нем все оцепенело. Кровь застыла, где ей вскипеть негодованием.

В конце концов, не все ли равно? Это не хуже всего прочего, что Бриссенден так осуждал в буржуазном обществе.

— Бедняга Брисс,— прошептал Мартин.— Он бы никогда мне этого не простил.— Через силу он поднялся и взял коробку из-под бумаги для пишущей машинки. Порылся в ней, достал одиннадцать стихотворений, написанных другом. Разодрал их и бросил в корзинку. Проделал это медленно, вяло, а кончив, сел на край кровати и тупо уставился в одну точку.

Он не знал, сколько времени так просидел. И вдруг перед невидящим взором справа налево протянулась белая полоса. Странно. Она становилась все отчетливей, и оказалось, это коралловый риф, курящийся брызгами пены. Потом среди бурунов он различил маленькое каноэ с выносными уключинами. На корме молодой бронзовый бог в алой набедренной повязке; поблескивая на солнце, мелькает у него в руках весло. Мартин узнал его. Это Моти, младший сын Тати, вождя, это остров Таити, и за курящимся брызгами пены рифом лежит сладостная земля Папара и у самой реки крытый пальмовыми листьями домик вождя. Близится вечер, и Моти возвращается после рыбной ловли домой. Он ждет, когда накатит высокая волна, чтобы перенестись на ней через риф. Потом Мартин увидел себя в ту далекую пору — сидит в каноэ впереди, как сиживал когда-то, опустив весло в воду, и ждет команды Моти: едва позади встанет стеною огромный бирюзовый вал, надо грести изо всех сил. И вот он уже не зритель, он сидит в каноэ, Моти издал клич, и оба они бешено заработали веслами, взлетели на крутой гребень вздымающейся бирюзы. Рассекаемая лодкой вода шипит, будто рвется наружу пар из котла, облаком встала водяная пыль, стремительное движенье, рокот, раскатистый грохот, и каноэ выносится в безмятежные воды лагуны. Моти смеется и трясет головой, трет глаза, в которые попали соленые брызги, и они вдвоем гребут к изъеденному волнами коралловому берегу, где за кокосовыми пальмами золотится в лучах заходящего солнца дом Тати.

Видение растаяло, и опять перед глазами Мартина его неприбранная убогая комнатенка. Тщетно пытался он снова увидеть Таити. Он знал, там поют среди пальм и девушки танцуют в лунном свете, но их он не увидел. Увидел только заваленный бумагами стол, пустоту на месте пишущей машинки и немытое окно. Он со стоном закрыл глаза и уснул.

ГЛАВА 41

Всю ночь Мартин проспал как убитый, разбудил его почтальон, принесший утреннюю почту. Усталый, отяжелевший, Мартин вяло просматривал письма. В тонком конверте оказался чек на

двадцать два доллара от одного из вороватых журнальчиков. Полтора года Мартин добивался этих денег. А сейчас они были ему безразличны. Куда девалось волнение, которое вызывал в нем прежде издательский чек. В отличие от тех, прежних чеков, этот ничего ему не сулил. Теперь это чек на двадцать два доллара, только и всего... просто на него можно будет купить еды.

Та же почта принесла и еще один чек, из нью-йоркского еженедельника, в оплату за юмористический стишок, принятый несколько месяцев назад, чек на десять долларов. В голову пришла мысль, и Мартин стал неторопливо ее обдумывать. Что делать дальше, еще неясно и пока не хочется ни за что браться. А между тем надо жить. И у него множество долгов. Пожалуй, выгодней всего накупить марок и опять отправить в путь все рукописи, что громоздятся под столом. Одну-другую могут и принять. Это поможет жить дальше. Так он и порешил и, получив по чекам в Оклендском банке, купил на десять долларов почтовых марок. Возвращаться к себе в тесную комнатушку и готовить завтрак — от одной этой мысли стало тошно. Впервые Мартин махнул рукой на свои долги. Конечно, дома можно состряпать сытный завтрак, который обойдется в пятнадцать — двадцать центов. Но вместо этого Мартин пошел в кафе «Форум» и заказал завтрак за два доллара. Двадцать пять центов он дал на чай и пятьдесят центов потратил на пачку «Египетских» сигарет. Он закурил впервые с тех пор, как Руфь попросила его бросить. Чего ради теперь не курить, да еще когда хочется. А деньги, зачем их беречь? За пять центов можно бы купить пакет дешевого табаку «Дарем», бумаги — и свернуть сорок распрекрасных цигарок — ну и что? Деньги для него теперь только тем и хороши, что на них можно сразу же что-то купить. Нет у него ни карты, ни руля, и не все ли равно, куда плыть, зато когда плывешь по воле волн, почти и не живешь, а ведь жить больно.

Дни скользили мимо, и каждую ночь Мартин преспокойно спал восемь часов. Хотя теперь, в ожидании новых чеков, он ел в японских ресторанчиках, где кормили за десять центов, он стал не такой тощий, впалые щеки округлились. Он уже не изматывал себя вечным недосыпанием, работой и занятиями сверх всякой меры. Ничего не писал, не раскрывал книги. Он много ходил, гулял среди холмов, долгими часами слонялся по тихим паркам. Не было у него ни друзей, ни знакомых, и он не заводил знакомств. Не хотелось. Неведомо откуда он ждал какого-то толчка, который снова привел бы в движение его остановившуюся жизнь. А пока жизнь его замерла,— бесцельная, пустая, бесполезная.

Однажды он отправился в Сан-Франциско, глянуть на «людей из настоящего теста». Но в последнюю минуту, уже поднявшись в подъезд, отпрянул от дверей, повернулся и бежал через много-

людные рабочие кварталы. От мысли, что придется слушать философские споры, страшно ему стало, и он удирал крадучись, опасливо — вдруг столкнется с кем-нибудь из «настоящих», кто его узнает.

Случалось, он проглядывал журналы и газеты — хотелось посмотреть, как там измываются над «Эфемеридой». Поэма имела успех. Но что это был за успех! Все прочитали ее и все спорили, можно ли это назвать поэзией. Местная пресса не осталась в стороне, и каждый день в газетах появлялись мудреные рецензии, язвительные статейки и глубокомысленные письма подписчиков. Элен Делла Делмар (под трубные звуки и грохот тамтамов провозглашенная величайшей поэтессой Соединенных Штатов) заявила, что Бриссендену не место рядом с ней на Парнасе, и в многословных письмах доказывала публике, что никакой он не поэт.

В следующем номере «Парфенон» похвалялся тем, какую поднял бурю, насмехался над сэром Джоном Вэлью и без зазрения совести использовал смерть Бриссендена в своих коммерческих интересах. Некая газета, утверждавшая, что у нее полмиллиона подписчиков, тиснула весьма оригинальный экспромт Элен Деллы Делмар с колкостями и подковырками в адрес Бриссендена. Больше того, она посмела еще и сочинить пародию на его поэму.

Не однажды Мартин порадовался, что Бриссенден до этого не дожил. Ведь он так ненавидел чернь, а сейчас все прекраснейшее в нем, самое святое, отдано во власть черни. Изо дня в день Красота подвергалась вивисекции. Каждый дурак хватался за перо, жалкие ничтожества спешили взмыть на волне величия Бриссендена и помельтешить в глазах публики: «Мы получили письмо от одного джентльмена, который недавно написал такую же поэму, только лучше»,— писала некая газета. Другая газета, упрекая Элен Деллу Делмар за ее пародию, заявила с полной серьезностью: «Мисс Делмар безусловно написала это в веселую минуту, не проявив уважения, с коим великий поэт должен бы относиться к другому, быть может, даже более великому. Однако, даже если мисс Делмар не чужда ревности к человеку, который сочинил «Эфемериду», она, как и тысячи других, несомненно, зачарована его творением, и, возможно, придет день, когда она попробует написать что-нибудь в этом роде».

Священники начали поносить «Эфемериду» в своих проповедях, а один, который слишком упорно защищал многие идеи поэмы, был за ересь лишен сана. Великую поэму использовали для увеселения публики. Ею завладели сочинители юмористических виршей и карикатуристы и потешались вовсю, а в светских еженедельниках пошли в ход шуточки, вроде таких: сэр Чарли Френшем строго по секрету сказал Арчи Дженнигсу, что, прочитав пять

строк «Эфемериды», пожалуй, кинешься избивать калеку, а после десяти строк и вовсе утопишься.

Мартин не смеялся и не скрипел в бешенстве зубами. Им овладела глубокая печаль. Рухнул весь его мир, тот мир, что венчала любовь, и после этого краха разочарование в журнальном мирке и милейшей публике не так ужасало. Бриссенден совершенно справедливо судил о журналах, а ему, Мартину, чтобы убедиться в этом самому, потребовались годы тяжкого и напрасного труда. Да, Бриссенден недаром клял журналы, можно было бы и еще кое-что прибавить. Ну, да с ними покончено, утешил себя Мартин. Он стремился к звездам, а свалился в зловонную трясину. Все чаще ему виделся Таити,— такие чистые, такие сладостные видения перед глазами. А есть еще низинный Паумоту, и скалистые Маркизские острова; теперь он часто видел себя на борту торговой шхуны или хрупкого катерка,— вот он на рассвете проходит за риф у Папеэте и пускается в путь вдоль жемчужных атоллов к Нуку-Хиве, к бухте Тайохаэ, где Тамари заколет в честь его приезда кабана, а увитые гирляндами дочери Тамари возьмут его за руки и с песней и смехом обовьют и его цветами. Это зов Южных морей, и конечно же, рано или поздно он отзовется.

А пока он ничего не делал, отдыхал и набирался сил после долгого перехода через царство знания. Когда от «Парфенона» пришел чек на триста пятьдесят долларов, Мартин передал его местному стряпчему, который по поручению родных Бриссендена занимался делами покойного. Мартин взял расписку в получении чека и одновременно дал письменное обязательство вернуть взятые у Бриссендена сто долларов.

Скоро Мартин перестал быть завсегдатаем японских ресторанчиков. В тот самый час, когда он перестал бороться, судьба ему улыбнулась. Но улыбка запоздала. Равнодушно вскрыл он тонкий конверт из «Золотого века», пробежал глазами чек на триста долларов и заметил, что он выписан за принятое к печати «Приключение». Все долги Мартина, включая проценты ростовщику, не превышали ста долларов. И когда он расплатился со всеми долгами и отдал сто долларов наследникам Бриссендена, у него в кармане еще осталось больше сотни долларов. Он заказал у портного костюм и обедал в лучших городских кафе. Спал он по-прежнему в своей комнатушке у Марии, но при виде его нового костюма соседские мальчишки перестали, забравшись на крышу дровяного сарая или хоронясь за забором, кричать ему «бродяга» и «лодырь».

«Уики-Уики», его гавайский рассказ, был куплен «Ежемесячником Уоррена» за двести пятьдесят долларов. «Северное обозрение» взяло его этюд «Колыбель красоты», а «Журнал Макинтоша» — «Гадалку», стихотворение, которое он посвятил Мэриан.

Редакторы и рецензенты вернулись после летнего отдыха, и судьба рукописей решалась без промедления. Для Мартина оставалось загадкой, что на них на всех напало, отчего они вдруг встрепенулись и пошли принимать подряд все то, что упорно отвергали целых два года. До сих пор ничто из написанного им еще не было напечатано. Нигде, кроме Окленда, его не знают, да и среди тех немногих в Окленде, кто думал, будто знает его, он известен как «красный» и социалист. И решительно нечем объяснить, почему товар его вдруг пошел в ход. Просто каприз судьбы.

После того как «Позор солнца» был отвергнут многими журналами, Мартин сделал, как советовал Бриссенден, с которым он раньше не соглашался,— отправил эту рукопись по издательствам. После нескольких отказов его приняло издательство «Синглтри, Дарнли и К°», пообещав опубликовать осенью. Мартин попросил аванс, но ему ответили, что это у них не принято,— такого рода книги редко окупаются и навряд ли удастся продать хотя бы тысячу экземпляров. Мартин вычислил, сколько заработает при таком тираже. Цена одного экземпляра — доллар, согласно договору он получает пятнадцать процентов, стало быть, книга принесет ему сто пятьдесят долларов. Он решил, что, если бы начинать все сначала, он бы ограничился беллетристикой. «Приключение» вчетверо короче, а «Золотой век» заплатил за него вдвое больше. Выходит, газетная заметка о гонорарах, которая давным-давно попалась ему на глаза, все-таки не лгала. Первоклассные журналы и вправду платят как только принимают материал, и платят хорошо. Не два, а четыре цента за слово заплатил ему «Золотой век». И к тому же они покупают хороший товар — ведь вот купили же его рассказ. При этой последней мысли Мартин усмехнулся.

Он написал в издательство «Синглтри, Дарнли и К°», предлагая продать авторское право на «Позор солнца» за сто долларов, да там не захотели рисковать. Но он пока не нуждался в деньгах, так как были приняты и оплачены несколько его поздних рассказов. Он даже открыл счет в банке, к его услугам теперь было несколько сот долларов, и никому на свете он ничего не должен. «Запоздавший», прежде отвергнутый многими журналами, наконец нашел пристанище в издательстве «Мередит-Лоуэл». Мартин вспомнил о пяти долларах, которые дала ему Гертруда, и как он решил возвратить ей в сто раз больше; и он написал в издательство с просьбой заплатить ему пятьсот долларов в счет авторского гонорара. К его немалому удивлению, с обратной же почтой пришел чек на эту сумму и с ним договор. Мартин обменял чек на пятидолларовые золотые и позвонил Гертруде, что ему нужно ее видеть.

Сестра пришла, запыхавшись, еле переводя дух, так она спешила. Предчувствуя недоброе, она прихватила те несколько дол-

ларов, которые у нее нашлись; и, совершенно уверенная, что с братом случилась беда, спотыкаясь, всхлипывая, кинулась к нему, обняла, без слов сунула ему сумочку.

— Я бы сам пришел,— сказал Мартин,— да не хотел стычки с Хиггинботемом, а этого бы не избежать.

— Обожди, вскорости он поостынет,— заверила его Гертруда, а сама гадала, в какую беду попал Мартин.— Только ты бы сперва подыскал себе место да остепенился. Бернард, он любит, чтоб человек был при деле. Прочитал он тогда про тебя в газетах и уж до того взбеленился. Сроду его таким не видывала.

— Не стану я искать себе место,— с улыбкой сказал Мартин.— Так ему от меня и передай. Не нужно мне никакое место, и вот тебе доказательство.

И ей на колени звонким, сверкающим золотым потоком устремились сто пятидолларовых монет.

— Помнишь, ты дала мне монету в пять долларов, у меня тогда не было на трамвай? Ну так вот она, эта монета, да еще девяносто девять ее сестриц, возраст у них разный, а все равно близнецы.

Гертруда и ехала-то к брату в страхе, а тут перепугалась насмерть. Да, конечно, она боялась не зря. Это уже не просто страшное подозрение, это уверенность. В ужасе глядела она на Мартина, и ее расплывшееся тело сжалось, словно золотой поток жег ее.

— Это твое,— засмеялся Мартин.

Гертруда отчаянно зарыдала.

— Бедняжка ты мой, бедняжка! — со стоном повторила она.

Мартин был ошарашен. Потом понял, отчего убивается сестра, и подал ей письмо издателей, сопровождавшее чек. С трудом разбирала она письмо, то и дело останавливалась, утирала глаза, а дочитав, спросила:

— Стало быть, деньги эти у тебя честные?

— Почестней, чем если бы я их выиграл в лотерею. Я их заработал.

Понемногу она поверила, старательно перечитала письмо. Долго пришлось объяснять ей, каким образом оказалось у него столько денег, и еще немало времени прошло, покуда она уразумела, что деньги и вправду ее, а он в них не нуждается.

— Положу их в банк на твое имя,— сказала наконец Гертруда.

— Даже и думать не смей. Деньги твои, трать в свое удовольствие, а не хочешь брать, отдам Марии. Она уж найдет, куда их девать. Только вот что я тебе скажу, найми-ка служанку и как следует отдохни.

— Расскажу все Бернарду,— объявила сестра, уходя.

Мартин поморщился, потом усмехнулся.

— Давай рассказывай. И может, он тогда опять пригласит меня обедать.

— А как же... наверняка пригласит,— пылко отозвалась Гертруда, притянула Мартина к груди, обняла и поцеловала.

ГЛАВА 42

И пришел день, когда Мартину стало одиноко. Вот он здоров, полон сил, а делать ему нечего. Писать и заниматься он перестал, Бриссенден умер, Руфь для него потеряна, и в жизни зияет пустота, а просто жить безбедно, похаживать в кафе да покуривать «Египетские» сигареты — не для него это. Правда, слышался ему зов Южных морей, но казалось ему, что в Соединенных Штатах игра еще не окончена. Скоро должны выйти две его книги, а есть у него в запасе и рукописи, которые, возможно, все же найдут издателя. Они принесут деньги, он подождет и уж тогда, богачом, отправится в Южные моря. На Маркизах есть одна долина возле бухты, ее можно купить за тысячу чилийских долларов. От подковообразной закрытой бухты долина уходит к головокружительным, увенчанным облаками горным пикам, и в ней добрых десять тысяч акров. Там полным-полно тропических плодов, диких кур и свиней, бывает, забредет даже стадо диких баранов, а высоко в горах пасутся стада диких коз, и на них охотятся стаи диких собак. Дикое место. Людей там нет. И можно купить эту долину вместе с бухтой за тысячу чилийских долларов.

Бухта, помнится, великолепная, глубокая, туда спокойно могут заходить самые крупные суда, и притом безопасная. Справочник Южно-тихоокеанского пароходства даже рекомендует ее как лучшее на многие сотни миль место для малого ремонта судов. Он купит шхуну — из тех, что вроде яхты, дно обшито медью и развивают бешеную скорость — и станет торговать копрой и добывать жемчуг у островов. Долина и бухта станут его штаб-квартирой. Он построит просторный дом, крытый пальмовыми листьями, как спокон веку строят островитяне, и в доме, в долине, на шхуне у него будут темнокожие слуги. Там он будет принимать агента с фактории Тайохаэ, капитанов странствующих торговых судов и сливки тамошнего сомнительного общества. У него будет открытый дом, и принимать он всех станет по-королевски. И забудет книги, которые некогда так много для него значили, забудет мир, который оказался обманчивым.

Чтобы все это исполнилось, надо сидеть в Калифорнии и ждать, когда разбогатеешь. Деньги понемногу притекают. Если бы какая-нибудь из его книг завоевала успех, удалось бы продать всю груду рукописей. Можно бы составить сборники стихов и рас-

сказов и уж тогда долина, бухта, шхуна у него в руках. Писать он больше не будет. Это решено. Но пока, в ожидании, когда книги будут напечатаны, надо что-то делать, выйти из тупого оцепенения, какой-то холодной отрешенности.

Однажды воскресным утром Мартин узнал, что в этот день в Шелл-Маунд-парке каменщики устраивают гулянье, и прямиком туда направился. В прежние времена он частенько бывал на таких гуляньях, хорошо представлял, что это такое, и, едва вошел в парк, на него нахлынули ощущения той давней поры. В конце концов, он из того же теста, что весь этот рабочий люд. Среди тружеников он родился, среди них жил, и, хотя на время от них отошел, приятно снова оказаться среди своих.

— Неужто Март! — услышал он, и чья-то дружеская рука опустилась ему на плечо.— Где пропадал? В плаванье ходил? Ну, давай опрокинем стаканчик.

Он очутился в старой компании, только из старых приятелей кое-кого недоставало, появились и новые, незнакомые лица. К каменщикам они не имели никакого отношения, но по-прежнему ходили на все подряд воскресные гулянья — потанцевать, подраться, позабавиться. Мартин выпил с ними и снова почувствовал себя человеком. Дурак он, что ушел от них; и конечно же, он был бы куда счастливее, если бы остался со своими и махнул рукой на книги и на всяких важных господ. Однако пиво не казалось так хорошо, как в былые времена. Совсем не тот, не прежний вкус. Это Бриссенден виноват, отбил у него вкус к пиву, решил он и подумал, а может, книги в конце концов отбили у него вкус к обществу друзей юности. Он решил не поддаваться и пошел в павильон для танцев. Встретил подручного слесаря с какой-то блондинкой, и она тотчас предпочла своему кавалеру Мартина.

— Ишь какой, всегда он так,— объяснил Джимми приятелям, которые стали над ним потешаться, когда Мартин с блондинкой унеслись от него в вальсе.— И плевать, я не в обиде. Уж больно я рад опять его повстречать. Гляди, как ее кружит, а? Эдак ласково. Как тут девчонку виноватить?

Но Мартин возвратил девчонку Джимми, и втроем, да еще с полудюжиной приятелей, они смотрели, как крутятся пары, и смеялись, и перебрасывались шутками. Все радовались возвращению Мартина. Ни одна его книга еще не вышла из печати. И он не поднялся в их глазах на какие-то мнимые высоты. Просто его любили такого, какой он есть. Он чувствовал себя принцем, вернувшимся после изгнания, и одинокая душа его расцветала, омытая их сердечным радушием. Он веселился вовсю, он был в ударе. Да и карманы были не пусты, и, как бывало, когда он возвращался из плаванья, только что получив жалованье, он беспечно сорил деньгами.

В какую-то минуту среди танцующих мелькнула Лиззи Конноли в объятиях молодого рабочего парня, и позднее, пройдясь по павильону, Мартин набрел на нее — она сидела у стола с закусками и прохладительными напитками. Когда радостно-удивленные восклицания остались позади, Мартин вышел с нею на волю, где можно разговаривать, не стараясь перекричать музыку. С той минуты, как он с ней заговорил, она была в его власти. Он это понимал. Он читал это в гордом и покорном ее взгляде, во всей ее гордой и ласковой повадке, в том, как жадно она его слушала. Это была уже не та девчонка, какую он знал прежде. Теперь перед ним была женщина, и ее страстной, дерзкой красоте еще прибавилось прелести — все такая же страстная, она стала уже не такой пылкой и дерзкой, видно, научилась лучше владеть собой. «Красавица, настоящая красавица»,— прошептал восхищенный Мартин. И он понимал, она в его власти, и скажи он только «пойдем», и она пойдет за ним на край света.

Едва у него мелькнула эта мысль, жестокий удар кулаком в скулу чуть не свалил его наземь. Нападающим двигала такая злость и так он спешил, что не попал в челюсть, куда метил. Мартин кое-как устоял на ногах, обернулся навстречу новому яростному взмаху кулака. Он машинально пригнулся, и кулак, не задев его, скользнул мимо, противника рвануло вперед, крутануло. Мартин изо всей силы нанес короткий боковой удар левой. Противник рухнул на бок, вскочил, бешено кинулся на Мартина. Мартин увидел его искаженное неистовой злобой лицо, мельком подумал, с чего так зол на него этот парень. А тем временем, размахнувшись, нанес прямой удар левой. Парень опрокинулся назад, рухнул грудой тряпья. К ним уже подбегали Джимми с приятелями.

Все существо Мартина торжествовало победу. Будто вернулись беззаботные прежние дни, танцы, драка, веселье — даже еще лучше стало. Он не спускал настороженного взгляда с противника. Лишь мельком глянул на Лиззи. Обычно девушки поднимают визг, когда парни дерутся, но Лиззи не визжала. Затаив дыхание, она чуть подалась вперед и жадно следила за схваткой — рука прижата к груди, щеки пылают, в глазах жаркое, восхищенное удивление.

Парень поднялся с земли и теперь силился вырваться из рук честно́й компании.

— Она меня дожидалась! — орал он на весь белый свет.— Меня она дожидалась, а этот встрял и нахально ее увел! Пустите меня, говорят вам, пустите. Я с ним разделаюсь!

— Очумел, что ли? — спросил Джимми, вместе с другими удерживая парня.— Это ж Мартин Иден. Он боксер что надо, верно тебе говорю. Будешь соваться, он из тебя лепешку сделает.

— Он ее у меня из-под носа увел! — выкрикнул парень.

— Он одолел Летучего Голландца, а уж его-то ты знаешь,— увещевал Джимми.— Всего-то за пять раундов и свалил. А ты и минуты против него не продержишься.

Это известие, кажется, несколько утихомирило разъяренного парня, и он смерил Мартина опасливым взглядом.

— По нему не видать,— насмешливо сказал он, но запала в насмешке не чувствовалось.

— Летучий Голландец тоже сперва не увидал,— заверил его Джимми.— Пошли, кончай с этим. Мало тут, что ли, девчонок. Пошли!

Парень дал себя увести, и вся компания двинулась за ним в сторону павильона.

— Кто это? — спросил Мартин у Лиззи.— И вообще с чего он так вскинулся?

Боевой пыл, который когда-то жарко разгорался в нем и остывал не сразу, уже угас, Мартин поймал себя на том, что слишком придирчиво разбирается в себе, и понял: не для него это незатейливое существование, когда бездумно даешь волю любому порыву.

Лиззи вскинула голову.

— А никто,— сказала она.— Ухажер мой.— И, помолчав, объяснила:— Так уж пришлось. Больно тошно стало одной-то. А только я не забыла,— договорила она совсем тихо, глядя куда-то вдаль.— А его бы бросила и глазом не моргнула.

Она отвернулась, а Мартин, глядя на нее, знал: довольно только протянуть руку, чтобы сорвать этот плод, и еще подумалось, а много ли, в сущности, стоит безукоризненно правильная утонченная речь, и за этими мыслями забыл ей ответить.

— Здорово ты его отдубасил,— со смехом бросила Лиззи пробный камешек.

— А он крепкий парнишка,— великодушно признал Мартин.— Если бы его не увели, пожалуй, я не так бы легко с ним справился.

— А кто была дамочка, с кем я тебя видала в тот вечер? — спросила Лиззи.

— Да просто знакомая,— ответил Мартин.

— Давно это было,— задумчиво прошептала она.— Будто тыща лет прошла.

Но эту тему Мартин не поддержал. Перевел разговор на другое. Они пообедали в ресторане, он заказал вино и дорогие лакомства, а потом танцевал с ней, с ней одной, покуда она не устала. Он был отличный танцор, и Лиззи кружилась с ним и кружилась, склонясь головой ему на плечо, она была вне себя от счастья, и ей хотелось только, чтобы так было вечно. К вечеру они погуляли в парке, а потом, по доброму старому обычаю, она села на траву, а

Мартин растянулся на спине, положил голову ей на колени. Он дремал, а Лиззи гладила его волосы, смотрела на его сомкнутые веки,— ее переполняла любовь. Внезапно открыв глаза, Мартин прочел признание, написанное на ее лице. Она опустила ресницы, вновь подняла и с ласковым вызовом встретила его взгляд.

— Я честная перед тобой, ждала тебя все годы,— сказала она тихо-тихо, чуть не шепотом.

Мартин понимал, что, как ни поразительно, это правда. И в душе отчаянно боролся с искушением. Он может сделать ее счастливой. Судьба отказала ему в счастье, но почему он должен отказать в счастье этой девушке? Можно бы жениться на ней, и пусть она живет во дворце на Маркизах под кровлей из пальмовых листьев. Так сильно было искушение, но властный внутренний голос оказался еще сильней. Сам того не желая, Мартин был все еще верен Любви. Пора вольной, бездумной жизни миновала. Ее уже не вернуть, и к ней не вернуться. Он изменился, до этого часа он даже не понимал, как сильно изменился.

— Не гожусь я в мужья, Лиззи,— небрежно сказал он.

Рука, играющая его волосами, на миг замерла, потом опять принялась тихо их поглаживать. Лицо девушки словно отвердело, но то была твердость внезапно принятого решения — щеки попрежнему розовели, и вся она светилась нежностью.

— Не об том я...— начала она и запнулась.— Или... да мне все едино,— повторила она.— Я гордая, что ты мне друг. Я для тебя чего хочешь сделаю. Такая уж, видать, уродилась.

Мартин сел, взял ее за руку. Неспешно взял, с теплым чувством, но без страсти, и от этой теплоты девушку пробрал холод.

— Не будем больше про это,— сказала она.

— Ты очень хорошая, сердце у тебя благородное,— сказал Мартин.— Это мне надо гордиться, что я с тобой знаком. И я горжусь, горжусь. Ты для меня луч света в очень темном мире, и я должен быть честен перед тобой, как была честна передо мной ты.

— А мне все едино, честный ты со мной или нечестный. Ты чего хочешь со мной делай. Хоть в грязь кинь да растопчи. В целом свете одному тебе это можно,— с чувством, с вызовом прибавила она.— Зазря я, что ль, сызмальства сама об себе заботилась.

— Потому-то я ничего такого и не сделаю,— мягко сказал Мартин.— У тебя слишком большое сердце, слишком ты великодушная, не могу я с тобой поступать недостойно. Жениться я не собираюсь и не собираюсь... ну, любить, не женясь, хотя прежде со мной так бывало. Мне жаль, что я пришел сюда сегодня и встретился с тобой. Но теперь уже ничего не поделаешь, и я ведь совсем не думал, что так обернется. Но послушай, Лиззи, ты мне так нравишься, никакими словами не сказать. Не просто нравишься. Я восхищаюсь тобой и уважаю тебя. Ты замечательная, ты заме-

чательно хорошая. Да что толку в словах? Но я вот что хочу сделать. Тебе трудно жилось, позволь мне облегчить твою жизнь. (Глаза Лиззи засветились радостным светом — и снова погасли.) У меня почти наверняка скоро заведутся деньги... Много денег.

В эту минуту он махнул рукой на долину с бухтой, на крытый пальмовыми листьями дворец и нарядную белую шхуну. В конце-то концов, не все ли равно. Можно уйти в плаванье простым матросом, куда угодно, на любом корабле, как уходил уже столько раз.

— Я хотел бы отдать эти деньги тебе. Есть ведь, наверно, что-то, чего тебе хочется,— пойти в школу или на курсы делопроизводства. Или захочешь выучиться на стенографистку. Я это устрою. Или, может, у тебя живы отец с матерью. Я могу купить для них бакалейную лавку или что-нибудь еще. Только скажи, чего ты хочешь, и я все устрою.

Лиззи не отвечала, сидела на шевелясь, глядя в одну точку сухими глазами, но в горле у нее застрял ком, и Мартин так отчетливо понял ее боль, что и у него самого ком застрял в горле. Зачем только он такое сказал. Всего-навсего деньги предложил он ей — такая это дешевка перед тем, что предложила ему она. Он хотел отдать то, без чего мог обойтись, с чем мог расстаться легко, она же отдала ему себя, шла на позор, на стыд, на грех, который не простится ей и за гробом.

— Давай не будем про это,— сказала Лиззи, голос ее сорвался, и она сделала вид, будто закашлялась. И поднялась.— Пошли по домам. Устала до смерти.

Праздник кончился, почти все гуляки уже разошлись. Но когда Мартин и Лиззи вышли из-за деревьев, оказалось, что вся компания их поджидает. Мартин тотчас понял, что это значит. Назревала заварушка. Компания — его телохранители. Они вышли из ворот парка, а за ними в отдалении следовала вторая компания, друзья Лиззиного кавалера — потеряв даму, он собрал приятелей и готовился отомстить. Несколько полицейских, учуяв, что пахнет дракой, держались неподалеку и препроводили обе компании, одну за другой, к поезду на Сан-Франциско. Мартин сказал Джимми, он выйдет у Шестнадцатой улицы и доедет в Окленд трамваем. Лиззи сидела тихая, безучастная к назревающей драке. Поезд остановился на Шестнадцатой улице, у станции уже стоял трамвай, и кондуктор нетерпеливо трезвонил.

— Вон он дожидается. Давай беги, а мы их задержим,— посоветовал Джимми.— Живей! Не упусти его!

Враги растерялись было при этом маневре, но сейчас же соскочили с поезда и кинулись вдогонку. Пассажиры трамвая, степенные, рассудительные оклендцы, едва ли обратили внимание на парня и девушку, которые вскочили в трамвай и прошли на перед-

ние открытые места. Они не связали эту пару с Джимми, который вскочил на подножку и заорал вагоновожатому:

— Жми на всю катушку, друг, давай гони!

И тотчас круто обернулся, заехал кулаком в лицо бегущему парню, который пытался тоже вскочить в трамвай. Вдоль всего вагона кулаки молотили по лицам. Так Джимми с приятелями на всех подножках трамвая отражали атаку. Трамвай затрезвонил вовсю, рванулся вперед, и, отбив последних нападающих, Джимми со своими соскочил наземь, чтобы довести дело до конца. Трамвай помчался дальше, оставив далеко позади шквал битвы, а ошарашенные пассажиры и думать не думали, что причина переполоха спокойный молодой человек и хорошенькая работница.

Мартин сперва радовался драке, в нем вспыхнул давний боевой задор. Но задор этот быстро угас, сменился печалью. До чего же он стар, куда старше беспечных, беззаботных приятелей его прежних дней. Он ушел далеко, слишком далеко, назад уже не вернуться. Их жизнь, та, какою когда-то жил и он, ему теперь отвратительна. В ней он окончательно разочаровался. Он стал чужаком. Как показался противен вкус дешевого пива, так противно теперь ему водить компанию с этими парнями. Слишком он отдалился. Тысячи книг, что он держал в руках, разверзли между ними пропасть. Он сам отправил себя в изгнание. Он странствовал по бескрайнему царству разума, и вот уже нет ему возврата домой. Но ведь человек же он, и всечеловеческая потребность в обществе себе подобных остается неутоленной. Нового дома он не обрел. Как не способны его понять эти старые приятели, и родные, и всякие буржуа, так и девушке, сидящей рядом, которую он глубоко уважает, не понять ни его самого, ни того, как глубоко он ее уважает. Мартин думал обо всем этом, и печаль его окрасилась горечью.

— Помирись с ним,— посоветовал он Лиззи при расставании, когда они стояли перед лачугой в рабочем квартале, где она жила неподалеку от угла Шестой и Маркет-стрит. Он говорил о молодом парне, которого сегодня оттеснил.

— Не могу я... теперь,— сказала Лиззи.

— Ну что ты,— весело сказал Мартин.— Только свистни, и он бегом прибежит.

— Я не про то,— просто сказала Лиззи.

И он понял, о чем она.

Он уже собирался проститься, и тут она потянулась к нему. Но не властно потянулась, не с желанием соблазнить, а с тоской и смирением. Мартин был бесконечно тронут. Его природное великодушие взяло верх. Он обнял Лиззи и поцеловал, и знал: ничто на свете не могло быть искренней и чище ее ответного поцелуя.

— Господи! — сквозь слезы выговорила она.— Я хоть сейчас умру за тебя! Хоть сейчас!

И внезапно оторвалась от него и взбежала на крыльцо. У Мартина увлажнились глаза.

«Мартин Иден,— сказал он себе.— Ты не скот, ты проклятый ницшеанец. Ты должен был бы на ней жениться, и тогда это трепещущее сердце до краев наполнилось бы счастьем. Но не можешь ты, не можешь! Позор!»

«Бродяга старый, что бубнит про язву,— пробормотал Мартин, вспомнив строки Хенли.— Людская жизнь — ошибка и позор».

Да, так и есть, ошибка и позор.

ГЛАВА 43

«Позор солнца» вышел в свет в октябре. Когда Мартин разрезал шнурок срочной бандероли и шесть авторских экземпляров, посланных редакцией, упали на стол, глубокая печаль охватила его. Он подумал о том, как неистово ликовал бы, случись это всего несколько месяцев назад, и как далеко от ликования нынешнее холодное равнодушие. Его книга, первая его книга — а сердце не забилось чаще, и на душе одна лишь печаль. Теперь выход книги почти ничего не значит. Разве что будут кое-какие деньги, но и к деньгам он равнодушен.

Мартин понес один экземпляр в кухню и подарил Марии.

— Это я написал,— объяснил он, желая рассеять ее недоумение.— Написал вон в той комнате, и я считаю, мне помогал твой овощной суп. Возьми книгу. Она твоя. Пускай она напоминает тебе обо мне.

Мартин не хвастал, не рисовался. Просто ему хотелось ее порадовать — пускай гордится им, пускай знает, что не зря так долго верила в него. Мария положила книгу на семейную Библию в комнате для гостей. Теперь это святыня, ведь эту книгу сочинил ее постоялец, это — символ дружбы. Книга смягчила удар от того, что прежде он был рабочим в прачечной, и хотя Мария не могла понять ни строчки, она знала, что каждая строчка замечательная. Эта простая женщина, только и знающая прозу жизни да тяжкий труд, была щедро одарена талантом веры и верности.

Так же равнодушно, как взял он в руки отпечатанный «Позор солнца», читал Мартин рецензии, которые каждую неделю присылало ему бюро вырезок. Книга явно имеет успех. Значит, у него станет больше золота. Он сможет устроить будущее Лиззи, исполнить все свои обещания, и хватит еще и на то, чтобы построить крытый пальмовыми листьями дворец.

Осторожные издатели «Синглтри, Дарнли и К°» выпустили в свет полторы тысячи экземпляров, но после первых же рецензий стали печатать второе издание двойным тиражом, и не успело еще

оно разойтись, заказали третье — в пять тысяч экземпляров. Одна лондонская фирма по телеграфу договорилась об английском издании, а вслед за ней тотчас стало известно, что во Франции, в Германии и в Скандинавии готовятся переводы. Трудно было бы выбрать более подходящее время для нападения на школу Метерлинка. Завязалась яростная полемика. Сейлиби и Геккель, в кои-то веки оказавшись заодно, поддерживали и защищали «Позор солнца», Крукс и Уоллес заняли противоположную позицию, а сэр Оливер Лодж пытался сформулировать промежуточную точку зрения, которая совпадала бы с его космическими теориями. Последователи Метерлинка объединились под знаменем мистицизма. Весь мир хохотал, читая серию якобы беспристрастных эссе Честертона, посвященных этой теме, и все вместе едва не испустили дух, когда по ним выпалил из всех орудий Джордж Бернард Шоу. Нечего и говорить, что в бой ринулось множество и не столь прославленных знаменитостей, и от пыли, пота и шума было не продохнуть.

«Невиданный случай,— писали Мартину «Синглтри, Дарнли и К°».— Впервые критически-философский этюд раскупают как роман. Вы попали в самую точку, и все сопутствующие обстоятельства оказались непредвиденно благоприятными. Можете нимало не сомневаться, что мы куем железо, пока горячо. В Соединенных Штатах и в Канаде продано уже свыше сорока тысяч экземпляров, и печатается новое издание в двадцать тысяч экземпляров. Мы прилагаем все старания, чтобы удовлетворить спрос. И однако мы сами содействовали его росту. Мы потратили на рекламу уже пять тысяч долларов. Ваша книга обещает побить все рекорды.

При сем препровождаем копию договора на вашу следующую книгу. Соблаговолите заметить, что мы увеличили Ваш гонорар до двадцати процентов — это предел, на который может решиться наше патриархальное издательство. Если наше предложение Вам подходит, не откажите в любезности вписать название Вашей книги в соответствующем месте договора. Мы не ставим никаких условий касательно характера книги. Нас устроит любая книга на любую тему. Если она уже написана, тем лучше. Сейчас самое время, трудно себе представить более подходящий момент.

По получении подписанного договора мы будем иметь удовольствие послать Вам аванс в пять тысяч долларов. Как видите, мы верим в Вас и действуем с размахом. Хотелось бы также обсудить с Вами возможность заключения договора на некоторый срок, скажем, на десять лет, в который Вы отдаете нам исключительное право публиковать в виде книг все, что Вы напишете. Но об этом мы еще успеем условиться».

Мартин отложил письмо и подсчитал в уме, что пятнадцать

процентов от шестидесяти тысяч это девять тысяч долларов. Он проставил название книги «Дым радости», подписал новый договор и отправил по почте в издательство вместе с двадцатью короткими рассказами, написанными еще до того, как он изобрел рецепт, помогающий писать рассказы для газеты. И с той скоростью, на какую способна почта Соединенных Штатов, получил от «Синглтри, Дарнли и К°» чек на пять тысяч долларов.

— Мне надо, чтобы сегодня часа в два ты пошла со мной в город, Мария,— сказал Мартин в то утро, когда прибыл чек.— Или лучше встретимся в два на углу Четырнадцатой и Бродвея. Я буду тебя ждать.

В назначенный час она была на месте, но, гадая, зачем бы это он ее вытребовал, только и подобрала к загадке единственный ключ — башмаки, и ощутила горькое разочарование, когда Мартин мимо обувного магазина провел ее в контору недвижимого имущества. То, что произошло потом, на всю жизнь сохранилось у нее в памяти, как волшебный сон. Хорошо одетые джентльмены, разговаривая с Мартином и между собой, благосклонно ей улыбались, стучала пишущая машинка, на внушительном документе проставили подписи; был здесь и ее домохозяин, и он тоже подписал ту бумагу, а когда все это кончилось, уже на улице домохозяин сказал ей:

— Ну, Мария, вот и не надо тебе платить семь с половиной долларов в этом месяце.

Ошеломленная Мария слова не могла вымолвить.

— И ни за какой месяц больше не надо платить,— сказал домохозяин.

Мария бессвязно его благодарила, словно он сделал ей одолжение. И лишь когда она вернулась домой в Северный Окленд, потолковала с соседями и показала бумагу португальцу-бакалейщику, она в самом деле поняла, что стала владелицей домишка, в котором жила и за который так долго платила аренду.

— Чего ж перестали у меня покупать? — спросил португалец-бакалейщик, выйдя из лавки поздороваться с Мартином, когда тот вечером шел домой с трамвайной остановки; и Мартин объяснил, что больше сам не готовит, а потом зашел в лавку и выпил с хозяином по стаканчику. И заметил, что бакалейщик угостил его самым лучшим вином из своих запасов.

— Я съезжаю с квартиры, Мария,— сказал Мартин в тот вечер.— А скоро ты и сама отсюда уедешь. Тогда сможешь сдавать дом в аренду и будешь получать с жильцов плату. У тебя ведь брат не то в Сан-Леандро, не то в Хейуордсе молоком торгует. Так вот, белье, что взяла в стирку, отошли обратно нестираное, понимаешь? И завтра отправляйся в Сан-Леандро, или в Хейуордс, или где он там живет, повидайся с братом. Вели, чтоб приехал поговорить со

мной. Я буду в гостинице «Метрополь» в Окленде. Надо думать, он знает толк в молочных фермах.

И стала Мария домовладелицей и хозяйкой молочной фермы, где ей помогали два работника, и у нее появился и неуклонно рос счет в банке, несмотря на то, что весь ее выводок обзавелся башмаками и ходил в школу. Мало кому посчастливится встретить сказочного принца, об этом можно только мечтать, но Мария, вечная труженица, женщина трезвая, которая отродясь не мечтала ни о каких сказочных принцах, повстречала своего принца в обличье бывшего рабочего из прачечной.

Между тем широкая публика начала интересоваться — кто же он такой, этот Мартин Иден? Своим издателям Мартин отказался дать какие-либо сведения о себе, но от газет так просто не отделаешься. В Окленде, родном городе Мартина, репортеры отыскали десятки людей, которые могли о нем порассказать. Все, чем он был и не был, все, что делал, и много всякого, чего не делал, было подано публике, точно лакомое блюдо с приправой из моментальных снимков и фотографий, добытых у местного фотографа. Они сохранились у него с давних пор, и теперь он их заново отпечатал и пустил в продажу. Так противны были Мартину журналы и все буржуазное общество, что поначалу он воевал против этой шумихи, но под конец сдался — так было проще. Оказалось, неудобно не встретиться с корреспондентом, журналистом, который приехал издалека, чтобы поговорить с ним. И потом, в сутках ведь двадцать четыре часа, а он уже не пишет, не занимается самообразованием, надо же чем-то заполнить день; и он поддался неожиданной для него причуде, стал давать интервью, высказывался о литературе и философии и даже принимал приглашения разных буржуа. К нему пришло непривычное спокойствие. Ничто больше не задевало. Он всем простил, даже молокососу-репортеру, который некогда изобразил его «красным» — теперь Мартин разрешил ему сделать несколько снимков и согласился дать интервью на целую газетную полосу.

Время от времени он виделся с Лиззи, и она явно жалела, что он стал знаменитым. Это еще отдалило их друг от друга. Возможно, в надежде вновь приблизиться к нему она и уступила настояниям Мартина — пошла в вечернюю школу и на курсы делопроизводства и стала одеваться у сверхмодной чудо-портнихи, которая стоила немыслимых денег. С каждым днем Лиззи заметно менялась к лучшему, и Мартин стал уже подумывать, правильно ли он себя с ней ведет — ведь и согласилась она на все это и старалась ради него. Она хотела стать достойной его — обрести достоинства, которые, по ее мнению, он ценит. С другой стороны, Мартин никак не обнадеживал ее, обращался с ней по-братски и виделся редко.

Издательство «Мередит-Лоуэл и К°» выбросило «Запоздавше-

го» на книжный рынок в самый разгар популярности Мартина, и поскольку это была беллетристика, тираж даже превзошел «Позор солнца». Неделя за неделей две его книги стояли во главе списка бестселлеров — случай беспримерный. Морская повесть захватила не только любителей беллетристики и тех, кто зачитывался «Позором солнца», могучее многогранное мастерство, с каким она была написана, покоряло. Сперва он с блеском разгромил литературу мистицизма, а потом своей повестью убедительно показал, что же такое истинная литература, которую защищает, проявив себя как редкий талант — критик и творец в одном лице.

К нему хлынули и деньги и слава; он вспыхнул в литературе подобно комете, но вся эта шумиха не слишком его трогала, разве что забавляла. Одно его изумляло, сущий пустяк, которому изумился бы литературный мир, узнай он об этом. Но мир был бы изумлен скорее не этим пустяком, а изумлением Мартина, в чьих глазах пустяк этот вырос до громадных размеров. Судья Блаунт пригласил его на обед. Да, пустяк, но пустяку предстояло вскоре превратиться в нечто весьма существенное. Когда-то он оскорбил судью Блаунта, был с ним чудовищно груб, а судья, встретившись с ним на улице, пригласил его на обед. Мартину вспомнилось, как часто он встречался с судьей Блаунтом у Морза и хоть бы раз тот пригласил его на обед. Почему же судья не приглашал его тогда? — спрашивал себя Мартин. Он, Мартин, не изменился. Он все тот же Мартин Иден. В чем же разница? В том, что написанное им вышло в свет в виде книги? Но ведь написал он это раньше, работа была уже сделана. Это вовсе не достижение последнего времени. Все уже завершено было в ту пору, когда судья Блаунт заодно со всеми высмеивал его увлечение Спенсером и его рассуждения. Значит, не за то, что в нем и вправду ценно, пригласил его судья на обед, а за то, что он поднялся на какие-то мнимые высоты.

Мартин усмехнулся, принял приглашение и подивился собственной учтивости. На обеде, где присутствовало несколько важных господ с женами и дочерьми, Мартину явно предназначена была роль знаменитости, а судья Блаунт, при горячей поддержке судьи Хэнуэлла, отведя его в сторонку, принялся уговаривать Мартина стать членом «Стикса» — сверхизбранного клуба, в котором состояли не просто богатые люди, но люди выдающиеся. Мартин предложение отклонил и изумился больше прежнего.

Он все еще занят был тем, что разделывался с грудой своих рукописей. Он был завален просьбами издателей. Они сделали открытие, что он отличный стилист, но стиль у него отнюдь не заслоняет содержания. «Северное обозрение», напечатав «Колыбель красоты», попросило прислать еще пять-шесть подобных же этюдов, и он снабдил бы их желаемым, послал кое-что из своей груды, но тут «Журнал Бертона» вздумал рискнуть и попросил пять этю-

дов, предложив по пятьсот долларов за каждый. Мартин ответил, что согласен прислать, но по тысяче долларов за этюд. Он не забыл, что все эти рукописи когда-то были отвергнуты теми самыми журналами, которые теперь наперебой их выпрашивали. И отказали они тогда хладнокровно, не задумываясь, по шаблону. В свое время они обирали его, теперь он намерен обобрать их. «Журнал Бертона» заплатил за пять этюдов столько, сколько он запросил, а остальные четыре у него выхватил по той же цене «Ежемесячник Макинтоша». «Северное обозрение», не столь богатое, не могло с ними тягаться. Так вышли в свет «Служители тайны», «Взыскующие чуда», «Мерило своего «я», «Философия иллюзии», «Божественное и скотское», «Искусство и биология», «Критики и пробирки», «Звездная пыль» и «О пользе ростовщичества» — и вокруг каждого подолгу не стихали бурные споры, недовольство и ропот.

Издатели писали ему, предлагали ставить любые условия, что он и делал, но отдавал в печать то, что было уже написано прежде. Он решительно отказывался от новых работ. О том, чтобы опять взяться за перо, он и помыслить не мог. У него на глазах литературная чернь растерзала Бриссендена, и, хотя его самого эта же чернь подняла на щит, он не оправился от удара и не испытывал к ней ни малейшего уважения. И нынешняя его слава казалась ему бесчестьем, предательством по отношению к Бриссендену. Его коробило, но он твердо решил продолжать печататься и разбогатеть.

Он получал такие, например, письма от редакторов: «Около года назад мы имели несчастье отказаться от Вашей любовной лирики. Она произвела на нас тогда огромное впечатление, но мы были уже связаны другими обязательствами и это помешало нам принять Ваши стихи. Если они у Вас, если Вы будете так любезны, что передадите их нам, мы с радостью опубликуем их все на Ваших условиях. Мы готовы также предложить Вам наивысший гонорар, если Вы разрешите издать их книгой».

Мартин вспомнил про свою трагедию, написанную белым стихом, и вместо лирики послал ее. Перед тем как послать, он ее перечитал и поразился, до чего же это незрело, беспомощно и попросту никчемно. Однако послал, и трагедию напечатали, о чем редактор сожалел потом всю жизнь. Публика возмущалась и не верила своим глазам. Не мог этот напыщенный вздор выйти из-под пера такого мастера, как Мартин Иден. Утверждали, что вовсе не он это написал, либо журнал напечатал грубейшую подделку, либо Мартин Иден, по примеру Дюма-отца, на вершине успеха поручает подмастерьям писать за него. Когда же Мартин объяснил, что трагедия эта — ранний опыт, сочинена в пору его литературного младенчества, но журнал отчаянно ее домогался, журнал подняли на смех, и редактор был сменен. Отдельным изданием трагедию

так и не выпустили, хотя договор был заключен и аванс Мартин положил себе в карман.

«Еженедельник Колмена» пространной телеграммой, которая обошлась в добрые триста долларов, предложил Мартину написать для них двадцать очерков, каждый по тысяче долларов. Пусть Мартин за счет «Еженедельника» разъезжает по стране и пишет о чем ему заблагорассудится. Большую часть телеграммы составлял перечень возможных тем — доказательство, сколь широкий выбор предоставляется Мартину. Единственное ограничение — очерки должны быть посвящены внутренним проблемам Соединенных Штатов. Мартин ответил телеграммой за счет получателя, что принять их предложение не может, о чем очень сожалеет.

«Уики-Уики», опубликованный в «Ежемесячнике Уоррена», тотчас же завоевал общее признание. Позже его выпустили отдельным роскошным изданием, с большими полями и прекрасным оформлением, оно произвело фурор и было мигом распродано. Критики единодушно предсказывали, что он займет место рядом с двумя классическими произведениями двух великих писателей — с «Духом в бутылке» Стивенсона и «Шагреневой кожей» Бальзака.

Однако сборник «Дым радости» читатели встретили довольно холодно и не без подозрительности. Смелые, чуждые условностей, эти рассказы бросали дерзкий вызов буржуазной морали и предрассудкам; но когда Париж стал сходить с ума по маленьким шедеврам, мгновенно переведенным на французский, американская и английская читающая публика тоже загорелась, сборник пошел нарасхват, и Мартин заставил патриархальное издательство «Синглтри, Дарнли и К°» заплатить ему за третье издание по двадцать пять процентов с экземпляра, а за четвертое — по тридцать. В эти два тома вошли все его рассказы, которые напечатаны были раньше или печатались теперь в приложениях. «Колокольный звон» и «страшные» рассказы составили один сборник, а во второй вошли «Приключение», «Выпивка», «Вино жизни», «Водоворот», «Толчея» и еще четыре рассказа. Издательство «Мередит-Лоуэл» составило сборник из всех его эссе и этюдов, а издательству «Макмиллан» достались «Голоса моря» и «Стихи о любви», причем последние выходили приложением к «Спутнику женщины» и Мартин получил за них баснословный гонорар.

Отделавшись от последней рукописи, Мартин вздохнул с облегчением. До белой шхуны и тростникового дворца было уже рукой подать. Что ж, во всяком случае, он опроверг утверждение Бриссендена, будто ничего стоящего журналы вовек не печатают. Его успех наглядно показал, что Бриссенден ошибался. И однако почему-то думалось, что в конечном счет прав Бриссенден. Успех ему принес прежде всего «Позор солнца», а не все остальное, что он написал. Остальное попало в печать по чистой случайности.

Ведь сначала журналы отвергли все подряд. Но вокруг «Позора солнца» разгорелись споры, и он оказался на виду. Если бы не «Позор солнца», он остался бы в безвестности, и в безвестности остался бы «Позор солнца», если бы чудом не попал в самую точку. Издательство «Синглтри, Дарнли и К°» само считало, что произошло чудо. Первое издание выпустили тиражом в полторы тысячи экземпляров и сомневались, удастся ли его распродать. Опытные издатели, они больше всех были поражены успехом книги. Для них это и вправду было чудо. Они так и не оправились от удивления, и в каждом их письме Мартин ощущал почтительный трепет, вызванный тем загадочным событием. Найти объяснение они не пытались. Не было этому объяснения. Такой уж вышел случай, противоречащий всему их опыту.

Так размышляя, Мартин и решил, что невелика цена его славе. Ведь его книги раскупали и осыпали его золотом буржуа, а по тому немногому, что знал он о буржуа, ему не ясно было, как они могли оценить по достоинству или хотя бы понять то, что он пишет. Подлинная красота и сила его книг ничего не значила для сотен тысяч, которые раскупали и шумно восхваляли автора. Все вдруг помешались на нем, на дерзком смельчаке, который штурмом взял Парнас, пока боги вздремнули. Сотни тысяч читают его и шумно восхваляют, в своем дремучем невежестве ничего не смысля в его книгах, как, ничего не смысля, подняли шум вокруг «Эфемериды» Бриссендена и разорвали ее в клочья... Эта волчья стая ластится к нему, а могла бы впиться в него клыками. Ласться или впиться клыками — это дело случая, одно ясно и несомненно: «Эфемерида» несравнимо выше всего, что написал он, Мартин. Несравнимо выше всего, на что он способен. Такая поэма рождается однажды в несколько столетий, а значит, восхищению толпы грош цена, ведь та же самая толпа вываляла в грязи «Эфемериду». Мартин глубоко, удовлетворенно вздохнул. Хорошо, что последняя рукопись продана и скоро со всем этим будет покончено.

ГЛАВА 44

Мистер Морз встретился с Мартином в холле гостиницы «Метрополь». Пришел ли он на какое-то деловое свидание или только затем, чтобы пригласить Мартина на обед, осталось неясно. Хотя Мартин склонялся ко второму предположению. Так или иначе он получил приглашение на обед, и пригласил его мистер Морз, отец Руфи, который отказал ему от дома и разорвал помолвку.

Мартин не разозлился. Его это даже не задело. Он терпеливо выслушал мистера Морза, спрашивая себя, легко ли далось этому господину такое унижение. И приглашения не отклонил. Просто

неопределенно обещал как-нибудь заглянуть и спросил о семье, особенно о миссис Морз и Руфи. Не запнулся, вполне естественно произнес ее имя, хотя втайне удивился, что не ощутил внутреннего трепета, не застучало чаще сердце, не обдало жаркой волной.

Он получал много приглашений на обеды и кое-какие принимал. Люди просили знакомых представить их ему, чтобы пригласить его к себе. И тот пустяк по-прежнему изумлял его и превращался в нечто значительное. Его пригласил обедать Бернард Хигинботем, и Мартин изумился больше прежнего. Припомнились дни, когда он отчаянно голодал и никто не приглашал его на обед. Тогда-то он очень нуждался в обедах, а их не было, и его одолевали слабость и дурнота, и он худел просто-напросто от голода. Что может быть нелепее. Когда ему позарез надо было пообедать, никто ему этого не предлагал, а теперь, когда он может заплатить за сто тысяч обедов, и притом теряет аппетит, обеды сыплются на него со всех сторон. Но почему? Несправедливо это и не по заслугам. Он тот же, что был. Все, что он написал в ту пору, было уже написано, работа была уже сделана. Супруги Морз считали его бездельником и лодырем и через Руфь настаивали, чтобы он пошел служить в какую-нибудь контору. А ведь они знали, что он пишет. Руфь давала им рукопись за рукописью. И они читали. Читали все то, из-за чего имя его сейчас повторяют газеты, и как раз потому, что имя его повторяют газеты, Морзы и пригласили его на обед. Одно несомненно: и сам Мартин, и его писания Морзам всегда были глубоко безразличны. Значит, и сейчас он нужен им не сам по себе, не ради того, что он написал, но ради его славы, оттого, что он стал знаменитостью, а еще — почему бы и нет — оттого, что у него есть примерно сотня тысяч долларов. Именно так буржуазное общество и оценивает человека, и чего иного от этой публики ждать? Но он горд. Он презирает подобную оценку. Пусть его ценят за него самого или за его книги, в конце концов, они и есть выражение его самого. Так ценит его Лиззи. Для нее и его работа не в счет. Она ценит его, его самого. Так ценит его и Джимми, давний знакомец, и все прежние приятели. В дни, когда он был с ними, они не раз это доказывали; доказали и на воскресном гулянье в Шелл-Маунд-парке. Плевать им на его писания. Любят они и готовы отстоять в драке просто Мартина Идена, своего парня, парня что надо.

Но есть еще Руфь. Она полюбила его за него самого, это бесспорно. Но как бы он ни был ей дорог, буржуазная мера ценностей для нее дороже. Она восстала против его писательства, и прежде всего, видимо, потому, что оно не приносило денег. Этой меркой она мерила его «Стихи о любви». Она тоже настаивала, чтобы он поступил на службу. Правда, у нее это звучало более изящно — «добиться положения в обществе», но смысл был тот же, и у него

в голове засело старое наименование. Он читал ей все, что выходило из-под его пера — стихи, рассказы, эссе — «Уики-Уики», «Позор солнца», решительно все. И она каждый раз упорно настаивала: надо идти служить, идти работать... Боже милостивый! Да разве он не работал, отнимая часы у сна, не щадя себя, все ради того, чтобы стать достойным ее!

Итак, постепенно пустяк перерастал в нечто более значительное. Мартин был здоров телом и в здравом уме, он ел досыта, спал вволю, и однако этот пустяк стал его навязчивой идеей. *Моя работа была уже сделана,* слова эти преследовали его. Он сидел напротив Бернарда Хиггинботема за тяжеловесным воскресным обедом над Хиггинботемовой лавкой и еле сдерживался, чтобы не заорать:

— Моя работа была уже сделана! И теперь ты меня кормишь, а тогда предоставил мне голодать, не желал пускать на порог, клял меня на чем свет стоит, потому что я не шел служить. А я уже завершил свою работу, все было уже написано. Вот сейчас я говорю — и ты не смеешь меня перебить, ловишь каждое мое слово, почтительно выслушиваешь все, что бы я ни сказал. Твоя партия насквозь прогнила, в ней полно жуликов, говорю я, а ты, чем бы разъяриться, бекаешь и мекаешь и соглашаешься — да, мол, в моих словах много правды. А почему? Потому что я знаменит, потому что у меня куча денег. Не потому, что я Мартин Иден, парень что надо и не такой уж дурак. Ляпни я самую несусветную чушь, ты и тут поддакнешь, во всяком случае, не заспоришь, потому что у меня есть деньги... горы денег. А ведь книги мои написаны давным-давно, говорят тебе, моя работа была уже сделана, когда ты плевать на меня хотел и втаптывал в грязь.

Но Мартин не заорал. Мысль эта грызла, терзала непрестанно, а он улыбался и сохранял выдержку. А когда он замолчал, принялся разглагольствовать Хиггинботем. Он ведь тоже преуспел в жизни и гордится этим, он и сам выбился из низов. Никто ему не помогал. Он никому ничем не обязан. Он верный сын отечества, содержит большую семью, растит детей. И «Розничная торговля Хиггинботема за наличный расчет» — вот высшая награда его трудам и деловитости. Он любил лавку Хиггинботема, как иные мужчины любят своих жен. Он раскрыл перед Мартином душу, поведал, как дальновидно, с каким размахом воздвигал сей монумент. И сейчас он тоже строит планы, честолюбивые планы. Район этот разрастается. Лавка становится для него мала. Было бы помещение побольше, он бы ввел немало новшеств, которые сберегают труд, дают доход. И он этого добьется. Он из кожи лезет вон, придет время, и он купит смежный с лавкой участок и построит еще один двухэтажный каркасный дом. Верх можно будет сдавать внаем, а весь нижний этаж обоих домов займет «Розничная торговля Хиггинботема за наличный расчет». По фасаду обоих домов про-

тянется новая вывеска, Хиггинботем стал ее описывать, и даже глаза у него заблестели.

Мартин не слушал. *Моя работа была уже сделана,* опять и опять звучало в мозгу, заглушая трескотню лавочника. Неотвязный припев этот сводил с ума, и Мартин попробовал отделаться от него.

— Во сколько, говоришь, это обойдется? — вдруг спросил он.

Зять, который все еще распространялся о широких возможностях торговли в своем квартале, замолк на полуслове. Он не упоминал сейчас о том, во сколько обойдется постройка нового дома, но знал. Подсчитывал десятки раз.

— При нынешней цене на лес хватит четырех тысяч,— сказал он.

— Вместе с вывеской?

— Про это я не подумал, считал, раз дом выстрою, значит, вывеска само собой.

— А земля?

— Еще три тысячи.

Хиггинботем подался вперед и, облизывая губы, беспокойно шевеля пальцами, смотрел, как Мартин выписывает чек. Но вот чек передан ему, он глянул на сумму — семь тысяч долларов.

— Я... я больше шести процентов платить не смогу,— выговорил он.

Мартин чуть не рассмеялся, но вместо этого резко спросил:

— Сколько это было бы?

— Обожди-ка. Шесть процентов... шестью семь... четыреста двадцать долларов.

— Выходит тридцать пять долларов в месяц, верно?

Хиггинботем кивнул.

— Тогда, если ты не против, уговоримся так.— Мартин глянул на Гертруду.— Капитал в твоем распоряжении, если на тридцать пять долларов в месяц наймешь прислугу. Семь тысяч твои, если обещаешь, что Гертруда больше не будет везти на себе всю тяжелую работу по дому. Идет?

Мистер Хиггинботем трудно сглотнул. Жена не должна больше будет работать по дому — какое оскорбление его бережливости. Великолепный подарок — только оболочка пилюли, горькой пилюли. Жена не должна будет работать! Он задохнулся от злости.

— Что ж, ладно,— сказал Мартин.— Я сам буду платить тридцать пять долларов в месяц и...

Он потянулся через стол за чеком. Но Бернард Хиггинботем поспешно прикрыл чек рукой.

— Согласен! Согласен! — крикнул он.

Садясь в трамвай, Мартин почувствовал, до чего устал и до

чего ему тошно. Взглянул на вывеску — воплощение самодовольства.

— Свинья,— проворчал он.— Свинья, свинья.

Когда «Журнал Макинтоша» напечатал «Гадалку», на видном месте, с рисунками Бертье и Уэнна, Герман Шмидт забыл, что прежде назвал эти стихи непристойными. Стал везде рассказывать, что эти стихи посвящены его жене, постарался, чтобы новость достигла ушей какого-нибудь репортера, и, конечно, не отказал в интервью сотруднику газеты, который явился к нему в сопровождении фотографа и художника. И вот в воскресном приложении целую страницу заняли фотографии и приукрашенные карандашные портреты Мэриан вместе со множеством подробностей из личной жизни Мартина Идена и его семьи, и тут же, с особого разрешения «Журнала Макинтоша», была крупным шрифтом перепечатана «Гадалка». Весь квартал всполошился. Добропорядочные матери семейства возгордились знакомством с сестрой знаменитого писателя, а те, кто не был знаком, спешили удостоиться этой чести. Владелец скромной мастерской по ремонту велосипедов только посмеивался и решил заказать новый токарный станок.

— Это вышло получше рекламы, и ни гроша мне не стоило,— сказал он жене.

— Надо бы пригласить его на обед,— предложила Мэриан.

И Мартин пришел на обед, и старался быть вежливым с жирным мясником-оптовиком и его еще более жирной женой — люди они нужные, могут оказаться полезными начинающему молодому предпринимателю вроде Германа Шмидта. Однако залучить их в его дом могла только такая соблазнительная приманка, как его знаменитый зять. Был за столом и еще один человек, привлеченный той же приманкой,— главный управляющий агентствами велосипедной компании Эйса на Тихоокеанском побережье. Шмидт хотел угодить ему и снискать его расположение, ведь через него можно проникнуть в Оклендское велосипедное агентство. Итак, Герман Шмидт счел за благо иметь такого зятя, хотя в глубине души не понимал, как это Мартин стал знаменитостью. В тихие ночные часы, когда жена крепко спала, ему не спалось, он с великим трудом одолел книги и стихи Мартина и порешил, что все, кто их раскупает, просто сдурели. А Мартин отлично понимал Шмидта, видел его насквозь и, откинувшись на стуле, алчно глядел на его голову и в воображении обрушивал на него удар за ударом,— экая немецкая дубина! Но одно Мартину все-таки нравилось в нем. Хоть он бедняк и непременно решил выбиться в люди, а нанял служанку, избавил Мэриан от тяжелой работы. Мартин потолковал с главным управляющим агентствами Эйса и после обеда отозвал их с Германом в сторонку и снабдил зятя

«Мартин Иден»

«Мартин Иден»

деньгами, чтобы он мог открыть лучший в Окленде магазин велосипедов и деталей к ним. Больше того, после, в разговоре один на один Мартин сказал Герману: пускай приглядывает автомобильное агентство и гараж, наверняка он с таким же успехом сумеет заправлять еще и этим.

На прощанье Мэриан обняла Мартина и со слезами на глазах стала говорить, как она его любит и всегда любила. Правда, посреди этих уверений она запнулась, но тотчас заплакала, путаясь в словах, стала его целовать, и он понял, это — мольба простить ее за то, что прежде она не верила в него и настаивала, чтобы он шел работать.

— Деньги у него не продержатся, точно тебе говорю,— доверительно сообщил Шмидт жене.— Я заговорил про проценты, так он взбесился, заодно и капитал послал к чертям и говорит, попробуй только заикнись про это опять, разобью твою немецкую башку. Так и сказал — твою немецкую башку! Но он человек порядочный, хоть и не деловой. Теперь я выйду в люди, спасибо ему, он человек порядочный.

От приглашений к обеду отбою не было, и чем чаще Мартина приглашали, тем сильней он изумлялся. Почетным гостем сидел он на банкете Арден-клуба, среди людей выдающихся, о которых он слышал, о которых читал всю свою жизнь, и они говорили ему, что, едва прочитав в «Трансконтинентальном» «Колокольный звон», а в «Осе» «Пери и жемчужину», тут же разгадали в нем огромный талант. Господи, думал он, слушая это, а я голодал и ходил в отрепьях! Почему вы не накормили меня обедом тогда? Тогда это было бы в самый раз. Моя работа была уже сделана. Если вы кормите меня сейчас за то, что сработано прежде, почему же не кормили тогда, когда я в этом нуждался? Ни в «Колокольном звоне», ни в «Пери и жемчужине» я с тех пор не изменил ни слова. Нет, вы кормите меня сейчас не за то, что сработано. Кормите потому, что все меня кормят, и потому, что это почетно — кормить меня обедом. Вы кормите меня из стадного чувства, потому что и вы тоже чернь, и потому что бессмысленная стадная тупость ввела у черни моду — кормить меня обедами. Но при чем тут сам Мартин Иден и книги, которые он написал? — печально спросил он себя, а потом поднялся и искусно, остроумно ответил на искусный остроумный тост.

Так оно и шло. Где бы Мартин ни оказывался — в Пресс-клубе, в Редвуд-клубе, на светских чаепитиях и литературных сборищах — всегда речь заходила о «Колокольном звоне» и «Пери и жемчужине», и о том, что их прочли еще когда они впервые появились в журнале. И всегда Мартина бесил невысказанный вопрос: «Почему вы не кормили меня тогда? Моя работа была уже сделана. «Колокольный звон» и «Пери и жемчужина» не измени-

лись ни на волос. В них и тогда было то же мастерство, те же достоинства. Но не из-за них вы меня угощаете, не из-за других моих вещей. Вы потому угощаете, что теперь это признак хорошего тона, потому что сейчас вся чернь помешалась на желании угостить Мартина Идена».

И в такие минуты ему нередко виделся лихой парень в двубортном пиджаке и в шляпе с широченными полями. Так произошло однажды в Окленде, в Дамском клубе. Он поднялся со стула, прошел по эстраде и тут увидел — в раскрытых настежь дверях в конце просторного зала встал лихой парень в двубортном пиджаке и шляпе с широченными полями. И так пристально, так упорно вглядывался в него Мартин, что пятьсот разодетых дам с любопытством обернулись, не понимая, что же он там увидел. Но увидели только пустой проход между рядами. А Мартин видел молодого хулигана, который враскачку шел по проходу, и думал, а снимет ли парень шляпу, без шляпы он никогда еще его не видел. Парень прошел по проходу, вот он уже на эстраде. И от мысли обо всем, что еще предстояло этой тени юного Мартина Идена, он едва не зарыдал. Парень заносчиво шагнул прямо к Мартину и растворился у него в сознании, сгинул. Пятьсот пар рук в перчатках мягко зааплодировали, подбадривая знаменитого гостя, который вдруг так смутился. И Мартин отогнал видение, улыбнулся и заговорил.

Инспектор школ, славный старик, остановил Мартина на улице и стал вспоминать, как у него в кабинете Мартина исключали из школы за драку.

— Я прочел в журнале твой «Колокольный звон», уже давно прочел,— сказал он.— Хороший рассказ, не хуже Эдгара По. Великолепно, сказал я тогда, великолепно!

«Да, и с тех пор ты дважды проходил мимо меня на улице и не узнавал меня,— едва не сорвалось у Мартина.— Оба раза я был голоден и шел к ростовщику. И однако моя работа была уже сделана. Тогда ты меня не узнавал. Почему же узнал теперь?»

— Я как раз на днях сказал жене, хорошо бы тебе как-нибудь у нас отобедать,— говорил меж тем инспектор.— И она совершенно согласна со мной. Да, совершенно согласна.

— Отобедать? — резко переспросил, чуть не крикнул Мартин.

— Ну да, да, отобедать... просто разделить скромную трапезу со старым инспектором, негодник,— беспокойно залепетал он и робко ткнул Мартина в бок, пытаясь изобразить дружескую шутливость.

Мартин пошел прочь ошеломленный. На углу он остановился и растерянно поглядел вокруг.

— Провалиться мне на этом месте! — пробормотал он наконец.— Да ведь старик меня испугался.

ГЛАВА 45

Как-то к Мартину пришел Крейс, один из тех, которые из «настоящего теста»; и Мартин радостно потянулся к нему, в ответ же получил пылкий подробный рассказ о некой затее, достаточно сумасбродной, чтобы заинтересовать скорее романиста, чем человека с деньгами. Посреди объяснений Крейс ненадолго замолчал и вдруг заявил, что из большей части «Позора солнца» ясно — Мартин спятил.

— Но я к вам пришел не философию разводить,— тут же продолжал Крейс.— Мне вот что надо знать: вложите вы в это предприятие тысячу долларов?

— Нет, не вложу, во всяком случае, не настолько уж я спятил,— ответил Мартин.— Но я сделаю другое. Когда-то я провел у вас самый замечательный вечер в моей жизни. Вы дали мне то, чего не купишь за деньги. Теперь у меня есть деньги, и они для меня ничего не значат. Я охотно уделю вам тысячу долларов, которые вовсе не ценю, за то, что вы дали мне в тот вечер и что бесценно. У вас нет денег. У меня их больше чем достаточно. Вам они нужны. За ними вы и пришли. Незачем их выманивать хитростью. Вот, возьмите.

Крейс не выразил удивления. Сложил чек, спрятал в карман.

— На таких условиях я готов подписать договор и обеспечить вам сколько угодно подобных вечеров,— сказал он.

— Слишком поздно,— Мартин покачал головой.— Тот вечер для меня единственный и неповторимый. Я побывал в раю. Для вас-то, понятно, такое в порядке вещей. Для меня все было иначе. Никогда уже мне не подняться на такие высоты. С философией я покончил. Больше и слышать о ней не хочу.

— Первый раз в жизни заработал на своей философии,— заметил Крейс, задержавшись в дверях.— И опять мои акции упали до нуля.

Однажды мимо Мартина по улице проехала миссис Морз, она улыбнулась ему и кивнула. Он улыбнулся в ответ и приподнял шляпу. Встреча ничуть его не задела. Месяцем раньше ему стало бы противно, а может быть и любопытно, и он стал бы гадать, о чем подумала в ту минуту миссис Морз. Теперь же он просто не обратил внимания на эту встречу. Он тут же о ней забыл. Забыл, как забывал, пройдя мимо, о здании Центрального банка или муниципалитета. И однако ум его не знал ни минуты передышки. Мысль опять и опять шла по одному и тому же кругу. Средоточием этого круга оставалось одно: «Моя работа была уже сделана»; вот что непрестанно точило его. Эта мысль завладевала им поутру, едва он просыпался. По ночам она отравляла его сны. Все, что происходило вокруг, если только он вообще это замечал, тотчас связывалось с мыслью: «Моя работа была уже сделана». Тропа безжалостной

логики вела его к заключению, что он — никто, ничто. Март Иден лихой парень, и Март Иден матрос — вот это был он, живой, настоящий; но Мартина Идена знаменитого писателя на свете не было. Мартин Иден знаменитый писатель — призрак, выдумка черни, стадным мышлением черни втиснутая в живого, из плоти и крови, Марта Идена, лихого парня и матроса. Но его не проведешь. Он не идол, которому поклоняется толпа, вместо жертвенных даров преподнося ему обеды. Не так он глуп.

Он читал про себя в журналах, вглядывался в напечатанные там свои фотографии, и под конец ему начинало казаться, что и лицо это — не его. Он тот парень, который жил, и трепетал от восторга, и любил; был беззаботен, легко сносил всяческие неурядицы и прощал другим их грешки; служил простым матросом, ходил в плавание в диковинные края и верховодил своими приятелями в драках былых лет. Он тот парень, который поначалу опешил перед тысячами книг в бесплатной библиотеке, а потом научился в них разбираться и одолел их; он тот парень, который до полуночи не гасил свет, и вскакивал по будильнику, и сам писал книги. Но вот нелепый обжора, которого усердно пичкает торжественными обедами чернь,— это не он.

Попадалось в журналах и такое, что его забавляло. Все они заявляли на него права. «Ежемесячник Уоррена» уверял своих подписчиков, что, в неустанном поиске новых талантов, именно он представил читающей публике и Мартина Идена. На то же претендовала «Белая мышь», и «Северное обозрение», и «Журнал Макинтоша», пока всех не заглушил «Глобус». Этот победоносно ссылался на свои старые номера, где похоронены были искалеченные «Голоса моря». «Юность и время», который, уклонившись от оплаты счетов, снова ожил, тоже объявил о своем преимущественном праве на Мартина, но никто, кроме фермерских детей, этого не прочел. «Трансконтинентальный» горделиво и убедительно поведал, как он первый открыл Мартина Идена, и «Оса» горячо заспорила, похваляясь «Пери и жемчужиной». В этом назойливом шуме совсем потонуло скромное притязание издательства «Синглтри, Дарнли и К°». К тому же у этой издательской фирмы не было своего журнала, благодаря которому голос ее стал бы слышнее.

Газеты подсчитывали гонорары Мартина. Стало известно о щедрых предложениях, которые делали ему иные журналы, и к нему стали запросто обращаться за пожертвованиями оклендские священнослужители, а любители жить на подачки засыпали его письмами. Но хуже всего оказались женщины. Фотографии Мартина печатались всюду и везде, а газетчики всячески расписывали его мужественное, бронзовое от загара лицо, его шрамы, могучие плечи, ясные, спокойные глаза и слегка впалые щеки аскета. Наткнувшись на «аскета», Мартин с улыбкой вспомнил свою бесша-

башную юность. Среди женщин, которых он теперь встречал, нередко то одна, то другая устремляла на него взгляд оценивающий, благосклонный. Он смеялся про себя. Вспоминал предостережение Бриссендена и опять смеялся. Что-что, а женщинам его не погубить. Это все в прошлом.

Однажды Мартин провожал Лиззи в вечернюю школу, и она перехватила взгляд, который бросила на него хорошо одетая красивая дама. Взгляд задержался чуть дольше, был несколько внимательней, чем полагается, Лиззи поняла, что он означает, вся гневно напряглась. Мартин заметил это, заметил и причину и сказал, что уже привык к таким взглядам, на него они вовсе не действуют.

— Должны действовать,— сказала Лиззи, глядя на него горящими глазами.— Больной ты, потому и не действуют.

— В жизни не был здоровее. В весе и то прибавил, целых пять фунтов.

— Ты не телом больной. С головой неладно. Как-то не так у тебя шарики крутятся. Даже мне видать, а кто я такая.

Мартин задумался, молча шел с ней рядом.

— Я бы все отдала, чтоб это у тебя прошло,— вырвалось у Лиззи.— На такого мужчину да не действует, когда женщина эдак поглядит. Куда это годится. На хлипкого какого не действует, это еще ладно. А ты ж не из таких. Убей меня бог, Мартин, пускай хоть какая тебя растормошит, я все одно порадуюсь.

Мартин довел Лиззи до дверей вечерней школы и вернулся в «Метрополь».

У себя в номере он опустился в глубокое кресло, и сидел и смотрел в одну точку. Не задремал он. И ни о чем не думал. В голове не было ни мыслей, ни воспоминаний, лишь изредка перед закрытыми глазами всплывали незваные картины прошлого, отчетливые, красочные, лучезарные, Мартин видел их, но не осознанно, как во сне. Но он не спал. В какую-то минуту встряхнулся, посмотрел на часы. Ровно восемь. Дел никаких, а ложиться спать слишком рано. И опять в голове ни мыслей, ни воспоминаний, а перед закрытыми глазами появляются и исчезают картины. Странные картины. Все какая-то листва, и ветви, похоже, кустарника, и все насквозь пронизано солнечными лучами.

Очнулся он от стука в дверь. Он не спал и сразу решил: стучат, значит, телеграмма, или письмо, или, может, служанка принесла белье из прачечной. Он подумал о Джо: где-то его теперь носит. И отозвался машинально:

— Войдите.

Все еще занятый мыслями о Джо, он не обернулся к двери. Услыхал, как ее тихонько притворили. Надолго воцарилась тишина. Он забыл про стук в дверь, сидел, тупо уставясь в одну точку,

и вдруг услышал женское рыданье. Невольный, судорожный, подавленный, придушенный всхлип. Все это Мартин мысленно отметил, пока оборачивался. Миг — и он вскочил.

— Руфь! — вымолвил он пораженный, не веря глазам.

Она была страшно бледная, вся как натянутая струна. Стояла у самой двери, одной рукой держалась за косяк, другая прижата к груди. Потом жалобно протянула руки и шагнула навстречу Мартину. Он взял ее за руки, повел к креслу и при этом заметил — они холодные как лед. Придвинул другое кресло, сел на широкий подлокотник. Он был растерян, не мог вымолвить ни слова. Ведь он не сомневался, что между ними все кончено бесповоротно. И теперь чувство было примерно такое же, как если бы прачечная гостиницы в Горячих ключах вдруг обрушила на гостиницу «Метрополь» грязное белье за целую неделю и ему надо сейчас же все это перестирать. Несколько раз хотел он заговорить и всякий раз не решался.

— Никто не знает, что я здесь,— еле слышно сказала Руфь и очаровательно улыбнулась.

— Что ты сказала? — переспросил Мартин.

Звук собственного голоса удивил его.

Руфь повторила.

— А-а,— только и ответил он и помедлил, не находя слов.

— Я видела, как ты вернулся, и несколько минут выждала.

— А-а,— опять сказал Мартин.

Никогда еще ему так не изменял дар речи. В голове ни единой мысли. Он чувствовал себя тупым и неловким, но, хоть убей, не знал, что сказать. Да было бы легче, если бы сюда вторглась прачечная Горячих ключей. Он бы просто засучил рукава и принялся за работу.

— А потом ты вошла,— сказал он наконец.

Она кивнула не без лукавства и чуть распустила шарф на шее.

— Сначала я увидела тебя на другой стороне улицы с той девушкой.

— А, да,— просто сказал Мартин.— Я провожал ее в вечернюю школу.

— Так что же, ты мне не рад? — спросила Руфь после нового короткого молчания.

— Да, да,— поспешно ответил Мартин.— Но ведь это неосторожно, что ты пришла сюда?

— Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь. Я очень хотела тебя видеть. Я пришла сказать тебе, что была ужасно глупая. Я пришла, потому что больше не могу без тебя, потому что сердце рвалось к тебе, потому что... потому что очень хотела прийти.

Она встала с кресла и подошла к нему. Часто дыша положила руки ему на плечо, еще миг — и прильнула к нему, а Мартин по неизменной своей доброте и снисходительности вовсе не желал ее обидеть, он понимал, что оттолкнуть ее, когда она вот так рванулась к нему — значит жестоко ее оскорбить, ибо нет для женщины обиды горше, и он обнял Руфь и прижал к себе. Но не было жара в этом объятии, не было нежности. Она прижалась к нему, вот он ее и обнял, только и всего. Руфь прильнула к нему, а потом потянулась, обхватила руками его шею. Но его не обдало жаром, лишь было неловко, неудобно.

— Почему ты так дрожишь? — спросил он.— Тебе холодно? Зажечь камин?

Он хотел высвободиться, но она крепче прижалась к нему, ее трясло.

— Это просто нервы,— стуча зубами, сказала она.— Сейчас возьму себя в руки. Ну вот, мне уже лучше.

Дрожь понемногу утихла. Мартин все держал Руфь в объятиях, но недоумевать перестал. Теперь он знал, зачем она пришла.

— Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хэпгуда,— объявила Руфь.

— Чарли Хэпгуд? Это тот, который всегда изрекает прописные истины? — тяжко вздохнув, сказал Мартин. Потом прибавил: — А теперь, я полагаю, твоя мамаша хочет, чтобы ты вышла за меня.

Это был не вопрос. Мартин сказал это вполне уверенно, и у него перед глазами заплясали ряды цифр — его гонорары.

— Возражать она не станет, я знаю,— сказала Руфь.

— Она считает, что я подходящий для тебя муж?

Руфь кивнула.

— А ведь теперь я в точности такой же, как был, когда она разорвала нашу помолвку,— вслух размышлял Мартин.— Я совсем не изменился. Я тот же самый Мартин Иден, даже стал хуже — я теперь курю. Ты разве не чувствуешь, как от меня несет табаком?

В ответ Руфь прижала к его губам пальчики — очень мило, игриво, в ожидании поцелуя, которым Мартин бывало отзывался на это. Но нежного поцелуя не последовало. Мартин подождал, пока она отняла пальчики, и продолжал:

— Я остался каким был. Я не устроился на службу. И не ищу службу. Больше того, и не собираюсь искать. И по-прежнему убежден, что Герберт Спенсер великий, благородный человек, а судья Блаунт непроходимо глуп. Я на днях у него обедал, лишний раз убедился.

— Но ты не принял папино приглашение,— упрекнула Руфь.

— Значит, тебе это известно! Кто его послал? Твоя мамаша?

Руфь молчала.

— Значит, и вправду она его подослала. Так я и думал. А теперь, надо полагать, она послала тебя?

— Никто не знает, что я здесь,— запротестовала Руфь.— Ты думаешь, мама бы мне разрешила?

— Выйти за меня замуж она тебе разрешила, это уж наверняка.

— О, Мартин, зачем ты такой жестокий! — вскричала Руфь.— Ты даже ни разу меня не поцеловал. Ты как каменный. Подумай, на что я решилась! — Вздрогнув, она огляделась по сторонам, хотя во взгляде ее сквозило и любопытство.— Подумай только, куда я пришла.

«Я хоть сейчас умру за тебя! Хоть сейчас!» — зазвучали в ушах у Мартина слова Лиззи.

— Почему ты не решилась на это раньше? — резко спросил он.— Когда у меня не было работы? Когда я голодал? Когда я был тот же, что теперь,— как человек, как художник, тот же самый Мартин Иден? Вот вопрос, над которым я бьюсь уже много дней — это не только тебя касается, но всех и каждого. Ты видишь, я не изменился, хотя меня вдруг стали очень высоко ценить и приходится все время напоминать себе, что я — прежний. Та же плоть у меня на костях, те же самые пальцы на руках и на ногах. Я тот же самый. Я не стал ни сильнее, ни добродетельнее. И голова у меня все та же. Я не додумался ни до единого нового обобщения ни в литературе, ни в философии. Как личность я стою ровно столько же, сколько стоил, когда никому не был нужен. А теперь чего ради я им вдруг понадобился, вот что непостижимо. Сам по себе я им наверняка не нужен, ведь я все такой же, как прежде, когда не был им нужен. Значит, я нужен им из-за чего-то еще, из-за чего-то, что вне меня, из-за того, что не я! Сказать тебе, в чем соль? Я получил признание. Но признание — вовсе не я. Оно обитает в чужих умах. И еще я всем нужен из-за денег, которые заработал и зарабатываю. Но и деньги — не я. Они есть и в банках и в карманах первого встречного. Так что же, из-за этого я тебе теперь понадобился — из-за признания и денег?

— Ты разбиваешь мне сердце,— сквозь слезы вымолвила Руфь.— Ты ведь знаешь, я люблю тебя, и я здесь оттого, что люблю тебя.

— Боюсь, ты не уловила мою мысль,— мягко сказал Мартин.— Я о чем говорю: если ты меня любишь, как же это получилось, что теперь ты любишь меня гораздо сильнее, чем прежде, когда твоей любви хватило лишь на то, чтобы мне отказать?

— Забудь и прости,— воскликнула Руфь.— Помни лишь, что я все время любила тебя! И теперь я здесь с тобой.

— Боюсь, я расчетливый купец, глаз не спускаю с весов, стараюсь взвесить твою любовь и понять, что она такое.

Руфь высвободилась из рук Мартина, выпрямилась, посмотрела на него долгим испытующим взглядом. Хотела было заговорить, но заколебалась и передумала.

— Понимаешь, мне вот так это представляется,— продолжал Мартин.— Когда я был совершенно такой же, как теперь, никто, кроме людей из моего прежнего окружения, ни в грош меня не ставил. Когда все мои книги были уже написаны, никто из тех, кто читал рукописи, ни в грош их не ставил. В сущности, сочинительство даже роняло меня в их глазах. Словно это занятие если не вовсе позорное, то предосудительное. Все и каждый твердили: «Иди работать».

Руфь знаком показала, что не согласна.

— Да-да, все, кроме тебя,— сказал Мартин,— ты называла это «добиться положения в обществе». Простое слово «работа», как многое из написанного мною, тебя оскорбляет. Звучит слишком грубо. Но поверь, было не меньшей грубостью, когда все вокруг поучали меня, как лодыря без стыда и совести. Но не будем отвлекаться. Меня напечатали, публика меня заметила, и от этого твоя любовь совершенно преобразилась. За Мартина Идена, чья работа была уже сделана, чьи книги были уже написаны, ты выходить не хотела. Твоя любовь к нему была недостаточно сильна, чтобы ты стала его женой. А теперь она достаточно сильна, и я поневоле делаю вывод: любовь твоя стала сильнее оттого, что меня напечатали и публика меня заметила. О гонорарах не упоминаю, ты о них, пожалуй, не думала, но, уж конечно, твои родители стали относиться ко мне по-другому в том числе и из-за них. Все это, разумеется, не лестно для меня. Но, что еще хуже, заставляет меня усомниться в Любви, в таинстве любви. Неужто любовь так примитивна и вульгарна, что должна питаться внешним успехом и признанием толпы? Похоже на то. Я сидел и думал об этом, пока у меня голова не пошла кругом.

— Бедная, дорогая моя голова.— Руфь подняла руку, ласково провела по волосам Мартина.— Пусть больше не идет кругом. Попробуем начать сначала. Я все время любила тебя. Да, конечно, я оказалась слабой, подчинилась маме. Мне не следовало так поступать. Но ведь ты так часто и с такой снисходительностью говорил о человеческих слабостях и заблуждениях. Будь снисходителен и ко мне. Я ошиблась. Прости меня.

— Да простил я,— нетерпеливо сказал Мартин.— Когда, в сущности, нечего прощать, простить легко. Ты не сделала ничего такого, что требует прощения. Каждый поступает как умеет, большего не дано. С таким же успехом я могу просить у тебя прощения за то, что не шел работать.

— Я желала тебе добра,— горячо заверила Руфь.— Ты же знаешь. Как я могла любить тебя и не желать тебе добра.

— Верно. Но желая мне добра, ты бы меня загубила. Да, да,— отмел он ее попытку возразить.— Ты загубила бы меня как писателя, загубила бы дело моей жизни. Я по природе своей реалист, а буржуазии по самой ее сути реализм ненавистен. Буржуазия труслива. Она боится жизни. И ты всячески внушала мне страх перед жизнью. Ты бы ограничила меня рамками приличий, загнала бы в закуток жизни, где все жизненные ценности искажены, фальшивы, опошлены.— Руфь опять хотела было возразить.— Пошлость — да, именно так, махровая пошлость — это основа буржуазной утонченности и культуры. Повторяю, ты хотела ограничить меня рамками приличий, сделать из меня такого же буржуа, с вашими классовыми идеалами, классовыми понятиями и классовыми предрассудками,— Мартин невесело покачал головой.— Ты даже сейчас не понимаешь, о чем я говорю. Тебе кажется, все это просто мое воображение. А для меня это сама правда жизни. В лучшем случае тебя немножко озадачивает и забавляет, как это неотесанный парень, едва выбравшись из трясины невежества, берется судить о твоем сословии и называет его пошлым.

Руфь устало опустила голову к нему на плечо, и по телу ее опять прошла нервная дрожь. Мартин подождал, не заговорит ли она, потом продолжал:

— Тебе теперь нужно возродить нашу любовь. Нужно, чтобы мы поженились. Нужен я. Но слушай... если бы мои книги остались незамеченными, я все равно был бы таким, какой я есть. А ты бы сторонилась меня. И все из-за этих чертовых книг...

— Не ругайся,— прервала Руфь.

От ее упрека Мартин опешил. Он горько рассмеялся.

— Вот-вот,— решающая минута, на карту поставлено, как тебе кажется, все твое счастье, а ты по-прежнему боишься жизни... боишься жизни и крепкого словца.

Уязвленная его словами, она поняла нелепость своего упрека и все же решила, что он уж слишком преувеличивает, и обиделась. Они долго сидели молча, Руфь совсем приуныла, а Мартин размышлял об ушедшей своей любви. Теперь он знал, что настоящей любви не было. Он любил Руфь своей мечты, небесное создание, которое сам же и сотворил, светлую сияющую музу своих стихов о любви. Подлинную Руфь, маленькую буржуазку, со всеми присущими ее среде недостатками и с безнадежно ограниченной истинно буржуазной психологией, он никогда не любил.

Она вдруг заговорила.

— Да, многое из того, что ты сказал, правда. Я боялась жизни. Я недостаточно любила тебя. Я научилась любить лучше,

Я люблю тебя за то, какой ты есть, и каким был, даже за то, как ты сумел стать таким. Люблю за то, чем ты непохож на всех, кого пазываешь моим классом, за твои убеждения, я их не понимаю, но непременно сумею понять. Всеми силами постараюсь — и пойму. И даже то, что ты куришь и ругаешься — это часть тебя, и я полюблю в тебе и это. Я еще могу научиться. За последние десять минут я многому научилась. Ведь вот я осмелилась прийти сюда, это знак, что чему-то я уже научилась. Ох, Мартин...

Она расплакалась и прильнула к нему.

Впервые он обнял ее с нежностью и сочувствием, и лицо ее просветлело, она благодарно прижалась к нему еще теснее.

— Слишком поздно,— сказал он. Ему вспомнились слова Лиззи.— Я болен... нет-нет, не телом. Больна душа, мозг. Как будто все потеряло для меня цену. Все стало безразлично. Будь ты такая несколько месяцев назад, все, пожалуй, было бы иначе. Теперь слишком поздно.

— Нет, не поздно! — воскликнула Руфь.— Вот увидишь. Я докажу тебе, что моя любовь выросла, она для меня больше, чем этот мой класс и все, что мне дорого. Я отброшу все, чем дорожат буржуа. Я больше не боюсь жизни. Я оставлю отца и мать, и пусть у моих друзей мое имя станет притчей во языцех. Я останусь с тобой, прямо сейчас, и, если захочешь, пусть это будет свободная любовь, и я буду горда и счастлива, что я с тобой. Раньше я предала любовь, но теперь ради любви я предам все, что толкнуло меня на ту прежнюю измену.

Она стояла перед ним, глаза ее сияли.

— Я жду, Мартин,— прошептала она,— жду твоего согласия. Посмотри на меня!

Великолепно, подумал он, глядя на Руфь. Она искупила все свои слабости, восстала наконец, как истая женщина, презрела железные правила буржуазных условностей. Великолепно, блистательно, безрассудно. Но что же это с ним? Ее смелость не восхитила его, не взволновала. Только умом понимает он, как это блистательно, великолепно. Ему бы загореться, а он холодно оценивает ее. Сердце молчит. И нет ни тени желания. Опять вспомнились слова Лиззи.

— Я болен, очень болен,— Мартин безнадежно покачал головой.— Только теперь и понял, как я болен. Что-то ушло из меня. Я никогда не боялся жизни, но у меня и в мыслях не было, что я могу ею пресытиться. А теперь я сыт по горло и ничего больше не хочу. Если бы я еще мог чего-то хотеть, я теперь пожелал бы тебя. Сама видишь, как я болен!

Мартин откинул голову и закрыл глаза; и как плачущий ребенок забывает о своем горе, заглядевшись на солнечный свет, проникший сквозь мокрые от слез ресницы, так и Мартин забыл о

своей болезни, о Руфи, обо всем, глядя, как сквозь густую массу зелени пробивается жаркий солнечный свет и слепящими лучами льется под опущенные веки. Она не приносит покоя, эта зеленая листва. Слишком резок, слишком ярок солнечный свет. Смотреть больно, а он все смотрит, сам не зная почему.

Он очнулся от стука дверной ручки. Руфь стояла у двери.

— Как мне отсюда выйти? — спросила она со слезами в голосе.— Я боюсь.

— Ох, прости,— Мартин вскочил.— Видишь, я сам не свой. Я и забыл, что ты здесь.— Он прижал руку ко лбу.— Понимаешь, я не в себе. Сейчас провожу тебя домой. Выйдем черным ходом. Никто нас не увидит. Опусти вуаль, и все обойдется.

Крепко держа его под руку, шла она по тускло освещенным коридорам, спускалась по узкой лестнице.

— Теперь я в безопасности,— сказала Руфь, едва они вышли на улицу, и хотела отнять руку.

— Нет-нет, я провожу тебя до дому,— отозвался Мартин.

— Нет, пожалуйста, не надо,— возразила она.— Это совершенно лишнее.

Опять она попыталась высвободить руку. Мартина взяло любопытство. Сейчас, когда ничто ей не грозит, она боится. Панически хочет отделаться от него. Но ведь теперь ей бояться нечего, должно быть, это просто нервы. И Мартин удержал ее руку и пошел вместе с ней. Они прошли с полквартала, и вдруг впереди какой-то человек в длинном пальто отпрянул в подъезд. Проходя мимо, Мартин мельком заглянул в подъезд и, несмотря на поднятый воротник, узнал брата Руфи, Нормана.

По дороге Мартин и Руфь почти не разговаривали. Она была оглушена случившимся. Он — равнодушен. Он упомянул, что уезжает, возвращается в Южные моря, а она попросила прощенья за то, что пришла. Вот и все разговоры. У ее подъезда они чинно распрощались. Пожали друг другу руки, пожелали доброй ночи, Мартин приподнял шляпу. Дверь захлопнулась, Мартин закурил и повернул обратно, к гостинице. Проходя мимо подъезда, в котором прежде укрылся Норман, Мартин остановился и в раздумье заглянул туда.

— Она лгала,— сказал он вслух.— Старалась внушить мне, что поступила безрассудно смело, а сама знала, что брат, который ее привел, ждет, чтобы проводить ее обратно.— Мартин расхохотался.— Ох, уж эти буржуа! Когда у меня не было ни гроша, я, видите ли, недостоин был показаться рядом с его сестрой. А когда у меня завелся счет в банке, он сам приводит ее ко мне.

Мартин повернулся на каблуках, двинулся было дальше, и тут бродяга, идущий в ту же сторону, мимоходом окликнул его:

— Слышь, мистер, может, дашь четвертак на ночлег?

Не слова, а голос заставил Мартина круто обернуться. Миг — и он уже стискивал руку Джо.

— Не забыл, как мы с тобой распрощались в Горячих ключах? — говорил Джо.— Я тогда сказал, мы, мол, еще встретимся. Прямо чуял. И вот нате.

— А ты молодцом,— любуясь им, сказал Мартин.— И раздобрел.

— Ну ясно,— Джо так и сиял.— Покуда не пошел бродяжить, знать не знал настоящей-то жизни. Тридцать фунтов поднабрал и чувствую себя лучше некуда. В те-то дни я как вол работал, стал кожа да кости. А вот бродяжить — это по мне.

— Да, но на ночлег у тебя денег нет,— проворчал Мартин,— а ночь холодная.

— Чего? На ночлег нету? — Джо сунул руку в карман штанов и вытащил горсть мелочи.— Спину гнувши столько не заработаешь,— ликовал Джо.— Больно ты шикарный, вот я к тебе и подъехал.

Мартин со смехом сдался.

— У тебя тут не на один стаканчик,— намекнул он.

Джо ссыпал деньги в карман.

— Не пойдет,— объявил он.— С выпивкой покончил, не из-за чего такого, просто сам не желаю. Мы как с тобой расстались, я раз только и накачался, и то промашка вышла, потому на голодное брюхо. Я когда работаю зверски, так и пью зверски. А живу как человек, стало быть, и пью как человек — опрокину стаканчик, если есть охота, и крышка.

Мартин сговорился назавтра с ним увидеться и пошел в гостиницу. Задержался у конторки портье, посмотрел расписание пароходов. Через пять дней на Таити отходит «Марипоза».

— Позвоните завтра и закажите мне отдельную каюту,— сказал он портье.— Не на палубе, а внизу, с наветренной стороны, с левого борта, запомните, с левого борта! Запишите-ка лучше.

У себя в номере он тотчас лег в постель и уснул сном младенца. Все, что произошло в этот вечер, не затронуло душу. Душа ко всему оставалась глуха. Мимолетна была и радость от встречи с Джо. Уже через минуту и сам Джо, и необходимость вести с ним разговор стали ему тягостны. Ничего не значило и предстоящее через пять дней отплытие к любимым Южным морям. Итак, Мартин закрыл глаза и спокойно, безмятежно проспал восемь часов. Ничто не тревожило его сон. Он не ворочался, спал без сновидений. Уснуть — значило забыться, и, просыпаясь по утрам, он просыпался нехотя. Жизнь надоела и постыла, и неизвестно было, как убить время.

— Послушай, Джо,— так он встретил наутро своего прежнего напарника,— тут на Двадцать восьмой улице есть один француз, он накопил кучу денег и возвращается во Францию. У него маленькая, но шикарная, хорошо оборудованная паровая прачечная. Если хочешь остепениться, это в самый раз для начала. Нака возьми, приоденься на это и к десяти часам будь в конторе вот у этого человека. Он по моей просьбе подыскал прачечную, он тебя отведет туда и все покажет. Если она тебе понравится и ты решишь, что она стоит этих денег — двенадцати тысяч, скажешь мне, и она твоя. А теперь шагай. Я занят. Увидимся позднее.

— Ну вот что, Март,— медленно, распаляясь, сказал Джо.— Я нынче утром пришел свидеться с тобой. Ясно? Ни за какой не за прачечной я пришел. Пришел покалякать, для-ради старой дружбы, а ты мне тычешь в рожу какую-то прачечную. Так вот что я тебе скажу, катись ты со своей прачечной ко всем чертям!

Джо ринулся было вон из комнаты, но Мартин схватил его за плечо и повернул к себе.

— Ну вот что, Джо,— сказал он,— за такие штуки я сейчас дам тебе по башке! Да еще как дам, ради старой-то дружбы. Ясно?.. Ну, будешь дурить, будешь?

Джо оказался в клинче и, извиваясь, корчась, пытался высвободиться. Крепко обхватив друг друга, они закружились по комнате и с треском повалились на обломки, только что бывшие креслом. Джо был повержен, руки раскинуты и прижаты к полу, колено Мартина придавило ему грудь. Когда Мартин отпустил его, он тяжело дышал и ловил ртом воздух.

— Теперь слушай,— сказал Мартин.— И нечего со мной лаяться. Я хочу первым делом покончить с прачечной. А потом придешь и потолкуем ради старой дружбы. Говорю тебе, я занят. Погляди.

Горничная как раз принесла утреннюю почту — гору писем и журналов.

— Как я буду разбираться во всем этом и толковать с тобой? Ты пойди сообрази насчет прачечной, а потом посидим.

— Ладно,— нехотя согласился Джо.— Я-то думал, ты хочешь от меня отделаться, ну, видать, ошибся. А только в открытом бою тебе меня не одолеть, Март. Я тебя запросто достану, у меня рука подлинней.

— Что ж, как-нибудь наденем перчатки и поглядим,— с улыбкой сказал Мартин.

— А как же. Дай только запущу прачечную.— Джо вытянул руку.— Видал, какой размах? Ты у меня покувыркаешься.

Когда дверь за Джо затворилась, Мартин вздохнул с облегчением. Он стал бирюком. День ото дня тяжелей становилось вести себя с людьми по-людски. Со всеми было не по себе, чтобы разговаривать, приходилось делать над собой усилие, и это злило. Все ему досаждали, и, едва с кем-либо встретясь, он уже искал предлога, чтобы отвязаться от человека.

Когда Джо ушел, Мартин не набросился на почту, как бывало, с полчаса он сидел, лениво развалясь в кресле, ничего не делал, и лишь изредка смутные, недодуманные мысли проходили в его сознании, вернее, эти мысли и составляли его вяло пульсирующее сознание.

Потом он очнулся и стал просматривать почту. Там был десяток писем с просьбой об автографе — Мартин узнавал их с первого взгляда; были письма охотников до подачек; и еще послания разных маньяков, начиная от чудака, который изобрел действующую модель вечного двигателя, и другого, который доказывал, что земная поверхность — это внутренняя сторона полой сферы, и до человека, просившего поддержать его деньгами, чтобы купить нижнекалифорнийский полуостров и обратить его в коммунистическую колонию. Были письма от женщин, жаждущих познакомиться с Мартином, и одно такое письмо вызвало у него улыбку: к нему была приложена квитанция на оплату постоянного места в церкви, корреспондентка приложила ее в знак того, что она женщина добропорядочная, в подтверждение своей респектабельности.

Редакторы и издатели тоже внесли свою каждодневную лепту; первые осаждали его мольбами о рассказах, вторые — мольбами о книгах, о его злосчастных рукописях, которыми раньше пренебрегали, и тогда, чтобы снова отправлять их по редакциям, он на долгие безотрадные месяцы отдавал в заклад все свои пожитки. Пришли неожиданные чеки за право публикации в английской периодике и авансы за переводы на иностранные языки. Английский агент Мартина писал, что продал права на перевод трех его книг немецким издателям, и сообщал, что уже поступили в продажу переводы на шведский, за что автору не причитается ни гроша, так как Швеция не участвует в Бернской конвенции. Была здесь и просьба разрешить его перевод на русский, пустая формальность, так как Россия тоже не подписывала Бернскую конвенцию.

Потом Мартин обратился к объемистой пачке, которую прислали из бюро вырезок, и почитал, что пишут о нем и о его популярности, вернее, уже о громкой славе. Все, что им создано, было кинуто публике сразу, одним щедрым взмахом. Пожалуй, отсюда и весь шум. Публика восторгается им, как восторгалась Киплингом в ту пору, когда тот лежал на смертном одре,— вся чернь,

движимая все тем же стадным чувством, вдруг схватилась его читать. Мартин помнил, как, прочитав Киплинга, наградив бурными аплодисментами и ни черта в нем не поняв, все та же чернь несколько месяцев спустя вдруг набросилась на него и втоптала в грязь. При этой мысли Мартин усмехнулся. Кто знает, может, через несколько месяцев так же обойдутся и с ним — почему бы нет? Ну уж дудки, он одурачит всю эту чернь. Он будет далеко, в Южных морях, будет строить свой тростниковый дворец, торговать жемчугом и копрой, носиться по волнам на хрупких катамаранах, ловить акул и скумбрию, охотиться на диких коз среди утесов по соседству с Долиной Тайохаэ.

Так думал Мартин и вдруг понял: нет, безнадежно. Со всей ясностью он увидел, что вступил в Долину теней. Все, что было в нем живо, блекнет, гаснет, отмирает. До сознания дошло, как много он теперь спит и как все время хочет спать. Прежде сон был ему ненавистен. Сон отнимал драгоценные мгновения жизни. Четыре часа сна в сутки — значит, четыре часа украдены у жизни. Как его злило, что не спать нельзя. А теперь его злит жизнь. Она потеряла вкус, в ней не стало остроты, она отдает горечью. И это — гибель. Кто не стремится жить, тот на пути к концу. Слабый инстинкт самосохранения шевельнулся в Мартине, и он понял, надо отсюда вырваться. Оглядел комнату — придется укладывать вещи, даже подумать тошно. Лучше, наверно, заняться этим в последнюю очередь. А пока можно позаботиться о снаряжении.

Он надел шляпу, вышел и до полудня коротал время в охотничьем магазине, покупая автоматические винтовки, патроны и всякую рыболовную снасть. Спрос в торговле изменчив, и он выпишет товары, только когда приедет на Таити и узнает, что сейчас в ходу. А можно чтобы их доставили из Австралии. На том он с удовольствием и порешил. Незачем сразу же что-то делать, ведь что-либо делать сейчас неприятно. Довольный, он возвращался в гостиницу, предвкушая, как усядется в удобное глубокое кресло, и, войдя в номер, внутренне застонал — в кресле сидел Джо.

Джо был в восторге от прачечной. Все договорено, и завтра он вступит во владение. Мартин лег на кровать и закрыл глаза, а Джо все говорил свое. Мысли Мартина уносились далеко, так далеко, что минутами он не отдавал себе в них отчета. Лишь изредка он через силу что-то отвечал старому приятелю. А ведь это Джо, славный малый, которого он всегда любил. Но Джо слишком полон жизни. Его громогласное жизнелюбие отзывалось болью в душе Мартина, мучительно бередило усталые чувства. И когда Джо напомнил, что они собирались надеть боксерские перчатки и помериться силами, Мартин чуть не взвыл.

— Смотри, Джо, заведи в своей прачечной такие правила, какие придумал тогда в Горячих ключах,— сказал Мартин.— Чтоб

без сверхурочной работы. И без ночной... У катков никаких детей. Детей вообще на работу не ставь. И платить по справедливости.

Джо кивнул, вытащил записную книжку.

— Вот гляди. Я перед завтраком мозговал над этими правилами. Чего про них скажешь?

Он прочел их вслух, и Мартин одобрил их, с досадой при этом думая, когда же Джо наконец уйдет.

Под вечер Мартин проснулся. Медленно пришел в себя. Оглядел комнату. Видно, когда он задремал, Джо тихонько ускользнул. Очень мило с его стороны, подумал Мартин. Закрыл глаза и опять уснул.

В последующие дни Джо был поглощен хлопотами в своей новой прачечной и не слишком ему докучал; а газеты сообщили, что Мартин взял билет на «Марипозу», только накануне отплытия. Однажды в нем затрепыхался инстинкт самосохранения, он пошел к врачу, и тот тщательно его обследовал. Все оказалось в полном порядке. Сердце и легкие просто великолепные. Насколько мог судить доктор, все органы были в норме и работали нормально.

— Вы здоровы, мистер Иден,— сказал доктор,— совершенно здоровы. Вы в прекрасной форме. Признаюсь, я завидую вашему организму. Здоровье превосходное. Какова грудная клетка! В ней и в вашем желудке секрет вашего замечательного здоровья. Такой крепыш — один на тысячу... на десять тысяч. Если не вмешается какой-нибудь несчастный случай, вы проживете до ста лет.

И Мартин понял, что Лиззи правильно поставила диагноз. Тело у него в порядке. Неладно с «мыслительной машиной», и тут одно лечение — отправиться в Южные моря. Но вот беда, сейчас, накануне отплытия, у него пропала охота пускаться в путь. Южные моря пленяли не больше, чем буржуазная цивилизация. Предстоящее отплытие не радовало, а мысль о физических усилиях, которые тут потребуются, ужасала. Окажись он уже на борту, ему бы полегчало.

Последний день был тяжким испытанием для Мартина. Прочитав в утренних газетах о его отъезде, Бернард Хиггинботем с Гертрудой и всем семейством явились прощаться, пришли и Герман Шмидт с Мэриан. Да еще надо было закончить какие-то дела, оплатить счета, вытерпеть бесконечную череду репортеров. С Лиззи Конноли он наскоро простился у дверей вечерней школы и поспешил прочь. В гостинице он застал Джо — тот весь день был занят в прачечной и только теперь сумел вырваться. Это была последняя капля, но Мартин вцепился в ручки кресла и с полчаса разговаривал со старым приятелем и слушал его.

— Ты не привязан к этой прачечной, Джо, так и знай. Никаких таких обязательств у тебя нет. Можешь в любую минуту ее продать, а деньги растранжирить. Как только она тебе опротивеет и захочется побродяжить, бросай все и шагай. Живи как душе угодно.

Джо только головой покачал.

— Нет уж, спасибо, Март, я свое отшагал. Бродяжить хорошо, да есть одна загвоздка — девчонки. Таким уж я уродился, люблю девчонок. Без женского полу тоска заедает, а пошел бродяжить, хочешь не хочешь обходись без них. Бывает, иду мимо дома, а там пляшут, вечеринка, слышно, женщины смеются, в окошко глянешь — они в белых платьях, улыбаются — ух ты! И таково тошно делается. Больно я люблю плясать, да пикники, да гулять при луне, и все такое. Я от прачечной не отступлюсь, чтоб и вид приличный, и в кармане чтоб денежки звенели. Я уж углядел девчонку, как раз вчера, и знаешь, я с ней хоть сейчас под венец. Вот хожу целый день посвистываю, все она у меня на уме. Красотка, глаза добрые, голосок нежный — другой такой отродясь не встречал. Я от нее не отступлюсь, будь уверен. Слышь, Март, а ты чего не женишься, с такими-то деньжищами? Мог бы взять за себя самую что ни на есть раскрасавицу.

Мартин с улыбкой покачал головой, а сам подумал, чего ради кого-то тянет жениться. Удивительно это и непостижимо.

В час отплытия он увидел с палубы «Марипозы», как за толпой провожающих прячется Лиззи Конноли. «Возьми ее с собой,— мелькнула мысль.— Так легко быть добрым. Она будет бесконечно счастлива». На миг им завладело искушение, но в следующую же минуту он ужаснулся. Паника охватила его. Усталая душа громко протестовала. Застонав, Мартин отошел от поручней. «Ты слишком болен, приятель, слишком болен»,— пробормотал он.

Он сбежал в свою каюту и укрывался там, пока пароход не вышел из гавани. За обедом в кают-компании оказалось, ему предоставлено почетное место, по правую руку от капитана; по всему было видно, что на пароходе он знаменитость. Но никогда еще окружающим не встречалась такая нелюдимая знаменитость. Всю вторую половину дня Мартин провел на палубе в шезлонге, закрыв глаза, урывками дремал, а вечером рано лег спать.

На другой день, оправясь от морской болезни, все пассажиры высыпали на палубу, и чем больше народу видел Мартин, тем сильней в нем росла неприязнь. И однако он понимал, что несправедлив. Это неплохие и добрые люди, заставлял он себя признать, но тут же уточнял: неплохие и добрые как все буржуа, со всей присущей их сословию духовной ограниченностью и скудоумием. Когда они заговаривали с ним, его одолевала скука, такими поверхностными, пустопорожними были их рассуждения; а

шумная веселость и чрезмерное оживление тех, кто помоложе, отпугивали его. Молодежь неутомимо развлекалась: играли в серсо, набрасывали кольца, прогуливались по палубе, или с громкими криками кидались к борту смотреть на прыжки дельфинов и на первые косяки летучих рыб.

Мартин много спал. После завтрака усаживался в шезлонг с журналом и все не мог его дочитать. Печатные страницы утомляли. Он недоумевал, откуда берется столько всего, о чем можно писать, и, недоумевая, задремывал. Его будил гонг, возвещая второй завтрак, и злило, что надо просыпаться. Бодрствовать было нерадостно.

Однажды он попытался выйти из оцепенения и отправился в кубрик к матросам. Но нет, с той поры, когда он и сам ходил в плавание, матросское племя словно подменили. Тупые лица, неповоротливые мозги, не люди, а какие-то двуногие скоты... Что у него с ними общего? Мартином овладело отчаяние. Тем, кто наверху, Мартин Иден сам по себе вовсе не нужен, а вернуться к своему классу, к тем, кому он был нужен в прошлом, невозможно. Они ему не нужны. Теперь они так же невыносимы, как тупоумные пассажиры первого класса и шумливая молодежь.

Жизнь стала для Мартина — как для больного слишком яркий свет, режущий усталые глаза. В каждую минуту бодрствования жизнь ослепительно сверкала вокруг, обдавала слепящим блеском. От этого было больно, нестерпимо больно. Впервые в жизни плыл Мартин первым классом. В плаванье его место всегда было в кубрике, либо у штурвала, либо он грузил уголь в черном чреве угольного трюма. В те дни, взбираясь по железным трапам из удушливого жара корабельных недр, он часто мельком видел пассажиров — в белой прохладной одежде, под тентами, которые защищали их от солнца и ветра, они только и делали, что наслаждались жизнью, а подобострастные стюарды исполняли каждое их желание, каждую прихоть, и Мартину казалось, их жизнь — сущий рай. Ну что ж, вот он знаменитость на корабле, в центре внимания, сидит за столом по правую руку от капитана, и рад бы вернуться назад, в кубрик и в трюм, но тщетны поиски утерянного рая. Нового рая он не обрел, а теперь нет возврата и к старому.

Он силился расшевелить себя и хоть чем-то заинтересоваться. Подошел к столу младших корабельных чинов и рад был унести ноги. Заговорил со свободным от вахты старшиной-рулевым, неглупым малым, и тот сразу же стал развивать социалистические идеи и всучил Мартину пачку листовок и брошюрок. Мартин слушал человека, разъясняющего ему рабскую мораль, и, слушая, лениво думал о своем ницшеанстве. Но чего она стоит, в конце концов, эта философия Ницше? Вспомнилась одна из безумных

идей Ницше — безумец усомнился в самом существовании истины. И как знать? Возможно, Ницше был прав. Возможно, истины нет ни в чем, нет истины и в самой истине и это понятие — истина — просто выдумка. Но он быстро устал размышлять, с удовольствием опять уселся в шезлонг и задремал.

Так маялся он на корабле, а впереди ждала новая маета. Что будет, когда корабль пристанет к Таити? Придется сойти на берег. Придется заказывать товары, искать шхуну, которая доставит его на Маркизы, делать тысячи дел, одна мысль о которых приводит в отчаяние. Всякий раз как он набирался мужества и заставлял себя подумать, он понимал, что стоит на краю гибели. В сущности, он вступает в Долину теней, и, что самое страшное, смерть его не страшит. Если бы он боялся, он устремился бы к жизни. Но он не боится и потому погружается все глубже в царство теней. Все прежние радости уже не радуют. «Марипоза» была теперь на краю северо-восточных пассатов, и пьянящий ветер, налетая, раздражал Мартина. И уклоняясь от настойчивых ласк друга давних дней и ночей, он переставил шезлонг.

В день, когда «Марипоза» вошла в тропики, Мартину стало совсем невмоготу. Он больше не спал. Он пресытился сном и теперь волей-неволей приходилось бодрствовать и переносить слепящий свет жизни. Он беспокойно бродил по кораблю. Воздух был липкий и влажный, а налетавший дождь не приносил свежести. Жить было больно. Мартин шагал по палубе, пока это не стало слишком мучительно, тогда он опустился в шезлонг, долго сидел, потом через силу встал и опять принялся шагать взад-вперед. Заставил себя наконец дочитать журнал и отобрал в корабельной библиотеке несколько томиков стихов. Но стихи не увлекли, и опять он пошел бродить.

После ужина он допоздна оставался на палубе, но это не помогло — когда он спустился к себе в каюту, уснуть не удалось. Привычный способ отдохнуть от жизни ему изменил. Это было уже слишком. Мартин включил свет и попытался читать. Среди взятых в библиотеке книг был томик Суинберна. Мартин лежал и просматривал его и вдруг поймал себя на том, что читает с интересом. Он дочитал строфу, стал было читать дальше и снова вернулся к той же строфе. Потом положил раскрытую книгу на грудь, переплетом вверх, и задумался. Вот оно... то самое! как же это раньше не пришло в голову! Вот в чем весь смысл; все время его сносило в этом направлении, и теперь Суинберн показал, что это и есть верный выход. Ему нужен покой, и покой ждет совсем близко. Мартин посмотрел на открытый иллюминатор. Да, он достаточно широк. Впервые за долгие недели в нем всколыхнулась радость. Наконец-то он знает, как исцелиться от всех недугов. Он опять взял книгу и медленно прочел вслух:

От жажды жить излишней
Освободилась грудь.
Благодарим всевышних,
Что наш недолог путь,
Что ночь за днем настанет,
Кто умер, уж не встанет,
Дойдет и в море канет
Усталая река.

Опять он посмотрел на открытый иллюминатор. Суинберн дал ему ключ. Жизнь — зло, вернее, стала злом. Стала невыносима. «Кто умер, уж не встанет!» С бесконечной благодарностью повторил он эту строчку. Вот в чем истинное милосердие. Когда мучительно устал от жизни, смерть готова успокоить тебя, одарить вечным сном. Но зачем ждать? Пора.

Он поднялся, выглянул в иллюминатор, посмотрел на молочно-белую пену у борта. Тяжело груженная «Марипоза» идет с большой осадкой, и, если повиснуть на руках, ноги окажутся в воде, можно соскользнуть бесшумно. Никто не услышит. Взметнулась водяная пыль, обдала лицо. Он ощутил на губах соленый вкус, это было приятно. Подумалось, не написать ли свою лебединую песнь, но он засмеялся и отмел эту мысль. Некогда. Скорей бы со всем этим покончить.

Выключив свет, чтобы не выдать себя, он полез в иллюминатор ногами вперед. Плечи застряли, и он втиснулся обратно, решил попытаться еще раз, прижав одну руку к боку. Пароход как раз накренился, помог ему, и он проскользнул, повис на руках. Ноги коснулись воды, и Мартин разжал пальцы. И вот он в молочно-белой пене. Темной стеной, лишь кое-где прорезанной освещенными иллюминаторами, пронесся мимо борт «Марипозы». Хорошо идет, быстро. Мартин и оглянуться не успел, как очутился за кормой, спокойно поплыл среди гаснущего шороха пены.

Бониту приманило белеющее тело, она ткнулась в него, и Мартин громко рассмеялся. Она укусила его, боль напомнила, почему он здесь. Пока выбирался из каюты, забыл, для чего это делает. В отдалении тускнеют огни «Марипозы», а он — вот он, уверенно плывет, словно намерен достичь ближайшей суши, до которой добрая тысяча миль.

То был бессознательный инстинкт жизни. Мартин перестал плыть, но, едва рот оказался под водой, руки сами пришли в движение, рванули его наверх. Воля к жизни, мелькнула мысль, и он презрительно усмехнулся. Что ж, воли ему не занимать, хватит на то, чтобы одним последним усилием разрушить себя и сгинуть.

Он принял вертикальное положение. Глядя вверх, на тихие звезды, выдохнул из легких воздух. Быстрым, мощным движением рук и ног по грудь поднялся из воды. И этим прибавив силы для толчка, ушел под воду. Потом расслабился и, не шевелясь, белой

статуей стал погружаться. Он нарочно глубоко вдохнул воду, как больной вдыхает наркоз. Но едва его стало душить, руки и ноги невольно заработали и вынесли его на поверхность, под ясный свет звезд.

Воля к жизни, с презрением подумал он, напрасно силясь не вдыхать воздух в разрывающиеся легкие. Что ж, придется попробовать по-другому. И он вздохнул, набрал полные легкие воздуха. Этого хватит, чтобы уйти далеко вниз. Перевернулся и, напрягая все свои силы, всю волю, пошел вниз головой вперед. Глубже, глубже. Глаза открыты, и ему виден призрачный, фосфоресцирующий след метнувшихся бонит. Только бы они не кинулись на него, вдруг это сломит напряженную волю. Но рыбья стая не кинулась, и у него хватило времени поблагодарить жизнь за эту ее последнюю милость.

Вниз, вниз, ноги и руки уже устали, и он еле плывет. Конечно, он уже глубоко. От давления на барабанные перепонки боль и шумит в голове. Становится невыносимо, невтерпеж, и все-таки он заставляет руки и ноги вести его вглубь, но наконец воля сломилась и воздух разом вырвался из легких. Пузырьки воздуха, летучими шариками устремляясь вверх, ударялись о щеки, о глаза, скользили по ним. Потом пришла боль, его душило. Это страдание не смерть, билась мысль в меркнущем сознании. Смерть не страдание. Это страшное удушье — жизнь, муки жизни, это последний удар, который наносит ему жизнь.

Упрямые руки и ноги слабо, судорожно задвигались, забили по воде. Но он перехитрил их, перехитрил волю к жизни, что побуждала их двигаться, биться. Он уже слишком глубоко. Им больше не вынести его на поверхность. Казалось, его неспешно влечет по морю сновидений. Краски и отсветы играют вокруг, омывают его, переполняют. А это что? Кажется, маяк, но он в мозгу — вспыхивает, слепит яркий свет. Белые вспышки чаще, чаще. Долгий гулкий грохот, и Мартину кажется, он катится вниз по громадной, нескончаемой лестнице. И вот он где-то внизу, рухнул во тьму. Это он еще понял. Рухнул во тьму. И в миг, когда осознал это, сознание оборвалось.

ЗА ТЕХ, КТО В ПУТИ!

— Лей еще!

— Послушай, Кид, а не слишком ли крепко будет? Виски со спиртом и так уж забористая штука, а тут еще и коньяк, и перцовка, и...

— Лей, говорят тебе! Кто из нас приготовляет пунш — ты или я? — Сквозь клубы пара видно было, что Мэйлмют Кид добродушно улыбается.— Вот поживешь с мое в этой стране, сынок, да будешь изо дня в день жрать одну только вяленую лососину, тогда поймешь, что рождество раз в году бывает. А рождество без пунша — все равно что прииск без крупинки золота!

— Уж это что верно то верно! — подтвердил Джим Белден, приехавший сюда на рождество со своего участка на Мэйзи-Мэй. Все знали, что Большой Джим последние два месяца питался только олениной.— А помнишь, какую выпивку мы устроили раз для племени Танана? Не забыл небось?

— Ну еще бы! Ребята, вы бы лопнули со смеху, если бы видели, как все племя передралось спьяну, а пойло-то было просто из перебродившего сахара до закваски. Это еще до тебя было,— обратился Мэйлмют Кид к Стэнли Принсу, молодому горному инженеру, жившему здесь только два года.— Понимаешь, ни одной белой женщины во всей стране, а Мэйсон хотел жениться. Отец Руфи был вождем племени Танана и не хотел отдавать ее ему в жены, да и все племя не хотело. Трудная была задача! Ну, я и пустил в ход свой последний фунт сахару и ни разу в жизни не приготовлял ничего крепче! Ох, и погоня же была за нами, и по берегу и через реку!

— Ну, а сама скво как? — спросил, заинтересовавшись, Луи Савой, высокий француз из Канады. Он еще на Сороковой Миле слышал об этой лихой выходке.

Мэйлмют Кид, прирожденный рассказчик, стал излагать правдивую историю этого северного Лохинвара. Слушая его, не

один суровый искатель приключений чувствовал, как у него сжимается сердце от смутной тоски по солнечным пастбищам Юга, где жизнь обещала нечто большее, чем бесплодную борьбу с холодом и смертью.

— Мы перешли Юкон, когда лед только что тронулся,— заключил Кид,— а индейцы на четверть часа отстали. И нас это спасло: лед шел уже по всей реке и отрезал им путь. Когда они добрались наконец до Нуклукайто, весь пост уже поджидал их. А насчет свадьбы расспросите вот отца Рубо, он их венчал.

Иезуит вынул изо рта трубку и вместо ответа только улыбнулся с отеческим благодушием, а все остальные, и протестанты, и католики, энергично зааплодировали.

— А, ей-богу, это здорово! — воскликнул Луи Савой, которого, видимо, увлекла романтичность этой истории.— La petite [1] скво Mon Mason brave! [2] Здорово!

Когда оловянные кружки с пуншем в первый раз обошли круг, неугомонный Беттлз вскочил и запел свою любимую застольную:

Генри Бичер совместно
С учителем школы воскресной
Дуют целебный напиток.
Пьют из бутылки простой.
Но можно, друзья, поклясться:
Нас провести не удастся,
Ибо в бутылке этой
Отнюдь не невинный настой!

И хор гуляк с ревом подхватил:

Ибо в бутылке этой
Отнюдь не невинный настой!

Крепчайшая смесь, состряпанная Мэйлмютом Кидом, возымела свое действие: под влиянием ее живительного тепла у людей развязались языки, и за столом пошли шутки, песни, рассказы о пережитых приключениях. Пришельцы из разных стран, они пили за всех и каждого. Англичанин Принс провозгласил тост за «дядю Сэма, скороспелого младенца Нового Света»; янки Беттлз — за королеву Англии — «да хранит ее господь!»; а француз Савой и немец-промышленник Майерс чокнулись за Эльзас-Лотарингию.

Потом встал Мэйлмют Кид с кружкой в руке и, бросив взгляд на оконце, в котором стекло заменяла промасленная бумага, покрытая толстым слоем льда, сказал:

— Выпьем за тех, кто сегодня ночью в пути. За то, чтобы им хватило пищи, чтобы собаки их не сдали, чтобы спички у них не отсырели!

[1] Маленькая *(фр.)*.
[2] Молодец, Мэйсон! *(фр.)*

И вдруг они услышали знакомые звуки — щелканье бича, визгливый лай ездовых собак и скрип нарт, подъехавших к хижине. Разговор замер, все ждали проезжего.

— Человек бывалый! Прежде заботится о собаках, а потом уж о себе,— шепнул Мэйлмют Кид Принсу. Щелканье челюстей, рычанье и жалобный собачий визг говорили его опытному уху, что незнакомец отгоняет чужих собак и кормит своих.

Наконец в дверь постучали — резко, уверенно. Проезжий вошел. Ослепленный светом, он с минуту стоял на пороге, так что все имели возможность рассмотреть его. В своей полярной меховой одежде он выглядел весьма живописно. Шесть футов роста, пропорционально широкие плечи, могучая грудь. Его гладко выбритое лицо ярко раскраснелось от мороза, брови и длинные ресницы заиндевели. Расстегнув свой шлем из волчьего меха, он стоял, похожий на снежного короля, появившегося из мрака ночи. За вышитым бисером поясом, надетым поверх куртки, торчали два больших кольта и охотничий нож, а в руках, кроме неизбежного бича, было крупнокалиберное ружье новейшего образца. Когда он подошел ближе, то, несмотря на его уверенный, упругий шаг, все увидели, как сильно он устал.

Наступившее было неловкое молчание быстро рассеялось от его сердечного: «Эге, да у вас тут весело, ребята!» — И Мэйлмют Кид тотчас пожал ему руку. Им не приходилось встречаться, но они знали друг друга понаслышке. Раньше чем гость успел объяснить, куда и зачем он едет, его познакомили со всеми и заставили выпить кружку пунша.

— Давно ли проехали здесь три человека на нартах, запряженных восемью собаками? — спросил он.

— Два дня назад. Вы за ними гонитесь?

— Да, это моя упряжка. Угнали ее у меня прямо из-под носа, подлецы! Два дня я уже выиграл, нагоню их на следующем перегоне.

— Думаете, без драки не обойдется? — спросил Белден, чтобы поддержать разговор, пока Мэйлмют Кид кипятил кофе и поджаривал ломти свиного сала и кусок оленины.

Незнакомец многозначительно похлопал по своим револьверам.

— Когда выехали из Доусона?

— В двенадцать.

— Вчера? — спросил Белден, явно не сомневаясь в ответе.

— Сегодня.

Пронесся шепот изумления. И было чему удивляться: шутка ли, за двенадцать часов проехать семьдесят пять миль по замерзшей реке!

Разговор скоро стал общим, он вертелся вокруг воспоминаний

детства. Пока молодой человек ел свой скромный ужин, Мэйлмют Кид внимательно изучал его лицо. Приятное, честное и открытое, оно ему сразу понравилось. Тяжелый труд и лишения успели наложить на это еще молодое лицо свою суровую печать. Выражение его голубых глаз было веселое и доброе, но чувствовалось, что они способны загораться стальным блеском, когда ему приходится действовать, и особенно во время ссоры. Массивная челюсть и квадратный подбородок говорили о твердом и неукротимом нраве. Однако наряду с этими признаками львиной души в нем была какая-то почти женственная мягкость, выдававшая впечатлительную натуру.

— Так-то мы со старухой и поженились,— говорил Белден, заканчивая увлекательный рассказ о своем романе.— «Вот и мы, папа»,— говорит она. А отец ей: «Убирайтесь вы к черту!» А потом обернулся ко мне, да и говорит: «Снимай-ка, Джим, свой парадный костюм,— до обеда надо вспахать порядочную полосу». Потом как прикрикнет на дочку: «А ты, Сэл, марш мыть посуду!» — и вроде всхлипнул и поцеловал ее. Я и обрадовался. А он заметил да как зарычит: «А ну, поворачивайся, Джим!» Я так и покатился в амбар.

— У вас и ребятишки остались в Штатах? — осведомился проезжий.

— Нет, Сэл умерла, не родив мне ни одного. Вот я и приехал сюда.

Белден рассеянно принялся раскуривать погасшую трубку, но потом опять оживился и спросил:

— А вы женаты, приятель?

Тот вместо ответа снял свои часы с ремешка, заменявшего цепочку, открыл их и передал Белдену. Джим поправил фитиль, плававший в жиру, критически осмотрел внутреннюю сторону крышки и, одобрительно чертыхнувшись про себя, передал часы Луи Савою. Луи, несколько раз повторив «ах, черт!», протянул их наконец Принсу; и все заметили, как у него дрожали руки и в глазах засветилась нежность. Часы переходили из одних мозолистых рук в другие. На внутренней стороне крышки была наклеена фотография женщины с ребенком на руках — одной из тех кротких, привязчивых женщин, которые нравятся таким мужчинам.

Те, до кого еще не дошла очередь полюбоваться этим чудом, сгорали от любопытства, а те, кто его уже видел, примолкли и задумались о прошлом. Этим людям не страшен был голод, вспышка цинги, смерть, постоянно подстерегавшая на охоте или во время наводнения, но сейчас изображение неизвестной им женщины с ребенком словно сделало их самих женщинами и детьми.

— Еще ни разу не видел малыша. Только из ее письма и узнал, что сын; ему уже два года,— сказал проезжий, получив

обратно свое сокровище. Он минуту-другую смотрел на карточку, потом захлопнул крышку часов и отвернулся, но не настолько быстро, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы.

Мэйлмют Кид подвел его к койке и предложил лечь.

— Разбудите меня ровно в четыре, только непременно! — Сказав это, он почти тотчас же уснул тяжелым сном сильно уставшего человека.

— Ей-богу, молодчина! — объявил Принс.— Поспать три часа, проехав семьдесят пять миль на собаках, и снова в путь! Кто он такой, Кид?

— Джек Уэстондэйл. Он уже года три здесь. Работает, как вол, а все одни неудачи. Я его до сих пор не встречал, но мне о нем рассказывал Ситка Чарли.

— Тяжело, верно, человеку быть в разлуке с такой славной молодой женой и проводить лучшие годы в этой богом забытой дыре, где один год стоит двух.

— Он только из-за своего упорства торчит здесь. Два раза здорово заработал на заявке, а потом все потерял.

Разговор этот был прерван шумными возгласами Беттлза. Волнение, вызванное снимком, улеглось. И скоро суровые годы изнуряющего труда и лишений были позабыты в бесшабашном веселье. Только Мэйлмют Кид, казалось, не разделял общего веселья и часто с тревогой поглядывал на часы; наконец, надев рукавицы и бобровую шапку, он вышел из хижины и стал рыться в кладовке.

Он не дождался назначенного времени и разбудил гостя на четверть часа раньше. Ноги у молодого великана совсем одеревенели, и пришлось изо всех сил растирать их, чтобы он мог встать. С мучительными усилиями, шатаясь, он вышел из хижины. Собаки были уже запряжены и все готово к отъезду. Уэстондэйлу пожелали счастливого пути и удачи в погоне; отец Рубо, торопливо благословив его, бегом вернулся в хижину, да и неудивительно: стоять при температуре семьдесят четыре градуса ниже нуля с открытыми ушами и руками не очень-то приятно!

Мэйлмют Кид проводил Уэстондэйла до дороги и, сердечно пожав ему руку, сказал:

— Я положил вам в нарты сто фунтов лососевой икры. Собакам этого запаса хватит на столько же времени, на сколько хватило бы полутораста фунтов рыбы. В Пелли вам еды для собак не достать, а вы, вероятно, на это рассчитывали.

Уэстондэйл вздрогнул, глаза его блеснули, но он слушал Кида не перебивая.

— Ближе чем у порогов Пяти Пальцев вы ничего годного в пищу не достанете ни для себя, ни для собак, а туда добрых двести миль. Берегитесь разводьев на Тридцатимильной реке и не-

пременно поезжайте большим каналом повыше озера Ла-Барж — этим здорово сократите себе путь.

— Как вы узнали? Неужели слухи дошли прежде меня?

— Я ничего не знаю, да и не хочу знать. Но ведь упряжка, за которой вы гонитесь, вовсе не ваша: Ситка Чарли продал ее этим людям прошлой весной. Впрочем, он мне говорил, что вы честный человек, и я ему верю; мне ваше лицо нравится. И я видел...— черт вас возьми, не проливайте соленую воду из глаз! — вашу жену и...— Тут Кид снял рукавицы и вытащил мешок с золотым песком.

— Нет, в этом я не нуждаюсь! — Слезы замерзли у Уэстондэйла на щеках, он судорожно пожал руку Мэйлмюта Кида.

— Тогда не жалейте собак, обрезайте постромки, как только какая-нибудь упадет. Покупайте других, сколько бы они вам ни стоили. Их можно купить у Пяти Пальцев, на Малом Лососе и в Хуталинква. Да смотрите не промочите ноги,— посоветовал Мэйлмют на прощанье.— Не останавливайтесь, если мороз будет не сильнее пятидесяти семи градусов; но когда температура упадет ниже, разведите костер и смените носки.

Не прошло и четверти часа, как звон колокольчиков возвестил прибытие новых гостей. Дверь отворилась, и вошел офицер королевской северо-западной конной полиции в сопровождении двух метисов, погонщиков собак. Как и Уэстондэйл, все трое были вооружены до зубов, и видно было, что они утомлены. Метисы родились здесь и легко переносили трудный путь, но молодой полисмен совсем выбился из сил. Только упорство, свойственное людям его расы, заставляло его продолжать погоню; ясно было, что он не отступит, пока не свалится на дороге.

— Когда уехал Уэстондэйл? — спросил он.— Ведь он останавливался здесь?

Вопрос был излишний: следы говорили сами за себя.

Мэйлмют Кид переглянулся с Белденом, и тот, поняв, в чем дело, уклончиво ответил:

— Да уж прошло немало времени.

— Не виляй, приятель, говори начистоту,— предостерегающим тоном сказал полицейский.

— Видно, он вам очень нужен! А что, он натворил что-нибудь в Доусоне?

— Ограбил Гарри Мак-Фарлэнда на сорок тысяч, обменял золото у агента Тихоокеанской компании на чек в Сиэтле и теперь преспокойно получит по чеку, если мы его не перехватим! Когда он уехал?

По примеру Мэйлмюта Кида, все старались скрыть свое волнение, и молодой полисмен видел вокруг себя безучастные лица.

Он повторил свой вопрос, повернувшись к Принсу. Тот про-

бурчал что-то невнятное насчет состояния дороги, хотя ему и неприятно было лгать, глядя прямо в открытое и серьезное лицо своего соотечественника.

Тут полицейский заметил отца Рубо. Священник солгать не мог.

— Уехал четверть часа назад,— сказал он.— Но он и собаки отдыхали здесь четыре часа.

— Четверть часа как уехал, да еще со свежими силами! О господи!

Полисмен пошатнулся, чуть не теряя сознания от усталости и огорчения, и что-то пробормотал о расстоянии от Доусона, покрытом за десять часов, и об измученных собаках.

Мейлмют Кид заставил его выпить кружку пунша. Потом полисмен пошел к дверям позвать погонщиков. Однако тепло и надежда на отдых были слишком заманчивы, и те решительно воспротивились. Киду был хорошо знаком местный французский диалект, на котором они говорили, и он настороженно прислушивался.

Метисы клялись, что собаки выбились из сил, что Бабетту и Сиваша придется пристрелить на первой же миле, да и остальные не лучше, всем не мешало бы отдохнуть.

— Не одолжите ли мне пять собак? — спросил полисмен, обращаясь к Мэйлмюту Киду.

Кид отрицательно покачал головой.

— Я дам вам чек на имя капитана Констэнтайна на пять тысяч. Вот документ; я уполномочен выписывать чеки по своему усмотрению.

Все тот же молчаливый отказ.

— Тогда я реквизирую их именем королевы!

Со скептической усмешкой Кид бросил взгляд на свой богатый арсенал, и англичанин, сознавая свое бессилие, снова повернулся к двери. Погонщики все еще спорили, и он набросился на них с руганью, называя их бабами и трусами. Смуглое лицо старшего метиса покраснело от гнева, он встал и кратко, но выразительно пообещал своему начальнику, что загонит насмерть головную собаку, а потом с удовольствием бросит его в снегу.

Молодой полисмен, собрав все силы, решительно пошел к двери, стараясь выказать бодрость, которой у него уж не было. Все поняли и оценили его стойкость. Но он не мог скрыть мучительной гримасы боли.

Полузамерзшие собаки скорчились на снегу, и невозможно было заставить их встать на ноги. Бедные животные выли под сильными, безжалостными ударами бича. Только когда обрезали постромки Бабетты, вожака упряжки, удалось сдвинуть с места нарты и тронуться в путь.

— Ах он, мошенник! Лгун!
— Черт его побери!
— Вор!
— Хуже индейца!

Все были явно возмущены: во-первых, тем, что их одурачили, а во-вторых, тем, что нарушена этика Севера, где главной доблестью человека считается честность.

— А мы-то еще помогли этому сукиному сыну! Знать бы раньше, что он наделал!

Все глаза с упреком устремились на Мэйлмюта Кида. Тот вышел из угла, где укладывал поудобней Бабетту, и молча разлил остатки пунша по кружкам для последней круговой.

— Мороз сегодня, ребята, жестокий мороз! — так странно начал он свою защитительную речь.— Всем вам приходилось бывать в пути в такую ночь, и вы знаете, что это значит. Загнанную собаку на ноги не поднимешь! Вы выслушали только одну сторону. Никогда еще не ел с нами из одной миски и не укрывался одним одеялом человек честнее Джека Уэстондэйла. Прошлой осенью он отдал все, что имел,— сорок тысяч,— Джо Кастреллу, чтобы тот внес их за него на торгах в столице. Теперь он мог бы быть миллионером. А знаете, что сделал Кастрелл? Пока Уэстондэйл оставался в Серкле, ухаживая за своим компаньоном, заболевшим цингой, Кастрелл играл в карты у Мак-Фарлэнда и все спустил. На другой день его нашли в снегу мертвым. И все мечты бедняги Джека поехать зимой к жене и сынишке, которого он еще не видал, разлетелись в прах. Заметьте, он взял ровно столько, сколько проиграл его компаньон,— сорок тысяч. Теперь он ушел. Что же вы хотите предпринять?

Кид окинул взглядом судей, заметил, как смягчилось выражение их лиц, и поднял кружку.

— Так выпьем же за того, кто в пути этой ночью! За то, чтобы ему хватило пищи, чтобы собаки его не сдали, чтобы спички его не отсырели. Да поможет ему господь, пусть во всем ему будет удача, а...

— А королевской полиции — посрамление! — Докончил Беттлз под грохот опустевших кружек.

1899

СЫН ВОЛКА

Мужчина редко понимает, как много значит для него близкая женщина,— во всяком случае, он не ценит ее по-настоящему, пока не лишится семьи. Он не замечает тончайшего, неуловимого

тепла, создаваемого присутствием женщины в доме; но едва оно исчезнет, в жизни его образуется пустота, и он смутно тоскует о чем-то, сам не зная, чего же ему недостает. Если его товарищи не более умудрены опытом, чем он сам, они с сомнением покачают головами и начнут пичкать его сильно действующими лекарствами. Но голод не отпускает — напротив, мучит все сильней; человек теряет вкус к обычному, повседневному существованию, становится мрачен и угрюм; и вот в один прекрасный день, когда сосущая пустота внутри становится нестерпимой, его наконец осеняет.

Когда такое случается с человеком на Юконе, он обычно снаряжает лодку, если дело происходит летом, а зимою запрягает своих собак — и устремляется на юг. Несколько месяцев спустя, если он одержим Севером, он возвращается сюда вместе с женою, которой придется разделить с ним любовь к этому холодному краю, а заодно все труды и тяготы. Вот лишнее доказательство чисто мужского эгоизма! И тут поневоле вспоминается история, приключившаяся с Бирюком Маккензи в те далекие времена, когда Клондайк еще не испытал золотой лихорадки и нашествия чечако и славился только как место, где отлично ловится лосось.

В Бирюке Маккензи с первого взгляда можно было узнать пионера, осваивателя земель. На лицо его наложили отпечаток двадцать пять лет непрерывной борьбы с грозными силами природы; и самыми тяжкими были последние два года, проведенные в поисках золота, таящегося под сенью Полярного круга. Когда щемящее чувство пустоты овладело Бирюком, он не удивился, так как был человек практический и уже встречал на своем веку людей, пораженных тем же недугом. Но он ничем не обнаружил своей болезни, только стал работать еще яростнее. Все лето он воевал с комарами и, разжившись снаряжением под долю в будущей добыче, занимался промывкой песка в низовьях реки Стюарт. Потом связал плот из солидных бревен, спустился по Юкону до Сороковой Мили и построил себе отличную хижину. Это было такое прочное и уютное жилище, что немало нашлось охотников разделить его с Бирюком. Но он несколькими словами, на удивление краткими и выразительными, разбил вдребезги все их надежды и закупил в ближайшей фактории двойной запас провизии.

Как уже сказано, Маккензи был человек практический. Обычно, чего-нибудь захотев, он добивался желаемого и при этом по возможности не изменял своим привычкам и не уклонялся от своего пути. Тяжкий труд и испытания были Бирюку не в новинку, однако ему ничуть не улыбалось проделать шестьсот миль через океан и наконец еще ехать добрую тысячу миль до мест, где он жил прежде,— и все это лишь затем, чтоб найти себе жену. Жизнь

слишком коротка. А потому он запряг своих собак, привязал к нартам несколько необычный груз и двинулся по направлению к горному хребту, на западных склонах которого берет начало река Танана.

Он был неутомим в пути, а его собаки считались самой выносливой, быстроногой и неприхотливой упряжкой на Юконе. И три недели спустя он появился в становище племени стиксов с верховий Тананы. Все племя пришло в изумление, увидев его. О стиксах с верховий Тананы шла дурная слава; им не раз случалось убивать белых из-за такого пустяка, как острый топор или сломанное ружье. Но Бирюк Маккензи пришел к ним один, и во всей его повадке была очаровательная смесь смирения, непринужденности, хладнокровия и нахальства. Нужно большое искусство и глубокое знание психологии дикаря, чтобы успешно пользоваться столь разнообразным оружием; но Маккензи был великий мастер в этих делах и хорошо знал, когда надо подольститься, а когда метать громы и молнии.

Прежде всего он засвидетельствовал свое почтение вождю племени Тлинг-Тиннеху, преподнес ему несколько фунтов черного чаю и табаку и тем завоевал его благосклонность.

Затем свел знакомство с мужчинами и девушками племени и в тот же вечер задал им потлач. В снегу была вытоптана овальная площадка около ста футов в длину и двадцать пять в ширину. Посередине развели огромный костер, по обе его стороны настлали еловых веток. Все племя высыпало из вигвамов, и добрая сотня глоток затянула в честь гостя индейскую песню.

За эти два года Бирюк Маккензи выучился языку индейцев — запомнил несколько сот слов, одолел гортанные звуки, затейливые формы и обороты, выражения почтительности, частицы и приставки. И вот он стал ораторствовать, подделываясь под их речь, полную первобытной поэзии, не скупясь на аляповатые красоты и корявые метафоры. Тлинг-Тиннех и шаман отвечали ему в том же стиле, потом он оделил мужчин мелкими подарками, вместе с ними распевал песни и показал себя искусным игроком в их любимой азартной игре «пятьдесят два».

Итак, они курили его табак и были очень довольны. Однако молодежь племени держалась по-иному — тут чувствовались и вызов и похвальба; и нетрудно было понять, в чем дело,— стоило прислушаться к хихиканью молодых девушек и грубым намекам беззубых старух. Они знавали не так уж много белых людей — Сыновей Волка,— но эти немногие преподали им кое-какие уроки.

При всей своей кажущейся беззаботности Бирюк Маккензи отлично это замечал. По правде сказать, забравшись на ночь в спальный мешок, он все обдумал еще раз, обдумал с величайшей серьезностью и немало трубок выкурил, разрабатывая план кам-

«Сын Волка»

«Сивашка»

пании. Из всех девушек только одна привлекла его внимание, и не кто-нибудь, а сама Заринка, дочь вождя. Она резко выделялась среди своих соплеменниц; черты ее лица, фигура, осанка больше отвечали представлениям белого человека о красоте. Он добьется этой девушки, он возьмет ее в жены и назовет... да, он будет звать ее Гертрудой! Придя к этому решению, Маккензи повернулся на бок и уснул — истинный сын рода победителей.

Это была нелегкая задача, она требовала времени и труда, но Бирюк Маккензи действовал хитро, и вид у него при этом был самый беспечный, что совсем сбивало индейцев с толку. Он постарался доказать мужчинам, что он превосходный стрелок и бесподобный охотник, и все становище рукоплескало ему, когда он уложил лося выстрелом с шестисот ярдов. Однажды вечером он посетил вождя Тлинг-Тиннеха в его вигваме из лосиных и оленьих шкур; он хвастал без удержу и не скупился на табак. Не упустил он случая оказать ту же честь и шаману; он ведь хорошо понимал, как прислушивается племя к слову колдуна, и хотел непременно заручиться его поддержкой. Но сей почтенный муж держался до крайности надменно, не пожелал сменить гнев на милость, и Маккензи уверенно занес его в список будущих противников.

Случая поговорить с Заринкой не представлялось, но Маккензи то и дело поглядывал на нее, давая понять, каковы его намерения. И она, разумеется, отлично поняла его, но из кокетства окружала себя целой толпой женщин всякий раз, как мужчины были далеко и Бирюк мог бы к ней подойти. Но он не торопился; притом он знал, что она поневоле думает о нем,— так пусть подумает еще денек-другой, это ему только на руку.

Наконец однажды вечером он решил, что настало время действовать; внезапно поднявшись, он вышел из душного, прокуренного жилища вождя и быстро прошел в соседний вигвам. Заринка, по обыкновению, сидела, окруженная женщинами и молодыми девушками; все они были заняты делом: шили мокасины или расшивали бисером одежду. Маккензи встретили взрывом смеха, посыпались шуточки по адресу его и Заринки; но он без церемоний, одну за другой, вышвырнул женщин из вигвама прямо на снег, и они разбежались по становищу, чтобы всем рассказать о случившемся.

Он весьма убедительно изложил Заринке все, что хотел сказать, на ее родном языке (его языка она не знала) и часа через два собрался уходить.

— Так, значит, Заринка пойдет жить в вигвам белого человека? Хорошо! Сейчас я поговорю с твоим отцом, может быть, он еще и не согласен. Я дам ему много даров, но пусть он не спрашивает лишнего. А вдруг он скажет «нет», говоришь ты? Что ж, хорошо! Заринка все равно пойдет в вигвам белого человека.

Он уже поднял шкуру, которой был завешен вход, но тут девушка негромко окликнула его, и он тотчас вернулся. Она опустилась на колени на устилавший пол медвежий мех; лицо ее сияло тем светом, каким светятся лица истинных дочерей Евы; она робко расстегнула тяжелый пояс Маккензи. Он смотрел на нее с недоумением, опасливо прислушиваясь к каждому шороху снаружи. Но следующий жест девушки рассеял его подозрения, и он улыбнулся, польщенный. Она достала из мешка, где лежало ее рукоделие, ножны из шкуры лося; на них были вышиты бисером яркие фантастические узоры. Вытащила большой охотничий нож Маккензи, почтительно поглядела на острое лезвие, осторожно потрогала его пальцем и вложила в новые ножны. Потом надела их на пояс и сдвинула на обычное место — у левого бедра.

Право же, это было совсем как сцена из далекой старины: дама и ее рыцарь. Маккензи поднял девушку на ноги и коснулся усами ее алых губ — для нее это была незнакомая, чуждая ласка, ласка Волка. Так встретился каменный век с веком стали.

Когда Бирюк Маккензи с объемистым свертком под мышкой вновь появился на пороге шатра Тлинг-Тиннеха, вокруг чувствовалось необычайное оживление. Дети бегали по становищу, стаскивали сучья и хворост для потлача, болтовня женщин стала громче, молодые охотники сходились кучками и мрачно переговаривались, а из жилища шамана доносились зловещие звуки заклинаний.

Вождь сидел один со своей женой, смотревшей прямо перед собой тусклыми, остановившимися глазами, но Маккензи тотчас понял, что то, о чем он собирается говорить, тут уже известно. Он передвинул вышитые бисером ножны на самое видное место — в знак того, что обручение совершилось, и немедля приступил к делу.

— О Тлинг-Тиннех, могучий повелитель племени стиксов и всей страны Танана, властелин лосося и медведя, лося и оленя! Белого человека привела к тебе великая цель. Уже много лун жилище его пусто, и он одинок. Сердце его тоскует в тиши и томится о женщине — пусть сидит рядом с ним в его жилище, пусть встречает его, когда он возвращается с охоты, разводит огонь в очаге и готовит пищу. Белому человеку чудились странные вещи, он слышал топот маленьких мокасин и детские голоса. И однажды ночью ему было видение. Ворон — твой предок, великий Ворон, отец племени стиксов — явился ему и заговорил с ним. И вот что сказал Ворон одинокому белому человеку: «Надень мокасины, и стань на лыжи, и нагрузи свои нарты припасами для многих переходов и богатыми дарами, предназначенными вождю Тлинг-Тиннеху, ибо ты должен обратиться лицом в ту сторону, где прячется за край земли весеннее солнце, и держать путь в края, где

охотится великий Тлинг-Тиннех. Туда привезешь ты щедрые подарки, и сын мой — Тлинг-Тиннех — станет тебе отцом. В его вигваме есть девушка, в которую я для тебя вдохнул дыхание жизни. Эту девушку возьмешь ты в жены». Так говорил великий Ворон, о вождь. Вот почему я кладу эти дары к твоим ногам. Вот почему я пришел взять в жены твою дочь.

Старый вождь царственным жестом плотнее завернулся в свою меховую одежду, но медлил с ответом. В это время в шатер проскользнул мальчишка, сообщил, что вождя ждут на совет племени, и тотчас исчез.

— О белый человек, которого мы назвали Грозой Лосей, известный также под именем Волка и Сына Волка! Мы знаем, ты происходишь из великого племени; мы горды тем, что ты был нашим гостем; но кета не пара лососю. Так и Волк не пара Ворону.

— Неверно! — воскликнул Маккензи.— Я встречал дочерей Ворона в лагерях Волка — у Мортимера, у Треджидго, у Бэрнеби,— в его жилище скво вошла два ледохода назад, и я слышал, что есть еще и другие, хоть и не видел их собственными глазами.

— Ты говоришь правду, мой сын, но это дурные браки: все равно что брак воды с песком, снежинки с солнцем. А встречал ли ты человека по имени Мэйсон и его скво? Нет? Он первым из Волков пришел сюда, десять ледоходов тому назад. С ним был великан, могучий, как медведь гризли, и стройный, как побег ивы, с сердцем, точно полная луна летом. Так вот, его...

— Да это Мэйлмют Кид! — прервал Маккензи, узнав по описанию личность, хорошо известную всем на Севере.

— Это он, великан. Но видел ли ты когда-нибудь скво Мэйсона? Она родная сестра Заринки.

— Нет, вождь, я не видел ее, но слышал о ней. Далеко-далеко на Севере обрушилась под тяжестью лет вековая сосна и, падая, убила Мэйсона. Но любовь его была велика, и у него было много золота. Женщина взяла золото, взяла сына, которого оставил он ей, и пустилась в долгий путь, и через несчетное множество переходов прибыла в страну, где и зимой светит солнце... Там она живет до сих пор, там нет свирепых морозов, нет снега, летом в полночь не светит солнце, а зимой в полдень не царит мрак.

Тут их прервал второй гонец и сказал, что вождя требуют в совет. Вышвырнув его в снег, Маккензи мельком заметил раскачивающиеся фигуры вокруг огня, где собрался совет племени, услышал размеренное пение низких мужских голосов и понял, что шаман раздувает гнев в людях племени. Время не ждало. Маккензи обернулся к вождю.

— Слушай! — сказал он.— Я хочу взять твою дочь в жены. Смотри: вот табак, вот чай, много чашек сахару, вот теплые одея-

ла и большие, крепкие платки, а вот настоящее ружье, и к нему много патронов и много пороха.

— Нет,— возразил старик, силясь не поддаться соблазну огромного богатства, разложенного перед ним.— Сейчас собралось на совет мое племя. Оно не захочет, чтоб я отдал тебе Заринку.

— Но ведь ты вождь.

— Да, но юноши наши разгневаны, потому что Волки отнимают у них невест.

— Слушай, Тлинг-Тиннех! Прежде чем эта ночь перейдет в день, Волк погонит своих собак к Восточным Горам и дальше — на далекий Юкон. И Заринка будет прокладывать путь его собакам.

— А может быть, прежде чем эта ночь достигнет середины, мои юноши бросят мясо Волка собакам, и кости его будут валяться под снегом, пока снег не растает под весенним солнцем.

Угроза в ответ на угрозу. Бронзово-смуглое лицо Маккензи залилось краской. Он возвысил голос. Старуха, жена вождя, до этой минуты остававшаяся бесстрастной зрительницей, попыталась проскользнуть мимо него к выходу. Пение оборвалось, послышался гул множества голосов; Маккензи грубо отбросил старуху на ее ложе из шкур.

— Снова я взываю к тебе — слушай, о Тлинг-Тиннех! Волк умрет, сомкнув челюсти, и вместе с ним навсегда уснут десять сильнейших мужчин твоего племени,— а в мужчинах будет нужда, время охоты только начинается, и до начала рыбной ловли осталось не так уж много лун. И что пользы тебе от того, что я умру? Я знаю обычаи твоего народа: не много из моих богатств придется на твою долю. Отдай мне твою дочь — и все достанется тебе одному. И еще скажу тебе: сюда придут мои братья — их много, и они ненасытны,— и дочери Ворона станут рождать детей в жилищах Волка. Мое племя сильнее твоего. Такова судьба. Отдай мне дочь, и все эти богатства — твои.

Снаружи заскрипел под мокасинами снег. Маккензи вскинул ружье и расстегнул кобуры обоих револьверов на поясе.

— Отдай, о Тлинг-Тиннех!

— Но мой народ скажет «нет»!

— Отдай, и это богатство — твое. А с твоим народом я поговорю потом.

— Пусть будет, как хочет Волк. Я возьму дары, но помни, я тебя предупреждал.

Маккензи передал ему подарки, не забыв поднять предохранитель ружья, и дал в придачу ослепительно пестрый шелковый платок. Тут вошел шаман в сопровождении пяти или шести молодых воинов, но Маккензи дерзко растолкал их и вышел из шатра.

— Собирайся! — вместо приветствия коротко бросил он Заринке, проходя мимо ее вигвама, и поспешно стал запрягать собак.

Через несколько минут он явился на совет, ведя за собой свою упряжку; девушка шла бок о бок с ним. Он занял место в верхнем конце утоптанной площадки, рядом с вождем. Заринке он указал место слева от себя, на шаг позади, как ей и подобало. Притом в час, когда можно ждать недоброго, надо, чтобы кто-нибудь охранял тебя с тыла.

Справа и слева склонились к огню мужчины, голоса их слились в древней, полузабытой песне. Нельзя сказать, чтобы она была красива, эта песня,— вся из странных, неожиданных переходов, внезапных пауз, навязчивых повторений. Вернее всего, пожалуй, назвать ее страшной. В дальнем конце площадки с десяток женщин кружились перед шаманом в обрядовой пляске. И шаман гневно выговаривал тем, кто недостаточно самозабвенно отдавался исполнению обряда. Наполовину окутанные распущенными черными, как вороново крыло, волосами, женщины медленно раскачивались взад и вперед, и тела их изгибались, покорные непрестанно меняющемуся ритму.

Странное это было зрелище, чистейший анахронизм. Дальше к югу был на исходе девятнадцатый век, истекали последние годы его последнего десятилетия,— а здесь процветал первобытный человек, тень доисторического пещерного жителя, забытый обломок Древности. Большие рыжие псы сидели рядом со своими одетыми в звериные шкуры хозяевами или дрались из-за места у огня, и отблески костра играли в их налитых кровью глазах, на влажных клыках. Дремучий лес, окутанный призрачным снежным покровом, спал непробудно, не тревожимый происходящим. Белое Безмолвие, на краткий миг отброшенное к дебрям, обступившим становище, словно готовилось вновь заполнить все; звезды дрожали и плясали в небе, как всегда в пору Великого Холода, и Полярные Духи раскинули по всему небосклону свои сияющие огненные одежды.

Бирюк Маккензи, смутно сознавая дикое величие этой картины, обвел взглядом ряды неподвижных фигур в меховых одеждах, высматривая, кого не хватает. На мгновение глаза его остановились на новорожденном младенце, мирно сосавшем обнаженную грудь матери. Было сорок градусов ниже нуля — семьдесят с лишним градусов мороза. Маккензи подумал о нежных женщинах своего народа и хмуро улыбнулся. И, однако, он, рожденный одною из тех нежных женщин, унаследовал то, что давало ему и его сородичам власть над сушей и морем, над животными и людьми во всех краях земли. Один против ста, в недрах арктической зимы, вдалеке от родных мест, чувствовал он зов этого наследия —

волю к власти, безрассудную любовь к опасностям, боевой пыл, решимость победить или умереть.

Пение и пляски прекратились, и шаман разразился речью. Сложными и запутанными примерами из богатой мифологии индейцев он умело действовал на легковерных слушателей. Он говорил сильно и убедительно. Воплощению мирного созидательного начала — Ворону — он противопоставил Волка-Маккензи, заклеймив его как воплощение начала воинственного и разрушительного. Борьба этих начал не только духовная, борются и люди — каждый во имя своего тотема. Племя стиксов — дети Джелкса, Ворона, носителя Прометеева огня; Маккензи — сын Волка, иными словами — дьявола. Пытаться приостановить эту извечную войну двух начал, отдавать дочерей племени в жены заклятому врагу — значит совершать величайшее предательство и кощунство. Самые резкие слова, самые гнусные оскорбления еще слишком мягки для Маккензи — ядовитого змея, коварно пытающегося вкрасться к ним в доверие, посланника самого сатаны. Тут слушатели глухо, грозно заворчали, а шаман продолжал:

— Джелкс всемогущ, братья мои! Не он ли принес на землю небесный огонь, чтобы мы могли согреться? Не он ли извлек солнце, месяц и звезды из их небесных нор, чтобы мы могли видеть? Не он ли научил нас бороться с духами Голода и Мороза? А ныне Джелкс разгневался на своих детей, и от племени осталась жалкая горсточка, и Джелкс не поможет им. Ибо они забыли его, они дурно поступают, и идут по дурным тропам, и вводят его врагов в свои вигвамы, и сажают у своего очага. И Ворон скорбит о злонравии своих детей. Но, когда они поймут глубину своего падения и докажут, что они вернулись к Джелксу, он выйдет из мрака им на помощь. О братья! Носитель Огня поведал шаману свою волю,— теперь выслушайте ее вы. Пусть юноши отведут девушек в свои вигвамы, а сами ринутся на Волка, и пусть их ненависть не ослабевает! Тогда женщины будут рождать детей, и народ Ворона станет многочисленным и могущественным. И Ворон выведет великие племена их отцов и дедов с Севера, и они будут сражаться с Волками, пока не превратят их в ничто, в пепел прошлогоднего костра, а сами снова станут властелинами всей страны. Так сказал Джелкс, Ворон!

Услышав эту весть о близком пришествии Мессии, стиксы с хриплым воплем вскочили на ноги. Маккензи высвободил большие пальцы из рукавиц и ждал. Раздались крики: «Лис! Лис!» Они становились все громче; наконец один из молодых охотников выступил вперед и заговорил:

— Братья! Шаман сказал мудрые слова. Волки отнимают наших женщин, и некому рождать нам детей. Нас осталась горсточка. Волки отнимают у нас теплые меха и дают нам взамен злого

духа, живущего в бутылке, и одежды, сделанные не из шкуры бобра или рыси, но из травы. И эти одежды не дают тепла, и наши люди умирают от непонятных болезней. У меня, Лиса, нет жены. А почему? Дважды девушки, которые нравились мне, уходили в становище Волка. Вот и сейчас отложил я шкуры бобра, лося, оленя, чтобы завоевать благосклонность Тлинг-Тиннеха и взять в жены его дочь Заринку. И вот, смотрите, она встала на лыжи и готова прокладывать путь собакам Волка. И я говорю не за себя одного. То же самое мог бы сказать Медведь. Он тоже пожелал стать отцом детей Заринки и тоже приготовил много шкур, чтобы отдать Тлинг-Тиннеху. Я говорю за всех молодых охотников, у которых нет жен. Волки вечно голодны. И всегда они берут себе лучшие куски, а Воронам достаются жалкие остатки. Посмотрите, вот Гукла! — И Лис бесцеремонно указал на одну из женщин; она была хромая.— Ноги ее искривлены, точно борта лодки. Она не может собирать дрова и хворост, не может носить за охотниками убитую дичь. Выбрали ее Волки?

— О! О! — вскричали собратья Лиса.

— Вот Мойри,— продолжал он.— Злой дух перекосил ей глаза. Даже младенцы пугаются, глядя на нее, и, говорят, сам медведь уступает ей дорогу. Выбрали ее Волки?

И снова грозный гул одобрения.

— А вот сидит Писчет. Она не слышит моих слов. Никогда она не слышала ни веселой беседы, ни голоса своего мужа, ни лепета своего ребенка. Она живет в Белом Безмолвии. Разве Волки хотя бы взглянули на нее? Нет! Им достается отборная добыча, нам — остатки. Братья, больше так быть не должно! Довольно Волкам рыскать у наших костров! Время настало!

Гигантское огненное полотнище северного сияния — пурпурное, зеленое, желтое пламя — затрепетало в небе, охватив его от края до края. И Лис, запрокинув голову и воздев руки к небесам, воскликнул:

— Смотрите! Духи наших предков восстали! Великие дела совершатся в эту ночь!

Он отступил, и другой молодой охотник нерешительно вышел вперед, подталкиваемый товарищами. Он был на голову выше всех остальных, широкая грудь обнажена, точно назло морозу. Он переминался с ноги на ногу, слова не шли у него с языка, он был застенчив и неловок. Страшно было смотреть на его лицо: когда-то его, видимо, изорвало, исковеркало каким-то чудовищной силы ударом. Наконец он гулко ударил себя кулаком в грудь, точно в барабан, и заговорил; голос его звучал глухо, как шум прибоя в пещере на берегу океана.

— Я Медведь, Серебряное Копье и сын Серебряного Копья. Когда мой голос был еще звонок, как голос девушки, я убивал

рысь, лося и оленя; когда он зазвучал, как крик росомахи в ловушке, я пересек Южные Горы и убил троих из племени Белой реки; когда он стал, как рев Чинука, я встретил медведя гризли — и я не уступил ему дороги.

Он помедлил, многозначительно провел ладонью по страшным шрамам на лице. Потом продолжал:

— Я не Лис. Язык мой замерз, как река. Я не умею красно говорить. Слов у меня немного. Лис говорит: «Великие дела совершатся в эту ночь». Хорошо! Речь его бежит с языка, точно река в половодье, но на дела он совсем не так щедр. Сегодня ночью я буду сражаться с Волком. Я убью его, и Заринка сядет у моего очага. Я, Медведь, сказал.

Настоящий ад бушевал вокруг, но Маккензи был тверд. Хорошо понимая, что ружье на таком близком расстоянии бесполезно, он незаметно передвинул вперед на поясе обе кобуры, готовясь пустить в дело револьверы, и спустил рукавицы так низко, что они теперь висели у него на пальцах. Он знал, что, если на него нападут все разом, ему не на что надеяться, но, верный своей недавней похвальбе, намеревался умереть, сомкнув челюсти на горле врага. Но Медведь сдержал своих собратьев, отбросил самых пылких назад ударами страшного кулака. Буря начала стихать, и Маккензи мельком взглянул на Заринку. Это было великолепное зрелище. Стоя на лыжах, она вся подалась вперед, губы ее приоткрылись, ноздри трепетали — совсем тигрица перед прыжком. В больших черных глазах ее, устремленных на сородичей, был и страх и вызов. Все ее существо напряглось, как натянутая тетива, она даже дышать забывала. Она так и застыла, судорожно прижав одну руку к груди, стиснув в другой длинный бич. Но как только Маккензи взглянул на нее, Заринку словно отпустило. Напряженные мышцы ослабли, она глубоко вздохнула, выпрямилась и ответила ему взглядом, полным безграничной преданности.

Тлинг-Тиннех пытался заговорить, но голос его утонул в общем крике. И тут Маккензи выступил вперед. Лис открыл было рот, но тотчас шарахнулся назад, и пронзительный вопль застрял у него в глотке — с таким бешенством обернулся к нему Маккензи. Поражение Лиса было встречено взрывами хохота — теперь его соплеменники готовы были слушать.

— Братья! — начал Маккензи.— Белый человек, которого вы называете Волком, пришел к вам с открытой душой. Он не станет лгать, подобно иннуиту. Он пришел как друг, как тот, кто хочет стать вам братом. Но ваши мужчины сказали свое слово, и время мирных речей прошло. Так слушайте: прежде всего ваш шаман — злой болтун и лживый прорицатель, и воля, которую он передал вам,— не воля Носителя Огня. Уши его глухи к голосу Ворона, он

сам сочиняет коварные небылицы, и он обманул вас. Он бессилен. Когда вам пришлось убить и съесть своих собак и на желудке у вас была тяжесть от сыромятной кожи мокасин; когда умирали старики, и умирали старухи, и младенцы умирали у иссохшей груди матери; когда ваша земля была окутана тьмою и все живое гибло, точно лосось в осеннюю пору; да, когда голод обрушился на вас,— разве ваш шаман принес удачу охотникам? Разве он наполнил мясом ваши желудки? Опять скажу вам: шаман бессилен. Вот, я плюю ему в лицо!

Все были поражены этим кощунством, но никто не крикнул. Иные женщины перепугались, мужчины же в волнении ждали чуда. Все взоры обратились на двух главных героев происходящего. Жрец понял, что настала решающая минута, почувствовал, что власть его колеблется, и уже готов был разразиться угрозами, но передумал: Маккензи занес кулак и шагнул к нему — свирепый, со сверкающими глазами. Шаман злобно усмехнулся и отступил.

— Что ж, поразила меня внезапная смерть? Сожгло меня молнией? Или, может, звезды упали с неба и раздавили меня? Тьфу! Я покончил с этим псом. Теперь я скажу вам о моем племени, могущественнейшем из племен, которое владычествует во всех землях. Сначала мы охотимся, как я, в одиночку. Потом охотимся стаями и наконец, как оленьи стада, заполняем весь край. Те, кого мы берем в свои вигвамы, остаются в живых, остальных ждет смерть. Заринка красивая девушка, крепкая и сильная, она будет хорошей матерью Волков. Вы можете убить меня, но она все равно станет матерью Волков, ибо мои братья многочисленны, и они придут по следу моих собак. Слушайте, вот Закон Волка: если ты отнимешь жизнь у одного Волка, десятеро из твоего племени заплатят за это своей жизнью. Эту цену платили уже во многих землях, во многих землях ее еще будут платить.

Теперь я буду говорить с Лисом и с Медведем. Видно, им приглянулась эта девушка! Так? Но смотрите — я купил ее! Тлинг-Тиннех опирается на мое ружье, и еще я дал за нее другие товары, которые лежат у его очага. И все-таки я буду справедлив к молодым охотникам. Лису, у которого язык пересох от долгих речей, я дам табаку — пять больших пачек. Пусть рот его вновь увлажнится, чтоб он мог всласть шуметь на совете. Медведю же — я горжусь знакомством с ним — я дам два одеяла, двадцать чашек муки, табаку вдвое больше, чем Лису; а если он пойдет со мной к Восточным Горам, я дам ему еще и ружье, такое же, как у Тлинг-Тиннеха. А если он не хочет? Что ж, хорошо! Волк устал говорить. Но он еще раз повторит вам Закон: если ты отнимешь жизнь у одного Волка, десятеро из твоего племени заплатят за это своей жизнью.

Маккензи улыбнулся и отступил на прежнее место, но на душе у него было неспокойно. Ночь была еще совсем темна. Девушка стала рядом с Маккензи и наскоро рассказывала, какие хитрости пускает в ход Медведь, когда дерется на ножах, и Маккензи внимательно слушал.

Итак, решено — они будут биться. Мигом десятки мокасин расширили утоптанную площадку вокруг огня. Немало тут было и разговоров о поражении, которое у всех на глазах потерпел шаман; некоторые уверяли, что он еще покажет свою силу, другие вспоминали разные события минувшего и соглашались с Волком. Медведь выступил вперед, в руке у него был обнаженный охотничий нож русской работы. Лис обратил общее внимание на револьверы Маккензи, и тот, сняв свой пояс, надел его на Заринку и передал ей свое ружье. Она покачала головой в знак того, что не умеет стрелять: откуда женщине знать, как обращаться со столь драгоценным оружием.

— Тогда, если опасность придет сзади, крикни громко: «Муж мой!» Нет, вот так: «Муж мой!»

Он рассмеялся, когда она повторила незнакомое английское слово, ущипнул ее за щеку и вернулся в круг. Медведь превосходил его не только ростом, у него и руки были длиннее, и нож длиннее на добрых два дюйма. Бирюку Маккензи случалось и прежде смотреть в глаза противнику, и он сразу понял, что перед ним настоящий мужчина; и, однако, он весь ожил при виде сверкнувшей стали, и послушная зову предков, кровь быстрей побежала в его жилах.

Снова и снова противник отбрасывал его то к самому костру, то в глубокий снег, но снова и снова, шаг за шагом, как опытный боксер, Маккензи отжимал его к центру. Никто не крикнул ему ни единого слова одобрения, тогда как его соперника подбадривали похвалами, советовали, предостерегали. Но Маккензи только крепче стискивал зубы, когда со звоном сталкивались лезвия ножей, нападал или отступал с хладнокровием, которое рождается из сознания своей силы. Сперва он ощущал невольную симпатию к врагу, но это чувство исчезло перед инстинктом самосохранения, который в свою очередь уступил место жажде убийства. Десять тысяч лет цивилизации слетели с Маккензи, как шелуха, и он стал просто пещерным жителем, сражающимся из-за самки.

Дважды он достал Медведя ножом и ускользнул невредимый; но на третий раз, чтобы избежать удара, ему пришлось схватиться с Медведем вплотную — каждый свободной рукой стиснул руку другого, вооруженную ножом. И тут Маккензи почувствовал всю ужасающую силу соперника. Мышцы его мучительно свело, все связки и сухожилия готовы были лопнуть от напряжения... а лезвие русской стали все ближе, ближе... Он попытался оторваться

от противника, но только ослабил свою позицию. Кольцо людей в меховых одеждах сомкнулось теснее,— никто не сомневался, что близок последний удар, и всем не терпелось его увидеть. Но приемом опытного борца Маккензи откачнулся в сторону и ударил противника головой. Медведь невольно попятился, потерял равновесие. Маккензи мгновенно воспользовался этим и, всей тяжестью обрушившись на Медведя, отшвырнул его за круг зрителей, в глубокий, неутоптанный снег. Медведь с трудом выбрался оттуда и ринулся на Маккензи.

— О муж мой! — зазвенел голос Заринки, предупреждая о близкой опасности.

Загудела тетива, но Маккензи уже успел пригнуться,— стрела с костяным наконечником, пролетев над ним, вонзилась в грудь Медведя, и тот тяжело упал, подминая под себя противника. Секунду спустя Маккензи был снова на ногах. Медведь лежал без движения, но по ту сторону костра шаман готовился пустить вторую стрелу.

Маккензи схватил тяжелый нож за конец лезвия, коротко взмахнул им. Сверкнув, как молния, нож пролетел над костром. Лезвие вонзилось шаману в горло по самую рукоятку, он зашатался и рухнул на пылающие уголья.

Клик! Клик! — Лис завладел ружьем Тлинг-Тиннеха и тщетно пытался загнать патрон в ствол, но тотчас выронил ружье, услышав хохот Бирюка.

— Так, значит, Лис еще не научился обращаться с этой игрушкой? Стало быть, Лис пока еще женщина? Поди сюда! Дай ружье, я покажу тебе, что надо делать.

Лис колебался.

— Поди сюда, говорят тебе!

И Лис подошел, неловкий, как побитый щенок.

— Вот так и так — и все в порядке.

Патрон скользнул на место, щелкнул курок. Маккензи вскинул ружье к плечу.

— Лис сказал, что великие дела совершатся в эту ночь, и он говорил правду. Великие дела совершились, но их совершил не Лис. Что же, он все еще намерен взять Заринку в свой вигвам? Он желает пойти той тропой, которую проложили шаман и Медведь? Нет? Хорошо!

Маккензи презрительно отвернулся и вытащил свой нож из горла шамана.

— Может быть, кто-нибудь другой из молодых охотников этого хочет? Если так, Волк отправит их той же дорогой — по двое, по трое, пока ни одного не останется. Никто не хочет? Хорошо. Тлинг-Тиннех, второй раз я отдаю тебе это ружье. Если когда-нибудь ты отправишься на Юкон, знай, что в жилище Волка тебя

всегда ждет место у очага и вдоволь еды. А теперь ночь переходит в день. Я ухожу, но, возможно, я еще вернусь. И в последний раз говорю: помните Закон Волка!

Он подошел к Заринке, а они смотрели на него, как на какое-то сверхъестественное существо. Заринка заняла свое место впереди упряжки, и собаки пошли. Несколько минут спустя призрачный снежный лес поглотил их. И тогда стоявший неподвижно Маккензи в свою очередь стал на лыжи, готовый двинуться следом.

— Разве Волк забыл про пять больших пачек табаку?

Маккензи гневно обернулся к Лису, но тут же ему стало смешно.

— Я дам тебе одну маленькую пачку.

— Как будет угодно Волку,— скромно сказал Лис и протянул руку.

1899

СЕВЕРНАЯ ОДИССЕЯ

I

Полозья пели свою бесконечную унылую песню, поскрипывала упряжь, позвякивали колокольчики на вожаках; но собаки и люди устали и двигались молча. Они шли издалека, тропа была неутоптана после недавнего снегопада, и нарты, груженные мороженой олениной, с трудом двигались по рыхлому снегу, сопротивляясь с настойчивостью почти человеческой. Темнота сгущалась, но в этот вечер путники уже не собирались делать привал. Снег мягко падал в неподвижном воздухе — не хлопьями, а маленькими снежинками тонкого рисунка. Было совсем тепло, каких-нибудь десять градусов ниже нуля. Майерс и Беттлз подняли наушники, а Мэйлмют Кид даже снял рукавицы.

Собаки устали еще с полудня, но теперь они как будто набирались новых сил. Самые чуткие из них стали проявлять беспокойство, нетерпеливо дергали постромки, принюхивались к воздуху и поводили ушами. Они злились на своих более флегматичных товарищей и подгоняли их, покусывая сзади за ноги. И те в свою очередь тоже заражались беспокойством и передавали его другим. Наконец вожак передней упряжки радостно завизжал и, глубже забирая по снегу, рванулся вперед. Остальные последовали за ним. Постромки натянулись, нарты помчались веселее, и люди, хватаясь за поворотные шесты, изо всех сил ускоряли шаг, чтобы не попасть под полозья. Дневной усталости как не бывало; они криками подбодряли собак, и те отвечали им радостным лаем, во весь опор мчась в сгущающихся сумерках.

— Гей! Гей! — наперебой кричали люди, когда нарты круто сворачивали с дороги и накренялись набок, словно парусное суденышко под ветром.

И вот уже осталось каких-нибудь сто ярдов до освещенного, затянутого промасленной бумагой окошка, которое говорило об уюте жилья, пылающей юконской печке и дымящемся котелке с чаем. Но хижина оказалась занятой. С полсотни эскимосских псов угрожающе залаяли и бросились на собак первой упряжки. Дверь распахнулась, и человек в красном мундире северо-западной полиции, по колено утопая в снегу, водворил порядок среди разъяренных животных, хладнокровно и бесстрастно орудуя своим бичом. Мужчины обменялись рукопожатиями; вышло так, что чужой человек приветствовал Мэйлмюта Кида в его же собственной хижине.

Стэнли Принс, который должен был встретить его и позаботиться о вышеупомянутой юконской печке и горячем чае, был занят гостями. Их было человек десять — двенадцать, самая разношерстная компания, и все они состояли на службе у королевы — одни в качестве блюстителей ее законов, другие в качестве почтальонов и курьеров. Они были разных национальностей, но жизнь, которую они вели, выковала из них определенный тип людей — худощавых, выносливых, с крепкими мускулами, бронзовыми от загара лицами, с бесстрашной душой и невозмутимым взглядом ясных, спокойных глаз. Эти люди ездили на собаках, принадлежащих королеве, вселяли страх в сердца ее врагов, кормились ее скудными милостями и были довольны своей судьбой. Они видели многое, совершали подвиги, жизнь их была полна приключений, но никто из них даже не подозревал об этом.

Они чувствовали себя здесь как дома. Двое из них растянулись на койке Мэйлмюта Кида и распевали песни, которые пели еще их предки-французы, когда впервые появились в этих местах и стали брать в жены индейских женщин. Койка Беттлза подверглась такому же нашествию: трое или четверо voyageurs [1], закутав ноги одеялом, слушали рассказы одного из своих спутников, служившего под командой Вулзли, когда тот пробивался к Хартуму. А когда он кончил, какой-то ковбой стал рассказывать о королях и дворцах, о лордах и леди, которых он видел, когда Буффало Билл совершал турне по столицам Европы. В углу два метиса, старые товарищи по оружию, чинили упряжь и вспоминали дни, когда на Северо-Западе полыхал огонь восстания и Луи Рейл был королем.

То и дело слышались грубые шутки и еще более грубые остроты; о необыкновенных приключениях на суше и на воде говори-

[1] Путешественники *(фр.)*.

лось как о чем-то повседневном и заслуживающем воспоминания только ради какого-нибудь острого словца или смешного происшествия. Принс был совершенно увлечен этими не увенчанными славой героями, которые видели, как творится история, но относились к великому и романтичному как к обыкновенным будням. Он с небрежной расточительностью угощал их своим драгоценным табаком, и в благодарность за такую щедрость разматывались ржавые цепи памяти и воскресали преданные забвению одиссеи.

Когда разговоры смолкли и путники, набив по последней трубке, стали развязывать спальные мешки, Принс обратился к своему приятелю, чтобы тот рассказал ему об этих людях.

— Ну, ты сам знаешь, что такое ковбой,— ответил Мэйлмют Кид, стаскивая мокасины,— а в жилах его товарища по койке течет кровь британца, это сразу заметно. Что касается остальных, то все они потомки coureurs du bois [1], и один бог ведает, какая там еще была примесь. Те двое, что улеглись в дверях, чистокровные bois brulés [2]. Обрати внимание на брови и нижнюю челюсть вон того юнца с шерстяным шарфом — сразу видно, что в дымном вигваме у его матери побывал шотландец. А этот красивый парень, который подкладывает себе под голову шинель,— француз-метис. Ты слышал, какой у него выговор? Он без особой симпатии относится к тем индейцам, что лежат с ним рядом. Дело в том, что, когда метисы восстали под предводительством Рейла, чистокровные индейцы не поддержали их, и с тех пор они недолюбливают друг друга.

— Ну, а вон та мрачная личность у печки, кто это? Клянусь, он не говорит по-английски, за весь вечер не проронил ни слова.

— Ошибаешься. Английский он знает отлично. Ты обратил внимание на его глаза, когда он слушал? Я следил за ним. Но он здесь, видно, чужой. Когда разговор шел на диалекте, было ясно, что он не понимает. Я и сам не разберу, кто он такой. Давай попробуем доискаться... Подбрось-ка дров в печку,— громко сказал Мэйлмют Кид, в упор глядя на незнакомца.

Тот сразу повиновался.

— К дисциплине его где-то приучили,— вполголоса заметил Принс.

Мэйлмют Кид кивнул, снял носки и стал пробираться к печке между растянувшимися на полу людьми; там он развесил свои мокрые носки среди двух десятков таких же промокших насквозь.

— Когда вы думаете попасть в Доусон? — спросил он, чтобы завязать разговор с незнакомцем.

Тот внимательно посмотрел на него, потом ответил:

---

[1] Трапперы, охотники *(фр.)*.

[2] Букв.: горелое дерево *(фр.)*; так называли первых французских поселенцев в Канаде, которые промышляли охотою в лесах.

— Туда, говорят, семьдесят пять миль? Если так, дня через два.

Он говорил с едва заметным акцентом, но свободно, не подыскивая слов.

— Бывали здесь раньше?

— Нет.

— Вы с северо-западных территорий?

— Да.

— Тамошний уроженец?

— Нет.

— Так откуда же вы родом, черт возьми? Видно, что вы не из этих.— Мэйлмют Кид кивнул в сторону всех расположившихся в хижине, включая и тех двух полисменов, что растянулись на койке Принса.— Откуда вы? Я видел раньше такие лица, как ваше, но никак не припомню, где именно.

— А я знаю вас,— неожиданно сказал незнакомец, сразу же обрывая поток вопросов Мэйлмюта Кида.

— Откуда? Разве мы встречались?

— Нет. Мне говорил о вас священник в Пастилике, ваш компаньон. Это было давно. Спрашивал, знаю ли я Мэйлмюта Кида. Дал мне провизии. Я был там недолго. Он не рассказывал вам обо мне?

— Ах, так вы тот самый человек, который менял выдру на собак?

Незнакомец кивнул, выбил трубку и завернулся в меховое одеяло, дав понять, что он не расположен продолжать разговор. Мэйлмют Кид погасил светильник, и они с Принсом залезли под одеяло.

— Ну, кто же он?

— Не знаю. Не хотел разговаривать и ушел в себя, как улитка. Любопытнейший субъект. Я о нем кое-что слышал. Восемь лет тому назад он удивил все побережье. Какая-то загадка, честное слово! Приехал с Севера в самые лютые морозы и так спешил, точно за ним сам черт гнался. Было это за много тысяч миль отсюда, у самого Берингова моря. Никто не знал, откуда он, но, судя по всему, его принесло издалека. Когда он брал провизию у шведа-миссионера в бухте Головина, вид у него был здорово измученный. А потом узнали, что он спрашивал, как проехать на Юг. Из бухты он двинулся прямо через пролив Нортона. Погода была ужасная, пурга, буря, а ему хоть бы что. На его месте другой давно отправился бы на тот свет. В Форт Сент-Майкл он не попал, а выбрался на берег у Пастилики всего-навсего с двумя собаками и полумертвый от голода.

Он так торопился в путь, что отец Рубо снабдил его провизией, но собак не мог дать, потому что ждал моего приезда и дол-

жен был сам отправиться в путь. Наш Улисс знал, что значит путешествовать по Северу без собак, и несколько дней он рвал и метал. На нартах у него лежала груда отлично выделанных шкурок морской выдры — а мех ее, как известно, ценится на вес золота. В это время в Пастилике жил русский купец, скупой, как Шейлок, собак у него хоть отбавляй. Торговались они недолго, и когда наш чудак отправился на Юг, в упряжке у него бежал десяток свежих собак, а мистер Шейлок получил, разумеется, выдру. Я видел эти шкуры — великолепные! Мы подсчитали, и вышло, что каждая собака принесла тому купцу, по крайней мере, пятьсот долларов чистой прибыли. Не думай, что мистер Улисс не знал цен на морскую выдру. Хоть он из индейцев, но по выговору видно, что жил среди белых.

Когда море очистилось от льда, мы узнали, что этот чудак запасается провизией на острове Нунивак. Потом он совсем исчез, и восемь лет о нем ничего не было слышно. Из каких краев теперь он явился, чем занимался и зачем пришел? Индеец неизвестно где побывал. Привык, видно, к дисциплине. А это для индейца не совсем обычно. Еще одна загадка Севера, попробуй ее раскусить, Принс.

— Благодарю покорно! У меня и своих много,— ответил тот.

Мэйлмют Кид уже начал похрапывать, но молодой горный инженер лежал с открытыми глазами, всматриваясь в густой мрак и ожидая, когда утихнет охватившее его непонятное волнение. Потом он заснул, но его мозг продолжал работать, и всю ночь он блуждал по неведомым снежным просторам, вместе с собаками преодолевал бесконечные переходы и видел во сне людей, которые жили, трудились и умирали так, как подобает настоящим людям.

На следующее утро, задолго до рассвета, курьеры и полисмены выехали на Доусон. Но силы, которые стояли на страже интересов ее величества и распоряжались судьбами ее подданных, не давали курьерам отдыха. Неделю спустя они снова появились у реки Стюарт с грузом почты, которую нужно было доставить к Соленой Воде. Правда, собаки были заменены свежими, но ведь на то они и собаки.

Люди мечтали хотя бы о небольшой передышке. Кроме того, Клондайк был новым северным центром, и им хотелось пожить немного в этом Золотом Городе, где золотой песок льется, как вода, а в танцевальных залах никогда не прекращается веселье. Но, как и в первое свое посещение, они сушили носки и с удовольствием курили трубки. И лишь несколько смельчаков строили планы, как можно дезертировать, пробравшись через неисследо-

ванные Скалистые горы на восток, а оттуда по долине Маккензи двинуться в знакомые места, в страну индейцев чиппева. Двоетрое даже решили по окончании срока службы тем же путем возвращаться домой, заранее радуясь этому рискованному предприятию, примерно так, как горожанин радуется воскресной прогулке в лес.

Странный незнакомец был, казалось, чем-то встревожен и не принимал участия в разговорах. Наконец он отозвал в сторону Мэйлмюта Кида и некоторое время вполголоса с ним разговаривал. Принс с любопытством наблюдал за ними; и загадка стала для него еще неразрешимее, когда оба надели шапки и рукавицы и вышли наружу. Вернувшись, Мэйлмют Кид поставил на стол весы для золота, отвесил шестьдесят унций золотого песка и пересыпал его в мешок незнакомца. Потом к совету был привлечен старший погонщик, и с ним тоже была заключена какая-то сделка. На следующий день вся компания отправилась вверх по реке, а владелец выдровых шкур взял с собой немного провизии и повернул обратно, по направлению к Доусону.

— Я положительно не понимаю, что все это значит,— сказал Мэйлмют Кид в ответ на вопросы Принса.— Бедняга твердо решил освободиться от службы. По-видимому, для него это очень важно, но причин он не объяснил. У них — как в армии: он обязался служить два года, а если хочешь уйти раньше срока, надо откупиться. Дезертировать и оставаться в здешних краях нельзя, а остаться ему почему-то необходимо. Он это еще в Доусоне надумал, но денег у него не было ни цента, а там его никто не знал. Я единственный человек, который перекинулся с ним несколькими словами. Он поговорил с начальством и добился увольнения, в случае если я дам ему денег — в долг, разумеется. Обещал вернуть в течение года и, если я захочу, показать местечко, где уйма золота. Сам он и в глаза его не видел, но твердо уверен, что оно существует.

Когда мы вышли, он чуть не плакал. Просил, умолял, валялся передо мной на коленях, пока я не поднял его. Болтал какую-то чепуху, как сумасшедший. Клялся, что работал годами, чтобы дожить до этой минуты, и не перенесет разочарования. Я спросил, до какой минуты, но он не ответил. Сказал только, что боится, как бы его не послали на другой участок, откуда он только года через два попадет в Доусон, а тогда будет слишком поздно. Я в жизни не видал, чтобы человек так убивался. А когда я согласился дать ему взаймы, мне опять пришлось вытаскивать его из снега. Говорю: «Считайте, что вы меня взяли в долю». Куда там! И слышать не хочет! Стал клясться, что отдаст мне всю свою добычу, сулил такие сокровища, которые не снились и скупцу, и все такое прочее. А когда человек берет кого-нибудь в долю, потом ему бывает

жалко поделиться даже половиной добычи. Нет, Принс, здесь что-то кроется, помяни мое слово. Мы еще услышим о нем, если он останется в наших краях.

— А если нет?

— Тогда великодушию моему будет нанесен удар и плакали мои шестьдесят унций.

Уже снова настали холода и с ними долгие ночи. Уже солнце начало свою извечную игру в прятки у снежной линии горизонта на юге, а должник Мэйлмюта Кида все не объявлялся. Но однажды в тусклое январское утро перед хижиной Кида у реки Стюарт остановилось несколько тяжело нагруженных нарт. То был владелец выдровых шкур, а с ним человек той породы, которую боги теперь уже почти разучились создавать. Когда речь заходила об удаче, отваге, о сказочных россыпях, люди всегда вспоминали Акселя Гундерсона. Он незримо присутствовал на ночных стоянках, у костра, когда велись долгие беседы о мужестве, силе и смелости. А если разговор уже не клеился, то, чтобы оживить его, достаточно было назвать имя той, которая делила с Акселем Гундерсоном его судьбу.

Как уже было сказано, при сотворении Акселя Гундерсона боги вспомнили свое былое искусство и создали его по образу и подобию тех, кто рождался, когда мир был еще молод. Семи футов росту, грудь, шея, руки и ноги великана. Лыжи его были длиннее обычных на добрый ярд, иначе им бы не выдержать эти триста фунтов мускулов и костей, облаченных в живописный костюм короля Эльдорадо. Его суровое, словно высеченное из камня лицо с нависшими бровями, тяжелым подбородком и немигающими светло-голубыми глазами говорило о том, что этот человек признает только один закон — закон силы. Заиндевевшие, золотистые, как спелая рожь, волосы, сверкая, словно свет во тьме, спадали на куртку из медвежьего меха. Когда Аксель Гундерсон шагал по узкой тропе впереди собак, в нем было что-то от древних мореплавателей. Он так властно постучал рукояткой бича в дверь Мэйлмюта Кида, как во время набега стучал некогда в запертые ворота замка какой-нибудь скандинавский викинг.

Обнажив свои белые, как у женщины, руки, Принс месил тесто, бросая время от времени взгляды на троих гостей — троих людей, каких не часто встретишь под одной крышей. Чудак, которого Мэйлмют Кид прозвал Улиссом, все еще интересовал молодого инженера; но еще больший интерес возбуждали в нем Аксель Гундерсон и его жена. Путешествие ее утомило, потому что, с тех пор как ее муж наткнулся на золото в этой ледяной пустыне, она спокойно жила в уютном домике и эта жизнь изнежила ее. Теперь

она отдыхала, прислонившись к широкой груди мужа, словно нежный цветок к стене, и лениво отвечала на добродушные шутки Мэйлмюта Кида. Мимолетные взгляды глубоких черных глаз этой женщины странно волновали Принса, ибо Принс был мужчина, здоровый мужчина, и в течение многих месяцев почти не видел женщин. Она была старше его, к тому же индианка. Но он не находил в ней ничего общего с теми скво, которых ему доводилось встречать. Она много путешествовала, побывала, как выяснилось из разговора, и на его родине, знала то, что знали женщины белой расы, и еще многое, чего им не дано знать. Она умела приготовить кушанье из вяленой рыбы и устроить постель в снегу; однако сейчас она дразнила их мучительно подробным описанием изысканных обедов и волновала воспоминаниями о всевозможных блюдах, о которых они уже успели забыть. Она знала повадки лося, медведя, голубого песца и земноводных обитателей северных морей, ей были известны тайны лесов и потоков, и она читала, как открытую книгу, следы, оставленные человеком, птицей или зверем на тонком насте. Однако сейчас Принс заметил, как лукаво сверкнули ее глаза, когда она увидела на стене правила стоянки. Эти правила, составленные неисправимым Беттлзом в те времена, когда молодая кровь играла в его жилах, были замечательны выразительным грубоватым юмором. Перед приездом женщин Принс обычно поворачивал надпись к стене. Но кто бы подумал, что эта индианка... Ну, теперь уж ничего не поделаешь.

Так вот она какая, жена Акселя Гундерсона, женщина, чье имя и слава облетели весь Север наравне с именем и славой ее мужа! За столом Мэйлмют Кид на правах старого друга поддразнивал ее, и Принс, преодолев смущение первого знакомства, тоже присоединился к нему. Но она ловко защищалась в этой словесной перепалке, а муж ее, не отличавшийся остроумием, только одобрительно улыбался. Он гордился ею. Каждый его взгляд, каждое движение красноречиво говорили о том, какое большое место она занимает в его жизни. Владелец выдровых шкур ел молча, всеми забытый в этой оживленной беседе; он встал из-за стола прежде, чем остальные кончили есть, и вышел к собакам. Впрочем, и его спутникам пришлось вскоре надеть рукавицы и парки и последовать за ним.

Уже несколько дней не было снегопада, и нарты легко, как по льду, скользили по накатанной юконской тропе. Улисс вел первую упряжку, со второй шли Принс и жена Акселя Гундерсона, а Мэйлмют Кид и златокудрый гигант вели третью.

— Мы идем наудачу, Кид,— сказал Аксель Гундерсон,— но я думаю, что дело верное. Сам он никогда там не был, но рассказывает много интересного. Показал мне карту, о которой я слышал в Кутнэе несколько лет тому назад. Мне бы очень хотелось

взять тебя с собой. Да он какой-то странный, клянется, что бросит все, если к нам кто-нибудь присоединится. Но дай мне только вернуться, и я выделю тебе лучший участок рядом со своим и, кроме того, возьму тебя в половинную долю, когда начнет строиться город... Нет! Нет! — воскликнул он, не давая Киду перебить себя.— Это мое дело. Ум хорошо, а два лучше. Если все удастся, это будет второй Криппл. Понимаешь, второй Криппл! Ведь там не россыпь, а кварцевая жила. И если взяться за дело как следует, все достанется нам — миллионы и миллионы! Я слышал об этом месте раньше, да и ты тоже. Мы построим город... тысячи рабочих, прекрасные водные пути, пароходные линии... Займемся фрахтовым делом, пустим в верховья легкие суда... Может быть, проложим железную дорогу... Потом построим лесопильные заводы, электростанцию... будет у нас собственный банк, акционерное общество, синдикат... Только держи язык за зубами, пока я не вернусь!

Нарты остановились в том месте, где тропа пересекала устье реки Стюарт. Сплошное море льда тянулось к далекому неведомому востоку. От нарт отвязали лыжи. Аксель Гундерсон попрощался и двинулся вперед первым; его огромные канадские лыжи уходили на пол-ярда в рыхлый снег и уминали его, чтобы собаки не проваливались. Жена Акселя Гундерсона шла за последними нартами, искусно справляясь с неудобными лыжами. Прощальные крики нарушили тишину, собаки взвизгнули, и владелец выдровых шкур вытянул бичом непокорного вожака.

Час спустя санный поезд казался издали черным карандашиком, медленно ползущим по огромному листу белой бумаги.

II

Как-то вечером, несколько недель спустя, Мэйлмют Кид и Принс решали шахматные задачи из какого-то старого журнала. Кид только что вернулся со своего участка на Бонанзе и отдыхал, готовясь к большой охоте на лосей. Принс тоже скитался почти всю зиму и теперь с наслаждением вкушал отдых в хижине.

— Загородись черным конем и дай шах королю... Нет, так не годится. Смотри, следующий ход...

— Зачем двигать пешку на две клетки? Ее можно взять на проходе, а слон вне игры.

— Нет, постой! Тут не защищено, и...

— Нет, защищено... Валяй дальше! Вот увидишь, что получится.

Задача была интересная. В дверь постучались дважды, и толь-

ко тогда Мэйлмют Кид сказал: «Войдите!» Дверь распахнулась. Кто-то, пошатываясь, ввалился в комнату. Принс посмотрел на вошедшего и вскочил на ноги. Ужас, отразившийся на его лице, заставил Мэйлмюта Кида круто повернуться, и он в свою очередь тоже испугался, хотя видывал виды на своем веку. Странное существо, ковыляя, приближалось к ним. Принс стал пятиться до тех пор, пока не нащупал гвоздь на стене, где висел его «смит-и-вессон».

— Господи боже, кто это? — прошептал он.

— Не знаю. Верно, обмороженный и голодный,— ответил Кид, отступая в противоположную сторону.— Берегись! Может быть, он даже сумасшедший,— предостерег он Принса, закрыв дверь.

Странное существо подошло к столу. Яркий свет ударил ему прямо в глаза, и раздалось жуткое хихиканье, по-видимому, от удовольствия. Потом вдруг человек — потому что это все-таки был человек — отпрянул от стола, подтянул свои кожаные штаны и затянул песенку — ту, что поют матросы на корабле, вращая рукоятку ворота и прислушиваясь к гулу моря:

Корабль идет вниз по реке.
Налегай, молодцы, налегай!
Хочешь знать, как зовут капитана?
Налегай, молодцы, налегай!
Джонатан Джонс из Южной Каролины,
Налегай, молодцы...

Песня оборвалась на полуслове, человек со звериным рычанием бросился к полке с припасами и, прежде чем они успели его остановить, впился зубами в кусок сырого сала. Он отчаянно сопротивлялся Мэйлмюту Киду, но силы быстро оставили его, и он выпустил добычу. Друзья усадили его на табурет, он упал лицом на стол. Несколько глотков виски вернули ему силы, и он запустил ложку в сахарницу, которую Мэйлмют Кид поставил перед ним. После того как он пресытился сладким, Принс, содрогаясь, подал ему чашку слабого мясного бульона.

Глаза этого существа светились мрачным безумием; оно то разгоралось, то гасло с каждым глотком. В сущности говоря, в его изможденном лице не осталось ничего человеческого. Оно было обморожено, и виднелись еще не зажившие старые рубцы. Сухая, потемневшая кожа потрескалась и кровоточила. Его меховая одежда была грязная и вся в лохмотьях, мех с одной стороны подпален, а местами даже выжжен,— видно, человек заснул у горящего костра.

Мэйлмют Кид показал на то место, где дубленую кожу срезали полосками,— ужасный знак голода.

— Кто вы такой? — медленно, отчетливо проговорил Кид.

Человек будто не слышал вопроса.

— Откуда вы пришли?

— Корабль плывет вниз по реке,— дрожащим голосом затянул незнакомец.

— Плывет, и черт с ним! — Кид тряхнул человека за плечи, пытаясь заставить его говорить.

Но человек вскрикнул, видимо от боли, и схватился рукой за бок, потом с усилием поднялся, опираясь на стол.

— Она смеялась... и в глазах у нее была ненависть... Она... она не пошла со мной.

Он умолк и зашатался. Мэйлмют Кид крикнул, схватив его за руку:

— Кто? Кто не пошел?

— Она, Унга. Она засмеялась и ударила меня — вот так... А потом...

— Ну?

— А потом...

— Что потом?

— Потом он лежал на снегу тихо-тихо, долго лежал. Он и сейчас там.

Друзья растерянно переглянулись.

— Кто лежал на снегу?

— Она, Унга. Она смотрела на меня, и в глазах у нее была ненависть, а потом...

— Ну? Ну?

— Потом она взяла нож и вот так — раз-два. Она была слабая. Я шел очень медленно. А там много золота, в этом месте очень много золота...

— Где Унга?

Может быть, эта Унга умирала где-нибудь совсем близко, в миле от них. Мэйлмют Кид грубо тряс несчастного за плечи, повторяя без конца:

— Где Унга? Кто такая Унга?

— Она там... в снегу.

— Говори же! — И Кид крепко сжал ему руку.

— Я тоже... остался бы... в снегу... но мне... надо уплатить долг... Надо уплатить... Тяжело нести... надо уплатить... долг...— Оборвав свою бессвязную речь, он сунул руку в карман и вытащил оттуда мешочек из оленьей кожи.— Уплатить долг... пять фунтов золотом... Мэйлмюту Киду... Я...

Он упал головой на стол, и Мэйлмют Кид уже не мог поднять его.

— Это Улисс,— сказал он спокойно, бросив на стол мешок с золотым песком.— Видимо, Акселю Гундерсону и его жене при-

шел конец. Давай положим его на койку, под одеяло. Он индеец, выживет и кое-что нам порасскажет.

Разрезая на нем одежду, они увидели с правой стороны груди две ножевые раны.

III

— Я расскажу вам обо всем, как умею, но вы поймете. Я начну с самого начала и расскажу о себе и о ней, а потом уже о нем.

Человек подвинулся ближе к печке, словно боясь, что огонь, этот дар Прометея, вдруг исчезнет,— так делают те, которые долго были лишены тепла. Мэйлмют Кид оправил светильник и поставил его поближе, чтобы свет падал на лицо рассказчика. Принс уселся на койку и приготовился слушать.

— Меня зовут Наас, я вождь и сын вождя, родился между закатом и восходом солнца на бурном море, в умиаке моего отца. Мужчины всю ночь работали веслами, а женщины выкачивали воду, которая заливала нас. Мы боролись с бурей. Соленые брызги замерзали на груди моей матери, и ее дыхание ушло вместе с приливом. А я, я присоединил свой голос к голосу бури и остался жить. Наше становище было на Акатане...

— Где, где? — спросил Мэйлмют Кид.

— Акатан — это Алеутские острова. Акатан далеко за Чигником, за Кардалаком, за Унимаком. Как я уже сказал, наше становище было на Акатане, который лежит посреди моря на самом краю света. Мы добывали в соленой воде тюленей, рыбу и выдр; и наши хижины жались одна к другой на скалистом берегу, между опушкой леса и желтой отмелью, где лежали наши каяки. Нас было немного, и наш мир был очень мал. На востоке были чужие земли — острова вроде Акатана; и нам казалось, что мир — это острова, и мы привыкли к этой мысли.

Я отличался от людей моего племени. На песчаной отмели валялись гнутые брусья и покоробившиеся доски от большой лодки. Мой народ не умел делать таких лодок. И я помню, что на краю острова, там, где с трех сторон виден океан, стояла сосна — гладкая, прямая и высокая. Такие сосны редко растут в наших местах. Рассказывали, что как-то раз в этом месте высадились два человека и пробыли там много дней. Эти двое приехали из-за моря на той лодке, обломки которой я видел на берегу, они были белые, как вы, и слабые, точно малые дети в голодные дни, когда тюлени уходят и охотники возвращаются домой с пустыми руками. Я слышал этот рассказ от стариков и старух, а они от своих отцов и матерей. Вначале белым чужеземцам не нравились наши обычаи, но потом они привыкли к ним и окрепли, питаясь рыбой и жиром, и

стали свирепыми. Они построили себе по хижине, и они взяли себе в жены лучших женщин нашего племени, а потом у них появились дети. Так родился тот, кто стал отцом моего деда.

Я уже сказал, что был не такой, как другие люди моего племени, ибо в моих жилах текла сильная кровь белого человека, который появился из-за моря. Говорят, что до прихода этих людей у нас были другие законы. Но белые были свирепы и драчливы. Они сражались с нашими мужчинами, пока не осталось ни одного, кто осмелился бы вступить с ними в бой. Потом они стали нашими вождями, уничтожили наши старые законы и дали нам новые, по которым мужчина был сыном отца, а не матери, как было раньше. Они установили, что первенец получает все, что принадлежало его отцу, а младшие братья и сестры должны сами заботиться о себе. И они дали нам много других законов. Показали, как лучше ловить рыбу и охотиться на медведей, которых так много в наших лесах, и научили нас делать большие запасы на случай голода. И это было хорошо.

Но когда эти белые люди стали нашими вождями и не осталось среди нас людей, которые могли бы им противиться, они начали ссориться между собой. И тот, чья кровь течет в моих жилах, пронзил своим копьем тело другого. Дети их продолжали борьбу, а потом дети их детей. Они враждовали между собой и творили черные дела и тогда, когда родился я, и наконец в обеих семьях осталось только по одному человеку, которые могли передать потомству кровь тех, кто был до нас. В моей семье остался я, в другой — девочка Унга, которая жила со своей матерью. Как-то ночью наши отцы не вернулись с рыбной ловли, но потом, во время большого прилива, их тела прибило к берегу, и они, мертвые, лежали на отмели, крепко сцепившись друг с другом.

И люди дивились на эту вражду, а старики говорили, что вражда эта будет продолжаться и тогда, когда и у Унги и у меня родятся дети. Мне говорили об этом, когда я был еще мальчишкой, и под конец я стал видеть в Унге врага, ту, чьи дети будут врагами моих детей. Я думал об этом целыми днями, а став юношей, спросил, почему так должно быть, и мне отвечали: «Мы не знаем, но так было при ваших отцах». И я дивился, почему те, которые придут за нами, обречены продолжать борьбу тех, кто уже ушел, и не видел в этом справедливости. Но люди племени говорили, что так должно быть, а я был тогда еще юношей.

Мне говорили, что я должен спешить, чтобы дети мои были старше детей Унги и успели раньше возмужать. Это было легко, ибо я возглавлял племя и люди уважали меня за подвиги и обычаи моих отцов и за богатство. Любая девушка охотно пришла бы в мою хижину, но я ни одной не находил себе по сердцу. А старики и матери девушек торопили меня, говоря, что многие охот-

ники предлагают большой выкуп матери Унги, и если ее дети вырастут раньше, они убьют моих детей.

Но я все не находил себе девушки по сердцу. И вот как-то вечером я возвращался с рыбной ловли. Солнце стояло низко, лучи его били прямо в глаза. Дул свежий ветер, и каяки неслись по белым волнам. И вдруг мимо меня пронесся каяк Унги, и она взглянула мне в лицо. Ее волосы, черные, как туча, развевались, на щеках блестели брызги. Как я уже сказал, солнце било мне в глаза, и я был еще юношей, но тут я почувствовал, как кровь во мне заговорила, и мне все стало ясно. Унга обогнала мой каяк и опять посмотрела на меня,— так смотреть могла одна Унга,— и я опять почувствовал, как кровь говорит во мне. Люди кричали нам, когда мы проносились мимо неповоротливых умиаков, оставляя их далеко позади. Унга быстро работала веслами, мое сердце было словно поднятый парус, но я не мог ее догнать. Ветер крепчал, море покрылось белой пеной, и, прыгая, словно тюлени по волнам, наши каяки скользили по золотой солнечной дороге.

Наас сгорбился на стуле, словно он опять, работая веслами, гнался по морю в своем каяке. Быть может, там, за печкой, виделся ему несущийся каяк и развевающиеся волосы Унги. Ветер свистел у него в ушах, и в ноздри бил соленый запах моря.

— Она причалила к берегу и, смеясь, побежала по песку к хижине своей матери. И в ту ночь великая мысль посетила меня — мысль, достойная того, кто был вождем народа Акатана. И вот когда взошла луна, я направился к хижине ее матери и посмотрел на дары Яш-Нуша, сложенные у дверей,— дары Яш-Нуша, отважного охотника, который хотел стать отцом детей Унги. Были и другие, которые тоже складывали свои дары грудой у этих дверей, а потом уносили их назад нетронутыми, и каждый старался, чтобы его груда была больше чужой.

Я посмотрел на луну и звезды, засмеялся и пошел к своей хижине, где хранились мои богатства. И много раз я ходил туда и обратно, пока моя груда не стала выше груды Яш-Нуша на целую ладонь. Там была копченая и вяленая рыба, и сорок тюленьих шкур, и двадцать котиковых, причем каждая шкура была перевязана и наполнена жиром, и десять шкур медведей, которых я убил в лесу, когда они выходили весной из своих берлог. И еще там были бусы, и одеяла, и пунцовые ткани, которые я выменял у людей, живущих на востоке, а те в свою очередь выменяли их у людей, живущих еще дальше на востоке. Я посмотрел на дары Яш-Нуша и засмеялся, ибо я был вождем Акатана, и мое богатство было больше богатства всех остальных юношей, и мои отцы совершали подвиги и устанавливали законы, навсегда оставив свои имена в памяти людей.

А когда наступило утро, я спустился на берег и краешком глаза стал наблюдать за хижиной матери Унги. Дары мои стояли нетронутыми. И женщины хитро улыбались и тихонько переговаривались между собой. Я не знал, что подумать: ведь никто прежде не предлагал такого большого выкупа. И в ту ночь я прибавил много вещей, и среди них был каяк из дубленой кожи, который еще не спускали на воду. Но и на следующий день все оставалось нетронутым, на посмешище людям. Мать Унги была хитра, а я разгневался за то, что она позорила меня в глазах моего народа. И в ту ночь я принес к дверям хижины много других даров, и среди них был мой умиак, который один стоил двадцати каяков. Наутро все мои дары исчезли.

И тогда я начал готовиться к свадьбе, и на потлач к нам пришли за угощением и подарками даже люди, жившие далеко на востоке. Унга была старше меня на четыре солнца,— так считаем мы годы. Я в ту пору еще не вышел из юношеских лет, но я был вождем и сыном вождя, и молодость не была помехой.

Но вот в океане показалось парусное судно, и оно приближалось с каждым порывом ветра. В нем, как видно, была течь,— матросы торопливо откачивали воду насосами. На носу стоял человек огромного роста; он смотрел, как измеряли глубину, и отдавал приказания громовым голосом. У него были синие глаза — цвета глубоких вод, и грива, как у льва. Волосы у этого великана были желтые, словно пшеница, растущая на юге, или манильская пенька, из которой матросы плетут канаты.

В последние годы мы не раз видели проплывающие вдали корабли, но этот корабль первый пристал к берегу Акатана. Пир наш был прерван, дети и женщины разбежались по домам, а мы, мужчины, схватились за луки и копья. Нос судна врезался в берег, но чужестранцы, занятые своим делом, не обращали на нас никакого внимания. Как только прилив спал, они накренили шхуну и стали чинить большую пробоину в днище. Тогда женщины опять вышли из хижин, и наше пиршество продолжалось.

С началом прилива мореплаватели отвели свою шхуну на глубокое место и пришли к нам. Они принесли с собой подарки и были дружелюбны. Я усадил их у костра и щедро преподнес им такие же подарки, как и другим гостям, ибо это был день моей свадьбы, а я был первым человеком на Акатане. Человек с львиной гривой тоже пришел к нам. Он был такой высокий и сильный, что, казалось, земля дрожит под тяжестью его шагов. Он долго и пристально смотрел на Унгу, сложив руки на груди — вот так, и не уходил, пока не зашло солнце и не зажглись звезды. Тогда он вернулся на свой корабль. А я взял Унгу за руку и повел ее к себе в дом. И все вокруг пели и смеялись, а женщины подшучивали над нами, как это всегда бывает на свадьбах. Но мы ни на кого

не обращали внимания. Потом все разошлись по домам и оставили нас вдвоем.

Шум голосов еще не успел затихнуть, как в дверях появился вождь мореплавателей. Он принес с собой черные бутылки, мы пили из них и развеселились. Ведь я был еще совсем юношей и все свои годы прожил на краю света. Кровь моя стала как огонь, а сердце — легким, как пена, которая во время прибоя летит на прибрежные скалы. Унга молча сидела в углу на шкурах, и глаза ее были широко раскрыты от страха. Человек с гривой пристально и долго смотрел на нее. Потом пришли его люди с тюками и разложили передо мной богатства, равных которым не было на всем Акатане. Там были ружья, большие и маленькие, порох, патроны и пули, блестящие топоры, стальные ножи и хитроумные орудия и другие необыкновенные вещи, которых я никогда не видел. Когда он показал мне знаками, что все это — мое, я подумал, что это великий человек, если он так щедр. Но он показал мне также, что Унга должна пойти с ним на его корабль. Понимаете? Унга должна пойти с ним на его корабль! Кровь моих отцов закипела во мне, и я бросился на него с копьем. Но дух, заключенный в бутылках, отнял силу у моей руки, и человек с львиной гривой схватил меня за горло — вот так, и ударил головой об стену. И я ослабел, как новорожденный младенец, и ноги мои подкосились. Тогда тот человек потащил Унгу к двери, а она кричала и цеплялась за все, что попадалось ей на пути. Потом он подхватил ее своими могучими руками, и когда она вцепилась ему в волосы, он загоготал, как большой тюлень-самец во время случки.

Я дополз до берега и стал кричать, сзывая своих, но никто не решался выйти. Один Яш-Нуш оказался мужчиной. Но его ударили веслом по голове, и он упал лицом в песок и замер. Чужестранцы под звуки песни подняли паруса, и корабль их понесся, подгоняемый ветром.

Народ говорил, что это к добру, что не будет больше кровной вражды на Акатане. Но я молчал и стал ждать полнолуния. Когда оно наступило, я положил в свой каяк запас рыбы и жира и отплыл на восток. По пути мне попадалось много островов и много людей; и я, который жил на краю света, понял, что мир очень велик. Я объяснялся знаками. Но никто не видел ни шхуны, ни человека с львиной гривой, и все показывали дальше на восток. И я спал где придется, ел непривычную мне пищу, видел странные лица. Многие смеялись надо мной, принимая за сумасшедшего, но иногда старики повертывали лицо мое к свету и благословляли, а глаза молодых женщин увлажнялись, когда я рассказывал о загадочном корабле, об Унге, о людях с моря.

И вот через суровые моря и бушующие волны я добрался до

Уналяшки. Там стояли две шхуны, но ни одна из них не была той, которую я искал. И я поехал дальше на восток, и мир становился все больше, но никто не слышал о том корабле ни на острове Унимаке, ни на Кадиаке, ни на Атоньяке. И вот однажды я прибыл в скалистую страну, где люди рыли большие ямы на склонах гор. Там стояла шхуна, но не та, что я искал, и люди грузили ее камнями, добытыми в горах. Это показалось мне детской забавой,— ведь камни повсюду можно найти; но меня накормили и заставили работать. Когда шхуна глубоко осела в воде, капитан дал мне денег и отпустил. Но я спросил его, куда он держит путь, и он указал на юг. Я объяснил ему знаками, что хочу ехать с ним; сначала он рассмеялся, но потом оставил меня на шхуне, так как у него не хватало матросов. Там я научился говорить на их языке, и тянуть канаты, и брать рифы на парусах во время шквала, и стоять на вахте. И в этом не было ничего удивительного, ибо в жилах моих отцов текла кровь мореплавателей.

Я думал, что теперь, когда я живу среди белых людей, мне будет легко найти того, кого я искал. Когда мы достигли земли и вошли через пролив в порт, я ждал, что вот сейчас увижу много шхун — ну, столько, сколько у меня пальцев на руках. Но их оказалось гораздо больше,— как рыб в стае, и они растянулись на много миль вдоль берега. Я ходил с одного корабля на другой и всюду спрашивал о человеке с львиной гривой, но надо мной смеялись и отвечали мне на языках многих народов. И я узнал, что эти корабли пришли сюда со всех концов света.

Тогда я отправился в город и стал заглядывать в лицо каждому встречному. Но людей в городе было не счесть,— как трески, когда она густо идет вдоль берега. Шум оглушил меня, и я уже ничего не слышал, и голова моя кружилась от сутолоки. Но я продолжал свой путь — через страны, звеневшие песней под горячим солнцем, страны, где на полях созревал богатый урожай, где большие города были полны мужчин, изнеженных, как женщины, лживых и жадных до золота. А тем временем на Акатане мой народ охотился, ловил рыбу и думал, что мир мал, и был счастлив в своем неведении.

Но взгляд, который бросила Унга, возвращаясь с рыбной ловли, преследовал меня, и я знал, что найду ее, когда настанет час. Она шла по тихим переулкам в вечерние сумерки и следовала за мной по тучным полям, влажным от утренней росы, и глаза ее обещали то, что могла дать только Унга.

Я прошел тысячи городов. И люди, жившие в этих городах, то жалели меня и давали пищу, то смеялись, а некоторые встречали бранью. Но я, стиснув зубы, жил по чужим обычаям и видел многое, что было чуждо мне. Часто я, вождь и сын вождя, работал на людей грубых и жестких, как железо,— людей, которые добывали

золото по́том и кровью своих братьев. Но нигде я не получил ответа на свой вопрос о людях, которых искал, до тех пор, пока не вернулся к морю, как морж на лежбище. Это было уже в другом порту, в другой стране, которая лежит на Севере. И там я услышал рассказы о желтоволосом морском бродяге и узнал, что сейчас он в океане охотится за тюленями.

Я сел на охотничье судно вместе с ленивыми сивашами, и мы пустились по пути, не оставляющему следов, на Север, где в то время шла охота на тюленей. Мы провели не один томительный месяц на море и всюду расспрашивали о том, кого я искал, и слышали многое о нем, но самого его не встретили нигде.

Мы отправились дальше на Север, к островам Прибылова, и били тюленей стадами на берегу, и приносили их еще теплыми на борт: и наконец на палубе стало так скользко от жира и крови, что нельзя было удержаться на ногах. За нами погнался корабль, который обстрелял нас из больших пушек. Мы подняли все паруса, так что наша шхуна стала зарываться носом в волны, и быстро скрылись в тумане.

Потом я слышал, что, пока мы в страхе спасались от преследования, желтоволосый морской бродяга высадился на островах Прибылова, пришел в факторию, и в то время, как часть его команды держала служащих взаперти, остальные вытащили из склада десять тысяч сырых шкур и погрузили на свой корабль. Это слухи, но я им верю. В своих скитаниях я никогда не встречал этого человека, но слава о нем и о его жестокости и отваге гремела по северным морям, так что наконец три народа, владевшие землями в тех краях, снарядили корабли в погоню за ним. Я слышал и об Унге, многие капитаны пели ей хвалу, прославляя ее в своих рассказах. Она была всегда с ним. Говорили, что она переняла обычаи его народа и теперь счастлива. Но я знал, что это не так,— я знал, что сердце Унги рвется назад, к ее народу, к песчаным берега Акатана.

Прошло много времени, и я вернулся в гавань, которая служит воротами в океан, и там я узнал, что желтоволосый ушел охотиться на котиков к берегам теплой страны, которая лежит южнее русских морей. И я, ставший к тому времени настоящим моряком, сел на корабль вместе с людьми его крови и понесся следом за ним на охоту за котиками.

Немногие корабли отправлялись туда, но мы напали на большое стадо котиков и всю весну гнали его на север. И когда брюхатые самки повернули в русские воды, наши матросы испугались и стали роптать, потому что стоял сильный туман и шлюпки гибли каждый день. Они отказались работать, и капитану пришлось повернуть судно обратно. Но я знал, что желтоволосый бродяга ничего не боится и будет преследовать стадо вплоть до

русских островов, куда не многие решаются заходить. И вот темной ночью я взял шлюпку, воспользовавшись тем, что вахтенный задремал, и поплыл один в теплую страну. Я держал курс на юг и вскоре очутился в бухте Иеддо, где встретил много непокорных и отважных людей. Девушки Иошивары были маленькие, красивые и быстрые, как ртуть. Но я не мог там оставаться, зная, что Унга несется по бурным волнам к берегам Севера.

В бухте Иеддо собрались люди со всех концов света; у них не было родины, они не поклонялись никаким богам и плавали под японским флагом. И я отправился с ними к богатым берегам Медного острова, где наши трюмы доверху наполнились шкурами. В этом безлюдном море мы никого не встретили, пока не повернули обратно. Однажды сильный ветер рассеял туман, и мы увидели позади нас шхуну, а в ее кильватере дымящиеся трубы русского военного судна. Мы понеслись вперед на всех парусах, а шхуна нагоняла нас, делая три фута, пока мы делали два. И на корме шхуны стоял человек с львиной гривой, и, схватившись за поручни, смеялся, гордясь своей силой. И Унга была с ним — я тотчас же узнал ее,— но когда пушки русских открыли огонь, он послал ее вниз. Как я уже сказал, шхуна делала три фута на два наших, и, когда налетала волна, можно было видеть ее днище. Я с проклятиями ворочал штурвалом, не оглядываясь на грохочущие пушки русских. Мы понимали, что он хочет обогнать наше судно и уйти от погони, пока русские будут возиться с нами. У нас сбили мачты, и мы неслись по ветру, как раненая чайка, а он исчез на горизонте — он и Унга.

Что нам было делать? Свежие шкуры говорили сами за себя. Нас отвели в русскую гавань, а оттуда послали в пустынную страну, где заставили работать в соляных копях. И некоторые умерли там, а некоторые... остались жить.

Наас сбросил одеяло с плеч и обнажил тело, исполосованное страшными рубцами. То были, несомненно, следы кнута. Принс торопливо прикрыл его вновь: зрелище было не из приятных.

— Долго мы томились там. Иногда люди убегали на юг, но их неизменно возвращали назад. И вот однажды ночью мы — те, кто был из бухты Иеддо,— отняли ружья у стражи и двинулись на север. Кругом тянулись непроходимые болота и дремучие леса, и конца им не было видно. Настали холода, земля покрылась снегом, а куда нам идти, никто не знал. Долгие месяцы бродили мы по необъятным лесам — я всего не помню, потому что у нас было мало пищи, и часто мы ложились и ждали смерти. Наконец трое из нас достигли холодного моря. Один из троих был капитан из Иеддо. Он знал, где лежат большие страны, и помнил место, где можно перейти по льду из одной страны в другую. И капитан повел нас туда. Сколько мы шли, не знаю, но это было очень долго,

и под конец нас осталось двое. Мы дошли до места, о котором он говорил, и встретили там пятерых людей из того народа, что живет в этой стране; и у них были собаки и шкуры, а у нас не было ничего. Мы бились с ними на снегу, и ни один не остался в живых, и капитан тоже был убит, а собаки и шкуры достались мне. Тогда я пошел по льду, покрытому трещинами, и меня унесло на льдине, и носило до тех пор, пока западный ветер не прибил ее к берегу. Потом была бухта Головина, Пастилик и священник. Потом — на юг, на юг, в теплые страны, где я уже был раньше.

Но море уже не давало большой добычи, и те, кто отправлялся на охоту за котиками, многим рисковали, а выгоды получали мало. Суда попадались редко, и ни капитаны, ни матросы ничего не могли сказать мне о тех, кого я искал. Тогда я ушел от беспокойного океана и пустился в путь по суше, где растут деревья, стоят дома и горы и ничто не меняет своих мест. Я много где побывал и научился многому, даже читать книги и писать. И это было хорошо, ибо я думал, что Унга тоже, верно, научилась этому и что когда-нибудь, когда придет наш час, мы... вы понимаете?.. Когда придет наш час...

Так я скитался по свету, словно маленькая рыбачья лодка, которая, поднимая парус, оказывается во власти ветров. Но глаза и уши мои были всегда открыты, и я держался поближе к людям, которые много путешествовали, ибо, думалось мне, нельзя забыть тех, кого я искал. Наконец я встретил человека, только что спустившегося с гор. Он принес с собой камни, в которых блестели кусочки золота — большие, как горошины. Он слышал о них, он встречал их, он знал их. Они богаты, рассказывал этот человек, и живут там, где добывают золото.

Это была далекая дикая страна, но я добрался и туда и увидел лагерь в горах, где люди работали день и ночь, не видя солнца. Но час мой еще не настал. Я прислушивался к тому, что говорят люди. Он уехал — они оба уехали в Англию, говорили кругом, и будут искать там богатых людей, чтобы образовать компанию. Я видел дом, в котором они жили; он был похож на те дворцы, какие бывают в Старом Свете. Ночью я забрался в дом через окно: мне хотелось посмотреть, что тот человек дал ей. Я бродил из комнаты в комнату и думал, что так, должно быть, живут только короли и королевы,— так хорошо там было! И все говорили, что он обращался с ней, как с королевой, хотя и недоумевали, откуда эта женщина родом,— в ней всегда чувствовалась иная кровь, и она была не похожа на женщин Акатана. Да, она была королева. Но я был вождь и сын вождя, и я дал за нее неслыханный выкуп мехами, лодками и бусами.

Но зачем так много слов? Я стал моряком, и мне были ведомы пути кораблей. И я отправился в Англию, а потом в другие

страны. Мне часто приходилось слышать рассказы о тех, кого я искал, и читать о них в газетах, но догнать их я не мог, потому что они были богаты и быстро переезжали с места на место, а я был беден. Но вот их настигла беда, и богатство рассеялось, как дым. Сначала газеты много писали об этом, а потом перестали; и я понял, что они вернулись обратно, туда, где много золота в земле.

Обеднев, они скрылись куда-то, и я скитался из поселка в поселок и наконец добрался до Кутнэя, где напал на их след. Они были здесь и ушли, но куда? Мне называли то одно место, то другое, а некоторые говорили, что они отправились на Юкон. И я побывал во всех этих местах и под конец почувствовал великую усталость оттого, что мир так велик.

В Кутнэе мне пришлось долго идти по тяжелой тропе, пришлось и голодать, и мой проводник — метис с Северо-Запада — не вынес голода. Этот метис незадолго до того побывал на Юконе, пробравшись туда никому неведомым путем через горы, и теперь, почувствовав, что час его близок, он дал мне карту и рассказал о некоем тайном месте, поклявшись своими богами, что там много золота.

В то время люди ринулись на Север. Я был беден. Я нанялся погонщиком собак. Остальное вы знаете. Я встретил их в Доусоне. Она не узнала меня. Ведь там, на Акатане, я был еще юношей, а она с тех пор прожила большую жизнь! Где ей было вспомнить того, кто заплатил за нее неслыханный выкуп.

Дальше? Дальше ты помог мне откупиться от службы. Я решил сделать все по-своему. Долго пришлось мне ждать, но теперь, когда он был у меня в руках, я не спешил. Говорю вам, я хотел сделать все по-своему, ибо я вспомнил всю свою жизнь, все, что видел и выстрадал, вспомнил холод и голод в бесконечных лесах у русских морей.

Как вы знаете, я повел Гундерсона и Унгу на восток, куда многие уходили и откуда не многие возвращались. Я повел их туда, где вперемежку с костями, осыпанное проклятиями, лежит золото, которое людям не суждено было унести. Путь был долгий, и идти по неутоптанной тропе было нелегко. Собак у нас было много, и ели они много. Нарты не могли поднять всего, что нам требовалось до наступления весны. А вернуться назад мы должны были прежде, чем вскроется река. По дороге мы устраивали хранилища и оставляли там часть припасов, чтобы уменьшить поклажу и не умереть с голода на обратном пути. В Мак-Квещеие жили трое людей, и одно хранилище мы устроили неподалеку от их жилья, другое — в Мэйо, где была разбита стоянка охотников из племени пелли, пришедших сюда с юга через горный перевал. Потом мы уже не встречали людей; перед нашими глазами

была только спящая река, недвижный лес и Белое Безмолвие Севера.

Как я уже сказал, путь наш был долгий и дорога трудная. Случалось, что, прокладывая тропу для собак, мы за день делали не больше восьми — десяти миль, а ночью засыпали как убитые. И ни разу спутникам моим не пришло в голову, что я Наас, вождь Акатана, решивший отомстить за обиду.

Теперь мы оставляли уже немного запасов, а ночью я возвращался назад по укатанной тропе и прятал их в другое место, так, чтобы можно было подумать, будто хранилища разорили росомахи. К тому же на реке много порогов, и бурный поток подмывает снизу лед. И вот на одном таком месте у нас провалилась упряжка, которую я вел, но он и Унга решили, что это несчастный случай. А на провалившихся нартах было много припасов, и везли их самые сильные собаки.

Но он смеялся, потому что жизнь била в нем через край. Уцелевшим собакам мы давали теперь очень мало пищи, а затем стали выпрягать их одну за другой и бросать на съедение остальным.

— Возвращаться будем налегке, без нарт и собак,— говорил он,— и станем делать переходы от хранилища к хранилищу.

И это было правильно, ибо провизии у нас осталось мало; и последняя собака издохла в ту ночь, когда мы добрались до места, где были кости и проклятое людьми золото.

Чтобы попасть в то место, находящееся среди высоких гор,— карта оказалась верной,— нам пришлось вырубать ступени в обледенелых скалах. Мы думали, что за горами будет спуск в долину, но кругом расстилалось беспредельное заснеженное плоскогорье, а над ним поднимались к звездам белые скалистые вершины. А посреди плоскогорья был провал, казалось, до самого сердца земли. Мы стояли на краю пропасти и смотрели, где можно спуститься вниз. С одной стороны — только с одной стороны — скала уходила вниз не отвесно, а с наклоном, точно палуба, накренившаяся на волне. Я не знаю, как это получилось, но это было так.

— Это преддверие ада,— сказал он.— Сойдем вниз.

И мы спустились.

На дне провала стояла хижина, построенная кем-то из бревен, сброшенных сверху. Это была очень старая хижина; люди умирали здесь в одиночестве, и мы прочли их последние проклятия, в разное время нацарапанные на кусках бересты. Один умер от цинги; у другого компаньон отнял последние припасы и порох и скрылся; третьего задрал медведь; четвертый пробовал охотиться и все же умер от голода.

Так кончали все, они не могли расстаться с золотом и умирали. И пол хижины был усыпан не нужным никому золотом, как в сказке!

Но у человека, которого я завел так далеко, была бесстрашная душа и трезвая голова.

— Нам нечего есть,— сказал он.— Мы только посмотрим на это золото, увидим, откуда оно и много ли его здесь. И сейчас же уйдем отсюда, пока оно не ослепило нас и не лишило рассудка. А потом мы вернемся, захватив с собою побольше припасов, и все золото будет нашим.

И мы осмотрели мощную золотоносную жилу, которая прорезывала скалу сверху донизу, измерили ее, вбили заявочные столбы и сделали зарубки на деревьях в знак наших прав. Ноги у нас подгибались от голода, к горлу подступила тошнота, сердце колотилось, но мы все-таки вскарабкались по громадной скале наверх и двинулись в обратный путь.

Последнюю часть пути нам пришлось нести Унгу. Мы сами то и дело падали, но в конце концов добрались до первого хранилища. Увы — припасов там не было. Я так ловко сделал, что он подумал, будто всему виной росомахи, и обрушился на них и на своих богов с проклятиями. Но Унга не теряла мужества, она улыбалась, взяв его за руку, и я должен был отвернуться, чтобы овладеть собой.

— Мы проведем ночь у костра,— сказала она,— и подкрепимся мокасинами.

И мы отрезали по нескольку полос от мокасин и варили эти полосы чуть ли не всю ночь,— иначе их было бы не разжевать. Утром мы стали думать, как быть дальше. До следующего хранилища было пять дней пути, но у нас не хватило бы сил добраться до него. Нужно было найти дичь.

— Мы пойдем вперед и будем охотиться,— сказал он.

— Да,— повторил я,— мы пойдем вперед и будем охотиться.

И он приказал Унге остаться у костра, чтобы не ослабеть совсем. А мы пошли. Он на поиски лося, а я туда, где у меня была спрятана провизия. Но съел я немного, боясь, как бы они не заметили, что у меня прибавилось сил. Возвращаясь ночью к костру, он то и дело падал. Я тоже притворялся, что очень ослабел, и шел, спотыкаясь, на своих лыжах, словно каждый мой шаг был последним. У костра мы опять подкрепились мокасинами.

Он был выносливый человек. Дух его до конца поддерживал тело. Он не жаловался и думал только об Унге. На второй день я пошел за ним, чтобы не пропустить его последней минуты. Он часто ложился отдыхать. В ту ночь он был близок к смерти. Но наутро он опять пошел дальше, бормоча проклятия. Он был как пьяный, и несколько раз мне казалось, что он не сможет идти. Но он был сильным из сильных, и душа его была душой великана, ибо она поддерживала его тело весь день. Он застрелил двух белых куропаток, но не стал их есть. Куропаток можно было бы съесть

сырыми, не разводя костра, и они сохранили бы ему жизнь. Но его мысли были с Унгой, и он пошел обратно к стоянке. Вернее, не пошел, а пополз на четвереньках по снегу. Я приблизился к нему и прочел смерть в его глазах. Он мог бы еще спастись, съев куропаток. Но он отшвырнул ружье и понес птиц в зубах, как собака. Я пошел рядом с ним. И в минуты отдыха он смотрел на меня и удивлялся, что я так легко иду. Я понимал это, хотя он не мог выговорить ни слова,— его губы шевелились беззвучно. Как я уже сказал, он был сильный человек, и в сердце моем проснулась жалость. Но я вспомнил всю свою жизнь, вспомнил голод и холод в бесконечных лесах у русских морей. Кроме того, Унга была моя: я заплатил за нее неслыханный выкуп шкурами, лодками и бусами.

Так мы пробирались через белый лес, и безмолвие угнетало нас, как тяжелый морской туман. И вокруг носились призраки прошлого. Мне виделся желтый берег Акатана, каяки, возвращающиеся домой с рыбной ловли, и хижины на опушке леса. Я видел людей, которые дали законы моему народу и были его вождями,— людей, чья кровь текла в моих жилах и в жилах жены моей, Унги. И Яш-Нуш шел рядом со мной, в волосах у него был мокрый песок, и он все еще не выпускал из рук сломанного боевого копья. Я знал, что решительная минута близка, и словно видел обещание в глазах Унги.

Как я сказал, мы пробирались через лес, и наконец дым костра защекотал нам ноздри. Тогда я наклонился над Гундерсоном и вырвал куропаток у него из зубов. Он повернулся на бок, глядя на меня удивленными глазами, и рука его медленно потянулась к ножу, который висел у него на поясе. Но я отнял нож, смеясь ему прямо в лицо. И даже тогда он ничего не понял. А я показал ему, как я пил из черных бутылок, показал, как я складывал груду даров на снегу, и все, что случилось в ночь моей свадьбы. Я не произнес ни слова, но он все понял и не испугался. Губы его насмешливо улыбались, а в глазах была холодная злоба, у него, казалось, прибавилось сил, когда он узнал меня. Идти нам оставалось недолго, но снег был глубокий, и он едва тащился. Раз он так долго лежал без движения, что я перевернул его и посмотрел ему в глаза. Жизнь то угасала в них, то снова возвращалась. Но когда я отпустил его, он снова пополз. Так мы добрались до костра. Унга бросилась к нему. Его губы беззвучно зашевелились. Он показывал на меня. Потом вытянулся на снегу... Он и сейчас лежит там.

Я не сказал ни слова до тех пор, пока не изжарил куропаток. А потом заговорил с Унгой на ее языке, которого она не слышала много лет. Унга выпрямилась — вот так, глядя на меня широко открытыми глазами,— и спросила, кто я и откуда знаю этот язык.

— Я Наас,— сказал я.

— Наас? — крикнула она.— Это ты? — и подползла ко мне ближе.

— Да,— ответил я.— Я Наас, вождь Акатана, последний из моего рода, как и ты — последняя из своего рода.

И она засмеялась. Да не услышать мне еще раз такого смеха! Душа моя сжалась от ужаса, и я сидел среди Белого Безмолвия, наедине со смертью и с этой женщиной, которая смеялась надо мной.

— Успокойся,— сказал я, думая, что она бредит.— Подкрепись, и пойдем. Путь до Акатана долог.

Но Унга спрятала лицо в его желтую гриву и смеялась так, что, казалось, еще немного, и само небо обрушится на нас. Я думал, что она обрадуется мне и сразу вернется памятью к прежним временам, но таким смехом никто не выражает свою радость.

— Идем! — крикнул я, крепко беря ее за руку.— Нам предстоит долгий путь во мраке. Надо торопиться!

— Куда? — спросила она, приподнявшись, и перестала смеяться.

— На Акатан,— ответил я, надеясь, что при этих словах лицо ее сразу просветлеет.

Но оно стало похожим на его лицо; та же насмешливая улыбка, та же холодная злоба в глазах.

— Да,— сказала она,— мы возьмемся за руки и пойдем на Акатан. Ты и я. И мы будем жить в грязных хижинах, питаться рыбой и тюленьим жиром, и наплодим себе подобных, и будем гордиться ими всю жизнь. Мы забудем о большом мире. Мы будем счастливы, очень счастливы! Как это хорошо! Идем! Надо спешить. Вернемся на Акатан.

И она провела рукой по его желтым волосам и засмеялась недобрым смехом. И обещания не было в ее глазах.

Я сидел молча и дивился нраву женщин. Я вспомнил, как он тащил ее в ночь нашей свадьбы и как она рвала ему волосы — волосы, от которых теперь не могла отнять руки. Потом я вспомнил выкуп и долгие годы ожидания. И я сделал так же, как сделал тогда он, поднял ее и понес. Как и в ту ночь, она отбивалась, словно кошка, у которой отнимают котят. Я обошел костер и отпустил ее. И она стала слушать меня. Я рассказал ей обо всем, что случилось со мной в чужих морях и краях, о моих неустанных поисках, о голодных годах и о том обещании, которое она дала мне первому. Да, я рассказал обо всем, даже о том, что случилось между мной и им в этот день. И, рассказывая, я видел, как в ее глазах росло обещание, манящее, как утренняя заря. И я прочел в них жалость, женскую нежность, любовь, сердце и душу Унги. И я снова стал юношей, ибо взгляд ее стал взглядом той Унги, которая смеялась и бежала вдоль берега к материнскому дому.

Исчезли мучительная усталость, и голод, и томительное ожидание. Час настал. Я почувствовал, что Унга зовет меня склонить голову ей на грудь и забыть все. Она раскрыла мне объятия, и я бросился к ней. Но вдруг ненависть зажглась у нее в глазах, и рука потянулась к моему поясу. И она ударила меня ножом, вот так — раз, два.

— Собака! — крикнула Унга, толкая меня в снег.— Собака! — Ее смех звенел в тишине, когда она ползла к мертвецу.

Как я уже сказал, Унга два раза ударила меня ножом, но рука ее ослабела от голода, а мне не суждено было умереть. И все же я хотел остаться там и закрыть глаза в последнем долгом сне рядом с теми, чьи жизни сплелись с моей и кто вел меня по неведомым тропам. Но надо было вернуть долг, и я не мог думать о покое.

А путь был долгий, холод свирепый, и пищи у меня было мало. Охотники из племени пелли, не напав на лосей, наткнулись на мои запасы. То же самое сделали трое белых в Мак-Квещене, но они лежали бездыханные в своей хижине, когда я проходил мимо. Что было потом, как я добрался сюда, нашел пищу, тепло — не помню, ничего не помню.

Замолчав, он жадно потянулся к печке. Светильник отбрасывал на стену страшные блуждающие тени.

— Но как же Унга?! — воскликнул Принс, потрясенный рассказом.

— Унга? Она не стала есть куропатку. Она лежала, обняв мертвеца за шею и зарывшись лицом ему в волосы. Я придвинул горячие сучья ближе, чтобы ей было теплее, но она отползла. Я развел еще один костер, с другой стороны, но и это ничему не помогло,— ведь она отказывалась от еды. И вот так они и лежат там на снегу.

— А ты? — спросил Мэйлмют Кид.

— Я не знаю, что мне делать. Акатан мал, я не хочу возвращаться туда и жить на краю света. Да и зачем мне жить? Пойду к капитану Констэнтайну, и он наденет на меня наручники. А потом мне набросят веревку на шею — вот так, и я крепко усну, крепко... А впрочем... не знаю...

— Послушай, Кид! — возмутился Принс.— Ведь это же убийство!

— Молчи! — строго сказал Мэйлмют Кид.— Есть вещи выше нашего понимания. Как знать, кто прав, кто виноват? Не нам судить.

Наас подвинулся к огню еще ближе. Наступила глубокая тишина, и в этой тишине перед мысленным взором каждого из них пестрой чередой проносились далекие видения.

1900

Волчья морда с грустными глазами, вся в инее, раздвинув края палатки, просунулась внутрь.

— Эй, Сиваш! Пошел вон, дьявольское отродье! — закричали в один голос обитатели палатки. Беттлз стукнул собаку по морде оловянной тарелкой, и голова мгновенно исчезла. Луи Савой закрепил брезентовое полотнище, прикрывавшее вход, и, опрокинув ногой горячую сковороду, стал греть над ней руки.

Стоял лютый мороз. Двое суток тому назад спиртовой термометр, показав шестьдесят восемь градусов ниже нуля, лопнул, а становилось все холоднее и холоднее; трудно было сказать, сколько еще продержатся такие сильные морозы. Врагу не пожелаешь в этакую стужу находиться далеко от печки и вдыхать ледяной воздух! Бывают смельчаки, которые отваживаются выходить при такой температуре, но это обычно кончается простудой легких; человека начинает душить сухой, раздражающий кашель, который особенно усиливается, когда поблизости жарят сало. А там, весной или летом, взорвав мерзлый грунт, вырывают где-нибудь могилу. В нее опускают труп и, прикрыв его сверху мхом, оставляют так,— свято веря, что в день Страшного суда сохраненный морозом покойник восстанет из мертвых цел и невредим. Скептикам, которые не верят в физическое воскресение в этот великий день, трудно рекомендовать более подходящее место для смерти, чем Клондайк. Но это вовсе не означает, что в Клондайке так же хорошо и жить.

В палатке было не так холодно, как снаружи, но тоже не слишком тепло. Единственным предметом, который мог здесь сойти за мебель, была печка, и люди откровенно льнули к ней. Часть земли была устлана сосновыми ветками; под ними был снег, а поверх них лежали меховые одеяла. В другой половине палатки, где снег был утоптан мокасинами, в беспорядке валялись котелки, сковороды и прочая утварь полярного лагеря. В раскаленной докрасна печке громко трещали дрова, но уже в трех шагах от нее лежала глыба льда, такого крепкого, словно его только что вырубили на речке. От притока холодного воздуха все тепло палатки поднималось вверх. Над самой печкой, там, где труба выходила наружу через отверстие в потолке, белел кружок сухого брезента, дальше был круг сырого брезента, от которого шел пар, а за ним — круг мокрого брезента, с которого капала вода; и наконец, остальная часть потолка палатки и стены ее были покрыты белым, сухим, толщиною в полдюйма слоем кристаллов инея.

— О-о-о! О-ох! О-ох! — застонал во сне юноша, лежавший под меховыми одеялами. Его худое, изможденное лицо обросло щетиной. Не просыпаясь, он стонал от боли все громче и мучительнее. Его тело, наполовину высунувшееся из-под одеял, судо-

рожно вздрагивало и сжималось, как будто оно лежало на ложе из крапивы.

— Ну-ка, переверните парня! — приказал Беттлз.— У него опять судороги.

И вот шестеро товарищей с готовностью подхватили больного и принялись безжалостно вертеть его во все стороны, мять и колотить, пока не прошел припадок.

— Черт бы побрал эту снежную тропу! — пробормотал юноша, сбрасывая с себя одеяла и садясь на постели.— Я рыскал по всей стране три зимы подряд — мог бы уж, кажется, закалиться! А вот попал в этот проклятый край и оказался неприспособленным неженкой, точно какой-то женоподобный афинянин, лишенный и крупицы мужественности!

Он подтянулся поближе к огню и стал свертывать сигарету.

— Не подумайте, что я люблю скулить! Нет, я все могу вынести! Но мне просто стыдно за себя, вот и все... Прошел каких-нибудь несчастных тридцать миль — и чувствую себя таким разбитым и больным, словно рахитичный молокосос после пятимильной прогулки за город! Противно!.. Спички у кого-нибудь есть?

— Не горячись, мальчик! — Беттлз протянул больному вместо спичек горящую головешку и продолжал отеческим тоном: — Тебе это простительно: все проходят через это. Устал, измучен! А разве я не помню свое первое путешествие? Не разогнуться? Еще бы, и со мной бывало так, что, когда напьешься из проруби, потом целых десять минут маешься, пока на ноги встанешь. Все суставы трещат, все кости болят так, что с ума можно сойти. А судороги? Бывало, так скрючит, что весь лагерь полдня бьется, чтобы меня распрямить! Хоть ты и новичок, а молодец, с характером парень! Через какой-нибудь год ты всех нас, стариков, за пояс заткнешь. Главное — сложение у тебя подходящее: нет лишнего жира, из-за которого многие здоровенные парни отправлялись к праотцам раньше времени.

— Жира?

— Да, да. У кого на костях много жира и мяса, тот тяжелее переносит дорогу.

— Вот уж не знал!

— Не знал? Это факт, можешь не сомневаться. Этакий великан может сделать что-нибудь только с наскоку, а выносливости у него никакой. Самый непрочный народ! Только у жилистых, худощавых людей крепкая хватка: во что вцепятся, того у них не вырвешь, как у пса кость! Нет, нет, толстяки для этого не годятся.

— Верно ты говоришь,— вмешался в разговор Луи Савой.— Я знал одного здорового как буйвол детину. Так вот, когда столбили участки у Северного ручья, он туда отправился с Лоном Мак-Фэйном. Помните Лона? Маленький рыжий ирландец, всегда

ухмылялся. Ну, шли они, шли — весь день и всю ночь шли. Толстяк выбился из сил и начал ложиться на снег. Щупленький ирландец толкает его, тормошит, а тот ревет как ребенок. И так всю дорогу Лон тащил его и подталкивал, пока не дотащил до моей стоянки. Три дня он провалялся у меня под одеялом. Я никогда не думал, что мужчина может оказаться такой бабой. Вот что делает с человеком жирок!

— А как же Аксель Гундерсон? — спросил Принс. На молодого инженера великан-скандинав и его трагическая смерть произвели сильное впечатление.— Он лежит где-то там...— И Принс неопределенно повел рукой в сторону таинственного Востока.

— Крупный был человек, самый крупный из всех, кто когда-либо приходил сюда с берегов Соленой Воды и охотился на лосей,— согласился Беттлз.— Но он — то исключение, которое подтверждает правило. А помнишь его жену, Унгу? Одни мускулы, ни унции лишнего жира! А мужества у нее было еще больше, чем у него. И эта женщина все вынесла и заботилась только о нем. Не было ничего на свете, что бы она не сделала для него.

— Ну что ж, она любила его,— возразил инженер.

— Да разве в этом дело! Она...

— Послушайте, братья,— вмешался Ситка Чарли, сидевший на ящике со съестными припасами.— Вы тут толковали о лишнем жире, который делает слабыми больших, здоровых мужчин, о мужестве женщин и о любви; и ваши речи были прекрасны. И вот я вспомнил одного мужчину и одну женщину, которых я знавал в те времена, когда этот край был молод, а костры, разведенные людьми,— редки, как звезды на небе. Мужчина был большой и здоровый, но должно быть, ему мешало то, что ты назвал лишним жиром. Женщина была маленькая, но сердце у нее было большое, больше бычьего сердца мужчины. И у нее было много мужества. Мы шли к Соленой Воде, дорога была трудная, а нашими спутниками были жестокий мороз, глубокие снега и мучительный голод. Но эта женщина любила своего мужа могучей любовью — только так можно назвать такую любовь.

Ситка замолчал. Отколов топором несколько кусков льда от глыбы, лежавшей рядом, он бросил их в стоявший на печке лоток для промывки золота,— так они получали питьевую воду. Мужчины придвинулись ближе, а больной юноша тщетно пытался сесть поудобнее, чтобы не ныло сведенное судорогами тело.

— Братья,— продолжал Ситка,— в моих жилах течет красная кровь сивашей, но сердце у меня белое. Первое — вина моих отцов, а второе — заслуга моих друзей. Когда я был еще мальчиком, печальная истина открылась мне. Я узнал, что вся земля принадлежит вам, что сиваши не в силах бороться с белыми и должны погибнуть в снегах, как гибнут медведи и олени. Да, и

вот я пришел к теплу, сел среди вас, у вашего очага, и стал одним из вас. За свою жизнь я видел многое. Я узнал странные вещи и много дорог исходил с людьми разных племен. Я стал судить о людях и о делах их так, как вы, и думать по-вашему. Поэтому, если я говорю сурово о каком-нибудь белом, я знаю — вы не обидитесь на меня. И когда я хвалю кого-нибудь из племени моих отцов, вы не скажете: «Ситка Чарли — сиваш, его глаза видят криво, а язык нечестен». Не так ли?

Слушатели глухим бормотаньем подтвердили, что они согласны с ним.

— Имя этой женщины было Пассук. Я честно купил ее у ее племени, которое жило на побережье, у одного из заливов с соленой морской водой. Сердце мое не лежало к этой женщине, и моим глазам не было приятно глядеть на нее; ее взгляд всегда был опущен, и она казалась робкой и боязливой, как всякая девушка, брошенная в объятья чужого человека, которого она никогда до того не видела. Я уже сказал, что ей не было места в моем сердце, но я собирался в далекий путь, и мне нужен был кто-нибудь, чтобы кормить моих собак и помогать мне грести во время долгих поездок по реке. Ведь одно одеяло может прикрыть и двоих — и я выбрал Пассук.

Говорил ли я вам, что в то время я состоял на службе у правительства? Поэтому меня взяли на военный корабль вместе с нартами, собаками и запасом провизии; со мной была и Пассук. Мы поплыли на север, к зимним льдам Берингова моря, и там нас высадили — меня, Пассук и собак. Как слуга правительства, я получил деньги, карты мест, на которые до тех пор не ступала нога человеческая, и письма. Письма были запечатаны и хорошо защищены от непогоды,— я должен был доставить их на китобойные суда, которые стояли, затертые льдами, около великой Маккензи. Другой такой большой реки нет на свете, если не считать наш родной Юкон, мать всех рек.

Но это все не так важно, потому что то, о чем я хочу рассказать, не имеет отношения ни к китобойным судам, ни к суровой зиме, которую я провел на берегах Маккензи. Весной, когда дни стали длиннее, после оттепели, мы с Пассук отправились на юг, к берегам Юкона. Это было тяжелое, утомительное путешествие, но солнце указывало нам путь. Край этот, как я уже сказал, был тогда еще совсем пустынный, и мы плыли вверх по течению, работая то багром, то веслами, пока не добрались до Сороковой Мили. Приятно было снова увидеть белые лица, и мы высадились на берег.

Та зима была очень сурова. Наступили холод и мрак, а вместе с ними пришел и голод. Агент Компании выдал всего по сорок фунтов муки и двадцать фунтов бекона на человека. Бобов не

было вовсе. Собаки постоянно выли, а у людей подводило животы, и лица их прорезали глубокие морщины. Сильные слабели, слабые умирали. В поселке свирепствовала цинга.

Однажды вечером мы пришли в магазин и при виде пустых полок еще сильнее почувствовали пустоту в желудке; мы тихо беседовали при свете очага, потому что свечи были припрятаны для тех, кто дотянет до весны. И вот решено было, что надо послать кого-нибудь к Соленой Воде, чтобы сообщить о том, как мы тут бедствуем. При этом все головы повернулись в мою сторону, а глаза людей смотрели на меня с надеждой: все знали, что я опытный путешественник.

— До миссии Хейнса на берегу моря семьсот миль,— сказал я,— и весь путь нужно прокладывать на лыжах. Дайте мне ваших лучших собак и запасы лучшей пищи, и я пойду. Со мной пойдет Пассук.

Люди согласились. Но тут встал Длинный Джефф, здоровый, крепкий янки. Речь его была хвастлива. Он сказал, что и он тоже отличный ходок, что он словно создан для ходьбы на лыжах и вскормлен молоком буйволицы. Он сказал, что пойдет со мною, и если я погибну в дороге, то он дойдет до миссии и исполнит поручение. Я тогда был молод и плохо знал янки. Откуда я мог знать, что хвастливые речи — первый признак слабости, а те, кто способен на большие дела, держат язык за зубами. И вот мы взяли лучших собак и запас еды и отправились в путь втроем: Пассук, Длинный Джефф и я.

Всем вам приходилось прокладывать тропу по снежной целине, сдвигать с места примерзшие нарты и пробираться через ледяные заторы, поэтому я не буду много рассказывать вам о трудностях пути. Скажу только, что иногда мы проходили десять миль в день, а иногда — тридцать, но чаще все-таки десять. Лучшая еда, которую нам дали с собой, была не так уж хороша, и, кроме того, нам пришлось экономить ее с первого же дня пути. А лучшие собаки едва держались на ногах, и мы с большим трудом заставляли их тянуть нарты. Когда мы достигли Белой реки, у нас из трех упряжек осталось уже только две,— а ведь мы прошли всего двести миль! Правда, нам не пришлось ничего потерять: издохшие собаки попали в желудки тех, которые еще были живы.

Ни человеческого голоса, ни струйки дыма нигде — до тех пор, пока мы не пришли в Пелли. Там я рассчитывал пополнить наши запасы, а также оставить Длинного Джеффа, который ослабел в пути и все время хныкал. Но склады фактории в Пелли были почти пусты; агент Компании сильно кашлял и задыхался, глаза его блестели от лихорадки. Он показал нам пустую хижину миссионера и его могилу, заваленную камнями, чтобы собаки не могли вырыть его труп. Мы встретили там группу индейцев, но сре-

ди них уже не было ни детей, ни стариков — и нам стало ясно, что немногие из оставшихся доживут до весны.

Итак, мы отправились дальше с пустым желудком и тяжелым сердцем. До миссии Хейнса оставалось еще идти пятьсот миль среди вечных снегов и безмолвия. Было самое темное время года, и даже в полдень солнце не озаряло южного горизонта. Но ледяных заторов стало меньше, идти было легче. Я непрестанно подгонял собак, и мы шли почти без передышки. Как я и предполагал, нам все время приходилось идти на лыжах. А от лыж сильно болели ноги, и на них появились незаживающие трещины и раны. С каждым днем эти болячки причиняли нам все больше мучений. И вот однажды утром, когда мы надевали лыжи, Длинный Джефф заплакал как ребенок. Я послал его прокладывать дорогу для меньших нарт, но он, чтоб было полегче, снял лыжи. Из-за этого дорога не утаптывалась, его мокасины делали большие углубления в снегу, собаки проваливались в них. Собаки были так худы, что кости выпирали под шкурой, им было очень тяжело двигаться. Я сурово выбранил Джеффа, и он обещал не снимать лыж, но не сдержал слова. Тогда я ударил его бичом, и уже после этого собаки больше не проваливались в снег. Джефф вел себя как ребенок,— мучения в пути и то, что ты назвал лишним жиром, сделали его ребенком.

Но Пассук! В то время как мужчина лежал у костра и плакал, она стряпала, по утрам помогала мне запрягать собак, а вечером — распрягать их. Это Пассук спасала наших собак. Она всегда шагала на лыжах впереди, утаптывая им дорогу. Пассук... что вам сказать! Я тогда принимал все это как должное и не задумывался ни над чем. Голова моя была занята другим, и к тому же я был молод и мало знал женщин. И только позднее, вспоминая это время, я понял, какая у меня была жена.

Джефф теперь был только обузой. У собак и так не хватало сил, а он украдкой ложился на нарты, когда оказывался позади. Пассук сама взялась вести упряжку, и Джеффу совсем было нечего делать. Каждое утро я честно выдавал ему его порцию еды, и он один уходил вперед, а мы собирали вещи, грузили нарты и запрягали собак. В полдень, когда солнце дразнило нас, мы его догоняли — он брел плача, и слезы замерзали у него на щеках — и шли дальше. Ночью мы делали привал, откладывали порцию еды для Джеффа и расстилали его меховое одеяло. Мы разводили большой костер, чтобы ему легче заметить нас. И через несколько часов он приходил хромая, съедал с жалобными причитаниями свою порцию и засыпал. Так повторялось каждый день. Этот человек не был болен — он просто устал, измучился и ослабел от голода. Но ведь Пассук и я тоже устали, измучились и ослабели от голода, а между тем выполняли всю работу,— он же не работал.

Но все дело, видно, было в том лишнем жире, о котором говорил брат Беттлз; а ведь мы всегда честно оставляли ему его порцию еды.

Раз мы встретили на дороге двух призраков, странствовавших среди Белого Безмолвия,— мужчину и мальчика. Они были белые. На озере Ла-Барж начался ледоход, и все их имущество утонуло, только на плечах у каждого было по одеялу. Ночью они разводили костер и лежали подле него до утра. У них еще осталось немного муки, и они смешивали ее с теплой водой и пили. Мужчина показал мне восемь чашек муки — все, что у них осталось, а до Пелли, где уже тоже начался голод, было еще двести миль. Путники рассказали нам, что с ними шел индеец и они честно делились с ним, но он не мог поспеть за ними. Я не поверил тому, что они честно делились с индейцем,— почему же он тогда от них отстал?

Я не мог дать им ничего. Они пытались украсть у нас самую жирную собаку (которая тоже была очень худа), но я пригрозил им револьвером и велел убираться. И они ушли, эти два призрака, качаясь как пьяные,— ушли в Белое Безмолвие, по направлению к Пелли.

Теперь у меня оставалось только три собаки и одни нарты; и собаки были — кожа да кости. Когда мало дров, огонь горит плохо и в хижине холодно,— так было и с нами. Мы ели очень мало, и потому мороз сильно донимал нас; лица у нас были обморожены и почернели так, что родная мать не узнала бы нас. Ноги сильно болели. По утрам, когда мы трогались в путь, я едва сдерживал крик, такую боль причиняли лыжи. Пассук, не разжимая губ, шла впереди и прокладывала дорогу. А янки все хныкал и выл по-прежнему.

В Тридцатимильной реке течение быстрое, оно подмыло лед в некоторых местах, и нам попадалось много разводий и трещин, а иногда и сплошь вода. И вот однажды мы, как обычно, догнали Джеффа, который ушел раньше и теперь отдыхал. Нас разделяла вода. Он-то обошел ее кругом, по кромке льда, но для нарт кромка была слишком узкой. Мы нашли полосу еще крепкого льда. Пассук пошла первой, держа в руках шест на тот случай, если она провалится. Пассук весила мало, лыжи у нее была широкие — и она благополучно перешла, затем позвала собак. Но у собак не было ни шестов, ни лыж, они провалились, и течение сейчас же подхватило их. Я крепко ухватился за нарты сзади и удержал их, но постромки оборвались, и собаки ушли под лед. Собаки очень отощали, но все же я рассчитывал на них, как на недельный запас еды,— и вот их не стало!

На следующее утро я разделил весь небольшой остаток провизии на три части и сказал Длинному Джеффу: пусть он идет с нами или остается — как хочет, мы теперь пойдем налегке и потому быстро. Он начал кричать и жаловаться на больные ноги и на

всякие невзгоды и упрекал меня в том, что я плохой товарищ. Но ведь ноги у Пассук и у меня тоже болели, еще больше, чем у него, потому что мы прокладывали путь собакам — и нам тоже было трудно. Длинный Джефф клялся, что он умрет, а дальше не двинется. Пассук молча взяла меховое одеяло, а я котелок и топор, и мы собрались идти. Но женщина посмотрела на порцию, отложенную для Джеффа, и сказала: «Глупо оставлять столько еды этому младенцу. Ему лучше умереть». Я покачал головой и сказал: «Нет, товарищ всегда останется товарищем». Тогда Пассук напомнила мне о людях на Сороковой Миле — там были настоящие мужчины, и их было много, и они ждали от меня помощи. Когда я опять сказал «нет», она выхватила револьвер у меня из-за пояса, и Длинный Джефф отправился к праотцам задолго до положенного ему срока,— как тут говорил брат Беттлз. Я бранил Пассук, но она не выказала никакого раскаяния и не была огорчена. И в глубине души я сознавал, что она права.

Ситка Чарли замолчал и снова бросил несколько кусков льда в стоявший на печке лоток. Мужчины молчали, по их спинам пробегал озноб от заунывного воя собак, которые словно жаловались на страшный мороз.

— Каждый день нам на пути попадались места, где прямо на снегу ночевали те два призрака, и я знал, что не раз мы будем радоваться такому ночлегу, пока доберемся до Соленой Воды. Затем мы встретили третий призрак — индейца, который тоже шел к Пелли. Он рассказал нам, что мужчина и мальчик нечестно поступили с ним, обделив его едой, и вот уже три дня, как у него нет муки. Каждую ночь он варил куски своих мокасин и ел их. Теперь от мокасин уже почти ничего не осталось. Индеец этот был родом с побережья и говорил со мной через Пассук, которая понимала его язык. Он никогда не был на Юконе и не знал дороги к нему, но все же шел туда. Как далеко это? Два сна? Десять? Сто? Он не знал, но шел к Пелли. Слишком далеко было возвращаться назад, он мог идти только вперед.

Он не просил у нас пищи, потому что видел, что нам самим приходится туго. Пассук смотрела то на индейца, то на меня, как будто не зная, на что решиться: словно мать-куропатка, у которой птенцы попали в беду. Я повернулся к ней и сказал:

— С этим человеком нечестно поступили. Дать ему часть наших запасов?

Я видел, что в глазах ее блеснула радость, но она долго смотрела на него и на меня, ее рот сурово и решительно сжался, и наконец она сказала:

— Нет. До Соленой Воды еще далеко, и смерть подстерегает нас по дороге. Пусть лучше она возьмет этого чужого человека и оставит в живых моего мужа Чарли.

И вот индеец ушел в Белое Безмолвие, по направлению к Пелли.

А ночью Пассук плакала. Я никогда прежде не видел ее слез. И это было не из-за дыма от костра, так как дрова были совсем сухие. Меня удивила ее печаль, и я подумал, что мрак и боль сломили ее мужество.

Жизнь — странная вещь. Много я думал, долго размышлял о ней, но с каждым днем она кажется мне все более непонятной. Почему в нас такая жажда жизни? Ведь жизнь — это игра, из которой человек никогда не выходит победителем. Жить — это значит тяжко трудиться и страдать, пока не подкрадется к нам старость,— и тогда мы опускаем руки на холодный пепел остывших костров. Жить трудно. В муках рождается ребенок, в муках старый человек испускает последний вздох, и все наши дни полны печали и забот. И все же человек идет в открытые объятия смерти неохотно, спотыкаясь, падая, оглядываясь назад. А ведь смерть добрая. Только жизнь причиняет страдания. Но мы любим жизнь и ненавидим смерть. Это очень странно!

Мы разговаривали мало, Пассук и я. Ночью мы лежали в снегу как мертвые, а по утрам продолжали свой путь — все так же молча, как мертвецы. И все вокруг нас было мертво. Не было ни куропаток, ни белок, ни зайцев — ничего. Река была безмолвна под своим белым покрывалом. Все замерло в лесу. И мороз был такой, как сейчас. Ночью звезды казались близкими и большими, они прыгали и танцевали; днем же солнце дразнило нас до тех пор, пока нам не начинало казаться, что мы видим множество солнц; воздух сверкал и искрился, а снег был как алмазная пыль. Кругом не было ни костра, ни звука — только холод и Белое Безмолвие. Мы потеряли счет времени и шли точно мертвые. Только наши глаза были устремлены в сторону Соленой Воды, наши мысли были прикованы к Соленой Воде, а ноги сами несли нас к Соленой Воде. Мы останавливались у самой Тахкины — и не узнали ее. Наши глаза смотрели на Белую Лошадь — и не видели ее. Наши ноги ступали по земле Каньона — и не чувствовали этого. Мы ничего не чувствовали. Часто мы падали, но, даже падая, смотрели в сторону Соленой Воды.

Кончились последние запасы еды, которую мы все время делили поровну,— но Пассук падала чаще. И вот около Оленьего перевала силы изменили ей. Утром мы лежали под нашим единственным одеялом и не трогались в путь. Мне хотелось остаться там и встретить смерть рука об руку с Пассук, потому что я стал старше и начал понимать, что такое любовь женщины. До миссии Хейнса оставалось еще восемьдесят миль, но вдали, над лесами, великий Чилкут поднимал истерзанную бурями вершину.

И вот Пассук заговорила со мной — тихо, касаясь губами

моего уха, чтобы я мог слышать ее. Теперь, когда она уже не боялась моего гнева, она изливала передо мной душу, говорила мне о своей любви и о многом другом, чего я раньше не понимал.

Она сказала:

— Ты мой муж, Чарли, и я была тебе хорошей женой. Я всегда разжигала твой костер, готовила тебе пищу, кормила твоих собак, гребла, прокладывала путь — и никогда не жаловалась. Я никогда не говорила, что в вигваме моего отца было теплее или что у нас на Чилкате было больше еды. Когда ты говорил, я слушала. Когда ты приказывал, я повиновалась. Не так ли, Чарли?

И я ответил:

— Да, это так.

Она продолжала:

— Когда ты впервые пришел к нам на Чилкат и купил меня, даже не взглянув, как человек покупает собаку, и увел с собой,— сердце мое восстало против тебя и было полно горечи и страха. Но с тех пор прошло много времени. Ты жалел меня, Чарли, как добрый человек жалеет свою собаку. Сердце твое оставалось холодно, и в нем не было места для меня; но ты всегда был справедлив ко мне и поступал, как должно поступать. Я была с тобой, когда ты совершал смелые дела и шел навстречу большим опасностям, я сравнивала тебя с другими мужчинами — и видела, что ты лучше многих из них, что ты умеешь беречь свою честь и слова твои мудры, а язык правдив. И я стала гордиться тобой. И вот наступило такое время, когда ты заполнил мое сердце и все мои мысли были только о тебе. Ты был для меня как солнце в разгар лета, когда оно движется по золотой тропе и ни на час не покидает неба. Куда бы ни обратились мои глаза, я везде видела свое солнце. Но в твоем сердце, Чарли, был холод, в нем не было места для меня.

И я ответил:

— Да, это было так. Сердце мое было холодно, и в нем не было места для тебя. Но так было раньше. Сейчас мое сердце подобно снегу весной, когда возвращается солнце. В моем сердце все тает, в нем шумят ручьи, все зеленеет и цветет. Слышатся голоса куропаток, пение зорянок, и звенит музыка, потому что зима побеждена, Пассук, и я узнал любовь женщины.

Она улыбнулась и крепче прижалась ко мне. А затем сказала:

— Я рада.

После этого она долго лежала молча, тихо дыша, прильнув головой к моей груди. Потом она прошептала:

— Мой путь кончается здесь, я устала. Но я хочу еще кое-что рассказать тебе. Давным-давно, когда я была девочкой, я часто оставалась одна в вигваме моего отца на Чилкате, потому что мужчины уходили на охоту, а женщины и мальчики возили из лесу

убитую дичь. И вот однажды, весной, я была одна и играла на шкурах. Вдруг большой бурый медведь, только что проснувшийся от зимней спячки, отощавший и голодный, всунул голову в вигвам и прорычал: «У-ух!» Мой брат как раз в эту минуту пригнал первые нарты с охотничьей добычей. Он выхватил из очага горячие головни и отважно вступил в борьбу с медведем, а собаки, прямо в упряжи, волоча нарты за собой, повисли на медведе. Был большой бой и много шума. Они повалились в огонь, раскидали шкуры и опрокинули вигвам. В конце концов медведь испустил дух, но палец моего брата остался у него в пасти и следы медвежьих лап остались на лице мальчика. Заметил ли ты, что у индейца, который шел по направлению к Пелли, на той руке, которую он грел над огнем, не было большого пальца?.. Это был мой брат. Но я отказала ему в еде, и он ушел в Белое Безмолвие без еды.

Вот, братья мои, какова была любовь Пассук, которая умерла в снегах Оленьего перевала. Это была большая любовь! Ведь женщина пожертвовала своим братом ради мужчины, который тяжелым путем вел ее к горькому концу. Любовь ее была так сильна, что она не пожалела даже себя. Прежде чем в последний раз закрылись ее глаза, Пассук взяла мою руку и просунула ее под свою беличью парку. Я нащупал у ее пояса туго набитый мешочек — и понял все. День за днем мы поровну делили наши припасы до последнего куска, но она съедала только половину. Вторую половину она прятала в этот мешочек для меня.

Пассук сказала:

— Вот и конец пути для Пассук; твой же путь, Чарли, не кончен, он ведет дальше, через Великий Чилкут, к миссии Хейнса на берегу моря. Он ведет дальше и дальше, к свету многих солнц, через чужие земли и неведомые воды; и на этом пути тебя ждут долгие годы жизни, почет и великая слава. Он приведет тебя к жилищам многих женщин, хороших женщин, но никогда ты не встретишь большей любви, чем была любовь Пассук.

И я знал, что она говорит правду. Безумие охватило меня. Я отбросил туго набитый мешочек и поклялся, что мой путь окончен и я останусь с ней. Но усталые глаза Пассук наполнились слезами, и она сказала:

— Среди людей Ситка Чарли всегда считался честным, и каждое его слово было правдиво. Разве он забыл о своей чести сейчас, что говорит ненужные слова у Оленьего перевала? Разве он забыл о людях на Сороковой Миле, которые дали ему свою лучшую пищу, своих лучших собак? Пассук всегда гордилась своим мужем. Пусть он встанет, наденет лыжи и двинется в путь, чтобы Пассук могла по-прежнему им гордиться.

Когда ее тело стало холодным в моих объятиях, я встал, на-

шел туго набитый мешочек, надел лыжи и, шатаясь, двинулся в путь. В коленях я ощущал слабость, голова кружилась, в ушах стоял шум, а перед глазами вспыхивали искры. Забытые картины детства проплывали передо мной. Я сидел у кипящих котлов на пиршестве потлача, я пел песни и плясал под пение мужчин и девушек, под звуки барабана из моржовой кожи,— а Пассук держала меня за руку и шла все время рядом со мной. Когда я засыпал, она будила меня. Когда я спотыкался и падал, она поднимала меня. Когда я блуждал в глубоких снегах, она выводила меня на дорогу. И вот, как человек, лишившийся разума, который видит странные видения, потому что голова его легка от вина, я добрался до миссии Хейнса на берегу моря.

Ситка Чарли встал и вышел, откинув полы палатки, был полдень. На юге над гребнем гряды Гендерсона, висел холодный диск солнца. Воздух был подобен паутине из сверкающего инея. А впереди, около дороги, сидел похожий на волка пес с заиндевевшей шерстью и, подняв морду вверх, жалобно выл.

1900

СИВАШКА

— Будь я мужчиной...— В ее словах не было ничего обидного, но двое мужчин в палатке успели заметить жгучее презрение, сверкнувшее в черных глазах.

Томми, моряк-англичанин, был явно задет, но старый рыцарь Дик Хамфриз, рыбак из Корнуэлла и одно время американский лососевый магнат, улыбнулся ей с обычным добродушием. Женщины занимали слишком большое место в его грубоватом сердце и он не придавал значения их, как он выражался, «фокусам» и не сердился, когда узость умственного кругозора мешала им охватить всю картину в целом. Как бы то ни было, оба они ничего не ответили, эти двое мужчин, которые три дня назад приютили у себя в палатке полузамерзшую женщину, отогрели ее, накормили и заставили индейцев-носильщиков вернуть ей вещи. Для этого пришлось заплатить немало долларов и сверх того прибегнуть к демонстрации силы: Дик Хамфриз, прищурясь, держал их на мушке винчестера, пока Томми распределял между ними плату, руководствуясь собственными соображениями. Вообще-то говоря, случай был пустячный, но он много значил для женщины, которая пыталась — и это было безумием — проявлять самостоятельность в Клондайке, обезумевшем от золотой лихорадки 1897 года. Мужчинам хватало собственных забот, и к тому же они не одобряли женщин, пытавшихся самостоятельно справиться с трудностями арктической зимы.

— Будь я мужчиной, я бы знала, что делать,— повторила Молли — та, чьи глаза сверкали жгучим презрением; и в голосе ее прозвучало все упорство, накопленное пятью поколениями американцев.

Наступило молчание. Томми сунул сковороду с сухарями в юконскую печку и подбросил дров. Под его загаром разливалась алая волна, и, когда он нагнулся, можно было заметить, что шея его побагровела. Дик как ни в чем не бывало продолжал сшивать трехгранной парусной иглой разорвавшиеся ремни — он был слишком добродушен, чтобы его могла смутить буря женского гнева, грозившая вот-вот разразиться в палатке, содрогавшейся под напором ветра.

— Ну, и будь вы мужчиной, так что? — ласково спросил он. Игла застряла в сырой коже, и он на мгновение прервал работу.

— Будь я мужчиной, я надела бы ремни и пошла бы за багажом. Я бы не стала валяться в палатке, когда Юкон, того и гляди, замерзнет, а вещи еще на перевале. А вы... вы, мужчины, сидите здесь сложа руки и боитесь какого-то дождика. Я вам прямо скажу: янки скроены из другого материала. Они пробивались бы сейчас в Доусон, даже если бы им пришлось идти по колено в адском пламени. Ну, а вы, вы... Ах, будь я мужчиной!

— А я рад, милочка, что вы не мужчина,— заметил Дик Хамфриз, обмотав суровой ниткой кончик иглы и несколькими ловкими рывками протащив ее сквозь ремень.

Порыв ураганного ветра звучно шлепнул по палатке, и по тонкому брезенту с веселой злостью забарабанила ледяная крупа. Дым не смог вырваться наружу и повалил из печки, заполнив палатку едким запахом сырых еловых дров.

— О, черт! Почему женщина не может быть благоразумной? — Томми вынырнул из дымных глубин и поглядел на Молли покрасневшими, слезящимися глазами.

— А почему мужчина не может доказать, что он мужчина?

Томми вскочил на ноги с ругательством, которое привело бы в ужас более изнеженную женщину, рывком развязал узлы и откинул дверь палатки.

Все трое выглянули наружу. Открывшееся перед ними зрелище никак нельзя было назвать веселым. На переднем плане ютилось несколько промокших насквозь палаток, а за ними потоки воды неслись со склона к бурлящему пеной ущелью. По нему стремительно мчалась вздувшаяся горная речка. Карликовые ели, тут и там цепляющиеся корнями за тонкий слой почвы, говорили о близости леса. На противоположном склоне за косой сеткой ливня можно было различить смутные очертания свинцово-белого ледника. И у них на глазах под действием какого-то подземного толчка огромная глыба медленно отделилась от него и обрушилась

в долину; этот тяжелый рокот на мгновение заглушил вой бури. Молли невольно попятилась.

— Смотри ты, женщина! Смотри хорошенько! Три мили против ураганного ветра до Кратерного озера, через два ледника, по скользким уступам, по колено в воде... Смотри же ты, женщина-янки! Смотри: вон они, твои мужчины-янки.— Томми яростно махнул рукой в сторону жмущихся к земле палаток.— Они там, все янки, все до единого. Так что же, идут они к Доусону? Хоть один из них надел ремни? И ты хочешь учить нас, мужчин, нашему делу? Смотри, говорю тебе!

Еще одна гигантская ледяная глыба с грохотом скатилась в долину. Ветер бил внутрь палатки, надувал ее, и, казалось, она вот-вот оборвет веревки и, как огромный пузырь, взлетит в воздух. Вокруг них завивались струи дыма, а ледяная крупа впивалась им в лицо. Томми поспешно застегнул дверь и снова принялся возиться с печкой. Дик Хамфриз бросил починенные ремни в угол и закурил трубку. Даже Молли была на несколько минут укрощена.

— Но ведь там мои платья! — всхлипнула она, поддаваясь женской слабости.— Они лежат сверху и будут испорчены. Вот увидите!

— Не надо расстраиваться,— вмешался Дик, когда последнее жалобное слово замерло в воздухе,— не надо расстраиваться, милочка! Я так стар, что гожусь вам в дяди. У меня дочка постарше вас. Когда мы доберемся до Доусона, я накуплю вам тряпок сколько захотите. Даже если мне придется потратить на них последний доллар.

— Когда мы доберемся до Доусона? — ее голос снова стал ядовито-насмешливым.— Да вы заживо сгниете по дороге или утонете в грязной луже. Эх, вы... англичане!

В последнее слово она вложила всю свою злость. Если уж оно не подействует на этих мужчин, значит, их вообще ничем не проймешь. Шея у Томми вновь побагровела, но он только крепче стиснул зубы. В глазах Дика появилось мечтательное выражение. Он имел перед товарищем то преимущество, что когда-то был женат на белой женщине.

При некоторых обстоятельствах кровь пяти поколений коренных американцев оказывается не таким уж удобным наследием: например, когда приходится жить под одной крышей с представителями родственной нации. Эти люди были англичанами. На море и на суше поколения ее предков в течение двух веков били поколения их предков, и так будет всегда. Традиции расы требовали, чтобы их поддержали. Правда, она была лишь современной женщиной, но в ней жило великое прошлое. Не просто Молли Трэвис надевала сейчас резиновые сапоги, плащ и багажные рем-

ни — призрачные руки десятков тысяч предков затягивали ремни и застегивали пряжки, воля этих предков заставила ее решительно сжать губы и сдвинуть брови. Она, Молли Трэвис, собиралась посрамить этих англичан. Они, эти бесчисленные тени, утверждали их общее первенство в мире.

Мужчины ее не удерживали. Дик предложил было ей взять его зюйдвестку, потому что ее плащ промокнет под этим ливнем, как бумажный. Но она, отстаивая свою независимость, так презрительно фыркнула, что он больше не вынимал трубки изо рта, пока Молли не застегнула дверь палатки снаружи и не зашлепала по залитой водой тропе.

— Как по-твоему, получится у нее что-нибудь? — Выражение лица Дика никак не вязалось с его равнодушным тоном.

— Получится? Если у нее и хватит сил добраться до склада, все равно она ошалеет от холода и боли. Да еще в такой ветер! Ты же сам знаешь, каково это, Дик. Ведь тебе приходилось огибать мыс Горн против ветра. Ты знаешь, каково это — лежать на бом-брам-рее в самую бурю, когда по тебе хлещет град, снег, замерзшая парусина, так что хочется бросить все и разреветься в голос. До платьев ли тут? Да она не отличит узла с юбками от промывочного таза или от чайника.

— Ты, значит, думаешь, что нам не надо было ее пускать?

— Ну уж нет! Черт возми, Дик, если бы мы ее задержали, у нас до самого Доусона была бы не жизнь, а сущий ад! Беда в том, что больно уж она смела. Это немножко пособьет с нее спесь.

— Да,— согласился Дик,— гордости у нее хоть отбавляй. Ну а все-таки она молодец. Дура, конечно, что отправилась в такой путь, но куда лучше этих баб, которые сами шагу ступить не могут. Она той же породы, что и наши матери, Томми, и нечего попрекать ее смелостью. Вскормить настоящего мужчину может лишь настоящая женщина. А для того, чтобы быть настоящей женщиной, не только юбка нужна. Тигры родятся у тигриц, а не у коров.

— Так что же, значит, потакать им, когда на них дурь находит?

— А почему бы и нет? Острый нож, когда сорвется, поранит глубже, чем тупой, но это еще не значит, что надо затупить его острие о кабестан.

— Нож-то ножом, но если говорить о женщинах, я их предпочитаю без такого острия.

— А ты-то что об этом знаешь? — спросил Дик.

— Кое-что.— И Томми, пододвинувшись ближе к огню, взял мокрые чулки Молли, растянул их на своих коленях и начал сушить.

Дик с досадой взглянул на него, порылся в ее сумке и тоже уселся перед печкой, подставив теплому воздуху мокрые юбки и кофты.

— А ведь ты говорил, что никогда не был женат,— сказал он.

— Разве? Да я и не был женат... то есть... нет, черт побери, я был женат! И лучшей жены ни у кого в мире не было!

— Сорвалась с причала? — Дик взмахнул рукой, подразумевая бесконечность.

— Да,— отозвался Томми и, помолчав, добавил: — От родов.

Бобы на передней конфорке забурлили, и Томми отодвинул кастрюлю в сторону. Затем он занялся сухарями, потыкал в них щепкой и тоже отставил, накрыв сырой тряпкой. Дик, как свойственно людям такого закала, ничем не выдавал своего любопытства и молча ждал.

— Совсем не такая, как Молли. Сивашка.

Дик понимающе кивнул.

— Не такая заносчивая и своевольная, но уж не бросит тебя ни в какой беде. Веслом работала не хуже мужчины и голодала терпеливо, как Иов. Проберется на нос шлюпа, когда его волной заливает, и спустит парус, точно заправский матрос. Мы как-то отправились искать золото к Теслину. За озером Серпрайз и Литл-Йеллоу-Хэд. Провиант кончился, и мы ели собак. Собаки кончились, и мы ели постромки, мокасины и шкуры. И хоть бы раз пожаловалась, хоть бы раз захныкала! Она меня предупреждала: «Береги провиант!», но когда он кончился, никаких «я же говорила». «Ничего, Томми,— повторяет она изо дня в день, а сама от слабости едва может лыжу поднять, и ноги у нее стерты в кровь.— Ничего, лучше голодать и быть твоей женщиной, Томми, чем каждый день пировать на потлаче и быть женой вождя Джорджа». Джордж, он был вождем чилкутов и очень на нее зарился.

Хорошие это были деньки. Я, когда сюда попал, видный был парень. Смылся с китобоя «Полярная звезда» в Уналяшке и добрался до Ситхи на шлюпе охотника за выдрами, с отработкой за проезд. Сдружился там со Счастливчиком Джеком. Знаешь его?

— Он присматривал в Колумбии за моими лососевыми ловушками,— ответил Дик.— Бесшабашный такой парень, не дурак выпить и за красоткой ухлестнуть?

— Он самый. Года два я был его компаньоном — торговали мы спиртом, одеялами и всяким таким товаром. Ну, а потом я купил себе шлюп и, чтобы не подрывать ему торговлю, перебрался в Джуно. Там я и встретил Киллисну — сам-то я ее Тилли называл. Увидел ее на празднике, когда скво плясали на берегу. Вождь Джордж уже скупил все шкуры у стиксов за перевалом и вернулся из Дайи с половиной своего племени. Сивашей собралось на

пляску видимо-невидимо, а я был единственным белым. Меня почти никто не знал, кроме тех, с кем я встречался около Ситхи, но я много про них наслышался от Счастливчика Джека.

Разговаривали они на чинукском наречии, не знали, что я его очень даже хорошо понимаю; особенно старались две девчонки, которые сбежали из миссии Хейнса, на том конце Линн-канала. Смазливые девчонки, и я уже подумывал к ним пришвартоваться, да только бойки они были на язык, что твои сороки. Уж такое острие — дальше некуда! Как я был там человек новый, начали они перемывать мне косточки, не соображая, что я понимаю каждое их словечко.

Ну, я виду не подал, а стал плясать с Тилли, и чем больше мы плясали, тем больше друг другу нравились. «Ищет себе женщину»,— говорит одна девчонка, а другая задрала нос и отвечает: «Найдет он, как же! Женщины сами ищут мужчин!» И тут все охотники и скво, которые кругом стояли, давай ухмыляться, и хихикать, и повторять ихние шуточки. «А он мальчик хорошенький»,— говорит первая. Оно, конечно, был я тогда совсем мальчишка на вид, но уже давно работал наравне с мужчинами, и очень эти ее слова меня задели. «Пляшет с девушкой вождя Джорджа,— верещит вторая.— Вот сейчас Джордж отшлепает его веслом и заставит убраться подальше». Вождь Джордж до тех пор все хмурился, а тут засмеялся и стал хлопать себя по коленям. Он был мужик дюжий и пустить в ход весло не постеснялся бы.

«Кто они такие?» — спрашиваю я Тилли, пока мы вертелись в джиге. Только она мне их назвала, я вспомнил все, что мне говорил о них Счастливчик Джек. Я знал о них всю подноготную, даже такие вещи, о которых их собственное племя не слышало. Однако я держу язык за зубами и все пляшу с Тилли. А они отпускают свои шуточки, и кругом стоит хохот. «Погоди чуток, Томми,— говорю я себе,— погоди чуток».

Вот я и выжидал до конца пляски, а вождь Джордж уже притащил весло, чтобы со мной расправиться. Когда мы остановились, гляжу, они ждут, что вот начнется потеха. Но я взял да и пошел прямо в толпу. Тут девчонки из миссии такое отпустили, что я, хоть и зол был, еле-еле удержался от смеха. А потом как дам им жару! «Кончили?» — спрашиваю. Видел бы ты, какие у них сделались рожи, когда я пошел чесать на чинукском наречии! Я уж не останавливался. Я им все рассказал: и кто они такие, и вся их родня — папаши, мамаши, сестры, братья — никого и ничего не забыл. Все их грязные делишки, и какие они подлости устраивали, и как в дурах оставались. Ну и хлестал я их — без всякой пощады! Вся команда сгрудилась вокруг. Им еще не приходилось слышать, чтобы белый вот так ругался на их языке. Все хохотали, кроме девчонок из миссии. Даже вождь Джордж забыл про

весло. А может, просто опасался пустить его в ход — как бы тоже чего не услышать!

А девчонки: «Ох, не надо, Томми,— кричат, а у самих слезы по щекам льются.— Пожалуйста, не надо! Мы будем хорошими. Правда, Томми, правда!» Но я-то их знал и спуску им не дал. И только тогда замолчал, когда они уже на коленях стали меня просить. Я поглядел на вождя Джорджа, но он все не мог решить, связываться со мной или нет, и просто засмеялся, хоть и не больно весело.

Ну, ладно. Когда я в тот вечер прощался с Тилли, я ей сказал, что пробуду здесь еще с недельку и хотел бы почаще с ней видеться. Они там в этих делах притворяться не умеют, и по лицу было видно, как она обрадовалась, потому что была она во всем честная. Да, такую девушку поискать! И понятно, почему она так понравилась вождю Джорджу. Ну, только со мной он тягаться не мог, и я перебежал ему дорогу. Я-то хотел сразу забрать ее на шлюп и уплыть на юг, к Врангелю, пока дело не забудется, а он пусть себе посвистывает. Но так просто это не вышло. Жила она с дядей. Был он ей вроде опекун и совсем помирал от чахотки или еще какой-то грудной болезни. То ему становилось лучше, то хуже, а она его бросать не хотела, пока он жив. Ну, я перед отъездом пошел в ихний вигвам посмотреть, долго ли он протянет, но старикан уже давно обещал ее вождю Джорджу, и как он меня увидел, у него сразу горлом кровь пошла от злости.

«Приезжай за мной, Томми»,— сказала она, когда мы прощались на берегу. «Ладно,— отвечаю,— как только позовешь». И стал я ее целовать по-нашему, по-белому, пока она вся не затряслась, как осиновый лист. А я до того голову потерял, что чуть было не пошел своими руками отправить ее дядюшку в дальний путь.

Ну, поплыл я к Врангелю, мимо бухты Святой Марии, добрался даже до островов Королевы Шарлотты: торговал, возил виски — и чем только не занимался! Подходила зима, начинались морозы, и я уже вернулся в Джуно, когда получил от нее весточку. «Приходи,— говорит мне парень, которого она послала.— Киллисну говорит: приходи сейчас». «Что там еще приключилось?» — спрашиваю. «Вождь Джордж,— говорит он,— потлач. Киллисну делать свой жена».

Эх, и погодка же была! С севера во всю мочь дует таку, вода замерзает, чуть попадет на палубу, а мы со старым шлюпом прём против ветра сто миль до Дайи. Когда я отчалил, со мной был матрос — индеец с Дугласа. Но на полдороге его смыло за борт. Я повернул оверштаг и три раза прошел по этому месту — никаких следов.

— Наверное, его сразу скрутило от холода,— заметил Дик,

прерывая рассказ и вешая одну из юбок Молли поближе к печке.— Он и утонул, как свинцовое грузило.

— Я тоже так подумал. Дальше я, значит, поплыл один и добрался до Дайи поздним вечером, чуть не помирая от усталости и голода. Был прилив, и я подвел шлюп к самому берегу в устье. А по реке нельзя было продвинуться ни на дюйм, потому как пресная вода уже замерзла. Фалы и блоки совсем оледенели, так что я побоялся спускать грот и кливер. Ну, сперва проглотил я пинту своего груза, а потом бросил все как есть, чтобы легче отчалить было, закутался в одеяло и пошел прямо к становищу. Гляжу, устраивают они большой праздник. Чилкуты явились все до одного, со всеми собаками, младенцами и лодками. А еще Собачьи Уши, Малые Лососи и индейцы из миссий. Чуть не полтысячи собралось их праздновать свадьбу Тилли — и на двадцать миль кругом ни одного белого.

Никто меня не узнал, потому что у меня голова была закутана в одеяло. Шагая через кучи собак и малышей, я пробрался в первые ряды. На большой поляне уже разгребли сугробы, разожгли костры, а снег утоптали так, что он стал крепче портландского цемента. Совсем рядом, вижу, стоит Тилли, вся в красном сукне и бусах, а против нее — вождь Джордж и его старейшины. Ихнему шаману помогали колдуны других племен, и такую они чертовщину развели, что меня мороз по коже подирал. И тут я вдруг подумал: «Посмотрела бы на меня сейчас моя ливерпулская родня!» А потом вспомнил белокурую Гусси: когда я вернулся из первого плавания, пришлось мне вздуть ее брата, потому что он не хотел, чтобы за его сестрой увивался простой матрос. И вот так, вспоминая Гусси, смотрел я на Тилли. «До чего же странно свет устроен,— думаю.— Попадает человек в такие передряги, какие его матери и не снились, когда он ей грудь сосал».

Ну, ладно. Когда они совсем расшумелись, забили в барабаны из моржовой шкуры, а шаманы начали вопить вовсю, я, значит, шепчу: «Ты готова?» Черт! Не вздрогнула, не посмотрела на меня, даже бровью не повела! «Я знала,— отвечает тихо, не торопясь, как спокойный весенний прилив.— Где?» — «Под обрывом, у края льда,— шепчу.— Беги, когда скажу».

Я тебе говорил, что собак там было — не сосчитать? Ну, так их было — не сосчитать. Куда ни глянь — всюду лежат. А ведь что они такое — ручные волки, и больше ничего. Когда порода ухудшается, они их случают с дикими в лесу. А уж дерутся эти псы! Рядом с носком моего мокасина лежал один такой зверюга, а у пятки — другой. Я схватил одного за хвост и разом так крутанул, что только хрустнуло. Пес — лязг зубами, да только я на то место, где была моя рука, бросил за шиворот второго, и прямо ему в пасть. «Беги!» — кричу я Тилли. Ну, ты знаешь, как они дерут-

ся. И минуты не прошло, их уже целая сотня по земле катается, рычат, рвут друг друга зубами; ребятишки и скво бегут кто куда, и все становище словно взбесилось! Тилли незаметно улизнула, и я за ней. Но тут я оглянулся, и дьявол подбил меня на одну штуку: бросил я одеяло и пошел назад.

К этому времени собак уже растащили, толпа помаленьку приходила в себя. Только все, конечно, перемешались и потому еще не заметили, что Тилли нет. «Здорово,— говорю я и трясу вождя Джорджа за руку.— Пусть чаще подымается дым от твоих потлачей, а стиксы к весне добудут много мехов».

Разрази меня бог, Дик, до чего он обрадовался, когда меня увидел,— ведь его взяла, и он женился на Тилли. Как тут не похвастать? На всех становищах уже слышали, что она мне нравилась, ну, и ему, конечно, лестно: пусть все видят, как он меня побил. Без одеяла меня сразу узнали, и вся команда начала скалить зубы и хихикать. Весело им было, но я их еще больше развеселил — притворился, будто ничего не знаю.

«Что за шум? — спрашиваю.— Кто тут женится?»

«Вождь Джордж»,— говорит шаман, а сам ему кланяется.

«Да ведь у него уже есть две жены».

«А он еще одну берет. Три будет».— И снова ему кланяется.

«А!» — говорю и отворачиваюсь, будто мне совсем не интересно.

Но это им пришлось не по вкусу, и они давай кричать: «Киллисну! Киллисну!»

«Ну и что — Киллисну?» — спрашиваю.

«Киллисну — жена вождя Джорджа,— вопят.— Киллисну — жена!»

Я подпрыгнул и посмотрел на вождя Джорджа. А он кивнул головой и весь напыжился.

«Не быть ей твоей женой,— говорю я грозно и повторяю: — Не быть твоей женой». А он прямо почернел от злости и начал нащупывать свой нож.

«Эй,— кричу и становлюсь в позу,— большое колдовство! Глядите на меня, глядите!»

Тут я стянул свои рукавицы, засучил рукава и давай пальцами по-всякому шевелить!

«Киллисну! — кричу.— Киллисну! Киллисну!»

Я, значит, колдую, и стало им не по себе. Смотрят на меня во все глаза: где уж тут заметить, что Тилли-то давно упорхнула! Я еще три раза позвал Киллисну, потом подождал и еще три раза позвал. Таинственно так, чтобы совсем их напугать. Вождь Джордж никак не мог понять, что я задумал, и хотел было все дело прекратить, но шаманы ему вроде сказали: вот, мол, мы посмотрим, что он сделает, а потом побьем его своим колдовством.

А кроме того, был он суеверен не хуже остальных и тоже, верно, побаивался волшебства белых.

Тут я опять стал звать Киллисну, да так тонко и так долго, словно волк завыл,— все женщины прямо затряслись, и мужчины тоже.

«Смотрите,— я прыгнул вперед и ткнул пальцем в кучку скво (женщин-то всегда провести легче),— смотрите!..» А потом стал палец поднимать, будто слежу за летящей птицей. И поднимаю его все выше, выше и слежу взглядом, пока не исчезла она в небе.

«Киллисну,— говорю, а сам смотрю на вождя Джорджа и опять на небо указываю: — Киллисну».

Провалиться мне на этом месте, Дик, ведь они поверили! Чуть не половина своими глазами видела, как Тилли исчезала в воздухе. Те, кто пил мое виски в Джуно, небось видывали вещи и почуднее! Почему бы мне и не сотворить такой штуки, раз уж я продаю злых духов, закупоренных в бутылки? Тут бабы как завизжат! И все стали перешептываться. Я скрестил руки на груди, задрал голову, и они все от меня попятились. Чувствую, пора уходить. «Хватайте его!» — вопит вождь Джордж. Человека три бросились ко мне, но я повернулся и давай пальцами шевелить, будто собираюсь послать их за Тилли, а потом показал на небо. Тут уж никто из них не согласился бы до меня дотронуться ни за какое богатство. Вождь Джордж им приказывает, а они ни с места. Тогда он сам на меня бросился, но я опять стал колдовать, и у него тоже духу не хватило.

«Ну-ка, пускай ваши шаманы сотворят такое чудо, как я сейчас,— говорю,— пусть снимут Киллисну с неба, куда я ее послал». Но колдуны знали, что они могут, а что нет. «Пусть ваши женщины приносят вам сыновей столько, сколько лососи мечут икры,— говорю, а сам поворачиваюсь, чтобы уйти,— и пусть ваш тотем никогда не упадет, и пусть дым ваших костров подымается вечно».

Но если бы они видели, как я рванулся к шлюпу, едва отошел подальше, они бы подумали, что мое колдовство гонится за мной по пятам. Тилли, чтобы согреться, обколола лед, и можно было отплыть сию же минуту. Черт! Ну, и неслись же мы! А таку воет нам в спину, а ледяные волны то и дело перекатываются через борт. Все люки задраены, я за штурвалом, Тилли скалывает лед,— плыли мы так чуть не до рассвета. Наконец я выбросил шлюп на отмель у острова Поркюпайн. Выбрались мы на берег. От холода зуб на зуб не попадает, одеяла промокли насквозь, а Тилли сушит спичку у себя на груди.

Так что я, пожалуй, кое-что об этом знаю, Дик. Семь лет были мы мужем и женой, и в бурю и штиль. А потом она умерла в самый разгар зимы. Умерла от родов на чилкутской фактории. Она держала мою руку до самого конца, а иней полз вверх по двери и

густо ложился на окно. Снаружи волк воет и Безмолвие. Внутри смерть и Безмолвие. Ты никогда не слышал Безмолвия, Дик? И не дай тебе бог услышать его, когда ты будешь сидеть рядом с умирающим. А я слышал. Когда дыхание ревет, как пароходный гудок в тумане, а сердце гремит, словно прибой на камнях...

Сивашкой была она, Дик, но настоящей женщиной. Стойкой и честной, Дик, стойкой и честной. А перед смертью она сказала: «Береги мою перину, Томми, хорошенько береги». Я говорю: ладно. Тогда она открыла глаза, и видно, что больно ей невыносимо. «Я была тебе хорошей женой, Томми, и ты обещай... обещай мне...— у нее точно слова в горле застревали,— что второй раз женишься на белой. Только не на сивашке, Томми. Теперь в Джуно много белых женщин. Я знаю. Твои люди зовут тебя «мужем скво», твои женщины отворачиваются от тебя на улице, и ты не ходишь к ним в дом, как другие мужчины. А почему? Твоя жена — сивашка. Разве не так? А это нехорошо. Вот почему я умираю. Обещай мне. Поцелуй меня в знак, что ты обещаешь».

Я ее поцеловал, и она задремала, а сама шепчет: «Это хорошо». А в последнюю минуту, когда я ухо прямо ей к губам прижал, чтобы расслышать, она сказала: «Береги, Томми, береги мою перину...» Вот так она умирала от родов, там, на чилкутской фактории.

Палатка дрогнула и вся прогнулась под напором урагана. Дик снова набил трубку, а Томми заварил чай и отставил его в сторону до возвращения Молли.

А как же та, в чьих глазах сверкало презрение, в чьих жилах струилась кровь янки? Ничего не видя, падая, карабкаясь на четвереньках, задыхаясь от ветра, она возвращалась к палатке. Буря рвала и трепала большой мешок на ее плечах. Непослушными руками она стала дергать завязки, но открыли дверь Томми и Дик. Тогда она собрала всю свою гордость для последнего усилия, шатаясь вошла в палатку и тут же в полуобмороке повалилась на пол.

Томми расстегнул ремни и оттащил мешок в угол. Когда он взялся за него, раздалось звяканье кастрюль и сковородок. Дик, наливавший в кружку виски, остановился и подмигнул ему. Томми подмигнул в ответ. Он одними губами произнес слово «платья», но Дик предостерегающе помотал головой.

— Вот что, милочка,— сказал он после того, как Молли выпила виски и немного пришла в себя.— Это все высохло. Переоденьтесь-ка. Мы пойдем укрепим палатку. Потом крикните нам, мы вернемся и будем обедать. Позовите, когда будете готовы.

— Разрази меня бог, Дик, это затупит ей острие до самого Доусона,— пробормотал сквозь смех Томми, когда они, скорчившись, прижались к подветренной стене палатки.

— Но это — лучшее, что в ней есть,— ответил Дик, втягивая голову в плечи, потому что из-за угла вылетел настоящий залп ледяной крупы.— Это есть и в тебе, и во мне, Томми, и это — наследие наших матерей.

1901

ЗАКОН ЖИЗНИ

Старый Коскуш жадно прислушивался. Его зрение давно угасло, но слух оставался по-прежнему острым, улавливая малейший звук, а мерцающее под высохшим лбом сознание было безучастным к грядущему.

А, это пронзительный голос Сит-Кум-То-Ха; она с криком бьет собак, надевая на них упряжь. Сит-Кум-То-Ха — дочь его дочери, но она слишком занята, чтобы попусту тратить время на дряхлого деда, одиноко сидящего на снегу, всеми забытого и беспомощного. Пора сниматься со стоянки. Предстоит далекий путь, а короткий день не хочет помедлить. Жизнь зовет ее, зовут заботы, которых требует жизнь, а не смерть. А он так близок теперь к смерти.

Мысль эта на минуту ужаснула старика, и он протянул руку, нащупывая дрожащими пальцами небольшую кучку хвороста возле себя. Убедившись, что хворост здесь, он снова спрятал руку под изношенный мех и опять стал вслушиваться.

Сухое потрескивание полузамерзшей оленьей шкуры сказало ему, что вигвам вождя уже убран и теперь его уминают и скатывают в удобный тюк. Вождь приходился ему сыном, он был рослый и сильный, глава племени и могучий охотник. Вот его голос, понукающий медлительных женщин, которые собирают пожитки. Старый Коскуш напряг слух. В последний раз он слышит этот голос. Сложен вигвам Джихоу и вигвам Тускена! Семь, восемь, десять... Остался, верно, только вигвам шамана. Вот теперь принялись и за него. Коскуш слышал бормотание шамана, укладывавшего свой вигвам на нарты. Захныкал ребенок; женщина стала утешать его, напевая что-то тихим гортанным голосом. Это маленький Ку-Ти, подумал старик, капризный ребенок и слабый здоровьем. Может быть, он скоро умрет, и тогда в мерзлой земле тундры выжгут яму и набросают сверху камней для защиты от росомах. А впрочем, не все ли равно? В лучшем случае проживет еще несколько лет и будет ходить чаще с пустым желудком, чем с полным. А в конце концов смерть все равно дождется его — вечно голодная и самая голодная из всех.

Что там такое? А, это мужчины увязывают нарты и туго за-

тягивают ремни. Он слушал,— он, который скоро ничего не будет слышать. Удары бича со свистом сыпались на собак. Слышишь, завыли! Как им ненавистен трудный путь! Уходят! Нарты за нартами медленно скользят в тишину. Ушли. Они исчезли из его жизни, и он один встретит последний, тяжкий час. Нет, вот захрустел снег под мокасинами. Рядом стоял человек; на его голову тихо легла рука. Как добр к нему сын! Он вспомнил других стариков, их сыновья уходили вместе с племенем. Его сын не таков. Старик унесся мыслями в прошлое, но голос молодого человека вернул его к действительности.

— Тебе хорошо? — спросил сын.

И старик ответил:

— Да, мне хорошо.

— Около тебя есть хворост,— продолжал молодой,— костер горит ярко. Утро серое, мороз спадает. Скоро пойдет снег. Вот он уже идет.

— Да, он уже идет.

— Люди спешат. Их тюки тяжелы, а животы подтянуло от голода. Путь далек, и они идут быстро. Я ухожу. Тебе хорошо?

— Мне хорошо. Я словно осенний лист, который еле держится на ветке. Первое дуновение ветра — и я упаду. Мой голос стал как у старухи. Мои глаза больше не показывают дорогу ногам, а ноги отяжелели, и я устал. Все хорошо.

Довольный Коскуш склонил голову и сидел так, пока не замер вдали жалобный скрип снега; теперь он знал, что сын уже не услышит его призыва. И тогда рука его поспешно протянулась за хворостом. Только эта вязанка отделяла его от зияющей перед ним вечности. Охапка сухих сучьев была мерой его жизни. Один за другим сучья будут поддерживать огонь, и так же, шаг за шагом, будет подползать к нему смерть. Когда последняя ветка отдаст свое тепло, мороз примется за дело. Сперва сдадутся ноги, потом руки, и под конец оцепенеет тело. Голова его упадет на колени, и он успокоится. Это легко. Умереть суждено всем.

Коскуш не жаловался. Такова жизнь, и она справедлива. Он родился и жил близко к земле, и ее закон для него не нов. Это закон всех живых существ. Природа немилостива к отдельным живым существам. Ее внимание направлено на виды, расы. На большие обобщения примитивный ум старого Коскуша был не способен, но это он усвоил твердо. Примеры этому он видел повсюду в жизни. Дерево наливается соками, распускаются зеленые почки, падает желтый лист — и круг завершен. Но каждому живому существу природа ставит задачу. Не выполнив ее, оно умрет. Выполнит — все равно умрет. Природа безучастна: покорных ей много, но вечность суждена не покорным, а покорности. Племя Коскуша

очень старо. Старики, которых он помнил, еще когда был мальчиком, помнили стариков до себя. Следовательно, племя живет, оно олицетворяет покорность всех своих предков, самые могилы которых уже давно забыты. Умершие не в счет; они только единицы. Они ушли, как тучи с летнего неба. И он тоже уйдет. Природа безучастна. Она поставила жизни одну задачу, дала один закон. Задача жизни — продолжение рода, закон ее — смерть. Девушка — существо, на которое приятно посмотреть. Она сильная, у нее высокая грудь, упругая походка, блестящие глаза. Но задача этой девушки еще впереди. Блеск в ее глазах разгорается, походка становится быстрее, она то смела с юношами, то робка и заражает их своим беспокойством. И она хорошеет день ото дня; и, наконец, какой-нибудь охотник берет ее в свое жилище, чтобы она работала и стряпала на него и стала матерью его детей. Но с рождением первенца красота начинает покидать женщину, ее походка становится тяжелой и медлепной, глаза тускнеют и меркнут, и одни лишь маленькие дети с радостью прижимаются к морщинистой щеке старухи, сидящей у костра. Ее задача выполнена. И при первой угрозе голода или при первом длинном переходе ее оставят, как оставили его,— на снегу, подле маленькой охапки хвороста. Таков закон жизпи.

Коскуш осторожно положил в огонь сухую ветку и вернулся к своим размышлениям. Так бывает повсюду и во всем. Комары исчезают при первых заморозках. Маленькая белка уползает умирать в чащу. С годами заяц тяжелеет и не может с прежней быстротой ускакать от врага. Даже медведь слепнет к старости, становится неуклюжим, и в конце концов свора визгливых собак одолевает его. Коскуш вспомнил, как он сам бросил своего отца в верховьях Клондайка,— это было той зимой, когда к ним пришел миссионер со своими молитвенниками и ящиком лекарств. Не раз облизывал Коскуш губы при воспоминании об этом ящике, но сейчас у него во рту уже не было слюны. В особенности вспомнился ему «болеутолитель». Но миссионер был обузой для племени, он не приносил дичи, а сам ел много, и охотники ворчали на него. В конце концов он простудился на реке около Мэйо, а потом собаки разбросали камни и подрались из-за его костей.

Коскуш снова подложил хворосту в костер и еще глубже погрузился в мысли о прошлом. Во время Великого Голода старики жались к огню и роняли с уст туманные предания старины о том, как Юкон целых три зимы мчался, свободный ото льда, а потом стоял замерзший три лета. В этот голод Коскуш потерял свою мать. Летом не было хода лосося, и племя с нетерпением дожидалось зимы и оленей. Зима наступила, но олени не пришли вместе с ней. Такое никогда не бывало даже на памяти стариков. Олени не пришли, и это был седьмой голодный год. Зайцы не плодились, а от

собак остались только кожа да кости. И дети плакали и умирали в долгой зимней тьме, умирали женщины и старики, и из каждых десяти человек только один дожил до весны и возвращения солнца. Да, вот это был голод!

Но он видел и времена изобилия, когда мяса было столько, что оно портилось, и разжиревшие собаки совсем облепились,— времена, когда мужчины смотрели на убегающую дичь и не убивали ее, а женщины были плодовиты, и в вигвамах возились и ползали мальчики и девочки. Мужчины стали тогда заносчивы и чуть что вспоминали прежние ссоры. Они перевалили через горы на юг, чтобы истребить племя Пелли, и на запад, чтобы полюбоваться на потухшие огни племени Танана. Старик вспомнил, что еще мальчиком он видел в год изобилия, как волки задрали лося. Зинг-Ха лежал тогда вместе с ним на снегу,— Зинг-Ха, который стал потом искусным охотником и кончил тем, что провалился в полынью на Юконе. Ему удалось выбраться из нее только до половины — так его и нашли через месяц примерзшим ко льду.

Так вот — лось. Он и Зинг-Ха пошли в тот день поиграть в охоту, подражая своим отцам. На замерзшей реке они наткнулись на свежий след лося и на следы гнавшихся за ним волков.

— Старый,— сказал Зинг-Ха, умевший лучше разбирать следы.— Старый. Отбился от стада. Волки отрезали его от братьев и теперь не выпустят.

Так оно и было. Таков волчий обычай. Днем и ночью, без отдыха, они будут с рычаньем преследовать его по пятам, щелкать зубами у самой его морды и не отстанут от него до конца. Кровь закипела у обоих мальчиков. Конец охоты — на это стоит посмотреть.

Сгорая от нетерпения, они шли все дальше и дальше, и даже он, Коскуш, не обладавший острым зрением и навыками следопыта, мог бы идти вперед с закрытыми глазами — так четок был след. Он был совсем свежий, и они на каждом шагу читали только что написанную мрачную трагедию погони. Вот здесь лось остановился. Во все стороны на расстоянии в три человеческих роста снег был истоптан и взрыт. Посредине глубокие отпечатки разлатых копыт лося, а вокруг более легкие следы волков. Некоторые, пока их собратья бросались на жертву, видимо, отдыхали, лежа на снегу. Отпечатки их туловищ были так ясны, словно это происходило всего лишь минуту тому назад. Один волк попался под ноги обезумевшей жертве и был затоптан насмерть. Куча костей, чисто обглоданных, подтверждала это. Они снова замедлили ход своих лыж. Вот здесь тоже происходила отчаянная борьба. Дважды опрокидывали лося наземь,— как свидетельствовал снег,— и дважды он сбрасывал своих противников и снова поднимался на ноги. Он уже давно выполнил свою задачу, но жизнь была дорога

ему. Зинг-Ха сказал: «Никогда не бывало, чтобы раз опрокинутый лось снова встал на ноги». Но этот встал.

Когда потом они рассказали об этом шаману, он счел это чудом и каким-то предзнаменованием.

Наконец они подошли к тому месту, где лось хотел подняться на берег и скрыться в лесу. Но враги насели на него сзади, и он стал на дыбы и опрокинулся навзничь, придавив двух из них. Они так и остались лежать в снегу, не тронутые своими собратьями, ибо погоня близилась к концу. Еще два места битвы мелькнули мимо, одно вслед за другим. Теперь след покраснел от крови и плавный шаг крупного зверя стал неровным и спотыкающимся. И вот они услышали первые звуки битвы — не громогласный хор охоты, а короткий обрывистый лай, говоривший о близости волчьих зубов к бокам лося. Держась против ветра, Зинг-Ха полз на животе по снегу, а за ним полз Коскуш — тот, кому предстояло с годами стать вождем своего племени. Они отвели в сторону ветви молодой ели и выглянули из-за них. И увидели самый конец битвы.

Зрелище это, подобно всем впечатлениям юности, до сих пор было еще свежо в памяти Коскуша, и конец погони стал перед его потускневшим взором так же ярко, как в те далекие времена. Коскуш изумился этому, ибо в последующие дни, будучи вождем мужей и главой совета, он совершил много великих деяний — даже если не говорить о чужом белом человеке, которого он убил ножом в рукопашной схватке,— и имя его стало проклятием в устах людей племени Пелли.

Долго еще Коскуш размышлял о днях своей юности, и наконец костер стал потухать, и мороз усилился. На этот раз он подбросил в огонь сразу две ветки, и теми, что остались, точно измерил свою власть над смертью. Если бы Сит-Кум-То-Ха подумала о деде и собрала охапку побольше, часы его жизни продлились бы. Разве это так трудно? Но ведь Сит-Кум-То-Ха всегда была беззаботная, а с тех пор как Бобр, сын сына Зинг-Ха, впервые бросил на нее взгляд, она совсем перестала чтить своих предков. А впрочем, не все ли равно? Разве он в дни своей резвой юности поступал по-иному?

С минуту Коскуш вслушивался в тишину. Может быть, сердце его сына смягчится и он вернется назад с собаками и возьмет своего старика отца вместе со всем племенем туда, где много оленей с тучными от жира боками?

Коскуш напряг слух, его мозг на мгновение приостановил свою напряженную работу. Ни звука — тишина. Посреди полного молчания слышно лишь его дыхание. Какое одиночество! Чу! Что это? Дрожь пошла у него по телу. Знакомый протяжный вой прорезал безмолвие. Он раздался где-то близко. И перед незрячими глазами Коскуша предстало видение: лось, старый самец, с истер-

запными, окровавленными боками и взъерошенной гривой, гнет к низу большие ветвистые рога и отбивается ими из последних сил. Он видел мелькающие серые тела, горящие глаза, клыки, слюну, стекающую с языков. И он видел, как круг неумолимо сжимается все тесней и тесней, мало-помалу сливаясь в черное пятно посреди истоптанного снега.

Холодная морда ткнулась ему в щеку, и от этого прикосновения мысли его перенеслись в настоящее. Он протянул руку к огню и вытащил головешку. Уступая наследственному страху перед человеком, зверь отступил с протяжным воем, обращенным к собратьям. И они тут же ответили ему, и брызжущие слюной волчьи пасти кольцом сомкнулись вокруг костра. Старик прислушался, потом взмахнул головешкой, и фырканье сразу перешло в рычанье; звери не хотели отступать. Вот один подался грудью вперед, подтягивая за туловищем и задние лапы, потом второй, третий; но ни один не отступил назад. Зачем цепляться за жизнь? — спросил Коскуш самого себя и уронил пылающую головню на снег. Она зашипела и потухла. Волки тревожно зарычали, но не двигались с места. Снова Коскуш увидел последнюю битву старого лося и тяжело опустил голову на колени. В конце концов не все ли равно? Разве не таков закон жизни?

1901

КОСТЕР

День только занялся, холодный и серый — очень холодный и серый,— когда человек свернул с тропы, проложенной по замерзшему Юкону, и стал подниматься на высокий берег, где едва заметная тропинка вела на восток сквозь густой ельник. Подъем был крутой, и, взобравшись наверх, он остановился перевести дух, а чтобы скрыть от самого себя эту слабость, деловито посмотрел на часы. Стрелки показывали девять. Солнца не было, ни намека на солнце в безоблачном небе, и потому, хотя день был ясный, все кругом казалось подернутым неуловимой дымкой, словно прозрачная мгла затемнила дневной свет. Но человека это не тревожило. Он привык к отсутствию солнца. Оно давно уже не показывалось, и человек знал, что пройдет еще несколько дней, прежде чем лучезарный диск на своем пути к югу на мгновение выглянет из-за горизонта и тут же скроется с глаз.

Человек посмотрел через плечо в ту сторону, откуда пришел. Юкон, раскинувшись на милю в ширину, застыл под трехфутовым слоем льда. А лед был прикрыт такою же толстой пеленой снега. Девственно белый покров ложился волнистыми складками в ме-

стах ледяных заторов. К югу и к северу, насколько хватал глаз, была сплошная белизна; только очень тонкая темная линия, обогнув поросший ельником остров, извиваясь, уходила на юг и, так же извиваясь, уходила на север, где исчезала за другим, поросшим ельником островом. Это была тропа, снежная тропа, проложенная по Юкону, которая тянулась на пятьсот миль к югу до Чилкутского перевала, до Дайи и Соленой Воды, и на семьдесят миль к северу до Доусона, и еще на тысячу миль до Нулато, и дальше до Сент-Майкла на Беринговом море,— полторы тысячи миль снежного пути.

Но все это — таинственная, уходящая в бесконечную даль снежная тропа, чистое небо без солнца, трескучий мороз, необычный и зловещий колорит пейзажа — не пугало человека. Не потому, что он к этому привык. Он был чечако, новичок в этой стране, и проводил здесь первую зиму. Просто он, на свою беду, не обладал воображением. Он зорко видел и быстро схватывал явления жизни, но только явления, а не их внутренний смысл. Пятьдесят градусов ниже нуля означали восемьдесят с лишним градусов мороза. Такой факт говорил ему, что в пути будет очень холодно и трудно и больше ничего. Он не задумывался ни над своей уязвимостью, ни над уязвимостью всякого живого существа, способного жить только в строго ограниченных температурных пределах, и не пускался в догадки о возможном бессмертии или о месте человека во вселенной. Пятьдесят градусов ниже нуля предвещали жестокий холод, от которого нужно защитить себя рукавицами, наушниками, мокасинами и толстыми носками. Пятьдесят градусов ниже нуля были для него просто пятьдесят градусов ниже нуля. Мысль о том, что это может означать нечто большее, даже не приходила ему в голову.

Повернувшись лицом к тропинке, он задумчиво сплюнул длинным плевком. Раздался резкий внезапный треск, удививший его. Он сплюнул опять. И опять, еще в воздухе, прежде чем упасть на снег, слюна затрещала. Человек знал, что при пятидесяти градусах ниже нуля плевок трещит на снегу, но сейчас он затрещал в воздухе. Значит, мороз стал еще сильнее; насколько сильнее — он не знал. Но это неважно. Цель его пути — знакомый участок на левом рукаве ручья Гендерсона, где его поджидают товарищи. Они пришли туда по перевалу с берегов Индейской реки, а он пошел в обход, чтобы посмотреть, можно ли будет весной переправить сплавной лес с островов на Юконе. Он доберется до лагеря к шести часам. Правда, к этому времени уже стемнеет, но там его будут ждать товарищи, ярко пылающий костер и горячий ужин. А завтрак — здесь; он положил руку на сверток, оттопыривавший борт меховой куртки. Завтрак был завернут в носовой платок и засунут под рубашку. Иначе лепешки замерзнут. Он улыбнулся про

себя, с удовольствием думая о вкусном завтраке: пропитанные жиром лепешки были разрезаны пополам и переложены толстыми ломтями поджаренного сала.

Он вошел в густой еловый лес. Тропинка была еле видна. Должно быть, здесь давно никто не проезжал — снегу намело на целый фут, и он радовался, что не взял нарт, а идет налегке и что вообще ничего при нем нет, кроме завтрака, завернутого в носовой платок. Однако его удивляло, что так холодно. Очень скоро он почувствовал, что у него немеют нос и скулы. Мороз нешуточный, что и говорить, подумал он, растирая лицо рукавицей. Густые усы и борода предохраняли щеки и подбородок, но не защищали широкие скулы и нос, вызывающе выставленный навстречу морозу.

За человеком по пятам бежала ездовая собака местной породы, рослая, с серой шерстью, ни внешним видом, ни повадками не отличавшаяся от своего брата, дикого волка. Лютый мороз угнетал животное. Собака знала, что в такую стужу не годится быть в пути. Ее инстинкт вернее подсказывал ей истину, чем человеку его разум. Ведь было не только больше пятидесяти градусов, было больше шестидесяти, больше семидесяти. Было ровно семьдесят пять градусов ниже нуля. Так как точка замерзания по Фаренгейту находится на тридцать втором градусе выше нуля, то было полных сто семь градусов мороза. Собака ничего не знала о термометрах. Вероятно, в ее мозгу отсутствовало то ясное представление о сильном холоде, которое существует в человеческом мозгу. Но собаку предостерегал инстинкт. Ее охватывало смутное, но острое чувство страха; она понуро шла за человеком, ловя каждое его движение, словно ожидая, что он вернется в лагерь или укроется где-нибудь и разведет костер. Собака знала, что такое огонь, она жаждала огня, а уж если его нет — зарыться в снег и, свернувшись клубочком, сберечь свое тепло.

Пар от дыхания кристаллической пылью оседал на шерсти собаки; вся морда была густо покрыта инеем, даже ресницы побелели. Рыжая борода и усы человека тоже замерзли, но их покрывал не иней, а плотная ледяная корка, и с каждым выдохом она утолщалась. К тому же он жевал табак, и намордник изо льда так крепко стягивал ему губы, что он не мог сплюнуть, и табачный сок примерзал к нижней губе. Ледяная борода, плотная и желтая, как янтарь, становилась все длинней; если он упадет, она, точно стеклянная, рассыплется мелкими осколками. Но этот привесок на подбородке не смущал его. Такую дань в этом краю платили все жующие табак, а он уже дважды делал переходы в сильный мороз. Правда, не в такой сильный, как сегодня, однако спиртовой термометр на Шестидесятой Миле в первый раз показывал пятьдесят, а во второй — пятьдесят пять градусов ниже нуля.

Несколько миль он шел лесом по ровной местности, потом

пересек широкое поле, заросшее темным кустарником, и спустился к узкой замерзшей речке. Это и был ручей Гендерсона, отсюда до развилины оставалось десять миль. Он посмотрел на часы. Было ровно десять. Он делает четыре мили в час, значит, у развилины будет в половине первого. Он решил отпраздновать там это событие — сделать привал и позавтракать.

Собака, уныло опустив хвост, покорно поплелась за человеком, когда тот зашагал по замерзшему руслу. Старые борозды, оставленные партами, были ясно видны, но свежие следы полозьев дюймов на десять занесло снегом. Вероятно, целый месяц никто не проходил здесь ни вверх, ни вниз по течению. Человек уверенно шел вперед. Он не имел привычки предаваться размышлениям, и сейчас ему решительно не о чем было думать, кроме как о том, что, добравшись до развилины, он позавтракает, а в шесть часов будет в лагере среди товарищей. Разговаривать было не с кем; и все равно он не мог бы разжать губы, скованные ледяным намордником. Поэтому он продолжал молча жевать табак, и его янтарная борода становилась все длиннее.

Время от времени в его мозгу всплывала мысль, что мороз очень сильный, такой сильный, какого ему еще не приходилось переносить. На ходу он то и дело растирал рукавицей щеки и нос. Он делал это машинально, то одной рукой, то другой. Но стоило ему только опустить руку, как в ту же секунду щеки немели, а еще через секунду немел кончик носа. Щеки будут отморожены, он знал это и жалел, что не запасся повязкой для носа, вроде той, которую надевал Бэд, собираясь в дорогу. Такая повязка и щеки защищает от мороза. Но это, в сущности, не так важно. Ну, отморозит щеки, что ж тут такого? Поболят и перестанут, вот и все; от этого еще никто не умер.

Хотя человек шел, ни о чем не думая, он зорко следил за дорогой, отмечая каждое отклонение русла, все изгибы, повороты, все заторы сплавного леса, и тщательно выбирал место, куда поставить ногу. Однажды, огибая поворот, он шарахнулся в сторону, как испугавшаяся лошадь, сделал крюк и вернулся обратно на тропу. Он знал, что ручей Гендерсона замерз до самого дна — ни один ручей не устоит перед арктической зимой, но он знал и то, что есть ключи, которые бьют из горных склонов и протекают под снегом, по ледяной поверхности ручья. Самый лютый мороз бессилен перед этими ключами, и он знал, какая опасность таится в них. Это были ловушки. Под снегом скоплялись озерца глубиной в три дюйма, а то и в три фута. Иногда их покрывала ледяная корка в полдюйма толщиной, а корку в свою очередь покрывал снег. Иногда ледяная корка и вода перемежались, так что если путник проваливался, то он проваливался постепенно и, погружаясь, все глубже и глубже, случалось, промокал до пояса.

Вот почему человек так испуганно шарахнулся. Он почувствовал, что наст поддается под ногами, и услышал треск скрытой под снегом ледяной корки. А промочить ноги в такую стужу не только неприятно, но и опасно. В лучшем случае это вызовет задержку, потому что придется разложить костер, чтобы разуться и высушить носки и мокасины. Оглядев русло реки и берега, он решил, что ключ бежит справа. Он постоял немного в раздумье, потирая нос и щеки, потом взял влево, осторожно ступая, перед каждым шагом ногой проверяя крепость наста. Миновав опасное место, он засунул в рот свежую порцию табака и зашагал дальше со скоростью четырех миль в час.

В ближайшие два часа он несколько раз натыкался на такие ловушки. Обычно его предостерегал внешний вид снежного покрова: снег над озерцами был ноздреватый и словно засахаренный. И все-таки один раз он чуть было не провалился, а в другой раз, заподозрив опасность, заставил собаку идти вперед. Собака не хотела идти. Она пятилась назад до тех пор, пока человек не подогнал ее пинком. И тогда она быстро побежала по белому сплошному снегу. Вдруг ее передние лапы глубоко ушли в снег, она забарахталась и вылезла на безопасное место. Мокрые лапы мгновенно покрылись льдом. Собака стала торопливо лизать их, стараясь снять ледяную корку, потом легла в снег и принялась выкусывать лед между когтями. Она делала это, повинуясь инстинкту. Если оставить лед между когтями, то лапы будут болеть. Она этого не знала, она просто подчинялась таинственному велению, идущему из сокровенных глубин ее существа. Но человек знал, ибо составил себе суждение об этом на основании опыта, и, скинув рукавицу с правой руки, он помог собаке выломать кусочки льда. Пальцы его оставались неприкрытыми не больше минуты, и он поразился, как быстро они закоченели. Мороз нешуточный, что и говорить. Он поспешил натянуть рукавицу и начал яростно колотить рукой по груди.

К двенадцати часам стало совсем светло. Но солнце, совершая свой зимний путь, слишком далеко ушло к югу и не показывалось над горизонтом. Горб земного шара заслонял солнце от человека, который шел, не отбрасывая тени, по руслу ручья Гендерсона под полдневным безоблачным небом. В половине первого, минута в минуту, он достиг развилины ручья. Он порадовался тому, что так хорошо идет. Если не убавлять хода, то к шести часам наверняка можно добраться до товарищей. Он расстегнул куртку, полез за пазуху и достал свой завтрак. Это заняло не больше пятнадцати секунд, и все же его пальцы онемели. Он несколько раз сильно ударил голой рукой по ноге. Потом сел на покрытое снегом бревно и приготовился завтракать. Но боль в пальцах так скоро прошла, что он испугался. Не успев поднести лепешку ко рту, он опять

заколотил рукой по колену, потом надел рукавицу и оголил другую руку. Он взял ею лепешку, поднес ко рту, хотел откусить, но не мог — мешал ледяной намордник. Как же это он забыл, что нужно разложить костер и оттаять у огня. Он засмеялся над собственной глупостью и тут же почувствовал, что пальцы левой руки коченеют. И еще он заметил, что пальцы ног, которые больно заныли, когда он сел, уже почти не болят. Он не знал, отчего прошла боль: оттого ли, что ноги согрелись, или оттого, что они онемели. Он пошевелил пальцами в мокасинах и решил, что это онемение.

Ему стало не по себе, и, торопливо натянув рукавицу, он поднялся с бревна. Потом зашагал взад и вперед, сильно топая, чтобы отогреть пальцы ног. Мороз нешуточный, что и говорить, думал он. Тот старик с Серного ручья не соврал, когда рассказывал, какие здесь бывают холода. А он еще посмеялся над ним! Никогда не нужно быть слишком уверенным в себе. Что правда, то правда — мороз лютый. Он топтался на месте и молотил руками, пока возвращающееся тепло не рассеяло его тревоги. Потом достал спички и начал раскладывать костер. Топливо было под рукой; в подлесок во время весеннего разлива нанесло много валежника. Он действовал осторожно, бережно поддерживая слабый огонек, пока костер не запылал ярким пламенем. Ледяная корка на его лице растаяла, и, греясь у костра, он позавтракал. Он перехитрил мороз хотя бы на время. Собака, радуясь огню, растянулась у костра как раз на таком расстоянии, чтобы пламя грело ее, но не обжигало.

Кончив есть, человек набил трубку и спокойно, не спеша выкурил ее. Потом натянул рукавицы, поплотнее завязал тесемки наушников и пошел по левому рукаву ручья. Собака была недовольна, она не хотела уходить от костра. Этот человек явно не знал, что такое мороз. Может быть, все поколения его предков не знали, что такое мороз, мороз в сто семь градусов. Но собака знала, все ее предки знали, и она унаследовала от них это знание. И она знала, что не годится быть в пути в такую лютую стужу. В эту пору надо лежать, свернувшись клубочком, в норке под снегом, дожидаясь, пока безбрежное пространство, откуда идет мороз, не затянется тучами. Но между человеком и собакой не было дружбы. Она была его слугой, его рабом и никогда не видела от него ласки — только удары бича и хриплые, угрожающие звуки, предшествующие ударам. Поэтому собака не делала попыток поделиться с человеком своими опасениями. Она не заботилась о его благополучии, ради своего блага не хотела она уходить от костра. Но человек свистнул и заговорил с нею голосом, напомнившим ей о биче, и собака, повернувшись, пошла за ним по пятам.

Человек сунул в рот свежую жвачку и начал отращивать новую янтарную бороду. От его влажного дыхания усы, брови и рес-

ницы мгновенно заиндевели. На левом рукаве ручья Гендерсона, по-видимому, было меньше горных ключей, и с полчаса путник не видел угрожающих примет.

А потом случилась беда. На ровном сплошном снегу, где ничто не предвещало опасности, где снежный покров, казалось, лежал толстым, плотным слоем, человек провалился. Здесь было не очень глубоко. Он промочил ноги до середины икр, пока выбирался на твердый наст.

Неудача разозлила его, и он выругался вслух. Он надеялся быть в лагере среди товарищей к шести часам, а теперь запоздает на целый час, потому что придется разложить костер и высушить обувь. Иначе нельзя при такой низкой температуре — это он, по крайней мере, знал твердо; он повернул к высокому берегу и вскарабкался на него. В молодом ельнике, среди кустов, нашлось хорошее топливо — не только прутья и ветки, но и много сухих сучьев и высохшей прошлогодней травы. Он бросил на снег несколько палок потолще, чтобы дать костру прочное основание и чтобы слабое, еще не разгоревшееся пламя не погасло в растаявшем под ним снегу. Потом достал из кармана завиток березовой коры и поднес к нему спичку. Кора вспыхнула, как бумага. Положив ее на толстые сучья, он стал подкладывать в огонь сухие травинки и самые тонкие сухие прутики.

Он работал медленно и осторожно, ясно понимая грозившую ему опасность. Мало-помалу, по мере того как пламя разгоралось, он стал подкладывать прутья потолще. Он сидел в снегу на корточках, выдергивал хворостинки из кустарника и клал их в костер. Он знал, что должен с первого раза развести огонь. Когда термометр показывает семьдесят пять ниже нуля, человек должен без задержки разжечь костер, если у него мокрые ноги. Если ноги сухие, он может пробежать с полмили и восстановить кровообращение. Но никакой пробежкой не восстановишь кровообращения в мокрых, коченеющих ногах при семидесяти пяти градусах ниже нуля. Как быстро ни беги, мокрые ноги будут только еще пуще мерзнуть.

Все это человек знал. Тот старик с Серного ручья говорил ему об этом осенью, и теперь он оценил его совет. Он уже совсем не чувствовал ног. Чтобы разложить костер, ему пришлось снять рукавицы, и пальцы тотчас же онемели. При быстрой ходьбе со скоростью четырех миль в час сердце накачивало кровью все сосуды, тепло было и рукам и ногам. Но как только он остановился, подача крови прекратилась. Полярный холод обрушился на незащищенную точку земного шара, и человек, находясь в этой незащищенной точке, принял на себя всю силу ударов. Кровь в его жилах отступала перед ними. Кровь была живая, так же как его собака, и, так же, как собаку, ее тянуло спрятаться, укрыться от страшного

холода. Пока он делал четыре мили в час, кровь волей-неволей приливала к конечностям, но теперь она отхлынула, ушла в тайники его тела. Пальцы рук и ног первые почувствовали отлив крови. Мокрые ноги стыли все сильнее, пальцы оголенных рук все сильнее мерзли, хотя он еще мог двигать ими. Нос и щеки уже мертвели, и по всему телу, не согреваемому кровью, пробегала дрожь.

Но он спасен. Пальцы ног, щеки и нос будут только обморожены, ведь костер уже разгорается. Теперь он подбрасывал ветки толщиной с палец. Еще минута — и можно будет класть сучья толщиной с запястье, и тогда он скинет мокрую обувь и, пока она будет сохнуть, отогреет ноги у костра, после того, конечно, как разотрет их снегом. Костер удался на славу. Он спасен. Он вспомнил советы старика на Серном ручье и улыбнулся. Как упрямо он твердил, что нельзя в одиночку пускаться в путь по Клондайку, если мороз сильнее пятидесяти градусов! И что же? Лед под ним проломился, он совсем один и все-таки спасся. Эти бывалые старики, подумал он, частенько трусливы, как бабы. Нужно только не терять головы, и все будет в порядке. Настоящий мужчина и один всегда справится. Но странно, что щеки и нос так быстро мерзнут. И он никак не думал, что руки мгновенно омертвеют. Он едва шевелил пальцами, с большим трудом удерживал в них сучья, и ему казалось, что руки где-то очень далеко от него и не принадлежат к его телу. Когда он хватался за сучок, ему приходилось смотреть на руку, чтобы убедиться, что он действительно подобрал его. Связь между ним и кончиками его пальцев была прервана.

Но все это не важно. Перед ним костер, он шипит и потрескивает, и каждый пляшущий язычок сулит жизнь. Он принялся развязывать мокасины. Они покрылись ледяной коркой, толстые шерстяные носки, словно железные ножны, сжимали икры, а завязки мокасин походили на клубок побывавших в огне, исковерканных стальных прутьев. С минуту он дергал их онемевшими пальцами, потом, поняв, что это бессмысленно, вытащил нож.

Но он не успел перерезать завязки — беда случилась раньше. Это была его вина, вернее, оплошность. Напрасно он разложил костер под елью. Следовало разложить его на открытом месте. Правда, так было удобнее вытаскивать хворост из кустарника и прямо класть в огонь. Но на ветках ели, под которой он развел огонь, лежал снег. Ветра не было очень давно, и снегу на ветвях скопилось много. Каждый раз, когда он выдергивал хворост из кустов, ель слегка сотрясалась — едва заметно для него, но достаточно сильно, чтобы вызвать катастрофу. Одна из верхних ветвей сбросила свой груз снега. Он упал на ветви пониже, увлекая за собой их груз. Так продолжалось до тех пор, пока снег не посыпался со всего дерева. Этот снежный обвал внезапно обрушился

на человека и на костер, и костер погас! Там, где только что горел огонь, лежал свежий слой рыхлого снега.

Человеку стало страшно. Словно он услышал свой смертный приговор. С минуту он сидел не шевелясь, пристально глядя на засыпанный снегом костер. Потом вдруг сделался очень спокоен. Быть может, старик на Серном ручье все-таки был прав. Будь у него спутник, ему не грозила бы опасность. Спутник развел бы костер. Что ж, значит, надо самому сызнова приниматься за дело, и на этот раз ошибки быть не должно. Даже если ему удастся развести огонь, он, вероятно, лишится нескольких пальцев на ногах. Ноги, наверно, сильно обморожены, а новый костер разгорится не скоро.

Таковы были его мысли, но он не предавался им в бездействии. Он усердно работал, пока они мелькали у него в голове. Он сложил новое основание для костра, теперь уже на открытом месте, где ни одна предательская ель не могла загасить его. Потом набрал прошлогодней травы и сушняку из подлеска. Пальцы его не двигались, поэтому он не выдергивал отдельные веточки, а собирал их горстями. Попадалось много гнилушек и комков зеленого мха, которые для костра не годились, но другого выхода у него не было. Он работал методически, даже набрал охапку толстых сучьев, чтобы подкладывать в огонь, когда костер разгорится. А собака сидела на снегу и неотступно следила за человеком тоскливым взглядом, ибо она ждала, что он даст ей огонь, а огня все не было.

Приготовив топливо, человек полез в карман за вторым завитком березовой коры. Он знал, что кора в кармане, и, хотя не мог осязать ее пальцами, все же слышал, как она шуршит под рукой. Сколько он ни бился, он не мог схватить ее. И все время его мучила мысль, что ноги у него коченеют сильней и сильней. От этой мысли становилось нестерпимо страшно, но он гнал ее и преодолевал страх. Он зубами натянул рукавицы и, сначала сидя, а потом стоя, принялся изо всех сил колотить руками по бедрам; а собака сидела на снегу, обвив пушистым волчьим хвостом передние лапы, насторожив острые волчьи уши, и пристально глядела на человека. И человек, размахивая руками и колотя ладонями по бедрам, чувствовал, как в нем подымается жгучая зависть к животному, которому было тепло и надежно в его природном одеянии.

Немного погодя он ощутил первые отдаленные признаки чувствительности в кончиках пальцев. Слабое покалывание становилось все сильнее, пока не превратилось в невыносимую боль, но он обрадовался ей. Он скинул рукавицу с правой руки и вытащил кору из кармана. Голые пальцы тотчас же стали неметь. Потом он достал связку серных спичек. Но леденящее дыхание мороза уже сковало его пальцы. Пока он тщетно пытался отделить

одну спичку, вся связка упала в снег. Он хотел поднять ее, но не мог. Омертвевшие пальцы не могли ни нащупать спички, ни схватить их. Он старался не спешить. Он заставил себя не думать об отмороженных ногах, скулах и носе и сосредоточил все внимание на спичках. Он следил глазами за своей рукой, пользуясь зрением вместо осязания и, увидев, что пальцы обхватили связку, сжал их, вернее, захотел сжать, но связь была прервана, и пальцы не повиновались его воле. Он натянул рукавицу и яростно начал бить рукой по бедру. Потом обеими руками сгреб спички вместе со снегом себе на колени. Но этого было мало.

После долгой возни ему удалось зажать спички между ладонями и поднести их ко рту. Лед затрещал, разламываясь, когда он нечеловеческим усилием разжал челюсти. Он втянул нижнюю губу, приподнял верхнюю и зубами стал отделять спичку. Наконец это удалось, и спичка упала ему на колени. Но и этого было мало. Он не мог подобрать ее. Потом выход нашелся. Он схватил спичку зубами и стал тереть о штанину. Раз двадцать провел он спичкой по ноге, раньше чем она зажглась. Когда пламя вспыхнуло, он, все еще держа спичку в зубах, поднес ее к березовой коре. Но едкий дым горящей серы попал ему в ноздри и в легкие, и он судорожно закашлялся. Спичка упала в снег и погасла.

Старик был прав, подумал он, подавляя отчаяние: если температура ниже пятидесяти градусов, нужно идти вдвоем. Он снова заколотил руками, но они не оживали. Тогда он зубами стащил рукавицы с обеих рук, и подобрал ладонями всю связку спичек. Мышцы предплечья не замерзли, и, напрягая их, он крепко сжал спички в ладонях. Потом провел всей связкой по штанине. Вспыхнуло яркое пламя — семьдесят серных спичек запылали, как одна! И ни малейшего ветра, можно было не опасаться, что ветер задует огонь. Он отвернул голову, чтобы не вдохнуть удушливый дым, и поднес пылающую связку к березовой коре. Вдруг он почувствовал, что пальцы правой руки оживают. Запахло горелым мясом. Где-то глубоко под кожей он ощущал жжение. Потом жжение превратилось в острую боль. Но он терпел, стиснув зубы, неловко прижимая горящие спички к коре; его собственные руки заслоняли пламя, и кора не вспыхивала.

Наконец, когда боль стала нестерпима, он разжал руки. Пылающая связка с шипением упала в снег, но кора уже горела. Он начал подкладывать в огонь сухие травинки и тончайшие прутики. Выбирать топливо он не мог, потому что ему приходилось поднимать его ладонями. Замечая на хворосте налипший мох или труху, он отгрызал их зубами. Он бережно и неловко выхаживал огонь. Огонь — это жизнь, и его нельзя упускать. Отлив крови от поверхности тела вызвал озноб, и движения человека становились все более неловкими. И вот большой ком зеленого мха при-

давил едва разгоревшийся огонек. Он хотел сбросить его, но руки дрожали от озноба, и он, ковырнув слишком глубоко, разрушил слабый зародыш костра — тлеющие травинки, и прутики рассыпались во все стороны. Он хотел снова сложить их, но как ни старался, не мог преодолеть дрожи, и крохотный костер разваливался. Хворостинки одна за другой, пыхнув дымком, угасали. Податель огня не выполнил своей задачи. Когда человек с равнодушием отчаяния посмотрел вокруг, взгляд его случайно упал на собаку, сидевшую в снегу напротив него, по другую сторону остатков костра; сгорбившись, она беспокойно ерзала, поднимая то одну, то другую переднюю лапу, и выжидательно, с тоской смотрела на него.

Вид собаки навел его на безумную мысль. Он вспомнил рассказ о человеке, который был застигнут пургой и спасся тем, что убил вола и забрался внутрь туши. Он убьет собаку и погрузит руки в ее теплое тело, чтобы они согрелись и ожили. Тогда он разложит новый костер. Он заговорил с собакой, подзывая ее; но его голос звучал боязливо, и это испугало животное, потому что человек никогда не говорил с ней таким голосом. Что-то было неладно, врожденная подозрительность помогла ей почуять опасность. Она не знала, какая это опасность, но где-то в глубине ее сознания зашевелился смутный страх перед человеком. Она опустила уши и еще беспокойнее заерзала, переступая передними лапами, но с места не трогалась. Тогда человек стал на четвереньки и пополз к собаке. Это еще больше испугало ее, и она опасливо подалась в сторону.

Человек сел на снегу, стараясь вернуть себе спокойствие. Потом зубами стянул рукавицы и встал. Прежде всего он посмотрел вниз, чтобы убедиться, что он действительно стоит, потому что онемевшие ноги не чувствовали земли. Стоило ему встать на ноги, как подозрения собаки рассеялись, а когда он повелительно заговорил с ней голосом, напомнившим ей о биче, она выполнила привычный долг и подошла к нему. Как только она очутилась в двух шагах от него, самообладание покинуло человека. Он бросился на собаку — и искренне удивился, когда оказалось, что руки его не могут хватать, пальцы не сгибаются и не держат. Он забыл, что они отморожены и все больше и больше мертвеют. Но в ту же секунду, прежде чем собака успела убежать, он стиснул ее в объятиях. Потом сел на снег, прижимая ее к себе, а животное вырывалось, рыча и взвизгивая.

Но это было все, что он мог сделать: сидеть на снегу и сжимать собаку в объятиях. Он понимал, что ему не убить ее. Это было невозможно. Своими обессиленными руками он не мог ни ударить ее ножом, ни задушить. Он выпустил собаку, и она кинулась прочь, поджав хвост и все еще рыча. Шагах в двадцати она оста-

новилась и с любопытством, подняв уши, оглянулась на него. Он искал глазами свои руки и, только скользнув взглядом от локтя к запястью, нашел их. Странно, что приходится полагаться на зрение, чтобы найти свои руки. Он начал неистово размахивать ими, колотя себя ладонями по бедрам. Через пять минут кровь быстрее побежала по жилам и озноб прекратился. Но кисти рук по-прежнему не действовали; у него было такое ощущение, словно они гирями висят на запястьях. Откуда взялось это ощущение, он не мог бы сказать.

Гнетущая мысль о грозящей гибели сначала лишь смутно и тупо шевельнулась в его мозгу. Но очень скоро этот неопределенный страх превратился в мучительное сознание смертельной опасности: речь шла уже не о том, отморозит ли он пальцы на руках и ногах, и даже не о том, лишится ли он рук и ног,— теперь это был вопрос жизни и смерти, и надежды на спасение почти не было. Его охватил панический ужас. Он повернулся и побежал по занесенной снегом тропе. Собака последовала за ним. Он бежал без мысли, без цели, во власти такого страха, какого ему еще никогда не приходилось испытывать. Мало-помалу, пока он бежал, спотыкаясь и увязая в снегу, он снова начал различать окружающее: берега реки, заторы сплавного леса, голые осины, небо над головой. От бега ему стало легче. Он уже не дрожал от холода. Может быть, если и дальше так бежать, ноги отойдут; может быть, он даже сумеет добежать до лагеря, где его ждут товарищи. Конечно, несколько пальцев на руках и ногах пропали, и лицо обморожено, но товарищи позаботятся о нем и спасут, что еще можно спасти. И в то же время сознание говорило ему, что никогда он не доберется до товарищей, что до лагеря слишком далеко, что ноги его слишком закоченели и что скоро он будет мертв и недвижим. Но он не позволял этой мысли всплыть на поверхность и отказывался верить ей. Иногда она вырывалась наружу и требовала внимания, но он отталкивал ее и изо всех сил старался думать о другом.

Его удивляло, что он вообще может бежать, потому что ноги совсем омертвели и он не чувствовал, как они несут его тяжесть и как касаются земли. Тело словно скользило по тропе, не задевая ее. Он как-то видел на картинке крылатого Меркурия, и ему пришло в голову, что, должно быть, у Меркурия было такое же ощущение, когда он скользил над землей.

В его плане добежать до лагеря имелся существенный изъян,— у него не было сил выполнить его. Он то и дело оступался, потом ноги стали заплетаться, и, наконец, он свалился в снег. Встать он уже не мог. Надо посидеть и отдохнуть, решил он, а потом просто пойти шагом. Посидев и отдышавшись, он почувствовал, что хорошо согрелся. Его не знобило, и в груди даже разливались приятное тепло. Но, дотронувшись до щек и носа, он убе-

дился, что они все еще бесчувственны. Даже от бега они не отошли. Не отошли и руки и ноги. Потом его поразила мысль, что отмороженных мест на его теле, вероятно, становится все больше. Он хотел отогнать эту мысль, забыть ее, старался думать о другом; он понимал, что это внушает ему ужас, и боялся поддаться ужасу. Но мысль не уходила, она сверлила мозг, пока он не увидел себя полностью закоченевшим. Это было свыше его сил, и он снова, как безумный, бросился бежать по снежной тропе. Потом перешел было на шаг, но мысль о том, что он замерзнет насмерть, подгоняла его.

А собака неотступно бежала за ним по пятам. Когда он упал во второй раз, она села против него, обвив хвостом передние лапы, зорко и настороженно приглядываясь к нему. Увидев собаку, которой было тепло и надежно в ее шкуре, он пришел в ярость и до тех пор неистово ругал ее, пока она не повесила уши, словно прося прощения. На этот раз озноб охватил его быстрее, чем после первого падения. Мороз брал верх над ним, вползал в его тело со всех сторон. Он принудил себя встать, но, не пробежав и ста футов, зашатался и со всего роста грохнулся оземь. Это был его последний приступ страха. Отдышавшись и придя в себя, он сел на снег и стал готовиться к тому, чтобы встретить смерть с достоинством. Впрочем, он думал об этом не в таких выражениях. Он говорил себе, что нет ничего глупее, чем бегать, как курица с отрезанной головой,— именно это сравнение пришло ему на ум. Ну что же, раз все равно суждено замерзнуть, то лучше уж держать себя пристойно. Вместе с этим внезапно обретенным покоем пришли первые предвестники сонливости. Неплохо, подумал он, заснуть насмерть. Точно под наркозом. Замерзнуть вовсе не так страшно, как думают. Бывает смерть куда хуже.

Он представил себе, как товарищи завтра найдут его, и вдруг увидел самого себя: он идет вместе с ними по тропе, разыскивая свое тело. И вместе с ними он огибает поворот дороги и видит себя лежащим на снегу. Он отделился от самого себя и, стоя среди товарищей, смотрит на свое распростертое тело. А мороз нешуточный, что и говорить. Вот вернусь в Штаты и расскажу дома, что такое настоящий холод, подумал он. Потом ему примерещился старик с Серного ручья. Он ясно видел его: тот сидел, греясь у огня, и спокойно покуривал трубку.

— Ты был прав, старый хрыч, безусловно прав,— пробормотал он, обращаясь к старику.

Потом он погрузился в такой сладостный и успокоительный сон, какого не знавал за всю свою жизнь. Собака сидела против него и ждала. Короткий день угасал в долгих, медлительных сумерках. Костра не предвиделось, и, кроме того, опыт подсказывал собаке, что не бывает так, чтобы человек сидел на снегу и не раз-

водил огня. Когда сумерки сгустились, тоска по огню с такой силой овладела собакой, что она, горбясь и беспокойно переступая лапами, тихонько заскулила и тут же прижала уши в ожидании сердитого окрика. Но человек молчал. Немного погодя собака заскулила громче. Потом, подождав еще немного, подползла к человеку и почуяла запах смерти. Собака попятилась от него, шерсть у нее встала дыбом. Она еще помедлила, протяжно воя под яркими звездами, которые кувыркались и приплясывали в морозном небе. Потом повернулась и быстро побежала по снежной тропе к знакомому лагерю, где были другие податели корма и огня.

1902

НАМ-БОК — ЛЖЕЦ

— Байдарка, правда байдарка! Байдарка, и в ней человек! Глядите, как он неуклюже ворочает веслом!

Старая Баск-Ва-Ван приподнялась на колени, дрожа от слабости и волнения, и посмотрела в море.

— Нам-Бок всегда неуклюже работал веслом,— пробормотала она в раздумье, прикрыв ладонью глаза от солнца и глядя на сверкающую серебром поверхность воды.— Нам-Бок всегда был неуклюжий. Я помню...

Но женщины и дети громко расхохотались, и в их хохоте слышалась добродушная насмешка; голос старухи затих, и только губы шевелились беззвучно.

Кугах оторвался от своей работы (он был занят резьбой по кости), поднял голову и посмотрел туда, куда указывал взгляд Баск-Ва-Ван. Да, это была байдарка, и она шла к берегу, хотя временами ее и относило далеко в сторону. Сидевший в ней греб решительными, но неумелыми движениями и приближался зигзагообразно, с трудом преодолевая сопротивление. Голова Кугаха снова склонилась над работой, и на моржовом клыке он вырезал спинной плавник такой рыбы, какие никогда не плавали ни в одном море.

— Это, наверно, резчик из соседнего селения едет посоветоваться со мной, как вырезывать на кости разные изображения,— сказал он наконец.— Но он неуклюжий человек. Никогда он не научится.

— Это Нам-Бок,— повторила старая Баск-Ва-Ван.— Неужели я не узнаю своего сына? — раздраженно выкрикнула она.— Говорю вам: это Нам-Бок.

— Ты это говорила каждое лето,— ласково стала увещевать ее одна из женщин.— Чуть только море очистится ото льда, ты

садилась на берегу и целыми днями смотрела в море; и про всякую лодку ты говорила: «Это Нам-Бок». Нам-Бок умер, о Баск-Ва-Ван, а мертвые не возвращаются. Невозможно, чтобы мертвый вернулся.

— Нам-Бок! — закричала старуха так громко и пронзительно, что все с удивлением оглянулись на нее.

Шатаясь, она встала на ноги и заковыляла по песку. По дороге она споткнулась о лежавшего на солнышке младенца, мать бросилась унимать его и пустила вслед старухе грубые ругательства, но та не обратила на нее внимания. Ребятишки, обгоняя ее, помчались к берегу, а когда байдарка, едва не опрокинувшись из-за неловкости гребца, подъехала ближе, за ребятишками потянулись и женщины. Кугах отложил моржовый клык в сторону и тоже пошел, тяжело опираясь на свою дубинку, а за ним, по двое и по трое, двинулись мужчины.

Байдарка повернулась бортом, и ее непременно захлестнуло бы прибоем, если б один из голых юнцов не вбежал в воду и не вытащил ее за нос далеко на песок. Человек поднялся и пытливо оглядел стоявших перед ним жителей селения. Полосатая фуфайка, грязная и изношенная, свободно облегала его широкие плечи, шея по-матросски была повязана красным бумажным платком. Рыбачья шапка на коротко остриженной голове, грубые бумажные штаны и тяжелые сапоги дополняли его наряд.

Несмотря на все это, он был удивительным явлением для этих простых рыбаков с дельты Великого Юкона; всю жизнь перед глазами у них было Берингово море, и за все это время они видели только двух белых — переписчика населения и заблудившегося иезуитского священника. Они были народ бедный — ни золота в их земле не было, ни ценных мехов на продажу, поэтому белые и близко не подходили к их берегу. К тому же в этой стороне моря тысячелетиями скоплялись наносы горных пород Аляски, так что корабли садились на мель, даже еще не увидав земли. Вследствие этого болотистое побережье с его глубокими заливами и множеством низменных островков никогда не посещалось большими кораблями белых людей и рыбачье племя не имело понятия об их существовании.

Кугах-резчик внезапно стал отступать, зацепился за собственную дубинку и упал.

— Нам-Бок! — закричал он, отчаянно барахтаясь и стараясь подняться.— Нам-Бок, унесенный морем, вернулся!

Мужчины и женщины попятились, ребятишки обратились в бегство, прошмыгнув между ног взрослых. Один Опи-Куон, как и подобает старшине селения, проявил храбрость. Он вышел вперед и долго и внимательно разглядывал пришельца.

— Это в самом деле Нам-Бок,— сказал он наконец, и женщины, поняв по его голосу, что сомнений больше нет, завыли от суеверного ужаса и отступили еще дальше.

Губы пришельца нерешительно раскрылись, и смуглое горло задвигалось, силясь вытолкнуть застревавшие слова.

— Ля-ля, это Нам Бок! — бормотала Баск-Ва-Ван, заглядывая ему в лицо.— Я всегда говорила, что Нам-Бок вернется.

— Да, Нам-Бок вернулся.

На этот раз говорил сам Нам-Бок; он перешагнул через борт байдарки и стоял одной ногой на суше, другой — на своем суденышке. Опять его горло задвигалось и напряглось, и видно было, что он с трудом подыскивает забытые слова. И когда он их наконец выговорил, они были странны на слух и гортанные звуки сопровождались каким-то причмокиванием.

— Привет, о братья,— сказал он,— братья тех лет, когда я жил среди вас и попутный ветер еще не унес меня в море.

Он ступил на песок и другой ногой, но Опи-Куон замахал на него руками.

— Ты умер, Нам-Бок,— сказал он.

Нам-Бок рассмеялся.

— Взгляни, какой я толстый.

— Мертвые не бывают толстыми,— согласился Опи-Куон.— Ты хорошо упитан, но это странно. Еще ни один человек, ушедший с береговым ветром, не возвращался по пятам лет.

— Я возвратился,— просто ответил Нам-Бок.

— Тогда, быть может, ты — тень. Проходящая тень Нам-Бока, который был. Тени возвращаются.

— Я голоден. Тени не едят.

Но Опи-Куон был смущен и в мучительном сомнении провел рукой по лбу. Нам-Бок тоже был смущен; он обводил глазами лица стоявших перед ним рыбаков и в них не видел привета. Мужчины и женщины шепотом переговаривались между собой. Дети робко жались за спины старших, а собаки, ощетинившись, показывали ему клыки и подозрительно нюхали воздух.

— Я родила тебя, Нам-Бок, и кормила тебя грудью, когда ты был маленький,— жалостливо молвила Баск-Ва-Ван, подходя ближе.— И тень ты или не тень, я и теперь дам тебе поесть.

Нам-Бок шагнул было к ней, но испуганные и угрожающие возгласы заставили его остановиться. Он сказал на непонятном языке что-то очень похожее на «о черт!» и добавил:

— Я человек, а не тень.

— Что можно знать, когда дело касается неведомого? — спросил Опи-Куон отчасти у самого себя, отчасти обращаясь к своим соплеменникам.— Сейчас мы есть, но один вздох — и нас нет. Если человек может обратиться в тень, то почему тень не может

сбратиться в человека? Нам-Бок был, но его нет. Это мы знаем, но мы не знаем — Нам-Бок ты или его тень?

Нам-Бок откашлялся и ответил так:

— В давно прошедшие времена, Опи-Куон, отец твоего отца ушел и возвратился по пятам лет. И ему не отказали в месте у очага. Говорили...— Он значительно помолчал, и все замерли, ожидая, что он скажет.— Говорили,— повторил он внушительно, рассчитывая на эффект своих слов,— что Сипсип, его жена, принесла ему двоих сыновей после его возвращенья.

— Но он не вверялся береговому ветру,— возразил Опи-Куон.— Он ушел в глубь суши, а это так уж положено, что по суше человек может ходить сколько угодно.

— Так же точно и по морю. Но не в том дело. Говорили... будто отец твоего отца рассказывал удивительные истории о том, что он видел.

— Да, он рассказывал удивительные истории.

— Мне тоже есть что порассказать,— хитро заявил Нам-Бок. И, заметив колебания слушателей, добавил: — Я привез и подарки.

Он достал из своей лодки шаль дивной мягкости и окраски и набросил ее на плечи матери. У женщин вырвался дружный вздох восхищения, а старая Баск-Ва-Ван стала щупать и гладить рукой яркую ткань, напевая от восторга, как ребенок.

— У него есть что рассказать,— пробормотал Кугах.

— И он привез подарки,— откликнулись женщины.

Опи-Куон видел, что его соплеменникам не терпится послушать чудесные рассказы, да и его самого разбирало любопытство.

— Улов был хороший,— сказал он рассудительно,— и жира у нас вдоволь. Так пойдем, Нам-Бок, попируем.

Двое мужчин взвалили байдарку на плечи и понесли ее к костру. Нам-Бок шел рядом с Опи-Куоном, прочие жители селения следовали за ними, и только несколько женщин задержались на минутку, чтобы любовно потрогать шаль.

Пока шел пир, разговору было мало, зато много любопытных взглядов украдкой было брошено на сына Баск-Ва-Ван. Это стесняло его, но не потому, что он был скромного нрава, а потому, что вонь тюленьего жира лишила его аппетита; ему же во что бы то ни стало хотелось скрыть это обстоятельство.

— Ешь, ты голоден,— приказал Опи-Куон, и Нам-Бок, закрыв глаза, сунул руку в горшок с тухлой рыбой.

— Ля-ля, не стесняйся. Тюленей этот год было много, а сильные мужчины всегда голодны.

И Баск-Ва-Ван обмакнула в жир особенно отвратительный кусок рыбы и, закапав все кругом, нежно протянула его сыну.

Однако некоторые зловещие симптомы скоро оповестили

Нам-Бока, что желудок его не так вынослив, как в былые времена, и он в отчаянии поспешил набить трубку и закурить. Люди шумно ели и наблюдали за ним. Немногие из них могли похвастаться близким знакомством с этим драгоценным зельем, хотя оно порой попадало к ним — понемножку и самого скверного сорта — от северных эскимосов в обмен на другие товары. Кугах, сидевший рядом с ним, дал ему понять, что и он не прочь бы разок затянуться, и в промежутке между двумя кусками рыбы вложил в рот янтарный мундштук и принялся посасывать его вымазанными жиром губами. Увидав это, Нам-Бок дрожащей рукой схватился за живот и отвел протянутую обратно трубку. Пусть Кугах оставит трубку себе, сказал он, потому что он с самого начала намеревался почтить его этим подношением. И все стали облизывать пальцы и хвалить щедрость Нам-Бока.

Опи-Куон поднялся.

— А теперь, о Нам-Бок, пир кончен, и мы хотим послушать об удивительных вещах, которые ты видел.

Рыбаки захлопали в ладоши и, разложив около себя свою работу, приготовились слушать. Мужчины строгали копья и занимались резьбой по кости, а женщины соскабливали жир с котиковых шкур и разминали их или шили одежду нитками из сухожилий. Нам-Бок окинул взглядом всю эту картину и не увидел в ней той прелести, какую, по воспоминаниям, ожидал найти. В годы своих скитаний он с удовольствием рисовал себе такую именно картину, но сейчас, когда она была перед его глазами, он чувствовал разочарование. Убогая и жалкая жизнь, думалось ему; она не идет ни в какое сравнение с жизнью, к которой он теперь привык. Все-таки кое-что он им расскажет, он откроет им глаза, и при этой мысли у него у самого глаза заблестели.

— Братья,— начал он с благодушным самодовольством человека, готовящегося рассказать о своих подвигах.— Братья, когда много лет назад я ушел от вас, было позднее лето и погода стояла такая точно, какая обещает быть сейчас. Вы все помните тот день — чайки летали низко, с суши дул сильный ветер, и я был бессилен против него на своей байдарке. Я плотно затянул покрышку, чтобы вода не попала внутрь, и всю ночь боролся с бурей. А утром земли уже не было видно — одно море, и ветер с суши по-прежнему крепко держал меня в руках и гнал перед собой. Три раза ночь сменялась бледным рассветом, а земли все не было видно, и береговой ветер все не отпускал меня. И когда наступил четвертый день, я был как безумный. Я не мог работать веслом, потому что ослабел от голода, а голова моя кружилась и кружилась — так меня мучила жажда. Но море уже утихло и дул теплый южный ветер, и когда я посмотрел вокруг, то увидел такое зрелище, что подумал, не сошел ли я и вправду с ума.

Нам-Бок остановился, чтобы вытащить волоконце лососины, застрявшее в зубах, а окружавшие его мужчины и женщины ждали, праздно опустив руки и вытянув шеи.

— Это была лодка, большая лодка. Если все лодки, какие я когда-либо видел, сложить в одну лодку, она все-таки не будет такая большая.

Послышались возгласы сомнения, и Кугах, насчитывавший много лет жизни, покачал головой.

— Если б каждая байдарка была все равно что песчинка,— продолжал утверждать Нам-Бок,— и если б байдарок было столько, сколько есть песчинок на этот берегу, и то из них не составилась бы такая большая лодка, какую я увидал на четвертый день. Это была очень большая лодка, и называлась она шхуна. Я увидел, что эта чудесная лодка, эта большая шхуна идет прямо на меня, а на ней люди...

— Стой, о Нам-Бок! — воскликнул Опи-Куон.— Какие это были люди? Большие люди?

— Нет, они были, как ты и я.

— Большая лодка шла быстро?

— Да.

— Лодка была большая, люди маленькие,— отметил для точности эти данные Опи-Куон.— И люди гребли длинными веслами?

Нам-Бок усмехнулся.

— Весел не было вовсе,— сказал он.

Разинутые рты открылись еще шире, и наступила продолжительная тишина. Опи-Куон попросил у Кугаха трубку и несколько раз задумчиво затянулся. Одна из молодых женщин нервно хихикнула, чем навлекла на себя гневные взгляды.

— Значит, весел не было? — тихо спросил Опи-Куон, возвращая трубку.

— Южный ветер дул сзади,— пояснил Нам-Бок.

— Но от одного ветра быстро не поплывешь.

— У шхуны были крылья — вот так.

Он набросал на песке схему мачт и парусов, и мужчины столпились вокруг и стали изучать ее. Дул резкий ветер, и для большей наглядности Нам-Бок схватил за концы материнскую шаль и растянул ее против ветра, так что она надулась, как парус. Баск-Ва-Ван отбивалась, бранясь, но внезапно ветер подхватил ее и понес к берегу; шагах в двадцати, еле дыша, она упала на кучу прибитых морем щепок. Мужчины крякали с понимающим видом, но Кугах вдруг откинул назад свою седую голову.

— Хо! Хо! — расхохотался он.— Одна глупость эта твоя большая лодка! Чистая глупость! Игрушка ветра! Куда ветер, туда и она. Ни один человек в этой лодке не знает, к какому берегу ему придется пристать, потому что она плывет всегда по ветру, а ве-

тер дует куда ему вздумается, и никому не известно, в какую сторону он подует сейчас.

— Да, это так,— важно подтвердил Опи-Куон.— По ветру идти легко, но когда ветер противный, человеку приходится сильно бороться; а раз весел у этих людей на большой лодке не было, значит, они вовсе не могли бороться.

— Очень им нужно было бороться! — сердито воскликнул Нам-Бок.— Шхуна идет и против ветра.

— А что, ты говорил, заставляет шх... шх... шхуну двигаться? — спросил Кугах, нарочно запинаясь на незнакомом слове.

— Ветер,— последовал нетерпеливый ответ.

— Ветер заставляет шх... шх... шхуну двигаться против ветра? — Тут старый Кугах без стеснения подмигнул Опи-Куону и под общий смех продолжал: — Ветер дует с юга, а шхуну гонит на юг. Ветер дует против ветра. Ветер дует сразу и в ту и в другую сторону. Это очень просто. Мы поняли, Нам-Бок. Мы ясно поняли.

— Ты — дурак!

— Уста твои говорят правду,— ответил Кугах кротко.— Я слишком долго не мог понять самую простую вещь.

Лицо Нам-Бока помрачнело, и он быстро проговорил какие-то слова, которых раньше они никогда не слыхали. Все снова принялись — кто за работу, кто за очистку шкур, но он крепко сжал губы, чтобы не вырвались у него речи, которым все равно никто не поверит.

— Эта шх... шх... шхуна,— невозмутимо спросил Кугах,— она была сделана из большого дерева?

— Она была сделана из многих деревьев,— отрезал Нам-Бок.— Она была очень большая.

Он опять угрюмо замолчал, а Опи-Куон подтолкнул Кугаха, который в недоверчивом изумлении покачал головой и прошептал:

— Удивительное дело.

Нам-Бок попался на удочку.

— Это еще что,— сказал он легкомысленно,— а вот посмотрели бы вы на пароход. Во сколько раз байдарка больше песчинки, во сколько раз шхуна больше байдарки, во столько раз пароход больше шхуны. К тому же пароход сделан из железа. Он весь железный.

— Нет, нет, Нам-Бок,— воскликнул старшина,— как это может быть? Железо всегда идет ко дну. Вот послушай: у старшины соседнего селения я выменял нож, и вчера нож выскользнул у меня из рук и сразу пошел вниз, в самую глубь моря. Всему есть свой закон. Никогда не бывало, чтоб хоть единая вещь не имела закона. Это мы знаем. Больше того: мы знаем, что для всех одинаковых вещей закон один, и потому для всего железного закон

тоже один. Так что отрекись от своих слов, Нам-Бок, чтоб мы не потеряли к тебе уважения.

— Но это так,— стоял на своем Нам-Бок.— Пароход весь железный, а не тонет.

— Нет, нет, этого не может быть.

— Я видел своими глазами.

— Это противно природе вещей.

— Но скажи мне, Нам-Бок,— перебил Кугах, опасаясь, как бы рассказ на этом не прекратился.— Скажи мне, как эти люди находят дорогу в море, если не видно берега, которого можно держаться?

— Солнце показывает им дорогу.

— Но как?

— У старшины шхуны есть одна такая вещь, через которую можно смотреть на солнце, и вот в полдень он берет ее, и смотрит, и заставляет солнце сойти с неба на край земли.

— Но это колдовство! — ошеломленный таким святотатством, закричал Опи-Куон. Мужчины в ужасе подняли руки, женщины завыли.— Это гнусное колдовство! Очень нехорошо отклонять великое солнце от его пути: оно прогоняет ночь и дает нам тюленей, лососину и тепло.

— Что из того, что это колдовство? — грубо спросил Нам-Бок.— Я тоже смотрел сквозь эту вещь на солнце и заставлял солнце сходить с неба.

Сидевшие близко от него поспешно отодвинулись назад, а одна из женщин накрыла лицо ребенка, лежавшего у ее груди, чтобы на него не упал взгляд Нам-Бока.

— Что же было на утро четвертого дня, о Нам-Бок? — осторожно напомнил Кугах.— На утро четвертого дня, когда шх... шх... шхуна погналась за тобой?

— Во мне так мало оставалось сил, что я не мог уйти от нее. И вот меня взяли на борт, влили в горло воду и дали хорошую пищу. Братья мои, вы видели только двух белых людей. А на шхуне люди все были белые, и было их столько, сколько у меня пальцев на руках и ногах. И когда я увидел, что они добры, я осмелел и решил все запомнить, чтобы потом рассказать вам, что я видел. И они научили меня своей работе, и кормили хорошей пищей, и отвели мне место для сна.

И мы день за днем плыли по морю, и каждый день старшина стаскивал солнце с неба и заставлял его говорить, где мы находимся. И когда море бывало милостиво, мы охотились на котиков, и я очень удивлялся, потому что эти люди выбрасывали мясо и жир и оставляли себе только шкуры.

Опи-Куон свирепо скривил рот и готов уже был разразиться

бранью против подобной расточительности, но Кугах толчком заставил его сидеть смирно.

— Потом наступило трудное время — солнце ушло и мороз стал больно обжигать кожу; и тогда старшина повернул шхуну носом на юг. Долгие дни плыли мы на юг и на восток, ни разу не увидав земли, и вот уже стали приближаться к селению, откуда все они были родом...

— Почем они знали, что приближаются? — спросил Опи-Куон, который больше не в силах был сдерживаться.— Ведь земли не было видно.

Нам-Бок метнул на него яростный взгляд.

— Разве я не сказал, что старшина спускал солнце с неба?

Но Кугах успокоил его, и Нам-Бок продолжал:

— Так вот, я говорю, когда мы стали приближаться к тому селению, разразилась сильная буря, и в темноте ночи мы были беспомощны и не знали, где находимся...

— Ты только что говорил, что старшина знал...

— Молчи, Опи-Куон! Ты — дурак и не понимаешь. Я говорю, в темноте ночи мы были беспомощны, и вдруг сквозь рев бури я услыхал звук прибоя. И тотчас со страшным треском мы обо что-то ударились, и я очутился в воде и поплыл. Берег весь был скалистый, и скалы тянулись на много миль, и только в одном месте была узенькая песчаная полоска, но мне суждено было погрузить руки в песок и выбраться из бурунов. Другие, должно быть, разбились о скалы, потому что ни одного из них не оказалось на берегу, кроме старшины,— и того я узнал только по кольцу на пальце.

Когда наступил день и я убедился, что от шхуны ничего не осталось, я обратил свой взгляд на сушу и пошел в глубь ее, чтобы добыть себе пищу и увидеть человеческие лица. И когда я подошел к жилью, то меня впустили и дали поесть, потому что белые люди добры, а я выучился говорить на их языке. И дом, в который я попал, был больше, чем все дома, построенные нами, и больше тех, что до нас строили себе наши отцы.

— Велик же был этот дом,— сказал Кугах, скрывая свое недоверие под видом изумления.

— И на постройку его пошло много деревьев,— в тон ему подхватил Опи-Куон.

— Этот дом — еще пустяки,— пренебрежительно пожал плечами Нам-Бок.— Как наши дома малы по сравнению с ним, так этот дом был мал по сравнению с теми, что я увидел потом.

— И люди там тоже были большие?

— Нет, люди были как ты и я,— отвечал Нам-Бок.— Я срезал себе палку, чтобы мне было удобно ходить, и, помня, что я обо всем должен рассказать вам, братья, я на каждого из живших

в этом доме сделал на своей палке по зарубке. И я прожил там много дней и работал, и за это мне давали деньги,— вы не знаете, что это такое, но это очень хорошая вещь.

И однажды я ушел с этого места и отправился еще дальше. И по дороге я встречал много народа и стал делать на палке зарубки поменьше, чтобы всем хватало места. И вдруг я увидел что-то совсем удивительное. На земле передо мной лежала железная полоса толщиной в мою руку, а через широкий шаг от нее лежала другая железная полоса...

— Значит, ты стал богатым человеком,— заключил Опи-Куон,— потому что железо дороже всего на свете. Из этих полос получилось бы много ножей.

— Но это железо было не мое.

— Это была находка, а то, что найдено, по закону принадлежит тому, кто нашел.

— Нет, не так. Эти полосы положили белые люди. Кроме того, полосы эти такие длинные, что ни один человек не мог бы их унести,— такие длинные, что, сколько я ни смотрел, конца им не видел.

— Нам-Бок, не слишком ли это много железа? — предостерегающе заметил Опи-Куон.

— Да, мне самому трудно было поверить, хотя они лежали перед моими глазами; но глаза меня не обманывали. Я стоял и смотрел и вдруг услышал...— Он быстро повернулся к старшине.— Опи-Куон, ты знаешь, как ревет разгневанный морской лев? Представь себе столько морских львов, сколько волн в море, и представь себе, что все эти морские львы соединились в одного льва, и вот если б заревел один такой лев, то рев его был бы подобен тому, который я услышал.

Рыбаки в изумлении громко вскрикнули, а у Опи-Куона челюсть отвисла и так и осталась висеть.

— И вдалеке я увидел чудовище, равное тысяче китов. Оно было одноглазое и изрыгало дым и фыркало оглушительно громко. У меня от страха задрожали ноги, но я побежал по тропинке между железными полосами. А оно приближалось с быстротой ветра, это чудовище; и только я успел отскочить в сторону, как оно обдало мне лицо своим горячим дыханием...

Опи-Куон овладел собой, челюсть его стала на место, и он спросил:

— А потом? Что же было потом, о Нам-Бок?

— Потом оно промчалось по железным полосам мимо меня и не причинило мне вреда; а когда ноги у меня перестали трястись, оно уже исчезло из вида. И в той стороне это самое обыкновенное дело. Этих чудовищ не боятся даже женщины и дети, и люди заставляют их там работать.

— Как мы заставляем работать наших собак? — спросил Кугах, и глаза его недоверчиво блеснули.

— Да, как мы заставляем работать наших собак.

— А как разводятся эти... эти чудовища? — поинтересовался Опи-Куон.

— Они не разводятся вовсе. Люди искусно делают их из железа и кормят камнями и поят водой. Камни превращаются в огонь, вода — в пар, а этот пар и есть дыхание их ноздрей и...

— Хватит, хватит, о Нам-Бок,— прервал его Опи-Куон.— Расскажи нам о других чудесах. Мы устали от таких, которых мы не понимаем.

— Вы не понимаете? — в отчаянии вскричал Нам-Бок.

— Нет, не понимаем,— уныло откликнулись и мужчины и женщины.— Мы не можем понять.

Нам-Бок подумал о сложных машинах, которые разом и жнут и молотят, и о машинах, показывающих изображения живых людей, и о машинах, из которых исходят человеческие голоса,— и ему стало ясно, что его народ ни за что этого не поймет.

— А могу я сказать, что я ездил по стране на таком железном чудовище? — спросил он с горечью.

Опи-Куон развел руками, не пытаясь скрыть свое недоверие.

— Говори, говори. Говори что хочешь. Мы слушаем.

— Так вот, я поехал на железном чудовище и дал за это деньги...

— Ты же сказал, что его кормят камнями.

— И еще я сказал тебе, дурак, что деньги — это такая вещь, о которой ты понятия не имеешь. Итак, я поехал на этом чудовище через всю страну и проезжал мимо многих селений, пока не приехал в большое селение на морском заливе. Дома там поднимали свои крыши к самым звездам небесным, и мимо них тянулись облака, и везде было полно дыма. И шум в этом селении был — как шум бурного моря, а народу было столько, что я бросил свою палку и перестал и думать о том, чтобы делать зарубки.

— Если бы ты делал маленькие зарубки,— укоризненно заметил Кугах,— ты мог бы рассказать нам все в точности.

— Если бы я делал маленькие зарубки! — вне себя накинулся на него Нам-Бок.— Слушай, Кугах, ты, который только и умеешь, что царапать на кости! Если б я делал даже самые маленькие зарубки, то не хватило бы не только той палки, но и двадцати палок,— нет, не хватило бы всех бревен, когда-либо выброшенных прибоем на берег между этим селением и соседним. И если б всех вас с женщинами и детьми было в двадцать раз больше и если б у каждого было по двадцати рук и в каждой руке палка и нож, все равно невозможно было бы сделать зарубки на

всех людей, которых я видел,— так много их было и так быстро проходили они мимо меня.

— На всем свете не может быть столько народа,— возразил Опи-Куон, ибо он был ошеломлен и не мог охватить умом таких громадных количеств.

— А что ты знаешь обо всем свете и о том, как он велик? — спросил Нам-Бок.

— Но не может быть столько народа в одном месте.

— Кто ты такой, чтобы решать, что может быть и чего не может быть?

— Да ведь ясно, что в одном месте не может быть столько народа. Их лодки запрудили бы все море, так что негде было бы повернуться. И каждый день они вылавливали бы из моря всю рыбу — и все равно на всех бы ее не хватало.

— Казалось бы, оно так,— ответил Нам-Бок, заканчивая беседу.— И, однако, это правда. Я видел все собственными глазами и потому бросил свою палку.

Он зевнул во весь рот и поднялся.

— Я приплыл издалека. День был долгий, и я устал. Сейчас я лягу спать, а завтра мы еще поговорим о том, что я видел.

Баск-Ва-Ван боязливо заковыляла вперед, гордясь своим удивительным сыном и в то же время испытывая перед ним благоговейный ужас. Она привела его в свою хижину и уложила на жирный вонючий мех. Но мужчины остались у костра, чтобы держать совет, и много на этом совете было перешептываний и приглушенных споров.

Прошел час, и другой — Нам-Бок спал, а разговор у костра все продолжался. Вечернее солнце склонялось к северу и в одиннадцать часов стало почти прямо на севере. Тогда старшина и резчик по кости покинули совет и разбудили Нам-Бока. Он, мигая со сна, взглянул им в лица и повернулся на другой бок. Но Опи-Куон схватил его за плечо и беззлобно, но решительно начал трясти, пока он совсем не пришел в себя.

— Ну-ну, Нам-Бок, вставай! — приказал он.— Пора!

— Опять есть? — вскричал Нам-Бок.— Нет, я не голоден. Ешьте сами и дайте мне спать.

— Пора уходить! — заревел Кугах.

Но Опи-Куон был не так резок.

— Ты в паре со мной ходил на байдарке, когда мы были мальчиками,— сказал он.— Мы вместе первый раз охотились на тюленей и вытаскивали лососей из западни. И ты возвратил меня к жизни, Нам-Бок, когда море сомкнулось надо мной и меня стало затягивать под черные скалы. Вместе мы голодали и дрогли от холода и заползали вдвоем под одну шкуру и лежали рядом, тесно прижавшись друг к дружке. Из-за всего этого, из-за того, что

я дружил с тобой, мне очень жалко, что ты возвратился к нам таким необыкновенным лжецом. Мы ничего не понимаем, и головы у нас кружатся от всего, что ты рассказал. Это нехорошо, и в совете было много толков. И мы решили, что ты должен уйти, чтобы не смущать нас и не туманить нам разум необъяснимыми вещами.

— Все вещи, о которых ты говорил,— все это тени,— подхватил Кугах.— Ты принес их из мира теней — и в мир теней должен возвратить их. Твоя байдарка готова, и люди племени ждут. Они не уснут спокойно, пока ты не уйдешь.

Нам-Бок растерянно смотрел на старшину, но прислушивался к его словам.

— Если ты Нам-Бок,— говорил Опи-Коун,— то ты поразительный и опасный лжец; если ты тень Нам-Бока — то ты говорил о тенях, а живым людям не годится знать то, что касается теней. Мы думаем, что то большое селение, о котором ты нам рассказал,— это жилище теней. Там витают души мертвых; ибо мертвых много, а живых мало. Мертвые не возвращаются. Ни один мертвый еще не вернулся, ты — первый, с твоими удивительными рассказами. Не подобает мертвым возвращаться, и если мы это допустим, нам грозит большая беда.

Нам-Бок хорошо знал свой народ и понимал, что решение совета непреложно. Поэтому он покорно пошел к берегу, где его посадили в его байдарку и в руку ему всунули весло. Отбившийся от стаи дикий гусь одиноко кричал где-то над морем, и волны прибоя с глухим плеском разбивались о песок. Мутные сумерки нависли над землей и водою, а на севере слабо тлело тусклое солнце, окутанное кроваво-красным туманом. Чайки летали низко. Дул резкий и холодный береговой ветер, и черные, клубящиеся тучи предвещали непогоду.

— Из моря ты вышел,— точно произнося заклинание, нараспев проговорил Опи-Куон,— и в море уходишь. Так восстановится равновесие вещей, и все придет в законный порядок.

Баск-Ва-Ван, прихрамывая, подошла к пенящемуся краю воды и закричала:

— Благословляю тебя, Нам-Бок, ибо ты вспомнил меня.

Но Кугах, оттолкнув байдарку от берега, сорвал шаль с плеч старухи и кинул ее Нам-Боку.

— Мне холодно в долгие зимние ночи,— жалобно простонала она,— мороз так и пробирает старые кости.

— Эта вещь — тень,— ответил резчик,— а тень тебя не согреет.

Нам-Бок встал, чтобы его голос донесся до нее.

— О Баск-Ва-Ван, мать, родившая меня! — воскликнул он.— Слушай слова Нам-Бока, твоего сына. В байдарке хватит места для двоих, и он хочет, чтобы ты ушла с ним. Там, куда он держит

путь, вдоволь и рыбы и жиру. Мороз туда не приходит, и жизнь там легка, и железные вещи работают за человека. Пойдем со мной, о Баск-Ва-Ван!

С минуту она колебалась, а байдарку тем временем все быстрей относило от берега; тогда она собрала силы и крикнула высоким, дребезжащим голосом:

— Я стара, Нам-Бок, и скоро отойду в жилище теней. Но мне не хочется уходить раньше, чем пришел мой срок. Я стара, Нам-Бок, и мне страшно.

Луч света брызнул на сумрачное море и озарил лодку и человека сиянием пурпура и золота. Рыбаки притихли, и только слышался шум ветра да крики низко летавших чаек.

1902

ЛИГА СТАРИКОВ

В Казармах судили человека, речь шла о его жизни и смерти. Это был старик индеец с реки Белая Рыба, впадающей в Юкон пониже озера Ла-Барж. Его дело взволновало весь Доусон, и не только Доусон, но и весь Юконский край на тысячу миль в обе стороны по течению. Пираты на море и грабители на земле, англосаксы издавна несли закон покоренным народам, и закон этот подчас был суров. Но тут, в деле Имбера, закон впервые показался и мягким и снисходительным. Он не предусматривал такой кары, которая с точки зрения простой арифметики соответствовала бы совершенным преступлениям. Что преступник заслуживает высшей меры наказания, в этом не могло быть никаких сомнений; но, хотя такой мерой была смертная казнь, Имбер мог поплатиться лишь одной своей жизнью, в то время как на его совести было множество жизней.

В самом деле, руки Имбера были обагрены кровью стольких людей, что точно сосчитать его жертвы оказалось невозможно. Покуривая трубку на привале в пути или бездельничая у печки, жители края прикидывали, сколько же приблизительно людей загубил этот старик. Все, буквально все эти несчастные жертвы были белыми,— они гибли и поодиночке, и по двое, и целыми группами. Убийства были так бессмысленны и беспричинны, что долгое время они оставались загадкой для королевской конной полиции даже тогда, когда на реках стали добывать золото и правительство доминиона прислало сюда губернатора, чтобы заставить край платить за свое богатство.

Но еще большей загадкой казалось то, что Имбер сам пришел в Доусон, чтобы отдать себя в руки правосудия. Поздней весной, когда Юкон ревел и метался в своих ледяных оковах, старый ин-

деец свернул с тропы, проложенной по льду, с трудом поднялся по береговому откосу и, растерянно моргая, остановился на главной улице. Все, кто видел его появление, заметили, что он был очень слаб. Пошатываясь, он добрался до кучи бревен и сел. Он сидел здесь весь день, пристально глядя на бесконечный поток проходивших мимо белых людей. Многие с любопытством оглядывались, чтобы еще раз посмотреть на него, а кой у кого этот старый сиваш со странным выражением лица вызывал даже громкие замечания. Впоследствии десятки людей вспоминали, что необыкновенный облик индейца поразил их, и они до конца дней гордились своей проницательностью и чутьем на все необыкновенное.

Однако настоящим героем дня оказался Маленький Диккенсен. Маленький Диккенсен явился в эти края с радужными надеждами и с пачкой долларов в кармане; но вместе с содержимым кармана растаяли и надежды, и, чтобы заработать на обратный путь в Штаты, он занял должность счетовода в маклерской конторе «Холбрук и Мэйсон». Как раз напротив конторы «Холбрук и Мэйсон» и лежала куча бревен, на которой уселся Имбер. Диккенсен заметил его, глянув в окно перед тем как отправиться завтракать, а позавтракав и вернувшись в контору, он опять глянул в окно: старый сиваш по-прежнему сидел на том же месте.

Диккенсен то и дело поглядывал в окно,— потом он тоже гордился своей проницательностью и чутьем на необыкновенное. Маленький Диккенсен был склонен к романтике, и в неподвижном старом язычнике он увидел некое олицетворение народа сивашей, с непроницаемым спокойствием взирающего на полчища англосаксонских захватчиков.

Часы шли за часами, а Имбер сидел все в той же позе, ни разу не пошевельнувшись, и Диккенсен вспомнил, как однажды посреди главной улицы остановились нарты, на которых вот так же неподвижно сидел человек; мимо него взад и вперед сновали прохожие, и все думали, что человек просто отдыхает, а потом, когда его тронули, оказалось, что он мертв и уже успел окоченеть — замерз посреди уличной толчеи. Чтобы труп выпрямить — иначе он не влез бы в гроб,— его пришлось тащить к костру и оттаивать. Диккенсена передернуло при этом воспоминании.

Немного погодя Диккенсен вышел на улицу выкурить сигару и проветриться, и тут-то через минуту появилась Эмили Трэвис. Эмили Трэвис была особой изысканной, утонченной, хрупкой, и одевалась она — будь это в Лондоне или в Клондайке — так, как подобало дочери горного инженера, обладателя миллионов. Маленький Диккенсен положил свою сигару на выступ окна и приподнял над головой шляпу.

Минут десять они спокойно болтали, но вдруг Эмили Трэвис посмотрела через плечо Диккенсена и испуганно вскрикнула.

Диккенсен поспешно оглянулся и сам вздрогнул от испуга. Имбер перешел улицу и, точно мрачная тень, стоял совсем близко, впившись недвижными глазами в девушку.

— Чего тебе надо? — храбро спросил Маленький Диккенсен нетвердым голосом.

Имбер, проворчав что-то, подошел вплотную к Эмили Трэвис. Он внимательно оглядел ее всю, с головы до ног, как бы стараясь ничего не пропустить. Особый интерес у него вызвали шелковистые каштановые волосы девушки и румяные щеки, покрытые нежным пушком, точно крыло бабочки. Он обошел ее вокруг, не отрывая от нее оценивающего взгляда, словно изучал стати лошади или устройство лодки. Вдруг он увидел, как лучи заходящего солнца просвечивают сквозь розовое ухо девушки, и остановился будто вкопанный. Потом он снова принялся осматривать ее лицо и долго, пристально вглядывался в ее голубые глаза. Опять проворчав что-то, он положил ладонь на руку девушки чуть пониже плеча, а другой своей рукой согнул ее в локте. Отвращение и удивление отразились на лице индейца, с презрительным ворчанием он отпустил руку Эмили. Затем издал какие-то гортанные звуки, повернулся к девушке спиной и что-то сказал Диккенсену.

Диккенсен не мог понять, что он говорил, и Эмили Трэвис засмеялась. Имбер, хмуря брови, обращался то к Диккенсену, то к девушке, но они лишь качали головами. Он уже хотел отойти от них, как девушка крикнула:

— Эй, Джимми! Идите сюда!

Джимми приближался с другой стороны улицы. Это был рослый неуклюжий индеец, одетый по обычаю белых людей, в огромной широкополой шляпе, какие носят короли Эльдорадо. Запинаясь и словно давясь каждым звуком, он стал говорить с Имбером. Джимми был родом ситха; на языке племен, живущих в глубине страны, он знал лишь самые простые слова.

— Он от племя Белая Рыба,— сказал он Эмили Трэвис.— Я понимай его язык не очень хорошо. Он хочет видать главный белый человек.

— Губернатора,— подсказал Диккенсен.

Джимми обменялся с человеком из племени Белая Рыба еще несколькими словами, и лицо его приняло озабоченное и недоуменное выражение.

— Я думаю, ему надо капитан Александер,— заявил Джимми.— Он говорит, он убил белый человек, белый женщина, белый мальчик, убил много-много белый человек. Он хочет умирать.

— Вероятно, сумасшедший,— сказал Диккенсен.

— Это что есть? — спросил Джимми.

Диккенсен, будто протыкая себе череп, приставил ко лбу палец и с силой покрутил им.

— Может быть, может быть,— сказал Джимми, поворачиваясь к Имберу, все еще требовавшему главного белого человека.

Подошел полисмен из королевской конной полиции (в Клондайке она обходилась без коней) и услышал, как Имбер повторил свою просьбу. Полисмен был здоровенный детина, широкий в плечах, с мощной грудью и стройными крепкими ногами; как ни высок был Имбер, полисмен на полголовы был выше его. Глаза у него были холодные, серые, взгляд твердый, в осанке чувствовалась та особая уверенность в своей силе, которая идет от предков и освящена веками. Великолепная мужественность полисмена еще более выигрывала от его молодости — он был совсем еще мальчик, и румянец на его гладких щеках вспыхивал с такой же быстротой, как на щеках юной девушки.

Лишь на полисмена и смотрел теперь Имбер. Какой-то огонь сверкнул в глазах индейца, как только он заметил на подбородке юноши рубец от удара саблей. Своей высохшей рукой он прикоснулся к бедру полисмена и ласково провел по его мускулистой ноге. Костяшками пальцев он постучал по его широкой груди, потом ощупал плотные мышцы, покрывавшие плечи юноши, словно кираса. Вокруг них уже толпились любопытные прохожие — золотоискатели, жители гор, пионеры девственных земель — все сыны длинноногой, широкоплечей расы. Имбер переводил взгляд с одного на другого, потом что-то громко сказал на языке племени Белая Рыба.

— Что он говорит? — спросил Диккенсен.

— Он сказал — все эти люди как один, как эта полисмен,— перевел Джимми.

Маленький Диккенсен был мал ростом, и потому он пожалел, что задал такой вопрос в присутствии мисс Трэвис. Полисмен посочувствовал ему и решил прийти на помощь.

— А пожалуй, у него что-то есть на уме. Я отведу его к капитану. Скажи ему, Джимми, чтобы он шел со мной.

Джимми снова стал давиться, а Имбер заворчал, но вид у него был весьма довольный.

— Спросите-ка его, Джимми, что он говорил и что думал, когда взял меня за руку?

Это сказала Эмили Трэвис, и Джимми перевел вопрос и получил ответ:

— Он говорил, вы не трусливый.

При этих словах Эмили Трэвис не могла скрыть своего удовольствия.

— Он говорил, вы не *скукум,* совсем не сильный, такой неж-

ный, как маленький ребенок. Он может разорвать вас руками на маленькие куски. Он очень смеялся, очень удивлялся, как вы можете родить такой большой, такой сильный мужчина, как эта полисмен.

Эмили Трэвис нашла в себе мужество не опустить глаз, но щеки ее зарделись. Маленький Диккенсен вспыхнул как маков цвет и совершенно смутился. Юное лицо полисмена покраснело до корней волос.

— Эй ты, шагай,— сказал он резко, раздвигая плечом толпу.

Так Имбер попал в Казармы, где он добровольно и полностью признался во всем и откуда больше уже не вышел.

Имбер выглядел очень усталым. Он был стар и ни на что не надеялся, и это было написано на его лице. Он уныло сгорбился, глаза его потускнели; волосы у него должны были быть седыми, но солнце и непогода так выжгли и вытравили их, что они свисали бесцветными, безжизненными космами. К тому, что происходило вокруг, он не проявлял никакого интереса. Комната была битком набита золотоискателями и охотниками, и зловещие раскаты их низких голосов отдавались у Имбера в ушах, точно рокот моря под сводами береговых пещер.

Он сидел у окна, и его безразличный взгляд то и дело останавливался на расстилавшемся перед ним тоскливом пейзаже. Небо затянуло облаками, сыпалась сизая изморось. На Юконе началось половодье. Лед уже прошел, и река заливала город. По главной улице туда и сюда плыли в лодках никогда не знающие покоя люди. То одна, то другая лодка сворачивала с улицы на залитый водой плац перед Казармами; потом, подплыв ближе, скрывалась из вида, и Имбер слышал, как она с глухим стуком наталкивалась на бревенчатую стену, а люди через окно влезали в дом. Затем было слышно, как эти люди, хлюпая ногами по воде, проходили нижним этажом и поднимались по лестнице. Сняв шляпы, в мокрых морских сапогах, они входили в комнату и смешивались с ожидавшей суда толпой.

И пока все эти люди враждебно разглядывали его, довольные тем, что он понесет свое наказание, Имбер смотрел на них и думал об их обычаях и порядках, об их недремлющем Законе, который был, есть и будет до скончания веков — в хорошие времена и в плохие, в наводнение и в голод, невзирая на беды, и ужас, и смерть. Так казалось Имберу.

Какой-то человек постучал по столу: разговоры прекратились, наступила тишина. Имбер взглянул на того, кто стучал по столу. Казалось, этот человек обладал властью, но Имбер почувствовал, что начальником над всеми и даже над тем, кто постучал по столу, был другой, широколобый человек, сидевший за столом чуть подальше. Из-за стола поднялся еще один человек, взял много

тонких бумажных листов и стал их громко читать. Перед тем как начать новый лист, он откашливался, а закончив его, слюнявил пальцы. Имбер не понимал, что говорил этот человек, но все другие понимали, и видно было, что они сердятся. Иногда они очень сердились, а однажды кто-то выругал его, Имбера, коротким гневным словом, но человек за столом, постучав пальцем, приказал ослушнику замолчать.

Человек с бумагами читал бесконечно долго. Под его скучный, монотонный голос Имбер задремал, и когда чтение кончилось, он спал глубоким сном. Кто-то окликнул его на языке племени Белая Рыба, он проснулся и без всякого удивления увидел перед собой лицо сына своей сестры — молодого индейца, который уже давно ушел из родных мест и жил среди белых людей.

— Ты, верно, не помнишь меня,— сказал тот вместо приветствия.

— Нет, помню,— ответил Имбер.— Ты — Хаукан, ты давно ушел от нас. Твоя мать умерла.

— Она была старая женщина,— сказал Хаукан.

Имбер уже не слышал его ответа, но Хаукан потряс его за плечо и разбудил снова.

— Я скажу тебе, что читал этот человек,— он читал обо всех преступлениях, которые ты совершил и в которых, о глупец, ты признался капитану Александеру. Ты должен подумать и сказать, правда это все или неправда. Так тебе приказано.

Хаукан жил у миссионеров и научился у них читать и писать. Сейчас он держал в руках те самые тонкие листы бумаги, которые прочитал вслух человек за столом,— в них было записано все, что сказал Имбер с помощью Джимми на допросе у капитана Александера. Хаукан начал читать. Имбер послушал немного, на лице его выразилось изумление, и он резко прервал его:

— Это мои слова, Хаукан, но они идут с твоих губ, а твои уши не слышали их.

Хаукан самодовольно улыбнулся и пригладил расчесанные на пробор волосы.

— Нет, о Имбер, они идут с бумаги. Мои уши не слыхали их. Слова идут с бумаги и через глаза попадают в мою голову, а потом мои губы передают их тебе. Вот откуда они идут.

— Вот откуда они идут. Значит, они на бумаге? — благоговейным шепотом спросил Имбер и пощупал бумагу, со страхом глядя на покрывавшие ее знаки.— Это великое колдовство, а ты, Хаукан, настоящий кудесник.

— Пустяки, пустяки,— небрежно сказал молодой человек, не скрывая своей гордости.

Он наугад взял один из листов бумаги и стал читать:

— «В тот год, еще до ледохода, появился старик с мальчиком,

который хромал на одну ногу. Их я тоже убил, и старик сильно кричал...»

— Это правда,— прервал задыхающимся голосом Имбер.— Он долго, долго кричал и бился, никак не хотел умирать. Но откуда ты это знаешь, Хаукан? Тебе, наверно, сказал начальник белых людей? Никто не видел, как я убил, а рассказывал я только начальнику.

Хаукан с досадой покачал головой.

— Разве я не сказал тебе, о глупец, что все это написано на бумаге?

Имбер внимательно разглядывал испещренный чернильными значками лист.

— Охотник смотрит на снег и говорит: вот тут вчера пробежал заяц, вот здесь, в зарослях ивняка, он присел и прислушался, а потом испугался чего-то и побежал; с этого места он повернул назад, тут побежал быстро-быстро и делал большие скачки, а тут вот еще быстрее бежала рысь; здесь, где ее следы ушли глубоко в снег, рысь сделала большой-большой прыжок, тут она настигла зайца и перевернулась на спину; дальше идут следы одной рыси; а зайца уже нет. Как охотник глядит на следы на снегу и говорит, что тут было то, а тут это, так и ты глядишь на бумагу и говоришь, что здесь то, а там это и что все это сделал старый Имбер?

— Да, это так,— ответил Хаукан.— А теперь слушай хорошенько и попридержи свой бабий язык, пока тебе не прикажут говорить.

И Хаукан долго читал Имберу его показания, а тот молча сидел, уйдя в свои мысли. Когда Хаукан смолк, Имбер сказал ему:

— Все это мои слова, и верные слова, Хаукан, но я стал очень стар, и только теперь мне вспоминаются давно уже забытые дела, о которых надо знать начальнику. Слушай. Раз из-за Ледяных Гор пришел человек, у него были хитрые железные капканы: он охотился за бобрами на реке Белая Рыба. Я убил его. Потом были еще три человека на реке Белая Рыба, которые искали золото. Их я тоже убил и бросил росомахам. И еще у Файв Фингерз я убил человека,— он плыл на плоту, и у него было припасено много мяса.

Когда Имбер умолк на минуту, припоминая, Хаукан переводил его слова, а клерк записывал. Публика довольно равнодушно внимала этим бесхитростным рассказам, из которых каждый представлял собою маленькую трагедию, до тех пор, пока Имбер не рассказал о человеке с рыжими волосами и косым глазом, которого он сразил стрелой издалека.

— Черт побери,— произнес один из слушателей в передних рядах, горе и гнев звучали в его голосе. У него были рыжие волосы.— Черт побери,— повторил он,— да это же мой брат Билл!

И пока шел суд, в комнате время от времени раздавалось гневное «черт побери»,— ни уговоры товарищей, ни замечания человека за столом не могли заставить рыжеволосого замолчать.

Голова Имбера опять склонилась на грудь, а глаза словно подернулись пеленой и перестали видеть окружающий мир. Он ушел в свои размышления, как может размышлять лишь старость о беспредельной тщете порывов юности.

Хаукан растолкал его снова.

— Встань, о Имбер. Тебе приказано сказать, почему ты совершил такие преступления и убил этих людей, а потом пришел сюда в поисках Закона.

Имбер с трудом поднялся на ноги и, шатаясь от слабости, заговорил низким, чуть дрожащим голосом, но Хаукан остановил его.

— Этот старик совсем помешался,— обратился он по-английски к широколобому человеку.— Он, как ребенок, ведет глупые речи.

— Мы хотим выслушать его глупые речи,— заявил широколобый человек.— Мы хотим выслушать их до конца, слово за словом. Ясно тебе?

Хаукану было ясно. Имбер сверкнул глазами — он догадался, о чем говорил сын его сестры с начальником белых людей. И он начал свою исповедь — необычайную историю темнокожего патриота, которая заслуживала того, чтобы ее начертали на бронзовых скрижалях для будущих поколений. Толпа затихла, как завороженная, а широколобый судья, подперев голову рукой, слушал будто самую душу индейца, душу всей его расы. В тишине звучала лишь гортанная речь Имбера, прерываемая резким голосом переводчика, да время от времени раздавался, подобно господнему колоколу, удивленный возглас рыжеволосого: «Черт побери!»

— Я — Имбер, из племени Белая Рыба,— переводил слова старика Хаукан; дикарь проснулся в нем, и налет цивилизации, привитой миссионерским воспитанием, сразу рассеялся, как только ухо его уловило в речи Имбера знакомый ритм и распев.— Мой отец был Отсбаок, могучий воин. Когда я был маленьким мальчиком, теплое солнце грело нашу землю и радость согревала сердца. Люди не гнались за тем, чего не знали, не слушали чужих голосов, обычаи отцов были их обычаями. Юноши с удовольствием глядели на девушек, а девушек тешили их взгляды. Женщины кормили грудью младенцев, и чресла их были отягчены обильным приплодом. Племя росло, и мужчины в те дни были мужчинами. Они были мужчинами в дни мира и изобилия, мужчинами оставались в дни войны и голода.

В те времена было больше рыбы в воде, чем ныне, и больше дичи в лесу. Наши собаки были волчьей породы, им было тепло под толстой шкурой, и они не страшились ни стужи, ни урагана. И мы сами были такими же, как собаки: мы тоже не страшились ни стужи, ни урагана. А когда люди племени Пелли пришли на нашу землю, мы убивали их, и они убивали нас. Ибо мы были мужчинами, мы, люди племени Белая Рыба; наши отцы и отцы наших отцов сражались с племенем Пелли и установили границы нашей земли.

Я сказал: бесстрашны были наши собаки, бесстрашны были и мы сами. Но однажды пришел к нам первый белый человек. Он полз по снегу на четвереньках — вот так. Кожа его была туго натянута, под кожей торчали кости. Мы никогда не видали такого человека, и мы удивлялись и гадали, из какого он племени и откуда пришел. Он был слаб, очень слаб, как маленький ребенок, и мы дали ему место у очага, подостлали ему теплые шкуры и накормили его, как кормят маленьких детей.

С ним пришла собака величиной с трех наших собак, она была тоже очень слаба. Шерсть у этой собаки была короткая и плохо грела, а хвост обморожен, так что конец у него отвалился. Мы накормили эту странную собаку, обогрели ее у очага и отогнали наших собак, иначе те разорвали бы ее.

От оленьего мяса и вяленой лососины к человеку и собаке понемногу вернулись силы, а набравшись сил, они растолстели и осмелели. Человек стал говорить громким голосом и смеяться над стариками и юношами и дерзко смотрел на девушек. А его собака дралась с нашими собаками, и, хотя шерсть у нее была мягкая и короткая, однажды она загрызла трех наших собак.

Когда мы спрашивали этого человека, из какого он племени, он говорил: «У меня много братьев»,— и смеялся нехорошим смехом. А когда он совсем окреп, он ушел от нас, и с ним ушла Нода, дочь вождя. Вскоре после этого у нас ощенилась одна сука. Никогда мы не видали таких щенков — они были большеголовые, с сильными челюстями, с короткой шерстью и совсем беспомощные. Мой отец Отсбаок был могучий воин; и я помню, что, когда он увидел этих беспомощных щенков, лицо его потемнело от гнева, он схватил камень — вот так, и потом так — и щенков не стало. А через два лета после этого вернулась Нода и принесла на руках маленького мальчика.

Так оно и началось. Потом пришел второй белый человек с короткошерстными собаками, он ушел, а собак оставил. Но он увел шесть самых сильных наших собак, за которых дал Ку-Со-Ти, брату моей матери, удивительный пистолет — шесть раз подряд и очень быстро стрелял этот пистолет. Ку-Со-Ти был горд таким пистолетом и смеялся над нашими луками и стрелами, он

называл их женскими игрушками. С пистолетом в руке он пошел на медведя. Теперь все знают, что не годится идти на медведя с пистолетом, но откуда нам было знать это тогда? И откуда мог знать это Ку-Со-Ти? Он очень смело пошел на медведя и быстро выстрелил в него из пистолета шесть раз подряд, а медведь только зарычал, и раздавил грудь Ку-Со-Ти, как будто это было яйцо, и, как будто мед из пчелиного гнезда, растекся на земле его мозг. Он был умелый охотник, а теперь некому стало убивать дичь для его скво и детей. И мы все горевали, и мы сказали так: «Что хорошо для белых людей, то для нас плохо». И это правда. Белых людей много, белые люди толстые, а нас из-за них стало мало, и мы отощали.

И пришел третий белый человек, у него было много-много всякой удивительной пищи и всякого добра. Он торговал у нас в обмен на эти богатства двадцать самых сильных наших собак. Он увел за собой, сманив подарками и обещаниями, десять наших молодых охотников, и никто не мог сказать, куда они ушли. Говорят, они погибли в снегах Ледяных Гор, где не бывал ни один человек, или на Холмах Безмолвия — за краем земли. Так это или не так, но племя Белой Рыбы никогда не видело больше этих собак и молодых охотников.

Еще и еще приходили белые люди, приносили подарки и уводили с собой наших юношей. Иногда юноши возвращались назад, и мы слушали их удивительные рассказы о тяготах и опасностях, которые им пришлось испытать в далеких землях, что лежат за землей племени Пелли, а иногда юноши и не возвращались. И мы сказали тогда: «Если белые люди ничего не боятся, так это потому, что их много, а нас, людей Белой Рыбы, мало, и наши юноши не должны больше уходить от нас». Но юноши все-таки уходили, уходили и девушки, и гнев наш рос.

Правда, мы ели муку и соленую свинину и очень любили пить чай; но если у нас недоставало чаю, это было очень плохо,— мы становились скупы на беседу и скоры на гнев. Так мы начали тосковать о вещах, которые белые люди привозили, чтобы торговать с нами. Торговать! Торговать! Мы только и думали что о торговле. Однажды зимой мы отдали всю убитую дичь за часы, которые не шли, за тупые пилы и пистолеты без патронов. А потом наступил голод, у нас не было мяса, и четыре десятка людей умерло, не дождавшись весны.

«Теперь мы ослабели,— говорили мы,— племя Пелли нападет на нас и захватит нашу землю». Но беда пришла не только к нам, пришла она и к племени Пелли — там тоже люди ослабели и не могли воевать с нами.

Мой отец Отсбаок, могучий воин, был тогда очень стар и очень мудр. И он сказал вождю такие слова: «Посмотри, наши собаки

никуда не годятся. У них уже нет густой шерсти, они утратили свою силу, они не могут ходить в упряжке и околевают от мороза. Давай убьем их, оставим одних только сук волчьей породы, а их отвяжем и отпустим на ночь в лес, чтобы они там спарились с дикими волками. И у нас опять будут сильные собаки с теплой шкурой».

И вождь послушался этих слов, и скоро племя Белой Рыбы прославилось своими собаками, лучшими во всем краю. Но только собаками — не людьми. Лучшие наши юноши и девушки уходили от нас с белыми людьми неведомо куда по дальним тропам и рекам. Девушки возвращались, как возвратилась Нода, хворыми и состарившимися, или не возвращались вовсе. А если возвращались юноши, то они недолго сидели у наших очагов. В своих странствиях они научались дурным речам и дерзким замашкам, пили дьявольское питье, и день и ночь играли в карты, и по первому зову белого человека они вновь уходили в неведомые страны. Они забыли о долге уважения к старшим, никому не оказывали почета, они глумились над нашими старыми обычаями и смеялись в лицо и вождю и шаманам.

Я сказал, что мы, люди племени Белая Рыба, стали слабыми и немощными. Меха и теплые шкуры мы отдавали за табак, виски и одежду из тонкой бумажной ткани, в которой мы дрожали от холода. На нас напал кашель, болели мужчины и женщины, они кашляли и обливались потом всю ночь напролет, а охотники, выйдя в лес, харкали на снег кровью. То у одного, то у другого шла горлом кровь, и от этого люди быстро умирали. Детей женщины рождали редко, и дети рождались хилые и хворые. Белые люди принесли нам и другие неприятные болезни, о которых мы никогда не слыхали. Мне говорили, что эти болезни называются оспой и корью,— мы гибли от них, как гибнут в тихих протоках лососи, когда они осенью кончат метать икру и им больше незачем жить.

И вот самое удивительное: белые люди приносили нам смерть, все их обычаи вели к смерти, смертельно было дыхание их ноздрей, а сами они не знали смерти. У них и виски, и табак, и собаки с короткой шерстью; у них множество болезней: и оспа, и корь, и кашель, и кровохарканье; у них белая кожа, и они боятся стужи и урагана; у них глупые пистолеты, стреляющие шесть раз подряд. И несмотря на все свои болезни, они жиреют и процветают, они наложили свою тяжелую руку на весь мир и попирают все народы. А их женщины, нежные, как маленькие дети, такие хрупкие на вид и такие крепкие на самом деле,— матери больших и сильных мужчин. И выходит, что изнеженность, и болезни, и слабость обертываются силой, могуществом и властью. Белые люди либо боги, либо дьяволы — я не знаю. Да и что могу я знать, я,

старый Имбер из племени Белая Рыба? Я знаю одно: их невозможно понять, этих белых людей, землепроходцев и воинов.

Я сказал, что дичи в лесах становилось меньше и меньше. Это правда, что ружье белого человека — очень хорошее ружье и бьет далеко, но какая польза в ружье, если нет дичи? Когда я был мальчиком, на земле племени Белая Рыба лось попадался на каждом холме, а сколько каждый год приходило оленей карибу — этого не сосчитать. Теперь же охотник может идти по тропе десять дней, и ни один лось не порадует его глаз, а оленей карибу, которых раньше было не сосчитать, теперь не стало вовсе. Я говорю: хоть ружье и бьет далеко, но мало от него пользы, если нечего бить.

И я, Имбер, думал об этом, видя, как погибает племя Белая Рыба, погибает племя Пелли и все остальные племена края,— они погибали, как погибла в лесах дичь. Я думал долго. Я беседовал с шаманами и мудрыми стариками. Чтобы людской шум не мешал мне думать, я уходил из селения подальше в лес, а чтобы тяжесть желудка не давила на меня и не притупляла мое зрение и слух, я перестал есть мясо. Долго я просиживал в лесу, забывая о сне, мои глаза ожидали знака, а мои чуткие уши старались уловить слово, которое должно было все разрешить. Один я выходил темной ночью на берег реки, где стонал ветер и плакала вода,— там, среди деревьев, я хотел встретить тени старых мудрецов, умерших шаманов и просить у них совета.

И в конце концов мне явилось видение — отвратительные собаки с короткой шерстью,— и я понял, что мне делать. По мудрости Отсбаока, моего отца и могучего воина, наши собаки сохранили в чистоте свою волчью породу, и у них были теплые шкуры и хватало силы для того, чтобы ходить в упряжке. И вот я вернулся в селение и сказал свое слово воинам. «Белые люди — это племя, очень большое племя,— сказал я.— В их земле не стало больше дичи, и они пришли на нашу землю, чтобы присвоить ее. Они сделали нас слабыми, и мы гибнем. Они очень жадные люди. И вот на нашей земле уже не стало дичи, и, если мы хотим жить, нам надо сделать с ними то же, что мы сделали с их собаками».

И я сказал еще много слов, я предлагал драться. А люди Белой Рыбы слушали меня, и один сказал одно, а другой другое, кое-кто говорил совсем глупые слова, и ни от одного воина не услышал я слов отваги и войны. Юноши были трусливы и слабы, как вода, но я заметил, что в глазах молчаливо сидящих стариков вспыхнул огонь. И вечером, когда селение уснуло, тайком я позвал стариков в лес и там снова беседовал с ними. И мы пришли к согласию, мы вспомнили дни нашей юности, дни изобилия, и радости, и солнца, когда наша земля была свободна. Мы назвали друг друга братьями, мы дали слово строго хранить тайну и великой

клятвой поклялись очистить нашу землю от злого племени, которое пришло к нам. Теперь ясно, что это было глупо, но как мы могли это знать тогда — мы, старики племени Белая Рыба?

И чтобы подать пример другим и воодушевить их, я совершил первое убийство. Я залег на берегу Юкона и дождался там каноэ с белыми людьми. В нем сидели двое, и, когда они увидели, что я встал и поднял руку, они изменили направление и стали грести к берегу. Но как только человек, сидевший на носу, поднял голову, чтобы узнать, чего мне нужно от него, моя стрела пронеслась по воздуху и впилась ему прямо в горло, и он узнал тогда, чего мне от него нужно. Другой человек, тот, что сидел на корме и правил, не успел приложить к плечу ружье, как я пронзил его своим копьем, два копья у меня еще оставалось.

— Это первые,— сказал я подошедшим ко мне старикам.— Немного погодя мы объединим всех стариков всех племен, а потом и тех юношей, у которых есть еще в руках сила, и дело пойдет быстрее.

Потом мы бросили убитых белых людей в реку. А их каноэ — это было очень хорошее каноэ — мы сожгли, сожгли и все вещи, какие были в каноэ. Но прежде мы осмотрели эти вещи, а они были в кожаных сумках, и нам пришлось их распарывать ножами. В сумках было очень много бумаг — вроде тех, которые ты читал, о Хаукан — и все они покрыты знаками; мы дивились на эти знаки и не могли понять их. Теперь я стал мудрее и понимаю их: это, как ты сказал мне,— слова человека...

Едва Хаукан перевел рассказ об убийстве двух человек в каноэ, как наполнявшая комнату толпа заволновалась и зажужжала.

— Это почта, которая пропала в девяносто первом году! — раздался чей-то голос.— Ее везли Питер Джеймс и Дилэни, их обоих в последний раз видел Мэттьюз у озера Ла-Барж.

Клерк усердно записывал, и к истории Севера прибавилась новая глава.

— Мне осталось сказать немного,— медленно произнес Имбер.— На бумаге есть все, что мы совершили. Мы, старики,— мы не понимали, что делали. Храня тайну, мы убивали и убивали; мы убивали хитро, ибо прожитые годы научили нас делать свое дело не спеша, но быстро. Однажды пришли к нам белые люди, они глядели на нас сердитыми глазами и говорили нам бранные слова, шести нашим юношам они заковали руки в железо и увели их с собой. Тогда мы поняли, что мы должны убивать еще хитрее и еще больше. И мы, старики, один за другим уходили вверх и вниз по реке в неведомые края. Для такого дела требовалась смелость. Хотя мы были стары и уже ничего не боялись, все же

страх перед далекими, чужими краями — великий страх для стариков.

Так мы убивали — не торопясь и с большой хитростью. Мы убивали и на Чилкуте и у Дельты, на горных перевалах и на морском берегу — везде, где только разбивал свою стоянку или прокладывал тропу белый человек. Да, белые люди умирали, но для нас это было бесполезно. Они все приходили и приходили из-за гор, их становилось все больше и больше, а нас, стариков, оставалось все меньше. Я помню, у Оленьего перевала разбил стоянку один белый человек. Этот человек был очень маленького роста, и три наших старика напали на него, когда он спал. На следующий день я наткнулся и на этого белого и на стариков. Из всех четверых еще дышал один лишь белый человек, и у него даже хватило сил, пока он не умер, изругать и проклясть меня.

Так вот и было: сегодня погибнет один старик, а завтра другой. Иногда, уже спустя много времени, к нам доходила весть о смерти кого-нибудь из наших, а иногда и не доходила. А старики других племен были слабы и трусливы и не хотели помогать нам. Итак, сегодня погибал один старик, завтра другой,— и вот остался только я. Я, Имбер, из племени Белая Рыба. Мой отец был Отсбаок, могучий воин. Теперь уже нет племени Белая Рыба. Я последний старик этого племени, а юноши и молодые женщины ушли с нашей земли — кто к племени Пелли, кто к племени Лососей, а больше всего — к белым людям. Я очень стар и очень устал, я напрасно боролся с Законом, и ты прав, Хаукан,— я пришел сюда в поисках Закона.

— Ты поистине глупец, о Имбер,— сказал Хаукан.

Но Имбер уже не слышал, погрузившись в свои видения. Широколобый судья тоже был погружен в видения: перед его взором величественно проходила вся его раса — закованная в сталь, одетая в броню, устанавливающая законы и определяющая судьбы других народов. Он видел зарю ее истории, встающую багровыми отсветами над темными лесами и простором угрюмых морей. Он видел, как эта заря разгорается кроваво-красным пламенем, переходит в торжественный, сияющий полдень, видел, как за склоном, тронутым тенью, уходят в ночь багряные, словно кровью пропитанные пески... И за всем этим ему мерещился Закон, могучий и беспощадный, непреложный и грозный, более сильный, чем те ничтожные человеческие существа, которые действуют его именем или погибают под его тяжестью,— более сильный, чем он, судья, чье сердце просило о снисхождении.

1902

ТЫСЯЧА ДЮЖИН

Дэвид Расмунсен отличался предприимчивостью и, как многие даже менее заурядные люди, был одержим одной идеей. Вот почему, когда трубный глас Севера коснулся его ушей, он решил спекулировать яйцами и все свои силы посвятил этому предприятию. Он произвел краткий и точный подсчет, и будущее заискрилось и засверкало перед ним всеми цветами радуги. В качестве рабочей гипотезы можно было допустить, что яйца в Доусоне будут стоить не дешевле пяти долларов за дюжину. Отсюда неопровержимо следовало, что на одной тысяче дюжин в Столице Золота можно будет заработать пять тысяч долларов.

С другой стороны, следовало учесть расходы, и он их учел как человек осторожный, весьма практический и трезвый, не способный увлекаться и действовать очертя голову. При цене пятнадцать центов за дюжину тысяча дюжин яиц обойдется в сто пятьдесят долларов — сущие пустяки по сравнению с громадной прибылью. А если предположить — только предположить — такую баснословную дороговизну, что на дорогу и провоз яиц уйдет восемьсот пятьдесят долларов, все же, после того как он продаст последнее яйцо и ссыплет в мешок последнюю щепотку золотого песка, на руках у него останется чистых четыре тысячи.

— Понимаешь, Альма,— высчитывал он вслух, сидя с женой в уютной столовой, заваленной картами, правительственными отчетами и путеводителями по Аляске,— понимаешь ли, расходы по-настоящему начинаются только с Дайи, и на дорогу до Дайи за глаза хватит пятидесяти долларов, даже если ехать первым классом. Ну-с, от Дайи до озера Линдерман индейцы-носильщики берут по двенадцати центов с фунта, то есть двенадцать долларов с сотни фунтов, а с тысячи — сто двадцать долларов. У меня будет, скажем, полторы тысячи фунтов, это обойдется в сто восемьдесят долларов; прикинем что-нибудь для верности — ну, хотя бы в двести. Один приезжий из Клондайка заверил меня честным словом, что лодку на Линдермане можно купить за триста долларов. Он же говорил, что нетрудно подыскать двух пассажиров по сто пятьдесят долларов с головы — значит, лодка обойдется даром, а кроме того, они будут помогать в пути. Ну... вот и все. В Доусоне я выгружаю яйца прямо на берег. Ну-ка, сколько же это всего получается?

— Пятьдесят долларов от Сан-Франциско до Дайи, двести от Дайи до Линдермана, за лодку платят пассажиры — значит, всего двести пятьдесят,— быстро подсчитала жена.

— Да еще сто на одежду и снаряжение,— радостно подхватил муж,— значит, пятьсот остается про запас, на экстренные расходы. А какие же там могут быть экстренные расходы?

Альма пожала плечами и подняла брови. Если просторы Севера могут поглотить человека и тысячу дюжин яиц, они смогут поглотить и все его достояние. Так она подумала, но не сказала ничего. Она слишком хорошо знала Дэвида Расмунсена и потому предпочла промолчать.

— Если даже положить вдвое больше времени — на случайные задержки,— то на всю поездку уйдет два месяца. Подумай только, Альма! Четыре тысячи в два месяца! Не чета какой-то несчастной сотне в месяц, что я теперь получаю. Мы отстроимся заново, попросторнее, с газом во всех комнатах, с видом на море; а коттедж я сдам и из этих денег буду платить налоги, страховку и за воду, да и на руках кое-что останется. А может, еще нападу на жилу и вернусь миллионером. Скажи-ка, Альма, как по-твоему, ведь подсчет самый умеренный?

И Альма могла по совести ответить, что да. А кроме того, разве не привез один ее родственник — правда, очень дальний, паршивая овца в семействе и лодырь каких мало,— разве не привез он с таинственного Севера на сто тысяч золотого песка, не говоря уж о половинном пае на ту яму, из которой его добывали?

Соседний бакалейщик очень удивился, когда Дэвид Расмунсен, его постоянный покупатель, стал взвешивать яйца на весах в конце прилавка. Но еще больше удивился сам Расмунсен, обнаружив, что дюжина яиц весит полтора фунта,— значит, тысяча дюжин будет весить полторы тысячи фунтов! На одежду, одеяла и посуду не остается ровно ничего, не говоря уже о провизии, которая понадобится на дорогу. Все его расчеты рухнули, и он уже собирался высчитывать все сначала, как вдруг ему пришло в голову взвесить яйца помельче.

— Крупные они или мелкие, а дюжина есть дюжина,— весьма здраво заметил он про себя и, прикинув на весах дюжину мелких яиц, нашел, что они весят фунт с четвертью. Вскоре по городу Сан-Франциско забегали озабоченные посыльные, а комиссионные конторы и торговцы молочными продуктами были удивлены неожиданным спросом на яйца весом не более двадцати унций дюжина.

Расмунсен заложил свой маленький коттедж за тысячу долларов, отправил жену гостить к ее родным, бросил работу и уехал на Север. Чтобы не выходить из сметы, он решился на компромисс и взял билет во втором классе, где из-за наплыва пассажиров было хуже, чем на палубе, и поздним летом, бледный и ослабевший, высадился со своим грузом в Дайе. Однако твердость походки и аппетит вернулись к нему в самом скором времени. Первый же разговор с индейцами-носильщиками укрепил его физически и закалил морально. Они запросили по сорок центов с фунта за

переход в двадцать восемь миль, и не успел Расмунсен перевести дух от изумления, как цена дошла до сорока трех. Наконец пятнадцать дюжих индейцев, сговорившись по сорок пять центов, стянули ремнями его тюки, но тут же снова развязали их, потому что какой-то крез из Скагуэя в грязной рубахе и рваных штанах, который загнал своих лошадей на Белом перевале и теперь делал последнюю попытку добраться до Доусона через Чилкут, предложил им по сорок семь.

Но Расмунсен проявил выдержку и за пятьдесят центов нашел носильщиков, которые двумя днями позже доставили его товар в целости и сохранности к озеру Линдерман. Однако пятьдесят центов за фунт — это тысяча долларов за тонну, и после того, как полторы тысячи фунтов съели весь его запасный фонд, он долго сидел на мысу Тантала, день за днем глядя, как свежевыструганные лодки одна за другой отправляются в Доусон. Надо сказать, что весь лагерь, где строились лодки, был охвачен тревогой. Люди работали как бешеные с утра до ночи, напрягая все силы,— конопатили, смолили, сколачивали в лихорадочной спешке, которая объяснялась очень просто. С каждым днем снеговая линия спускалась все ниже и ниже с оголенных вершин, ветер налетал порывами, неся с собой то изморось, то мокрый, то сухой снег, а в тихих заводях и у берегов нарастал молодой лед и с каждым часом становился все толще. Каждое утро измученные работой люди смотрели на озеро, не начался ли ледостав. Ибо ледостав означал бы, что надеяться больше не на что,— а они надеялись, что, когда на озерах закроется навигация, они уже будут плыть вниз по быстрой реке.

Душа Расмунсена терзалась тем сильнее, что он обнаружил трех конкурентов по яичной части. Правда, один из них, коротенький немец, уже разорился вчистую и, ни на что больше не рассчитывая, сам перетаскивал обратно последние тюки товара; зато у двух других лодки были почти готовы, и они ежедневно молили бога торговли и коммерции задержать еще хоть на день железную руку зимы. Но эта железная рука уже сдавила страну. Снежная пурга заносила Чилкут, люди замерзали насмерть, и Расмунсен не заметил, как отморозил себе пальцы на ногах. Подвернулся было случай устроиться пассажиром в лодке, которая, шурша галькой, как раз отчаливала от берега, но надо было дать двести долларов наличными, а денег у него уже не осталось.

— Я так думал, вы погодить немножко,— говорил ему лодочник-швед, который именно здесь нашел свой Клондайк и оказался достаточно умен, чтоб понять это,— совсем немножко погодить, и я вам сделай очень хороший лодка, верный слово.

Положившись на это слово, Расмунсен вернулся к озеру Кратер и там повстречал двух газетных корреспондентов, багаж кото-

рых был раскидан по всему перевалу, от Каменного Дома до Счастливого Лагеря.

— Да,— сказал он значительно.— У меня тысяча дюжин яиц уже доставлена к озеру Линдерман, а сейчас там кончают конопатить для меня лодку. И я считаю, что мне повезло. Сами знаете, лодки нынче нарасхват, их ни за какие деньги не достанешь.

Корреспонденты с криком и чуть ли не с дракой стали навязываться Расмунсену в попутчики, махали у него перед носом долларовыми бумажками и совали в руки золотые. Он не желал ничего слушать, однако в конце концов поддался на уговоры и нехотя согласился взять корреспондентов с собой за триста долларов с каждого. Деньги они ему заплатили вперед. И покуда оба строчили в свои газеты сообщения о добром самаритянине, везущем тысячу дюжин яиц, этот добрый самаритянин уже торопился к шведу на озеро Линдерман.

— Эй вы! Давайте-ка сюда эту лодку,— приветствовал он шведа, позвякивая корреспондентскими золотыми и жадно оглядывая готовое суденышко.

Швед флегматично смотрел на него, качая головой.

— Сколько вам за нее должны уплатить? Триста? Ладно, вот вам четыреста. Берите.

Он совал деньги шведу, но тот только пятился от него.

— Я думаль, нет. Я говориль ему, лодка готовый, можно брать. Вы погодить немножко...

— Вот вам шестьсот. Хотите берите, хотите нет. Последний раз предлагаю. Скажите там, что вышла ошибка.

Швед заколебался и наконец сказал:

— Я думаль, да.— И после этого Расмунсен видел его только один раз — когда он, отчаянно коверкая язык, пытался объяснить другим заказчикам, какая вышла ошибка.

Немец сломал ногу, поскользнувшись на крутом горном склоне у Глубокого озера, и, распродав свой товар по доллару за дюжину, на вырученные деньги нанял индейцев-носильщиков нести себя обратно в Дайю. Но остальные два конкурента отправились следом за Расмунсеном в то же утро, когда он со своими попутчиками отчалил от берега.

— У вас сколько? — крикнул ему один из них, худенький и маленький янки из Новой Англии.

— Тысяча дюжин,— с гордостью ответил Расмунсен.

— Ого! А у меня восемь сотен. Давайте спорить, что я обгоню вас!

Корреспонденты предлагали Расмунсену денег взаймы; но он отказался, и тогда янки заключил пари с последним из конкурентов, могучим сыном волны, море и сушу видавшим, который обещал показать им настоящую работу, когда понадобится. И пока-

зал, поставив большой брезентовый парус, отчего носовая часть лодки то и дело зарывалась в воду при каждом порыве ветра. Он первым вышел из озера Линдерман, но не пожелал идти волоком и посадил перегруженную лодку на камни среди клокочущих порогов. Расмунсен и янки, у которого тоже было двое пассажиров, перетащили груз на плечах, а потом перевели лодки порожняком через опасное место в озеро Беннет.

Беннет — это озеро в двадцать пять миль длиной, узкая и глубокая воронка в горах, игралище бурь. Расмунсен переночевал на песчаной косе в верховьях озера, где было много других людей и лодок, направлявшихся к северу наперекор арктической зиме. Поутру он услышал свист южного ветра, который, набравшись холода среди снежных вершин и оледенелых ущелий, был здесь ничуть не теплее северного. Однако погода выдалась ясная, и янки уже огибал крутой мыс на всех парусах. Лодка за лодкой отплывали от берега, и корреспонденты с воодушевлением взялись за дело.

— Мы его догоним у Оленьего перевала,— уверяли они Расмунсена, когда паруса были поставлены и «Альму» в первый раз обдало ледяными брызгами.

Расмунсен всю свою жизнь побаивался воды, но тут он вцепился в рулевое весло, стиснул зубы и словно окаменел. Его тысяча дюжин была здесь же в лодке, он видел ее перед собой, прикрытую багажом корреспондентов, и в то же время, неизвестно каким образом, он видел перед собой и маленький коттедж, и закладную на тысячу долларов.

Холод был жестокий. Время от времени Расмунсен вытаскивал рулевое весло и вставлял другое, а пассажиры сбивали с весла лед. Водяные брызги замерзали на лету, и косая нижняя рея быстро обросла бахромой сосулек. «Альма» билась среди высоких волн и трещала по всем швам, но вместо того чтобы вычерпывать воду, корреспендентам приходилось рубить лед и бросать его за борт. Отступать было уже нельзя. Началось отчаянное состязание с зимой, и лодки одна за другой бешено мчались вперед.

— М-мы не с-сможем остановиться даже ради спасения души! — крикнул один из корреспондентов, стуча зубами, но не от страха, а от холода.

— Правильно! Держи ближе к середине, старик! — подтвердил другой.

Расмунсен ответил бессмысленной улыбкой. Скованные морозом берега были словно в мыльной пене, и, чтобы уйти от крупных валов, только и оставалось держаться ближе к середине озера — больше не на что было надеяться. Спустить парус — значило дать волне нагнать и захлестнуть лодку. Время от времени они обгоняли другие суденышки, бившиеся среди камней, а одна лод-

ка у них на глазах налетела на пороги. Маленькая шлюпка позади, в которой сидели двое, перевернулась кверху дном.

— Г-гляди в оба, старик! — крикнул тот, что стучал зубами.

Расмунсен ответил улыбкой и еще крепче ухватился за руль коченеющими руками. Двадцать раз волна догоняла квадратную корму «Альмы» и выносила ее из-под ветра, так что парус начинал полоскаться, и каждый раз, напрягая все свои силы, Расмунсен снова выравнивал лодку. Улыбка теперь словно примерзла к его лицу, и встревоженные корреспонденты смотрели на него со страхом.

Они пролетели мимо одинокой скалы, торчавшей в ста ярдах от берега. С вершины, заливаемой волнами, кто-то окликнул их диким голосом, на мгновение пересилив шум бури. Но в следующий миг «Альма» уже пронеслась дальше, и скала осталась позади, черная среди волнующейся пены.

— С янки покончено! А где же моряк? — крикнул один из пассажиров.

Расмунсен посмотрел через плечо и поискал глазами черный парус. С час назад этот парус вынырнул из серой мглы с наветренной стороны, и теперь Расмунсен то и дело оглядывался и видел, что парус все близится и растет. Моряк, должно быть, успел заделать пробоины и теперь наверстывал потерянное время.

— Смотрите, нагоняет!

Оба пассажира перестали скалывать лед и тоже следили за черным парусом. Двадцать миль озера Беннет остались позади — было где разгуляться буре, подбрасывая водяные горы к небесам. То низвергаясь в бездну, то взлетая ввысь, словно дух бури, моряк промчался мимо. Огромный парус, казалось, подхватывал лодку с гребней волн, отрывал ее от воды и с грохотом швырял в зияющие провалы между волнами.

— Волне его не догнать.

— Сейчас з-зароется н-носом в воду!

В ту же минуту черный брезент накрыло высоким гребнем волны. Вторая и третья волны прокатились над этим местом, но лодка больше не появлялась. «Альма» промчалась мимо. Всплыли обломки весел, доски от ящиков. Высунулась рука из воды, косматая голова мелькнула на поверхности, ярдах в двадцати от «Альмы».

На время все замолкли. Как только показался другой берег озера, волны стали захлестывать лодку с такой силой, что корреспонденты уже не скалывали лед, а энергично вычерпывали воду. Даже и это не помогало, и, посоветовавшись с Расмунсеном, они принялись за багаж. Мука, бекон, бобы, одеяла, керосинка, веревка — все, что только попадалось под руку, полетело за борт. Лод-

ка сразу отозвалась на это — она черпала меньше воды и легче шла вперед.

— Ну и хватит! — сурово прикрикнул Расмунсен, как только они добрались до верхнего ящика с яйцами.

— Как бы не так! К черту! — огрызнулся тот, что стучал зубами. Они оба пожертвовали всем своим багажом, кроме записных книжек, фотоаппаратов и пластинок. Корреспондент нагнулся, ухватился за ящик с яйцами и начал вытаскивать его из-под веревок.

— Брось! Брось, тебе говорят!

Расмунсен умудрился как-то выхватить револьвер и целился, локтем придерживая руль. Корреспондент вскочил на банку; он стоял пошатываясь, и его лицо исказила злобная и угрожающая гримаса.

— Боже мой!

Это крикнул второй корреспондент, бросившись ничком на дно лодки. «Альму», о которой Расмунсен почти забыл в эту минуту, подхватил и завертел водоворот. Парус заполоскался, рея со страшной силой рванулась вперед и столкнула первого корреспондента за борт, переломив ему позвоночник. Мачта с парусом тоже рухнула за борт. Волна хлынула в лодку, потерявшую направление, и Расмунсен бросился вычерпывать воду.

В следующие полчаса мимо них пролетело несколько лодок, и маленьких и таких, как «Альма», но все они, гонимые страхом, могли только мчаться вперед. Наконец десятитонный барк, рискуя погибнуть сам, спустил парус с наветренной стороны и, тяжело повернувшись, подошел к «Альме».

— Назад! Назад! — завопил Расмунсен.

Но низкий планшир его лодки уже терся со скрежетом о грузный барк, и оставшийся в живых корреспондент карабкался на высокий борт. Расмунсен, словно кошка, сидел над своей тысячей дюжин на носу «Альмы», онемевшими пальцами стараясь связать два конца.

— Полезай! — закричал ему с барка человек с рыжими бакенами.

— У меня здесь тысяча дюжин яиц,— крикнул он в ответ.— Возьмите меня на буксир! Я заплачу!

— Полезай! — кричали ему хором.

Высокая волна с белым гребнем встала над самым барком и, перехлестнув через него, наполовину затопила «Альму». Люди махнули рукой и, выругав Расмунсена как следует, подняли парус. Расмунсен тоже выругался в ответ и опять принялся вычерпывать воду. Мачта с парусом еще держалась на фалах и действовала как якорь, помогая лодке сопротивляться волнам и ветру.

Тремя часами позже, весь закоченев, выбившись из сил и бор-

моча как помешанный, но не бросая вычерпывать воду, Расмунсен пристал к скованному льдом берегу близ Оленьего перевала. Правительственный курьер и метис-проводник вдвоем вывели его из полосы прибоя, спасли весь его груз и вытащили «Альму» на берег. Эти люди ехали из Доусона в рыбачьей лодке, но задержались в пути из-за бури. Они приютили Расмунсена на ночь в своей палатке. Наутро путники двинулись дальше, но Расмунсен предпочел задержаться со своей тысячей дюжин яиц. И после этого по всей стране пошла молва о человеке, который везет тысячу дюжин яиц. Золотоискатели, добравшись до места накануне ледостава, принесли с собой слух о том, что он в пути. Поседевшим старожилам с Сороковой Мили и из Серкла, ветеранам с железными челюстями и заскорузлыми от бобов желудками при одном звуке его имени смутно, как сквозь сон, вспоминались цыплята и свежая зелень. Дайя и Скагуэй живо интересовались им и расспрашивали о нем каждого путника, одолевшего перевалы, а Доусон — золотой Доусон, стосковавшийся по яичнице,— волновался и тревожился и жадно ловил каждый слух об этом человеке.

Ничего этого Расмунсен не знал. На другой день после крушения он починил «Альму» и двинулся дальше. Резкий восточный ветер с озера Тагиш дул ему в лицо, но он взялся за весла и мужественно греб, хотя лодку то и дело относило назад, да вдобавок ему приходилось скалывать лед с обмерзших весел. Как полагается, «Альму» выбросило на берег у Уинди-Арм; три раза подряд Расмунсена захлестывало волной на Тагише и прибивало к берегу, а на озере Марш его захватил ледостав. «Альму» затерло льдом, но яйца остались целыми. Он волок их две мили по льду до берега и там устроил потайной склад, который местные старожилы показывали желающим и через несколько лет после этого.

Пять сотен миль обледенелой земли отделяли его от Доусона, а водный путь был закрыт. Но Расмунсен словно окаменел и пустился обратно через озеро пешком. Что ему пришлось вытерпеть во время пути — имея при себе только одеяло, топор да горсточку бобов,— не дано знать простому смертному. Понять это может лишь путешественник по Арктике. Достаточно сказать, что на Чилкуте его застала пурга, и врач в Овечьем лагере отнял ему два пальца на ноге. Однако Расмунсен не сдался и после этого: до пролива Пюджет он мыл посуду на «Павоне», а оттуда до Сан-Франциско шуровал уголь на пассажирском пароходе.

Совсем одичавшим и опустившимся человеком ввалился он в банкирскую контору, волоча ногу по блестящему паркету, и попросил денег под вторую закладную. Его впалые щеки просвечивали сквозь редкую бороду, глаза ушли глубоко в орбиты и горели холодным огнем, руки огрубели от холода и тяжелой работы, под

ногти черной каймой набилась грязь и угольная пыль. Он бормотал что-то невнятное про яйца, торосистый лед, ветры и течения, но когда ему отказались дать больше тысячи, речь его потеряла всякую связность, и можно было разобрать только, что дело идет о собаках и корме для собак, а также о мокасинах, лыжах и зимних тропах. Ему дали полторы тысячи, то есть гораздо больше, чем можно было дать под его коттедж, и все вздохнули с облегчением, когда он, с трудом подписав свою фамилию, вышел из комнаты.

Спустя две недели Расмунсен перевалил через Чилкут с тремя упряжками, по пяти собак в каждой. Одну упряжку вел он сам, остальные — два индейца-погонщика. У озера Марш они разобрали тайник и погрузили яйца на нарты. Но тропа еще не была проложена. Расмунсен ступил на лед, и на его долю пришелся труд утаптывать снег и пробиваться через ледяные заторы на реках. На привале он часто видел позади дым костров, поднимавшийся тонкой струйкой в чистом воздухе, и удивлялся, почему это люди не стараются обогнать его. Он был новичком в этих местах и не понимал, в чем дело. Не понимал он и своих индейцев, когда они пытались объяснить ему. Даже с их точки зрения это был тяжкий труд, но когда по утрам они упирались и отказывались двинуться со стоянки, он заставлял их браться за дело, грозя револьвером.

Провалившись сквозь лед у порогов Белой Лошади, Расмунсен опять отморозил себе ногу, очень чувствительную к холоду после первого обморожения, и индейцы думали, что он сляжет. Но он пожертвовал одним из одеял, и, сделав из него огромных размеров мокасин, похожий на ведро, по-прежнему шел за передними партами. Это был тяжелый труд, и индейцы научились уважать Расмунсена, хотя и постукивали по лбу пальцем, многозначительно качая головой, когда он не мог этого видеть. Однажды ночью они попытались бежать, однако свист пуль, зарывавшихся в снег, образумил их, и они вернулись, угрюмые, но покорные. После этого они сговорились убить Расмунсена, но он спал чутко, словно кошка, и ни днем, ни ночью им не представлялось удобного случая. Не раз они пытались растолковать ему значение струйки дыма позади, но он ничего не понял и только стал относиться к ним еще подозрительней. А если они хмурились или отлынивали от работы, он быстро унимал их, показывая револьвер, который всегда был у него под рукой.

Так оно и шло: люди были непокорны, собаки одичали, трудная дорога выматывала силы. Он боролся с людьми, которые хотели бросить его, боролся с собаками, отгоняя их от яиц, боролся со льдом, с холодом, с болью в ноге, которая все не заживала. Как только рана затягивалась, кожа на ней трескалась от мороза,

и под конец на ноге образовалась язва, в которую можно было вложить кулак. По утрам, когда он впервые ступал на эту ногу, голова у него кружилась от боли, он чуть не терял сознание, но потом в течение дня боль обычно утихала и возобновлялась только к ночи, когда он забирался под одеяло и пробовал уснуть. И все же этот человек, бывший счетовод, полжизни просидевший за конторкой, работал так, что индейцы не могли угнаться за ним; даже собаки и те выдыхались раньше. Сам он не сознавал даже, сколько ему приходилось работать и терпеть. Он был человеком одной идеи, и эта идея, однажды возникнув, поработила его. На поверхности его сознания был Доусон, в глубине тысяча дюжин яиц, а его «я» витало где-то на полдороге между тем и другим, стараясь свести их в одной блистающей точке. Этой точкой были пять тысяч долларов — завершение его идеи и отправной пункт для новой, в чем бы она ни заключалась. Во всем остальном он был просто автомат. Он даже не сознавал, что в мире есть что-нибудь иное, видел окружающее смутно, как сквозь стекло, и относился к нему безразлично. Его руки работали с точностью заведенной машины, так же работала и голова. Выражение его лица стало настолько напряженным, что пугало даже индейцев, и они удивлялись непонятному белому человеку, который сделал их своими рабами и заставлял так неразумно тратить силы.

А потом, когда они подошли к озеру Ла-Барж, снова ударили морозы, и холод межпланетных пространств поразил верхушку нашей планеты с силой шестидесяти с лишним градусов ниже нуля. Шагая с раскрытым ртом, чтобы легче дышать, Расмунсен застудил легкие, и весь остаток пути его мучил сухой, отрывистый кашель, усиливавшийся от дыма костров и от непосильной работы. На Тридцатимильной реке он наткнулся на большие полыньи, прикрытые предательскими ледяными мостиками и обведенные каймой молодого льда, тонкой и ненадежной. На этот молодой лед нельзя было полагаться, и индейцы колебались, но Расмунсен грозил им револьвером и шел вперед, невзирая ни на что. Однако на ледяных мостиках, хотя и прикрытых снегом, можно еще было принимать меры предосторожности. Они переходили эти мостики на лыжах, держа в руках длинные шесты на случай, если подломится лед, и, выбравшись на ту сторону, звали собак. И как раз на таком мостике, где провал посредине был незаметен под снегом, погиб один из индейцев. Он провалился в воду мгновенно и бесследно, как нож в сметану, и течение сразу увело его под лед.

В ту же ночь при бледном лунном свете убежал второй индеец. Расмунсен напрасно тревожил тишину выстрелами из револьвера, которым он орудовал с большей быстротой, чем сноровкой. Спустя тридцать шесть часов этот индеец добрался до полицейского поста на реке Большой Лосось.

— Чудная человек! Как сказать — голова набекрень,— объяснял переводчик изумленному капитану.— А? Ну да, рехнулся, совсем рехнулся. Говорит: яйца, яйца... Все про яйца! Понятно? Скоро сюда придет.

Прошло несколько дней, и Расмунсен явился на пост на трех нартах, связанных вместе и со всеми собаками, соединенными в одну упряжку. Это было очень неудобно, и в тех местах, где дорога была плохая, он переводил нарты поочередно, хотя ценою геркулесовых усилий ему иногда удавалось перевести их, не расцепляя. Расмунсена, по-видимому, нисколько не взволновало, когда капитан сказал ему, что его индеец пошел в Доусон и теперь, вероятно, находится где-нибудь между Селкерком и рекой Стюарт. Вполне безучастно выслушал он и сообщение, что полиция накатала тропу до Пелли; он дошел до того, что с фаталистическим равнодушием принимал все, что посылали ему стихии, как добро, так и зло. Зато когда ему сказали, что в Доусоне жестоко голодают, он усмехнулся, запряг своих собак и тронулся дальше.

Лишь на следующей остановке разъяснилась загадка дыма. Как только до Большого Лосося дошла весть, что тропа проложена до Пелли, дымная цепочка перестала следовать за Расмунсеном, и, сидя у своего одинокого костра, он видел пеструю вереницу нарт, проносившихся мимо. Первыми проехали курьер и метис, которые вытаскивали его из озера Беннет, затем нарты с почтой для Серкла, а за ними потянулись в Клондайк разношерстные искатели счастья. Собаки и люди выглядели свежими, отдохнувшими, а Расмунсен и его псы измучились и исхудали так, что от них оставались лишь кожа да кости. Люди из дымной цепочки работали один день из трех, отдыхая и приберегая силы до того времени, когда можно будет пуститься в путь по наезженной тропе, а Расмунсен рвался вперед, с трудом протаптывая дорогу, изнуряя своих собак, выматывая из них последние силы.

Его самого сломить было невозможно. Эти сытые, отдохнувшие люди любезно благодарили его за то, что он для них так старался,— благодарили, широко ухмыляясь и нагло посмеиваясь над ним: он понял теперь, в чем дело, но ничего им не ответил и даже не озлобился. Это ничего не меняло. Идея — суть, которая лежала в ее основе,— оставалась все та же. Он здесь, и с ним тысяча дюжин, а там Доусон: значит, все остается по-прежнему.

У Малого Лосося ему не хватило корма для собак; он отдал им свою долю, а сам до Селкерка питался одними бобами, крупными темными бобами, очень питательными, но такими грубыми, что его перегибало пополам от болей в желудке. На дверях фактории в Селкерке висело объявление, что пароходы не ходят вверх по Юкону вот уже два года; поэтому и провизия сильно вздорожала. Агент Компании предложил ему меняться: чашку муки за каж-

дое яйцо, но Расмунсен только покачал головой и поехал дальше. Где-то за факторией ему удалось купить для собак мороженую конскую шкуру: торговцы скотом с Чилката прирезали лошадей, а отбросы подобрали индейцы. Он, Расмунсен, тоже попробовал жевать шкуру, но щетина колола язвы во рту, и боль была невыносимой.

Здесь, в Селкерке, он повстречал первых предвестников голодного исхода из Доусона: беглецов становилось все больше, они являли собой печальное зрелище.

— Нечего есть! — вот что повторяли они хором.— Нечего есть, приходится уходить. Все молят бога, чтобы хоть к весне стало полегче. Мука стоит полтора доллара фунт, и никто ее не продает.

— Яйца? — переспросил один из них.— По доллару штука, только их совсем нет.

Расмунсен сделал в уме быстрый подсчет.

— Двенадцать тысяч долларов,— сказал он вслух.

— Что? — не понял встречный.

— Ничего,— ответил Расмунсен и погнал собак дальше.

Когда он добрался до реки Стюарт, в семнадцати милях от Доусона, пять собак у него погибли, остальные валились с ног. Сам Расмунсен тоже впрягся в постромки и тянул из последних сил. Но даже и так он едва делал десять миль в день. Его скулы и нос, много раз обмороженные, почернели, покрылись струпьями; на него страшно было смотреть. Большой палец, который мерз больше других, когда приходилось держаться за поворотный шест, тоже был отморожен и болел. Ногу, по-прежнему обутую в огромный мокасин, сводила какая-то страшная боль. Последние бобы, давно уже разделенные на порции, кончились у Шестидесятой Мили, но Расмунсен упорно отказывался дотронуться до яиц. Он не мог допустить даже мысли об этом, она казалась ему святотатством; и так, шатаясь и падая, он проделал весь путь до Индейской реки. Тут щедрость одного старожила и свежее мясо только что убитого лося прибавили сил ему и собакам; добравшись до Эйнсли, он воспрял духом: беглец из Доусона, оставивший город пять часов назад, сказал ему, что он получит за каждое яйцо не меньше доллара с четвертью.

С сильно бьющимся сердцем Расмунсен подходил к крутому берегу, где стояло здание доусонских казарм; колени у него подгибались. Собаки так обессилели, что пришлось дать им передышку, и, дожидаясь, пока они отдохнут, он от слабости прислонился к шесту. Мимо проходил какой-то человек очень внушительной наружности, в толстой медвежьей шубе. Он с любопытством взглянул на Расмунсена, остановился и оценивающим взглядом окинул собак и связанные постромками нарты.

— Что у вас? — спросил он.

— Яйца,— с трудом выговорил Расмунсен хриплым голосом, чуть громче шепота.

— Яйца! Ура! Ура! — человек подпрыгнул, бешено завертелся и пустился в пляс.— Не может быть! Это все яйца?

— Да, все.

— Послушайте, вы, верно, Человек С Тысячей Дюжин? — Он обошел Расмунсена кругом и посмотрел на него с другой стороны.— Нет, в самом деле! Это вы и есть?

Расмунсен не был в этом вполне уверен, но ответил утвердительно, и человек в шубе несколько успокоился.

— Сколько же вы за них хотите? — осторожно спросил он.

Расмунсен осмелел.

— Полтора доллара,— сказал он.

— Заметано! — поспешно ответил человек.— Давайте мне дюжину!

— Я... я хочу сказать, полтора доллара за штуку,— нерешительно объяснил Расмунсен.

— Ну да, я слышал. Давайте мне дюжину. Вот песок.

Человек вытащил объемистый мешочек с золотом, толстый, как колбаса, и небрежно постучал им о шест. Расмунсен ощутил странную дрожь под ложечкой, щекотание в ноздрях и почти непобедимое желание сесть и расплакаться. Но вокруг уже начинала собираться толпа любопытных, и покупатели один за другим требовали яиц. Весов у Расмунсена не было, но человек в медвежьей шубе принес весы и услужливо отвешивал песок, пока Расмунсен отпускал товар. Скоро началась толкотня и давка, поднялся шум. Каждый хотел купить и каждый требовал, чтобы ему отпустили первому. И чем больше волновалась толпа, тем спокойней становился Расмунсен. Тут что-нибудь да не так. Неспроста они покупают яйца нарасхват, за этим что-нибудь да кроется. Умнее было бы сначала выждать и узнать цену. Может быть, яйцо теперь стоит уже два доллара. Во всяком случае, полтора доллара он всегда получит.

— Конец! — объявил он, распродав сотни две яиц.— Больше не продаю. Устал. Мне еще надо найти хижину; вот тогда приходите, поговорим.

Толпа охнула, но человек в медвежьей шубе поддержал Расмунсена. Двадцать четыре штуки мороженых яиц со стуком перекатывались в его объемистых карманах, и ему не было никакого дела до того, будут сыты остальные или нет. Кроме того, он видел, что Расмунсен едва стоит на ногах.

— Есть хижина недалеко от «Монте-Карло», второй поворот сейчас же за углом,— сказал он,— окно там из содовых бутылок. Хижина не моя, мне только поручили ее сдать. Цена десять дол-

ларов в день, и это еще дешево. Сейчас же и въезжайте, я к вам зайду потом. Не забудьте: вместо окна — бутылки.

— Тра-ла-ла! — пропел он минутой позже.— Пойду к себе есть яичницу и мечтать о доме.

По дороге Расмунсен вспомнил, что голоден, и зашел в лавку Компании запастись кое-какой провизией, а потом в мясную — купить бифштекс и вяленой рыбы для собак. Он сразу нашел хижину и, не распрягая собак, развел огонь и поставил кипятить кофе.

— Полтора доллара за штуку... Тысяча дюжин... Восемнадцать тысяч долларов! — твердил он вполголоса, хлопоча возле печки.

Когда он бросил бифштекс на сковородку, дверь скрипнула. Расмунсен обернулся. Это был человек в медвежьей шубе. Он вошел очень решительно, видимо, с какой-то определенной целью, но, взглянув на Расмунсена, словно растерялся, и лицо его выразило смущение.

— Вот что, послушайте...— начал он и замялся.

Расмунсен подумал, уж не пришел ли он за квартирной платой.

— Послушайте, черт возьми! А ведь яйца-то, знаете ли, тухлые!

Расмунсен зашатался. Его словно огрели по лбу дубиной. Стены перекосились и заходили перед ним ходуном. Он протянул вперед руку и ухватился за печку, чтобы не упасть. Резкая боль и запах горелого мяса привели его в чувство.

— Понимаю,— с трудом выговорил он, роясь в кармане.— Вы хотите получить деньги обратно?

— Не в деньгах дело,— ответил человек в медвежьей шубе,— а нет ли у вас других яиц, посвежее?

Расмунсен покачал головой.

— Возьмите деньги обратно.

Но тот отказался, пятясь к дверям.

— Я лучше приду потом, когда вы разберете товар, и обменяю на другие.

Расмунсен вкатил в дом колоду и внес ящики с яйцами. Он принялся за дело очень спокойно. Взял топорик и стал рубить яйца пополам, одно за другим. Половинки он внимательно разглядывал и бросал на пол. Сначала он брал яйца на выбор из разных ящиков, потом стал рубить подряд. Куча на полу все росла. Кофе перекипел и убежал, бифштекс подгорел, и комната наполнилась чадом. Он рубил без отдыха, не разгибая спины, пока не опустел последний ящик.

Кто-то постучался в дверь, еще раз постучался и вошел.

— Что такое тут творится? — спросил гость, останавливаясь у порога и оглядывая комнату.

Разрубленные яйца начали оттаивать от печного жара, и с каждой минутой вонь становилась все сильнее и сильнее.

— Должно быть, на пароходе испортились,— заметил вошедший.

Расмунсен уставился на него пустыми глазами.

— Я Мэррей, Большой Джим Мэррей, меня тут все знают,— отрекомендовался гость.— Мне сказали, что у вас испортился товар, предлагаю вам двести долларов за всю партию. Это, конечно, не то, что рыба, но для собак годится.

Расмунсен словно окаменел. Он не пошевельнулся.

— Подите к черту! — сказал он без всякого выражения.

— Да вы подумайте. Цена хорошая за такую тухлятину, все-таки лучше, чем ничего. Две сотни. Ну, так как же?

— Подите к черту,— негромко повторил Расмунсен,— убирайтесь вон!

Мэррей взглянул на него со страхом, потом тихонько вышел, пятясь задом и не сводя с Расмунсена глаз.

Расмунсен вышел за ним и распряг собак. Побросав им всю рыбу, которую купил, он отвязал и намотал на руку постромки от нарт. Потом вошел в дом и запер за собой дверь. От обуглившегося бифштекса в комнате стоял едкий чад. Расмунсен стал на койку, перебросил постромки через стропила и прикинул длину на глаз. Должно быть, ему показалось, что коротко,— он поставил на койку табурет и влез на него. Сделав на конце постромок петлю, он просунул в нее голову, а другой конец закрепил. Потом отшвырнул табурет ногой.

1903

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Прихрамывая, они спускались к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, стянутые ремнями. Каждый из них нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз.

— Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике,— сказал один.

Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ничего ему не ответил.

Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная, как лед,— такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору.

Второй спутник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова,— он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего спутника: тот все так же шел вперед, даже не оглядываясь.

Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул:

— Слушай, Билл, я вывихнул ногу!

Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и, хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя.

Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше. Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кончиком языка.

— Билл! — крикнул он.

Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ долго следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой линии горизонта, образованной гребнем невысокого холма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он остался один после ухода Билла.

Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видное сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без видимых границ и очертаний. Опираясь на одну ногу всей своей тяжестью, путник достал часы. Было уже четыре. Последние недели две он сбился со счета; так как стоял конец июля или начало августа, то он знал, что солнце должно находиться на северо-западе. Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими мрачными холмами, лежит Большое Медвежье озеро и что в том же направлении проходит по канадской равнине страшный путь Полярного круга. Речка, посреди которой он стоял, была притоком реки Коппермайн, а Коппермайн течет также на север и впадает в залив Коронации, в Северный Ледовитый океан. Сам он никогда не бывал там, но видел однажды эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Он снова окинул взглядом тот круг вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселая. Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линией. Ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни,— и в его глазах появилось выражение страха.

— Билл! — прошептал он и повторил опять: — Билл!

Он присел на корточки посреди мутного ручья, словно бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с плеском упало в воду. Это заставило его опомниться. Он пересилил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду, нашарил ружье, потом передвинул тюк ближе к левому плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу, и медленно и осторожно пошел к берегу, морщась от боли.

Он шел не останавливаясь. Не обращая внимания на боль, с отчаянной решимостью, он торопливо взбирался на вершину холма, за гребнем которого скрылся Билл,— и сам он казался еще более смешным и неуклюжим, чем хромой, едва ковылявший Билл. Но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет! На него снова напал страх, и, снова поборов его, он передвинул тюк еще дальше к левому плечу и, хромая, стал спускаться вниз.

Дно долины было болотистое, вода пропитывала густой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала из-под ног, и подошва с хлюпаньем отрывалась от влажного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник перебирался от озерка к озерку, по камням, торчавшим во мху как островки.

Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что еще немного — и он подойдет к тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое озеро Титчинничили, что на местном языке означает: «Страна Маленьких Палок». А в озеро впадает ручей, и вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камыш — это он хорошо помнил,— но деревьев там нет, и он пойдет вверх по ручью до самого водораздела. От водораздела начинается другой ручей, текущий на запад; он спустится по нему до реки Диз и там найдет свой тайник под перевернутым челноком, заваленным камнями. В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удочек и маленькая сеть — все нужное для того, чтобы добывать себе пропитание. А еще там есть мука — правда, немного, и кусок грудинки, и бобы.

Билл подождет его там, и они вдвоем спустятся по реке Диз до Большого Медвежьего озера, а потом переправятся через озеро и пойдут на юг, все на юг, пока не доберутся до реки Маккензи. На юг, все на юг,— а зима будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и дни станут холодней,— на юг, к какой-нибудь

фактории Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья и где сколько хочешь еды.

Вот о чем думал путник, с трудом пробираясь вперед. Но как ни трудно было ему идти, еще труднее было уверить себя в том, что Билл его не бросил, что Билл, конечно, ждет его у тайника. Он должен был так думать, иначе не было никакого смысла бороться дальше,— оставалось только лечь на землю и умереть. И пока тусклый диск солнца медленно скрывался на северо-западе, он успел рассчитать — и не один раз — каждый шаг того пути, который предстоит проделать им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы. Он снова и снова перебирал мысленно запасы пищи в своем тайнике и запасы на складе Компании Гудзонова залива. Он ничего не ел уже два дня, но еще дольше он не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту,— оставалось только горькое жесткое семя. Он знал, что ими не насытишься, но все-таки терпеливо жевал, потому что надежда не хочет считаться с опытом.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о камень, пошатнулся и упал от слабости и утомления. Довольно долго он лежал на боку не шевелясь; потом высвободился из ремней, неловко приподнялся и сел. Еще не стемнело, и в сумеречном свете он стал шарить среди камней, собирая клочки сухого мха. Набрав целую охапку, он развел костер — тлеющий, дымный костер — и поставил на него котелок с водой.

Он распаковал тюк и прежде всего сосчитал, сколько у него спичек. Их было шестьдесят семь. Чтобы не ошибиться, он пересчитал три раза. Он разделил их на три кучки и каждую завернул в пергамент; один сверток он положил в пустой кисет, другой — за подкладку изношенной шапки, а третий — за пазуху. Когда он проделал все это, ему вдруг стало страшно; он развернул все три свертка и снова пересчитал. Спичек было по-прежнему шестьдесят семь.

Он просушил мокрую обувь у костра. От мокасин остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки прохудились насквозь, и ноги у него были стерты до крови. Лодыжка сильно болела, и он осмотрел ее: она распухла, стала почти такой же толстой, как колено. Он оторвал длинную полосу от одного одеяла и крепко-накрепко перевязал лодыжку, оторвал еще несколько полос и обмотал ими ноги, заменив этим носки и мокасины, потом выпил кипятку, завел часы и лег, укрывшись одеялом.

Он спал как убитый. К полуночи стемнело, но ненадолго. Солнце взошло на северо-востоке — вернее, в той стороне начало светать, потому что солнце скрывалось за серыми тучами.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он посмотрел

на серое небо и почувствовал, что голоден. Повернувшись и приподнявшись на локте, он услышал громкое фырканье и увидел большого оленя, который настороженно и с любопытством смотрел на него. Олень стоял от него шагах в пятидесяти, не больше, и ему сразу представился запах и вкус оленины, шипящей на сковородке. Он невольно схватил незаряженное ружье, прицелился и нажал курок. Олень всхрапнул и бросился прочь, стуча копытами по камням.

Он выругался, отшвырнул ружье и со стоном попытался встать на ноги. Это удалось ему с большим трудом и нескоро. Суставы у него словно заржавели, и согнуться или разогнуться стоило каждый раз большого усилия воли. Когда он наконец поднялся на ноги, ему понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться и стать прямо, как полагается человеку.

Он взобрался на небольшой холмик и осмотрелся кругом. Ни деревьев, ни кустов — ничего, кроме серого моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны, серые озерки и серые ручьи. Небо тоже было серое. Ни солнечного луча, ни проблеска солнца! Он потерял представление, где находится север, и забыл, с какой стороны он пришел вчера вечером. Но он не сбился с пути. Это он знал. Скоро он придет в Страну Маленьких Палок. Он знал, что она где-то налево, недалеко отсюда — быть может, за следующим пологим холмом.

Он вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному; проверил, целы ли его три свертка со спичками, но не стал их пересчитывать. Однако он остановился в раздумье над плоским, туго набитым мешочком из оленьей кожи. Мешочек был невелик, он мог поместиться между ладонями, но весил пятнадцать фунтов — столько же, сколько все остальное,— и это его тревожило. Наконец он отложил мешочек в сторону и стал свертывать тюк; потом взглянул на мешочек, быстро схватил его и вызывающе оглянулся по сторонам, словно пустыня хотела отнять у него золото. И когда он поднялся на ноги и поплелся дальше, мешочек лежал в тюке у него за спиной.

Он свернул налево и пошел, время от времени останавливаясь и срывая болотные ягоды. Нога у него одеревенела, он стал хромать сильнее, но эта боль ничего не значила по сравнению с болью в желудке. Голод мучил его невыносимо. Боль все грызла и грызла его, и он уже не понимал, в какую сторону надо идти, чтобы добраться до Страны Маленьких Палок. Ягоды не утоляли грызущей боли, от них только щипало язык и небо.

Когда он дошел до небольшой ложбины, навстречу ему с камней и кочек поднялись белые куропатки, шелестя крыльями и крича: кр, кр, кр... Он бросил в них камнем, но промахнулся. Потом, положив тюк на землю, стал подкрадываться к ним ползком, как

кошка подкрадывается к воробьям. Штаны у него порвались об острые камни, от колен тянулся кровавый след, но он не чувствовал этой боли,— голод заглушил ее. Он полз по мокрому мху; одежда его намокла, тело зябло, но он не замечал ничего, так сильно терзал его голод. А белые куропатки все вспархивали вокруг него, и наконец это «кр, кр» стало казаться ему насмешкой; он выругал куропаток и начал громко передразнивать их крик.

Один раз он чуть не наткнулся на куропатку, которая, должно быть, спала. Он не видел ее, пока она не вспорхнула ему прямо в лицо из своего убежища среди камней. Как ни быстро вспорхнула куропатка, он успел схватить ее таким же быстрым движением — и в руке у него осталось три хвостовых пера. Глядя, как улетает куропатка, он чувствовал к ней такую ненависть, будто она причинила ему страшное зло. Потом он вернулся к своему тюку и взвалил его на спину.

К середине дня он дошел до болота, где дичи было больше. Словно дразня его, мимо прошло стадо оленей, голов в двадцать,— так близко, что их можно было подстрелить из ружья. Его охватило дикое желание бежать за ними, он был уверен, что догонит стадо. Навстречу ему попалась черно-бурая лисица с куропаткой в зубах. Он закричал. Крик был страшен, но лисица, отскочив в испуге, все же не выпустила добычи.

Вечером он шел по берегу мутного от извести ручья, поросшего редким камышом. Крепко ухватившись за стебель камыша у самого корня, он выдернул что-то вроде луковицы, не крупнее обойного гвоздя. Луковица оказалась мягкая и аппетитно хрустела на зубах. Но волокна были жесткие, такие же водянистые, как ягоды, и не насыщали. Он сбросил свою поклажу и на четвереньках пополз в камыши, хрустя и чавкая, словно жвачное животное.

Он очень устал, и его часто тянуло лечь на землю и уснуть; но желание дойти до Страны Маленьких Палок, а еще больше голод не давали ему покоя. Он искал лягушек в озерах, копал руками землю в надежде найти червей, хотя знал, что так далеко на Севере не бывает ни червей, ни лягушек.

Он заглядывал в каждую лужу и наконец с наступлением сумерек увидел в такой луже одну-единственную рыбку величиной с пескаря. Он опустил в воду правую руку по самое плечо, но рыба от него ускользнула. Тогда он стал ловить ее обеими руками и поднял всю муть со дна. От волнения он оступился, упал в воду и вымок до пояса. Он так замутил воду, что рыбку нельзя было разглядеть, и ему пришлось дожидаться, пока муть осядет на дно.

Он опять принялся за ловлю и ловил, пока вода опять не замутилась. Больше ждать он не мог. Отвязав жестяное ведерко, он начал вычерпывать воду. Сначала он вычерпывал с яростью, весь облился и выплескивал воду так близко к луже, что она стекала об-

ратно. Потом стал черпать осторожнее, стараясь быть спокойным, хотя сердце у него сильно билось и руки дрожали. Через полчаса в луже почти не осталось воды. Со дна уже ничего нельзя было зачерпнуть. Но рыба исчезла. Он увидел незаметную расщелину среди камней, через которую рыбка проскользнула в соседнюю лужу, такую большую, что ее нельзя было вычерпать и за сутки. Если б он заметил эту щель раньше, он с самого начала заложил бы ее камнем, и рыба досталась бы ему.

В отчаянии он опустился на мокрую землю и заплакал. Сначала он плакал тихо, потом стал громко рыдать, будя безжалостную пустыню, которая окружала его; и долго еще он плакал без слез, сотрясаясь от рыданий.

Он развел костер и согрелся, выпив много кипятку, потом устроил себе ночлег на каменистом выступе, так же как и в прошлую ночь. Перед сном он проверил, не намокли ли спички, и завел часы. Одеяла были сырые и холодные на ощупь. Вся нога горела от боли, как в огне. Но он чувствовал только голод, и ночью ему снились пиры, званые обеды и столы, заставленные едой.

Он проснулся озябший и больной. Солнца не было. Серые краски земли и неба стали темней и глубже. Дул резкий ветер, и первый снегопад выбелил холмы. Воздух словно сгустился и побелел, пока он разводил костер и кипятил воду. Это повалил мокрый снег большими влажными хлопьями. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но снег валил все гуще и гуще, застилая землю, и наконец весь собранный мох отсырел и костер погас.

Это было ему сигналом снова взвалить тюк на спину и брести вперед, неизвестно куда. Он уже не думал ни о Стране Маленьких Палок, ни о Билле, ни о тайнике у реки Диз. Им владело только одно желание: есть! Он помешался от голода. Ему было все равно, куда идти, лишь бы идти по ровному месту. Под мокрым снегом он ощупью искал водянистые ягоды, выдергивал стебли камыша с корнями. Но все это было пресно и не насыщало. Дальше ему попалась какая-то кислая на вкус трава, и он съел, сколько нашел, но этого было очень мало, потому что травка стлалась по земле и ее нелегко было найти под снегом.

В ту ночь у него не было ни костра, ни горячей воды, и он залез под одеяло и уснул тревожным от голода сном. Снег превратился в холодный дождь. Он то и дело просыпался, чувствуя, что дождь мочит ему лицо. Наступил день — серый день без солнца. Дождь перестал. Теперь чувство голода у путника притупилось. Осталась тупая, ноющая боль в желудке, но это его не очень мучило. Мысли у него прояснились, и он опять думал о Стране Маленьких Палок и о своем тайнике у реки Диз.

Он разорвал остаток одного одеяла на полосы и обмотал стертые до крови ноги, потом перевязал больную ногу и приготовился

к дневному переходу. Когда дело дошло до тюка, он долго глядел на мешочек из оленьей кожи, но в конце концов захватил и его.

Дождь растопил снег, и только верхушки холмов оставались белыми. Проглянуло солнце, и путнику удалось определить стороны света, хотя теперь он знал, что сбился с пути. Должно быть, блуждая в эти последние дни, он отклонился слишком далеко влево. Теперь он свернул вправо, чтобы выйти на правильный путь.

Муки голода уже притупились, но он чувствовал, что ослаб. Ему приходилось часто останавливаться и отдыхать, собирая болотные ягоды и луковицы камыша. Язык у него распух, стал сухим, словно шерстистым, и во рту был горький вкус. А больше всего его донимало сердце. После нескольких минут пути оно начинало безжалостно стучать, а потом словно подскакивало и мучительно трепетало, доводя его до удушья и головокружения, чуть не до обморока.

Около полудня он увидел двух пескарей в большой луже. Вычерпать воду было немыслимо, но теперь он стал спокойнее и ухитрился поймать их жестяным ведерком. Они были с мизинец длиной, не больше, но ему не особенно хотелось есть. Боль в желудке все слабела, становилась все менее острой, как будто желудок дремал. Он съел рыбок сырыми, старательно их разжевывая, и это было чисто рассудочным действием. Есть ему не хотелось, но он знал, что это нужно, чтобы остаться в живых.

Вечером он поймал еще трех пескарей, двух съел, а третьего оставил на завтрак. Солнце высушило изредка попадавшиеся клочки мха, и он согрелся, вскипятив себе воды. В этот день он прошел не больше десяти миль, а на следующий, двигаясь только когда позволяло сердце,— не больше пяти. Но боли в желудке уже не беспокоили его; желудок словно уснул. Местность была ему теперь незнакома, олени попадались все чаще и волки тоже. Очень часто их вой доносился до него из пустынной дали, а один раз он видел трех волков, которые, крадучись, перебегали ему дорогу.

Еще одна ночь, и наутро, образумившись наконец, он развязал ремешок, стягивавший кожаный мешочек. Из него желтой струйкой посыпался крупный золотой песок и самородки. Он разделил золото пополам, одну половину спрятал на видном издалека выступе скалы, завернув в кусок одеяла, а другую всыпал обратно в мешок. Свое последнее одеяло он тоже пустил на обмотки для ног. Но ружье он все еще не бросал, потому что в тайнике у реки Диз лежали патроны.

День выдался туманный. В этот день в нем снова пробудился голод. Путник очень ослабел, и голова у него кружилась так, что по временам он ничего не видел. Теперь он постоянно спотыкался и падал, и однажды свалился прямо на гнездо куропатки. Там было четыре только что вылупившихся птенца, не старше одного

дня; каждого хватило бы только на глоток; и он съел их с жадностью, запихивая в рот живыми: они хрустели у него на зубах, как яичная скорлупа. Куропатка-мать с громким криком летала вокруг него. Он хотел подшибить ее прикладом ружья, но она увернулась. Тогда он стал бросать в нее камнями и перебил ей крыло. Куропатка бросилась от него прочь, вспархивая и волоча перебитое крыло, но он не отставал.

Птенцы только раздразнили его голод. Неуклюже подскакивая и припадая на больную ногу, он то бросал в куропатку камнями и хрипло вскрикивал, то шел молча, угрюмо и терпеливо поднимаясь после каждого падения, и тер рукой глаза, чтобы отогнать головокружение, грозившее обмороком.

Погоня за куропаткой привела его в болотистую низину, и там он заметил человеческие следы на мокром мху. Следы были не его — это он видел. Должно быть, следы Билла. Но он не мог остановиться, потому что белая куропатка убегала все дальше. Сначала он поймает ее, а потом уже вернется и рассмотрит следы.

Он загнал куропатку, но и сам обессилел. Она лежала на боку, тяжело дыша, и он, тоже тяжело дыша, лежал в десяти шагах от нее, не в силах подползти ближе. А когда он отдохнул, она тоже собралась с силами и упорхнула от его жадно протянутой руки. Погоня началась снова. Но тут стемнело, и птица скрылась. Споткнувшись от усталости, он упал с тюком на спине и поранил себе щеку. Он долго не двигался, потом повернулся на бок, завел часы и пролежал так до утра.

Опять туман. Половину одеяла он израсходовал на обмотки. Следы Билла ему не удалось найти, но теперь это было неважно. Голод упорно гнал его вперед. Но что, если... если Билл тоже заблудился? К полудню он совсем выбился из сил. Он опять разделил золото, на этот раз просто высыпав половину на землю. К вечеру он выбросил и другую половину, оставив себе только обрывок одеяла, жестяное ведерко и ружье.

Его начали мучить навязчивые мысли. Почему-то он был уверен, что у него остался один патрон,— ружье заряжено, он просто этого не заметил. И в то же время он знал, что в магазине нет патрона. Эта мысль неотвязно преследовала его. Он боролся с ней часами, потом осмотрел магазин и убедился, что никакого патрона в нем нет. Разочарование было так сильно, словно он и в самом деле ожидал найти там патрон.

Прошло около получаса, потом навязчивая мысль вернулась к нему снова. Он боролся с ней и не мог побороть и, чтобы хоть чем-нибудь помочь себе, опять осмотрел ружье. По временам рассудок его мутился, и он продолжал брести дальше бессознательно, как автомат; странные мысли и нелепые представления точили его мозг, как черви. Но он быстро приходил в сознание,— муки голо-

да постоянно возвращали его к действительности. Однажды его привело в себя зрелище, от которого он тут же едва не упал без чувств. Он покачнулся и зашатался, как пьяный, стараясь удержаться на ногах. Перед ним стояла лошадь. Лошадь! Он не верил своим глазам. Их заволакивал густой туман, пронизанный яркими точками света. Он стал яростно тереть глаза и, когда зрение прояснилось, увидел перед собой не лошадь, а большого бурого медведя. Зверь разглядывал его с недружелюбным любопытством.

Он уже вскинул было ружье, но быстро опомнился. Опустив ружье, он вытащил охотничий нож из шитых бисером ножен. Перед ним было мясо и — жизнь. Он провел большим пальцем по лезвию ножа. Лезвие было острое, и кончик тоже острый. Сейчас он бросится на медведя и убьет его. Но сердце заколотилось, словно предостерегая: тук, тук, тук,— потом бешено подскочило кверху и дробно затрепетало; лоб сдавило, словно железным обручем, и в глазах потемнело.

Отчаянную храбрость смыло волной страха. Он так слаб — что будет, если медведь нападет на него? Он выпрямился во весь рост как можно внушительнее, выхватил нож и посмотрел медведю прямо в глаза. Зверь неуклюже шагнул вперед, поднялся на дыбы и зарычал. Если бы человек бросился бежать, медведь погнался бы за ним. Но человек не двинулся с места, осмелев от страха; он тоже зарычал, свирепо, как дикий зверь, выражая этим страх, который неразрывно связан с жизнью и тесно сплетается с ее самыми глубокими корнями.

Медведь отступил в сторону, угрожающе рыча, в испуге перед этим таинственным существом, которое стояло прямо и не боялось его. Но человек все не двигался. Он стоял как вкопанный, пока опасность не миновала, а потом, весь дрожа, словно в лихорадке, повалился на мокрый мох.

Собравшись с силами, он пошел дальше, терзаясь новым страхом. Это был уже не страх голодной смерти: теперь он боялся умереть насильственной смертью, прежде чем последнее стремление сохранить жизнь заглохнет в нем от голода. Кругом были волки. Со всех сторон в этой пустыне доносился их вой, и самый воздух вокруг дышал угрозой так неотступно, что он невольно поднял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище колеблемой ветром палатки.

Волки по двое и по трое то и дело перебегали ему дорогу. Но они не подходили близко. Их было не так много; кроме того, они привыкли охотиться за оленями, которые не сопротивлялись им, а это странное животное ходило на двух ногах и, должно быть, царапалось и кусалось.

К вечеру он набрел на кости, разбросанные там, где волки настигли свою добычу. Час тому назад это был живой олененок,

«Лига стариков»

«Отступник»

он резво бегал и мычал. Человек смотрел на кости, дочиста обглоданные, блестящие и розовые, оттого что в их клетках еще не угасла жизнь. Может быть, к концу дня от него останется не больше? Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Умереть — уснуть. Смерть — это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать?

Но он не долго рассуждал. Вскоре он уже сидел на корточках, держа кость в зубах и высасывая из нее последние частицы жизни, которые еще окрашивали ее в розовый цвет. Сладкий вкус мяса, еле слышный, неуловимый, как воспоминание, доводил его до бешенства. Он стиснул зубы крепче и стал грызть. Иногда ломалась кость, иногда его зубы. Потом он стал дробить кости камнем, размалывая их в кашу, и глотать с жадностью. Второпях он попадал себе по пальцам, и все-таки, несмотря на спешку, находил время удивляться, почему он не чувствует боли от ударов.

Наступили страшные дни дождей и снега. Он уже не помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пускался в путь. Шел, не разбирая времени, и ночью, и днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед, когда угасавшая в нем жизнь вспыхивала и разгоралась ярче. Он больше не боролся, как борются люди. Это сама жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он не страдал больше. Нервы его притупились, словно оцепенели, в мозгу теснились странные видения, радужные сны.

Он не переставая сосал и жевал раздробленные кости, которые подобрал до последней крошки и унес с собой. Больше он уже не поднимался на холмы, не пересекал водоразделов, а брел по отлогому берегу большой реки, которая текла по широкой долине. Перед его глазами были только видения. Его душа и тело шли рядом, и все же порознь — такой тонкой стала нить, связывающая их.

Он пришел в сознание однажды утром, лежа на плоском кампе. Ярко светило и пригревало солнце. Издали ему слышно было мычание оленят. Он смутно помнил дождь, ветер и снег, но сколько времени его преследовала непогода — два дня или две недели,— он не знал.

Долгое время он лежал неподвижно, и щедрое солнце лило на него свои лучи, напитывая теплом его жалкое тело. «Хороший день»,— подумал он. Быть может, ему удастся определить направление по солнцу. Сделав мучительное усилие, он повернулся на бок. Там, внизу, текла широкая, медлительная река. Она была ему незнакома, и это его удивило. Он медленно следил за ее течением, смотрел, как она вьется среди голых, угрюмых холмов, еще более угрюмых и низких, чем те, которые он видел до сих пор. Медленно, равнодушно, без всякого интереса он проследил за течением

незнакомой реки почти до самого горизонта и увидел, что она вливается в светлое блистающее море. И все же это его не взволновало. «Очень странно,— подумал он,— это или мираж, или видение, плод расстроенного воображения». Он еще более убедился в этом, когда увидел корабль, стоявший на якоре посреди блистающего моря. Он закрыл глаза на секунду и снова открыл их. Странно, что видение не исчезает! А впрочем, нет ничего странного. Он знал, что в сердце этой бесплодной земли нет ни моря, ни кораблей, так же как нет патронов в его незаряженном ружье.

Он услышал за своей спиной какое-то сопение — не то вздох, не то кашель. Очень медленно, преодолевая крайнюю слабость и оцепенение, он повернулся на другой бок. Поблизости он ничего не увидел и стал терпеливо ждать. Опять послышались сопение и кашель, и между двумя островерхими камнями, не больше чем шагах в двадцати от себя, он увидел серую голову волка. Уши не торчали кверху, как это ему приходилось видеть у других волков, глаза помутнели и налились кровью, голова бессильно понурилась. Волк, верно, был болен: он все время чихал и кашлял.

«Вот это по крайней мере не кажется»,— подумал он и опять повернулся на другой бок, чтобы увидеть настоящий мир, не застланный теперь дымкой видений. Но море все так же сверкало в отдалении, и корабль был ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он закрыл глаза и стал думать — и в конце концов понял, в чем дело. Он шел на северо-восток, удаляясь от реки Диз, и попал в долину реки Коппермайн. Эта широкая, медлительная река и была Коппермайн. Это блистающее море — Ледовитый океан. Этот корабль — китобойное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки Маккензи, оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту Компании Гудзонова залива, которую видел когда-то, и все стало ясно и понятно.

Он сел и начал думать о самых неотложных делах. Обмотки из одеяла совсем износились, и ноги у него были содраны до живого мяса. Последнее одеяло было израсходовано. Ружье и нож он потерял. Шапка тоже пропала и вместе с ней спички, спрятанные за подкладку, но спички в кисете за пазухой, завернутые в пергамент, остались целы и не отсырели. Он посмотрел на часы. Они все еще шли и показывали одиннадцать часов. Должно быть, он не забывал заводить их.

Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на страшную слабость, он не чувствовал никакой боли. Есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприятна ему, и все, что он ни делал, делалось им по велению рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими ступни. Ведерко он почему-то не бросил: надо будет выпить кипятку, прежде чем начать путь к кораблю — очень тяжелый, как он предвидел.

Все его движения были медленны. Он дрожал, как в припадке. Он хотел набрать сухого мха, но не смог подняться на ноги. Несколько раз он пробовал встать и в конце концов пополз на четвереньках. Один раз он подполз очень близко к больному волку. Зверь неохотно посторонился и облизнул морду, насилу двигая языком. Человек заметил, что язык был не здорового, красного цвета, а желтовато-бурый, покрытый полузасохшей слизью.

Выпив кипятку, он почувствовал, что может подняться на ноги и даже идти, хотя силы его были почти на исходе. Ему приходилось отдыхать чуть не каждую минуту. Он шел слабыми, неверными шагами, и такими же слабыми, неверными шагами тащился за ним волк.

И в эту ночь, когда блистающее море скрылось во тьме, человек понял, что приблизился к нему не больше чем на четыре мили.

Ночью он все время слышал кашель больного волка, а иногда крики оленят. Вокруг была жизнь, но жизнь, полная сил и здоровья, а он понимал, что больной волк тащится по следам больного человека в надежде, что этот человек умрет первым. Утром, открыв глаза, он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Зверь, похожий на замоpенную унылую собаку, стоял, понурив голову и поджав хвост. Он дрожал на холодном ветру и угрюмо оскалил зубы, когда человек заговорил с ним голосом, упавшим до хриплого шепота.

Взошло яркое солнце, и все утро путник, спотыкаясь и падая, шел к кораблю на блистающем море. Погода стояла прекрасная. Это началось короткое бабье лето северных широт. Оно могло продержаться неделю, могло кончиться завтра или послезавтра.

После полудня он напал на след. Это был след другого человека, который не шел, а тащился на четвереньках. Он подумал, что это, возможно, след Билла, но подумал вяло и равнодушно. Ему было все равно. В сущности, он перестал что-либо чувствовать и волноваться. Он уже не ощущал боли. Желудок и нервы словно дремали. Однако жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела гибнуть; и потому, что она не хотела гибнуть, человек все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипяток и следил за больным волком, не спуская с него глаз.

Он шел по следам другого человека, того, который тащился на четвереньках, и скоро увидел конец его пути: обглоданные кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап. Он увидел туго набитый мешочек из оленьей кожи — такой же, какой был у него,— разорванный острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя его ослабевшие пальцы не в силах были удержать такую тяжесть. Билл не бросил его до конца. Ха-ха! Он еще посмеется над Биллом. Он останется жив и возьмет мешочек на корабль, ко-

торый стоит посреди блистающего моря. Он засмеялся хриплым, страшным смехом, похожим на карканье ворона, и больной волк вторил ему, уныло подвывая. Человек сразу замолчал. Как же он будет смеяться над Биллом, если это Билл, если эти белорозовые, чистые кости — все, что осталось от Билла?

Он отвернулся. Да, Билл его бросил, но он не возьмет золота и не станет сосать кости Билла. А Билл стал бы, будь Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше.

Он набрел на маленькое озерко. И, наклонившись над ним в поисках пескарей, отшатнулся, словно ужаленный. Он увидел свое лицо, отраженное в воде. Это отражение было так страшно, что пробудило даже его отупевшую душу. В озерке плавали три пескаря, но оно было велико, и он не мог вычерпать его до дна; он попробовал поймать рыб ведерком, но в конце концов бросил эту мысль. Он побоялся, что от усталости упадет в воду и утонет. По этой же причине он не отважился плыть по реке на бревне, хотя бревен было много на песчаных отмелях.

В этот день он сократил на три мили расстояние между собой и кораблем, а на следующий день — на две мили; теперь он полз на четвереньках, как Билл. К концу пятого дня до корабля все еще оставалось миль семь, а он теперь не мог пройти и мили в день. Бабье лето еще держалось, а он то полз на четвереньках, то падал без чувств, и по его следам все так же тащился больной волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны до живого мяса и ступни тоже, и, хотя он оторвал две полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный след тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то, он увидел, как волк с жадностью лижет этот кровавый след, и ясно представил себе, каков будет его конец, если он сам не убьет волка. И тогда началась самая жестокая борьба, какая только бывает в жизни: больной человек на четвереньках и больной волк, ковылявший за ним,— оба они, полумертвые, тащились через пустыню, подстерегая друг друга.

Будь то здоровый волк, человек не стал бы так сопротивляться, но ему было неприятно думать, что он попадет в утробу этой мерзкой твари, почти падали. Ему стало противно. У него снова начинался бред, сознание туманили галлюцинации, и светлые промежутки становились все короче и реже.

Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то дыхание над самым ухом. Волк отпрыгнул назад, споткнулся и упал от слабости. Это было смешно, но человек не улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже не имел над ним власти. Но мысли его на минуту прояснились, и он лежал, раздумывая. До корабля оставалось теперь мили четыре, не больше. Он видел его совсем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым парусом, рассекавшую сверкающее море. Но ему не одолеть эти четыре

мили. Он это знал и относился к этому спокойно. Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него слишком многого. Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней.

Он закрыл глаза и бесконечно бережно собрал все свои силы. Он крепился, стараясь не поддаваться чувству дурноты, затопившему, словно прилив, все его существо. Это чувство поднималось волной и мутило сознание. Временами он словно тонул, погружаясь в забытье и силясь выплыть, но каким-то необъяснимым образом остатки воли помогали ему снова выбраться на поверхность.

Он лежал на спине неподвижно и слышал, как хриплое дыхание волка приближается к нему. Оно ощущалось все ближе и ближе, время тянулось без конца, но человек не пошевельнулся ни разу. Вот дыхание слышно над самым ухом. Жесткий сухой язык царапнул его щеку, словно наждачной бумагой. Руки у него вскинулись кверху — по крайней мере он хотел их вскинуть,— пальцы согнулись, как когти, но схватили пустоту. Для быстрых и уверенных движений нужна сила, а силы у него не было.

Волк был терпелив, но и человек был терпелив не меньше. Полдня он лежал неподвижно, борясь с забытьем и сторожа волка, который хотел его съесть и которого он съел бы сам, если бы мог. Время от времени волна забытья захлестывала его, и он видел долгие сны; но все время, и во сне, и наяву, он ждал, что вот-вот услышит хриплое дыхание и его лизнет шершавый язык.

Дыхания он не услышал, но проснулся оттого, что шершавый язык коснулся его руки. Человек ждал. Клыки слегка сдавили его руку, потом давление стало сильнее — волк из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго подстерегал. Но и человек ждал долго, и его искусанная рука сжала волчью челюсть. И в то время как волк слабо отбивался, а рука так же слабо сжимала его челюсть, другая рука протянулась и схватила волка. Еще пять минут, и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не хватало силы, чтобы задушить волка, но человек прижался лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и человек почувствовал, что в горло ему сочится теплая струйка. Это было мучительно, словно ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только усилием воли он заставлял себя терпеть. Потом человек перекатился на спину и уснул.

На китобойном судне «Бедфорд» ехало несколько человек из научной экспедиции. С палубы они заметили какое-то странное существо на берегу. Оно ползло к морю, едва передвигаясь по

песку. Ученые не могли понять, что это такое, и, как подобает естествоиспытателям, сели в шлюпку и поплыли к берегу. Они увидели живое существо, но вряд ли его можно было назвать человеком. Оно ничего не слышало, ничего не понимало и корчилось на песке, словно гигантский червяк. Ему почти не удавалось продвинуться вперед, но оно не отступало и, корчась и извиваясь, продвигалось вперед шагов на двадцать в час.

Через три недели, лежа на койке китобойного судна «Бедфорд», человек со слезами рассказывал, кто он такой и что ему пришлось вынести. Он бормотал что-то бессвязное о своей матери, о Южной Калифорнии, о домике среди цветов и апельсиновых деревьев.

Прошло несколько дней, и он уже сидел за столом вместе с учеными и капитаном в кают-компании корабля. Он радовался изобилию пищи, тревожно провожал взглядом каждый кусок, исчезавший в чужом рту, и его лицо выражало глубокое сожаление. Он был в здравом уме, но чувствовал ненависть ко всем сидевшим за столом. Его мучил страх, что еды не хватит. Он расспрашивал о запасах провизии повара, юнгу, самого капитана. Они без конца успокаивали его, но он никому не верил и тайком заглядывал в кладовую, чтобы убедиться собственными глазами.

Стали замечать, что он поправляется. Он толстел с каждым днем. Ученые качали головой и строили разные теории. Стали ограничивать его в еде, но он все раздавался в ширину, особенно в поясе.

Матросы посмеивались. Они знали, в чем дело. А когда ученые стали следить за ним, им тоже стало все ясно. После завтрака он прокрадывался на бак и, словно нищий, протягивал руку кому-нибудь из матросов. Тот ухмылялся и подавал ему кусок морского сухаря. Человек жадно хватал кусок, глядел на него, как скряга на золото, и прятал за пазуху. Такие же подачки, ухмыляясь, давали ему и другие матросы.

Ученые промолчали и оставили его в покое. Но они осмотрели потихоньку его койку. Она была набита сухарями. Матрац был полон сухарей. Во всех углах были сухари. Однако человек был в здравом уме. Он только принимал меры на случай голодовки — вот и все. Ученые сказали, что это должно пройти. И это действительно прошло, прежде чем «Бедфорд» стал на якорь в гавани Сан-Франциско.

1905

ОТСТУПНИК

Вот я на работу дневную иду.
Господь, укрепи мои мышцы к труду.
А если мне смерть суждена, я творца
Молю дать работу свершить до конца.
Аминь.

— Вставай сейчас же, Джонни, а то есть не дам!

Угроза не возымела действия на мальчика. Он упорно не хотел просыпаться, цепляясь за сонное забытье, как мечтатель цепляется за свою мечту. Руки его пытались сжаться в кулаки, и он наносил по воздуху слабые, беспорядочные удары. Удары предназначались матери, но она с привычной ловкостью уклонялась от них и сильно трясла его за плечо.

— Ну-ну тебя!..

Сдавленный крик, начавшись в глубинах сна, быстро вырос в яростный вопль, потом замер и перешел в невнятное хныканье. Это был звериный крик, крик души, терзаемой в аду, полный бесконечного возмущения и муки.

Но мать не обращала на него внимания. Это женщина с печальными глазами и усталым лицом привыкла к своей ежедневно выполняемой обязанности. Она ухватилась за одеяло и попыталась стянуть его с мальчика, но он, перестав колотить кулаками, отчаянно вцепился в него. Сжавшись в комок в ногах кровати, он не желал расставаться с одеялом. Тогда мать попробовала стащить всю постель на пол. Мальчик сопротивлялся. Она тянула изо всех сил. Перевес был на ее стороне, постель поползла на пол вместе с мальчиком, который инстинктивно держался за нее, спасаясь от холода нетопленой комнаты.

Он повис на краю кровати и, казалось, вот-вот свалится на пол. Но сознание его уже пробудилось. Он выпрямился и сохранил равновесие, потом спустил ноги на пол. Мать тотчас же схватила его за плечи и встряхнула. Мальчик снова выбросил кулаки, на этот раз с большей силой и меткостью. Глаза его открылись. Мать отпустила его,— он проснулся.

— Ладно,— пробормотал он.

Мать взяла лампу и поспешно вышла, оставив его в темноте.

— Вычтут, будешь знать! — бросила она, уходя.

Темнота ему не мешала. Одевшись, он вышел на кухню. Поступь у него была слишком грузная для такого худого, щуплого тела. Ноги тяжело волочились, и это казалось странным: очень уж они были тоненькие и костлявые. Он придвинул к столу продавленный стул.

— Джонни! — резко окликнула его мать.

Он так же резко поднялся и молча пошел к раковине. Она

была грязная и сальная, из отверстия шел скверный запах. Мальчик не замечал этого. Зловонная раковина была для него в порядке вещей, так же как и то, что в мыло въелась грязь от кухонной посуды и оно плохо мылилось. Да он и не очень-то старался намылиться. Несколько пригоршней холодной воды из-под крана довершили умывание. Зубов он не чистил. Он даже никогда не видал зубной щетки и не подозревал, что существуют на свете люди, способные на такую глупость, как чистка зубов.

— Хоть бы раз в день сам догадался помыться,— упрекнула его мать.

Придерживая на кофейнике разбитую крышку, она налила две чашки кофе. Джонни не отвечал на ее упрек, ибо это являлось вечной темой разговоров и единственным, в чем мать была тверда как кремень. «Хоть раз в день» умыть лицо считалось обязательным. Джонни утерся засаленным рваным полотенцем, от которого на лице у него остались волокна.

— Уж очень мы далеко живем,— сказала мать, когда Джонни сел к столу.— Да все ведь думаешь — как лучше. Сам знаешь. Зато тут попросторней и на доллар дешевле, а он тоже на улице не валяется. Сам знаешь.

Джонни едва слушал. Все это говорилось уже много раз. Круг ее мыслей был ограничен, и она вечно возвращалась к тому, как неудобно им жить так далеко от фабрики.

— Доллар — это, значит, еды прибавится,— заметил он рассудительно.— Лучше пройтись, да зато поесть побольше.

Он торопливо ел хлеб, запивая непрожеванные куски горячим кофе. За кофе сходила горячая мутная жидкость, но Джонни считал, что кофе превосходный. Это была одна из немногих сохранившихся у него иллюзий. Настоящего кофе он не пил ни разу в жизни.

В добавление к хлебу он получил еще кусочек холодной свинины. Мать налила ему вторую чашку. Доедая хлеб, Джонни зорко следил, не дадут ли еще. Мать перехватила его выжидающий взгляд.

— Не будь обжорой,— сказала она.— Ты свою долю получил. А что младшим останется?

Джонни ничего не ответил на ее упрек. Он вообще не отличался словоохотливостью. Но его голодный взгляд больше не выпрашивал добавки. Мальчик не жаловался, и эта покорность была так же страшна, как и школа, где его этому обучили. Он допил кофе, вытер рот и встал со стула.

— Погоди-ка — поспешно сказала мать.— Еще один тоненький ломтик, пожалуй, можно отрезать от краюхи.

Это была просто ловкость рук. Делая вид, что отрезает ломоть от краюхи, мать убрала ее в хлебную корзинку, ему же подсунула

один из своих собственных кусков. Она думала, что обманула сына, но он заметил ее хитрость и все же без зазрения совести взял хлеб. Он считал, что мать, при ее болезненности, все равно много не съест.

Мать, увидев, что он жует сухой хлеб, потянулась через стол и вылила ему кофе из своей чашки.

— Что-то мутит меня сегодня от него,— пояснила она.

Отдаленный гудок, пронзительный и протяжный, заставил обоих вскочить. Мать взглянула на жестяной будильник, стоявший на полке. Стрелки показывали половину шестого. Весь фабричный люд сейчас еще только пробуждался от сна. Она накинула на плечи шаль и надела старую, помятую, засаленную шляпку.

— Придется бегом,— сказала она, прикручивая фитиль и задувая огонь.

Они ощупью вышли из комнаты и спустились по лестнице. День был ясный, морозный, и Джонни поежился, когда его охватило холодным воздухом. Звезды еще не начали бледнеть, и город был погружен во тьму. Джонни и его мать тащились пешком, тяжело волоча ноги. Не хватало сил, чтобы твердо ступать по земле.

Минут через пятнадцать мать свернула вправо.

— Смотри не опоздай! — донеслось из темноты ее последнее предостережение.

Он не ответил, продолжая идти своей дорогой. Во всех домах фабричного квартала отворялись двери, и скоро Джонни влился в толпу, двигавшуюся в темноте. Раздался второй гудок, когда он входил в фабричные ворота. Он взглянул на восток. Над ломаной линией крыш небо начало слегка светлеть. Вот и весь дневной свет, который доставался на его долю. Он повернулся к нему спиной и вошел в цех вместе со всеми.

Джонни занял свое место в длинном ряду станков. Перед ним, над ящиком с мелкими шпульками, быстро вращались шпульки более крупные. На них он наматывал джутовую нить с маленьких шпулек. Работа была несложная, требовалась только сноровка. Нить так стремительно перематывалась с маленьких шпулек на большие, что зевать было некогда.

Джонни работал машинально. Когда пустела одна из маленьких шпулек он, действуя левой рукой как тормозом, останавливал большую шпульку и одновременно большим и указательным пальцами ловил свободный конец нити. Правой рукой он в это время захватывал конец с новой маленькой шпульки. Все действия производились обеими руками одновременно и быстро. Затем молниеносным движением Джонни завязывал узел и отпускал шпульку. Вязать ткацкие узлы было просто. Он как-то похвалился, что мог бы делать это во сне. В сущности, так оно и было, ибо сплошь и

рядом Джонни всю долгую ночь вязал во сне бесконечные вереницы ткацких узлов.

Кое-кто из мальчиков отлынивал от дела, не заменял мелкие шпульки, когда они кончались, и оставлял станок работать вхолостую. Но мастер следил за этим. Однажды он накрыл соседа Джонни и влепил ему затрещину.

— Погляди на Джонни! Почему ты не работаешь, как он? — грозно спросил мастер.

Шпульки у Джонни вертелись вовсю, но его не порадовала эта косвенная похвала. Было время... но то было давно, очень давно. Ничто не отразилось на равнодушном лице мальчика, когда он услышал, что его ставят в пример. Да, он был образцовым рабочим. Он знал это. Ему говорили об этом, и не раз. Похвала стала привычной и уже ничего для него не значила. Из образцового рабочего он превратился в образцовую машину. Если работа у него не ладилась,— это, как и у станка, обычно вызывалось плохим качеством сырья. Ошибиться было для него так же невозможно, как для усовершенствованного гвоздильного станка неточно штамповать гвозди.

И неудивительно. Не было в его жизни времени, когда бы он не имел тесного общения с машинами. Машины, можно сказать, вросли в него, и, во всяком случае, он вырос среди них. Двенадцать лет назад в ткацком цеху этой же фабрики произошло некоторое смятение. Матери Джонни стало дурно. Ее уложили на полу между скрежещущими станками. Позвали двух ткачих. Им помогал мастер. Через несколько минут в ткацкой стало на одну душу больше. Эта новая душа был Джонни, родившийся под стук, треск и грохот ткацких станков и втянувший с первым дыханием теплый, влажный воздух, полный хлопковой пыли. Он кашлял уже в первые часы своей жизни, стараясь освободить легкие от пыли, и по той же причине кашлял и по сей день.

Мальчик, работавший рядом с Джонни, хныкал и шмыгал носом. На лице его была написана ненависть к мастеру, который продолжал бросать на него издали грозные взгляды; но пустых шпулек уже не было. Мальчик выкрикивал отчаянные ругательства вертевшимся перед ним шпулькам, но звук не шел дальше — его задерживал и замыкал, как в стенах, грохот, стоявший в цеху.

Джонни ни на что не обращал внимания. В нем выработалось бесстрастное отношение к вещам. К тому же от повторения все приедается, а подобные происшествия он наблюдал много раз. Ему казалось столь же бесполезным перечить мастеру, как сопротивляться машине. Машины устроены, чтобы действовать определенным образом и выполнять определенную работу. Так же и мастер.

Но в одиннадцать часов в цеху началось волнение. Какими-то таинственными путями оно мгновенно передалось всем. Одноногий

мальчонка, работающий рядом с Джонни по другую сторону, быстро заковылял к порожней вагонетке, нырнул в нее и скрылся там вместе с костылем. В цех входил управляющий в сопровождении какого-то молодого человека. Последний был хорошо одет, в крахмальной сорочке — джентльмен, согласно той классификации людей, которой придерживался Джонни, а кроме того — инспектор.

Проходя по цеху, инспектор зорко поглядывал на мальчиков. Иногда он останавливался и задавал вопросы. Ему приходилось кричать во всю мочь, и лицо его нелепо искажалось от натуги. Инспектор сразу заметил пустой станок возле Джонни, но ничего не сказал. Джонни также обратил на себя его внимание. Внезапно остановившись, он схватил Джонни за руку повыше локтя, оттащил на шаг от машины и тотчас же отпустил с удивленным восклицанием.

— Худощав немного,— тревожно хихикнул управляющий.

— Одни кости! — последовал ответ.— А посмотрите на его ноги! У мальчишки явный рахит, в начальной стадии, но несомненный. Если его не доконает эпилепсия, то лишь потому, что еще раньше прикончит туберкулез.

Джонни слушал, но не понимал. К тому же его не пугали грядущие бедствия. В лице инспектора ему угрожало бедствие более близкое и более страшное.

— Ну, мальчик, отвечай правду,— сказал, вернее прокричал инспектор, наклоняясь к его уху.— Сколько тебе лет?

— Четырнадцать,— солгал Джонни, и солгал во всю силу своих легких. Так громко солгал он, что это вызвало у него сухой, судорожный кашель, поднявший всю пыль, которая осела в его легких за утро.

— На вид все шестнадцать,— сказал управляющий.

— Или все шестьдесят,— отрезал инспектор.

— Он всегда был такой.

— С каких пор? — быстро спросил инспектор.

— Да уж сколько лет. И все не взрослеет.

— Не молодеет, я бы сказал. И все эти годы он проработал здесь?

— С перерывами. Но это было до введения нового закона,— поспешил добавить управляющий.

— Станок пустует? — спросил инспектор, указывая на незанятое место рядом с Джонни, где вихрем вертелись полусмотанные шпульки.

— Похоже на то,— управляющий знаком подозвал мастера и прокричал ему что-то в ухо, указывая на станок.— Пустует,— доложил он инспектору.

Они прошли дальше, а Джонни вернулся к работе, радуясь, что беда миновала. Но одноногий мальчик был менее удачлив.

Зоркий инспектор заметил его и вытащил из вагонетки. Губы у мальчика дрожали, а в глазах было такое отчаяние, словно его постигло страшное, непоправимое бедствие. Мастер недоуменно развел руками, словно видел калеку впервые в жизни, а лицо управляющего изобразило удивление и недовольство.

— Я знаю этого мальчика,— сказал инспектор.— Ему двенадцать лет. За этот год по моему распоряжению он был уволен с трех фабрик. Ваша четвертая.

Он обернулся к одноногому:

— Ты ведь обещал мне, что будешь ходить в школу, дал честное слово!

Мальчик залился слезами.

— Простите, господин инспектор! У нас уже померло двое маленьких, в доме такая нужда.

— А отчего ты кашляешь? — громко спросил инспектор, словно обвиняя его в тяжком преступлении.

И, точно оправдываясь, одноногий ответил:

— Это ничего. Я простудился на прошлой неделе, господин инспектор, только и всего.

Кончилось тем, что мальчик вышел из цеха вместе с инспектором, за которым следовал встревоженный и смущенный управляющий. После этого все вошло в обычную колею. Наконец долгое утро и еще более долгий день пришли к концу, раздался гудок к окончанию работы. Было уже темно, когда Джонни вышел из фабричных ворот. За это время солнце успело взойти по золотой лестнице небес, залить мир благодатным теплом, спуститься к западу и исчезнуть за ломаной линией крыш.

Ужин был семейным сбором — единственной трапезой, за которой Джонни сталкивался с младшими братьями и сестрами. Это поистине было столкновением, ибо он был очень стар, а они оскорбительно молоды. Его раздражала эта чрезмерная и непостижимая молодость. Он не понимал ее. Его собственное детство было слишком далеко позади. Как брюзгливому старику, Джонни претило это буйное озорство, казавшееся ему отъявленной глупостью. Он молча хмурился над тарелкой, утешаясь мыслью, что и им тоже скоро придется пойти на работу. Это их обломает, сделает степенными и солидными, как он сам. Так, подобно всем смертным, Джонни мерил все своей меркой.

За ужином мать на разные лады и с бесконечными повторениями объясняла, как она для них старается; поэтому, когда кончилась скудная трапеза, Джонни с облегчением отодвинул стул и встал. Мгновение он колебался — лечь ли ему спать или выйти на улицу,— и наконец выбрал последнее. Но далеко он не пошел, а уселся на крыльце, ссутулив узкие плечи, уперев локти в колени, уткнувшись подбородком в ладони.

Он сидел и ни о чем не думал. Он просто отдыхал. Сознание его дремало. Его братья и сестры тоже вышли на улицу и вместе с другими ребятами затеяли шумную игру. Электрический фонарь на углу бросал яркий свет на дурачившихся детей. Они знали, что Джонни сердитый и всегда злится, но словно какой-то бесенок подстрекал их дразнить его. Они взялись за руки и, отбивая ногами такт, пели ему в лицо бессмысленные и обидные песенки. Сначала Джонни огрызался и осыпал их ругательствами, которым научился от мастеров. Увидя, что это бесполезно, и вспомнив о своем достоинстве взрослого, он вновь погрузился в угрюмое молчание.

Заводилой был десятилетний брат Вилли, второй после Джонни. Джонни не питал к нему особо нежных чувств. Его жизнь была рано омрачена необходимостью постоянно в чем-нибудь уступать Вилли и от чего-то ради него отказываться. Джонни считал, что Вилли в большом долгу перед ним и что он неблагодарный мальчишка. В ту отдаленную пору, когда Джонни сам мог бы играть, необходимость нянчить Вилли отняла у него бóльшую часть детства. Вилли тогда был младенцем, а мать, как и сейчас, целыми днями работала на фабрике. На Джонни ложились обязанности и отца и матери.

И то, что Джонни уступал и отказывался, видимо, пошло Вилли впрок. Он был розовощекий, крепкого сложения, ростом с Джонни и даже плотнее его. Словно вся жизненная сила одного перешла в тело другого. И не только в тело. Джонни был измотанный, апатичный, вялый, а младший брат кипел избытком энергии.

Дурацкая песенка звучала все громче и громче. Вилли, приплясывая, сунулся ближе и показал язык. Джонни выбросил вперед левую руку, обхватил брата за шею и стукнул его кулаком по носу. Кулачок был жалкий и костлявый, но о том, что он бил больно, красноречиво свидетельствовал отчаянный вопль, который за этим последовал. Дети подняли испуганный визг, а Дженни — сестра Джонни и Вилли — кинулась в дом.

Джонни оттолкнул от себя Вилли, свирепо лягнул его, потом сбил с ног и ткнул лицом в землю. Тут подоспела мать, обрушив на Джонни вихрь бессильных упреков и материнского гнева.

— А чего он пристает! — отвечал Джонни.— Не видит разве, что я устал?

— Я с тебя ростом! — кричал Вилли, извиваясь в материнских объятиях, обратив к брату лицо, залитое слезами, перепачканное грязью и кровью.— Я уже с тебя ростом и вырасту еще больше! Достанется тебе тогда! Вот увидишь, достанется!

— А ты бы шел работать, раз вырос такой большой,— огрызнулся Джонни.— Вот чего тебе не хватает — работать пора. Пусть мать пристроит тебя на работу.

— Да ведь он еще мал,— запротестовала она.— Куда ему работать, такому малышу.

— Я был меньше, когда начинал.

Джонни открыл уже было рот, собираясь дальше изливать свою обиду, но передумал. Он мрачно повернулся и вошел в дом. Дверь его комнаты была открыта, чтобы шло тепло из кухни. Раздеваясь в полутьме, он слышал, как мать разговаривает с соседкой. Мать плакала, и слова ее перемежались с жалкими всхлипываниями.

— Не пойму, что делается с Джонни,— слышал он.— Никогда я его таким не видала. Смирный да терпеливый был, как ангелочек. Да он и сейчас хороший,— поспешила она оправдать его.— От работы не отлынивает; а на фабрику, верно ведь, пошел слишком рано. Да разве я виновата? Все ведь думаешь, как лучше.

Снова послышались всхлипывания. А Джонни пробормотал, закрывая глаза:

— Вот именно, не отлынивал.

На следующее утро мать снова вырвала его из цепких объятий сна. Затем опять последовал скудный завтрак, выход из дома в темноте и бледный проблеск утра, к которому он повернулся спиной, входя в фабричные ворота. Еще один день из множества дней — и все одинаковые.

Но в жизни Джонни бывало и разнообразие: когда его ставили на другую работу или когда он заболевал. В шесть лет он нянчил Вилли и других ребят. В семь пошел на фабрику наматывать шпульки. В восемь получил работу на другой фабрике. Новая работа была удивительно легкая. Надо было только сидеть с палочкой в руке и направлять поток ткани, текущей мимо. Поток этот струился из пасти машины, поступал на горячий барабан и шел куда-то дальше. А Джонни все сидел на одном месте, под слепящим газовым рожком, лишенный дневного света, и сам становился частью механизма.

На этой работе Джонни чувствовал себя счастливым, несмотря на влажную жару цеха, ибо он был еще молод и мог мечтать и тешить себя иллюзиями. Чудесные мечты сплетал он, наблюдая, как дымящаяся ткань безостановочно плывет мимо. Но работа не требовала ни движений, ни умственных усилий, и он мечтал все меньше и меньше, а ум его тупел и цепенел. Все же он зарабатывал два доллара в неделю, а два доллара как раз составляли разницу между голодом и хроническим недоеданием.

Но когда ему исполнилось девять, он потерял эту работу. Виною была корь. Поправившись, он поступил на стекольный завод. Здесь платили больше, зато требовалось уменье. Работали сдельно; и чем проворней он был, тем больше получал. Тут была

заинтересованность, и под влиянием ее Джонни стал замечательным работником.

Ничего сложного тут тоже не было: привязывать стеклянные пробки к маленьким бутылочкам. На поясе у Джонни висел пучок веревок, а бутылки он зажимал между колен, чтобы действовать обеими руками. От сидячего и сгорбленного положения его узкие плечи сутулились, а грудная клетка была сжата в течение десяти часов подряд. Это вредно сказывалось на легких, но зато он перевязывал триста дюжин бутылок в день.

Управляющий очень им гордился и приводил посетителей поглядеть на него. За десять часов через руки Джонни проходило триста дюжин бутылок. Это означало, что он достиг совершенства машины. Все лишние движения были устранены. Каждый взмах его тощих рук, каждое движение костлявых пальцев было быстро и точно. Такая работа требовала огромного напряжения, и нервы Джонни начали сдавать. По ночам он вздрагивал во сне, а днем тоже не мог ни отвлечься, ни отдохнуть. Он был все время взвинчен, и руки у него судорожно подергивались. Лицо его стало землистым, и кашель усилился. Кончилось тем, что Джонни заболел воспалением легких и потерял работу на стекольном заводе.

Теперь он вернулся на джутовую фабрику, с которой в свое время начал. Здесь он мог рассчитывать на повышение. Он был хороший работник. Со временем его переведут в крахмальный цех, а потом в ткацкую. Дальше останется лишь увеличивать производительность.

За эти годы машины стали работать быстрее, а ум Джонни — медленнее. Он уже больше не мечтал, как, бывало, в прежние годы. Однажды он был влюблен. Это случилось в тот год, когда его поставили направлять поток ткани, текущей на барабан. Предметом его любви была дочь управляющего, взрослая девушка, и он видел ее только издали, и всего каких-нибудь пять-шесть раз. Но это не имело значения. На поверхности ткани, которая текла мимо, Джонни рисовал себе светлое будущее,— он совершал чудеса производительности, изобретал диковинные машины, становился директором фабрики и в конце концов заключал свою возлюбленную в объятия и скромно целовал в лоб.

Все это относилось к давним временам, когда он не был таким старым и утомленным и еще мог любить. К тому же девушка вышла замуж и уехала, а его чувства притупились. Да, то было чудесное время, и он частенько вспоминал его, как другие вспоминают детство, когда они верили в добрых фей. А Джонни верил не в добрых фей и не в Санта Клауса; он простодушно верил в те картины счастливого будущего, которыми его воображение расписывало дымящуюся ткань.

Джонни очень рано стал взрослым. В семь лет, когда он по-

лучил жалованье, началось его отрочество. У него появилось известное ощущение независимости, и отношения между матерью и сыном изменились. Он зарабатывал свой хлеб, жил своим трудом и тем как бы становился с нею на равную ногу. Взрослым, по-настоящему взрослым, он стал в одиннадцать лет, после того как полгода проработал в ночной смене. Ни один ребенок, работающий в ночной смене, не может оставаться ребенком.

В жизни его насчитывалось несколько важных событий. Однажды мать купила немного калифорнийского чернослива. Два раза она делала заварной крем. Это были очень важные события. Он вспоминал о них с нежностью. Тогда же мать рассказала ему об одном диковинном кушанье и пообещала когда-нибудь приготовить его; кушанье называлось «плавучий остров». «Это будет получше заварного крема»,— сказала мать. Джонни годами ждал того дня, когда он сядет к столу и будет есть «плавучий остров», пока и эта надежда не отошла в область несбыточных мечтаний.

Как-то раз он нашел на улице двадцатипятицентовую монету. То было тоже крупное, даже трагическое событие в его жизни. Он знал, как должен поступить, еще раньше, чем подобрал монету. Дома, как всегда, было нечего есть,— домой ему и следовало принести ее, как он приносил по субботам получку. Правильный путь был ясен, но Джонни никогда не имел карманных денег, и его мучила тоска по сладкому. Он изголодался по конфетам, которые доставались ему лишь по особо торжественным дням.

Джонни не пытался себя обманывать. Он знал, что совершает грех, и, пустившись в разгул на свои пятнадцать центов, грешил сознательно. Десять он отложил на вторую оргию, но, не имея привычки хранить деньги, потерял их. Это несчастье, словно нарочно, случилось как раз в то время, когда угрызения совести особенно жестоко терзали его, и оно представилось ему возмездием свыше. Он с ужасом ощутил близость грозного и разгневанного божества. Бог видел — и бог покарал, лишив его даже плодов содеянного им греха.

Мысленно Джонни всегда оглядывался на это событие, как на единственное свое преступление, и всякий раз при этом заново испытывал угрызения совести. То была его греховная тайна. Вместе с тем по складу своего характера он при подобных обстоятельствах не мог не испытывать сожалений. Он был недоволен тем, как употребил найденные деньги. На них можно было купить больше; знай он быстроту божьего возмездия, он обошел бы бога, потратив все двадцать пять центов сразу. Он тысячу раз мысленно распоряжался этими двадцатью пятью центами, и с каждым разом все выгоднее.

Было еще одно воспоминание, далекое и туманное, но навеки втоптанное в его душу безжалостными ногами отца. Это был ско-

рее кошмар, чем воспоминание действительного события,— нечто вроде той атавистической памяти, которая заставляет человека падать во сне и восходит ко временам, когда предки его жили на деревьях.

Воспоминание это никогда не посещало Джонни при дневном свете, когда он бодрствовал. Оно являлось ночью, в тот момент, когда сознание его гасло, погружаясь в сон. Он просыпался в испуге, и в первую страшную минуту ему казалось, что он лежит поперек кровати, в ногах. На кровати — смутные очертания отца и матери. Он не мог припомнить, как выглядел отец. Об отце он знал лишь одно: у него были грубые, безжалостные ноги.

Ранние воспоминания еще сохранились в его мозгу, но более поздних не существовало. Все дни были одинаковы. Вчерашний день или прошлый год были равны тысячелетию — или минуте. Ничего никогда не случалось. Не было событий, отмечающих ход времени. Время не шло, оно стояло на месте. Двигались лишь неугомонные машины,— да и они никуда не шли, хотя и вертелись все быстрее.

Когда ему минуло четырнадцать, он перешел в крахмальный цех. Это было громадным событием. Случилось наконец нечто такое, что не забудется за одну ночь и даже за неделю. Наступила новая эра. Это было для Джонни как бы олимпиадой, началом летосчисления. «Когда я стал работать в крахмальном», или «до», или «после того как я перешел в крахмальный» — вот слова, которые не сходили у него с уст.

Свое шестнадцатилетие Джонни отметил переходом в ткацкую, к ткацкому станку. Здесь снова была заинтересованность, так как платили сдельно. Он и тут отличился, ибо фабричный горн давно переплавил его плоть в идеальную машину. Через три месяца Джонни работал на двух станках, а затем на трех и на четырех.

После двух лет, проведенных в этом цехе, он вырабатывал больше ярдов ткани, чем любой другой ткач, и вдвое больше, чем многие из его менее проворных товарищей. И теперь, когда он начал работать в полную силу, дома зажили лучше. Впрочем, нельзя сказать, чтоб его заработок перекрывал потребности семьи. Дети подрастали. Они ели больше. Они пошли в школу, а учебники стоят денег. И почему-то чем быстрее Джонни работал, тем быстрее подымались цены. Повысилась даже квартирная плата, хотя дом разваливался на глазах.

Джонни вырос и казался от этого еще более тощим. Нервы его совсем расшатались, он стал раздражителен и брюзглив. Дети на горьком опыте научились сторониться старшего брата. Мать

уважала его как кормильца семьи, но к этому уважению примешивался страх.

В жизни Джонни не было радостей. Дней он не видел. Ночи проходили в беспокойном забытьи. Остальное время он работал, и сознание его было сознанием машины. Вне этого была пустота. Он ни к чему не стремился и сохранил только одну иллюзию: что он пьет превосходный кофе. Это была рабочая скотинка, лишенная всякой духовной жизни. Но где-то глубоко в подсознании, неведомо для него самого, откладывался каждый час работы, каждое движение рук, каждое сокращение мускулов,— и все это подготовило развязку, которая повергла в изумление и его самого, и весь его маленький мирок.

Однажды поздней весной Джонни вернулся с работы, чувствуя себя еще более усталым, чем обычно. За столом царило приподнятое настроение, но он этого не замечал. Он ел в угрюмом молчании, машинально уничтожая то, что стояло перед ним. Дети охали, ахали, причмокивали губами. Но Джонни был глух ко всему.

— Да знаешь ли ты, что ты ешь? — не выдержала наконец мать.

Он рассеянно поглядел в тарелку, потом на мать.

— «Плавучий остров»,— объявила она с торжеством.

— А-а,— сказал Джонни.

— «Плавучий остров»! — хором подхватили дети.

— А-а,— повторил он и после двух-трех глотков добавил: — Мне сегодня что-то не хочется есть.

Он положил ложку, отодвинул стул и устало поднялся.

— Я, пожалуй, лягу.

Проходя через кухню, Джонни волочил ноги тяжелее обычного. Раздевание потребовало титанических усилий и показалось таким ненужным, что он заплакал от слабости и полез в постель, не сняв второго башмака. Он чувствовал, как в голове у него словно растет какая-то опухоль, и от этого мысли становились расплывчатыми. Его худые пальцы, казалось, стали в толщину запястий, а кончики — ватными и такими же непослушными, как его мысли. Невыносимо ломило поясницу. Болели все кости. Болело все. А в мозгу начался стук, свист, грохот миллиона ткацких станков. Мировое пространство заполнилось снующими челноками. Они метались взад и вперед, петляя среди звезд. Джонни работал на тысяче станков, и они все ускоряли ход, челноки сновали все быстрее и быстрее, а мозг его все быстрее разматывался и превращался в нить, которую тянула тысяча снующих челноков.

На следующее утро Джонни не вышел на работу. Он был занят другой работой — на тысяче ткацких станков, стучащих в его голове. Мать ушла на фабрику, но прежде послала за врачом.

«Тяжелая форма гриппа»,— сказал тот. Дженни ухаживала за братом и выполняла все предписания врача.

Болезнь протекала тяжело, и только через неделю Джонни смог одеться и с трудом проковылять по комнате. Еще неделя, сказал врач, и он вернется на работу. Мастер ткацкого цеха посетил их в воскресенье, в первый день, когда Джонни полегчало.

— Лучший ткач в цеху,— сказал он матери.— Место за ним сохранят. Может встать на работу через неделю, в тот понедельник.

— Ты бы хоть поблагодарил, Джонни,— озабоченно сказала мать.— Он так был плох, до сих пор в себя не пришел,— виновато объяснила она гостю.

Джонни сидел сгорбившись, пристально глядя в пол. Он оставался в этой позе еще долго после ухода мастера. На дворе стемнело, и после обеда он вышел посидеть на крыльце. Иногда губы его шевелились. Казалось, он был погружен в какие-то бесконечные вычисления.

На следующий день, когда в воздухе потеплело, Джонни снова уселся на крыльце. В руках у него был карандаш и бумага, и он долго с натугой и поразительным старанием высчитывал что-то.

— Что идет после миллионов? — спросил Джонни в полдень, когда Вилли вернулся из школы.— И как их считают?

К вечеру вычисления были закончены. Каждый день, уже без карандаша и бумаги, Джонни выходил на крыльцо. Он пристально смотрел на одинокое дерево, которое росло на другой стороне улицы. Он разглядывал это дерево часами; и особенно занимало его, когда ветер раскачивал ветви и шевелил листья. Всю эту неделю Джонни словно вел долгую беседу с самим собой. В воскресенье, все так же сидя на крыльце, он несколько раз громко рассмеялся, к великому смятению матери, которая уже много лет не слыхала смеха своего старшего сына.

На следующее утро, в предрассветной тьме, она подошла к кровати, чтобы разбудить его. Он успел выспаться за неделю и проснулся без труда. Он не сопротивлялся, не тянул на себя одеяло, а лежал спокойно и спокойно заговорил:

— Ни к чему это, мама.

— Опоздаешь,— сказала она, думая, что он еще не проснулся.

— Я не сплю, мама, но все равно — ни к чему это. Ты лучше уйди. Я не встану.

— Да ведь работу потеряешь! — вскричала она.

— Сказал, не встану,— повторил он каким-то чужим, бесстрастным голосом.

В то утро мать сама не пошла на работу. Эта болезнь была

похуже всех, дотоле ей известных. Лихорадку и бред она могла понять, но это же было явное помешательство. Она накрыла сына одеялом и послала Дженни за врачом.

Когда тот явился, Джонни мирно спал и так же мирно проснулся и дал ощупать свой пульс.

— Ничего особенного,— сказал доктор,— очень ослабел, конечно. Кожа да кости!

— Да он всегда был такой! — сказала мать.

— Теперь уйди, мама, дай мне поспать.

Джонни сказал это кротко и спокойно, так же спокойно повернулся на другой бок и заснул.

В десять часов он проснулся, встал с постели и вышел на кухню. Мать с испугом посмотрела на него.

— Я ухожу, мама,— объявил он.— Давай простимся.

Она закрыла лицо передником, опустилась на стул и заплакала. Джонни терпеливо ждал.

— Вот, дожила! — проговорила она сквозь слезы; потом, отняв передник от лица, подняла на Джонни испуганные глаза, не выражавшие даже любопытства.— Да куда же ты пойдешь?

— Не знаю... куда-нибудь.

Перед внутренним взором Джонни ярким видением возникло дерево, которое росло на другой стороне улицы. Оно так запечатлелось в его сознании, что он мог увидеть его в любую минуту.

— А как же работа? — дрожащим голосом проговорила мать.

— Не буду я больше работать.

— Господь с тобой, Джонни! — заголосила она.— Что ты говоришь!

Это казалось ей кощунством. Слова Джонни потрясли ее, как хула на бога в устах сына потрясает набожную мать.

— Да что на тебя нашло? — спросила она, делая слабую попытку проявить строгость.

— Цифры,— ответил он.— Цифры, только и всего. Я за эту неделю подсчитал — и просто сам удивился.

— Не пойму, при чем тут цифры? — всхлипнула она.

Джонни терпеливо улыбнулся, а мать со страхом подумала: куда девалась его обычная раздражительность?

— Сейчас объясню,— сказал он.— Я вымотался. А отчего? От движений. Я их делал с тех самых пор, как родился. Я устал двигаться, хватит с меня. Помнишь, когда я работал на стекольном заводе? Пропускал триста дюжин в день. На каждую бутылку приходилось не меньше десяти движений. Это будет тридцать шесть тысяч движений в день. В десять дней — триста шестьдесят тысяч. В месяц — миллион восемьдесят тысяч. Отбросим даже восемьдесят тысяч,— он сказал это с великодушием щедрого филантропа,— отбросим даже восемьдесят тысяч, и то останется мил-

лион в месяц, двенадцать миллионов в год! За ткацкими станками я делаю вдвое больше движений. Это будет двадцать пять миллионов в год. И мне кажется, я уже миллион лет их делаю.

А эту неделю я совсем не двигался. Ни одного движения по нескольку часов подряд. До чего ж хорошо было сидеть, просто сидеть и ничего не делать. Никогда мне не было счастья. Никогда у меня не было свободного времени. Все время двигайся. А какая в этом радость? Не буду я больше ничего делать. Буду все сидеть да сидеть, все отдыхать да отдыхать... а потом опять отдыхать.

— А что будет с Вилли и с ребятишками? — в отчаянии спросила мать.

— Ну конечно, Вилли и ребятишки...— повторил он.

Но в голосе его не было горечи. Он давно знал, какие честолюбивые мечты лелеяла мать в отношении младшего сына, но уже не чувствовал обиды. Ему теперь все было безразлично. Даже это.

— Я знаю, мама, что ты задумала для Вилли: чтобы он окончил школу и стал бухгалтером. Да нет, будет с меня. Придется ему работать.

— А я-то тебя растила,— заплакала она и опять подняла передник, но так и не донесла его до лица.

— Ты меня не растила,— сказал он кротко и грустно.— Я сам себя растил, мама. И Вилли я вырастил. Он крепче меня, плотнее и выше. Я, должно быть, недоедал с малых лет. А пока он подрастал, я работал и добывал для него хлеб. Но с этим кончено. Пусть Вилли идет работать, как я, или пусть пропадает, мне все равно. Хватит с меня. Я ухожу...

Мать не отвечала. Она снова плакала, уткнув лицо в передник. Джонни приостановился в дверях.

— Я ведь делала все, что могла,— всхлипывала мать.

Джонни вышел из дому и зашагал по улице. Слабая улыбка осветила его лицо, когда он взглянул на одинокое дерево.

— Теперь я ничего не буду делать,— сказал он самому себе негромко и нараспев; потом задумчиво поглядел на небо и зажмурился — яркое солнце ослепило его.

Ему предстояла долгая дорога, но он шел не спеша. Вот джутовая фабрика. До ушей его донесся приглушенный грохот ткацкого цеха, и он улыбнулся. Это была кроткая, тихая улыбка. Он ни к кому не чувствовал ненависти, даже к стучащим, скрежещущим машинам. В душе у него не было горечи — одна безграничная жажда покоя.

Чем дальше он шел, тем реже попадались дома и фабрики, тем шире раскрывались просторы полей. Наконец город остался позади, и Джонни вышел к тенистой аллее, тянувшейся вдоль железнодорожного полотна. Он шел не как человек и не был похож

на человека. Это была пародия на человека — заморенное, искалеченное существо ковыляло, свесив плети рук, сгорбившись, как больная обезьяна, узкогрудая, нелепая, страшная.

Он миновал маленькую станцию и повалился в траву под деревом. Весь день он пролежал там. Иногда он дремал, и мускулы его подергивались во сне. Проснувшись — лежал без движения, следя глазами за птицами или глядя в небо сквозь ветви над головой. Раз или два он громко рассмеялся — видимо, без всякой причины.

Когда сумерки сгустились в ночную тьму, к станции с грохотом подкатил товарный состав. Пока паровоз перегонял часть вагонов на запасной путь, Джонни подкрался к поезду. Он открыл дверь пустого товарного вагона и неуклюже, с трудом забрался туда. Потом закрыл за собой дверь. Паровоз дал свисток. Джонни лежал в темноте и улыбался.

1906

ШУТКА ПОРПОРТУКА

Эл-Су выросла в миссии. Ее мать умерла, когда она была совсем крошкой, и сестра Альберта однажды летним днем подобрала ее, как головню, выхваченную из пожара, увела в миссию Святого Креста и посвятила служению богу. Эл-Су была чистокровной индианкой, но превзошла в успехах всех девочек, в которых текла половина или четверть белой крови. Сестрам миссии никогда еще не приходилось иметь дела с такой легко приспосабливающейся и в то же время такой одаренной девочкой.

Эл-Су была живой, способной и умной девочкой, но самое главное — она была как огонь, в ней билось пламя жизни, светилась яркая индивидуальность, сочетавшая в себе волю, нежность и смелость. Ее отец был вождем, и кровь его текла в ее жилах. Эл-Су повиновалась только тогда, когда добровольно соглашалась на это. Она ко всем относилась как к равным, и, быть может, поэтому она преуспевала в математике.

Впрочем, она преуспевала и по другим предметам. Она выучилась читать и писать по-английски так, как не удавалось ни одной девочке в миссии. Она пела лучше других, и в пение она вкладывала свою страсть к справедливости. Она была художественной натурой, и огонь ее души стремился к творчеству. Родись она в более благоприятной среде, она, наверное, посвятила бы себя литературе или музыке.

Но ее звали Эл-Су, и она была дочерью Клаки-На, вождя, и жила она в миссии Святого Креста, где не было людей искусства,

а только непорочные сестры, интересовавшиеся чистотой, праведностью и благополучием души в мире бессмертия, там, на небесах.

Шли годы. Эл-Су было восемь лет, когда она попала в миссию, теперь ей исполнилось шестнадцать, и сестры как раз вступили в переписку со своим начальством по Ордену, хлопоча о том, чтобы послать одаренную ученицу в Соединенные Штаты для завершения образования, когда в миссию прибыл человек из ее родного племени и пожелал поговорить с ней.

Вид его несколько напугал Эл-Су. Он был грязен. Он смахивал на Калибана — этакое безобразное существо с копной никогда не чесанных волос. Он посмотрел на нее неодобрительно и отказался сесть.

— Твой брат умер,— кратко сказал приезжий.

Эл-Су не была особенно потрясена этим известием. Она почти не помнила своего брата.

— Твой отец — старый человек, и он одинок,— продолжал посланец,— его большой дом пустует, и он хочет слышать твой голос и смотреть на тебя.

Отца, Клаки-На, она помнила — он был вождем деревни, приятелем миссионеров и торговцев, огромным мужчиной, обладавшим гигантской силой, добрыми глазами и властным характером, поведение которого отличала примитивная величественность.

— Передай ему, что я приду,— таков был ответ Эл-Су.

К великому огорчению сестер-миссионерок, головешка, выхваченная из пожара, возвращалась обратно на свое пепелище. Все попытки отговорить Эл-Су оказались тщетными. Было много увещеваний, разговоров и слез. Сестра Альберта даже сообщила Эл-Су, что ее думают послать в Соединенные Штаты. Широко раскрытыми глазами глядела Эл-Су на открывающиеся перед ней блестящие дали и качала головой. Перед ней стояло другое видение. Это была мощная излучина Юкона у Тананы, где по одну сторону стоит миссия Святого Георга, а по другую — фактория, и между ними индейская деревушка и знакомый большой бревенчатый дом, в котором живет старик, обслуживаемый слугами.

Все обитатели берегов Юкона на две тысячи миль знали этот большой бревенчатый дом, старика, живущего в нем, и ухаживающих за ним рабов; сестры-миссионерки тоже прекрасно знали этот дом, царящий там нескончаемый разгул, пиры и веселье. Вот почему поднялся плач в миссии Святого Креста, когда уезжала Эл-Су.

С приездом Эл-Су в доме была устроена грандиозная уборка. Клаки-На, который привык сам быть хозяином, поначалу протестовал против порядков, устанавливаемых его властной юной дочерью, но в конце концов, на свой варварский манер мечтая о величии, занял тысячу долларов у старого Порпортука, самого бога-

того индейца на Юконе. Кроме того, он на большую сумму набрал в фактории товаров. Эл-Су словно возродила старый дом. Она придала ему новое великолепие, в то время как Клаки-На поддерживал здесь древние традиции гостеприимства и разгула.

Все это было необычным для юконских индейцев, но Клаки-На недаром был необычным индейцем. Он не только любил щедрое гостеприимство, он мог и позволить себе это, будучи вождем и имея много денег. В те дни, когда здесь шла еще меновая торговля, он был владыкой своего народа и выгодно торговал с белыми. Впоследствии вместе с Порпортуком он открыл золотую россыпь на Коюкуке. По натуре и по привычкам Клаки-На был аристократом. Порпортук же был типичным буржуа, и он выкупил у Клаки-На золотую россыпь. Порпортук довольствовался тем, что упорно трудился и копил деньгу, а Клаки-На вернулся в свой большой дом и продолжал тратить их. Порпортук был известен как самый богатый индеец на Аляске. Клаки-На был известен как самый благородный. Порпортук занимался ростовщичеством. Клаки-На был анахронизмом — осколком средневековья, любителем боев и пиров, поклонником вина и песен.

Эл-Су привыкла к большому дому и к его порядкам с такой же легкостью, с какой она до того привыкла к миссии Святого Креста и тамошним порядкам. Она не пыталась переделать своего отца и направить его на стезю господа бога. Правда, она корила его, когда он слишком много пил, но делала она это ради его здоровья и во имя благополучного пребывания на грешной земле.

Двери большого дома никогда не запирались. Жизнь в нем не замирала ни на минуту: люди то приезжали, то уезжали. Стропила просторной комнаты постоянно сотрясались от шума пирушек и песен. За столом сидели вожди далеких племен и люди со всех концов света: англичане и жители колоний, худощавые торговцы-янки и толстяки — чиновники крупных компаний, ковбои с Запада, моряки, охотники и погонщики собак самых разных национальностей.

Эл-Су дышала этой атмосферой космополитизма. По-английски она говорила так же хорошо, как и на родном языке, пела английские песни и баллады. Она знала уходящие в прошлое индейские обряды и умирающие традиции. Если случалась необходимость, она умела нарядиться в традиционную одежду дочери вождя. Но обычно она одевалась на манер белых женщин. Ведь не напрасно ее учили в миссии шить, и не зря она обладала художественным вкусом. Она носила свои платья, как носят их белые женщины, и шила себе такие, которые шли ей.

Эл-Су была по-своему столь же необычным явлением, как и ее отец, и положение, которое она занимала, было столь же необычным, как и его положение. Она была единственной индиан-

кой, с которой держались как с равной те немногие белые женщины, что жили в Танане. Она была единственной индианкой, которой белые мужчины делали предложения руки и сердца. И, наконец, она была единственной индианкой, которую никогда не пытался оскорбить ни один белый.

Дело в том, что Эл-Су была очень красива — не так, как бывают красивы белые женщины, и не так, как бывают красивы индианки. Красота ее была в том внутреннем огне, который не зависит от черт лица. Если же говорить о чертах лица, то она являла собой классический тип индианки. У нее были черные волосы и кожа цвета бронзы, черные глаза, блестящие и смелые, острые, как отблеск стали, маленький орлиный нос с тонкими трепещущими ноздрями, чуть выдающиеся, но не слишком широкие скулы и в меру тонкие губы. Но что было в ней главным — это внутренний огонь, то необъяснимое пламя в душе, что наполняло теплым светом ее глаза или сверкало в них, пробивалось румянцем щек, раздувало ноздри, срывалось смехом с губ и даже, если она была серьезна, пряталось в уголках рта, всегда готовое рассыпаться веселым смехом.

Эл-Су была остроумна, шутки ее редко бывали обидными, но она быстро подмечала маленькие слабости у окружающих. Ее веселый смех, как искрящийся огонек, зажигал людей, и они отвечали ей такими же веселыми улыбками. И тем не менее она никогда не оказывалась в центре внимания. Этого она не допускала. И самый дом, и его слава были созданы ее отцом, радушным хозяином, повелителем пирушек, законодателем, и его героическая фигура царила здесь до последних его дней. Правда, по мере того, как силы оставляли его, она понемногу принимала всю тяжесть дел из слабеющих рук отца. Но внешне все оставалось по-прежнему, он правил, как и встарь, хотя частенько дремал, даже за столом,— былой гуляка лишь по видимости оставался еще хозяином пирушек.

А по большому дому между тем бродила зловещая фигура Порпортука, который неодобрительно покачивал головой, осуждая этот разгул, но платил за все. Нельзя сказать, что он особенно тратился, ибо какими-то таинственными путями ему удавалось соблюдать собственные интересы и постепенно год за годом прибирать к рукам имущество Клаки-На. Один-единственный раз Порпортук взял на себя смелость упрекнуть Эл-Су за расточительный образ жизни, царящий в большом доме,— это произошло как раз тогда, когда он поглотил уже почти все богатство Клаки-На, но больше он никогда не отваживался попрекать ее. Эл-Су, как и ее отец, была аристократкой, подобно своему родителю, она с презрением относилась к деньгам и ставила честь превыше всего.

Порпортук продолжал с неохотой одалживать деньги, но деньги эти тут же таяли золотой пеной. Эл-Су твердо решила одно: отец должен умереть так же, как и жил. Он не должен ощущать падения своего величия, пиры не должны стихать, не должно иссякать щедрое гостеприимство. Когда случался голод, страдающие индейцы, как и в былые времена, приходили к большому дому и уходили оттуда сытые. Если в доме не было денег, их занимали у Порпортука, и индейцы все равно уходили довольные. Эл-Су могла бы повторить вслед за аристократами иных времен и иных стран, что после нее хоть потоп. В данном случае для нее потопом был старый Порпортук. С каждым разом, одалживая деньги, он смотрел на нее с растущим чувством собственника и ощущал, как разгораются в нем старые, как мир, желания.

Но Эл-Су не смотрела на него. Впрочем, точно так же она не смотрела и на белых мужчин, которые предлагали обвенчаться с ней, как принято среди белых — с кольцами, священником и клятвой на Библии. Дело в том, что в Танане жил юноша по имени Акун, одной крови с ней, одного племени и из одного селения. Ей он казался самым сильным и самым красивым, он был великий охотник, но так как часто и далеко путешествовал, то не нажил богатств. Он побывал в неизведанных и диких местах, путешествовал на Ситху и даже в Соединенные Штаты, пересекал материк до Гудзонова залива и обратно, охотился на тюленей и доплывал на судне до Сибири и Японии.

Вернувшись с золотых приисков в Клондайке, он, как обычно, пришел в большой дом, чтобы рассказать старому Клаки-На обо всем, что повидал на белом свете, и там он впервые встретил Эл-Су, которая вот уже три года как приехала из миссии. После этого Акун больше не уходил в странствия. Он отказался работать лоцманом на больших пароходах, хотя ему предлагали двадцать долларов в день. Он понемногу охотился и удил рыбу, но никогда не забирался далеко от Тананы и часто и подолгу бывал в большом доме. Эл-Су сравнивала его со многими мужчинами и нашла, что он лучше всех. Он пел для нее песни, загорался и пылал страстью, и скоро все селение знало, что он влюблен в Эл-Су. Порпортук только щерил зубы и давал еще денег на содержание большого дома.

И вот наступил последний предсмертный пир Клаки-На. Он сидел за столом, и в горле у него застряла смерть, которую нельзя было залить вином. Вокруг него раздавались смех, шутки и песни. Акун рассказал такую историю, что стропила дрогнули от хохота. За этим столом не было ни слез, ни вздохов. Всем казалось совершенно естественным, что Клаки-На должен умереть так, как жил, и никто не знал этого лучше, чем Эл-Су с ее артистическим чутьем. На пир, как и в былые времена, собралась вся

старая компания и, кроме того, трое пообмороженных матросов, только-только вернувшихся из далекого путешествия в Арктику, единственных спасшихся из команды в семьдесят четыре человека. Позади Клаки-На стояли четверо стариков — последние из слуг, которые прислуживали ему в молодости. Слезящимися глазами они следили за каждым жестом вождя, дрожащими руками наполняли ему стакан и колотили его между лопатками, когда смерть поднимала голову и тот начинал кашлять и задыхаться.

Это была разгульная ночь, шли часы, кругом царило веселье и хохот, но вот смерть снова зашевелилась в горле у Клаки-На. Тогда он послал за Порпортуком. И Порпортук пришел сюда с мороза и неодобрительно смотрел на стол, уставленный мясом и вином, за которые он заплатил. Но когда он обвел глазами длинный ряд разгоряченных лиц и в дальнем конце стола увидел лицо Эл-Су, глаза его загорелись и на миг осуждение исчезло с его лица.

Его посадили рядом с Клаки-На и поставили перед ним стакан. Собственной рукой Клаки-На наполнил ему стакан огненным напитком.

— Пей! — закричал он.— Разве он не хорош?

И глаза у Порпортука увлажнились, он склонил голову в знак согласия и причмокнул губами.

— Разве ты в своем доме пил когда-нибудь такой напиток? — спросил Клаки-На.

— Я не буду отрицать, что этот напиток хорош для моего старого горла, но...— ответил Порпортук и помедлил, словно не желая высказываться до конца.

— Но он слишком дорого стоит,— расхохотался Клаки-На, заканчивая за него.

Порпортук вздрогнул от хохота, который прокатился вдоль всего стола. Глаза его вспыхнули недобрым огоньком.

— Мы росли вместе, и мы с тобой одного возраста,— сказал он,— но в твоем горле сидит смерть, а я жив и полон сил.

Среди собравшихся послышался угрожающий ропот. Клаки-На закашлялся, начал задыхаться, и старики-слуги принялись колотить его между лопатками. Он с трудом перевел дух и поднял руку, чтобы успокоить раздраженных гостей.

— Тебе было жалко разводить огонь в своем собственном доме, потому что дрова были слишком дороги! — крикнул он.— Ты скупился жить. Жизнь стоит слишком дорого, а ты не хотел платить эту цену. Твоя жизнь похожа на хижину, в которой нет огня и нет одеял на полу.— Он подал слугам знак наполнить стакан и поднял его.— А я жил! И жизнь согревала меня, как никогда не согревала тебя. Это правда, ты проживешь долго. Но самые длинные ночи — холодные ночи, и тогда человек дрожит и не может уснуть. Мои ночи были короткими, но я спал в тепле.

Он осушил свой стакан. Дрожащие руки слуг не успели подхватить стакан, и он упал на пол. Клаки-На откинулся назад, тяжело дыша, и следил глазами, как все осушают свои стаканы, и губы его слегка улыбались в ответ на крики одобрения. Он подал знак, и двое слуг попытались вновь посадить его прямо. Но они были старыми и слабыми, а он был могуч телом, и тогда на помощь пришли еще двое слуг и вчетвером они с трудом усадили его.

— Но мы говорим не о том, кто как живет,— продолжал Клаки-На.— У нас с тобой, Порпортук, сегодня есть другое дело. Долги — это несчастье, а я тебе должен. Сколько же я задолжал тебе?

Порпортук порылся в своей сумке и вытащил оттуда бумажку. Он отхлебнул из стакана и начал:

— Вот расписка от августа тысяча восемьсот восемьдесят девятого года на триста долларов. Проценты не были уплачены. Расписка за следующий год на пятьсот долларов. Этот долг был включен в расписку, которую ты выдал мне через два месяца на тысячу долларов. Потом есть расписка...

— К дьяволу все эти расписки! — нетерпеливо закричал Клаки-На.— У меня от них голова идет кругом, и все в ней путается. Сколько всего? Сколько я тебе должен?

Порпортук заглянул в свои записи.

— Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь долларов и семьдесят пять центов,— прочитал он.

— Пусть будет шестнадцать тысяч,— великодушно бросил Клаки-На,— считай, что шестнадцать тысяч. Некруглые числа меня путают. А теперь — для этого я и позвал тебя — пиши новую расписку на шестнадцать тысяч, и я подпишу ее. Мне все равно, какие проценты ты будешь брать с меня. Пиши, какие хочешь, и пометь, что этот долг я верну тебе в том мире, где мы встретимся с тобой у костра Великого Отца всех индейцев. Там я заплачу тебе по этой расписке. Это я тебе обещаю. Даю слово Клаки-На.

Порпортук был озадачен, а громкий хохот присутствующих потряс стены комнаты. Клаки-На поднял руку.

— Нет! — воскликнул он.— Это не шутка. Я честно говорю. Я для этого и послал за тобой, Порпортук. Пиши расписку.

— Я не веду никаких дел с тем миром,— медленно произнес Порпортук.

— Разве ты не уверен, что встретишь меня перед лицом Великого Отца? — потребовал ответа Клаки-На и добавил: — Я наверняка буду там.

— Я не веду дел с тем миром,— раздраженно повторил Порпортук.

Умирающий смотрел на него с искренним изумлением.

— Я ничего не знаю про тот мир,— пояснил Порпортук.— Я делаю дела здесь, на земле.

Лицо Клаки-На прояснилось.

— Это оттого, что ночи твои холодны,— рассмеялся он, помолчал некоторое время и потом сказал: — Значит, ты хочешь получить свой долг здесь, на земле. Ну что ж, у меня остается этот дом. Бери его и сожги долговые расписки на свече.

— Это старый дом, он не стоит таких денег,— отозвался Порпортук.

— У меня есть еще прииск у Кривого Лосося.

— Он никогда не окупал себя.

— Тогда у меня есть доля в пароходе «Коюкук». Я владею половиной его.

— Он лежит на дне Юкона.

Клаки-На вздрогнул.

— Правда, я забыл об этом. Это случилось прошлой весной, когда сошел лед.

Клаки-На задумался, никто не притрагивался к стаканам, ожидая, пока он заговорит.

— Выходит, что я должен тебе такие деньги, которые я не могу заплатить... здесь, на земле?

Порпортук кивнул головой и огляделся.

— Тогда получается, что ты, Порпортук, плохой делец,— насмешливо сказал Клаки-На.

Порпортук нагло ответил:

— Нет, это не так. У тебя есть еще собственность.

— Как? — воскликнул Клаки-На.— У меня есть еще имущество? Назови его, и оно твое, и долг будет погашен.

— Вот оно.— Порпортук показал на Эл-Су.

Клаки-На не понял. Он посмотрел туда, куда показывал Порпортук, протер глаза и опять посмотрел.

— Твоя дочь Эл-Су... Отдай ее мне, и долг будет заплачен. Я тут же сожгу твои расписки на этой свече.

Могучая грудь Клаки-На заколыхалась.

— Ха! Ха! Вот так шутка! Ха-ха-ха! — Клаки-На разразился гомерическим хохотом.— Это с твоей-то холодной постелью и с дочерьми, которые годятся в матери Эл-Су! Ха-ха-ха!

Он закашлялся, начал задыхаться, и старики-слуги принялись похлопывать его по спине.

— Ха-ха-ха! — вновь захохотал Клаки-На, и опять его схватило удушье.

Порпортук терпеливо ждал, потягивая из своего стакана и изучая лица сидевших по обе стороны стола. Наконец он сказал:

— Это не шутка. Я говорю дело.

Тут Клаки-На протрезвел, глянул на Порпортука и потянул-

ся за своим стаканом, но не сумел достать его. Один из слуг подал ему стакан, и Клаки-На швырнул этот стакан вместе с содержимым в лицо Порпортука.

— Вытолкайте его вон! — загремел Клаки-На, обращаясь к сидевшим за столом, которые подобно своре охотничьих собак, рвущихся с поводка, только и ждали его сигнала.— И вываляйте его в снегу!

Когда взбесившийся клубок людей прокатился мимо него и вывалился за дверь, Клаки-На подал знак своим слугам, и четверо трясущихся стариков помогли ему встать на ноги и встретить возвращающихся бражников стоя, с поднятым стаканом, провозглашающим тост за короткие ночи, когда человек спит в тепле.

Для того, чтобы разобраться в запутанных делах Клаки-На, потребовалось совсем немного времени. Эл-Су пригласила для помощи англичанина Томми, младшего агента фактории. От Клаки-На не осталось ничего, кроме долгов, просроченных долговых расписок, залоговых квитанций на собственность и заложенной собственности, которая ничего не стоила. Все долговые расписки и залоговые квитанции находились у Порпортука. Томми, изучая проценты, которые брал Порпортук, каждый раз обзывал его ворюгой.

— Это долг, Томми? — спрашивала Эл-Су.

— Это грабеж,— отвечал Томми.

— И все-таки это долг,— настаивала Эл-Су.

Кончилась зима, наступила весна, а долг Порпортуку все еще не был уплачен. Он частенько заходил к Эл-Су и каждый раз пространно объяснял ей, как объяснял однажды ее отцу, каким путем может быть погашен этот долг. Он даже привел с собой старого шамана, который растолковал ей, что если долг не будет уплачен, то ее отцу суждено вечное проклятие. И наконец после одного такого посещения Эл-Су объявила Порпортуку свое окончательное решение.

— Я скажу тебе две вещи,— сказала она.— Во-первых, я никогда не буду твоей женой. Запомни это. А во-вторых, ты получишь свои шестнадцать тысяч долларов — все, до последнего цента...

— Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь долларов и семьдесят пять центов,— поправил Порпортук.

— Мой отец сказал, шестнадцать тысяч,— был ее ответ,— ты их получишь.

— Каким образом?

— Я сейчас еще не знаю, каким образом, но я найду способ. А теперь уходи и не надоедай мне больше. А если будешь при-

ставать ко мне...— она помедлила, придумывая подходящее наказание,— если ты будешь приставать ко мне, я прикажу опять вывалять тебя в снегу, как только выпадет первый снег.

Разговор этот происходил ранней весной, и вскоре Эл-Су удивила всю страну.

В июне, когда пойдет лосось, Эл-Су, дочь Клаки-На, будет продавать себя с аукциона, чтобы расплатиться с долгом Порпортуку. Слух об этом разнесся по всему Юкону, от Чилкута до дельты Юкона, его передавали от лагеря к лагерю, до самых отдаленных стоянок. Попытки разубедить ее были напрасны. Священник из миссии Святого Георга долго и горячо убеждал ее, но она ответила:

— На том свете расплачиваются с долгами только перед господом богом. Долги людям должны уплачиваться здесь, на земле,— здесь они и будут уплачены.

Акун пытался переубедить ее, но она ему ответила:

— Да, я люблю тебя, Акун, но честь выше любви. Разве я могу опозорить моего отца?

Сестра Альберта прибыла на первом пароходе из миссии Святого Креста, но тоже ничего не добилась.

— Мой отец блуждает в дремучем и бесконечном лесу,— ответила ей Эл-Су,— и ему суждено блуждать там среди рыдающих и неприкаянных душ до тех пор, пока не будет выплачен долг. Тогда, только тогда, сможет войти он в дом Великого Отца.

— И ты веришь в это? — спросила сестра Альберта.

— Не знаю,— ответила Эл-Су,— в это верил мой отец.

Сестра Альберта недоверчиво пожала плечами.

— А кто знает,— продолжала Эл-Су,— может быть, иной мир и в самом деле окажется таким, как мы верим? Почему бы и нет? Для вас иной мир — небеса, где играют на арфах... потому что вы верите в небеса с арфами. А для моего отца иной мир — это большой дом, где он вечно будет пировать вместе с богом.

— А ты? — спросила сестра Альберта.— Каким ты представляешь иной мир?

Эл-Су на мгновение помедлила с ответом.

— Мне бы хотелось и того и другого понемногу,— сказала она,— мне хотелось бы встретить там и вас и моего отца.

Настал день аукциона. Танана стала весьма многолюдной. Согласно обычаю, здесь в эту пору собирались индейские племена и ожидали, когда пойдет лосось, а пока что развлекались танцами и играми, торговали и сплетничали. Сюда съехались искатели приключений, торговцы, золотоискатели и, помимо них, еще множество белых, которых привело сюда любопытство или свой расчет.

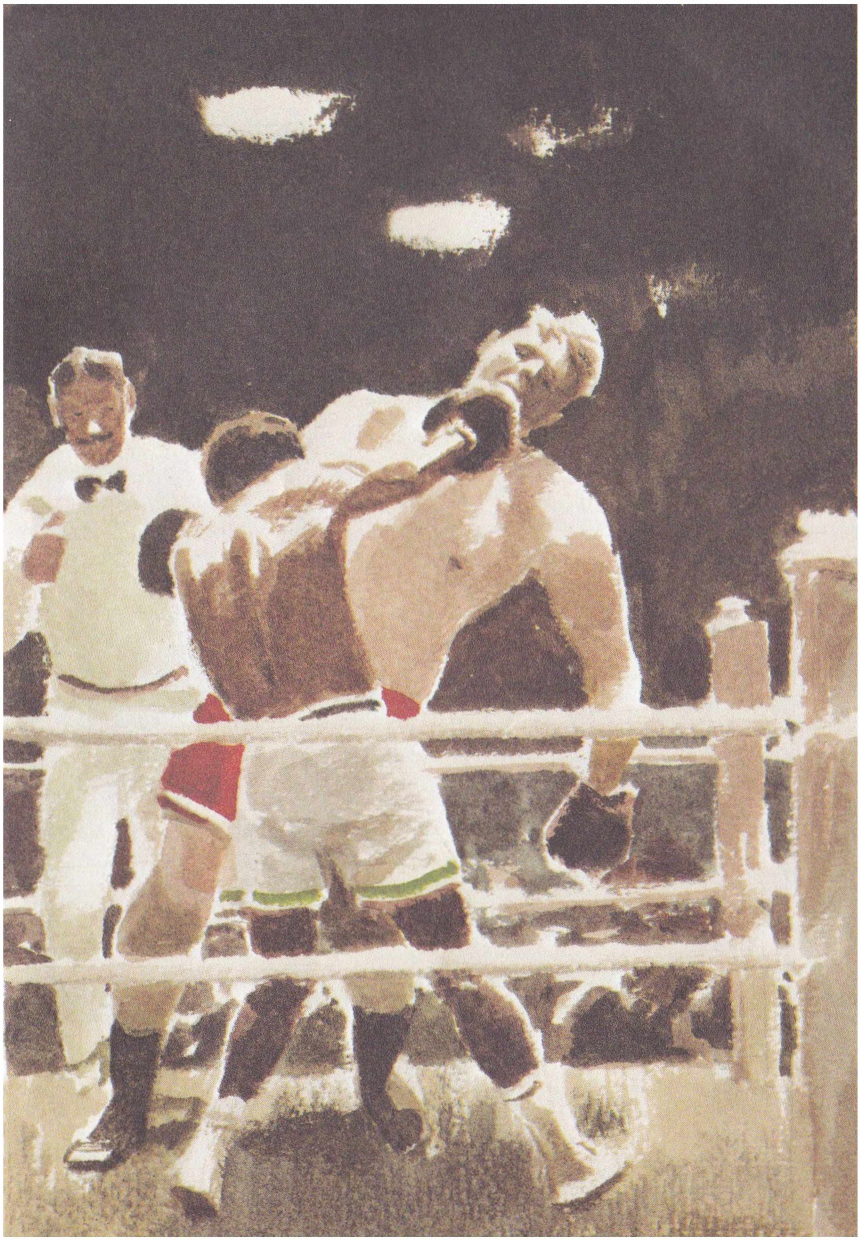
Весна в этом году была поздней, и лосось запоздал. Эта задержка только разжигала всеобщий интерес. А в день аукциона напряженность стала еще больше благодаря Акуну. Он в присутствии множества людей торжественно заявил, что тот, кто купит Эл-Су, немедленно умрет. При этом он потряс в руке своим винчестером, показывая, откуда придет эта смерть. Эл-Су рассердилась, но он отказался разговаривать с ней и отправился в факторию, чтобы запастись патронами.

Первого лосося выловили в десять часов вечера, а в полночь начался аукцион. Он происходил на высоком берегу Юкона. Скрытое за горизонтом солнце спешило на север, и небо было зловеще-багрового цвета. У самого обрыва поставили стол и два стула, а вокруг собралась огромная толпа. В первых рядах расположились многочисленные белые и несколько вождей племен. А на самом видном месте в первом ряду стоял Акун с ружьем в руке. Томми по просьбе Эл-Су взял на себя обязанности аукционера, но открыла аукцион сама Эл-Су, которая описала товар, выставленный для продажи. Одетая в национальный костюм, в одежду дочери вождя, по-варварски великолепную, она поднялась на стул, чтобы все могли хорошенько рассмотреть ее.

— Кто хочет купить себе жену? — обратилась она к толпе.— Посмотрите на меня. Мне двадцать лет, и я девушка. Я буду хорошей женой тому, кто купит меня. Если это будет белый мужчина, я буду одеваться, как одеваются белые женщины, если он будет индеец, я буду одеваться...— она заколебалась на мгновение,— как скво. Я умею шить себе платья, умею стирать и штопать. Меня восемь лет учили всему этому в миссии Святого Креста. Я умею читать и писать по-английски и играю на органе. Кроме того, я знаю арифметику и немного алгебру, совсем немножко. Меня купит тот, кто предложит самую высокую цену, и я выдам ему расписку, что продала себя. Да, забыла сказать, что хорошо пою и ни разу в жизни не болела. Вес мой — сто тридцать два фунта, отец умер, других родственников нет. Кто хочет купить меня?

Горящим и смелым взглядом она обвела толпу и сошла со стула. Томми предложил ей опять стать на стул, а сам он вскарабкался на другой и открыл аукцион.

Вокруг Эл-Су стояли четверо старых слуг ее отца. Старость скрючила их, сделала беспомощными; представители давно ушедшего поколения, которые без всякого интереса взирали на проделки молодости, они думали только о пище. Впереди толпы заняли места несколько королей Бонанзы и Эльдорадо, рядом с ними, на костылях, распухшие от цинги, стояли двое неудачливых золотоискателей. Вот из гущи толпы высунулась, широко раскрыв от любопытства глаза, скво с Верхней Тананы, забред-



«Мексиканец»

«Крис Фаррингтон — настоящий моряк»

ший с побережья индеец ситка был рядом со стиком с озера Ла-Барж, а неподалеку от них особняком стояли человек шесть проводников-канадцев. Издалека доносился приглушенный гомон бесчисленных диких птиц с их гнездовий. Ласточки проносились низко над головами и над спокойной поверхностью Юкона, пели зорянки. Косые лучи невидимого солнца пробивались сквозь дым, поднимавшийся от лесных пожаров где-то за тысячу миль отсюда, и окрашивали небо в мрачно-багровые тона; отраженный свет солнца делал и землю красноватой. Этот отраженный свет ложился на лица собравшихся и придавал всему сборищу какой-то потусторонний и фантастический вид.

Поначалу ставки поднимались весьма туго. Ситка, который был впервые в этих краях и прибыл сюда всего за полчаса до начала аукциона, уверенно предложил сто долларов и был крайне удивлен, когда Акун с ружьем в руке угрожающе обернулся к нему. Никто не назначал новую цену. Потом индеец-лоцман с Тоцикакаты предложил сто пятьдесят долларов, а через некоторое время некий игрок, изгнанный с Верховий Юкона, поднял цену до двухсот долларов. Эл-Су переживала, самолюбие ее было уязвлено, но она и виду не подала, а лишь еще более вызывающе оглядывала толпу.

Толпа зрителей зашевелилась, когда вперед пробился Порпортук.

— Пятьсот долларов! — громко выкрикнул он и оглянулся с гордостью, чтобы посмотреть, какой эффект произвела его сумма.

Он решил использовать свое огромное богатство в качестве дубинки, с помощью которой он мог пришибить всех соперников с самого начала. Но один из проводников, глядя на Эл-Су горящими глазами, повысил ставку еще на сотню.

— Семьсот! — немедленно отозвался Порпортук.

И с той же готовностью ему ответил проводник:

— Восемьсот!

Тогда Порпортук вновь пустил в ход свою тяжелую дубину:

— Тысяча двести! — выкрикнул он.

На лице проводника отразилось горькое разочарование, и он вынужден был признать себя побежденным. Никто не повышал ставок. Томми старался изо всех сил, но не мог добиться новых предложений.

Эл-Су обратилась к Порпортуку:

— Порпортук, тебе следует хорошенько взвесить то, что ты делаешь. Разве ты забыл, что я тебе сказала,— что я никогда не буду твоей женой?

— Это публичный аукцион,— возразил Порпортук,— и я

куплю тебя как полагается. Я предложил тысячу двести долларов. Ты пока что ценишься дешево.

— Слишком дешево, черт побери! — выкрикнул Томми.— Что из того, что я аукционер? Никто не запретит мне самому принять участие в торге. Я предлагаю тысячу триста.

— Тысяча четыреста,— отозвался Порпортук.

— Я куплю тебя, и ты будешь мне сестрой,— шепнул Томми Эл-Су и громко сказал:

— Тысяча пятьсот!

Когда ставка дошла до двух тысяч, в торг вступил один из королей Эльдорадо, а Томми вышел из игры.

В третий раз Порпортук пустил в ход тяжелую дубинку своего богатства и поднял ставку сразу на пятьсот долларов. Гордость короля Эльдорадо оказалась задетой. Кто посмел перебить его? И он поднял ставку еще на пятьсот долларов.

Теперь за Эл-Су давали три тысячи долларов. Порпортук поднял ставку до трех тысяч пятисот и раскрыл от изумления рот, когда король Эльдорадо накинул сразу тысячу долларов. Порпортук опять набавил пятьсот долларов и опять ахнул, когда король Эльдорадо прибавил еще тысячу долларов.

Порпортук начинал злиться. Его задело, что кто-то бросил вызов его могуществу, которое для него воплощалось в богатстве. Он не мог позволить, чтобы его унизили перед лицом людей. Дело было уже не в Эл-Су. Он готов был бросить на ветер все, что скопил за все холодные долгие ночи своей жизни. Цена Эл-Су поднялась уже до шести тысяч. Порпортук назвал семь тысяч. После этого ставки стали расти по тысяче с такой быстротой, что участники торга едва успевали называть сумму. Когда цена подскочила до четырнадцати тысяч, оба замолчали, чтобы перевести дыхание.

Но тут произошло нечто неожиданное. В борьбу вступила еще более увесистая дубинка. Игрок с Верховий Юкона, который почуял выгодное дельце, организовал в наступившей паузе синдикат из нескольких своих приятелей и поднял цену до шестнадцати тысяч долларов.

— Семнадцать тысяч,— слабеющим голосом произнес Порпортук.

— Восемнадцать тысяч,— парировал король.

Порпортук собрался с силами.

— Двадцать тысяч.

Синдикат выбыл из игры. Король Эльдорадо поднял ставку еще на тысячу, Порпортук тоже, и пока они попеременно повышали цену, Акун поворачивался то к одному, то к другому, он посматривал на них угрожающе и одновременно с любопытством, словно желая выяснить, что же представляет собой человек, которого он должен сейчас убить. Король собирался назвать очеред-

ную надбавку, Акун стал пробираться поближе к нему, и тот, прежде чем назвать сумму, сначала высвободил висевший на боку револьвер.

— Двадцать три тысячи.

— Двадцать четыре тысячи,— ответил Порпортук. При этом он злорадно ухмыльнулся, заметив, что его уверенность, с которой он поднимал цену, поколебала короля. Тот подошел поближе к Эл-Су и долго и внимательно рассматривал ее.

— И еще пятьсот,— наконец сказал он.

— Двадцать пять тысяч,— вновь поднял цену Порпортук.

Король долго смотрел на Эл-Су и покачал головой. Потом глянул еще раз и неохотно процедил:

— И еще пятьсот.

— Двадцать шесть тысяч! — выпалил Порпортук.

Король отвернулся, чтобы не видеть умоляющих глаз Томми. Между тем Акун стал пробираться поближе к Порпортуку. Острые глаза Эл-Су заметили это, и пока Томми убеждал короля Эльдорадо еще раз повысить ставку, она пагнулась и сказала что-то на ухо старому слуге. И в то время, пока слова Томми «Продается... Продается... Продается» звучали в воздухе, слуга подошел к Акуну и тоже шепнул ему что-то на ухо. И хотя Эл-Су с нетерпением смотрела на него, но Акун не подал вида, что расслышал хоть что-нибудь.

— Продана! — прозвучал голос Томми.— Продана Порпортуку за двадцать шесть тысяч долларов.

Порпортук с опаской посмотрел на Акуна. Все глаза были устремлены туда же, но он стоял недвижимо.

— Пусть принесут весы,— сказала Эл-Су.

— Я буду расплачиваться у себя в доме,— произнес Порпортук.

— Пусть принесут весы,— повторила Эл-Су.— Оплата должна быть произведена здесь, чтобы все видели.

Из фактории принесли весы, а Порпортук тем временем сходил к себе и вернулся в сопровождении человека, который тащил на спине мешки из лососиной кожи, набитые золотым песком. Кроме него, за Порпортуком следовал еще один человек с ружьем в руках, который не сводил глаз с Акуна.

— Вот здесь долговые расписки и закладные на пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь долларов и семьдесят пять центов.

Эл-Су взяла документы у него из рук и сказала Томми:

— Пусть они считаются за шестнадцать тысяч.

— Остается выплатить еще десять тысяч золотым песком,— сказал Томми.

Порпортук кивнул в знак согласия и развязал свои мешки. Эл-

Су, стоя у самой воды, разорвала бумаги на клочки и пустила их по ветру, дувшему вдоль Юкона. Начали отвешивать золото, но тут произошла заминка.

— Считать будем, конечно, по семнадцати долларов,— сказал Порпортук Томми, когда тот начал регулировать весы.

— Нет, по шестнадцати долларов,— резко сказала Эл-Су.

— Повсюду принято считать золотой песок по семнадцать долларов за унцию,— ответил Порпортук,— у нас здесь деловая сделка.

Эл-Су рассмеялась.

— А это новый обычай,— сказала она,— он заведен с этой весны. В прошлом году и раньше считали по шестнадцати долларов за унцию. Когда мой отец одалживал деньги, считали по шестнадцати долларов. Когда он покупал в лавке товары, то за унцию золотого песка, который он одалживал у тебя, он получал муки на шестнадцать долларов, а не на семнадцать. Поэтому и ты должен считать мне по шестнадцати долларов, а не по семнадцати.

Порпортук проворчал что-то и приказал отвешивать песок.

— Развешивай его на три части, Томми,— сказала Эл-Су,— сюда на тысячу долларов, сюда на три тысячи, а сюда на шесть.

Это была медленная процедура, и пока развешивали песок, присутствующие не сводили глаз с Акуна.

— Он ждет, когда будут отданы деньги,— предположил кто-то, и эти слова облетели всех, и толпа ждала, что же будет делать Акун.

Наконец Томми закончил развешивать, и золотой песок лежал на столе тремя темно-желтыми кучками.

— Мой отец остался должен Компании три тысячи долларов,— сказала Эл-Су,— возьми их, Томми, и передай Компании. Теперь здесь остаются четверо стариков. Ты их знаешь. Вот тысяча долларов. Возьми ее и сделай так, чтобы старики всегда были сыты и у них всегда был табак.

Томми высыпал золото в отдельные мешки. На столе осталась кучка песка на шесть тысяч долларов. Эл-Су подхватила его совком и, неожиданно повернувшись, высыпала золотым дождем в Юкон. Когда она во второй раз воткнула совок в золотой песок, Порпортук схватил ее за кисть.

— Это мое,— спокойно сказала она, и он отпустил ее руку, но пока она швыряла песок в реку, Порпортук смотрел на нее и скрежетал зубами, весь почернев от злости.

Толпа смотрела только на Акуна; слуга Порпортука, стоявший в ярде от Акуна, направил ружье на него, держа палец на спуске. Но Акун стоял спокойно.

— Пишите бумагу о продаже,— мрачно сказал Порпортук.

И Томми составил купчую, согласно которой все права на

женщину по имени Эл-Су получал человек по имени Порпортук. Эл-Су подписала документ, Порпортук сложил его и спрятал в мешочек. Вдруг глаза его вспыхнули, и он обратился к Эл-Су с неожиданной речью.

— Это не был долг твоего отца,— сказал он,— то, что я заплатил, я заплатил за тебя. Ты продавала себя сегодня, а не вчера, не в прошлом году или еще раньше. За каждую унцию песка, которым я заплатил за тебя, сегодня в фактории дают муки на семнадцать долларов. Я потерял доллар на каждой унции. Я потерял шестьсот двадцать пять долларов.

Эл-Су раздумывала мгновение и поняла, что ошиблась. Она рассмеялась.

— Ты прав,— смеясь, сказала она,— я ошиблась. Но теперь уже поздно. Ты заплатил, и золота уже больше нет. Ты стал тугодумом. И потому прогадал. Твой хитрый ум стал неповоротлив. Ты стареешь, Порпортук.

Порпортук ничего не ответил. Он опасливо посмотрел на Акуна и успокоился. Потом поджал губы, и в лице появилась жестокость.

— Пойдем,— сказал он,— пойдем в мой дом.

— Разве ты забыл те две вещи, которые я сказала тебе весной? — спросила Эл-Су, не выказывая желания следовать за ним.

— Я бы давно свихнулся, если бы помнил все, что говорят женщины,— ответил он.

— Я сказала, что ты получишь свой долг,— старательно продолжала Эл-Су,— и я еще сказала, что никогда не буду твоей женой.

— Но это было до того, как ты подписала купчую,— ответил Порпортук и потрогал пальцами хрустящую бумагу.— Я купил тебя на глазах у всех. Ты принадлежишь мне. Ты не можешь отрицать, что ты моя.

— Да, я твоя,— спокойно подтвердила Эл-Су.

— Ты принадлежишь мне.

— Я принадлежу тебе.

Голос Порпортука зазвучал чуть громче, в нем послышались торжествующие нотки.

— Ты принадлежишь мне, как собака принадлежит хозяину.

— Я принадлежу тебе, как собака принадлежит хозяину,— спокойно сказала Эл-Су,— но ты, Порпортук, забыл то, что я тебе говорила. Если бы меня купил любой другой мужчина, я стала бы его женой. Я была бы хорошей женой. Так я решила. Но твоей женой я никогда не буду. Поэтому я только твоя собака.

Порпортук знал, что играет с огнем, и решил быть твердым.

— Тогда я буду говорить с тобой не как с Эл-Су, а как с собакой,— сказал он,— и я приказываю тебе идти со мной.

Он хотел было взять ее за руку, но Эл-Су оттолкнула его.

— Не спеши, погоди, Порпортук. Ты купил собаку. А собака убегает. Я ведь только твоя собака. Что, если я убегу?

— Я побью тебя, как хозяин бьет собаку...

— Когда поймаешь меня?

— Когда поймаю тебя.

— Тогда лови меня.

Порпортук быстро подскочил к ней, но Эл-Су увернулась. Она смеялась, бегая вокруг стола.

— Лови ее! — крикнул Порпортук индейцу с ружьем, который оказался неподалеку от Эл-Су.

Но как только индеец пытался схватить ее, король Эльдорадо сбил его с ног ударом кулака по скуле. Ружье звякнуло о землю. Тут, казалось бы, наступил черед Акуна. Глаза его сверкнули, но он остался на месте.

Порпортук был старый человек, но холодные ночи помогли ему сохранить силы. Он не стал бегать вокруг стола. Он неожиданно перескочил прямо через стол. Эл-Су оказалась застигнутой врасплох. Она отскочила назад с испуганным криком, и Порпортук поймал бы ее, если бы не Томми. Тот вытянул ногу, Порпортук споткнулся и свалился на землю. Эл-Су бросилась бежать.

— Тогда лови меня,— смеясь, бросила она ему через плечо, убегая.

Она бежала легко и быстро. Порпортук был в ярости. Он бежал быстрее ее. В молодости он считался самым лучшим бегуном среди юношей. Но Эл-Су была хитрее и изворотливее. Она была в туземном костюме, и юбка не путалась у нее в ногах, а ее гибкое тело оказалось слишком увертливым для цепких пальцев Порпортука.

С хохотом и шумом огромная толпа рассыпалась, чтобы поглазеть за погоней. Эл-Су и Порпортук бежали по становищу и, делая круги, то исчезали, то вновь появлялись среди палаток. Эл-Су размахивала руками, чтобы сохранить равновесие при беге, и временами ее тело, казалось, отрывалось от земли, когда она делала крутые повороты. А Порпортук все бежал в каком-нибудь шаге позади или сбоку от нее, как тощая гончая собака.

Они миновали открытое место позади становища и скрылись в лесу. Танана ждала их возвращения, ждала долго, но тщетно.

Тем временем Акун ел, спал и подолгу шатался у пароходной пристани, оставаясь глух к растущему возмущению обитателей становища по поводу того, что он ничего не предпринимал. Через сутки Порпортук вернулся. Он устал и был в ярости. Он не стал разговаривать ни с кем, кроме Акуна, и попытался вызвать его на ссору. Но Акун пожал плечами и ушел прочь. Порпортук не терял

времени. Он нанял шесть юношей, отобрав лучших следопытов и проводников, и вместе с ними отправился в лес.

На следующий день пароход «Сиэтл», направлявшийся вверх по реке, пристал к берегу, чтобы запастись топливом. Когда концы отдали и пароход отошел от берега, Акун находился в лоцманской рубке. Прошло немного часов, и, встав на вахту у руля, он увидел маленькое каноэ из березовой коры, отчалившее от берега. В каноэ виднелась одна-единственная человеческая фигура. Акун пристально вглядывался, повернул руль и скомандовал замедлить ход.

В рубку вошел капитан парохода.

— Что случилось? — спросил он.— Здесь нет мелей.

Акун проворчал что-то. Он увидел, как от берега отвалило большое каноэ, в котором было несколько человек. Как только «Сиэтл» отклонился от фарватера, Акун повернул рулевое колесо еще круче. Капитан рассердился.

— Там всего-навсего скво,— запротестовал он.

Акун не отвечал. Он, не отрываясь, смотрел на женщину и преследующее ее каноэ. Там шесть человек сидели на веслах; женщина гребла куда медленнее.

— Ты посадишь пароход на мель! — заорал капитан, хватаясь за рулевое колесо.

Но руки Акуна с железной силой держали рулевое колесо, а сам он посмотрел капитану прямо в глаза. Тот медленно отпустил колесо.

— Чудак человек,— пробормотал он.

Акун держал пароход у самого мелководья и выжидал, пока не увидел, как женщина уцепилась за передние поручни. Тогда он скомандовал полный вперед и завертел рулевое колесо обратно. Большое каноэ было уже совсем рядом, но расстояние между ним и пароходом стало быстро увеличиваться.

Женщина расхохоталась и перевесилась через поручни.

— Так лови меня, Порпортук! — крикнула она.

Акун сошел с парохода в Форте Юкон. Он нанял небольшую лодку и отправился вверх по реке Поркюпайн. С ним была Эл-Су. Это было тяжелое путешествие, путь их лежал через хребет, пересекавший страну, но Акун раньше путешествовал этим путем. Когда они добрались до истоков Поркюпайна, они оставили лодку и пешком отправились через Скалистые горы.

Акуну очень нравилось идти позади Эл-Су и любоваться ее походкой. В ней была музыка, которую он любил. И особенно он любил смотреть на ее округлые икры, завернутые в мягко выделанную кожу, стройные лодыжки и маленькие, одетые в мокасины ножки, не знающие усталости на протяжении многих дней пути.

— Ты легкая, как воздух,— говорил Акун, глядя на нее,— тебе совсем не трудно идти. Ты словно плывешь, так плавно поднимаются и ступают твои ноги. Ты похожа на лань, Эл-Су, ты похожа на лань, и глаза у тебя, когда ты смотришь на меня или когда оглядываешься на шорох, тоже как у лани. Вот и сейчас, когда ты смотришь на меня, глаза твои похожи на глаза лани.

И Эл-Су, сияющая и растроганная, поворачивалась и целовала Акуна.

— Когда мы доберемся до индейцев маккензи, мы не будем задерживаться,— сказал Акун,— мы двинемся на юг раньше, чем зима застанет нас. Мы пойдем с тобой на солнечные земли, где нет снега. Но мы вернемся. Я видел много стран, но нет другой такой земли, как Аляска, нигде нет такого солнца, как наше солнце, и после долгого лета хорошо увидеть снег.

— И ты научишься читать,— сказала Эл-Су.

И Акун ответил:

— Конечно, я научусь читать.

Однако, когда они добрались до озера Маккензи, им пришлось задержаться. Они встретились с группой индейцев, и во время охоты Акуна случайно ранили. Стрелял юноша, пуля пробила Акуну правую руку и сломала два ребра. Акун знал примитивную медицину индейцев, а Эл-Су в миссии Святого Креста немного научилась оказывать помощь пострадавшим. В конце концов кости вправили, и Акун лежал у огня, ожидая, пока кости срастутся. Он лежал у огня так, чтобы дымом табака отгонять москитов.

И вот сюда добрался Порпортук со своими шестью молодцами. Акун стонал, сознавая свое бессилие, и обратился за помощью к индейцам маккензи. Но Порпортук предъявил свои претензии, и маккензи были озадачены. Порпортук хотел увести Эл-Су, но маккензи воспротивились. Спор нужно было рассудить, и поскольку дело касалось мужчины и женщины, был созван совет из стариков: молодые, у которых горячие сердца, могли вынести несправедливое решение.

Старики уселись вокруг костра. Лица у них были худы и изборождены морщинами, они тяжело дышали, хватая ртом воздух. Дым мешал им дышать. Время от времени они дрожащими руками били москитов, которые отваживались лететь на дым. После таких упражнений они глухо и надрывно кашляли. Некоторые из них отхаркивались кровью, а у одного старика, сидевшего чуть поодаль с опущенной головой, безостановочно текла изо рта кровь: у всех у них была горловая чахотка. Это были умирающие люди, жить им оставалось совсем немного. Это был совет мертвецов.

— И я заплатил за нее огромную цену,— заключил Порпортук свою жалобу,— таких денег вы никогда не видели. Продайте все, что у вас есть,— продайте ваши копья, стрелы и ружья, про-

дайте ваши шкуры и меха, продайте ваши палатки, лодки и собак — продайте все, и вы вряд ли наберете тысячу долларов. А я заплатил за эту женщину Эл-Су цену в двадцать шесть раз большую, чем стоят все ваши копья, стрелы и ружья, ваши шкуры и меха, ваши палатки, лодки и собаки. Это очень высокая цена.

Старики важно кивали головами, хотя их ссохшиеся глазные щелочки расширялись от удивления, что какая-то женщина вообще может стоить таких денег. Тот, у которого изо рта шла кровь, вытер губы.

— Это правда? — спросил он по очереди каждого из молодых охотников, сопровождавших Порпортука. И каждый ответил, что это правда.

— Это правда? — спросил он у Эл-Су, и та ответила:

— Это правда.

— Но Порпортук не сказал, что он старик,— вмешался Акун,— и что дочери у него старше, чем Эл-Су.

— Это правда, Порпортук старый человек,— сказала Эл-Су.

— Это уже дело Порпортука мерить силы своего возраста,— сказал старик, у которого текла изо рта кровь.— Все мы стареем. Но помни, старость никогда не бывает настолько слаба, как это кажется юности.

И все старики, сидевшие кругом, жевали беззубыми деснами, одобрительно кивая и кашляя.

— Я сказала ему, что никогда не буду его женой,— настаивала Эл-Су.

— И все-таки ты взяла у него в двадцать шесть раз больше чем все, что мы имеем? — спросил одноглазый старик.

Эл-Су молчала.

— Это правда? — И его единственный глаз вонзился в нее, как буравчик.

— Это правда,— сказала она.

Но через мгновение ее взорвало, и она со страстью воскликнула:

— Я все равно опять убегу! Я всегда буду убегать от него!

— Это уже забота Порпортука,— заметил другой старик,— наше дело — вынести решение.

— А какую цену ты за нее уплатил? — спросили у Акуна.

— Я ничего за нее не платил,— ответил он,— ибо она дороже любых денег. Я не могу оценить ее ни на золотой песок, ни на собак, ни на палатки или меха.

Старики принялись спорить о чем-то между собой приглушенными голосами.

— Эти старики, как лед,— сказал Акун по-английски,— я не буду слушать их решения, Порпортук. Если ты возьмешь Эл-Су, я непременно убью тебя.

Старики перестали разговаривать и подозрительно посмотрели на Акуна.

— Он сказал, что убьет меня,— поспешил ответить Порпортук,— так что лучше отобрать у него ружье и посадить рядом кого-нибудь из ваших юношей, чтобы он не причинил мне вреда. Он молод, а что такое для молодого поломанные кости!

У беспомощного Акуна отобрали ружье и нож, и по бокам сели два молодых индейца маккензи. Одноглазый старик встал и выпрямился.

— Нас поражает цена, которая уплачена за женщину,— начал он,— но разумность этой цены нас не касается. Мы здесь для того, чтобы вынести решение, и мы выносим решение. У нас нет никаких сомнений. Всем известно, что Порпортук заплатил высокую цену за женщину Эл-Су. Поэтому женщина Эл-Су принадлежит Порпортуку и никому другому.

Он тяжело опустился на землю и закашлялся. Старики закивали и тоже закашлялись.

— Я убью тебя! — закричал по-английски Акуп.

Порпортук усмехнулся и встал.

— Вы вынесли справедливое решение,— сказал он судьям,— и мои люди дадут вам много табаку. А теперь пусть подведут ко мне эту женщину.

Акун заскрежетал зубами. Молодые индейцы схватили Эл-Су — она не сопротивлялась, только лицо ее горело мрачным огнем — и притащили к Порпортуку.

— Сиди здесь, у моих ног, пока я буду говорить,— приказал он. Потом он помолчал мгновение.— Это правда,— сказал он,— что я старый человек. Но я еще могу понять пути молодости. Огонь еще не погас во мне. И все-таки я уже не молод и не собираюсь все годы, которые мне осталось прожить, гоняться на своих старых ногах за Эл-Су. Она бегает быстро и хорошо. Она похожа на лань. Я это хорошо знаю, потому что я видел это и гнался за ней. Плохо, когда жена бегает так быстро. Я заплатил за нее большую цену, а она убегает от меня. Акун ничего не заплатил за нее, а она бежит к нему.

Когда я пришел к вам, люди маккензи, у меня была одна мысль в голове. Когда я слушал ваш суд и думал о быстрых ногах Эл-Су, у меня было много мыслей в голове. Теперь у меня опять только одна мысль, но совсем не та, с которой я пришел сюда. Я скажу вам, о чем я думаю. Если собака однажды убежала от хозяина, она всегда будет убегать от него. Сколько бы раз ее ни возвращали, она каждый раз будет убегать. Когда нам попадается такая собака, мы ее продаем. Эл-Су вроде такой собаки, которая убегает. Я продам ее. Кто из совета купит ее?

Старики кашляли и молчали.

— Акун купил бы Эл-Су,— продолжал Порпортук,— но у него нет денег. Поэтому я отдам ему эту женщину без всякой платы. Я отдам ему ее сейчас же.

Нагнувшись, он взял Эл-Су за руку и повел через круг, туда, где лежал на спине Акун.

— У нее есть дурная привычка, Акун,— сказал он, усаживая Эл-Су у ног Акуна.— Раньше она убегала от меня, а впредь она может убежать и от тебя. Но ты можешь не бояться, Акун, что она когда-нибудь убежит от тебя. Я позабочусь, чтобы она не сделала этого. Она никогда не убежит от тебя, даю слово Порпортука. Она очень любит шутить. Я знаю это, она часто шутила надо мной. И все-таки я решил один раз тоже пошутить. И благодаря этой шутке я сохраню ее для тебя, Акун.

Нагнувшись, Порпортук скрестил ноги Эл-Су так, что одна нога лежала на другой, и, прежде чем успели разгадать его замысел, разрядил свое ружье так, что пуля прошла через обе лодыжки. Когда Акун пытался подняться под тяжестью двух навалившихся на него юношей, послышался хруст вновь ломающихся костей.

— Это справедливо,— сказал один старик другому.

Эл-Су не издала ни звука. Она сидела и смотрела на свои раздробленные ноги, на которых она уже никогда не сможет ходить.

— У меня крепкие ноги, Эл-Су,— сказал Акун,— но они никогда не унесут меня прочь от тебя.

Эл-Су посмотрела на него, и в первый раз за все время, что он ее знал, Акун увидел в ее глазах слезы.

— У тебя глаза, как у лани, Эл-Су,— сказал он.

— Это ведь справедливо? — спросил Порпортук, собираясь уходить и злобно ухмыляясь сквозь дым.

— Это справедливо,— сказали старики и продолжали сидеть молча.

1906

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МАРКУСА О'БРАЙЕНА

— Итак, суд выносит решение, что вы должны покинуть лагерь... обычным путем, сэр, обычным путем.

Судья Маркус О'Брайен несколько замечтался, и Муклук Чарли легонько толкнул его в бок. Маркус О'Брайен откашлялся и продолжал:

— Взвесив всю тяжесть преступления, сэр, и смягчающие обстоятельства, суд пришел к решению и вынес приговор, что вы получите с собой трехдневный запас продовольствия. Этого, я думаю, будет достаточно.

Аризона Джек бросил мрачный взгляд на Юкон — вздувшийся, мутно-шоколадный поток шириною в милю и с глубиной, которую никто не мерял. Берег, где стоял Аризона Джек, обычно возвышался на дюжину футов над водой, но сейчас река бурлила уже у самого края, каждую минуту отрывая и унося куски верхнего слоя почвы. Эти куски земли попадали в широко разинутые пасти бесчисленных бурых водоворотов и исчезали в них. Если вода поднимется еще на несколько дюймов, Ред Кау затопит.

— Нет, недостаточно,— с горечью возразил Аризона Джек.— На три дня продовольствия — это мало.

— А как было с Манчестером? — важно ответил Маркус О'Брайен.— Он вообще не получил никакого продовольствия.

— Ну да, и его останки нашли у Нижней реки, наполовину обглоданные собаками,— отпарировал Аризона Джек.— И, кроме того, когда он убил, то это было без всякого повода. Джо Дивс ничего худого не делал, никогда не пытался петь. Только из-за того, что у Манчестера был не в порядке желудок, он взорвался и всадил нож в Джо. Я тебе прямо заявляю, что ты несправедлив ко мне. Дайте мне продовольствия на неделю, и я попробую выиграть. А на три дня — это я наверняка загнусь.

— Ну за что ты укокошил Фергюсона? — потребовал ответа О'Брайен.— Терпения моего уже не хватает, то и дело убивают без всякого повода. Пора с этим покончить. В Ред Кау не так уж много жителей. У нас хороший лагерь, и никогда здесь не случалось убийств. А теперь просто эпидемия какая-то. Мне жаль тебя, Джек, но этот случай с тобой должен стать примером. Фергюсон не провоцировал тебя настолько, чтобы убивать его.

— Провоцировал! — фыркнул Аризона Джек.— Да ведь ты просто ничего не понимаешь, О'Брайен. У тебя нет никакого артистического чутья. Зачем Фергюсон пел «Я хотел бы стать маленькой птичкой»? Вот что я хочу знать. Ответь мне. Зачем он пел «маленькой птичкой, маленькой птичкой»? Одной птички было вполне достаточно. Одну птичку я еще мог выдержать. Я ведь дал ему возможность подумать. Я подошел к нему и совершенно вежливо и ласково попросил его выбросить одну птичку. Я умолял его. Были же свидетели, которые подтвердят это.

— А голос у Фергюсона был совсем не как у соловья,— добавил кто-то из толпы.

О'Брайен заметно заколебался.

— Разве человек не имеет права иметь музыкальный слух? — настаивал Аризона Джек.— Я ведь предупреждал Фергюсона. Его маленькие птички оскорбляли все мое существо. Тонкие ценители музыки могут убить и не за такое. Ну что ж, я готов расплачиваться за свое артистическое чувство. Я могу принять лекарство и облизать ложку, но давать продовольствия на три дня — это значит

прямым ходом отправлять меня на тот свет. Валяйте, хороните меня, чего уж там!

О'Брайен колебался. Он вопросительно посмотрел на Муклука Чарли.

— Я бы сказал, судья, что на три дня продовольствия — это несколько сурово,— высказался Муклук Чарли,— но здесь вы решаете. Когда мы избрали вас судьей, мы договорились подчиняться вашим решениям, и, видит бог, мы им подчинялись и будем подчиняться и дальше.

— Может, я действительно был слишком строг, Джек,— извиняющимся голосом начал О'Брайен,— но я не собираюсь больше терпеть этих убийств. Я согласен, чтобы продовольствия было на неделю.— Он торжественно откашлялся и быстро огляделся вокруг.— А теперь мы можем покончить с этим делом. Лодка готова. Леклер, пойди принеси продовольствие. Остальное мы решим потом.

Аризона Джек с благодарностью глянул на него и, бормоча что-то насчет «этих проклятых маленьких птичек», шагнул в лодку, бившуюся о берег. Это была довольно большая лодка, сколоченная из неотесанных сосновых досок, распиленных вручную из сосен у озера Линдерман за несколько сот миль отсюда, у подножия Чилкута. В лодке лежали пара весел и одеяла Аризоны Джека. Леклер притащил продовольствие, увязал его в мешок из-под муки и положил в лодку, шепнув:

— Я положил тебе хорошую порцию, Джек. Тебя вызвали на это.

— Отпускайте! — крикнул Аризона Джек.

Кто-то отвязал конец и бросил в лодку. Течение подхватило ее и понесло прочь. Убийца не собирался браться за весла, он сидел на корме и сворачивал себе самокрутку. Потом он зажег спичку и прикурил. Стоявшие на берегу могли видеть тонкий дымок. Они стояли на берегу до тех пор, пока лодка, обогнув излучину реки полумилей ниже, не исчезла из виду. Правосудие свершилось.

Жители Ред Кау сами устанавливали законы и приводили приговоры в исполнение без проволочек, свойственных мягкотелому цивилизованному обществу. На Юконе не было других законов, кроме тех, что они сами устанавливали для себя. Они были вынуждены это делать. Расцвет Ред Кау относился к 1887 году — к тем ранним дням, когда еще никто не предполагал, что будет открыт Клондайк и многолюдные толпы устремятся туда. Жители Ред Кау не знали даже, находится ли их лагерь в Аляске или на Северо-Западной территории и под сенью какого флага они живут — звездно-полосатого или британского. Топографы не добирались сюда, чтобы сказать, на какой широте и долготе они расположены. Ред Кау находился где-то на Юконе, и этого для них было доста-

точно. Что касается государственных флагов, то жители здесь были вне всякой юрисдикции. Что касается законов, то они жили на Ничейной земле.

Они установили свой собственный закон, и закон этот был весьма прост. Юкон исполнял их приговоры. Где-то тысячи за две миль вниз от Ред Кау Юкон впадал в Берингово море, разливаясь дельтой шириной в сотни миль. Каждая миля из этих двух тысяч представляла собой совершенно дикую страну. Правда, за Полярным кругом, там, где Поркюпайн впадал в Юкон, имелась фактория Компании Гудзонова залива. Но до нее было много сотен миль. Ходили также слухи, что на много сотен миль ниже есть миссии. Но это были только слухи, люди из Ред Кау никогда там не были. Они попадали в эту заброшенную страну через Чилкут и верховья Юкона.

Всякие мелкие преступления обитатели Ред Кау не считали за преступления. Напиваться, буянить и ругаться последними словами считалось здесь естественным и неотъемлемым правом каждого. Жители Ред Кау были ярыми индивидуалистами и почитали только две вещи — собственность и жизнь. Здесь не было женщин, которые могли бы усложнить их простую мораль. В Ред Кау было всего три хижины — большинство населения, состоявшего из сорока человек, жило в палатках или шалашах. Здесь не было тюрьмы, в которой можно было бы держать злоумышленников, а жители были слишком заняты добычей или поисками золота, чтобы потратить хоть день на строительство тюрьмы. Кроме того, первостепенной важности вопрос о продовольствии исключал возможность такой сложнейшей процедуры. Поэтому, когда человек нарушал права собственности или жизни, его швыряли в лодку и отправляли вниз по Юкону. Запас продовольствия, который он получал, зависел от тяжести содеянного им преступления. Таким образом, обычный воришка мог получить продовольствия недели на две, крупный же вор — не больше половины такого запаса. Убийца вообще не получал ничего. Человек, виновный в непредумышленном убийстве, получал продовольствие на срок от трех дней до недели. Маркус О'Брайен, избранный судьей, определял, на сколько дней давать продовольствие. Человек, нарушивший закон, знал, на что он идет. Юкон уносил его прочь, и ему или удавалось, или не удавалось добраться до Берингова моря. Запас продовольствия давал ему возможность бороться за свою жизнь. Отказ в продовольствии означал практически смертную казнь, хотя и тогда оставался ничтожный шанс на спасение — все зависело от времени года.

Избавившись от Аризоны Джека и поглазев вслед, пока он не скрылся из виду, обитатели Ред Кау покинули берег и вернулись к работе на своих участках, за исключением Кэрли Джима, кото-

рый владел единственной на всем севере колодой карт для фараона и спекулировал золотоносными участками.

В этот день произошли два крупных события. К середине дня Маркусу О'Брайену повезло. С одного лотка он намыл золотого песку на доллар, со второго — на полтора, с третьего — на два доллара. Он напал на жилу. Кэрли Джим заглянул в шурф, самолично промыл несколько лотков и предложил О'Брайену за все права на участок десять тысяч долларов — пять тысяч в золотом песке, а вместо остальных пяти тысяч — половинное участие в прибылях от фараона. О'Брайен отказался. Он с жаром заявил, что находится здесь для того, чтобы выжимать деньги из земли, а не из своих товарищей. И вообще, он не любит фараон. Кроме того, он оценивает свой участок немного больше, чем в десять тысяч.

А второе событие произошло к концу дня, когда Сискью Перли причалил на своей лодке к берегу. Он только что прибыл из цивилизованного мира и имел в своем распоряжении газету четырехмесячной давности. Кроме того, он привез полдюжины бочек виски, предназначавшихся для Кэрли Джима. Жители Ред Кау тут же побросали работу. Они опробовали виски — по доллару за порцию, отвешивая золотой песок на весах Кэрли Джима и обсуждая новости. И все было бы в порядке, если бы Кэрли Джим не замыслил подлый план, который заключался, во-первых, в том, чтобы напоить Маркуса О'Брайена, а во-вторых,— выкупить у него участок.

Первая половина плана удалась блестяще. Начали они ранним вечером, а к девяти часам О'Брайен достиг той стадии, когда горланят песни. Он обнимал Кэрли Джима за шею и дошел до того, что во всю глотку распевал ту самую песню покойного Фергюсона о маленьких птичках. Он полагал, что может распевать ее совершенно спокойно, ибо единственного в лагере человека с артистическим чутьем несло сейчас вниз по Юкону со скоростью пять миль в час.

Но вторая половина плана не сработала. Сколько бы виски ни вливалось в его глотку, О'Брайен никак не мог осознать, что его святой и дружеский долг заключается в том, что он должен продать свой участок. По правде сказать, он колебался и порой готов был согласиться. В глубине своего затуманенного сознания он посмеивался. Он понимал игру Кэрли Джима и был доволен своими картами. Виски было отличным. Его наливали из особой бочки, и оно было раз в десять лучше того, которое пили из остальных пяти.

Сискью Перли бойко продавал в баре виски остальному населению Ред Кау, в то время как О'Брайен и Кэрли за стаканчиком решали свои дела на кухне. Но у О'Брайена была широкая душа. Он пошел в бар и вернулся вместе с Муклуком Чарли и Перси Леклером.

— Мои компаньоны, мои компаньоны,— заявил он, подмигнув своим приятелям и выдав невинную улыбку в сторону Кэрли.— Я всегда прислушиваюсь к их мнению, всегда доверяюсь им. Хорошие люди! Налей им огненной водицы, Кэрли, и давай поговорим.

Компаньоны явно напрашивались на угощение, но Кэрли Джим, памятуя о заявке и о том, что с последнего лотка он намыл на семь долларов, сообразил, что дело стоит того, чтобы потратиться на лишнее виски, даже когда в соседней комнате оно идет по доллару за порцию.

— Я даже не хочу обсуждать это,— икая, объяснил О'Брайен своим друзьям существо дела.— Кто, я? Продать за десять тысяч долларов? Да никогда! Я сам буду добывать золото, а потом я поеду в эту райскую страну, в Южную Калифорнию... вот место, где я хочу провести остаток своих дней... а потом я начну... как я уже говорил, я начну... а что я говорил вам, что я начну?

— Заведешь страусовую ферму, — предложил Муклук Чарли.

— Вот именно, вот это я и собираюсь завести.— О'Брайен словно протрезвел и с благоговейным ужасом взглянул на Муклука Чарли.— А откуда ты знаешь? Я ведь никогда не говорил об этом. Я только думал сказать. Чарли, ты умеешь читать мысли. Давай еще по одной.

Кэрли Джим наполнил стаканы и имел удовольствие видеть, как виски на сумму в четыре доллара было проглочено вмиг, причем на один доллар он наказывал сам себя, потому что О'Брайен настаивал, чтобы хозяин пил наравне с гостями.

— Бери лучше деньги сейчас,— убеждал его Леклер.— Ведь у тебя уйдет два года на то, чтобы начисто выбрать эту дыру, а тем временем ты преспокойненько будешь выводить малюток-страусят и выщипывать перья из больших страусов.

О'Брайен взвесил это предложение и кивнул в знак согласия. Кэрли Джим с благодарностью глянул на Леклера и вновь наполнил стаканы.

— Нет, постойте,— пробормотал Муклук Чарли, у которого язык уже совершенно заплетался,— как твой духовный отец... я должен... как твой брат... а, черт! — Он замолк и собрался с духом.— В качестве твоего друга... я бы сказал, в качестве твоего товарища по делу, я скорее предложил бы тебе... я позволил бы себе заметить... я хочу заметить, что там может быть больше страусов... А, черт! — Он опрокинул еще один стаканчик и продолжал, более тщательно подбирая слова.— Я хочу сказать, что... А что я, собственно, хочу сказать? — Тут он несколько раз стукнул себя рукой по затылку, чтобы выколотить оттуда свою мысль.— Поймал! — торжествующе заорал он.— А вдруг в этой заявке больше, чем на десять тысяч?

Тут О'Брайен, который, судя по всему, был уже готов заключить сделку, неожиданно повернул курс.

— Правильно! — воскликнул он.— Блестящая идея! Мне она в голову не пришла.— Он нежно обнял Муклука Чарли.— Дружище! Хороший товарищ! — И он с воинственным видом обернулся к Кэрли Джиму.— Может, в этом шурфе долларов тысяч на сто. Ты ведь не захочешь обокрасть своего старого друга, Кэрли, так ведь? Конечно, не захочешь. Я тебя знаю... лучше, чем сам себя знаешь, да-да, лучше... Давай-ка выпьем еще по одной. Мы все здесь хорошие друзья, все, говорю я, все!

Так оно и шло, виски убывало, а надежды Кэрли Джима то возрастали, то падали. Снова Леклер доказывал необходимость немедленно заключать сделку и почти убедил О'Брайена, но и на этот раз его блестящие доводы натолкнулись на еще более блестящие доводы Муклука Чарли. А потом Муклук Чарли выдвигал убедительные аргументы в пользу продажи, а Перси Леклер упрямо тянул в другую сторону. Через некоторое время сам О'Брайен настаивал на продаже своего участка, а оба друга со слезами и проклятиями старались разубедить его. Чем больше виски они поглощали, тем необузданнее становилась их фантазия. Против любого трезвого довода за или против продажи они находили множество пьяных возражений, и им так легко удавалось каждый раз убедить друг друга, что они непрерывно меняли свои позиции.

Наконец наступил такой момент, когда и Муклук Чарли и Леклер оба настаивали на продаже и с легкостью разбивали любое возражение О'Брайена тут же, как только он его выдвигал. О'Брайен уже приходил в отчаяние. Он исчерпал свои последние аргументы и сидел молча. Он только умоляюще поглядывал на своих друзей, которые покинули его в трудную минуту. Он толкнул под столом Муклука Чарли, но этот ренегат немедленно выдвинул еще один, самый разумный довод в пользу продажи. Кэрли Джим принес чернила, бумагу и составил купчую. О'Брайен сидел в нерешительности с пером в руке.

— Налей-ка нам еще по одной,— попросил он.— Еще по одной, прежде чем я подпишу и откажусь от ста тысяч долларов.

Торжествующий Кэрли Джим наполнил стаканы. О'Брайен опрокинул свою порцию и придвинулся, готовясь поставить трепещущей рукой свою подпись. Он успел только посадить кляксу, как вдруг поднялся на ноги, словно его подбросила мысль, внезапно озарившая его сознание. Он стоял, покачиваясь из стороны в сторону, и в его растерянных глазах отражался мыслительный процесс, происходивший у него в голове. Наконец он пришел к выводу. Весь он засветился доброжелательностью. Он повернулся к владельцу карточной колоды, взял его за руку и торжественно произнес:

— Кэрли, ты мой друг. Вот тебе моя рука. Пожми ее. Старик, я это не сделаю. Не продам. Я не могу ограбить друга. Ни один прохвост не скажет, что Маркус О'Брайен ограбил друга, когда тот был пьян. Ты пьян, Кэрли, и я не стану грабить тебя. Я только что подумал... до сих пор мне это в голову не приходило. Не знаю, что со мной случилось, но мне это и в голову не приходило. Ты представь себе, Кэрли, ты только представь себе, а если во всем этом проклятом участке нет десяти тысяч! Ты же будешь разорен. Нет, сэр, я этого не сделаю. Маркус О'Брайен добывает деньги из земли, а не из своих друзей!

Перси Леклер и Муклук Чарли заглушили все возражения владельца фараона аплодисментами по поводу благородства друга. Они с двух сторон упали на О'Брайена, любовно обнимая его за шею; им так много хотелось сказать, что они не слышали предложения Кэрли внести в документ оговорку, что если в шурфе окажется меньше, чем на десять тысяч, то он получит разницу между продажной ценой и добычей. Чем дальше они говорили, тем более сентиментальным и благородным становился спор. Всякие корыстные соображения были отброшены прочь. Сейчас они являли собой трио филантропов, стремившихся уберечь Кэрли Джима от него самого и его филантропических побуждений. Они настаивали на том, что он филантроп. Они отказывались даже на мгновение предположить, что в мире могут иметь место хоть какие-нибудь низменные чувства. Они поднимались, карабкались и забирались в недосягаемые сферы этики или тонули в метафизическом море сентиментальности.

Кэрли Джим потел, пыхтел и вновь и вновь наливал виски. Его завалили доводами, и ни один из них не имел ничего общего с золотоносным участком, который он хотел приобрести. Чем больше они говорили, тем дальше они удалялись от золотого участка, и к двум часам ночи Кэрли Джим понял, что он потерпел поражение. Одного за другим он вывел своих беспомощных гостей через кухню и вытолкал на улицу. Последним вышел О'Брайен, и все трое, покачиваясь и уцепившись друг за друга, чтобы не упасть, смело ступили на крыльцо.

— Ты деловой парень, Кэрли,— говорил О'Брайен,— я должен сказать, что мне нравится твой стиль в делах... деликатный и благородный, твое щедрое госте... госте... гостеприимство. Это делает тебе честь. В твоих поступках нет ни тени низменного или корыстного. Я уже говорил...

Но тут владелец фараона захлопнул дверь. Все трое захохотали, стоя на крыльце. Они долго смеялись. Потом Муклук Чарли произнес речь.

— Смешно... посмеялись на славу... но я не то хотел сказать. Я хотел сказать... что же я хотел сказать? А, поймал! Чудно́, как

ускользают мысли. Мысль удирает... поймать ее... это трудное дело. Перси, друг мой, ты когда-нибудь охотился на кроликов? Была у меня собака... замечательная собака для охоты на кроликов. Как же ее звали? Не помню... никогда не запоминаю имен... забыл имя... Удрало имя... поймать ускользнувшее имя... нет, мысль... удрала мысль... но я поймаю ее... что же я хотел сказать?.. Ах, дьявол!

После этого наступило долгое молчание. О'Брайен выскользнул из их объятий и тихо заснул, сидя на крылечке. Муклук Чарли разыскивал ускользнувшую мысль по всем извилинам и закоулкам своего мозга. Леклер, словно очарованный, ждал, когда же он вновь заговорит. Вдруг приятель стукнул его по спине.

— Нашел! — громовым голосом возопил Муклук Чарли.

Встряска от удара прервала мыслительный процесс Леклера.

— Сколько с лотка? — спросил он.

— Лоток здесь ни при чем! — рассердился Муклук Чарли.— Мысль... я поймал ее... поймал плутовку... догнал ее...

На лице Леклера появилось восхищение и обожание, и он весь обратился в слух.

— Ах, дьявол! — пробормотал Муклук Чарли.

В этот момент кухонная дверь открылась и Кэрли Джим заорал:

— Убирайтесь домой!

— Смешно,— сказал Муклук Чарли,— та же идея... именно та же идея, что и у меня. Пойдем домой.

Они с двух сторон подхватили О'Брайена и тронулись в путь. Муклук Чарли во весь голос припустился за новой мыслью. Леклер с восторгом следил за погоней. Один только О'Брайен никак не мог уследить за мыслью своего друга. Он ничего не слышал, ничего не говорил и ничего не знал. Он представлял собой просто покачивающийся автомат, любовно и бережно поддерживаемый своими компаньонами.

Они шли по тропинке, которая вела по берегу Юкона. Их дома были в противоположной стороне, но идея ускользала, видимо, по этой тропинке. Муклук Чарли хихикал над идеей, но никак не мог ее поймать, чтобы высказать в назидание Леклеру. Они дошли до того места, где стояла лодка Сискью Перли. Канат, которым она была привязана, тянулся поперек тропинки к сосновому пню. Трое друзей споткнулись о канат и повалились, причем О'Брайен оказался внизу. Слабый проблеск сознания озарил его мозг. Он почувствовал на себе тяжесть тел и в тот же момент принялся, как безумный, работать кулаками. Потом он тут же опять заснул. Окрестности огласились легким храпом, Муклук Чарли вдруг захихикал.

— Новая идея,— предложил он,— колоссальная новая идея.

Только что поймал ее... без всякого труда. Шла прямо на меня, и я ухватил ее в голову. Теперь она моя. О'Брайен пьян... нализался, как скот. Позор... стыд и позор... надо его проучить. Вон лодка Перли. Положим О'Брайена в лодку Перли. Отвяжем ее... пусть плывет вниз по Юкону. О'Брайен проснется утром. Течение слишком сильное, на веслах против течения не пойдешь... придется ему пешком топать! Придет злой, как черт. Мы с тобой проявим себя как люди высоких моральных качеств. Пусть это будет ему хорошим уроком.

В лодке Сискью Перли не было ничего, кроме пары весел. Она терлась бортом о берег как раз у того места, где свалился О'Брайен. Друзья перекатили его в лодку. Муклук Чарли отвязал канат, а Леклер оттолкнул лодку на стремнину. После чего, утомленные трудами, они свалились тут же на берегу и захрапели.

На следующее утро весь поселок знал о шутке, которую сыграли с Маркусом О'Брайеном. Заключались даже крупные пари насчет того, что будет с обоими озорниками, когда вернется их жертва. После полудня выставили наблюдательный пост, чтобы узнать заранее, когда он покажется. Всем хотелось увидеть, как он будет возвращаться. Но Маркус О'Брайен не появился, хотя они ждали до полуночи. Не появился и на следующий день и через день. Ред Кау никогда больше не видел Маркуса О'Брайена, и хотя строилось множество предположений, ключ к разгадке тайны его исчезновения так никогда и не был найден.

Знал тайну один только Маркус О'Брайен, но он не вернулся, чтобы раскрыть ее. Он проснулся на следующее утро в ужасных мучениях. Желудок у него был обожжен невероятным количеством выпитого накануне виски, все внутри пересохло и горело. Голова раскалывалась на части, и, что, пожалуй, хуже всего, страшно болело лицо. В течение шести часов мириады москитов питались им, и лицо чудовищно опухло от укусов. Только невероятным напряжением воли сумел он приоткрыть узенькие щелочки, сквозь которые мог глянуть на белый свет. Он случайно пошевелил руками и почувствовал, как они болят. Скосил глаза и не узнал своих рук, настолько они распухли от укусов москитов. Он потерял себя или, вернее сказать, потерял свое обличье. Он не находил в себе ничего знакомого, такого, что помогло бы ему путем ассоциаций восстановить в сознании свое существование. Он оказался абсолютно отрезан от своего прошлого, ибо ничто в нем не напоминало о том прошлом. Кроме того, он чувствовал себя таким больным и несчастным, что у него не хватало ни сил, ни желания выяснить, кем и чем он был.

Так продолжалось до тех пор, пока он не обнаружил у себя

кривой мизинец — результат перелома, и тогда он начал догадываться, что является Маркусом О'Брайеном. В то же мгновение он стал быстро припоминать прошлое. А когда он нашел кровоподтек под ногтем на большом пальце, который он посадил на прошлой неделе, он уже не сомневался в том, кто он такой, и достоверно знал, что эти незнакомые руки принадлежат Маркусу О'Брайену, или, наоборот, что Маркус О'Брайен принадлежит этим рукам. Первая его мысль была, что он болен, что у него лихорадка. Было мучительно больно открывать глаза, и он лежал с закрытыми глазами. Проплывавшая мимо ветка стукнула по борту лодки. Он решил, что кто-то стучит в дверь хижины, и сказал: «Войдите». Подождав немного, он раздраженно сказал: «Тогда оставайтесь там, черт вас побери». Но все-таки ему хотелось, чтобы они вошли и сказали ему, чем он болен.

Пока он так лежал, в мозгу у него начали восстанавливаться события прошлой ночи. Ему пришла в голову мысль, что он вовсе не болен, а просто напился и что пора вставать и приниматься за дело. Дело было связано с представлением о шурфе, и он вспомнил, что отказался продать свой участок за десять тысяч долларов. Он резко приподнялся, сел и через силу открыл глаза. Он увидел, что находится в лодке посреди бурного и вздувшегося Юкона. Поросшие хвойным лесом берега и острова были незнакомы ему. Некоторое время он сидел, совершенно ошеломленный. Он не мог ничего понять. Он помнил вчерашнюю выпивку, но между ней и его нынешним положением не находил никакой связи.

Он сомкнул глаза и уронил ноющую голову на руки. Что же произошло? Постепенно в голову ему закралась страшная мысль. Он сопротивлялся ей, старался отогнать ее прочь, но она настойчиво возвращалась: он кого-то убил. Только этим можно было объяснить, почему он находился в лодке, которую несет вниз по Юкону. Закон Ред Кау, который он так долго применял в отношении других, теперь был применен к нему. Он кого-то убил, и его отправили вниз по течению. Но кого? Он напрягал память, но единственное, что всплыло в его затуманенном мозгу, было воспоминание о телах, навалившихся на него, и о том, как он отбивался, выбираясь из-под них. Но кто это был? Быть может, он убил не одного, а нескольких. Он потянулся к поясу. Ножа там не оказалось. Сомнений не оставалось, он прикончил кого-то ножом. Но должны же были быть какие-то причины для убийства. Он открыл глаза и в панике начал осматривать лодку. Продовольствия в ней не было, ни одной унции продовольствия. Он опустился на дно лодки со стоном. Это значило, что он убил кого-то без всякого повода. К нему применили закон во всей его строгости.

С полчаса сидел он неподвижно, держась руками за разламывающуюся от боли голову и пытаясь сообразить что-нибудь. Затем

он успокоил свой желудок глотком воды из-за борта и почувствовал себя лучше. Он поднялся на ноги, и, стоя в лодке посреди широко разлившегося Юкона, где некому было услышать его, кроме первобытной дикой природы, проклял алкогольные напитки. Потом он прицепился к проплывавшей мимо большой сосне, которую течение несло быстрее, потому что она глубже сидела в воде. Он вымыл лицо и руки, уселся на корме и принялся размышлять. Был конец июня. Расстояние до Берингова моря составляло две тысячи миль. Лодка делала в среднем пять миль в час. В это время года здесь, на этих высоких широтах, было светло круглые сутки, и он мог плыть все двадцать четыре часа. Таким образом, за сутки он будет делать сто двадцать миль. Отбросим двадцать миль на всякие задержки, остается сто миль в сутки. За двадцать дней он доплывет до Берингова моря. И ему не потребуется тратить никакой энергии, работать за него будет река. Он может лежать на дне лодки и беречь силы.

В течение двух дней он ничего не ел. Потом он причалил к одному из пологих островков и набрал яиц диких гусей и уток. Спичек не было, и он яйца ел сырыми. Они были довольно питательны и поддерживали в нем силы. Когда он пересек Полярный круг, он натолкнулся на факторию Компании Гудзонова залива. Отряд еще не прибыл из Маккензи, и в фактории не оказалось ни крошки продовольствия. Ему предложили яйца диких уток, но он в ответ сообщил, что у него в лодке имеется целый бушель такой еды. Предложили выпить виски, но он отказался, и на лице его выразилось неподдельное отвращение. Однако он достал спички и теперь мог варить яйца. В низовьях реки встречные ветры задержали его, и он пробыл на яичной диете двадцать четыре дня. К несчастью, он оба раза спал, когда проплывал мимо миссий Святого Павла и Святого Креста. Поэтому он мог со всей искренностью уверять и уверял впоследствии, что все разговоры о миссиях на Юконе — пустые слухи. Никаких миссий там нет, уж он-то это точно знает.

Попав в Берингово море, он получил возможность сменить яичную диету на тюленью и никак не мог решить, которая же из них хуже. К концу года его подобрал таможенный катер Соединенных Штатов, и на следующую зиму он завоевал своими лекциями в Сан-Франциско репутацию рьяного поборника трезвенности. На этом поприще он обрел свое призвание. «Избегайте бутылки» — таков его лозунг и боевой клич. Он намекает, что в его собственной жизни бутылка послужила причиной ужасной катастрофы. Он даже упоминает о потере состояния из-за этой приманки дьявола, но слушатели чувствуют, что за рассказом об этом случае кроется какое-то ужасное и загадочное злодеяние, причиной которого послужила бутылка. Он делает большие успехи на этом

поприще, поседел в крестовом походе против крепких напитков и заслужил всеобщее уважение. Но на Юконе исчезновение Маркуса О'Брайена так и осталось легендой. Это тайна, которая стоит в одном ряду с исчезновением сэра Джона Франклина.

1908

ЗОЛОТАЯ ЗОРЬКА

Лон Мак-Фейн был несколько раздражен из-за того, что потерял свой кисет, иначе он рассказал бы мне хоть что-нибудь о хижине у Нежданного озера до того, как мы добрались туда. Весь день напролет, вновь и вновь сменяя друг друга, шли мы впереди нарт, утаптывая в снегу тропинку для собак. Это тяжелая работа — утаптывать снег, и она не располагает к болтливости, но все-таки в полдень, когда мы сделали остановку, чтобы сварить кофе, Лон Мак-Фейн мог бы перевести дух и кое-что рассказать мне. Однако он этого не сделал. Нежданное озеро? Для меня это оказалась Нежданная хижина. Я ничего до тех пор о ней не слышал. Признаться, я немного устал. Я все ждал, когда Лон устроит привал на часок, но я был слишком горд, чтобы самому предложить передохнуть или спросить, что он намеревается делать, хотя, между прочим, он служил у меня и я платил ему немалые деньги за то, чтобы он погонял моих собак и выполнял мои приказания. Пожалуй, я и сам был немного раздражен. Он ничего не говорил, а я решил ничего не спрашивать у него, даже если придется идти всю ночь.

Мы наткнулись на хижину совершенно неожиданно для меня. За неделю нашего путешествия мы не встретили ни одной живой души, и что касается меня, то я полагал, что у нас весьма мало шансов встретить кого-нибудь и в предстоящую неделю. И вдруг прямо перед носом оказалась хижина, в окошке пробивается слабый свет, а из трубы вьется дымок.

— Почему же вы мне не сказали?..— начал я, но Лон прервал меня, проворчав:

— Нежданное озеро... Оно в полумиле отсюда, за небольшой речкой. Это всего-навсего пруд.

— Но эта хижина... кто в ней живет?

— Женщина,— услышал я в ответ.

В ту же минуту Лон постучал в дверь, и женский голос пригласил его войти.

— Вы не встречали за последнее время Дэйва? — спросила она.

— Нет,— небрежно отозвался Лон,— я был в других краях, за Серклом. А Дэйв ведь ушел вверх, к Доусону?

Женщина кивнула, и Лон принялся распрягать собак, а я развязал нарты и перенес спальные мешки в хижину. Хижина представляла собой одну большую комнату, и женщина была здесь одна. Она показала на печку, где кипела вода, и Лон занялся приготовлением ужина, а я открыл мешок с сушеной рыбой и стал кормить собак. Я ожидал, что Лон представит меня хозяйке, и был раздосадован, что он этого не делает,— ведь совершенно очевидно, что они были старыми друзьями.

— Вы ведь Лон Мак-Фейн? — услышал я ее вопрос.— Я припоминаю вас. Последний раз я, кажется, видела вас на пароходе. Я помню...

Она внезапно запнулась, словно увидела нечто ужаснувшее ее. Я понял это по тому страху, который мелькнул у нее в глазах. К моему удивлению, слова и поведение женщины сильно взволновали Лона. На лице у него появилось отчаяние, но голос прозвучал очень сердечно и мягко.

— Последний раз мы с вами виделись в Доусоне, когда отмечался не то юбилей бракосочетания королевы, не то день ее рождения. Разве вы не помните: на реке устраивались гонки каноэ и были еще гонки на собаках с препятствиями по главной улице?

Ужас исчез из ее глаз, и вся она словно обмякла.

— Ах да, теперь я припоминаю,— сказала она.— И вы выиграли один заплыв.

— Как дела у Дэйва за последнее время? Наверное, напал на новую жилу? — спросил Лон без всякой связи.

Женщина улыбнулась и кивнула, потом, заметив, что я развязал спальный мешок, показала в дальний конец комнаты, где я мог разложить его. Ее собственная койка, я заметил, находилась в другом углу.

— Когда я услышала лай собак, я подумала, что это Дэйв приехал,— сказала она.

Больше она не сказала ни слова и только смотрела, как Лон готовит ужин, и словно прислушивалась, не раздастся ли на тропе лай. Я растянулся на одеялах, курил и ждал. Здесь была какая-то тайна, это я сообразил, но больше ничего не мог понять. Какого черта Лон ничего мне не намекнул до того, как мы приехали? Она не видела, что я разглядываю ее, а я смотрел на ее лицо, и чем дольше я смотрел, тем труднее было отвести глаза. Это было необыкновенно красивое лицо. Я бы сказал, в нем было что-то неземное, оно озарялось каким-то светом, особенным выражением или чем-то, чего «не встретишь ни на суше, ни на море». Страх и ужас совершенно исчезли, и сейчас оно было безмятежно и прекрасно, если словом «безмятежность» можно охарактеризовать то

неуловимое и таинственное, что не назовешь ни сиянием, ни озаренностью, ни выражением.

Неожиданно она повернулась, словно впервые заметив мое присутствие.

— Вы видели последнее время Дэйва? — спросила она.

У меня с языка уж готов был сорваться вопрос: «А кто такой Дэйв?» — как вдруг Лон, окутанный дымом от жарящегося сала, кашлянул. Может быть, он закашлялся от дыма, но я воспринял это как намек и проглотил свой вопрос.

— Нет, не видел,— ответил я,— я новый человек в этих краях...

— Вы на самом деле не слышали о Дэйве, о Большом Дэйве Уолше? — прервала она меня.

— Видите ли,— сказал я извиняющимся тоном,— я новичок в этих краях. И жил я большей частью в Низовьях, поближе к Ному.

— Расскажите ему про Дэйва,— обратилась она к Лону.

Лона эта просьба, видимо, вывела из себя, но он принялся рассказывать с той же сердечной и мягкой интонацией, которую я заметил и раньше. Она показалась мне чересчур сердечной и мягкой, и это меня раздражало.

— О, Дэйв — это замечательный парень,— рассказывал Лон.— Настоящий мужчина с ног до головы, а росту в нем шесть футов и четыре дюйма — без башмаков. Слово его нерушимо, что долговое обязательство. И если кто-нибудь попробует утверждать, что Дэйв хоть раз солгал, то он сам лжец. И этому человеку придется иметь дело со мной, конечно, если от него хоть что-нибудь останется после того, как с ним разделается сам Дэйв. Потому что Дейв — это боец. Да, да, он боец, каких теперь не встретишь! Он добыл гризли с хлопушкой тридцать восьмого калибра. Тот его, правда, немного порвал, но Дэйв знал, на что идет. Он нарочно полез в пещеру, чтобы выкурить оттуда этого гризли. Он ничего не боится. С деньгами он не жмется, а если у него нет денег, так готов поделиться последней рубашкой, последней спичкой. Разве он за три недели не осушил Нежданное озеро и не выкачал из него золота на девяносто тысяч?

Женщина вспыхнула от гордости и закивала. Она с глубочайшим интересом следила за каждым словом рассказчика.

— И должен еще сказать,— продолжал Лон,— что я очень огорчен, что не встретил здесь сегодня Дэйва.

Лон поставил ужин на стол из струганых еловых досок, и мы принялись за еду. Женщина услышала лай собак, пошла к двери и, приоткрыв ее, стала прислушиваться.

— А где Дэйв Уолш? — тихо спросил я.

— Умер,— ответил Лон.— Может быть, в аду. Я не знаю. Заткнитесь.

— Но вы ведь только что сказали, что надеялись встретить его здесь сегодня? — настаивал я.

— Да заткнитесь вы наконец,— так же тихо отозвался Лон.

Женщина прикрыла дверь и вернулась, а я сидел и размышлял над тем, что человек, только что предложивший мне заткнуться, получает у меня жалованья двести пятьдесят долларов в месяц да еще питание.

Лон взялся мыть посуду, а я курил и наблюдал за женщиной. Она казалась еще обворожительнее, хотя красота ее была удивительной и необычной. Я не отрываясь, в течение пяти минут смотрел на нее и лишь потом заставил себя вернуться в мир реального и взглянуть на Лона Мак-Фейна. Это дало мне возможность бесспорно сознать тот факт, что женщина тоже существо реальное. Сначала я принял ее за жену Дэйва Уолша, но если, как сказал Лон, Дэйв Уолш умер, то она могла быть только его вдовой.

Мы рано улеглись спать, ибо наутро нам предстоял трудный день. Как только Лон заполз под одеяла рядом со мной, я отважился задать ему вопрос.

— Это женщина помешанная?

— Она вроде лунатика,— ответил он.

И прежде чем я успел сформулировать следующий вопрос, Лон Мак-Фейн, могу в том поклясться, уже спал. Он всегда засыпал таким образом: заберется под одеяло, закроет глаза — и готов, только легкий пар от дыхания виден. Лон никогда не храпел.

Утром мы на скорую руку позавтракали, накормили собак, нагрузили опять нарты и двинулись в путь. Мы попрощались с женщиной, она долго стояла в дверях, провожая нас взглядом. Я унес с собой образ этой неземной красоты; он словно запечатлелся в моих глазах, и для того, чтобы увидеть ее, мне стоило только опустить веки. Нежданное озеро лежало вдалеке от обычных дорог, и тропа здесь была не протоптана. Лон и я по очереди уминали нашими широкими плетеными лыжами пушистый снег, чтобы собаки не проваливались. Множество раз у меня на языке вертелся вопрос: «Но ведь вы сказали, что думали встретить Дэйва Уолша в хижине?» Я удержался. Я решил подождать, пока мы сделаем привал в середине дня. Но когда наступила середина дня, мы продолжали идти, потому что, как объяснил Лон, у соединения Тили с другой речкой находится лагерь охотников за лосями и мы можем добраться туда засветло. Однако добраться туда до темноты нам не удалось, так как наш вожак Брайт сломал себе лопатку и мы, провозившись с ним целый час, вынуждены были пристрелить беднягу. Потом, когда мы пробирались через завал бревен на замерзшей Тили, опрокинулись нарты, и пришлось уст-

раивать стоянку и чинить полозья. Я приготовил ужин и накормил собак, пока Лон занимался починкой, а потом мы вместе отправились собрать дров и льда на ночь. После этого мы уселись на своих одеялах, наши мокасины сушились на веточках перед огнем, и закурили.

— Вы не знали ее? — неожиданно спросил Лон.

Я отрицательно покачал головой.

— Вы обратили внимание на цвет ее волос и глаз, на ее фигуру? Так вот отсюда она и получила свое имя. Она вся была, как первая теплая зорька золотого восхода. Ее так и прозвали — Золотой Зорькой. Неужели вы никогда не слышали о ней?

Где-то в глубине памяти у меня было смутное и неясное ощущение, что я когда-то слышал это имя, и все же оно ничего не говорило мне.

— Золотая Зорька? — повторил я.— Это похоже на имя какой-нибудь танцовщицы.

Лон покачал головой.

— Нет, она была порядочной женщиной, во всяком случае, в том смысле, хотя и совершила ужасный грех.

— Но почему вы говорите о ней в прошедшем времени, как будто она умерла?

— Потому что ее сознание покрыто мраком, а это все равно, как мрак смерти. Золотая Зорька, которую я знал, которую знал Доусон, а еще раньше — Сороковая Миля, умерла. Молчаливое, рехнувшееся существо, которое мы вчера видели, не Золотая Зорька.

— А Дэйв? — спросил я.

— Он построил эту хижину,— ответил Лон.— Он построил эту хижину для нее... и для себя. Он умер. А она ждет его. Она наполовину уверена, что он жив. Кто может понять капризы безумного ума? А может, она и вполне уверена, что он не умер. Во всяком случае, она ждет его там, в хижине, которую он построил. Зачем тревожить мертвых? И кто станет будить живого, который, по существу, умер? Мне это, во всяком случае, ни к чему, и поэтому я сделал вид, будто думал встретить Дэйва Уолша вчера вечером. Держу пари, что я удивился бы гораздо больше, чем она, если бы действительно встретил его.

— Я ничего не понимаю,— сказал я.— Расскажите мне всю историю с самого начала, как подобает белому человеку.

И Лон начал рассказывать.

— Был такой старик француз, Виктор Шове, родился он на юге Франции. В Калифорнию он приехал в дни золотой лихорадки. Был из пионеров. Золота он не нашел, но вместо этого стал вырабатывать золото в бутылках, короче говоря, он стал разводить виноград и делать вино. Он шел за золотоискателями. Поэто-

му он перевалил через Чилкут и отправился вниз по Юкону на Аляску задолго до находки Кармака. Участок, где стоит старый поселок Десятой Мили, был открыт Шове. Он привез первую почту в Арктик-сити. Он сделал заявку на угольные копи в Поркюпайне лет двенадцать назад. Он открыл прииск Лофтус в стране Ниппеннука. Надо сказать, что Виктор Шове был ревностным католиком, который любил в жизни две вещи — вино и женщину. Вино он любил всех сортов, а женщину только одну, и это была мать Мари Шове.

Тут я громко вздохнул, теряя самообладание при мысли, что плачу этому человеку двести пятьдесят долларов в месяц.

— В чем дело? — спросил Лон.

— В чем дело, в чем дело? — недовольно проворчал я.— Я думал, вы расскажете мне историю Золотой Зорьки. Мне не нужно жизнеописание вашего старого пьяницы-француза!

Лон спокойно раскурил трубку, глубоко затянулся и отложил ее.

— А вы ведь просили меня начинать с самого начала,— сказал он.

— Да,— подтвердил я,— с самого начала.

— А начало истории Золотой Зорьки и есть старый пьяница-француз, потому что он отец Мари Шове, а Мари Шове — Золотая Зорька. Что вы еще хотите? Виктору Шове никогда по-настоящему не везло. Он кое-как сводил концы с концами и воспитывал Мари, которая напоминала ему единственную и любимую им женщину. Он души в ней не чаял. Он-то и прозвал ее ласково Золотой Зорькой. Ручей Золотой Зорьки назван в ее честь, и поселок Золотая Зорька тоже. Старик был великим мастером находить места для поселков, только он никогда не заселял их.

— А теперь скажите честно,— продолжал Лон, по своему обыкновению неожиданно меняя тон,— вы вот видели ее, что вы о ней думаете, о ее внешности, я имею в виду? Как она с точки зрения вашего чувства прекрасного?

— Она удивительно прекрасна,— отвечал я.— Никогда в жизни не видел ничего подобного. Вчера вечером, хотя я и предполагал, что она сумасшедшая, я не мог отвести от нее глаз. И это было не любопытство. Это было изумление, абсолютное изумление, она так необычайно красива.

— Она была еще красивее до того, как мрак завладел ее сознанием,— мягко сказал Лон.— Она воистину была Золотой Зорькой. Она разбивала сердца мужчин и кружила им головы. Она едва вспомнила, что однажды я выиграл гонку на каноэ в Доусоне, а ведь я любил ее и она говорила мне, что любит меня. Ее красота покоряла всех мужчин. Парис наверняка присудил бы ей яблоко Эриды, и никакой Троянской войны не было бы, а она ко всему

бросила бы Париса. А теперь эта женщина живет во мраке. Та, которая всегда была само непостоянство, впервые хранит верность — верность тени, мертвецу, человеку, в чью смерть она не верит.

Вот как это все случилось. Вы помните, что я вчера рассказывал о Дэйве Уолше, о Большом Дэйве Уолше? Он был именно таким, как я говорил, и еще во много раз лучше. Он приехал в эти края в конце восьмидесятых годов, для вас он пионер. Ему тогда было двадцать лет. Он был здоров и смел, как бык. Когда ему исполнилось двадцать пять, он мог поднять тринадцать пятидесятифунтовых мешков с мукой. Поначалу голод гнал его отсюда каждый раз на исходе года. В те времена это была пустынная страна. Ни речных пароходов, ни продовольствия, ничего, кроме лососей и кроличьих следов на снегу. Но после того, как голод трижды выгонял его, он заявил, что с него хватит, и на следующий год остался. Дэйв питался одним мясом, когда выпадало счастье на охоте. В ту зиму он съел одиннадцать собак, но не уехал. Остался он и на следующую зиму и еще на одну. С тех пор он не уезжал отсюда. Здоров он был, как бык. Он мог работать так, что самые сильные мужчины в стране валились с ног. Он мог тащить на себе больше груза, чем любой чилкутский индеец, умел работать веслами лучше любого индейца стика, мог находиться в пути целый день с промокшими ногами, когда термометр показывал пятьдесят ниже нуля, а это, должен вам сказать, кое о чем говорит. Вы отморозите себе ноги при двадцати пяти ниже нуля, если промочите их и не переобуетесь.

Дэйв Уолш был силен, как бык. И при этом он был мягким и простодушным человеком. Любой мог надуть его, последний прохвост в лагере мог вытянуть из него последний доллар. «Это меня не огорчает,— смеялся Дэйв, когда ему говорили, что он рохля,— от этого я не просыпаюсь по ночам». Только не подумайте, что у него не было характера. Помните, я рассказывал, как он полез на медведя с каким-то паршивым ружьишком? Когда дело доходило до схватки, Дэйв бывал неукротим. Остановить его, когда он вступал в бой, было невозможно. Со слабыми он бывал мягок и добр, но сильный должен был уступать ему дорогу. Словом, он был таким мужчиной, которых любят мужчины, а это наивысшая похвала.

Дэйв не ринулся за всеми к Доусону, когда Кармак наткнулся на жилу в Бонанзе. Дэйв в ту пору промышлял на Маммон-Крике. Там он открыл золотые россыпи. В ту зиму он намыл золота на восемьдесят четыре тысячи и застолбил участок, который обещал на следующую зиму дать пару сот тысяч. А когда пришло лето и почва раскисла, он отправился вверх по Юкону, в Доусон, чтобы посмотреть, что представляет собой участок Кармака.

Там-то он и увидел Золотую Зорьку. Я помню эту ночь. Я ее никогда не забуду. Это произошло совершенно неожиданно. Страшно подумать, что такой могучий человек стал совершенно беспомощным при одном ласковом взгляде слабой белокурой женщины, какой была Золотая Зорька. Это произошло в хижине ее отца, старого Виктора Шове. Какой-то приятель затащил туда Дэйва, чтобы потолковать о расположении поселков на Маммон-Крике. Однако Дэйв говорил нехотя и маловразумительно. Я вам говорю, один вид Золотой Зорьки совершенно лишил Дэйва разума. Старик Виктор Шове уверял после ухода Дэйва, что тот был пьян. А он и вправду был пьян. Но крепким напитком, вскружившим ему голову, была Золотая Зорька.

Это решило дело, тот первый взгляд, который он бросил на нее. Дэйв не отправился через неделю вниз по Юкону, как собирался. Он задержался на месяц, на два месяца, на все лето. А мы, пострадавшие от ее чар, все понимали и гадали, чем же это кончится. Мы не сомневались, что Золотая Зорька обрела наконец своего господина. А почему бы и нет? О Дэйве Уолше ходили легенды. Он был король Маммон-Крика, человек, открывший золотые россыпи Маммон-Крика, старатель старой закваски, один из пионеров в этих краях. Мужчины оборачивались, когда он проходил, и почтительно шептали: «Это Дэйв Уолш». Почему бы и нет? В нем было шесть футов и четыре дюйма роста, белокурые волосы спадали ему на плечи, и он был великолепным белокурым гигантом, которому только что пошел тридцать первый год.

Дэйв пришелся по сердцу Золотой Зорьке, она танцевала с ним на вечеринках, и к концу лета стало известно об их помолвке. Настала осень, и Дэйв должен был возвращаться, чтобы вести зимние работы на Маммон-Крике, но Золотая Зорька захотела повременить со свадьбой. Дэйв послал Даски Бэрнса заниматься разработкой россыпей на Маммон-Крике и сам остался в Доусоне. Толку от этого было мало. Ей взбрело в голову еще на некоторое время сохранить свою свободу, и она решила отложить замужество до следующего года. В результате Дэйв отправился по первому льду со своей упряжкой вниз по Юкону в уверенности, что свадьба состоится, когда на следующий год он вернется с первым пароходом.

Дэйв был постоянен, как Полярная звезда, а она переменчива, как магнитная стрелка подле железного груза. Дэйв был настолько же устойчив и верен, насколько она была непостоянна и ветрена, и вот он, который всем верил, стал сомневаться в ней. Может быть, это была ревность, а может, он что-то предчувствовал, но только Дэйв боялся ее непостоянства. Он опасался, что она не будет ему верна до будущего года, боялся доверять ей и был вне себя. Кое-что я узнал потом от старого Виктора Шове и, со-

поставив все сведения, понял, что перед тем, как Дэйв тронулся на север со своими собаками, там произошла какая-то сцена. Стоя рядом с Золотой Зорькой, Дэйв заявил старому французу, что они принадлежат друг другу. Старик Виктор говорил, что вид у Дэйва был весьма драматический, глаза сверкали. Он говорил что-то вроде того, что «разлучит их только смерть», и особенно запомнилось Виктору, как Дэйв, схватив Мари своей огромной лапищей за плечо, притянул ее к себе так, что она чуть не упала, и сказал: «Даже после смерти ты будешь принадлежать мне, и я приду за тобой из могилы». Старик отчетливо запомнил эти слова: «Даже после смерти ты будешь принадлежать мне, и я приду за тобой из могилы». Он говорил мне потом, что Золотая Зорька была ужасно испугана и что он после этого отвел Дэйва в сторонку и сказал ему, что таким путем нельзя завоевать Золотую Зорьку, что если он хочет удержать ее, то должен приноравливаться к ней и быть помягче.

Я ничуть не сомневаюсь, что Золотая Зорька была перепугана. Она жестоко обращалась с мужчинами, а мужчины носились с ней, считали ее существом мягким, нежным, которое уж никоим образом нельзя обидеть. Она не знала, что такое грубость, пока Дэйв Уолш, этот здоровяк шести с лишним футов ростом, не схватил ее своей ручищей и не поклялся, что она будет принадлежать ему до самой смерти и даже после. Между тем в ту зиму в Доусоне был музыкант-итальяшка, один из этих макаронников со слащавым голосишком, и Золотая Зорька влюбилась в него. Может быть, она только воображала, что влюбилась, я уж не знаю. Иногда мне кажется, что в действительности-то она любила Дэйва Уолша. Быть может, так случилось потому, что Дэйв перепугал ее, заявив, что она принадлежит ему до самой смерти и что он придет за ней из могилы, но как бы там ни было, она в результате подарила свою благосклонность тому итальяшке-музыканту. Впрочем, все это были догадки, а нам известны факты. Он был вовсе не итальянец, а русский граф. Это точно, и никаким профессиональным пианистом не был. Да, он играл на скрипке, на пианино, пел, пел хорошо, но только ради собственного удовольствия и ради того, чтобы доставить удовольствие другим. Кроме того, у него водились деньжата, но здесь я должен оговориться, что Золотая Зорька не гналась за деньгами. Она была непостоянна, это верно, но не корыстолюбива.

Но слушайте дальше. Она была обручена с Дэйвом, и Дэйв должен был приехать с первым рейсом, чтобы жениться на ней. Это было летом девяносто восьмого года, и первый пароход ожидали в середине июня. А Золотая Зорька боялась порвать с Дэйвом и после этого встретиться с ним. Вот тут-то она и задумала одну штуку. Русский музыкант, граф, был ее послушным рабом.

Так что это она все придумала, я знаю. Потом я все выяснил у старого Виктора. Граф, выполняя ее распоряжения, взял билеты на первый пароход, идущий вниз по реке. Это была «Золотая ракета». На этот же пароход села и Золотая Зорька. Там же оказался и я. Я направлялся в Серкл-сити и был совершенно поражен, когда на борту встретил Золотую Зорьку. В списке пассажиров я не видел ее фамилии. Она все время была вместе с графом, счастливая и веселая, и я узнал, что в списке пассажиров граф значится с женой. Там был указан номер каюты и все такое прочее. Тогда я впервые узнал, что он женат, только я не видел никакой жены... если не считать таковой Золотую Зорьку. Я подумал, что, может быть, они успели пожениться до того, как отправились путешествовать. Понимаете, в Доусоне о них ходили разные слухи, кое-кто даже держал пари, что граф-таки отбил ее у Дэйва.

Я поговорил с пароходным экономом. Однако он знал не больше моего, он вообще ничего не слышал о Золотой Зорьке и был до смерти замучен своими обязанностями. Вы ведь знаете, что такое юконские пароходы, но вы и представить не можете, что творилось на «Золотой ракете», когда она вышла из Доусона в июне 1898 года. Чистый улей! Поскольку это был первый рейс, то на пароход собрали всех цинготных больных и покалеченных из больницы. Кроме того, на нем везли миллиона на два клондайского золотого песку и самородков, не говоря уже о пассажирах, набившихся в каютах, как сельди в бочке, о невероятном количестве палубных пассажиров, о бесчисленных индейцах со своими скво и собаками. А трюмы были загромождены товарами и багажом. Горы багажа высились и на нижней палубе, и с каждой остановкой на пути парохода эти горы росли. Я видел, как на перекате Тили на борт погрузили ящик, и догадался, для чего он, хотя меньше всего я мог предполагать, что за сюрприз скрыт там. Ящик затолкали на самый верх багажа на нижней палубе и даже не привязали как следует. Помощник капитана собирался заняться им потом, но запамятовал. Мне тогда еще чудилось что-то знакомое в большой эскимосской собаке, которая вскарабкалась наверх и улеглась рядом с ящиком. Вскоре мы встретили «Гленделль», который шел вверх к Доусону. Когда «Гленделль» приветствовал нас гудком, я подумал о Дэйве, который спешит на нем в Доусон к Золотой Зорьке. Я обернулся и посмотрел на нее. Она стояла у борта. Глаза ее блестели, но при виде того парохода она, видимо, слегка испугалась и прижалась к графу, словно прося защитить ее. Ей незачем было так прижиматься к нему, а мне не следовало с такой уверенностью думать о том разочаровании, которое постигнет Дэйва, когда он приедет в Доусон. Дело в том, что Дэйва Уолша на «Гленделле» не было. Я не знал тогда много,

что мне предстояло узнать впоследствии. Не знал, например, что эти двое вовсе не были женаты. Не прошло, однако, и получаса, как начались приготовления для бракосочетания. В центральной каюте лежали больные, и при перенаселенности «Золотой ракеты» единственным подходящим местом для этой церемонии оказалась передняя часть нижней палубы, где было свободное место, а рядом возвышалась гора багажа, на самой верхушке которой находились тот большой ящик и рядом спящая собака. На борту парохода нашелся миссионер, направлявшийся в Игл, а так как до Игла оставался один перегон, то надо было торопиться. Вот, оказывается, что они задумали — обвенчаться на пароходе!

Однако я забегаю вперед. Дэйв Уолш не был на борту «Глендейля» по той простой причине, что он находился на «Золотой ракете». Вот как это произошло. Задержавшись в Доусоне из-за Золотой Зорьки, Дэйв по льду отправился на Маммон-Крик. Там он обнаружил, что Даски Бэрнс так отлично справляется с делом, что ему самому нет никакой необходимости торчать на прииске. Тогда он нагрузил нарты продовольствием, запряг собак, взял с собой индейца и двинулся к Нежданному озеру. Его всегда привлекали те места. Вы, наверное, не знаете, что ручей оказался пустышкой, но тогда думали, что за ним большое будущее, и Дэйв решил построить там хижину для себя и для Золотой Зорьки. Это та самая хижина, в которой мы с вами ночевали. Закончив хижину, Дэйв с индейцем отправился к развилине Тили охотиться на лосей.

И вот что случилось. Ударил трескучий мороз. Ртуть в термометре упала до сорока ниже нуля, потом до пятидесяти, потом до шестидесяти. Как сейчас помню этот мороз — я был тогда на Сороковой Миле,— даже день запомнился. К одиннадцати часам утра термометр на лавке Компании Н. А. Т. и Т. показывал семьдесят пять ниже нуля. В это утро Дэйв вместе с индейцем — будь он проклят — охотился за лосем у развилки Тили. Я узнал все это потом от этого индейца, нам случилось вместе путешествовать по льду до Дайи. Так вот в то утро этот господин индеец провалился сквозь лед и промок по пояс. Конечно, он сразу начал замерзать. По-настоящему надо было тут же развести костер. Но ведь Дэйв Уолш был упрям. До стоянки, где полыхал костер, оставалось всего полмили. Так зачем было раскладывать новый костер? Он взвалил господина индейца на спину и бежал полмили, когда термометр показывал семьдесят пять ниже нуля. Вы знаете, что это означает. Самоубийство — вот что! Иначе не назовешь. Паршивый индеец весил больше двухсот фунтов, и Дэйв бежал с ним полмили. Естественно, что он застудил себе легкие. Они, наверное, просто смерзлись в ледышку. Это была непростительная глупость. Во всяком случае, провалявшись несколько недель, Дэйв Уолш умер.

Индеец понятия не имел, как ему поступить. Если бы он имел дело с обычным человеком, он бы его просто закопал, и все тут. Но индеец знал, что Дэйв Уолш большой человек, у него много денег, важная фигура среди белых людей. Ему уже не раз приходилось видеть, как везли через всю страну трупы умерших белых людей, как будто они представляли какую-то ценность. Вот он и решил привезти труп Дэйва на Сороковую Милю, где была главная стоянка Дэйва. Знаете, как здесь промерзает дерн? Так вот индеец накрыл тело Дэйва слоем земли толщиной в фут, иначе говоря, положил его в лед. Дэйв мог оставаться там тысячу лет и ни капельки не измениться. Это все равно что холодильник. Потом этот индеец притащил из хижины на Нежданном озере пилу и напилил досок. Ожидая оттепели, он продолжал охотиться и добыл десять тысяч фунтов лосиного мяса, которое он тоже положил на лед. Началась оттепель, Тили вскрылся. Тогда он сколотил плот, погрузил мороженое мясо, ящик с телом Дэйва, упряжку собак, принадлежавшую Дэйву, и поплыл вниз по Тили.

Плот застрял у завала леса и сидел там двое суток. Началась жара, и у господина индейца чуть не пропало все его мясо. Так что, когда он добрался до переката Тили, он сообразил, что на пароходе он попадет на Сороковую Милю быстрее, чем на своем плоту. Он погрузил все имущество на пароход. Так вот оно получилось: на нижней палубе «Золотой ракеты» Золотая Зорька собирается венчаться, а на нее падает тень от большого ящика с телом Дэйва Уолша. Еще одну штуку я забыл вам рассказать. Ничего удивительного, что эскимосская собака, которую погрузили на борт у переката Тили, показалась мне знакомой. Это был Пилат, вожак в упряжке Дэйва и его любимец, к тому же отчаянный драчун. Он лежал рядом с ящиком.

Золотая Зорька, заметив меня, подозвала к себе, поздоровалась и представила меня графу. Она была восхитительна. Я был так же без ума от нее, как и прежде. Она улыбнулась мне и сказала, что я должен расписаться в качестве одного из свидетелей. Отказать ей было невозможно. Она всегда оставалась ребенком, жестоким ребенком, как все дети. Кроме того, она тут же сообщила мне, что является счастливой обладательницей двух бутылок шампанского — единственных в Доусоне, вернее, тех, которые были в Доусоне накануне вечером; и не успел я оглянуться, как уже был включен в число тех, кто должен был выпить за здоровье новобрачных. Все пассажиры столпились вокруг, во главе с капитаном парохода, который все старался пролезть вперед, верно, ради вина. Странная это была свадьба. На верхней палубе столпились больные, стоящие одной ногой, а кто и двумя, в могиле, и глазели вниз. Вокруг сгрудились индейцы — мужчины, женщины, дети,— не говоря уже о рычащих собаках, которых тут насчитывалось

штук двадцать пять. Миссионер попросил обоих бракосочетающихся стать рядом и начал церемонию. И как раз в этот момент наверху, на груде багажа, началась драка между Пилатом, лежавшим у большого ящика, и свирепой белой собакой, принадлежавшей кому-то из индейцев. Драка началась не сразу. Собаки издали рычали друг на друга, ну, знаете, как это у них бывает, словно вызывая друг друга. Шум этот, конечно, мешал, но голос миссионера тем не менее был слышен.

Прогнать собак было нелегко, до них можно было добраться только с другого края груды. Но там никого не было: все, конечно, столпились здесь, чтобы поглазеть на церемонию. И даже тогда все обошлось бы, не швырни капитан в собак дубинкой. С этого началось. Да, если бы капитан не швырнул в собак дубинкой, ничего бы не случилось.

Миссионер только начал произносить слова: «... в болезни и в здравии» и потом: «пока смерть не разлучит нас». И как раз в этот момент капитан швырнул дубинку. Я все видел своими глазами. Дубинка попала в Пилата, и в ту же секунду белый пес бросился на него. Дубинка словно подстегнула их. Собаки, схватившись, толкнули ящик, и он начал медленно сползать одним концом вниз. Это был большой длинный ящик, он медленно сползал, пока не принял вертикального положения, уперевшись в пол. Зрители, толпившиеся с этого края, успели отскочить в сторону. Золотая Зорька и граф стояли на противоположной стороне круга, лицом к ящику, а миссионер спиной к нему. Ящик съехал с высоты в десять футов и встал торчком на палубу.

Заметьте, никто не знал, что Дэйв Уолш умер. Мы были уверены, что он находится на «Глендейле», идущем в Доусон. Миссионер отскочил в сторону, и таким образом Золотая Зорька оказалась прямо перед ящиком. Так чисто вышло, как в театре. Лучше не придумать. Ящик встал на торец и как раз на тот торец, какой нужно, крышка ящика отлетела, и оттуда вывалился Дэйв Уолш,— он был завернут в одеяло, белокурые волосы развевались и сверкали в солнечных лучах. Он словно выскочил из ящика на Золотую Зорьку. Она не знала, что он умер, но это было несомненно: он ведь пролежал два дня у затора и теперь восстал из мертвых, пришел за ней из могилы. Возможно, так она и подумала. Во всяком случае, она окаменела, увидев его. Она не могла двинуться с места, только растерянно смотрела, как Дэйв Уолш двигался к ней. Он пришел за ней. Это выглядело так, словно он обхватил ее руками, и было это или не было, но на палубу они упали вместе. Чтобы освободить ее, нам пришлось сначала оттащить тело Дэйва Уолша. Она была в обмороке, и, пожалуй, было бы лучше, если бы она никогда не приходила в себя, потому что, придя в себя, она начала кричать, как безумная. Она кричала несколько часов, пока

не выбилась из сил. Да, теперь она выздоровела. Вы видели ее вчера и знаете, насколько она выздоровела. Она не буйная, но она живет во мраке. Она уверена, что Дэйв Уолш жив, и ждет его в хижине, которую он построил для нее. Теперь она удивительно постоянна. Вот уже девять лет, как она верна Дэйву Уолшу, и похоже на то, что она будет верна ему до конца дней своих.

Лон Мак-Фейн отогнул край одеяла и приготовился залезть в постель.

— Мы каждый год привозим ей продукты,— добавил он,— и вообще присматриваем за ней. Хотя вчера она впервые узнала меня.

— Кто это мы? — спросил я.

— Гм... тот граф, старый Виктор Шове и я,— последовал ответ.— Знаете, я думаю, что граф — единственный человек, который пострадал во всей этой истории. Ведь Дэйв Уолш так и не узнал, что она обманула его. Да и она не страдает. Безумие спасает ее.

Несколько минут я молча лежал под одеялом.

— А что, граф все еще живет здесь? — спросил я.

В ответ я услышал ровное, глубокое дыхание и понял, что Лон Мак-Фейн уже спит.

1908

ПОТЕРЯВШИЙ ЛИЦО

Это был конец. Стремясь, подобно перелетным птицам, домой, в европейские столицы, Субьенков проделал длинный путь, отмеченный страданиями и ужасами. И вот здесь, в русской Америке, дальше, чем когда-либо, от желанной цели, этот путь оборвался. Он сидел на снегу со связанными за спиной руками и ожидал пытки. Он с ужасом смотрел на распростертого перед ним огромного казака, стонущего от боли. Мужчинам надоело возиться с этим гигантом, и они передали его в руки женщин. И женщины, как о том свидетельствовали вопли жертвы, сумели превзойти мужчин в своей дьявольской жестокости.

Субьенков наблюдал за этим и содрогался от отвращения. Он не боялся смерти. Он слишком часто рисковал жизнью на протяжении тягостного пути от Варшавы до Нулато, чтобы испытывать страх при мысли о смерти. Но все его существо восставало против пытки. Это вызывало отвращение — не потому, что придется перенести нечеловеческие страдания,— вызывало отвращение то жалкое зрелище, когда он, корчась от боли, будет просить, умолять, выпрашивать, точно так же, как это делали Большой Иван и

другие. Это отвратительно. Встретить смерть мужественно, оставаясь самим собой, с улыбкой и шуткой на устах — вот это было бы достойно! Но потерять самообладание, когда дух твой раздавлен физической болью, визжать и корчиться, как обезьяна, превратиться в животное — вот что ужасно.

Никаких шансов спастись не было. С самого начала, загоревшись страстной мечтой о свободе Польши, он оказался игрушкой в руках судьбы. И с самого начала — в Варшаве, в Санкт-Петербурге, в сибирских рудниках, на Камчатке, на утлых суденышках охотников за пушным зверем — судьба вела его к этому концу. Поистине еще при сотворении мира ему была назначена именно такая смерть — ему, такому утонченному и чувствительному ко всему, что окружало его, для него, который был мечтателем, поэтом и художником. Он еще не родился на свет, а уже было предопределено, что трепещущий комок нервов, который он собой представлял, будет обречен жить среди звериной вопиющей жестокости и умереть в этой далекой стране северной ночи, в этом мрачном уголке на самом краю света.

Он вздохнул. Неужели то, что он видит сейчас перед собой, и было Большим Иваном — человеком без нервов, словно выкованным из железа, казаком, ставшим морским грабителем, существом флегматичным, как бык, со столь примитивной нервной системой, что какой-нибудь удар, причинявший нормальному человеку боль, воспринимался им едва ли не как простая щекотка. И все-таки эти индейцы из Нулато нашли у Большого Ивана нервы и прощупали их до самых корней его трепещущей души. Они добились своего. Казалось непостижимым, что человек может перенести такое и еще оставаться живым. Большой Иван дорого расплачивался за примитивность своей нервной системы. Он продержался вдвое дольше, чем все остальные.

Субьенков чувствовал, что ему не вынести мучений казака. Почему Иван не умирает? Субьенкову казалось, что он сойдет с ума, если не прекратится этот душераздирающий вопль. Но ведь когда вопль прекратится, настанет его, Субьенкова, очередь. А вон там стоит, ожидая того момента, Якага, уже ухмыляющийся в предвкушении пытки, тот самый Якага, которого какую-нибудь неделю назад он выгнал из форта, хлестнув по лицу бичом. Якага о нем позаботится. Якага, конечно, припас для него самые изощренные пытки, самые утонченные мучения. Очевидно, эта новая пытка была особенно хороша, судя по тому, как взвыл Иван. Женщины, склонившиеся над ним, расступились, смеясь и хлопая в ладоши. Субьенков увидел чудовищное дело, которое они сотворили, и начал истерически хохотать. Индейцы смотрели на него, изумляясь, что он способен смеяться. Но Субьенков не мог сдержаться.

Нет, этого делать нельзя. Он кое-как справился с собой, спаз-

матические судороги в горле постепенно затихли. Он заставил себя думать о чем-нибудь постороннем и принялся вспоминать свою прошлую жизнь. Он представил себе мать и отца, своего маленького, в яблоках, пони, гувернера-француза, который учил его танцам и однажды тайком принес ему старый, затрепанный томик Вольтера. Вновь Субьенков видел перед собой Париж, сумрачный Лондон, веселую Вену, Рим. Вновь ему представилась компания отчаянных молодых людей, которые, как и он, мечтали о свободной Польше с польским королем на троне в Варшаве. Вот откуда начался этот долгий путь. Что ж, он остался последним из всех. Одного за другим вспоминал Субьенков этих погибших в пути храбрецов, начиная с тех двух, которые были казнены в Санкт-Петербурге. Один был забит насмерть тюремщиком, другой, отправленный по этапу, свалился где-то на далеком, кровью политом тракте, которым они шагали бесконечные месяцы, подгоняемые ударами казаков-конвоиров. И всегда их окружала жестокость, дикая, звериная жестокость. Они умирали — от лихорадки, в рудниках, под кнутом. Последние двое погибли уже после побега, во время схватки с казаками, и только он один добрался до Камчатки, украв у какого-то путника документы и деньги и оставив его умирать на снегу.

Он не видел ничего, кроме жестокости. Все эти годы, когда сердце его жило прошлым,— в мастерских художников, в театрах, на светских приемах — его окружала жестокость. Он покупал свою жизнь ценой крови. Убивали все. И он убил того путника ради документов. Он показал, на что способен, когда в один и тот же день дрался на дуэли с двумя русскими офицерами. Ему приходилось как-то проявлять себя, чтобы занять достойное место среди охотников за мехами. Он должен был завоевать себе это место. Позади лежал долгий, отнявший, казалось, тысячу лет, путь через всю Сибирь и всю Россию. Тем путем бежать было невозможно. Он мог идти только вперед — через мрачное, покрытое льдами Берингово море на Аляску. Путь этот вел в мир, где дикость с каждым шагом становилась все более ужасающей. На суденышках охотников за мехами, среди свирепствующей цинги, без пищи и воды, в борьбе с бесконечными морскими штормами люди превращались в животных. Трижды он отплывал на восток от Камчатки. И трижды, после невероятных трудностей и страданий, оставшиеся в живых возвращались назад. Путь к бегству был закрыт, а идти назад тем путем, которым он попал сюда, Субьенков не мог, ибо там его ждали рудники и кнут.

Наконец в четвертый и последний раз он поплыл на восток. Он отправился с теми, кто впервые открыл легендарные Котиковые острова, но он не вернулся с ними, чтобы принять участие в дележе добычи и в диких оргиях на Камчатке. Он поклялся ни-

когда не возвращаться туда. Он знал: чтобы добраться до дорогих его сердцу европейских столиц, он должен идти вперед. Поэтому он переходил на другие суда и остался в этих незнакомых полуночных краях. Его спутниками были охотники-славяне и русские — искатели приключений, монголы, татары и исконные жители Сибири; они кровью прокладывали путь среди дикарей этого Нового Света. Они вырезали целые становища за то, что эскимосы отказывались платить им дань мехами, а на них в свою очередь нападали команды других кораблей. Субьенков вместе с одним финном оказался единственным, кто в конце концов спасся из всей их шайки. Они провели одинокую и голодную зиму на одном из пустынных Алеутских островов, а весной им выпал один шанс из тысячи — их подобрало какое-то судно охотников за пушниной.

Но всегда его окружали ужасающая жестокость и дикость. Переходя с одного судна на другое и ни за что не желая возвращаться назад, он попал наконец на судно, отправившееся на юг. Они шли вдоль побережья Аляски и всюду наталкивались на толпы дикарей. Каждый раз, когда они бросали якорь у островов или у мрачных утесов материка, их встречала битва или шторм. Либо на них обрушивалась буря, угрожая разбить судно, либо появлялись боевые каноэ, переполненные завывающими туземцами с раскрашенными боевой краской лицами, которые подплывали, чтобы испытать на себе убойную силу ружей пиратов. Так они пробирались на юг, в сказочную страну Калифорнию. Говорили, что там обретаются испанцы, искатели приключений, пробившиеся туда из Мехико. Он возлагал свои надежды на этих испанцев. Только бы удрать к ним, дальше уже будет проще: через год или два — это уже не имеет значения,— но рано или поздно он доберется до Мехико, затем корабль — и он в Европе. Но они не встретили испанцев. Вновь и вновь они наталкивались на ту же неприступную стену дикости. Обитатели этого края, с лицами, раскрашенными для войны, отгоняли их прочь от берега. Под конец, когда одно судно было захвачено и вся команда перебита, капитан решил прекратить поиски и повернул обратно на север.

Шли годы. Субьенков служил под началом Тебенкова, когда строился Михайловский редут. Два года он провел в низовьях Кускоквима. Два раза летом, в июне месяце, ему удавалось побывать в устье залива Коцебу, где в такую пору собирались племена для меновой торговли. Здесь можно было найти шкуры пятнистых оленей из Сибири, кость с островов Диомида, моржовые шкуры с берегов Северного океана, какие-то удивительные, неизвестно откуда, каменные светильники, переходившие от одного племени к другому, однажды ему даже попался охотничий нож английской работы. Субьенков знал, что здесь та школа, где можно изучить географию. Ведь здесь он встречал эскимосов из пролива Нортон, с

острова Кинг и с островов Святого Лаврентия, с мыса Принца Уэльского и с мыса Барроу. Здесь эти места именовались по-иному и расстояние до них мерилось не километрами, а днями пути.

Туземцы сходились сюда для торговли с огромной территории, а каменные светильники или этот стальной нож, переходя из рук в руки, попадали из еще более отдаленных мест. Субьенков запугивал эскимосов, улещивал, подкупал. Каждого дальнего путника или представителя неизвестного племени приводили к нему. Они рассказывали ему о несчетных и невероятных опасностях, подстерегавших путешественника, о диких зверях, враждебных племенах, непроходимых лесах и высоких горных хребтах, но во всех этих рассказах непременно фигурировали белые люди с голубыми глазами и белокурыми волосами, которые сражались, как дьяволы, и постоянно искали меха. Они находились на востоке, далеко-далеко на востоке. Никто не видел их. Это были только слухи, которые передавались из уст в уста.

Тяжелой была эта школа. Нельзя изучать географию через посредство непонятных диалектов, от людей, в чьем темном мозгу факты мешаются с вымыслом, людей, измеряющих расстояния ночевками, колеблющимися в зависимости от трудности перехода. В конце концов Субьенков узнал то, что придало ему мужества. На востоке есть большая река, где и обретаются эти голубоглазые люди. Река эта называется Юконом. Южнее Михайловского редута в море впадала большая река, известная русским под названием Куикпак. Ходили слухи, что это одна и та же река.

Субьенков вернулся на Михайловский редут. В течение года он добивался, чтобы организовали экспедицию вверх по Куикпаку. Тут выделился Малахов, наполовину русский, возглавивший отряд самых отчаянных и жестоких авантюристов, которые когда-либо переправлялись сюда с Камчатки. Субьенков стал его помощником. Они пробрались сквозь лабиринт дельты Куикпака, миновали первые невысокие холмы на северном берегу и в обитых кожей каноэ, груженных до планшира товарами и боевыми припасами, на протяжении пятисот миль плыли против сильного, в пять узлов, течения по реке, ширина которой колебалась от двух до десяти миль, и глубиной в много сажен. Малахов решил построить форт в Нулато. Субьенков поначалу уговаривал плыть дальше, но потом примирился с Нулато. Приближалась долгая зима. Лучше было переждать. Как только наступит лето и сойдет лед, он отправится вверх по Куикпаку и будет пробиваться к факториям Компании Гудзонова залива. До Малахова никогда не доходили слухи о том, что Куикпак и есть Юкон, а Субьенков не рассказывал ему об этом.

Началось строительство форта. Они заставили работать местных жителей. Стены из тесаных бревен вырастали под аккомпане-

мент вздохов и стонов нулатских индейцев. По их спинам гулял бич, и держала этот бич железная рука морских грабителей. Кое-кто из индейцев убегал, но когда их ловили, то возвращали назад и раскладывали перед фортом, и тут они вместе с соплеменниками узнавали на своей шкуре силу кнута. Двое индейцев умерли под кнутом, другие остались калеками на всю жизнь. А остальные усвоили этот урок и больше не пытались бежать. Снег выпал еще до того, как был закончен форт, и настало время для добычи пушнины. На племя была наложена тяжелая дань. Индейцев продолжали избивать и пороть кнутами, а для того, чтобы дань поступала, женщин и детей взяли в качестве заложников и обращались с ними с той жестокостью, на которую способны только охотники за мехами.

Что ж, то был кровавый посев, а теперь пришла пора жатвы. Форт был спален. При зловещем свете пожара половина партии была перебита. Остальные были подвергнуты пыткам. Остался только Субьенков, или, точнее, Субьенков и Большой Иван, если это стонущее и визжащее существо на снегу можно было назвать Большим Иваном. Субьенков заметил, как ухмыляется, глядя на него, Якага. Ему нечего было сказать Якаге. На лице у того до сих пор виднелся след от бича. В конце концов Субьенков не мог осуждать его, но ему была противна мысль о том, что с ним сделает Якага. Он подумал было просить вождя племени Макамука, но разум подсказал ему, что такая просьба окажется бесполезной. Тогда он решил разорвать ремни и погибнуть в схватке. Такой конец был бы скорым. Но разорвать их он не мог. Ремни из оленьей кожи оказались сильнее его. Он продолжал искать выход, и в голову ему пришла новая идея. Он сделал знак Макамуку, чтобы привели переводчика, знающего наречие прибрежных жителей.

— О, Макамук,— сказал Субьенков,— я не собираюсь умирать. Я великий человек, и глупо было бы мне умирать. Да я и не умру. Я ведь не то, что вся эта падаль.

Он глянул на стонущее существо, которое когда-то было Большим Иваном, и презрительно пнул его ногой.

— Я слишком мудр, чтобы умереть. Я знаю великое лечебное снадобье. Только я один знаю это снадобье. Поскольку я не собираюсь умирать, я готов в обмен дать тебе это средство.

— Что это за средство? — потребовал ответа Макамук.

— Это особенное средство.

Субьенков сделал вид, словно он колеблется, стоит ли делиться своим секретом.

— Ладно, тебе я скажу. Если каплей этого зелья помазать кожу, то она становится твердой, как скала, и прочной, как железо, и никакое оружие не может ее рассечь. Самый сильный удар ничего не может с ней сделать. Костяной нож против нее все рав-

но, что комок грязи, от нее отскочит даже стальной нож, какие мы раздавали вам. Что ты мне дашь за секрет этого зелья?

— Я подарю тебе жизнь,— ответил Макамук через переводчика.

Субьенков презрительно расхохотался.

— И ты будешь до смерти рабом в моем доме,— продолжал Макамук.

Поляк расхохотался еще более презрительно.

— Пусть мне развяжут руки и ноги, и тогда мы будем разговаривать.

Вождь сделал знак, и когда Субьенкову освободили руки, он сделал самокрутку и закурил.

— Это глупые слова,— сказал Макамук,— нет такого зелья. Не может быть. Нож сильнее любого зелья.

Вождь был настроен скептически, но все-таки он колебался. Он не раз видел, как охотникам за мехами удавались всякие дьявольские фокусы. Он не мог ни в чем быть уверен.

— Я сохраню тебе жизнь, и ты не будешь рабом,— заявил он.

— Этого мало.

Субьенков играл свою роль абсолютно хладнокровно, как будто торговался за лисий мех.

— Это великое снадобье. Много раз оно спасало мне жизнь. Я хочу получить нарты и собак, и чтобы шестеро твоих охотников сопровождали меня вниз по реке и в безопасности проводили до последней ночевки перед Михайловским редутом.

— Ты должен жить здесь и обучить нас всем твоим дьявольским штукам,— был ответ.

Субьенков молча пожал плечами. Он выпускал табачный дым в морозный воздух и с любопытством рассматривал то, что осталось от казака-гиганта.

— А это? — неожиданно сказал Макамук, показывая на шею Субьенкова, где виднелся синеватый шрам от ножевого удара, который ему нанесли на Камчатке во время какой-то ссоры.— Твое зелье — плохое зелье. Лезвие было сильнее, чем твое средство.

— Тот, кто нанес удар, был очень сильный человек.— Субьенков оценивающе взглянул на Макамука.— Сильнее, чем ты, сильнее самого сильного твоего охотника, сильнее, чем был он.

И опять он пнул носком своего мокасина казака; тот являл собой отвратительное зрелище. Хотя Большой Иван и потерял сознание, его измученное пытками тело еще цеплялось за жизнь.

— И, кроме того, зелье было слабым. В тех местах не было нужных мне ягод, которых полно, как я вижу, в ваших краях. Здесь средство будет сильным.

— Я отпущу тебя вниз по реке,— сказал Макамук,— и дам тебе нарты, собак и шестерых охотников.

— Ты слишком долго раздумываешь,— последовал холодный ответ.— Ты оскорбил мое средство тем, что не сразу принял мои условия. Слушай же, теперь я требую большего. Я хочу получить сотню бобровых шкур.— Макамук насмешливо усмехнулся.— Я хочу получить сотню фунтов сушеной рыбы.— Макамук кивнул головой, рыбы было вдоволь, и она мало чего стоила.— Я хочу получить двое нарт, одни для меня и вторые для моих мехов и рыбы. Кроме того, пусть мне вернут ружье. Если тебя не устраивает моя цена, то имей в виду, что она вскоре увеличится.

Якага что-то шепнул на ухо вождю.

— А как я узнаю, что твое зелье настоящее? — спросил Макамук.

— Это очень легко. Прежде всего я пойду в лес...

Якага опять стал шептать на ухо Макамуку, который недоверчиво покачал головой.

— Ты можешь послать со мной двадцать охотников,— продолжал Субьенков.— Я должен найти ягоды и корни, из которых варится средство. Потом ты приготовишь нарты, нагрузишь их рыбой и бобровыми шкурами, положишь туда ружье и отберешь шестерых охотников, которые пойдут со мной, а когда все будет готово, я натру зельем шею и положу голову вот на это бревно. И тогда пусть самый сильный твой охотник возьмет топор и трижды ударит меня по шее. Ты сам можешь трижды ударить меня.

Макамук стоял с разинутым ртом, дивясь этому новому для него и самому удивительному чуду охотников за мехами.

— Но имей в виду,— торопливо добавил поляк,— что перед каждым ударом я должен заново смазывать шею своим зельем. Топор — штука тяжелая и острая, и я не хочу, чтобы произошла ошибка.

— Ты получишь все, что требуешь,— торопливо закричал Макамук.— Готовь свое зелье.

Субьенков постарался скрыть свою радость. Он вел отчаянную игру и оступиться было нельзя. Он высокомерно произнес:

— Ты слишком медлил. Мое средство оскорблено. Чтобы смыть это оскорбление, ты должен отдать мне свою дочь.

И он показал пальцем на девушку, несчастное создание, у которой был кривой глаз и торчащие по-волчьи зубы. Макамук был рассержен, но поляк невозмутимо свернул и закурил новую самокрутку.

— Поспеши,— с угрозой в голосе сказал он,— если ты будешь медлить, я потребую большего.

В наступившем молчании Субьенков перенесся мысленным взором от мрачной картины северной природы, расстилавшейся перед ним, к своей родине и к Франции и, взглянув на эту девуш-

ку с торчащими зубами, он вспомнил другую девушку, певицу и балерину, которую знал, когда юношей впервые попал в Париж.

— Зачем тебе нужна девушка? — спросил Макамук.

— Чтобы она поплыла вместе со мной вниз по реке.— Субьенков критически оглядел ее.— Из нее выйдет хорошая жена, и честь жениться на девушке твоей крови — достаточная плата за мое средство.

Он вновь вспомнил певицу и балерину и принялся мурлыкать песню, которой та научила его. Он заново переживал всю свою жизнь, но на этот раз рассматривая сцены из своего прошлого как будто со стороны, словно это были картинки в книге, рассказывающей о чьей-то чужой судьбе. Голос вождя неожиданно нарушил молчание, и он вздрогнул.

— Все будет сделано,— сказал Макамук.— Девушка отправится вместе с тобой вниз по реке. Но имей в виду, что я сам трижды ударю топором по твоей шее.

— Но я каждый раз буду заново намазываться своим средством,— отозвался Субьенков, изображая плохо скрытое беспокойство.

— Ты будешь намазываться своим зельем перед каждым ударом. Вот охотники, которые будут следить, чтобы ты не сбежал. Отправляйся в лес и собирай свое зелье.

Макамука убедила в ценности зелья именно жадность поляка. Конечно, только величайшее средство могло дать силу человеку, над которым нависла тень смерти, упорствовать и торговаться, как старая баба.

— Кроме того,— шепнул Якага, когда поляк вместе со своей стражей исчез среди елей,— когда ты узнаешь средство, ты легко сможешь убить его.

— Как же это я смогу убить его? — спросил Макамук.— Средство не даст мне убить.

— Будут какие-то места, которые он не натрет своим зельем,— ответил Якага.— Мы и умертвим его через такое место. Может быть, это будут его уши. Тогда мы воткнем ему копье в одно ухо, а выйдет оно в другое. Очень хорошо. А может быть, это будут глаза. Наверняка зелье слишком сильное, чтобы он намазал им глаза.

Вождь кивнул головой.

— Ты мудр, Якага. Если у него в запасе нет других дьявольских штук, мы убьем его.

Субьенков не тратил много времени для сбора составных частей для своего зелья. Он поднимал все, что попадется под руку,— еловую хвою, ивовую кору, бересту и множество клюквы, которую он заставлял охотников выкапывать из-под снега. К своим запасам

он добавил несколько замерзших корней и направился обратно в лагерь.

Макамук и Якага не отходили ни на шаг, тщательно запоминая количество и вид составных частей, которые он кидал в чан с кипящей водой.

— Заметьте, клюкву надо класть в первую очередь,— объяснил Субьенков.— Ах, да, еще одна вещь, человеческий палец. Дайка, Якага, я отрежу у тебя палец.

Но Якага спрятал руки за спину и сердито посмотрел на него.

— Всего только мизинец,— просил Субьенков.

— Якага, дай ему свой палец,— приказал Макамук.

— Здесь вокруг много пальцев,— проворчал Якага, показывая на валявшиеся на снегу остатки замученных насмерть.

— Это должен быть палец живого человека,— возразил поляк.

— Ну так ты получишь палец живого человека.— Якага нагнулся над казаком и отсек у него палец.

— Он еще не умер,— объяснил Якага, швыряя свой кровавый трофей к ногам поляка.— И вообще это хороший палец, потому что он большой.

Субьенков бросил палец в пламя под чаном, и начал петь. Это была французская любовная песенка, и он исполнял ее с необычайной торжественностью.

— Без этих слов зелье не будет иметь силы,— пояснил он.— Эти слова составляют его главную силу. Ну вот, готово!

— Повтори слова медленно, чтобы я мог запомнить их,— приказал Макамук.

— Только после испытания. Когда топор трижды отскочит от моей шеи, тогда я раскрою тебе секрет этих слов.

— А если средство окажется плохим средством? — с беспокойством спросил Макамук.

Субьенков в гневе обернулся к нему.

— Мое средство не может оказаться плохим. А если оно окажется плохим, тогда сделайте со мной то же, что вы сделали с остальными. Разрежьте меня на куски, как вы разрезали его.— Он кивнул на казака.— Зелье уже остыло. Итак, я натираю им шею и говорю при этом заклинания.

Субьенков с самым серьезным лицом медленно пропел строку из «Марсельезы», одновременно натирая себе шею отвратительным варевом.

Его представление было прервано диким воплем. Огромный казак, в котором в последний раз вспыхнула его чудовищная жизненная сила, приподнялся на колени. Индейцы принялись смеяться, кричать от удивления, хлопать в ладони, а Большой Иван бился на снегу в страшных судорогах.

Субьенкову стало нехорошо от этого зрелища, но он справился с приступом тошноты и притворился рассерженным.

— Так дело не пойдет,— сказал он,— прикончите его, и тогда мы приступим к испытанию. Ну-ка, Якага, прекрати этот шум.

Когда это было исполнено, Субьенков повернулся к Макамуку.

— И помни, что ты должен бить изо всех сил. Это занятие не для детей. Возьми-ка топор и ударь по бревну, чтобы я мог видеть, что ты делаешь это как мужчина.

Макамук повиновался и дважды со всего маху ударил по бревну, отколов порядочный кусок.

— Хорошо!—Субьенков оглядел лица туземцев, которые словно символизировали ту стену варварства, которая окружала его с тех пор, как царская полиция арестовала его в Варшаве.

— Бери топор, Макамук, и стань вот здесь. Я лягу. Когда я махну рукой, бей что есть мочи. И смотри, чтобы никто не стоял позади тебя. Мое средство крепкое, и топор может отскочить от моей шеи и вылететь у тебя из рук.

Он посмотрел на две собачьи упряжки с нартами, нагруженными мехами и рыбой. Сверху на бобровых шкурах лежало его ружье. Шестеро охотников, которые должны были составлять его охрану, стояли у нарт.

— А где девушка? — спросил поляк.— Приведите ее сюда прежде, чем мы приступим к испытанию.

Когда девушку привели, Субьенков опустился на снег и положил голову на бревно, словно усталый ребенок, собирающийся уснуть. Он пережил столько тяжелых лет, что и в самом деле чувствовал себя смертельно уставшим.

— Я смеюсь над тобой и над твоей силой, о Макамук,— сказал он,— бей, бей изо всех сил!

Он поднял руку. Макамук поднял топор, огромный топор, которым обтесывают бревна. Блестящая сталь сверкнула в морозном воздухе, на какое-то едва уловимое мгновение топор задержался над головой Макамука и затем обрушился на обнаженную шею Субьенкова. Топор рассек мышцы и позвоночник и глубоко вонзился в бревно. Изумленные дикари увидели, как голова отскочила на добрый ярд от кровоточащего туловища.

Все стояли в страшном замешательстве и молчали, пока постепенно не начали соображать, что никакого средства и не было. Охотник за мехами перехитрил их. Единственный из всех пленников он избежал пытки. Такова была ставка, ради которой он вел игру. И тут все разразились хохотом. Макамук от стыда опустил голову. Охотник за мехами обманул его. Макамук потерял лицо, потерял уважение в глазах своих соплеменников. Они продолжали хохотать. Макамук повернулся и побрел прочь. Он знал, что отныне он никогда не будет зваться Макамуком. Его будут звать Поте-

рявший лицо, и ему не искупить своего позора до самой смерти, и когда бы ни собирались окрестные племена,— весной ли для лова лосося или летом для меновой торговли,— повсюду, у всех костров, будут вновь и вновь рассказывать историю о том, как спокойно, с одного удара умер охотник за мехами от руки Потерявшего лицо.

И он словно заранее слышал, как какой-нибудь наглый юнец будет спрашивать:

— А кто такой Потерявший лицо?

— Потерявший лицо? — скажут в ответ.— Его звали Макамуком до того, как он отрубил голову охотнику за мехами.

1908 — <1910>

«АЛОХА ОЭ»

Нигде уходящим в море судам не устраивают таких проводов, как в гавани Гонолулу. Большой пароход стоял под парами, готовый к отплытию. Не менее тысячи человек толпилось на его палубах, пять тысяч стояло на пристани. По высоким сходням вверх и вниз проходили туземные принцы и принцессы, сахарные короли, видные чиновники Гавайев. А за толпой, собравшейся на берегу, длинными рядами выстроились под охраной туземной полиции экипажи и автомобили местной аристократии.

На набережной гавайский королевский оркестр играл «Алоха Оэ», а когда он смолк, ту же рыдающую мелодию подхватил струнный оркестр туземцев на пароходе, и высокий голос певицы птицей взлетал над звуками инструментов, над многоголосым гамом вокруг. Словно звонкие переливы серебряной свирели, своеобразные и неповторимые, влились вдруг в многозвучную симфонию прощания.

На нижней палубе вдоль поручней стояли в шесть рядов молодые люди в хаки; их бронзовые лица говорили о трех годах военной службы, проведенных под знойным солнцем тропиков. Однако это не их провожали сегодня так торжественно, и не капитана в белом кителе, стоявшего на мостике и безучастно, как далекие звезды, взиравшего с высоты на суматоху внизу, и не молодых офицеров на корме, возвращавшихся на родину с Филиппинских островов вместе со своими измученными тропической жарой, бледными женами. На верхней палубе, у самого трапа, стояла группа сенаторов Соединенных Штатов — человек двадцать — с женами и дочерьми. Они приезжали сюда развлечься. И целый месяц их угощали обедами и поили вином, пичкали статистикой, таскали по горам и долам, на вершины вулканов и в залитые лавой долины, чтобы показать все красоты и природные богатства Гавайев.

За этой-то веселящейся компанией и прибыл в гавань большой пароход, и с нею прощался сегодня Гонолулу.

Сенаторы были увешаны гирляндами, они просто утопали в цветах. На бычьей шее и мощной груди сенатора Джереми Сэмбрука красовалась добрая дюжина венков и гирлянд. Из этой массы цветов выглядывало его потное лицо, покрытое свежим загаром. Цветы раздражали сенатора невыносимо, а на толпу, кишевшую на пристани, он смотрел оком человека, для которого существуют только цифры, человека, слепого к красоте. Он видел в этих людях лишь рабочую силу, а за ней — фабрики, железные дороги, плантации, все то, что она создавала и что олицетворяла собой для него. Он видел богатства этой страны, думал о том, как их использовать, и, занятый этими размышлениями о материальных благах и могуществе, не обращал никакого внимания на дочь, которая стояла подле него, разговаривая с молодым человеком в изящном летнем костюме и соломенной шляпе. Юноша не отрывал жадных глаз от ее лица и, казалось, видел только ее одну. Если бы сенатор Джереми внимательно присмотрелся к дочери, он понял бы, что пятнадцатилетняя девочка, которую он привез с собой на Гавайские острова, за этот месяц превратилась в женщину.

В климате Гавайев все зреет быстро, а созреванию Дороти Сэмбрук к тому же особенно благоприятствовали окружающие условия. Тоненькой бледной девочкой с голубыми глазами, немного утомленной вечным сидением за книгами и попытками хоть что-нибудь понять в загадках жизни,— такой приехала сюда Дороти месяц назад. А сейчас в глазах ее был жаркий свет, щеки позолочены солнцем, в линиях тела уже чувствовалась легкая, едва намечавшаяся округлость. За этот месяц Дороти совсем забросила книги, ибо читать книги жизни было куда интереснее. Она ездила верхом, взбиралась на вулканы, училась плавать на волнах прибоя. Тропики проникли ей в кровь, она упивалась ярким солнцем, теплом, пышными красками. И весь этот месяц она провела в обществе Стивена Найта, настоящего мужчины, спортсмена, отважного пловца, бронзового морского бога, который укрощал бешеные волны и на их хребтах мчался к берегу.

Дороти Сэмбрук не замечала перемены, которая произошла в ней. Она оставалась наивной молоденькой девушкой, и ее удивляло и смущало поведение Стива в этот час расставания.

До сих пор она видела в нем просто доброго товарища, и весь месяц он и был ей только товарищем, но сейчас, прощаясь с ней, вел себя как-то странно. Говорил взволнованно, бессвязно, вдруг умолкал, начинал снова. По временам он словно не слышал, что говорит она, или отвечал не так, как обычно. А взгляд его приводил Дороти в смятение. Она раньше и не замечала, что у него такие горящие глаза; она не смела смотреть в них и то и дело опу-

скала ресницы. Но выражение их и пугало и в то же время притягивало ее, и она снова и снова заглядывала в эти глаза, чтобы увидеть то пламенное, властное, тоскующее, чего она еще не видела никогда ни в чьих глазах. Она сама испытывала какое-то странное волнение и тревогу.

На пароходе оглушительно завыл гудок, и увенчанная цветами толпа хлынула ближе. Дороти Сэмбрук сделала недовольную гримасу и заткнула пальцами уши, чтобы не слышать пронзительного воя,— и в этот миг она снова перехватила жадный и требовательный взгляд Стива. Он смотрел на ее уши, нежно розовеющие и прозрачные в косых лучах закатного солнца.

Удивленная и словно завороженная странным выражением его глаз, Дороти смотрела на него не отрываясь. И Стив понял, что выдал себя; он густо покраснел и что-то невнятно пробормотал. Он был явно смущен, и Дороти была смущена не меньше его. Вокруг них суетилась пароходная прислуга, торопя провожающих сойти на берег. Стив протянул руку. И в тот миг, когда Дороти ощутила пожатие его пальцев, тысячу раз сжимавших ее руку, когда они вдвоем карабкались по крутым склонам или неслись на доске по волнам,— она услышала и по-новому поняла слова песни, которая подобно рыданию рвалась из серебряного горла гавайской певицы:

Ka halia Ko aloha Kai hiki mai,
Ke hone ae nei i Ku'u manawa,
O oe no Ka'u aloha
A loko e hane nei.

Этой песне учил ее Стив, она знала и мелодию и слова и до сих пор думала, что понимает их. Но только сейчас, когда в последний раз пальцы Стива крепко сжали ее руку и она ощутила теплоту его ладони, ей открылся истинный смысл этих слов. Она едва заметила, как ушел Стив, и не могла отыскать его в толпе на сходнях, потому что в эти минуты она уже блуждала в лабиринтах памяти, вновь переживая минувшие четыре недели — все события этих дней, представшие перед ней сейчас в новом свете.

Когда месяц назад компания сенаторов прибыла в Гонолулу, их встретили члены комиссии, которой было поручено развлекать гостей, и среди них был и Стив. Он первый показал им в Ваикики-Бич, как плавают по бурным волнам во время прибоя. Выплыв в море верхом на узкой доске, с веслом в руках, он помчался так быстро, что скоро только пятнышком замелькал и исчез вдали. Потом неожиданно возник снова, встав из бурлящей белой пены, как морской бог,— сначала показались плечи и грудь, потом бедра, руки; и вот он уже стоял во весь рост на пенистом гребне могучего вала длиной с милю, и только ноги его были зарыты в летящую

пену. Он мчался со скоростью экспресса и спокойно вышел на берег на глазах у пораженных зрителей. Таким Дороти впервые увидела Стива. Он был самый молодой член комиссии — двадцатилетний юноша. Он не выступал с речами, не блистал на торжественных приемах. В увеселительную программу для гостей он вносил свою долю, плавая на бурных волнах в Ваикики, гоняя диких быков по склонам Мауна Кеа, объезжая лошадей на ранчо Халеакала.

Дороти не интересовали бесконечные статистические обзоры и ораторские выступления остальных членов комиссии, на Стива они тоже нагоняли тоску,— и оба потихоньку удирали вдвоем. Так они сбежали и с пикника в Хамакуа и от Эба Луиссона, кофейного плантатора, который в течение двух убийственно скучных часов занимал гостей разговором о кофе, о кофе и только о кофе. И как раз в тот день, когда они ехали верхом среди древовидных папоротников, Стив перевел ей слова песни «Алоха Оэ», которой провожали гостей-сенаторов в каждой деревне, на каждом ранчо, на каждой плантации.

Они со Стивом с первого же дня очень много времени проводили вместе. Он был ее неизменным спутником на всех прогулках. Она совсем завладела им, пока ее отец собирал нужные ему сведения о Гавайских островах; Дороти была кротка и не тиранила своего нового приятеля, но он был у нее в полном подчинении, и лишь во время катания на лодке, или поездки верхом, или плавания в прибой власть переходила к нему, а ей оставалось слушаться.

И вот теперь, когда уже был поднят якорь и громадный пароход стал медленно отваливать от пристани, Дороти, слушая прощальную мелодию «Алоха Оэ», поняла, что Стив был для нее не только веселым товарищем.

Пять тысяч голосов пели сейчас «Алоха Оэ»:

> В разлуке любовь моя будет с тобою
> Всегда, до новой встречи.

И в то же мгновение, вслед за открытием, что она любит и любима, пришла мысль, что их со Стивом разлучают, отрывают друг от друга. Когда еще они встретятся снова? И встретятся ли? Слова песни о новой встрече она услышала впервые от него, Стива,— она вспомнила, как он пел их ей, повторяя много раз подряд, под деревом хау в Ваикики. Не было ли это предсказанием? А она восторгалась его пением, твердила ему, что он поет так выразительно... Вспомнив это, Дороти рассмеялась громко, истерически. «Выразительно!» Еще бы, когда человек душу свою изливал в песне! Теперь она знала это, но слишком поздно. Почему он ей ничего не сказал?

Вдруг она вспомнила, что в ее возрасте девушки еще не выхо-

дят замуж. Но тотчас сказала себе: «А на Гавайях выходят». На Гавайях, где кожа у всех золотиста и женщины под поцелуями солнца созревают рано, созрела и она — за один месяц.

Тщетно вглядывалась Дороти в толпу на берегу. Куда девался Стив? Она готова была отдать все на свете, чтобы увидеть его еще хоть на миг, она почти желала, чтобы какая-нибудь смертельная болезнь поразила капитана, одиноко стоявшего на мостике,— ведь тогда пароход не уйдет! В первый раз в жизни она посмотрела на отца внимательно, пытливо — и с внезапно проснувшимся страхом прочла в этом лице упрямство и жесткую волю. Противиться этой воле очень страшно! И разве она может победить в такой борьбе?..

Но почему, почему Стив молчал до сих пор? А сейчас уже поздно... Почему он не сказал ей ничего тогда, под деревом хау в Ваикики?

Тут ее осенила догадка — и сердце у нее упало. Да, да, теперь понятно, почему молчал Стив! Что-то такое она слышала недавно... А, это было у миссис Стертон, в тот день, когда дамы миссионерского кружка пригласили на чашку чая жен и дочерей сенаторов... Та высокая блондинка, миссис Ходжкинс, задала вопрос... Дороти отчетливо вспомнила все: обширную веранду, тропические цветы, бесшумно сновавших вокруг слуг-азиатов, жужжание женских голосов и вопрос миссис Ходжкинс, сидевшей неподалеку в группе других дам. Миссис Ходжкинс недавно вернулась на остров с континента, где она провела много лет, и, видимо, расспрашивала о старых знакомых, подругах ее юности.

— А как поживает Сюзи Мэйдуэлл? — осведомилась она.

— О, мы с ней больше не встречаемся! Она вышла за Вилли Кьюпеля,— ответила одна из местных жительниц.

А жена сенатора Бернда со смехом спросила, почему же замужество Сюзи Мэйдуэлл оттолкнуло от нее приятельниц.

— Ее муж — хапа-хаоле, человек смешанной крови,— был ответ.— А мы, американцы на островах, должны думать о наших детях.

Дороти повернулась к отцу, решив проверить свою догадку.

— Папа! Если Стив приедет когда-нибудь в Штаты, ему можно будет бывать у нас?

— Стив? Какой Стив?

— Ну, Стивен Найт. Ты же его знаешь, ты прощался с ним только что, пять минут назад! Если ему случится когда-нибудь попасть в Штаты, можно будет пригласить его к нам?

— Конечно, нет! — коротко отрезал Джереми Сэмбрук.— Этот Стивен Найт — хапа-хаоле. Ты знаешь, что это значит?

— О-ох! — чуть слышно вздохнула Дороти, чувствуя, как немое отчаяние закрадывается ей в душу.

Стив — не хапа-хаоле, в этом Дороти была уверена. Она не знала, что к его крови примешалась капелька крови, полной жара тропического солнца, а значит, о браке с ним нечего было и думать. Странный мир! Ведь преподобный Клегхорн женился же на темнокожей принцессе из рода Камехамеха,— и все-таки люди считали за честь знакомство с ним, и в его доме бывали женщины высшего света из ультрафешенебельного миссионерского кружка! А вот Стив... То, что он учил ее плавать или вел ее за руку в опасных местах, когда они поднимались на кратер Килауэ, никому не казалось предосудительным. Он мог обедать с нею и ее отцом, танцевать с нею, быть членом увеселительной комиссии, но жениться на Дороти он не мог, потому что в жилах его струилось тропическое солнце.

А ведь это совсем не было заметно! Кто не знал, тому это и в голову не могло прийти! Стив был так красив... Образ его запечатлелся в ее памяти, и она с бессознательным удовольствием вспоминала великолепное гибкое тело, могучие плечи, надежную силу этих рук, что так легко подсаживали ее в седло, несли по гремящим волнам или поднимали ее, уцепившуюся за конец альпенштока, на крутую вершину горы, которую называют «Храмом солнца»! И еще что-то другое, таинственное и неуловимое, вспоминалось Дороти, что-то такое, в чем она и сейчас еще очень смутно отдавала себе отчет: ощущение близости мужчины, настоящего мужчины, какое она испытывала, когда Стив бывал с нею.

Она вдруг очнулась с чувством острого стыда за эти мысли. Кровь прилила к ее щекам, окрасила их ярким румянцем, но тотчас отхлынула: Дороти побледнела, вспомнив, что больше никогда не увидит любимого.

Пароход уже отвалил, и палубы его поравнялись с концом набережной.

— Вот там стоит Стив,— сказал сенатор дочери.— Помаши ему на прощание, Дороти!

Стив не сводил с нее глаз и увидел в ее лице то новое, чего не видел раньше. Он просиял, и Дороти поняла, что он теперь знает. А в воздухе трепетала песня:

Люблю — и любовь моя будет с тобой
Всегда, до новой встречи.

Слова были не нужны, они и без слов все сказали друг другу. Вокруг Дороти пассажиры снимали с себя венки и бросали их друзьям, стоявшим на пристани. Стив протянул руки, глаза его молили. Она стала снимать через голову свою гирлянду, но цветы зацепились за нитку восточного жемчуга, которую надел ей сегодня на шею старик Мервин, сахарный король, когда вез ее и отца на пристань.

Она дергала жемчуг, цеплявшийся за цветы. А пароход двигался и двигался вперед. Стив был теперь как раз под палубой, где она стояла, медлить было нельзя — еще минута, и он останется позади.

Дороти всхлипнула, и Джереми Сэмбрук испытующе посмотрел на нее.

— Дороти! — крикнул он резко.

Она решительно рванула ожерелье — и вместе с цветами дождь жемчужин посыпался на голову ожидавшего возлюбленного.

Она смотрела на него, пока слезы не застлали перед ней все, потом спрятала лицо на плече отца. А сенатор, забыв о статистике, с удивлением спрашивал себя: почему это маленькие девочки так спешат стать взрослыми?

Толпа на пристани все пела, мелодия, отдаляясь, таяла в воздухе, но по-прежнему была в ней любовная нега и слова сжигали сердце, как кислота, ибо в них была ложь.

Aloha oe, Aloha oe, e ke onaona no ho ika lipo...
В последний раз приди в мои объятия!
Любовь моя с тобой всегда, до новой встречи.

1909

КУЛАУ-ПРОКАЖЕННЫЙ

Оттого что мы больны, у нас отнимают свободу. Мы слушались закона. Мы никого не обижали. А нас хотят запереть в тюрьму. Молокаи — тюрьма. Вы это знаете. Вот Ниули,— его сестру семь лет как услали на Молокаи. С тех пор он ее не видел. И не увидит. Она останется на Молокаи до самой смерти. Она не хотела туда ехать. Ниули тоже этого не хотел. Это была воля белых людей, которые правят нашей страной. А кто они, эти белые люди?

Мы это знаем. Нам рассказывали о них отцы и деды. Они пришли смирные, как ягнята, с ласковыми словами. Оно и понятно: ведь нас было много, мы были сильны, и все острова принадлежали нам. Да, они пришли с ласковыми словами. Они разговаривали с нами по-разному. Одни просили разрешить им, милостиво разрешить им проповедовать нам слово божие. Другие просили разрешить им, милостиво разрешить им торговать с нами. Но это было только начало. А теперь они все забрали себе — все острова, всю землю, весь скот. Слуги господа бога и слуги господа рома действовали заодно и стали большими начальниками. Они живут, как цари, в домах о многих комнатах, и у них толпы слуг. У них ничего не было, а теперь они завладели всем. И если вы, или я, или другие канаки голодают, они смеются и говорят: «А ты работай. На то и плантации».

Кулау замолчал. Он поднял руку и скрюченными узловатыми пальцами снял с черноволосой головы сверкающий венок из цветов мальвы. Лунный свет заливал ущелье серебром. Ночь дышала мирным покоем. Но те, кто слушал Кулау, казались воинами, пострадавшими в жестоком бою. Их лица напоминали львиные морды. У одного на месте носа зияла дыра, у другого с плеча свисала култышка — остаток сгнившей руки. Их было тридцать человек, мужчин и женщин,— тридцать отверженных, ибо на них лежала печать зверя.

Они сидели, увенчанные цветами, в душистой, пронизанной светом мгле, выражая свое одобрение речи Кулау нечленораздельными хриплыми криками. Когда-то они были людьми, но теперь это были чудовища, изувеченные и обезображенные, словно их веками пытали в аду, страшная карикатура на человека. Пальцы — у кого они еще сохранились — напоминали когти гарпий; лица были как неудавшиеся, забракованные слепки, которые какой-то сумасшедший бог, играя, разбил и расплющил в машине жизни. Кое у кого этот сумасшедший бог попросту стер половину лица, а у одной женщины жгучие слезы текли из черных впадин, в которых когда-то были глаза. Некоторые мучились и громко стонали от боли. Другие кашляли, и кашель их походил на треск рвущейся материи. Двое были идиотами, похожими на огромных обезьян, созданных так неудачно, что по сравнению с ними обезьяна показалась бы ангелом. Они кривлялись и бормотали что-то, освещенные луной, в венках из тяжелых золотистых цветов. Один из них, у которого раздувшееся ухо свисало до плеча, сорвал яркий оранжево-алый цветок и украсил им свое страшное ухо, колыхавшееся при каждом его движении.

И над этими существами Кулау был царем. А это захлебнувшееся цветами ущелье, зажатое между зубчатых скал и утесов, откуда доносилось блеяние диких коз, было его царством. С трех сторон поднимались мрачные стены, увешанные причудливыми занавесями из тропической зелени и чернеющие входами в пещеры — горные берлоги его подданных. С четвертой стороны долина обрывалась в глубочайшую пропасть, и там, вдалеке, виднелись вершины более низких гор и хребтов, у подножия которых гудел и пенился океанский прибой. В тихую погоду к каменистому берегу у входа в долину Калалау можно было подойти лодке, но только в очень тихую погоду. И смелый горец мог проникнуть с берега в верхнюю часть долины, в зажатое скалами ущелье, где царствовал Кулау; но такой человек должен был обладать большой смелостью и к тому же знать еле видные глазу козьи тропы. Казалось невероятным, что жалкие беспомощные калеки, составлявшие племя Кулау, сумели пробраться по головокружительным тропинкам в это неприступное место.

— Братья,— начал Кулау.

Но тут один из косноязычных, обезьяноподобных уродов издал безумный, звериный крик, и Кулау замолчал, дожидаясь, когда отзвуки этого пронзительного вопля, перекатившись между скалистыми стенами, замрут вдали, в неподвижном ночном воздухе.

— Братья, не удивительно ли? Наша была эта земля, а теперь она не наша. Что дали нам за нашу землю эти слуги господа бога и господа рома? Получил ли кто из вас за нее хоть доллар, хоть один доллар? А они стали хозяевами и теперь говорят нам, что мы можем работать на земле — на их земле, и что плоды наших трудов тоже достанутся им. В прежние дни нам не нужно было трудиться. И ко всему этому теперь, когда нас поразила болезнь, они отнимают у нас свободу.

— А кто принес нам эту болезнь, Кулау? — спросил сухопарый, жилистый Килолиана, который лицом так напоминал смеющегося фавна, что, казалось, вместо ног у него должны быть копыта. Но это были не копыта, а ноги, только все в крупных язвах и лиловых пятнах гниения. А когда-то Килолиана смелее всех карабкался по горам и знал все козьи тропинки, он-то и привел Кулау и его несчастный народ в безопасные верховья Калалау.

— Это правильный вопрос,— ответил Кулау.— Оттого что мы не хотели работать на сахарных плантациях, где раньше паслись наши кони, они привезли из-за моря рабов-китайцев. А с ними пришла китайская болезнь — та самая, которой мы болеем и за которую нас хотят заточить на Молокаи. Мы родились на Кауаи. Мы бывали и на других островах, кто где: на Оаху, Мауи, Гавайи, в Гонолулу. Но всегда мы возвращались на Кауаи. Почему мы возвращались? Как вы думаете? Потому что мы любим Кауаи. Мы здесь родились, здесь жили. И здесь мы умрем, если... если среди нас нет трусливых душ. Таких нам не нужно. Таким место на Молокаи. И если они есть среди нас, пускай уходят. Завтра на берег высадятся солдаты. Пусть трусливые души спустятся к ним. Их живо отправят на Молокаи. А мы, мы останемся и будем бороться. Но не бойтесь, мы не умрем. У нас есть винтовки. Вы ведь знаете, как узка тропа, двоим на ней не разойтись. Я, Кулау, который ловил когда-то диких быков на Ниихау, один могу защищать эту тропу от тысячи врагов. Вот Капалеи, он раньше был судьей над людьми, почтенным человеком, а теперь он — затравленная крыса, как и мы с вами. Он мудрый, послушайте его.

Капалеи поднялся. Когда-то он был судьей. Он учился в колледже в Пунахоу. Он сидел за одним столом с господами и начальниками и с высокими представителями иностранных держав, охраняющими интересы торговцев и миссионеров. Вот каков был Капалеи в прошлом. А сейчас, как и сказал Кулау, это была затрав-

ленная крыса, человек вне закона, превратившийся в нечто столь страшное, что он был теперь и ниже закона и выше его. Вместо носа и щек у него остались только черные ямы, глаза без век горели под голыми надбровными дугами.

— Мы не затеваем раздоров,— начал он.— Мы просим, чтобы нас оставили в покое. Но если они не оставляют нас в покое — значит, они и затевают раздоры и пусть понесут за это наказание. Вы видите, у меня нет пальцев.— Он поднял свои культышки, чтобы все могли их увидеть.— Но вот от этого большого пальца еще сохранился сустав, и я могу нажать им на спуск так же крепко, как в былые дни,— указательным пальцем, которого нет. Мы любим Кауаи. Так давайте жить здесь или умрем здесь, но не пойдем в тюрьму на Молокаи. Болезнь эта не наша. На нас нет греха. Слуги господа бога и слуги господа рома привезли сюда болезнь вместе с китайскими кули, которые работают на украденной у нас земле. Я был судьей. Я знаю закон и порядок. И я говорю вам: не разрешает закон украсть у человека землю, заразить его китайской болезнью, а потом заточить в тюрьму на всю жизнь.

— Жизнь коротка, и дни наши наполнены страданиями,— сказал Кулау.— Давайте петь и танцевать, и будем счастливы как можем.

Из пещеры в скале принесли калабаши и пустили их вкруговую. Они были наполнены крепчайшей настойкой из корней растения ти; и когда жидкий огонь ударил этим людям в мозг и разлился по телу, они забыли все и снова стали людьми. В женщине, проливавшей жгучие слезы из пустых глазниц, проснулись прежние чувства, и она, перебирая струны своей гитары, запела любовную песню дикарки — песню, что родилась в темных лесных чащах первобытного мира. Воздух дрожал от ее голоса, властного и зовущего. На циновке, подчиняясь ритму песни, плясал Килолиана. Каждое его движение излучало любовь, и рядом с ним на циновке плясала женщина, чьи пышные бедра и высокая грудь странно не вязались с изъеденным болезнью лицом. То была пляска живых мертвецов, ибо в их разлагающихся телах еще таились и любовь и желание. Все громче звучала любовная песня женщины, проливавшей жгучие слезы из невидящих глаз, все упоеннее плясали танцоры пляску любви в теплой ночной тишине, все быстрее ходили по рукам калабаши, и упорным огнем тлели у всех в мозгу воспоминания и страсть.

Рядом с женщиной на циновке плясала тоненькая девушка; лицо у нее было красивое и чистое, но на скрюченных руках, поднимавшихся и падавших в пляске, болезнь уже оставила свой разрушительный след. А оба идиота — страшная, отвратительная пародия на человека — плясали поодаль, бормоча и хрипя что-то невнятное, пародируя любовь.

Но вот любовная песня женщины оборвалась на полуслове, опустились на землю калабаши, и кончилась пляска. Взгляды всех устремились в пропасть, к морю, над которым залитом луною воздухе призрачным огнем сверкнула ракета.

— Это солдаты,— сказал Кулау.— Завтра будет бой. Нужно подкрепиться сном и подготовиться.

Прокаженные повиновались и уползли в свои норы, и скоро Кулау остался один. Он сидел неподвижно в свете луны, положив на колени винтовку и глядя вниз на далекий берег, к которому приставали лодки.

Здесь, наверху, долина Калалау была надежным убежищем. Если не считать Килолианы, знавшего обходные тропы в отвесных стенах ущелья, никто не мог добраться сюда, кроме как по острому горному гребню. Гребень этот тянулся на сотню ярдов в длину; в ширину он был не больше двенадцати дюймов. По обе стороны его зияли пропасти. Стоило поскользнуться — и справа и слева человека ждала верная смерть. Но в конце пути перед ним открывался земной рай. Море зелени омывало ущелье, заливая его от стены до стены зелеными волнами, стекая со скалистых уступов обильными струями лоз и разбрызгивая по всем расщелинам пену папоротников и воздушных корней. Долгие месяцы Кулау и его подданные вели борьбу с этим морем растительности. Им удалось оттеснить буйные цветущие заросли, и теперь бананам, апельсинным и манговым деревьям стало свободнее. На небольших полянках рос дикий аррорут; на каменных террасах, покрытых слоем земли, они развели таро и дыни; и на всех открытых местах, куда проникало солнце, поднимались деревья папайя, отягченные золотыми плодами.

В это убежище Кулау ушел из низовьев долины, от моря. Если бы пришлось уходить и отсюда, у него были на примете другие ущелья, еще выше, среди громоздящихся горных вершин. И теперь он сидел, положив рядом с собою винтовку, и вглядывался сквозь завесу листвы в солдат на далеком берегу. Он разглядел, что они привезли с собой тяжелые пушки, отражавшие солнце, как зеркала. Прямо перед ним тянулся острый гребень. По тропинке, ведущей к нему снизу, ползли крошечные точки — люди. Кулау знал, что это не солдаты, а полиция. У этих ничего не выйдет, и вот тогда за дело возьмутся солдаты.

Он любовно провел искалеченной рукой по стволу винтовки и проверил прицел. Стрелять он научился давно, когда охотился на острове Ниихау, где до сих пор не забыли его меткой стрельбы.

По мере того как движущиеся точки приближались и увеличивались, Кулау определял дистанцию с поправкой на ветер, дувший сбоку, и учитывая возможность перелета по таким низко расположенным целям. Но стрелять он не стал. Он дал им добраться до

начала острого гребня и только тогда обнаружил свое присутствие. Он спросил, не выходя из зарослей:

— Что вам нужно?

— Нам нужен Кулау-прокаженный,— ответил начальник отряда туземной полиции, голубоглазый американец.

— Уходите обратно,— сказал Кулау.

Он знал этого человека: это был шериф — тот, кто не дал ему жить на Ниихау и прогнал его через весь Кауаи в долину Калалау, а оттуда вверх, в ущелье.

— Кто ты? — спросил шериф.

— Я Кулау-прокаженный,— послышалось в ответ.

— Тогда выходи. Ты нам нужен, живой или мертвый. Твоя голова оценена в тысячу долларов. Тебе не уйти.

Кулау громко рассмеялся в своем тайнике.

— Выходи! — скомандовал шериф, но ответом ему было молчание.

Он посовещался с полицейскими, и Кулау понял, что они решили взять его штурмом.

— Кулау! — крикнул шериф.— Кулау, я иду к тебе.

— Тогда погляди сначала на солнце, и небо, и море, потому что больше ты их никогда не увидишь.

— Хорошо, хорошо, Кулау,— сказал шериф примирительным тоном.— Я знаю, что ты стреляешь без промаха. Но в меня ты не станешь стрелять. Я ничем тебя не обидел.

Кулау проворчал что-то.

— Право же,— настаивал шериф,— я ведь ничем тебя не обидел, разве не так?

— Ты обижаешь меня тем, что пытаешься засадить в тюрьму,— прозвучал ответ.— И ты обижаешь меня тем, что пытаешься получить за мою голову тысячу долларов. Если тебе дорога жизнь, стой на месте.

— Я должен до тебя добраться. Что поделаешь, это мой долг.

— Ты умрешь раньше, чем доберешься до меня.

Шериф был не трус, но тут он заколебался. Он посмотрел вниз, в пропасть, окинул взглядом острый, как нож, гребень и решился.

— Кулау! — крикнул он.

Заросли молчали.

— Кулау, не стреляй. Я иду.

Шериф повернулся к полицейским, отдал им какое-то приказание и пустился в свой опасный путь. Он шел медленно. Это напоминало ходьбу по канату. Кроме воздуха, ему не за что было ухватиться. Камни сыпались у него из-под ног и стремительно летели в пропасть. Солнце палило, и по лицу у него катился пот. Но он все шел и наконец достиг половины пути.

— Стой! — скомандовал Кулау из зарослей.— Еще шаг, и я стреляю.

Шериф остановился, покачиваясь над бездной, чтобы удержать равновесие. Он побледнел, но во взгляде его была решимость. Он облизал пересохшие губы и заговорил:

— Кулау, ты не убьешь меня. Я знаю, что не убьешь.

Он снова двинулся вперед. Пуля заставила его перевернуться волчком. Когда он падал, на лице его промелькнуло сердитое недоумение. Он успел подумать, что если упасть на острый гребень, то еще можно спастись — но тут смерть настигла его. Секунда — и гребень был пуст. И тогда пятеро полицейских один за другим смело пустились бегом по острому гребню, а остальные тут же открыли огонь по зарослям. Это было безумием. Кулау нажимал курок так быстро, что пять выстрелов прогремели почти непрерывной очередью. Пригнувшись к самой земле от пуль, со свистом прорезавших кусты, он выглянул из зарослей. Четверо полицейских исчезли так же, как их начальник. Пятый, еще живой, лежал поперек гребня. На дальнем конце толпились остальные полицейские, уже переставшие стрелять. Положение их на этой голой скале было безнадежным: Кулау мог снять их всех до последнего, не дав им спуститься. Но он не стрелял. И после короткого совещания один из полицейских снял с себя белую рубашку и помахал ею, как флагом. Потом он, а за ним и другой пошли по гребню к раненому товарищу. Не выдавая себя ни одним движением, Кулау смотрел, как они медленно отступали и, спустившись вниз, в долину, снова превратились в темные точки.

Два часа спустя Кулау заметил из другого укрытия, что группа полицейских пробует подняться по противоположному склону долины. Дикие козы разбегались от них, а они лезли выше и выше. И наконец, не доверяя самому себе, Кулау послал за Килолианой.

— Нет, здесь им не пройти,— сказал Килолиана.

— А козы? — спросил Кулау.

— Козы пришли из соседней долины, а сюда им не попасть. Дороги нет. Эти люди не умнее коз. Они упадут и разобьются насмерть. Давай посмотрим.

— Они смелые,— сказал Кулау.— Давай посмотрим.

Лежа рядом на ковре из лиан, под свисающими сверху желтыми цветами хау, они смотрели, как крошечные человечки карабкаются вверх,— и то, чего они ждали, случилось: трое полицейских оступились, упали и, докатившись до выступа, камнем полетели вниз.

Килолиана усмехнулся.

— Больше нас не будут тревожить,— сказал он.

— У них есть пушки,— возразил Кулау.— Солдаты еще не сказали своего слова.

Разморенные жарой, прокаженные спали в пещерах. Кулау тоже задремал у своего логовища, держа на коленях начищенную, заряженную винтовку. Девушка с искалеченными руками лежала в зарослях, наблюдая за острым гребнем. Вдруг Кулау вскочил, забыв про сон: на берегу раздался взрыв. В следующее мгновение воздух словно разодрало на части. Этот немыслимый звук испугал его. Казалось, боги схватили небесный покров и рвут его, как женщины рвут на полосы ткань. Страшный звук быстро приближался. Кулау с опаской поднял глаза. И вот снаряд разорвался высоко в горах, и столб черного дыма вырос над ущельем. Утес дал трещину, и обломки полетели к его подножию.

Кулау провел рукой по взмокшему лбу. Он был потрясен. Он еще никогда не слышал орудийной стрельбы и даже не мог себе представить, как это страшно.

— Раз,— сказал Капалеи, решив почему-то вести счет выстрелам.

Второй и третий снаряд с визгом пролетели над ущельем и разорвались за ближайшим хребтом. Капалеи считал. Прокаженные высыпали на открытое место перед пещерами. Вначале стрельба испугала их, но снаряды перелетали через ущелье, и скоро они успокоились и стали любоваться новым для них зрелищем. Оба идиота визжали от восторга и принимались кривляться и прыгать всякий раз, как воздух раздирало снарядом. Кулау почти успокоился. Пушки не причиняли вреда. Наверно, такими большими снарядами и на таком расстоянии невозможно стрелять метко, как из винтовки.

Но вот что-то изменилось. Теперь снаряды не долетали до них. Один разорвался в зарослях у острого гребня. Кулау вспомнил про девушку, которая лежала на страже, и побежал туда. Кусты еще дымились, когда он заполз в чащу. Изумление охватило его. Ветки были поломаны, расщеплены. Там, где он оставил девушку, в земле была яма. Девушку разорвало в клочья. Снаряд попал прямо в нее.

Выглянув из кустов и убедившись, что на гребне нет солдат, Кулау пустился бегом обратно к пещерам. Снаряды летели над ним с воем, свистом, стоном, и вся долина гудела и сотрясалась от взрывов. Перед пещерами весело скакали оба идиота, вцепившись друг в друга полусгнившими пальцами. И вдруг Кулау увидел, как рядом с ними из земли поднялся столб черного дыма. Взрывом их отшвырнуло в разные стороны. Один лежал неподвижно, другой на руках пополз к пещере. Ноги его волочились по земле, из ран хлестала кровь. Он был весь в крови и скулил как собачонка. Все остальные, кроме Капалеи, попрятались в пещеры.

— Семнадцать,— сказал Капалеи и тут же добавил: — Восемнадцать.

Восемнадцатый снаряд упал у самого входа в одну из пещер. Прокаженные высыпали на волю, но из этой пещеры никто не показывался. Кулау вполз в нее, задыхаясь от едкого, вонючего дыма. На земле лежали четыре изуродованных трупа. Среди них была женщина с невидящими глазами, у которой только теперь иссякли слезы.

Подданных Кулау охватила паника, и они уже двинулись по тропе, уводившей из ущелья вверх, в хаос вершин и обрывов. Раненый идиот, тихо подвывая, тащился по земле, стараясь поспеть за остальными. Но у самого начала подъема силы изменили ему, и он скорчился и затих.

— Его нужно убить,— сказал Кулау, обращаясь к Капалеи, который сидел там же, где и раньше.

— Двадцать два,— ответил Капалеи.— Да, лучше убить его. Двадцать три... двадцать четыре.

Увидев направленное на него дуло, идиот громко взвизгнул. Кулау заколебался и опустил винтовку.

— Это не легко,— сказал он.

— Ты дурак. Двадцать шесть, двадцать семь,— сказал Капалеи.— Дай я тебя научу.

Он встал и, подняв с земли тяжелый камень, пошел к раненому. В ту минуту, когда он замахнулся, новый снаряд попал прямо в него, тем самым избавив его от необходимости действовать и подведя итог его счету.

Кулау остался один в ущелье. Он провожал глазами своих подданных, пока последние скрюченные фигуры не исчезли за выступом горы. Потом повернулся и пошел вниз, к зарослям, где убило девушку. Стрельба продолжалась, но он не уходил, так как заметил, что далеко внизу к подъему двинулись солдаты. Один снаряд разорвался в десяти шагах от него. Распластавшись на земле, Кулау слышал, как осколки пролетели над ним. Цветы хау посыпались на него дождем. Он поднял голову, посмотрел на тропинку и вздохнул. Ему было очень страшно. Пули не смутили бы его, но орудийный огонь вселял в него ужас. При каждом выстреле он, дрожа, припадал к земле, но всякий раз опять поднимал голову и следил за тропинкой.

Наконец стрельба прекратилась. Верно, потому, решил он, что солдаты уже близко. Они ползли по тропинке гуськом, и он стал было считать их, но сбился со счета. Их было не меньше сотни, и все они пришли за ним — Кулау-прокаженным. На мгновение в нем вспыхнула гордость. С винтовками и пушками, с полицией и солдатами они идут за ним, а он — один, да еще больной, калека. За него, живого или мертвого, обещана тысяча долларов. Во всю свою жизнь он не имел столько денег. Это была горькая мысль. Капалеи сказал правду, Он, Кулау, никому не сделал зла. Просто

белым людям нужны были рабочие руки на краденой земле, и они привезли китайских кули, а с ними пришла болезнь. И теперь, оттого что его заразили этой болезнью, он стоит тысячу долларов, но ему-то их не получить! Его труп, сгнивший от болезни или разорванный снарядом,— вот за что будут выплачены эти огромные деньги.

Когда солдаты добрались до острого гребня, Кулау хотел было предупредить их, но взгляд его упал на убитую девушку, и он смолчал. Когда на тропинке показался шестой солдат, он открыл огонь и стрелял до тех пор, пока тропинка не опустела. Он выпускал пули, снова заряжал винтовку и снова стрелял не переставая. Все старые обиды горели у него в мозгу, им овладела ярость и жажда мщения. Растянувшись по всей тропе, солдаты тоже стреляли, и хотя они залегли, стараясь укрыться в неглубоких выемках, целиться по ним было легко. Пули свистели и ударялись вокруг Кулау, со звоном отскакивая от камней. Одна пуля царапнула его по черепу, другая обожгла лопатку, не оцарапав кожи. Это было настоящее побоище, и учинил его один человек. Солдаты стали отступать, унося раненых. Снимая их выстрелами одного за другим, Кулау вдруг почуял запах горелого мяса. Он огляделся по сторонам, но потом понял, что это его пальцы горят от накалившейся винтовки. Проказа разрушила нервы рук. Мясо горело, и он слышал запах, а боли не чувствовал.

Он лежал в зарослях и улыбался, но вдруг вспомнил о пушках. Они, вероятно, замолчали ненадолго и теперь уже будут стрелять прямо по зарослям, откуда он вел огонь. Не успел он отодвинуться за выступ скалы, куда, по его наблюдениям, снаряды не попадали, как обстрел возобновился. Кулау считал: еще шестьдесят снарядов выпустили из пушки по ущелью, а потом замолчали. Небольшая площадь была так изрыта воронками, что, казалось, ничего живого там не могло остаться. Солдаты так и решили и под палящими лучами послеполуденного солнца снова полезли вверх по тропе. И снова им не удалось пройти по гребню, и снова они отступили к морю.

Еще два дня Кулау удерживал тропу, хотя солдаты продолжали обстреливать его укрытие из пушек. На третий день на скалистой гряде, нависавшей над ущельем, показался один из прокаженных, мальчик Пахау, и прокричал ему, что Килолиана, охотясь на коз, чтобы им всем не умереть с голоду, упал и разбился и что женщины перепуганы и не знают, что делать. Кулау велел мальчику спуститься и, дав ему запасную винтовку, оставил его сторожить тропу, а сам поднялся к своим подданным. Они совсем пали духом. Большинство из них были слишком слабы, чтобы добывать себе пищу в таких тяжких условиях, поэтому все они голодали. Кулау выбрал двух женщин и мужчину, у которых болезнь зашла

еще не слишком далеко, и послал их в ущелье за едой и циновками. Остальных он постарался утешить и подбодрить, так что даже самые слабые стали помогать в постройке шалашей.

Но посланные за едой не вернулись, и Кулау пошел назад, в ущелье. Когда он появился над обрывом, одновременно щелкнуло пять-шесть затворов. Одна пуля пробила ему мякоть плеча, другая ударилась о скалу, и отлетевшим осколком ему порезало щеку. Он отпрянул назад, но успел заметить, что ущелье кишит солдатами. Его подданные предали его. Они не выдержали ужаса канонады и предпочли ей Молокаи — тюрьму.

Отступив на несколько шагов, Кулау снял с пояса тяжелую патронную сумку. Он залег среди скал и, когда над обрывом поднялась голова и плечи первого солдата, спустил курок. Так повторилось два раза, а потом, после паузы, из-за края обрыва вместо головы и плеч высунулся белый флаг.

— Что вам нужно? — спросил Кулау.

— Мне нужно тебя, если ты — Кулау-прокаженный,— раздался ответ.

Кулау забыл об опасности, забыл обо всем,— он лежал и дивился необычайному упорству этих хаоле — белых людей, которые добиваются своего, несмотря ни на что. Да, они добиваются своего, подчиняют себе все и вся, даже если это стоит им жизни. Он почувствовал восхищение этой их волей, которая сильнее жизни и покоряет все на свете. Он понял, что дело его безнадежно. С волей белого человека спорить нельзя. Убей он их тысячу, они все равно подымутся, как песок морской, и умножатся, и доконают его. Они никогда не признают себя побежденными. В этом их ошибка и их сила. У его народа этого нет. Теперь ему стало понятно, как ничтожная горсть посланцев господа бога и господа рома сумела поработить его землю. Это случилось потому...

— Ну, что же? Пойдешь ты со мной? — Это был голос невидимого человека, державшего белый флаг. Ну да, он настоящий хаоле, идет напролом к своей цели.

— Давай поговорим,— сказал Кулау.

Над обрывом поднялась голова и плечи, а потом и весь человек. Это был молоденький капитан с нежным лицом и голубыми глазами, стройный, подтянутый. Он двинулся вперед, потом по знаку Кулау остановился и сел шагах в пяти от него.

— Ты храбрый,— сказал Кулау задумчиво.— Я могу убить тебя, как муху.

— Нет, не можешь,— ответил тот.

— Почему?

— Потому что ты — человек, Кулау, хоть и скверный. Я знаю твою историю. Убивать ты умеешь.

Кулау проворчал что-то, но в душе он был польщен.

— Что ты сделал с моими людьми? — спросил он.— Где мальчик, две женщины и мужчина?

— Они сдались нам. А теперь твоя очередь,— я пришел за тобой.

Кулау недоверчиво рассмеялся.

— Я свободный человек,— заявил он.— Я никого не обижал. Одного я прошу: чтобы меня оставили в покое. Я жил свободным и свободным умру. Я никогда не сдамся.

— Значит, твои люди умнее тебя,— сказал молодой капитан.— Смотри, вот они идут.

Кулау обернулся. Сверху двигалась страшная процессия: остатки его племени со вздохами и стонами тащились мимо него во всем жалком уродстве.

Но Кулау суждено было изведать еще большую горечь, ибо, поравнявшись с ним, они осыпали его оскорбительной бранью, а старуха, замыкавшая шествие, остановилась и, вытянув костлявую руку с когтями гарпии, оскалив зубы и тряся головой, прокляла его. Один за другим прокаженные перебирались через скалистую гряду и сдавались притаившимся в засаде солдатам.

— Теперь ты можешь идти,— сказал Кулау капитану.— Я никогда не сдамся. Это мое последнее слово. Прощай.

Капитан соскользнул вниз, к своим солдатам. В следующую минуту он поднял надетый на ножны шлем, и пуля, выпущенная Кулау, пробила его насквозь. До вечера они стреляли по нему с берега, и когда он ушел выше, в неприступные скалы, солдаты двинулись за ним следом.

Шесть недель гонялись они за Кулау среди острых вершин и по козьим тропам. Когда он скрывался в зарослях лантаны, они расставляли цепи загонщиков и гнали его, как кролика, сквозь лантановые джунгли и кусты гуава. Но всякий раз он путал следы и ускользал от них. Настигнуть его не было возможности. Если преследователи наседали вплотную, Кулау пускал в дело винтовку, и они уносили своих раненых по горным тропинкам к морю. Случалось, что солдаты тоже стреляли, заметив, как мелькает в чаще его коричневое тело. Однажды они нагнали его впятером на открытом участке тропы и выпустили в него все заряды. Но он, хромая, ушел от них по краю головокружительной пропасти. Позже они нашли на земле пятна крови и поняли, что он ранен. Через шесть недель на него махнули рукой. Солдаты и полицейские возвратились в Гонолулу, предоставив ему долину Калалау в безраздельное пользование, хотя время от времени охотники-одиночки пытались изловить его... на свою же погибель.

Два года спустя Кулау в последний раз заполз в заросли и растянулся на земле среди листьев ти и цветов дикого имбиря. Свободным он прожил жизнь и свободным умирал. Стал накра-

пывать дождь, и он закрыл свои изуродованные ноги рваным одеялом. Тело его защищал клеенчатый плащ. Маузер он положил себе на грудь, заботливо стерев со ствола дождевые капли. На руке, вытиравшей винтовку, уже не было пальцев; он не смог бы теперь нажать на спуск.

Он закрыл глаза, слабость заливала тело, в голове стоял туман, и он понял, что конец его близок. Как дикий зверь он заполз в чащу умирать. В полусознании, в бреду он возвращался мыслью к дням своей юности на Ниихау. Жизнь угасала, все тише стучал по листьям дождь, а ему казалось, что он снова объезжает диких лошадей и строптивый двухлеток пляшет под ним и встает на дыбы; а вот он бешено мчится по корралю, и подручные конюхи разбегаются в стороны и перемахивают через загородку. Минуту спустя, совсем не удивившись этой внезапной перемене, он гнался за дикими быками по горным пастбищам и, набросив на них лассо, вел их вниз, в долину. А в загоне, где шло клеймение, от пота и пыли ело глаза и щипало в носу.

Вся его здоровая, вольная молодость грезилась ему, пока острая боль наступающего конца не вернула его к действительности. Он поднял свои обезображенные руки и в изумлении посмотрел на них. Почему? Как? Как мог он, молодой, свободный, превратиться вот в это? Потом он вспомнил все и на мгновение снова стал Кулау-прокаженным. Веки его устало опустились, шум дождя затих. Томительная дрожь прошла по телу. Потом и это кончилось. Он приподнял голову, но сейчас же снова уронил ее на траву. Глаза его открылись и уже не закрывались больше. Последняя мысль его была о винтовке, и, обхватив ее беспалыми руками, он крепко прижал ее к груди.

1909

ПОД ПАЛУБНЫМ ТЕНТОМ

— Может ли мужчина — я имею в виду джентльмена — назвать женщину свиньей?

Бросив этот вызов всему обществу, маленький человечек вытянулся в шезлонге и медленно пил свой лимонад с видом самоуверенным и настороженно воинственным. Никто не ответил. Все давно привыкли к маленькому человечку, к его вспыльчивости и высокопарности его речей.

— Повторяю, в моем присутствии он сказал, что некая леди, которой никто из вас не знает,— свинья. Он не сказал «поступила

по-свински», а грубо заявил, что она — свинья. А я считаю, что ни один порядочный человек не может так выразиться о женщине.

Доктор Доусон невозмутимо попыхивал черной трубкой. Мэтьюз, обхватив руками согнутые колени, внимательно следил за полетом чайки. Суит, допив виски, искал глазами палубного стюарда.

— Я спрашиваю вас, мистер Трелор,— позволительно ли мужчине назвать женщину свиньей?

Трелор, сидевший рядом с ним, растерялся при этой внезапной атаке; он не понимал, почему именно его заподозрили в том, что он способен назвать женщину свиньей.

— Я бы сказал,— промямлил он неуверенно,— что это... э... зависит от... того, какая... женщина.

Маленький человек был ошеломлен.

— Вы хотите сказать, что...— начал он дрожащим голосом.

— Что я встречал женщин, которые были не лучше свиней, а иногда и хуже.

Наступило долгое напряженное молчание. Маленький человечек, видимо, был потрясен откровенной грубостью этого ответа. На его лице отразились неописуемые боль и обида.

— Вы рассказали о человеке, который выразился невежливо, и высказали свое мнение о нем,— сказал Трелор спокойным, ровным тоном.— Теперь я расскажу вам об одной женщине — прошу прощения, о леди,— и, когда кончу, попрошу вас высказать ваше мнение о ней. Назовем ее хотя бы мисс Кэрьюферз,— просто потому, что ее звали не так. То, о чем я вам расскажу, случилось на одном из пароходов Восточной компании несколько лет тому назад.

Мисс Кэрьюферз была очаровательна. Нет, вернее будет сказать — изумительна. Это молодая девушка и знатная леди. Ее отец занимает высокий пост, фамилии его я называть не буду, так как она, несомненно, всем вам знакома. Девушка эта ехала с матерью к старику на Восток в сопровождении двух горничных.

Она — простите, что я повторяюсь,— была изумительна! Другого слова не подберешь. Говоря о ней, приходится все прилагательные употреблять в превосходной степени. Она делала все, за что ни бралась, лучше всякой другой женщины и лучше, чем большинство мужчин. Как она играла, как пела! Соперничать с ней было невозможно,— это самое сказал какой-то краснобай о Наполеоне. А как она плавала! Будь она профессиональной спортсменкой, она бы прославилась и разбогатела. Она одна из тех редких женщин, которые в простом купальном костюме, без всяких финтифлюшек, еще красивее. Но одевалась она со вкусом настоящей художницы.

Вот я говорил о том, как она плавала. Сложена она была иде-

ально — вы понимаете, что я хочу сказать: не грубая мускулатура акробатки, а безупречность линий, изящество, хрупкость. И вместе с тем — сила. Сочеталось это в ней чудесно. У нее были прелестные руки: у плеч — только намек на мускулы, нежная округлость от локтя до кисти, а кисть крохотная, но сильная. Когда она плыла быстрым английским кролем... ну, я разбираюсь и в анатомии и в спорте, но для меня так и осталось тайной, как она умудрялась это проделывать.

Она могла оставаться под водой две минуты — я проверял с часами в руках. Никто на пароходе, за исключением Деннитсона, не мог, нырнув, собрать со дна столько монет за раз. На носу был устроен наполнявшийся морской водой парусиновый бассейн в шесть футов глубиной. Мы бросали туда мелкие монеты, и я не раз видел, как она, нырнув с мостика в эту шестифутовую глубину (что само по себе было нелегким делом), собирала до сорока семи монет, разбросанных по всему дну. Деннитсон, хладнокровный и сдержанный молодой англичанин, не мог ее ни разу превзойти и только старался всегда не отставать от нее.

Море было ее стихией, но и суша тоже. Она была великолепной наездницей... она была совершенство! Глядя на нее, такую женственную, окруженную всегда полудюжиной пылких поклонников, томно-небрежную или блистающую остроумием, которым она их покоряла и жертвой которого они часто бывали, можно было подумать, что только для этого она и создана. В такие минуты мне приходилось напоминать себе о сорока семи монетах, собранных со дна бассейна. Вот какой была эта чудо-женщина, которая все умела делать хорошо.

Ни один мужчина не мог остаться к ней равнодушным. Не скрою, я тоже ходил за ней по пятам. И молодые щенки, и старые седые псы, которым следовало бы уже образумиться,— все ходили перед ней на задних лапах, и стоило ей свистнуть, как все до одного — от юнца Ардмора, розовощекого девятнадцатилетнего херувима, будущего чиновника в консульстве, до капитана Бентли, седовласого морского волка, который, казалось, не более китайского идола был способен на нежные чувства,— бросались на ее зов. Был среди нас и один приятный, немолодой уже человек,— фамилия его, кажется, Перкинс,— который вспомнил, что с ним едет жена, только тогда, когда мисс Кэрьюферз «поставила его на место».

Мужчины были мягким воском в ее руках, и она лепила из них что хотела, а иногда предоставляла им таять или сгорать,— как ей вздумается. Она была сдержанна и надменна, но любой стюард по ее знаку не колеблясь облил бы супом самого капитана. Кто из вас не встречал подобных женщин, пленяющих всех мужчин на свете? Мисс Кэрьюферз была великая завоевательница сердец. Она

была как удар хлыста, как жало, как пламя, как электрическая искра. И, поверьте мне, при всей ее обаятельности у нее бывали такие вспышки, что жертва ее гнева трепетала и от страха просто теряла голову.

Притом, чтобы лучше понять то, что я вам расскажу, вам следует знать: она была горда. В ней соединялись гордость расовая, кастовая, гордость женщины, сознающей власть своей красоты. Страшная это была гордость, страшная и капризная!

Мисс Кэрьюферз командовала всем и всеми на пароходе и командовала Деннитсоном. Мы признавали, что он намного опередил всю нашу свору. Он нравился девушке все больше и больше, в этом не было сомнения. И я уверен, что никогда она ни к одному мужчине не была так благосклонна. А мы продолжали поклоняться ей, были всегда под рукой, хотя и знали, что за Деннитсоном нам никак не угнаться. Неизвестно, чем бы это кончилось, но мы прибыли в Коломбо; и кончилось все это совсем неожиданно.

Вы помните, как в Коломбо туземные ребятишки ныряют за монетами в кишащую акулами бухту? Конечно, они рискуют это проделывать лишь по соседству с береговыми акулами, которые охотятся только за рыбой. У ребят выработалось какое-то сверхъестественное чутье: стоит появиться страшному людоеду — тигровой или серой акуле, которая забредает сюда из австралийских вод,— и раньше, чем пассажиры разберут, в чем дело, мальчишки все уже выбрались в безопасное место!

Как-то после завтрака мисс Кэрьюферз со своей свитой, по обыкновению, сидела под палубным тентом. Она улыбнулась капитану Бентли, и он разрешил то, чего никогда до сих пор не разрешал: пустить туземных ребятишек на верхнюю палубу. Мисс Кэрьюферз заинтересовалась ими,— ведь она сама была искусным пловцом. Она забрала у нас всю мелочь и принялась бросать монеты за борт, то по одной, то целыми горстями, диктуя условия состязания, браня неудачников, награждая отличившихся,— словом, дирижировала всем.

Ее особенно заинтересовали их прыжки. Как вы знаете, центр тяжести у человека расположен высоко, и при прыжке ногами вниз трудно удержать тело в вертикальном положении и не перевернуться. У мальчишек был свой способ, ей незнакомый, и она объявила, что хочет его изучить. Они прыгали со шлюп-балок согнувшись и только в последний момент выпрямлялись и вертикально входили в воду.

Красивое это было зрелище. Ныряли они, однако, хуже. И только один из них делал превосходно и это, и все остальное. Вероятно, его обучал какой-нибудь белый: он нырял «ласточкой», и притом замечательно красиво. Вы знаете, что это такое: прыга-

ешь вниз головой с большой высоты, и задача в том, чтобы войти в воду под правильным углом. Стоит ошибиться, и рискуешь повредить себе позвоночник, остаться на всю жизнь калекой; нередки и смертельные случаи. Но этот мальчик знал свое дело. Я сам видел, как он нырял с вант, с семидесятифутовой высоты. Прижав руки к груди, откинув голову, он взлетал, как птица, и падал, распростершись в воздухе. Если бы он ударился так о воду, его сплющило бы, как селедку. Но над самой водой голова его опускалась, вытянутые руки сходились над ней, и грациозно изогнутое тело правильно входило в воду.

Мальчик снова и снова повторял свой прыжок, восхищая всех нас, а особенно мисс Кэрьюферз. Ему было не больше тринадцати лет, но он был самым ловким из всей ватаги, любимцем и вожаком своих товарищей. Даже мальчики постарше охотно ему подчинялись. Он был красив: гибок и строен, как молодой бог, живая фигурка из бронзы, с широко расставленными умными и смелыми глазами — весь как чудесный яркий огонек жизни. Бывают и среди животных такие удивительные творения природы — леопард, лошадь. Кто из вас не любовался игрой их стальных мускулов, неукротимой порывистостью, грацией и кипучей жизнерадостностью каждого движения? В этом мальчике жизнь била ключом, она таилась в блеске его кожи, горела в глазах. Взгляд на него освежал, как глоток кислорода,— такой он был чудесный, юный, стремительный и дикий. И этот-то мальчик в самый разгар забавы первый подал сигнал тревоги. Товарищи его изо всех сил поплыли за ним к трапу, вода так и кипела от их беспорядочных движений, фонтаны брызг взлетали вверх. Мальчуганы карабкались наверх, помогая друг другу скорее выбраться из опасного места. Лица у всех были испуганные. Наконец они все выстроились на сходнях, не отводя глаз от поверхности моря.

— Что случилось? — осведомилась мисс Кэрьюферз.

— Акула, наверное,— ответил капитан Бентли.— Пострелятам повезло, что она никого не сцапала.

— Разве они боятся акул? — спросила она.

— А вы? — спросил он в свою очередь.

Она вздрогнула, бросила взгляд в море и сделала гримаску.

— Ни за что в мире я не вошла бы в воду, когда поблизости акула! — Она снова вздрогнула.— Они отвратительны!

Мальчики поднялись на верхнюю палубу и столпились у поручней, с обожанием глядя на мисс Кэрьюферз, бросившую им столько монет. Представление кончилось, и капитан Бентли знаком приказал им убираться. Но мисс Кэрьюферз остановила его:

— Погодите минутку, капитан. А я всегда думала, что туземцы не боятся акул.

Она поманила к себе мальчика, нырявшего «ласточкой», и же-

стом предложила ему прыгнуть еще раз. Он покачал головой, и вся толпа у поручней рассмеялась, как будто услышала веселую шутку.

— Акула,— пояснил он, указывая на воду.

— Нет,— сказала она,— никакой акулы нет!

Но мальчик решительно кивнул, и его товарищи закивали так же решительно.

— Нет тут никаких акул! — воскликнула она и обратилась к нам: — Кто одолжит мне полкроны и соверен?

Немедленно полдюжины рук протянулись к ней с кронами и соверенами. Она взяла две монеты у Ардмора и показала мальчикам полкроны, но ни один не бросился к поручням, мальчики стояли, растерянно ухмыляясь. Она стала предлагать монету каждому отдельно, но каждый только качал головой и улыбался, переминаясь с ноги на ногу. Тогда она бросила ее за борт. Мальчики провожали сверкавшую в воздухе монету взглядами, полными сожаления, но никто не шевельнулся.

— Только не предлагайте им соверена,— шепнул ей Деннитсон.

Не обратив внимания на его слова, она вертела золотой монетой перед глазами мальчика, который нырял «ласточкой».

— Оставьте! — сказал капитан Бентли.— Я и больную кошку за борт не брошу, когда акула близко.

Но мисс Кэрьюферз только рассмеялась, упорствуя в своей затее, и продолжала соблазнять мальчика совереном.

— Не искушайте его,— настаивал Деннитсон.— Это для него целое состояние, и он способен прыгнуть.

— А вы не прыгнули бы? — резко бросила она и добавила мягче: — Если я брошу?

Деннитсон покачал головой.

— Вы дорого себя цените,— заметила она.— Сколько нужно соверенов, чтобы вы прыгнули?

— Столько еще не начеканено,— был ответ.

На мгновение мисс Кэрьюферз задумалась. В стычке с Деннитсоном мальчик был забыт.

— Даже ради меня? — спросила она очень тихо.

— Только если бы надо было спасти вас.

Она снова обернулась к мальчику и показала ему золотой, прельщая его таким огромным богатством. Затем притворилась, что бросает, и он невольно шагнул к поручням; только резкие окрики товарищей удержали его. В голосах их звучали злоба и упрек.

— Я знаю, вы только дурачитесь,— сказал Деннитсон.— Дурачьтесь, сколько хотите, только, ради бога, не бросайте!

Был ли это непонятный каприз, думала ли она, что мальчик

не рискнет прыгнуть в воду,— трудно сказать. Для всех нас это было полной неожиданностью. Золотая монета вылетела из-под тента, сверкнула в ослепительном солнечном свете и, описав сияющую дугу, упала в море. Никто не успел остановить мальчика, и он вмиг очутился за бортом. Он и монета взлетели в воздух одновременно. Красивое было зрелище! Соверен упал в воду ребром, и в ту же секунду в том же месте почти без всплеска нырнул в воду мальчик.

Раздался общий крик ребятишек, у которых глаза были зорче наших, и мы бросились к поручням. Ерунда, что акуле для нападения нужно перевернуться на спину. Эта не перевернулась. Вода была прозрачна, и мы сверху видели все. Акула была крупная и сразу перекусила мальчика пополам.

Кто-то из нас шепотом сказал что-то — не знаю кто,— может быть, и я. Затем наступило молчание. Первой заговорила мисс Кэрьюферз. Лицо ее было смертельно бледно.

— Я... мне и в голову не приходило...— сказала она с коротким истерическим смешком.

Ей понадобилась вся ее гордость, чтобы сохранить самообладание. Она посмотрела на Деннитсона, словно ища поддержки, потом поочередно на каждого из нас. В глазах ее был ужас, губы дрожали. Да, теперь я думаю, что мы были жестоки тогда: никто из нас не шелохнулся.

— Мистер Деннитсон,— сказала она,— Том! Проводите меня вниз.

Он не повернулся, не взглянул на нее, даже бровью не повел, только достал папиросу и закурил, но в жизни я не видел такого мрачного выражения на человеческом лице. Капитан Бентли что-то злобно буркнул и плюнул за борт. И все. И кругом молчание.

Она отвернулась и пошла по палубе решительной походкой, но, не пройдя и десяти шагов, пошатнулась и должна была упереться рукой в стену каюты, чтобы не упасть. Вот так она и шла дальше — медленно, цепляясь за стены.

Трелор умолк и, повернувшись к маленькому человечку, устремил на него холодный вопросительный взгляд.

— Ну,— спросил он наконец,— что вы скажете о ней?

Человечек проглотил слюну.

— Мне нечего сказать,— пробормотал он.— Нечего.

1910

МЕКСИКАНЕЦ

I

Никто не знал его прошлого, а люди из Хунты[1] и подавно. Он был их «маленькой загадкой», их «великим патриотом» и посвоему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в Хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона — одного из платных агентов Диаса[2]. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов! Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали.

На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик, лет восемнадцати, не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Фелипе Ривера и что он хочет работать для революции. Вот и все — ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах — привета. Рослый, стремительный Паулино Вэра внутренне содрогнулся. Этот мальчик показался ему замкнутым, мрачным. Что-то ядовитое, змеиное, таилось в его черных глазах. В них горел холодный огонь, громадная, сосредоточенная злоба. Мальчик перевел взор с революционеров на пишущую машинку, на которой деловито отстукивала маленькая миссис Сэтби. Его глаза на мгновение остановились на ней, она поймала этот взгляд и тоже почувствовала безыменное нечто, заставившее ее прервать свое занятие. Ей пришлось перечитать письмо, которое она печатала, чтобы снова войти в ритм работы.

Паулино Вэра вопросительно взглянул на Ареллано и Рамоса, которые в свою очередь вопросительно взглянули на него и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Этот худенький мальчик был Неизвестностью, и Неизвестностью, полной угрозы. Он был непостижимой загадкой для всех этих революционеров, чья свирепая ненависть к Диасу и его тирании была в конце концов только чувством честных патриотов. Здесь крылось нечто другое, что — они не знали. Но Вэра, самый импульсивный и решительный из всех, прервал молчание.

— Отлично,— холодно произнес он,— ты сказал, что хочешь работать для революции. Сними куртку. Повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас гряз-

[1] Хунта — комитет, общественно-политическая организация *(исп.)*.

[2] Диас Порфирио (1830—1915) — диктатор, в течение долгих лет властвовавший в Мексике. Кровавую диктатуру Диаса разрушила мексиканская революция 1911 года.

ный. Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь, и в других комнатах тоже. Плевательницы надо вычистить. Потом займешься окнами.

— Это для революции? — спросил мальчик.

— Да, для революции,— отвечал Паулино.

Ривера с холодной подозрительностью посмотрел на них всех и стал снимать куртку.

— Хорошо,— сказал он.

И ничего больше. День за днем он являлся на работу — подметал, скреб, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку.

— Можно мне переночевать здесь? — спросил он однажды.

Ага! Вот они и обнаружились — когти Диаса. Ночевать в помещении Хунты — значит найти доступ к ее тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике. Просьбу отклонили, и Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он спал, они не знали; не знали также, когда и где он ел. Однажды Ареллано предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вэра вмешался и стал уговаривать его, он сказал:

— Я работаю для революции.

Нужно много денег для того, чтобы в наше время поднять революцию, и Хунта постоянно находилась в стесненных обстоятельствах. Члены Хунты голодали, но не жалели сил для дела; самый долгий день был для них недостаточно долог, и все же временами казалось, что быть или не быть революции — вопрос нескольких долларов. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение двух месяцев и хозяин угрожал выселением, не кто иной, как Фелипе Ривера, поломойка в жалкой, дешевой, изношенной одежде, положил шестьдесят золотых долларов на конторку Мэй Сэтби. Это стало повторяться и впредь. Триста писем, отпечатанных на машинке (воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследований революционеров в Соединенных Штатах), лежали неотосланные, в ожидании марок. Исчезли часы Вэры, старомодные золотые часы с репетиром, принадлежавшие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэтби. Положение было отчаянное. Рамос и Ареллано безнадежно теребили свои длинные усы. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэтби тысячу двухцентовых марок.

— Уж не проклятое ли это золото Диаса? — сказал Вэра товарищам.

Они подняли брови и ничего не ответили. И Фелипе Ривера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды Хунты.

И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем у них. Он не пускался в откровенности. Отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его.

— Возможно, великий и одинокий дух... не знаю, не знаю! — Ареллано беспомощно развел руками.

— В нем есть что-то нечеловеческое,— заметил Рамос.

— В его душе все притупилось,— сказала Мэй Сэтби.— Свет и смех словно выжжены в ней. Он мертвец, и вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу.

— Ривера прошел через ад,— сказал Паулино.— Человек, не прошедший через ад, не может быть таким, а ведь он еще мальчик.

И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не расспрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять не шевелясь — неодушевленный предмет, если не считать глаз, горевших холодным огнем,— покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла, они смущали их и тревожили.

— Он не шпион,— заявил Вэра, обращаясь к Мэй Сэтби.— Он патриот, помяните мое слово! Лучший патриот из всех нас! Я чувствую это сердцем и головой. И все же я его совсем не знаю.

— У него дурной характер,— сказала Мэй Сэтби.

— Да,— ответил Вэра и вздрогнул.— Он посмотрел на меня сегодня. Эти глаза не могут любить, они угрожают; они злые, как у тигра. Я знаю: измени я делу, он убьет меня. У него нет сердца. Он беспощаден, как сталь, жесток и холоден, как мороз. Он словно лунный свет в зимнюю ночь, когда человек замерзает на одинокой горной вершине. Я не боюсь Диаса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь. Я правду говорю, боюсь. Он — дыхание смерти.

И однако, Вэра, а никто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анджелесом и Нижней Калифорнией[1] была прервана. Трое товарищей сами вырыли себе могилы, и на краю их были расстреляны. Двое других в

---

[1] Мексиканские эмигранты — противники диктатуры Диаса — пытались найти себе приют на территории США. Постепенно одним из центров деятельности патриотических мексиканских организаций, готовивших революцию и поддерживавших из США революционное движение в Мексике, стал город Лос-Анджелес неподалеку от границы мексиканского штата Нижняя Калифорния, через который проходили тайные коммуникации революционеров.

Лос-Анджелесе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварадо, командир федеральных войск, оказался негодяем. Он сумел разрушить все их планы. Они потеряли связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками.

Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварадо был мертв: его нашли в постели, с ножом, по рукоятку ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в Хунте имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали расспрашивать. Он ничего не рассказывал. Товарищи переглянулись между собой и все поняли.

— Я говорил вам,— сказал Вэра.— Больше чем кого-либо Диасу приходится опасаться этого юноши. Он неумолим. Он — карающая десница.

Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сэтби и затем признанный всеми, подтверждался наглядными, чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом, с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там — во внешнем мире, где он ест и пьет, зарабатывает деньги и бродит по путям, им неведомым. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который Хунта выпускала еженедельно. Случалось, однако, что он бывал не в состоянии набирать: то большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела и лицо искажала мучительная боль.

— Бродяга,— говорил Ареллано.

— Завсегдатай злачных мест,— говорил Рамос.

— Но откуда у него деньги? — спрашивал Вэра.— Сегодня я узнал, что он оплатил счет за бумагу — сто сорок долларов.

— Это результат его отлучек,— заметила Мэй Сэтби.— Он никогда не рассказывает о них.

— Надо его выследить,— предложил Рамос.

— Не хотел бы я быть тем, кто за ним шпионит,— сказал Вэра.— Думаю, что вы больше никогда не увидели бы меня, разве только на моих похоронах. Он предан какой-то неистовой страсти. Между собой и этой страстью он не позволит стать даже богу.

— Перед ним я кажусь себе ребенком,— признался Рамос.

— Я чувствую в нем первобытную силу. Это дикий волк, гремучая змея, приготовившаяся к нападению, ядовитая сколопендра! — сказал Ареллано.

— Он — сама революция, ее дух, ее пламя,— подхватил Вэра,— он — воплощение беспощадной, неслышно разящей мести. Он — ангел смерти, неусыпно бодрствующий в ночной тиши.

— Я готова плакать, когда думаю о нем,— сказала Мэй Сэт-

би.— У него нет друзей. Он всех ненавидит. Нас он терпит лишь потому, что мы — путь к осуществлению его желаний. Он одинок, слишком одинок...— Голос ее прервался сдавленным всхлипыванием, и глаза затуманились.

Времяпрепровождение Риверы и вправду было таинственно. Случалось, что его не видели в течение недели. Однажды он отсутствовал месяц. Это неизменно кончалось тем, что он возвращался и, не пускаясь ни в какие объяснения, клал золотые монеты на конторку Мэй Сэтби. Потом опять отдавал Хунте все свое время — дни, недели. И снова, через неопределенные промежутки, исчезал на весь день, заходя в помещение Хунты только рано утром и поздно вечером. Однажды Ареллано застал его в полночь за набором; пальцы у него были распухшие, рассеченная губа еще кровоточила.

II

Решительный час приближался. Так или иначе, но революция зависела от Хунты, а Хунта находилась в крайне стесненных обстоятельствах. Нужда в деньгах ощущалась острее, чем когда-либо, а добывать их стало еще трудней.

Патриоты отдали уже все свои гроши и больше дать не могли. Сезонные рабочие — беглые мексиканские пеоны [1] — жертвовали Хунте половину своего скудного заработка. Но нужно было куда больше. Многолетний тяжкий труд, подпольная подрывная работа готовы были принести плоды. Время пришло. Революция была на чаше весов. Еще один толчок, последнее героическое усилие, и стрелка этих весов покажет победу. Хунта знала свою Мексику. Однажды вспыхнув, революция уже сама о себе позаботится. Вся политическая машина Диаса рассыплется, как карточный домик. Граница готова к восстанию. Некий янки с сотней товарищей из организации «Индустриальные рабочие мира» только и ждет приказа перейти ее и начать битву за Нижнюю Калифорнию. Но он нуждается в оружии. В оружии нуждались все: социалисты, анархисты, недовольные члены профсоюзов, мексиканские изгнанники, пеоны, бежавшие от рабства, разгромленные горняки Кер д'Ален и Колорадо, вырвавшиеся из полицейских застенков и жаждавшие только одного — как можно яростнее сражаться, и наконец, просто авантюристы, солдаты фортуны, бандиты — словом, все отщепенцы, все отбросы дьявольски сложного современного мира. И Хунта держала с ними связь. Винтовок и патронов, патронов и винтовок! — этот несмолкаемый, непрекращающийся вопль несся по всей стране.

Только перекинуть эту разношерстную, горящую местью тол-

---

[1] Пеоны — сельскохозяйственные рабочие в Мексике, чаще всего индейцы.

пу через границу — и революция вспыхнет. Таможня, северные порты Мексики будут захвачены. Диас не сможет сопротивляться. Он не осмелится бросить свои основные силы против них, потому что ему нужно удержать юг. Но пламя перекинется и на юг. Народ восстанет. Оборона городов будет сломлена. Штат за штатом начнет переходить в их руки, и наконец победоносные армии революции со всех сторон окружат город Мехико, последний оплот Диаса.

Но как достать денег? У них были люди, нетерпеливые и упорные, которые сумеют применить оружие. Они знали торговцев, которые продадут и доставят его. Но долгая подготовка к революции истощила Хунту. Последний доллар был израсходован, последний источник вычерпан до дна, последний изголодавшийся патриот выжат до отказа, а великое дело по-прежнему колебалось на весах. Винтовок и патронов! Нищие батальоны должны получить вооружение. Но каким образом? Рамос оплакивал свои конфискованные поместья. Ареллано горько сетовал на свою расточительность в юные годы. Мэй Сэтби размышляла, как бы все сложилось, если б люди Хунты в свое время были экономнее.

— Подумать, что свобода Мексики зависит от нескольких несчастных тысяч долларов! — воскликнул Паулино Вэра.

Отчаяние было написано на всех лицах. Последняя их надежда, новообращенный Хосе Амарильо, обещавший дать деньги, был арестован на своей гасиенде в Чиу-ауа и расстрелян у стен собственной конюшни. Весть об этом только что дошла до них.

Ривера, на коленях скребший пол, поднял глаза. Щетка застыла в его обнаженных руках, залитых грязной мыльной водой.

— Пять тысяч помогут делу? — спросил он.

На всех лицах изобразилось изумление. Вэра кивнул и с трудом перевел дух. Говорить он не мог, но в этот миг в нем вспыхнула надежда.

— Так заказывайте винтовки,— сказал Ривера. Затем последовала самая длинная фраза, какую когда-либо от него слышали: — Время дорого. Через три недели я принесу вам пять тысяч. Это будет хорошо. Станет теплее, и воевать будет легче. Больше я ничего сделать не могу.

Вэра пытался подавить вспыхнувшую в нем надежду. Все это было так неправдоподобно. Слишком много заветных чаяний разлетелось в прах с тех пор, как он начал революционную игру. Он верил этому обтрепанному мальчишке, мывшему полы для революции, и в то же время не смел верить.

— Ты сошел с ума! — сказал он.

— Через три недели,— отвечал Ривера.— Заказывайте винтовки.

Он встал, опустил засученные рукава и надел куртку.

— Заказывайте винтовки,— повторил он.— Я ухожу.

III

После спешки, суматохи, бесконечных телефонных разговоров и перебранки в конторе Келли происходило ночное совещание. Дел у Келли было выше головы; к тому же ему не повезло. Три недели назад он привез из Нью-Йорка Дэни Уорда, чтобы устроить ему встречу с Биллом Карти, но Карти вот уже два дня как лежит со сломанной рукой, что тщательно скрывается от спортивных репортеров. Заменить его некем. Келли засыпал телеграммами легковесов Запада, но все они были связаны выступлениями и контрактами. А сейчас опять вдруг забрезжила надежда, хотя и слабая.

— Ну, ты, видно, не робкого десятка,— едва взглянув на Риверу, сказал Келли.

Злоба и ненависть горели в глазах Риверы, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Я побью Уорда.— Это было все, что он сказал.

— Откуда ты знаешь? Видел ты когда-нибудь, как он дерется?

Ривера молчал.

— Да он положит тебя одной рукой, с закрытыми глазами!

Ривера пожал плечами.

— Что, у тебя язык присох, что ли? — пробурчал директор конторы.

— Я побью его.

— А ты когда-нибудь с кем-нибудь дрался? — осведомился Майкл Келли.

Майкл, брат директора, держал тотализатор в «Йеллоустоуне» и зарабатывал немало денег на боксерских встречах.

Ривера в ответ удостоил его только злобным взглядом.

Секретарь, молодой человек спортивного вида, громко фыркнул.

— Ладно, ты знаешь Робертса? — Келли первый нарушил неприязненное молчание.— Я за ним послал. Он сейчас придет. Садись и жди, хотя по виду у тебя нет никаких шансов. Я не могу надувать публику. Ведь первые ряды идут по пятнадцати долларов.

Появился Робертс, явно подвыпивший. Это был высокий тощий человек с несколько развинченной походкой и медлительной речью.

Келли без обиняков приступил к делу.

— Слушайте, Робертс, вы хвастались, что открыли этого маленького мексиканца. Вам известно, что Карти сломал руку. Так вот, этот мексиканский щенок нахально утверждает, что сумеет заменить Карти. Что вы на это скажете?

— Все в порядке, Келли,— последовал неторопливый ответ.— Он может драться.

— Вы, пожалуй, скажете еще, что он побьет Уорда? — съязвил Келли.

Роберт немного поразмыслил.

— Нет, этого я не скажу. Уорд — классный боец, король ринга. Но в два счета расправиться с Риверой он не сможет. Я Риверу знаю. Это человек без нервов, и он одинаково хорошо работает обеими руками. Он может послать вас на пол с любой позиции.

— Все это пустяки. Важно, сможет ли он угодить публике! Вы растили и тренировали боксеров всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед вашим суждением. Но публика за свои деньги хочет получить удовольствие. Сумеет он ей его доставить?

— Безусловно, и вдобавок здорово измотает Уорда. Вы не знаете этого мальчика, а я знаю. Он — мое открытие. Человек без нервов! Сущий дьявол! Уорд еще ахнет, познакомившись с этим самородком, а заодно ахнете и вы все. Я не утверждаю, что он побьет Уорда, но он вам такое покажет! Это восходящая звезда.

— Отлично.— Келли обратился к своему секретарю: — Позвоните Уорду. Я его предупредил, что если найду что-нибудь подходящее, то позову его. Он сейчас недалеко, в «Йеллоустоуне»: щеголяет там перед публикой и зарабатывает себе популярность.— Келли повернулся к тренеру: — Хотите выпить?

Робертс отхлебнул виски и разговорился.

— Я еще не рассказывал вам, как я открыл этого мальца. Года два назад он появился в тренировочных залах. Я готовил Прэйна к встрече с Дилэни. Прэйн — человек злой. Снисхождения ждать от него не приходится. Он изрядно отколошматил своего партнера, и я никак не мог найти человека, который бы по доброй воле согласился работать с ним. Положение было отчаянное. И вдруг попался мне на глаза этот голодный мексиканский парнишка, который вертелся у всех под ногами. Я зацапал его, надел ему перчатки и пустил в дело. Выносливый — как дубленая кожа, но сил маловато. И ни малейшего понятия о правилах бокса. Прэйн сделал из него котлету. Но он хоть и чуть живой, а продержался два раунда, прежде чем потерять сознание. Голодный — вот и все. Изуродовали его так, что мать родная не узнала бы. Я дал ему полдоллара и накормил сытным обедом. Надо было видеть, как он жрал! Оказывается, у него два дня во рту маковой росинки не было. Ну, думаю, теперь он больше носа не покажет. Не тут-то было. На следующий день явился — весь в синяках, но полный решимости еще раз заработать полдоллара и хороший обед. Со временем он здорово окреп. Прирожденный боец и выно-

лив невероятно! У него нет сердца. Это кусок льда. Сколько я помню этого мальчишку, он ни разу не произнес десяти слов подряд.

— Я его знаю,— заметил секретарь.— Он немало для вас поработал.

— Все наши знаменитости пробовали себя на нем,— подтвердил Робертс.— И он все у них перенял. Я знаю, что многих из них он мог бы побить. Но сердце его не лежит к боксу. По-моему, он никогда не любил нашу работу. Так мне кажется.

— Последние месяцы он выступал по разным мелким клубам,— сказал Келли.

— Да. Не знаю, что его заставило. Или, может быть, вдруг ретивое заговорило? Он многих за это время побил. Скорей всего ему нужны деньги: и он неплохо подработал, хотя по его одежде это и незаметно. Странная личность! Никто не знает, чем он занимается, где проводит время. Даже когда он при деле, и то — кончит работу и сразу исчезает. Временами пропадает по целым неделям. Советов он не слушает. Тот, кто станет его менеджером, наживет капитал; да только с ним не столкуешься. Вы увидите, этот мальчишка будет домогаться всей суммы, когда вы заключите с ним договор.

В эту минуту прибыл Дэнни Уорд. Это было торжественно обставленное появление. В сопровождении менеджера и тренера он ворвался, как всепобеждающий вихрь добродушия и веселья. Приветствия, шутки, остроты расточались им направо и налево, улыбка находилась для каждого. Такова уж была его манера — правда, не совсем искренняя. Уорд был превосходный актер и добродушие считал наилучшим приемом в игре преуспеяния. По существу, это был осмотрительный, хладнокровный боксер и бизнесмен. Остальное было маской. Те, кто знал его или имел с ним дело, говорили, что в денежных вопросах этот малый — жох! Он самолично участвовал в обсуждении всех дел, и поговаривали, что его менеджер не более как пешка.

Ривера был иного склада. В жилах его, кроме испанской, текла еще и индейская кровь; он сидел, забившись в угол, молчаливый, неподвижный, и только его черные глаза, перебегая с одного лица на другое, видели решительно все.

— Так вот он! — сказал Дэнни, окидывая испытующим взглядом своего предполагаемого противника.— Добрый день, старина!

Глаза Риверы пылали злобой, и на приветствие Дэнни он даже не ответил. Он терпеть не мог всех гринго, но этого ненавидел лютой ненавистью.

— Вот это да! — шутливо обратился Дэнни к менеджеру.— Уж не думаете ли вы, что я буду драться с глухонемым? — Когда

смех умолк, он сострил еще раз: — Видно, Лос-Анджелес здорово обеднел, если это — лучшее, что вы могли откопать. Из какого детского сада вы его взяли?

— Он славный малый, Дэнни, верь мне! — примирительно сказал Робертс.— И с ним не так легко справиться, как ты думаешь.

— Кроме того, половина билетов уже распродана,— жалобно протянул Келли.— Придется тебе пойти на это, Дэнни. Ничего лучшего мы сыскать не могли.

Дэнни еще раз окинул Риверу пренебрежительным взглядом и вздохнул.

— Придется мне с ним полегче. А то как бы сразу дух не испустил.

Робертс фыркнул.

— Потише, потише,— осадил Дэнни менеджер.— С неизвестным противником всегда можно нарваться на неприятность.

— Ладно, ладно, я это учту,— улыбнулся Дэнни.— Я готов сначала понянчиться с ним для удовольствия почтеннейшей публики. Как насчет пятнадцати раундов, Келли?.. А потом устроить ему нокаут!

— Идет,— последовал ответ.— Только чтобы публика приняла это за чистую монету.

— Тогда перейдем к делу.— Дэнни помолчал, мысленно производя подсчет.— Разумеется, шестьдесят пять процентов валового сбора, как и с Карти. Но делиться будем по-другому. Восемьдесят процентов меня устроят.— Он обратился к менеджеру: — Подходяще?

Тот одобрительно кивнул.

— Ты понял? — обратился Келли к Ривере.

Ривера покачал головой.

— Так вот слушай,— сказал Келли.— Общая сумма составит шестьдесят пять процентов со сбора. Ты начинающий, и никто тебя не знает. С Дэнни будете делиться так: восемьдесят процентов ему, двадцать тебе. Это справедливо. Верно ведь, Робертс?

— Вполне справедливо, Ривера,— подтвердил Робертс.— Ты же еще не составил себе имени.

— Сколько это, шестьдесят пять процентов со сбора? — осведомился Ривера.

— Может, пять тысяч, а может, даже и все восемь,— поспешил пояснить Дэнни.— Что-нибудь в этом роде. На твою долю придется от тысячи до тысячи шестисот долларов. Очень недурно за то, что тебя побьет боксер с моей репутацией. Что скажешь на это?

Тогда Ривера их ошарашил.

— Победитель получит все,— решительно сказал он.

Воцарилась мертвая тишина.

— Вот это да! — проговорил наконец менеджер Уорда.

Дэнни покачал головой.

— Я стреляный воробей,— сказал он.— Я не подозреваю судью или кого-нибудь из присутствующих. Я ничего не говорю о букмекерах и о всяких надувательствах, что тоже иногда случается. Одно могу сказать: меня это не устраивает. Я играю наверняка. А кто знает — вдруг я сломаю руку, а? Или кто-нибудь опоит меня? — Он величественно вскинул голову.— Победитель или побежденный — я получаю восемьдесят процентов. Ваше мнение, мексиканец?

Ривера покачал головой.

Дэнни взорвало, и он заговорил уже по-другому:

— Ладно же, мексиканская собака! Теперь-то уж мне захотелось расколотить тебе башку.

Робертс медленно поднялся и стал между ними.

— Победитель получит все,— угрюмо повторил Ривера.

— Почему ты на этом настаиваешь? — спросил Дэнни.

— Я побью вас.

Дэнни начал было снимать пальто. Его менеджер знал, что это только комедия. Пальто почему-то не снималось, и Дэнни милостиво разрешил присутствующим успокоить себя. Все были на его стороне. Ривера остался в полном одиночестве.

— Послушай, дуралей,— начал доказывать Келли.— Кто ты? Никто! Мы знаем, что в последнее время ты побил нескольких местных боксеров — и все. А Дэнни — классный боец. В следующем выступлении он будет оспаривать звание чемпиона. Тебя публика не знает. За пределами Лос-Анджелеса никто и не слыхал о тебе.

— Еще услышат,— пожав плечами, отвечал Ривера,— после этой встречи.

— Неужели ты хоть на секунду можешь вообразить, что справишься со мной? — не выдержав, заорал Дэнни.

Ривера кивнул.

— Да ты рассуди,— убеждал Келли.— Подумай, какая это для тебя реклама!

— Мне нужны деньги,— отвечал Ривера.

— Ты будешь драться со мной тысячу лет, и то не победишь,— заверил его Дэнни.

— Тогда почему вы не соглашаетесь? — сказал Ривера.— Если деньги сами идут к вам в руки, чего же от них отказываться?

— Хорошо, я согласен! — с внезапной решимостью крикнул Дэнни.— Я тебя до смерти исколочу на ринге, голубчик мой! Нашел с кем шутки шутить! Пишите условия, Келли! Победитель получает всю сумму. Поместите это в газетах. Сообщите также,

что здесь дело в личных счетах. Я покажу этому младенцу, где раки зимуют!

Секретарь Келли уже начал писать, когда Дэнни вдруг остановил его.

— Стой! — Он повернулся к Ривере.— Когда взвешиваться?

— Перед выходом,— последовал ответ.

— Ни за что на свете, наглый мальчишка! Если победитель получает все, взвешиваться будем утром, в десять.

— Тогда победитель получит все? — переспросил Ривера.

Дэнни утвердительно кивнул. Вопрос был решен. Он выйдет на ринг в полной форме.

— Взвешиваться здесь, в десять,— продиктовал Ривера.

Перо секретаря снова заскрипело.

— Это, значит, лишних пять фунтов,— недовольно заметил Робертс Ривере.— Ты пошел на слишком большую уступку. Продул бой. Дэнни будет силен, как бык. Дурень ты! Он наверняка тебя побьет. Даже малейшего шанса у тебя не осталось.

Вместо ответа Ривера бросил на него холодный, ненавидящий взгляд. Он презирал даже этого гринго, которого считал лучшим из всех.

IV

Появление Риверы на ринге осталось почти незамеченным. В знак приветствия раздались только отдельные жидкие хлопки. Публика не верила в него. Он был ягненком, отданным на заклание великому Дэнни. Кроме того, публика была разочарована. Она ждала эффектного боя между Дэнни Уордом и Биллом Карти, а теперь ей приходилось довольствоваться этим жалким маленьким новичком. Неодобрение ее выразилось в том, что пари за Дэнни заключались два, даже три против одного. А на кого поставлены деньги, тому отдано и сердце публики.

Юный мексиканец сидел в своем углу и ждал. Медленно тянулись минуты. Дэнни заставлял дожидаться себя. Это был старый трюк, но он неизменно действовал на начинающих бойцов. Новичок терял душевное равновесие, сидя вот так, один на один со своим собственным страхом и равнодушной, утопающей в табачном дыму публикой. Но на этот раз испытанный трюк себя не оправдал. Робертс оказался прав: Ривера не знал страха. Более организованный, более нервный и впечатлительный, чем кто бы то ни было из боксеров, этого чувства он не ведал. Атмосфера заранее предрешенного поражения не влияла на него. Его секундантами были гринго: подонки, грязные отбросы этой кровавой игры, бесчестные и бездарные. И они тоже были уверены, что их сторона обречена на поражение.

— Ну, теперь смотри в оба! — предупредил его Спайдер Хэгерти. Спайдер был главным секундантом.— Старайся продержаться как можно дольше — такова инструкция Келли. Иначе растрезвонят на весь Лос-Анджелес, что это опять фальшивая игра.

Все это не способствовало бодрости духа. Но Ривера ничего не замечал. Он презирал бокс. Это была ненавистная игра ненавистных гринго. Начал он ее в роли снаряда для тренировки только потому, что умирал с голоду. То, что он был словно создан для бокса, ничего для него не значило. Он это занятие ненавидел. До своего появления в Хунте Ривера не выступал за деньги, а потом убедился, что это легкий заработок. Не первый из сынов человеческих преуспевал он в профессии, им самим презираемой.

Впрочем, Ривера не вдавался в рассуждения. Он твердо знал, что должен выиграть этот бой. Иного выхода не существовало. Тем, кто сидел в этом переполненном зале, в голову не приходило, какие могучие силы стоят за его спиной. Дэнни Уорд дрался за деньги, за легкую жизнь, покупаемую на эти деньги. То же, за что дрался Ривера, пылало в его мозгу и, пока он ожидал в углу ринга своего хитроумного противника, ослепительные и страшные видения, как наяву, проходили перед его широко открытыми глазами.

Он видел белые стены гидростанции в Рио-Бланко. Видел шесть тысяч рабочих, голодных и изнуренных. Видел ребятишек лет семи-восьми, за десять центов работающих целую смену. Видел мертвенно-бледные лица ходячих трупов — рабочих-красильщиков. Он помнил, что его отец называл эти красильни «камерами самоубийц»,— год работы в них означал смерть. Он видел маленькое патио [1] и свою мать, вечно возившуюся со скудным хозяйством и все же находившую время ласкать и любить сына. Видел и отца, могучего, широкоплечего длинноусого человека, который всех любил и чье сердце было так щедро, что избыток этой любви изливался и на мать и на маленького мучачо [2], игравшего в углу патио. В те дни его звали не Фелипе Ривера, а Фернандес: он носил фамилию отца и матери. Его имя было Хуан. Впоследствии он переменил и то и другое. Фамилия Фернандес была слишком ненавистна полицейским префектам и жандармам.

Большой добродушный Хоакин Фернандес! Немалое место занимал он в видениях Риверы. В те времена малыш ничего не понимал, но теперь, оглядываясь назад, юноша понимал все. Он словно опять видел отца за наборной кассой маленькой типографии или за письменным столом — выводящим бесконечные торопливые неровные строчки. Он опять переживал те таинственные

[1] Патио — внутренний дворик *(исп.)*.
[2] Мучачо — мальчик *(исп.)*.

вечера, когда рабочие под покровом тьмы, точно злодеи, сходились к его отцу и вели долгие нескончаемые беседы, а он, мучачо, без сна лежал в своем уголке.

Откуда-то издалека до него донесся голос Хэгерти:

— Ни в коем случае сразу не ложиться на пол. Такова инструкция. Получай трепку за свои деньги!

Десять минут прошло, а Ривера все еще сидел в своем углу. Дэнни не показывался: видимо, он хотел выжать все, что можно, из своего трюка.

Новые видения пылали перед внутренним взором Риверы. Забастовка, вернее — локаут, потому что рабочие Рио-Бланко помогали своим бастующим братьям в Пуэбло. Голод, хождение в горы за ягодами, кореньями и травами — все они этим питались и мучились резями в желудке. А затем кошмар: пустырь перед лавкой Компании; тысячи голодных рабочих; генерал Росальо Мартинес и солдаты Порфирио Диаса; и винтовки, изрыгающие смерть... Казалось, они никогда не смолкнут, казалось, прегрешения рабочих вечно будут омываться их собственной кровью! И эта ночь! Трупы, целыми возами отправляемые в Вера-Крус [1] на съедение акулам. Сейчас он снова ползает по этим страшным кучам, ищет отца и мать, находит их, растерзанных, изуродованных. Особенно запомнилась ему мать: виднелась только ее голова, тело было погребено под грудой других тел. Снова затрещали винтовки солдат Порфирио Диаса, снова мальчик пригнулся к земле и пополз прочь, точно затравленный горный койот.

Рев, похожий на шум моря, донесся до его слуха, и он увидел Дэнни Уорда, выступающего по центральному проходу со свитой тренеров и секундантов. Публика неистовствовала, приветствуя героя и заведомого победителя. У всех на устах было его имя. Все стояли за него. Даже секунданты Риверы повеселели, когда Дэнни ловко нырнул под канат и вышел на ринг. Улыбка сияла на его лице, а когда Дэнни улыбался, то улыбалась каждая его черточка, даже уголки глаз, даже зрачки. Свет не видывал такого благодушного боксера. Лицо его могло бы служить рекламой, образцом хорошего самочувствия, искреннего веселья. Он знал всех. Он шутил, смеялся, посылал с ринга приветы друзьям. Те, что сидели подальше и не могли выказать ему своего восхищения, громко кричали: «О, о, Дэнни!» Бурные овации продолжались не менее пяти минут.

На Риверу никто не обращал внимания. Его словно и не существовало. Одутловатая физиономия Спайдера Хэгерти склонилась над ним.

---

[1] Вера-Крус — город и порт в Мексике. В военной тюрьме Вера-Крус уничтожали противников Диаса.

— Не поддаваться сразу,— предупредил Спайдер.— Помни инструкцию. Держись до последнего. Не ложиться. Если окажешься на полу, нам велено избить тебя в раздевалке. Понятно? Драться — и точка!

Зал разразился аплодисментами; Дэнни шел по направлению к противнику. Он наклонился, обеими руками схватил его правую руку и сердечно потряс ее. Улыбающееся лицо Дэнни вплотную приблизилось к лицу Риверы. Публика взвыла при этом проявлении истинно спортивного духа: с противником он встретился, как с родным братом. Губы Дэнни шевелились, и публика, истолковывая неслышные ей слова как благожелательное приветствие, снова разразилась восторженными воплями. Только Ривера расслышал сказанное шепотом.

— Ну ты, мексиканский крысенок,— прошипел Дэнни, не переставая улыбаться,— сейчас я вышибу из тебя дух!

Ривера не шевельнулся. Не встал. Его ненависть сосредоточилась во взгляде.

— Встань, собака! — крикнул кто-то с места.

Толпа начала свистеть, осуждая его за неспортивное поведение, но он продолжал сидеть неподвижно. Новый взрыв аплодисментов приветствовал Дэнни, когда тот шел обратно.

Едва Дэнни разделся, послышались восторженные охи и ахи. Тело у него было великолепное — гибкое, дышащее здоровьем и силой. Кожа белая и гладкая, как у женщины. Грация, упругость и мощь были воплощены в нем. Да он и доказал это во множестве боев. Все спортивные журналы пестрели его фотографиями.

Словно стон пронесся по залу, когда Спайдер Хэгерти помог Ривере стащить через голову свитер. Смуглая кожа придавала его телу еще более худосочный вид. Мускулы у него были, но значительно менее эффектные, чем у его противника. Однако публика не разглядела ширины его грудной клетки. Не могла она также угадать, как мгновенно реагирует каждая его мускульная клеточка, не могла угадать неутомимости Риверы, утонченности нервной системы, превращавшей его тело в великолепный боевой механизм. Публика видела только смуглокожего восемнадцатилетнего юношу с еще мальчишеским телом. Другое дело — Дэнни! Дэнни было двадцать четыре года, и его тело было телом мужчины. Контраст этот еще больше бросился в глаза, когда они вместе стали посреди ринга, выслушивая последние инструкции судьи.

Ривера заметил Робертса, сидевшего непосредственно за репортерами. Он был пьянее, чем обычно, и речь его соответственно была еще медлительнее.

— Не робей, Ривера,— тянул Робертс.— Он тебя не убьет, запомни это. Первого натиска нечего пугаться. Защищайся, а потом

иди на клинч. Он тебя особенно не изувечит. Представь себе, что это тренировочный зал.

Ривера и виду не подал, что расслышал его слова.

— Вот угрюмый чертенок! — пробормотал Робертс, обращаясь к соседу.— Какой был, такой и остался.

Но Ривера уже не смотрел перед собой обычным, исполненным ненависти взглядом. Бесконечные ряды винтовок мерещились ему и ослепляли его. Каждое лицо в зале до самых верхних мест ценою в доллар превратилось в винтовку. Он видел перед собой мексиканскую границу, бесплодную, выжженную солнцем; вдоль нее двигались оборванные толпы жаждущих оружия.

Встав, он продолжал ждать в своем углу. Его секунданты уже пролезли под канаты и унесли с собой брезентовый стул. В противоположном углу ринга стоял Дэнни и смотрел на него. Загудел гонг, и бой начался. Публика выла от восторга. Никогда она не видела столь внушительного начала боя. Правильно писали в газетах: тут были личные счеты. Дэнни одним прыжком покрыл три четверти расстояния, отделявшего его от противника, и намерение съесть этого мексиканского мальчишку так и было написано на его лице. Он обрушил на него не один, не два, не десяток, но вихрь ударов, сокрушительных, как ураган. Ривера исчез. Он был погребен под лавиной кулачных ударов, наносимых ему опытным и блестящим мастером со всех углов и со всех позиций. Он был смят, отброшен на канаты; судья разнял бойцов, но Ривера тотчас же был отброшен снова.

Боем это никто бы не назвал. Это было избиение. Любой зритель, за исключением зрителя боксерских состязаний, выдохся бы в первую минуту. Дэнни, несомненно, показал, на что он способен, и сделал это великолепно. Уверенность публики в исходе состязаний, равно как и ее пристрастие к фавориту, была безгранична, она даже не заметила, что мексиканец все еще стоит на ногах. Она позабыла о Ривере. Она едва видела его: так он был заслонен от нее свирепым натиском Дэнни. Прошла минута, другая. В момент, когда бойцы разошлись, публике удалось бросить взгляд на мексиканца. Губа у него была рассечена, из носа лила кровь. Когда он повернулся и вошел в клинч[1], кровавые полосы — следы канатов были ясно видны на его спине. Но вот то, что грудь его не волновалась, а глаза горели обычным холодным огнем,— этого публика не заметила. Слишком много будущих претендентов на звание чемпиона практиковали на нем такие сокрушительные удары. Он научился выдерживать их за полдоллара разовых или за пятнадцать долларов в неделю — тяжелая школа, но она пошла ему на пользу.

[1] Войти в клинч — положение в боксе, когда один из противников зажимает одну или обе руки партнера. Возможен обоюдный клинч.

Затем случилось нечто поразительное. Ураган комбинированных ударов вдруг стих. Ривера один стоял на ринге. Дэнни, грозный Дэнни, лежал на спине! Он не пошатнулся, не опустился на пол медленно и постепенно, он грохнулся сразу. Короткий боковой удар левого кулака Риверы поразил его внезапно, как смерть. Судья оттолкнул Риверу и теперь отсчитывал секунды, стоя над павшим гладиатором.

Тело Дэнни затрепетало, когда сознание понемногу стало возвращаться к нему. В обычае завсегдатаев боксерских состязаний приветствовать удачный нокаут громкими изъявлениями восторга. Но сейчас они молчали. Все произошло слишком неожиданно. В напряженном молчании прислушивался зал к счету секунд, как вдруг торжествующий голос Робертса прорезал тишину:

— Я же говорил вам, что он одинаково владеет обеими руками.

На пятой секунде Дэнни перевернулся лицом вниз; когда судья сосчитал до семи, он уже отдыхал, стоя на одном колене, готовый подняться при счете «девять», раньше, чем будет произнесено «десять». Если при счете «десять» колено Дэнни все еще будет касаться пола, его должны признать побежденным и выбывшим из боя. В момент, когда колено отрывается от пола, он считается «на ногах»; и в этот момент Ривера уже вправе снова положить его. Ривера не хотел рисковать. Он приготовился ударить в ту секунду, когда колено Дэнни отделится от пола. Он обошел противника, но судья втиснулся между ними, и Ривера знал, что секунды тот считает слишком медленно. Все гринго были против него, даже судья.

При счете девять судья резко оттолкнул Риверу. Это было неправильно, зато Дэнни успел подняться, и улыбка снова появилась на его губах. Согнувшись почти пополам, защищая руками лицо и живот, он ловко вошел в клинч. По правилам, судья должен был его остановить, но он этого не сделал, и Дэнни буквально прилип к противнику, с каждой секундой восстанавливая свои силы. Последняя минута раунда была на исходе. Если он выдержит до конца, у него будет потом целая минута, чтобы прийти в себя. И он выдержал, продолжал улыбаться, несмотря на отчаянное положение.

— А все ведь улыбается! — крикнул кто-то, и публика облегченно засмеялась.

— Черт знает какой удар у этого мексиканца! — шепнул Дэнни тренеру, покуда секунданты, не щадя сил, трудились над ним.

Второй и третий раунды прошли бледно. Дэнни, хитрый и многоопытный король ринга, только маневрировал, финтил, стремясь выиграть время и оправиться от страшного удара, полученного им в первом раунде. В четвертом раунде он был уже в фор-

ме. Растерянный и потрясенный, он все же благодаря силе своего тела и духа сумел прийти в себя. Правда, свирепой тактики он уже больше не применял. Мексиканец оказывал потрясающее сопротивление. Теперь Дэнни призвал на помощь весь свой опыт. Этот великий мастер, ловкий и умелый боец, приступил к методическому изматыванию противника, не будучи в силах нанести ему решительный удар. На каждый удар Риверы он отвечал тремя, но этим он скорее мстил противнику, чем приближал его к нокауту. Опасность заключалась в сумме ударов. Дэнни почтительно и с опаской относился к этому мальчишке, обладавшему удивительной способностью обеими руками наносить короткие боковые удары.

В защите Ривера прибег к смутившему противника отбиву левой рукой. Раз за разом пользовался он этим приемом, гибельным для носа и губ Дэнни. Но Дэнни был многообразен в приемах. Поэтому-то его и прочили в чемпионы. Он умел на ходу менять стиль боя. Теперь он перешел к ближнему бою, в котором был особенно страшен, и это дало ему возможность спастись от страшного отбива противника. Несколько раз подряд вызывал он бурные овации великолепным апперкотом[1], поднимавшим мексиканца на воздух и затем валившим его с ног. Ривера отдыхал на одном колене, сколько позволял счет, зная, что для него судья отсчитывает очень короткие секунды.

В седьмом раунде Дэнни применил поистине дьявольский апперкот, но Ривера только пошатнулся. И тотчас же, не дав ему опомниться, Дэнни нанес противнику второй страшный удар, отбросивший его на канаты. Ривера шлепнулся на сидевших внизу репортеров, и они толкнули его обратно на край платформы. Он отдохнул на одном колене, покуда судья торопливо отсчитывал секунды. По ту сторону каната его дожидался противник. Судья и не думал вмешиваться или отталкивать Дэнни. Публика была вне себя от восторга.

Вдруг раздался крик:

— Прикончи его, Дэнни, прикончи!

Сотни голосов, точно волчья стая, подхватили этот вопль.

Дэнни сделал все от него зависящее, но Ривера при счете восемь, а не девять неожиданно проскочил под канат и вошел в клинч. Судья опять захлопотал, отводя Риверу так, чтобы Дэнни мог ударить его, и предоставляя любимцу все преимущества, какие только может предоставить пристрастный судья.

Но Ривера продолжал держаться, и туман в его мозгу рассеялся. Все было в порядке вещей. Эти ненавистные гринго бесчестны все до одного! Знакомые видения снова пронеслись перед

[1] Апперкот — удар снизу.

ним: железнодорожные пути в пустыне; жандармы и американские полисмены; тюрьмы и полицейские застенки; бродяги у водокачек — вся его страшная и горькая одиссея после Рио-Бланко и забастовки. И в блеске и сиянии славы он увидел великую красную Революцию, шествующую по стране. Винтовки! Вот они здесь, перед ним! Каждое ненавистное лицо — винтовка. За винтовки он примет бой. Он сам винтовка! Он сам — Революция! Он бьется за всю Мексику!

Поведение Риверы стало явно раздражать публику. Почему он не принимает предназначенной ему трепки? Ведь все равно он будет побит, зачем же так упрямо оттягивать исход? Очень немногие желали удачи Ривере, хотя были и такие. На каждом состязании немало людей, которые ставят на темную лошадку. Почти уверенные, что победит Дэнни, они все же поставили на мексиканца четыре против десяти и один против трех. Большинство из них ставило на то, сколько раундов выдержит Ривера. Бешеные суммы ставили на то, что он не продержится и до шестого или седьмого раунда. Уже выигравшие эти пари, теперь, когда их рискованное предприятие окончилось так благополучно, на радостях тоже аплодировали фавориту.

Ривера не желал быть побитым. В восьмом раунде его противник тщетно пытался повторить апперкот. В девятом Ривера снова поверг публику в изумление. Во время клинча он легким быстрым движением отодвинулся от противника, и правая рука его ударила в узкий промежуток между их телами. Дэнни упал, надеясь уже только на спасительный счет. Толпа обомлела. Дэнни стал жертвой своего же собственного приема. Знаменитый апперкот правой теперь обрушился на него самого. Ривера не сделал попытки схватиться с ним, когда он поднялся при счете «девять». Судья явно хотел застопорить схватку, хотя, когда ситуация была обратной и подняться должен был Ривера, он стоял не вмешиваясь.

В десятом раунде Ривера дважды прибег к апперкоту, то есть нанес удар правой снизу от пояса к подбородку противника. Бешенство охватило Дэнни. Улыбка по-прежнему не сходила с его лица, но он вернулся к своим свирепым приемам. Несмотря на ураганный натиск, ему не удалось вывести Риверу из строя, а Ривера умудрился среди этого вихря, этой бури ударов три раза кряду положить Дэнни. Теперь Дэнни оживал уже не так быстро, и к одиннадцатому раунду положение его стало очень серьезным. Но с этого момента и до четырнадцатого раунда он демонстрировал все свои боксерские навыки и качества, бережливо расходуя силы. Кроме того, он прибегал к таким подлым приемам, которые известны только опытному боксеру. Все трюки и подвохи были им использованы до отказа: он как бы случайно прижимал локтем к

боку перчатку противника, затыкал ему рот, не давая дышать; входя в клинч, шептал своими рассеченными, но улыбающимися губами в ухо Ривере нестерпимые и грязные оскорбления. Все до единого, начиная от судьи и кончая публикой, держали сторону Дэнни, помогали ему, отлично зная, что у него на уме.

Нарвавшись на такую неожиданность, он все ставил теперь на один решительный удар. Он открывался, финтил, изворачивался во имя этой единственной оставшейся ему возможности: нанести удар, вложив в него всю силу, и тем самым вырвать у противника инициативу. Как это уже было сделано однажды до него неким еще более известным боксером, он должен нанести удар справа и слева, в солнечное сплетение и челюсть. И Дэнни мог это сделать, ибо, пока он держался на ногах, руки его сохраняли силу.

Секунданты Риверы не очень-то заботились о нем в промежутках между раундами. Они махали полотенцами лишь для виду, почти не подавая воздуха его задыхающимся легким. Спайдер Хэгерти усиленно шептал ему советы, но Ривера знал, что следовать им нельзя. Все были против него. Его окружало предательство. В четырнадцатом раунде он снова положил Дэнни, а сам, бессильно опустив руки, отдыхал, покуда судья отсчитывал секунды. В противоположном углу послышалось подозрительное перешептывание. Ривера увидел, как Майкл Келли направился к Робертсу и, нагнувшись, что-то зашептал. Слух у Риверы был как у дикой кошки, и он уловил обрывки разговора. Но ему хотелось услышать больше, и, когда его противник поднялся, он сманеврировал так, чтобы схватиться с ним над самыми канатами.

— Придется! — услышал он голос Майкла Келли. И Робертс одобрительно кивнул.— Дэнни должен победить... Не то я теряю огромную сумму... я всадил в это дело уйму денег. Если он выдержит пятнадцатый — я пропал... Вас мальчишка послушает. Необходимо что-то предпринять.

С этой минуты никакие видения уже не отвлекали Риверу. Они пытаются надуть его! Он снова положил Дэнни и отдыхал, уронив руки. Робертс встал.

— Ну, готов,— сказал он.— Ступай в свой угол.

Он произнес это повелительным тоном, каким не раз говорил с Риверой на тренировочных занятиях. Но Ривера только с ненавистью взглянул на него, продолжая ждать, когда Дэнни поднимется. В последовавший затем минутный перерыв Келли пробрался в угол Риверы.

— Брось эти шутки, черт тебя побери! — зашептал он.— Ложись, Ривера. Послушай меня, и я устрою твое будущее. В следующий раз я дам тебе побить Дэнни. Но сегодня ты должен лечь.

Ривера взглядом показал, что расслышал, но не подал ни знака согласия, ни отказа.

— Что же ты молчишь? — злобно спросил Келли.

— Так или иначе — ты проиграешь,— поддал жару Спайдер Хэгерти.— Судья не отдаст тебе победы. Послушайся Келли и ложись.

— Ложись, мальчик,— настаивал Келли,— и я сделаю из тебя чемпиона.

Ривера не отвечал.

— Честное слово, сделаю! А сейчас выручи меня.

Удар гонга зловеще прозвучал для Риверы. Публика ничего не замечала. Он и сам еще не знал, в чем опасность, знал только, что она приближается. Былая уверенность, казалось, вернулась к Дэнни. Это испугало Риверу. Ему готовили какой-то подвох. Дэнни ринулся на него, но Ривера ловко уклонился. Его противник жаждал клинча. Видимо, это было необходимо ему для задуманного подвоха. Ривера отступал, увертывался, но знал, что рано или поздно ему не избежать ни клинча, ни подвоха. В отчаянии он решил выиграть время. Он сделал вид, что готов схватиться с Дэнни при первом же его натиске. Вместо этого, когда их тела вот-вот должны были соприкоснуться, Ривера отпрянул. В это мгновение в углу Дэнни завопили: «Нечестно!» Ривера одурачил их. Судья в нерешительности остановился. Слова, уже готовые сорваться с его губ, так и не были произнесены, потому что пронзительный мальчишеский голос крикнул с галерки:

— Грубая работа!

Дэнни вслух обругал Риверу и двинулся на него. Ривера стал пятиться. Мысленно он решил больше не наносить ударов в корпус. Правда, таким образом терялась половина шансов на победу, но он знал, что если победит, то только с дальней дистанции. Все равно теперь по малейшему поводу его станут обвинять в нечестной борьбе. Дэнни уже послал к черту всякую осторожность. Два раунда кряду он беспощадно дубасил этого мальчишку, не смевшего схватиться с ним вплотную.

Ривера принимал удар за ударом, он принимал их десятками, лишь бы избегнуть гибельного клинча. Во время этого великолепного натиска Дэнни публика вскочила на ноги. Казалось, все сошли с ума. Никто ничего не понимал. Они видели только одно, их любимец побеждает.

— Не уклоняйся от боя! — в бешенстве орали Ривере.— Трус! Раскройся, щенок! Раскройся! Прикончи его, Дэнни! Твое дело верное!

Во всем зале один Ривера сохранял спокойствие. По темпераменту, по крови он был самым горячим, самым страстным из всех, но он закалился в волнениях настолько больших, что эта бурная страсть толпы, нараставшая, как морские волны, для него была не чувствительнее легкого дуновения вечерней прохлады.

На семнадцатом раунде Дэнни привел в исполнение свой замысел. Под тяжестью его удара Ривера согнулся. Руки его бессильно опустились. Он отступил шатаясь. Дэнни решил, что счастливый миг настал. Мальчишка был в его власти. Но Ривера этим маневром усыпил его бдительность и сам нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Дэнни упал. Три раза он пытался подняться, и три раза Ривера повторил этот удар. Никакой судья не посмел бы назвать его неправильным.

— Билл, Билл! — взмолился Келли, обращаясь к судье.

— Что я могу сделать? — в тон ему отвечал судья.— Мне не к чему придраться.

Дэнни, побитый, но решительный, всякий раз поднимался снова. Келли и другие сидевшие возле самого ринга начали звать полицию, чтобы прекратить его избиение, хотя секунданты Дэнни, отказываясь признать поражение, по-прежнему держали наготове полотенца. Ривера видел, как толстый полисмен неуклюже полез под канаты. Что это может значить? Сколько разных надувательств у этих гринго! Дэнни, поднявшись на ноги, как пьяный, бессмысленно топтался перед ним. Судья и полисмен одновременно добежали до Риверы в тот миг, когда он наносил последний удар. Нужды прекращать борьбу уже не было: Дэнни больше не поднялся.

— Считай! — хрипло крикнул Ривера.

Когда судья кончил считать, секунданты подняли Дэнни и оттащили его в угол.

— За кем победа? — спросил Ривера.

Судья неохотно взял его руку в перчатке и высоко поднял ее.

Никто не поздравлял Риверу. Он один прошел в свой угол, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам и с ненавистью посмотрел на секундантов, затем перевел взгляд дальше и еще дальше, пока не охватил им все десять тысяч гринго. Колени у него дрожали, он всхлипывал в изнеможении. Ненавистные лица плыли и качались перед ним. Но вдруг он вспомнил: это винтовки! Винтовки принадлежат ему! Революция будет продолжаться!

1911

КАК АРГОНАВТЫ В СТАРИНУ...

Летом 1897 года семейство Таруотеров не на шутку всполошилось. Дедушка Таруотер, который, казалось, окончательно покорился своей судьбе и сидел смирнехонько почти полных десять лет, вдруг снова будто с цепи сорвался. На сей раз это была клон-

дайкская горячка. Первым и неизменным симптомом таких припадков было у него то, что он начинал петь. И пел он всегда одну песню, хотя помнил из нее только первую строфу, да и то всего четыре строчки. Стоило ему хриплым басом, превратившимся с годами в надтреснутый фальцет, затянуть:

Как аргонавты в старину,
Спешим мы, бросив дом,
Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За Золотым руном,—

и все семейство уже знало, что ноги у него так и зудят, а мозг сверлит всегдашняя бредовая идея.

Десять лет назад он запел свой гимн, исполнявшийся на мотив «Слава в вышних богу», когда схватил патагонскую золотую горячку. Многочисленное семейство дружно на него насело, но справиться с дедушкой Таруотером было не так просто. Когда все попытки его образумить оказались напрасными, родные решили напустить на старика адвокатов, установить над ним опеку и засадить его в сумасшедший дом — мера вполне уместная в отношении человека, который четверть века назад ухитрился спустить в рискованных спекуляциях огромные владения в Калифорнии, сохранив всего какой-то жалкий десяток акров, и с той поры не выказывал никакой деловой сообразительности. Угроза призвать адвокатов подействовала на Джона Таруотера как хороший горчичник, ибо, по его глубокому убеждению, именно стараниями этих господ, умеющих драть с человека три шкуры, он и лишился всех своих земельных богатств. Немудрено поэтому, что в пору патагонской горячки одной мысли о столь сильно действующем средстве оказалось достаточно, чтобы его излечить. Он мгновенно оправился от горячки и согласился ни в какие Патагонии не ехать, чем и доказал, что находится в здравом уме и твердой памяти.

Но вслед за тем старик совершил поистине безумный поступок, передав родным по дарственной свои десять акров земли, во́ды, дом, сарай и службы. К этому он присовокупил бережно хранимые в банке восемьсот долларов — все, что ему удалось спасти от былого богатства. Тут, однако, близкие не нашли нужным заключать его в сумасшедший дом, сообразив, что это лишило бы дарственную законной силы.

— Дедушка, видать, дуется на нас,— сказала старшая дочь Таруотера, Мэри, сама уже бабушка, когда отец бросил курить.

Старик оставил себе только пару старых кляч, таратайку и свою отдельную комнату в переполненном доме. Больше того, заявив, что не желает быть ничем обязанным детям, он подрядился дважды в неделю возить почту из Кельтервила через гору Таруотер в Старый Альмаден, где в нагорном скотоводческом районе на-

ходились ртутные разработки. На своих клячах ему только-только хватало времени обернуться. И десять лет кряду, и в дождь и в вёдро, он исправно дважды в неделю доставлял почту. Столь же аккуратно каждую субботу вручал он Мэри деньги за стол. Отделавшись от патагонской горячки, он настоял на том, чтобы платить за свое содержание, и пунктуальнейшим образом вносил деньги, хотя для этого ему пришлось отказаться от табака.

Мысли свои на этот счет старик поверял только ветхому колесу старой таруотерской мельницы, которую он собственноручно поставил из росшего здесь мачтового леса. Она молола пшеницу еще для первых поселенцев.

— Э-э! — говорил он.— Пока я сам себя могу прокормить, они не упрячут меня в богадельню. А раз у меня теперь нет ни гроша, никакой мошенник-адвокат не пожалует сюда по мою душу.

И вот, поди ж ты, за эти именно весьма разумные поступки Джона Таруотера стали почитать в округе полоумным!

Впервые он запел «Как аргонавты в старину» весной 1849 года, когда двадцати двух лет от роду, заболев калифорнийской горячкой, продал двести сорок акров земли в Мичигане, из которых сорок уже были расчищены, на все вырученные деньги купил четыре пары волов и фургон и пустился в путь через прерии.

— В Форте Холл мы разделились: часть переселенцев повернула на север к Орегону, а мы двинулись на юг, в Калифорнию,— так он неизменно заканчивал свой рассказ об этом тяжелом переходе.— И в долине Сакраменто, где Каш Слу, мы с Биллом Пингом в кустарниках ловили арканом серых медведей.

Долгие годы он занимался извозом, промывал золото, пока наконец на деньги, вырученные от продажи своей доли в прииске Мерседа, не обосновался в округе Сонома, удовлетворив, таким образом, присущую веку и унаследованную от отцов и дедов ненасытную жадность к земле.

Все десять лет, что старик развозил почту в Таруотерском районе, вверх по долине реки Таруотер и через Таруотерский хребет — территория, некогда почти целиком входившая в его владения,— он мечтал вернуть эти земли, прежде чем ляжет в могилу. И вот теперь, распрямив согбенное годами большое костлявое тело, с вдохновенным пламенем в крохотных, близко посаженных глазках старик опять запел во все горло старую песню.

— Ишь заливается... слышите? — сказал Уильям Таруотер.

— Совсем спятил старик,— посмеялся поденщик Хэррис Топпинг, муж Энни Таруотер и отец ее девятерых детей.

Дверь отворилась, и на пороге кухни показался дедушка Таруотер; он ходил задать корм лошадям. Песнь оборвалась, но Мэри

была в тот день не в духе, потому что обварила себе руку и потому что внучонка, которого начали прикармливать разбавленным по всем правилам коровьим молоком, слабило.

— Пой не пой, ничего у тебя не выйдет, отец,— накинулась она на старика.— Прошло времечко, когда ты мог очертя голову скакать в какой-нибудь Клондайк, пением-то ведь сыт не будешь.

— А я вот голову даю на отсечение, что добрался бы до Клондайка и накопал столько золота, что хватило бы выкупить таруотерскую землю,— спокойно возразил он.

— Старый дуралей! — буркнула себе под нос Энни.

— Меньше чем за триста тысяч да еще с лишком ее не выкупишь,— пытался образумить отца Уильям.

— Вот я и добыл бы триста тысяч да еще с лишком, только бы мне туда попасть,— невозмутимо возразил дедушка Таруотер.

— Слава богу, что туда не дойти пешком, а то вмиг бы отправился, знаю я тебя,— крикнула Мэри.— Ну, а пароходом стоит денег.

— Когда-то у меня были деньги,— смиренно заметил старик.

— А теперь у тебя их нет — так что и толковать не о чем,— сказал Уильям.— Прошло то времечко. Когда-то ты с Биллом Пингом медведей арканом ловил. А теперь и медведи все перевелись.

— Все равно...

Но Мэри не дала ему договорить. Схватив с кухонного стола газету, она яростно потрясла ею перед самым носом своего престарелого родителя.

— А ты читал, что рассказывают тамошние золотоискатели? Вот оно черным по белому написано. Только молодые да сильные выдерживают. На Клондайке хуже, чем на Северном полюсе. Сколько их там погибло! Взгляни-ка на портреты. А ты лет на сорок старше самого старого из них.

Джон Таруотер взглянул, но сейчас же уставился на другие снимки на той же испещренной кричащими заголовками первой странице.

— А ты взгляни, какие они оттуда самородки привезли,— сказал он.— Уж я-то знаю толк в золоте. Худо-бедно двадцать тысяч добыл из Мерседы? Кабы ливень не прорвал мою запруду, так и все бы сто добыл. Попасть бы только в Клондайк...

— Как есть рехнулся,— чуть ли не в глаза старику бросил Уильям.

— Это ты про отца родного! — мягко пожурил его старик Таруотер.— Посмел бы я сказать такое твоему деду, он бы мне все кости переломал вальком.

— Да ты и в самом деле рехнулся...— начал было Уильям.

— Может, ты и прав, сынок. А вот дед твой, тот был в здравом уме и не потерпел бы такого.

— Дедушка, видно, начитался в журналах про людей, которые разбогатели, когда им уже за сорок перевалило,— с насмешкой сказала Энни.

— А почему бы и нет, доченька? — возразил старик.— Почему бы человеку и после семидесяти не разбогатеть? Мне-то семьдесят ведь только нынешний год стукнуло. Может, я бы и разбогател, кабы в этот самый Клондайк попал.

— Так ты туда и не попадешь,— срезала его Мэри.

— Ну что ж, нет так нет,— вздохнул он,— а раз так, можно, пожалуй, и на боковую.

Старик встал из-за стола, высокий, тощий, масластый и корявый, как старый дуб,— величественная развалина крепкого и могучего когда-то мужчины. Косматые волосы и борода его были не седые, а белоснежные, на огромных узловатых пальцах торчали пучки белой щетины. Он пошел к двери, отворил ее, вздохнул и остановился, оглядываясь на сидящих.

— А все-таки ноги у меня так и зудят, так и зудят,— пробормотал он жалобно.

На следующее утро дедушка Таруотер, засветив фонарь, покормил и запряг лошадей, сам позавтракал при свете лампы и, когда все еще в доме спали, уже трясся вдоль речки Таруотер по дороге в Кельтервил. Два обстоятельства были необычны в этой обычной поездке, которую он проделал тысячу сорок раз с тех пор, как подрядился возить почту. Первое то, что, выехав на шоссе, старик повернул не к Кельтервилу, а на юг, к Санта-Роза. А второе — что уже и вовсе странно — у него был зажат между коленями бумажный сверток. В свертке находилась его единственная еще приличная черная пара, которую Мэри давно уже не приказывала ему надевать, не оттого, как догадывался он, что сюртук очень обносился, а потому, что дочь считала одежду достаточно еще приличной, чтобы отца в ней похоронить.

В Санта-Роза, в третьеразрядной лавке подержанного платья, он, не торгуясь, продал пару за два с половиной доллара. Тот же услужливый лавочник дал ему четыре доллара за обручальное кольцо покойной жены. Лошади и шарабан пошли за семьдесят пять долларов; правда, наличными он получил всего двадцать пять. Встретив на улице Алтона Грэнджера, которому он никогда не поминал раньше про взятые им еще в семьдесят четвертом году десять долларов, Таруотер теперь напомнил ему о долге и тотчас получил деньги. Старик перехватил доллар даже у известного всему городу горького пьяницы, который, как это ни удивительно,

оказался при деньгах и с радостью ссудил человека, не раз угощавшего его виски в дни своего благоденствия,— после чего с вечерним поездом Таруотер отбыл в Сан-Франциско.

Две недели спустя с тощим вещевым мешком за плечами, где лежали одеяла и кое-какая теплая одежонка, старик высадился на берег Дайи в самый разгар клондайкской горячки. На берегу стоял сущий содом. Тут было сложено в кучи и разбросано прямо на песке не меньше десяти тысяч тонн всяких припасов и снаряжения, вокруг которых металось два десятка тысяч перекавшихся и оравших во всю глотку людей. Цена за доставку груза через Чилкутский перевал к озеру Линдерман сразу подскочила: вместо шестнадцати центов за фунт индейцы запрашивали теперь тридцать, что составляло шестьсот долларов за тонну. А полярная зима была уже не за горами. Все это знали, и каждый прекрасно понимал, что из двадцати тысяч приезжих лишь очень немногие переберутся через перевалы, остальным же предстоит зазимовать в ожидании нескорой весенней оттепели.

Вот на этот-то берег и ступил старый Джон, миновал его и, мурлыча под нос свою песенку, сходу направил стопы прямо вверх по тропе к перевалу, как древний аргонавт, не заботясь о снаряжении, потому что снаряжения у него никакого и не было. Ночь он провел на косе в пяти милях вверх по течению Дайи; выше этого места уже нельзя было плыть даже на каноэ. Река, бравшая свое начало от высокогорных ледников, вырывалась здесь из мрачного ущелья и превращалась в бурный поток.

И здесь рано утром он был свидетелем того, как щупленький человек не более ста фунтов весом, шатаясь под тяжестью привязанного за плечами стофунтового мешка с мукой, опасливо переправлялся по бревну. Видел он и то, как человек сорвался с бревна, упал вниз лицом в тихую протоку, где не было и двух футов глубины, и преспокойно стал тонуть. Ему вовсе не хотелось так легко расстаться с белым светом, просто мешок, весивший столько же, сколько и он сам, не давал ему подняться.

— Спасибо, старина,— сказал он Таруотеру, когда тот помог ему встать на ноги и выкарабкаться на берег.

Расшнуровывая башмаки и выливая из них воду, незнакомец разговорился, затем вытащил золотой и протянул его своему спасителю.

Но старик Таруотер, у которого зуб на зуб не попадал после ледяной ванны, отрицательно покачал головой:

— Вот по-приятельски с тобой перекусить, пожалуй, не откажусь.

— Ты что, еще не завтракал? — с явным любопытством оглядывая Таруотера, спросил человечек, который назвался Энсоном и которому на вид было лет сорок.

— Маковой росинки во рту не было,— признался Джон Таруотер.

— А где ж твои припасы, отец? Впереди?

— Нету у меня никаких припасов.

— Думаешь купить продовольствие на месте?

— Не на что покупать, дружище, денег нету ни цента. Да это не важно, мне бы сейчас вот перехватить чего-нибудь горяченького.

В лагере Энсона — примерно в четверти мили дальше — Таруотер увидел долговязого рыжебородого мужчину лет тридцати; он, чертыхаясь, тщетно пытался разжечь костер из сырого тальника. Представленный как Чарльз, молодой человек всю свою злость перенес на старика и сердито посмотрел на него исподлобья, но Таруотер, делая вид, что ничего не заметил, занялся костром; рыжебородый умудрился наложить камней с подветренной стороны. Таруотер откинул их, утренний ветерок усилил тягу, и вскоре вместо валившего от тальника дыма заполыхал огонь. Тут подоспел и третий их компаньон, Билл Уилсон, или Большой Билл, как прозвали его товарищи, с тюком в сто сорок фунтов весом, и Чарльз подал весьма скверный, по мнению Таруотера, завтрак. Каша сверху не проварилась, а снизу подгорела, бекон обуглился, кофе больше походил на помои.

Наспех проглотив завтрак, трое компаньонов забрали лямки и отправились назад по тропе примерно за милю, к месту последней стоянки, чтобы перетащить остатки своего добра. Но и старик Таруотер тоже не сидел сложа руки. Он почистил котел, вымыл миски, натаскал валежнику, зашил порванную лямку, наточил кухонный нож и лагерный топорик и по-новому увязал кирки и лопаты, чтобы ловчее было нести.

За завтраком старика поразило, что Энсон и Большой Билл почему-то с особым почтением относятся к Чарльзу. И когда Энсон, принеся очередной стофунтовый тюк, сел передохнуть, Таруотер издалека завел об этом разговор.

— Видишь ли,— ответил Энсон,— мы поделили между собой обязанности. У нас у каждого своя специальность. Я вот, к примеру, плотник. Когда мы доберемся до озера Линдерман, навалим лесу и распилим на доски, постройкой лодки распоряжаться буду я. Большой Билл — шахтер и лесоруб. Так что он будет ведать разделкой леса и всем, что касается добычи. Больше половины нашего груза уже на перевале. Мы все деньги спустили индейцам, чтобы подтащить хоть эту часть на Чилкут. Наш четвертый компаньон сейчас там и пока один перетаскивает снаряжение вниз. Его зовут Ливерпул. Он — моряк. Так вот, когда построим лодку, всем

переходом по озерам и рекам до самого Клондайка командовать будет он.

— А Чарльз? Этот мистер Крейтон, по какой он части?

— Он у нас за коммерсанта и распорядителя. Когда до этого дойдет, он будет заправлять всеми делами.

— Н-да...— задумчиво протянул Таруотер.— Вам повезло! Компания подобралась всех мастей!

— Еще как повезло-то,— простодушно согласился с ним Энсон.— И ведь все, понимаешь, вышло случайно. Отправлялись каждый сам по себе, в одиночку. А на пароходе, когда шли из Сан-Франциско, познакомились и решили ехать артелью... Ну, мне пора, не то Чарльз, что доброго, начнет меня шпынять, что я не управляюсь со своей долей груза. А как мне, мозгляку, который весит всего-то сто фунтов, сравняться с детиной в сто шестьдесят!

Притащив в лагерь еще один тюк и заметив, как ловко старик все там прибрал и устроил, Чарльз сказал Таруотеру:

— Хочешь, оставайся, приготовишь нам чего-нибудь к обеду.

И Таруотер состряпал обед на славу, перемыл всю посуду, а к ужину подал великолепную свинину с бобами и испек в сковороде такой восхитительный хлеб, что трое компаньонов объелись и чуть не полегли костьми. Вымыв посуду после ужина, он нащепал лучины, чтобы утром не канителиться с костром и побыстрее приготовить завтрак, показал Энсону, как нужно обуваться, чтобы не стирались ноги, спел «Аргонавты в старину» и рассказал им о великом переходе через прерии в сорок девятом году.

— Убей меня бог, это первый порядочный привал с тех пор, как мы высадились,— сказал Большой Билл, выбивая трубку и принимаясь стаскивать башмаки на ночь.

— Так-то вроде лучше будет, ребята, а? — добродушно спросил Таруотер.

Все утвердительно кивнули.

— Тогда, ребятки, у меня к вам есть предложение. Хотите принимайте его, хотите нет, а уж выслушать извольте. Вам нужно торопиться попасть на место до ледостава. А один из вас половину времени тратит на стряпню, вместо того чтобы таскать груз. Если я буду на вас стряпать, дело у вас пойдет веселее. И еда будет получше, а с хорошей еды работа спорится. Между делом и я подсоблю с переноской, и побольше, чем вы думаете; не смотрите, что старик,— силенка еще есть.

Большой Билл и Энсон одобрительно было закивали головой, но Чарльз их опередил:

— А что ты за это хочешь? — осведомился он у старика.

— Это уж как все решат.

— Так дела не делаются, твое предложение, тебе и условия ставить,— отчитал его Чарльз.

— Я вот как думал...

— Небось хочешь, чтобы мы тебя всю зиму кормили? — перебил Чарльз.

— Какое там! Мне бы только добраться до Клондайка на вашей лодке, и на том великое спасибо.

— Да ведь у тебя нет никаких припасов, старик. Ты с голоду там помрешь.

— Кормился же я как-то до сих пор,— отвечал Таруотер, и в глазах его зажглись лукавые огоньки.— Вон уж семьдесят стукнуло, а с голоду не помер.

— А подпишешь бумагу, что по прибытии в Доусон обязуешься сам заботиться о своем пропитании? — деловито осведомился Чарльз.

— Почему не подписать, подпишу,— отвечал старик.

Но Чарльз опять не дал товарищам выразить свое удовлетворение состоявшейся сделкой.

— И вот что еще, старик. Нас ведь четверо компаньонов, такие вопросы мы обязаны решать сообща. Впереди с главным грузом Ливерпул, он хоть и молодой, но согласие его тоже требуется, раз его сейчас здесь нет.

— А что он за человек? — полюбопытствовал Таруотер.

— Моряк. Сорвиголова и буян. Характер у него неважный.

— Да, горяченек,— подтвердил Энсон.

— А уж сквернослов и богохульник страсть какой! — удостоверил Большой Билл. Однако тут же добавил: — Но справедлив, этого у него не отнимешь.

Энсон одобрительно закивал, присоединяясь к похвале.

— Ну что ж, ребята,— сказал Таруотер.— В свое время я отправился в Калифорнию и добрался до нее. Доберусь и до Клондайка. Сказал доберусь — и доберусь. И свои триста тысяч из земли добуду, это тоже верно. Как сказал, так оно и будет, потому деньги мне позарез нужны. А дурного характера я не боюсь, лишь бы парень был честный да справедливый. Попытаю счастья, пойду с вами, пока его не нагоним. А уж если он откажет, что ж, в накладе останусь я один. Только мне не верится, чтобы он отказал. До ледостава остались считанные дни, да и поздно мне искать другой оказии. А уж раз я до Клондайка непременно доберусь, значит, нипочем он мне не откажет.

Старый Джон Таруотер вскоре стал одной из самых примечательных фигур на Клондайкской тропе, где путникам никак нельзя было отказать в своеобразии и красочности. Тысячи людей, которым приходилось отмерять каждую милю пути раз по двадцать, чтобы на своем горбу доставить до места полтонны груза, уже знали его в лицо и, встретив, дружески называли «Дедом Морозом». И всегда старик дребезжащим от старости фальцетом пел

за работой свой гимн. Три спутника Таруотера не могли на него пожаловаться. Пусть суставы его плохо гнулись — он не отрицал, что у него небольшой ревматизм,— пусть двигался он медленно, с хрустом и треском, зато он был неустанно в движении. Спать он укладывался последним и вставал раньше всех, чтобы еще до завтрака напоить товарищей кружкой горячего кофе, прежде чем они с первым тюком отправятся к новой стоянке. А между завтраком и обедом и обедом и ужином он всегда ухитрялся и сам перетащить тюк-другой груза. Однако не больше, чем в шестьдесят фунтов весом. Это был его предел. Он мог взвалить на себя и семьдесят пять фунтов, но тогда очень скоро сдавал. А один раз, попытавшись дотащить тюк в девяносто фунтов, свалился на тропе и потом несколько дней чувствовал противную дрожь и слабость в ногах.

Труд, неустанный труд! На тропе, где даже привычные к тяжелой работе мужчины впервые узнавали, что такое труд, никто соразмерно со своими силами не трудился больше, чем старик Таруотер. Подгоняемые страхом перед близостью зимы, подхлестываемые страстной жаждой золота, люди работали из последних сил и падали у дороги. Одни, когда неудача становилась явной, пускали себе пулю в лоб. Другие сходили с ума. Третьи, не выдержав нечеловеческого напряжения, порывали с компаньонами и ссорились насмерть с друзьями детства, которые были ничем их не хуже, а только так же измучены и озлоблены, как и они.

Труд, неустанный труд! Старик Таруотер мог посрамить их всех, несмотря на треск и хруст в суставах и мучивший его сухой кашель. С раннего утра и до позднего вечера, на тропе и в лагере, он всегда был на виду, всегда что-то делал и всегда по первому зову «Дед Мороз» с готовностью откликался. Как часто усталые путники, прислонив к сваленному дереву или выступу скалы рядом с его тюком и свои, просили:

— А ну-ка, дед, спой нам песенку о сорок девятом годе.

И когда Таруотер, тяжело дыша, исполнял их просьбу, снова взваливали на себя поклажу, говорили, что ничто так не подымает дух, и шли дальше.

— Если кто честно заработал свой проезд,— сказал как-то Большой Билл компаньонам,— так это наш старикан.

— Что верно, то верно,— подтвердил Энсон.— Для нас он просто находка, и я лично не прочь бы принять его в нашу артель на полных правах...

— Еще чего! — вмешался Чарльз Крейтон.— Приедем в Доусон — и до свиданья, как уговорились. Какой смысл тащить с собой старика, чтобы его там похоронить. А кроме всего прочего, здесь ждут голода, и каждый сухарь будет на счету. Не забывайте, что нам придется всю дорогу кормить его из своих запасов. Так

что если в будущем году нам нечего будет кусать, пеняйте на себя. Пароходы доставляют продовольствие в Доусон к середине июня, а до этого еще девять месяцев.

— Что ж, ты вложил в дело не меньше денег и снаряжения, чем мы все, и имеешь такое же право голоса,— признал Большой Билл.

— И я этим правом воспользуюсь,— заявил Чарльз со все возрастающим раздражением.— Ваше счастье, что хоть кто-то за вас думает, не то с вашей идиотской жалостью вы все с голоду передохнете. Говорят вам, что будет голод. Здешние порядки мне уже достаточно известны. Мука дойдет до двух долларов за фунт, если не до десяти, да еще ее не достанешь. Вот помяните мое слово.

По осыпям, вверх по мрачному ущелью к Овечьему Поселку, мимо грозно нависших ледников к Весам и от Весов по крутым уступам отшлифованных ледниками скал, где приходилось карабкаться чуть ли не на четвереньках, старый Таруотер носил тюки, стряпал и пел. Через лежащий высоко над границей леса Чилкут он перевалил вместе с первой осенней метелью. Те, кто уже спустились до неприютного берега озера Кратер и мерзли там, не имея даже хворостинки на костер, услышали из надвигавшейся сверху тьмы призрачный голос, который пел:

Как аргонавты в старину,
Спешим мы, бросив дом,
Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За Золотым руном.

И вслед за тем из снежного вихря выступила длинная, сухопарая фигура с развевающимися космами белоснежных, как сама метель, бакенбард, согнувшаяся под тяжестью шестидесятифунтового мешка с лагерными пожитками.

— Дед Мороз! — приветствовали его восторженно.— Ура Деду Морозу!

В двух милях от озера Кратер расположен Счастливый Лагерь, прозванный так потому, что здесь проходит верхняя граница леса и путники могут наконец обогреться у костра. Впрочем, растущие здесь карликовые горные ели лишь с большой натяжкой могут быть названы лесом, ибо даже самые могучие их экземпляры подымают свою крону всего лишь на фут выше мха, а стволы их наподобие портулака скручиваются и вьются подо мхом. Здесь на тропе, ведущей в Счастливый Лагерь, в первый за всю неделю солнечный день, старый Таруотер, прислонив мешок к огромному валуну, остановился перевести дух. Тропа огибала валун, и мимо

старика в одну сторону медленно шагали люди, нагруженные кладью, а обратно спешили другие, налегке, за новым грузом. Дважды пытался Таруотер взвалить мешок на спину и тронуться в путь, и оба раза дрожь в ногах заставляла его прислоняться к камню и ждать, пока не прибудет сил. За валуном раздались приветственные возгласы. Он услышал голос Чарльза Крейтона и понял, что наконец-то они встретились с Ливерпулом. Чарльз сразу же заговорил о деле, и Таруотер от слова до слова слышал, как Чарльз нелестно отозвался о нем и о его, Таруотера, предложении довезти его до Доусона.

— Дурацкое предложение,— заключил Ливерпул, выслушав Чарльза.— Везти к черту на рога дряхлого, семидесятилетнего деда! Если он еле ноги таскает, какого дьявола вы с ним связались? А как же голод? Ведь к тому идет. Тогда каждая щепотка муки самим нужна будет. Запаслись-то мы на четверых, а не на пятерых.

— Да ты не волнуйся. Все это очень просто уладить,— услышал Таруотер, как Чарльз успокаивал компаньона.— Старый чудак согласился подождать, пока мы тебя не нагоним, и за тобой остается последнее слово. Так что тебе нужно только упереться и сказать: «Не хочу».

— Выходит, ты предлагаешь мне отказать старику после того, как вы его обнадежили и пользовались его услугами от самой Дайи?

— Путь тяжелый, и надо быть мужчиной, если хочешь дойти,— оправдывался Чарльз.

— А я, значит, из-за вас подлость делай? — проворчал Ливерпул.

У Таруотера упало сердце.

— Ничего не попишешь,— сказал Чарльз.— Тебе решать.

Но тут старый Таруотер опять воспрянул духом, ибо воздух потряс неистовый циклон брани, среди которой можно было разобрать такие фразы:

— Ах, подлецы... Сперва я вас самих к дьяволу упеку... Я принял решение. Линек вам поперек!.. Старик пойдет с нами по Юкону, заруби себе на носу, голубчик... Мужчина! Я тебе покажу, что значит быть мужчиной!.. Я ни на что не посмотрю, если вы вздумаете отделаться от старика... Только попробуйте, я такое тут светопреставление устрою, что вам небо с овчинку покажется.

И такова была живительная сила этого словоизвержения Ливерпула, что старик, даже не сознавая того, что делает, легко взвалил на плечи свою ношу и бодро зашагал к Счастливому Лагерю.

Весь путь от Счастливого Лагеря к Долгому озеру, от Долгого озера к Глубокому и от Глубокого вверх, через крутой горный хре-

бет, и вниз к Линдерману продолжалась гонка не на жизнь, а на смерть с наступающей зимой. Здоровые мужчины, выбившись из сил, падали в изнеможении и плакали у обочины тропы. Но зима, которой не требовалось ни отдыха, ни передышки, неуклонно надвигалась. Задули пронизывающие осенние ветры, и под проливными дождями и все более частыми снегопадами партия, к которой примкнул Таруотер, свалила наконец последние тюки на берегу озера.

Но отдыхать не пришлось. На противоположной стороне озера со склона горы с ревом сбегал поток; пройдя с милю вверх по течению, они нашли несколько елей и вырыли яму для пилки леса. Здесь вручную, с помощью продольной пилы, они распиливали бревна на доски. Работали круглые сутки. В ночную смену, работая внизу в яме, старый Таруотер раза три терял сознание. А днем он еще и стряпал и между делом помогал Энсону собирать лодку, по мере того как им подбрасывали сырые доски.

Дни становились все короче. Ветер переменился и дул теперь с севера, нагоняя непогоду. По утрам изнуренные путники с трудом выползали из-под одеял и, сидя в одних носках, согревали затвердевшие от мороза башмаки у костра, который Таруотер, встав раньше всех, для них разводил. Слухи о голоде становились все упорнее. Последние суда с продовольствием из Берингова моря застряли из-за мелководья у первых же отмелей Юкона, больше чем на сотню миль севернее Доусона. Они стояли на приколе возле старой фактории Компании Гудзонова залива, в Форте Юкон, по существу за Полярным кругом. Мука в Доусоне дошла до двух долларов за фунт, но и за эту цену ее нельзя было достать. Короли Бонанзы и Эльдорадо, не знавшие счета деньгам, уезжали в Штаты, потому что не могли купить продуктов. Комитеты золотоискателей конфисковали продовольствие и посадили все население на жесткий паек. Того, кто утаивал хотя бы горстку бобов, пристреливали как собаку. Десятка два людей уже постигла такая участь.

Между тем нечеловеческое напряжение, сломившее даже более молодых и крепких мужчин, чем Таруотер, начало сказываться на старике. Он все сильнее кашлял, и если бы его измученные товарищи не спали мертвым сном, не дал бы им глаз сомкнуть всю ночь. Его трясло от озноба, и, укладываясь спать, он старался теперь одеваться потеплее. Когда бедняга забирался наконец под одеяло, в его вещевом мешке не оставалось даже рваного носка. Всю свою жалкую одежонку, все до последней тряпки, он напяливал на себя или обматывал вокруг своего старого, тощего тела.

— Плохи дела! — заметил Большой Билл.— Если старикан в двадцать градусов выше нуля надевает на себя все тряпки, что же он станет делать потом — при минус пятидесяти или шестидесяти?

Они спустили грубо сколоченную лодку вниз по горному потоку, десятки раз рискуя ее разбить, и в снежную бурю переправились через южную оконечность озера Линдерман. На следующее утро им предстояло погрузиться и плыть прямо на север, совершить опаснейший переход в пятьсот миль по озерам, бурным потокам и рекам. Вечером, прежде чем лечь спать, Ливерпул куда-то отлучался из лагеря. Вернулся он, когда все уже спали. Разбудив Таруотера, Ливерпул долго вполголоса с ним беседовал.

— Вот что, отец,— сказал он.— Проезд тебе в нашей лодке обеспечен, и если кто заслужил свое место, так это ты. Но сам понимаешь, годы твои уже не те и здоровьишко твое тоже не ахти какое. Если поедешь с нами, того и гляди концы отдашь. Постой, отец, не перебивай, дай досказать. За проезд теперь платят по пятьсот долларов. Я тут походил и нашел одного пассажира. Он служащий Аляскинского коммерческого банка и должен во что бы то ни стало попасть в Доусон. Он дает шестьсот долларов, чтобы я его взял в своей посудине. Продай ему свое место, ты его честно заработал, забирай эти шестьсот долларов и сыпь к себе на юг, в Калифорнию, пока еще можно умотать. За два дня доберешься до Дайи, а через неделю будешь в Калифорнии. Что ты на это скажешь?

Таруотер долго кашлял и дрожал, прежде чем мог выговорить слово.

— А вот что я тебе скажу, сыночек,— ответил он.— В сорок девятом я гнал свои четыре упряжки волов через прерии и хоть бы один у меня издох. Я пригнал их целехонькими в Калифорнию и потом возил на них грузы из Форта Суттера в Американ Бар. Теперь я еду в Клондайк. Как сказал, так оно и будет. Я поеду в лодке, которую ты поведешь, прямиком до Клондайка и вытрясу там из мха свои триста тысяч долларов. А раз так, то какой же мне смысл продавать мое место? Но большое тебе спасибо, сынок, за заботу, большое спасибо!

Молодой матрос горячо потряс руку старика.

— Ну и молодчина же ты! Ей-ей, отец, поедешь с нами,— воскликнул он и, с откровенным презрением взглянув в сторону храпевшего в рыжую бороду Чарльза Крейтона, добавил: — Такие, как ты, видно больше не родятся, отец!

Пятерка золотоискателей упорно пробивалась на север, хотя встречавшиеся им старожилы качали головами и предвещали, что они на озерах неминуемо вмерзнут в лед. Ледостава и в самом деле надо было ждать со дня на день, и, дорожа каждой минутой, они перестали считаться с опасностью. Так, Ливерпул решил проскочить порожистую протоку, соединяющую озеро Линдерман с озером Беннет, не разгружая лодки. Обычно лодки здесь перегоняли порожняком, а груз перетаскивали на себе. Впрочем, немало

и пустых лодок разбивалось в щепы. Но теперь прошло время для таких предосторожностей.

— Вылезай, папаша,— приказал Ливерпул перед тем, как оттолкнуться от берега и ринуться вниз по протоке.

Но старый Таруотер покачал белой как лунь головой.

— Ну, нет, сынок, я остаюсь с вами,— заявил он.— Тогда наверняка проскочим. Видишь ли, я в Клондайк доберусь. И если буду сидеть в лодке — значит, и она дойдет. А вылезу, так, чего доброго, и лодку потеряем.

— Но и перегружать ее не к чему,— ввернул Чарльз и в ту минуту, когда она отчаливала, выпрыгнул на берег.

— В другой раз без команды не вылезать! — крикнул ему вдогонку Ливерпул, в то время как лодку подхватило течение.— Еще чего выдумал, пешком обходить пороги, а мы жди его, теряй время!

И правда, то, что по воде отняло всего каких-нибудь десять минут, заняло у Чарльза целых полчаса. Поджидая его у впадения протоки в озеро Беннет, путники разговорились с кучкой оборванных старожилов, спешивших выбраться отсюда подобру-поздорову. Слухи о голоде не только подтверждались, но становились все тревожнее. Отряд северо-западной конной полиции, стоявший у южной оконечности озера Марш, где золотоискатели переходят на канадскую территорию, пропускал только тех, кто имел с собой не меньше семисот фунтов продовольствия. В Доусоне больше тысячи человек с собачьими упряжками ждали лишь ледостава, чтобы выехать по первопутку. Торговые фирмы не могли выполнять договоров на поставку продовольствия, и компаньоны тянули жребий, кому уезжать, а кому оставаться разрабатывать участки.

— Значит, и толковать больше не о чем,— заявил Чарльз, узнав о действиях пограничной полиции.— Можешь, старик, с тем же успехом сейчас же поворачивать оглобли.

— Полезай в лодку! — скомандовал Ливерпул.— Мы идем в Клондайк, и дедушка идет с нами.

Северный ветер сменился попутным южным, и по озеру Беннет они шли фордевиндом, под огромным парусом, который смастерил Ливерпул. Тюки со снаряжением и продовольствием служили хорошим балластом, и он выжимал из паруса все, что мог, как и подобает отважному моряку, когда дорога каждая минута. На Оленьей переправе ветер опять как нельзя более кстати отклонился на четыре румба к юго-востоку, погнав их по протоке к озерам Тагиш и Марш. Опасный рукав Уинди-Арм они пересекли на закате, и уже в сумерках, при сильном ветре; тут, на их глазах, опрокинулись и пошли ко дну две другие лодки с золотоискателями.

Чарльз предлагал провести ночь на берегу, но Ливерпул, даже не сбавив хода, повел лодку по Тагишу, определяя направление по шуму прибоя на отмелях и горевшим кое-где вдоль берега кострам менее смелых или потерпевших крушение аргонавтов. Часа в четыре утра он разбудил Чарльза. Окоченевший от холода Таруотер никак не мог уснуть; он заметил, как Ливерпул подозвал к рулю Крейтона, и слышал весь разговор, в котором рыжебородому едва удавалось вставить словечко.

— Вот что, приятель, послушай, что я тебе скажу, а сам попридержи язык,— начал Ливерпул.— Я хочу, чтобы ты зарубил себе на носу: у деда на заставе не должно быть заминки. Понятно? Никакой заминки. Когда полиция начнет досматривать тюки с продовольствием — пятая часть деда, ясно? На каждого из нас получится меньше, чем положено, но как-нибудь вывернемся. Так вот запомни хорошенько: все должно сойти гладко...

— Если ты думаешь, что я могу донести на старого чудака...— возмущенно начал Чарльз.

— Я ничего подобного не говорил, а вот ты, видать, это думал,— оборвал его Ливерпул.— Но вот что я хочу сказать тебе: что ты думал — мне наплевать, важно то, что ты теперь надумаешь. Сегодня во второй половине дня мы будем у заставы. И надо сделать так, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Ну, хватит, надеюсь, ты меня понял.

— Если ты думаешь, что у меня на уме...— начал было Чарльз.

— Послушай,— перебил его Ливерпул.— Что у тебя на уме, я не знаю, да и знать не хочу. Я хочу, чтобы ты наконец понял, что у меня на уме. Если дело сорвется, если полиция отправит деда обратно, я выберу какой-нибудь уголок поживописней, свезу тебя на берег и там так отлуплю, что ты своих не узнаешь. И не мечтай легко отделаться. Поколочу тебя как полагается, как мужчина мужчину, а у меня, сам знаешь, рука тяжелая. Убить не убью, а до полусмерти исколочу, будь уверен.

— Но что я могу сделать? — заскулил Чарльз.

— Только одно. Молить бога! Так горячо молить бога, чтобы полиция пропустила дедушку, что она его пропустит. Больше ничего,— закончил Ливерпул.— А теперь ступай спать.

Они еще не достигли озера Ла-Барж, как земля покрылась пеленой снега, который не сойдет раньше, чем через полгода. Труднее стало приставать к берегу, уже обросшему кромкой льда. В устье реки, при впадении ее в озеро Ла-Барж, укрылось не менее сотни судов задержанных бурей аргонавтов. Уже который день из конца в конец большого озера дул свирепый норд со

снегом. Три утра кряду Ливерпул и его спутники вступали в борьбу с ветром и гонимыми к берегу пенящимися валами, которые захлестывали лодку, покрывая ее ледяной корой. Четверка золотоискателей надрывалась на веслах, а закоченевший Таруотер потому только и остался жив, что непрерывно скалывал лед и выбрасывал его за борт.

И все три дня, доведенные до отчаяния, они вынуждены были бесславно отступать с поля боя и искать прибежища в устье реки. На четвертый день там уже скопилось более трехсот лодок, и все две тысячи аргонавтов хорошо понимали, что, лишь только утихнет шторм, озеро замерзнет. По ту сторону Ла-Баржа быстрые реки еще долго не остановят свой бег, но если сейчас же не переправиться на ту сторону, лодки на целые полгода вмерзнут в лед.

— Сегодня пробьемся,— объявил Ливерпул.— Ни за что не повернем обратно. Хоть сдохнем за веслами, а грести будем.

И пробились. К наступлению темноты они дошли до середины озера и гребли всю ночь напролет; ветер понемногу стих, а они все продолжали грести, засыпая за веслами, тогда Ливерпул расталкивал их, и они снова налегали на весла, будто в бесконечном кошмаре. Меж тем в вышине одна за другой высыпали звезды, волнение улеглось, и гладкое, словно лист бумаги, озеро постепенно стало затягиваться ледяной корочкой, которая под ударами весел похрустывала, как битое стекло.

А когда забрезжило ясное и холодное утро и они вошли в реку, позади расстилалось сплошное море льда. Ливерпул посмотрел на своего престарелого пассажира: по всему было видно, что старик обессилел и едва жив. Но только моряк завернул лодку к кромке прибрежного льда, чтобы обогреть Таруотера у костра и напоить его чем-нибудь горячим, как Чарльз накинулся на него,— нечего, мол, зря тратить время.

— Это тебе не коммерция,— оборвал его Ливерпул,— так что прошу не в свое дело носа не совать. На воде я командир. Вылезай быстрей да топай за валежником, только не вздумай отделаться одной охапкой, чтобы хватило, слышишь! Я займусь дедушкой. Ты, Энсон, разведешь костер. А ты, Билл, пристрой-ка на носу лодки юконскую печурку. Дедушка немного постарше нашего, пусть сидит у печки и греется до самого Доусона.

Так и сделали, и увлекаемая течением лодка, дымя, как заправский речной пароход, своей двурогой печурочной трубой, проскакивала клокочущие пороги, крутилась в водоворотах, мчалась по быстринам и горным потокам, все глубже забираясь на север. Притоки Большой и Малый Лосось несли в реку сало, а за порогами всплыл сверкавший, как хрусталь, донный лед. С каждым часом росла кромка льда у берега; там, где течение замедлялось,

она достигала уже более ста ярдов ширины. А старик, закутанный во все свое тряпье, сидел у печки и поддерживал огонь. Смело устремляясь вперед, они, боясь ледостава, не смели остановиться ни на минуту, а вслед за кормой лодки двигался и все уплотнялся лед.

— Эй там, на баке! — время от времени окликал моряк Таруотера.

— Есть на баке! — научился отвечать старик.

— Как же мне, сынок, тебя отблагодарить? — говорил иногда Таруотер, помешивая в печурке и глядя на Ливерпула, который сидел на заледеневшей корме у руля и, похлопывая о колено, отогревал то одну, то другую руку.

— А ты грянь-ка свою геройскую, про сорок девятый год,— был неизменный ответ.

И Таруотер срывающимся по-петушиному голосом запевал свою песнь, как запел ее, достигнув цели, когда лодка сквозь теснящиеся льдины завернула к доусонскому причалу и весь прибрежный Доусон навострил уши, внимая его победному пеану:

Как аргопавты в старину,
Спешим мы, бросив дом,
Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За Золотым руном.

Чарльз все-таки донес, но он сделал это так хитро и осторожно, что никто из его спутников и всего меньше матрос могли что-либо заподозрить. Еще когда они причаливали, он увидел две большие открытые баржи, на которые сгоняли народ; расспросив у людей, он узнал, что это комитет спасения вылавливает и отправляет вниз по Юкону золотоискателей, не имеющих продовольствия. Тут лелеяли, правда, слабую надежду, что последний пароходик из Доусона все же успеет до ледостава отбуксировать баржи к Форту Юкон, где стояли вмерзшие в лед суда с продовольствием. Как бы то ни было, Доусон, по крайней мере, избавится от лишних ртов. Чарльз тайком сбегал в комитет спасения и предупредил, что сюда прибыл немощный старик без денег и без продовольствия. Таруотера забрали самым последним, и когда Ливерпул вернулся к лодке, он с берега увидел, как окруженные шугой баржи исчезают за поворотом реки у горы Лосевая Шкура.

Продвигаясь все время среди льдов и благополучно миновав несколько заторов на юконских отмелях, баржи проследовали еще на сто с лишним миль далее к северу и вмерзли в лед бок о бок с продовольственным транспортом. Здесь, за Полярным кругом, Таруотер обосновался на всю долгую арктическую зиму. Кормился он тем, что рубил дрова для пароходной компании. Это занима-

ло у него несколько часов в день, остальное время делать было нечего, и он отлеживался в бревенчатой хижине.

Тепло, покой и сытная пища излечили сухой кашель и, насколько это возможно в такие преклонные годы, восстановили его силы. Однако еще до рождества, из-за отсутствия свежих овощей, в лагере объявилась цинга, и приунывшие искатели счастья один за другим укладывались в постель и лежали, не вставая, сутками, малодушно пасуя перед этой последней неудачей. Иное дело Таруотер. Не дожидаясь первых признаков цинги, он стал применять лучшее, по его мнению, средство против этой болезни — моцион. На старой фактории в куче хлама он отыскал несколько заржавленных капканов, а у одного из шкиперов попросил на время ружье.

Снарядившись таким образом, он бросил рубить дрова и стал промышлять не ради одного пропитания. Не пал он духом и тогда, когда сам захворал цингой. По-прежнему обходил он свои капканы и пел свою старинную песню. И ни один пессимист не мог поколебать его твердую уверенность в том, что он вытрясет из мхов Аляски свои триста тысяч долларов.

— Но ведь в здешних местах и золота-то нет,— говорили ему.

— Золото там, где его находят, сынок. Мне ли не знать, ведь я его копал, когда тебя еще на свете не было, в сорок девятом году, вон когда! — не смущаясь, отвечал Таруотер.— Чем была Бонанза? Долинкой, где лоси паслись. Ни один порядочный золотоискатель туда и не заглядывал. А вот намывали же там в лотке по пятьсот долларов и добыли чистых пятьдесят миллионов! А Эльдорадо? Почем знать, может, под этой самой хижиной или вон за той горой лежат миллионы и только того и ждут, чтобы какой-нибудь счастливец вроде меня выкопал их из земли.

Однако в конце января с Таруотером приключилась беда. Какой-то крупный зверь, должно быть рысь, попал в один из капканов поменьше и уволок его. Старик погнался было за ним, но повалил сильный снег, и он потерял след зверя, а когда повернул обратно, не нашел и своего следа. В это время года короткий северный день сменяется двадцатичасовым мраком; снег все валил, и в серых сумерках угасающего дня отчаянные попытки Таруотера отыскать дорогу в Форт привели только к тому, что он окончательно заплутался. По счастью, когда в этих краях выпадает снег, всегда становится теплее, и вместо обычных сорока, пятидесяти и даже шестидесяти градусов ниже нуля температура была минус пятнадцать. К тому же Таруотер был тепло одет, и в кармане у него лежала полная коробка спичек. Облегчило его положение и то, что на пятый день ему удалось добить подстреленного кем-то

лося, который весил больше полутонны. Устроив возле туши подстилку и загородку из хвои, старик приготовился здесь зазимовать, если его не разыщет спасательная партия и не доконает цинга.

Так прошло две недели, но никто его не разыскивал, а цинга явно усилилась. Свернувшись в комок у костра и укрывшись от ветра и холода за своей загородкой из еловых ветвей, Таруотер долгие часы спал и долгие часы бодрствовал. Но, по мере того как им овладевало оцепенение зимней спячки, часы бодрствования все сокращались, становясь не то полудремотой, не то полузабытьем. Искра разума и сознания, носившая имя Джона Таруотера, постепенно угасала, погружаясь в недра первобытного существа, сложившегося задолго до того, как человек стал человеком и в самом процессе развития человека, когда он, первый из зверей, начал приглядываться к себе и создал начальные понятия добра и зла в страшных, словно кошмар, творениях фантазии, где в образах чудовищ выступали его собственные желания, подавленные запретами морали.

Как горячечный больной временами приходит в себя, так Таруотер просыпался, жарил себе мясо и подкладывал сучья в костер, но все чаще и чаще его одолевала апатия, и в безмятежном забытьи он уже не различал, когда грезит наяву и когда во сне. И тут, в заветных катакомбах неписаной истории человечества, он встретил непостижимых и невероятных, как кошмар или бред сумасшедшего, чудовищ, созданных первыми проблесками человеческого сознания, чудовищ, которые и поныне побуждают людей слагать сказки, чтобы уйти от них или бороться с ними.

Короче говоря, под бременем своих семидесяти лет, один среди пустынного безмолвия Севера, Таруотер, словно курильщик опиума или одурманенный снотворным больной, вернулся к младенческому мышлению первобытного человека. Над съежившимся в комок у костра Таруотером черной тенью реяла смерть, а он, как его отдаленный предок, человек-дитя, слагал мифы и молился солнцу, сам и мифотворец и герой, пустившийся на поиски сказочного и трудно достижимого сокровища.

Либо он добудет сокровище,— гласила неумолимая логика этого призрачного царства,— либо погрузится в ненасытное море, во всепожирающий мрак, что каждый вечер проглатывает солнце — солнце, которое наутро встает на востоке и сделалось для человека первым символом бессмертия. Но страна заходящего солнца, где он пребывал в своем забытьи, была не чем иным, как надвигающимися сумерками близкой смерти.

Как же спастись от чудовища, которое медленно пожирало его изнутри? Он чересчур ослаб, чтобы мечтать о спасении или даже чувствовать побуждение спастись. Действительность для него перестала существовать. И не из глубин его затемненного созна-

ния могла она возродиться вновь. Сказывалось бремя лет, болезнь, летаргия и оцепенение, навеянное окружающим безмолвием и холодом. Только извне могла действительность встряхнуть его, пробудить в нем сознание окружающего, не то из призрачного царства теней он неприметно скользнет в полный мрак небытия.

И вот действительность обрушилась на него, ударила по его барабанным перепонкам внезапным громким фырканьем. Двадцать дней подряд стояли пятидесятиградусные морозы, и все эти двадцать дней ни единое дуновение ветерка, ни единый звук не нарушали мертвой тишины. И как курильщик опиума не сразу может оторвать взгляд от просторных хором своих сновидений и с недоумением оглядывает тесные стены жалкой лачуги, так и старый Таруотер уставил мутные глаза на замершего по ту сторону костра огромного лося с перебитой ногой, который, тяжело дыша, в свою очередь уставился на него. Животное, как видно, тоже слепо бродило в призрачном царстве теней и пробудилось к действительности, только наткнувшись на догорающий костер.

Таруотер с трудом стянул с правой руки неуклюжую меховую рукавицу на двойной шерстяной подкладке, но тут же убедился, что указательный палец совсем онемел и не может спустить курок. Казалось, прошла вечность, пока он, опасаясь спугнуть зверя, медленно засовывал бессильную руку под одеяло, затем под свою меховую парку и, наконец, за пазуху, под чуть теплую подмышку. Целая вечность прошла, пока к пальцу вернулась подвижность и Таруотер мог с той же осторожной медлительностью приложить ружье к плечу и нацелиться в стоявшего перед ним лося.

Когда грянул выстрел, один из скитальцев в царстве сумерек рухнул наземь и погрузился во мрак, а другой воспрянул к свету и, шатаясь, как пьяный, на ослабевших от цинги ногах, дрожа от волнения и холода, стал трясущимися руками протирать глаза и озираться на окружающий его реальный мир, который предстал перед ним с головокружительной внезапностью. Таруотер встряхнулся и только тут понял, что долго, очень долго грезил в объятиях смерти. Первое, что он сделал,— это плюнул, слюна еще на лету затрещала — значит, много больше шестидесяти градусов. В тот день спиртовой термометр Форта Юкон показывал семьдесят два градуса ниже нуля, иначе говоря — сто семь градусов мороза, ибо по Фаренгейту точка замерзания — тридцать два градуса выше нуля.

Медленно, словно ворочая тяжести, мозг Таруотера подсказывал ему, что нужно действовать. Здесь, среди пустынного безмолвия, обитает смерть. Сюда пришло два раненых лося. С наступлением сильных морозов небо прояснилось, и Таруотер определил свое местонахождение: лоси могли прийти только с востока. Зна-

чит, на востоке люди — белые или индейцы, неизвестно, но, во всяком случае, люди, которые окажут ему поддержку, помогут пристать к берегу жизни, избежать пучины мрака.

Таруотер взял ружье, патроны, спички, уложил в мешок двадцать фунтов мяса убитого лося — движения его по-прежнему были медленны, но зато он двигался в реальном мире. Засим воскресший аргонавт, прихрамывая на обе ноги, повернулся спиной к гибельному западу и заковылял в сторону животворного востока, где каждое утро вновь восходит солнце...

Много дней спустя — сколько их прошло, он так никогда и не узнал,— грезя наяву, галлюцинируя и бормоча свою неизменную песнь о сорок девятом годе, словно человек, который тонет и из последних сил барахтается, чтобы его не затянула темная глубина, Таруотер вышел на снежный склон и увидел в ущелье, внизу, вьющийся дымок и людей, которые, бросив работать, глядели на него. Не переставая петь, он, спотыкаясь, устремился к ним, а когда у него пресеклось дыхание и он умолк, они закричали на все лады: «Смотрите. Николай-чудотворец! — Борода! — Последний из могикан! — Дед Мороз!» Они обступили старика, а он стоял неподвижно, не в силах вымолвить слова, и только крупные слезы катились у него по щекам. Он долго беззвучно плакал, потом, будто опомнившись, сел в сугроб, так что его старые кости хрустнули, и из этого удобного положения повалился на бок, облегченно вздохнул и лишился чувств.

Не прошло и недели, как Таруотер уже снова был на ногах и, ковыляя по хижине, стряпал, мыл посуду и хозяйничал у пятерых обитателей ущелья. Настоящие старожилы-пионеры, люди мужественные и привыкшие к лишениям, они так далеко забрались за Полярный круг, что ничего не слыхали о золоте, найденном в Клондайке. Таруотер первый принес им эту весть. Питались они мясом лосей, олениной, копченой рыбой, дополняя этот почти исключительно мясной стол ягодами и сочными кореньями каких-то диких растений, которые заготовляли еще с лета. Они забыли вкус кофе, зажигали огонь с помощью увеличительного стекла, в дорогу брали с собой трут и палочки, как индейцы, курили в трубках засушенные листья, от которых першило в горле и шел невыносимый смрад.

Три года назад они вели разведку к северу от верховьев Коюкука и до самого устья Маккензи на побережье Северного Ледовитого океана. Здесь на китобойных судах они в последний раз видели белых людей и в последний раз пополнили свои запасы товарами белого человека, главным образом солью и курительным табаком. Направившись на юго-запад в длительный переход к сли-

янию Юкона и Поркюпайна у Форта Юкон, они наткнулись в русле пересохшего ручья на золото и остались тут его добывать.

Появление Таруотера обрадовало золотоискателей, они без устали слушали его рассказы о сорок девятом годе и окрестили его Старым Героем. Отваром из ивовой коры, кислыми и горькими корешками и клубнями, хвойным настоем они излечили старика от цинги, так что он перестал хромать и даже заметно поправился. Не видели они причин и к тому, чтобы лишить старика его доли в богатой добыче.

— Насчет трехсот тысяч поручиться не можем,— сказали они ему как-то утром, за завтраком, перед тем как идти на работу.— Ну, а как насчет ста тысяч, Старый Герой? Заявка тут примерно того стоит, россыпь, что ни говори, богатая, а участок тебе уже застолбили.

— Спасибо, ребята, большое вам спасибо,— отвечал старик,— могу сказать одно — сто тысяч для начала неплохо, даже совсем неплохо. Конечно, я на этом не остановлюсь и свои триста тысяч добуду. Ведь я затем сюда и ехал.

Ребята посмеялись, похвалили его упорство, говоря, что, видно, им придется сыскать старику местечко побогаче. А Старый Герой ответил, что как наступит весна и он станет бодрей, видно, ему самому придется тут полазить и пошарить.

— Почем знать, может вон под той горкой,— сказал он, указывая на заснеженный склон холма по другую сторону ущелья,— мох растет прямо на самородках.

Больше он ничего не сказал, но, по мере того как солнце подымалось все выше и дни становились длиннее и теплее, все чаще поглядывал через ручей на характерный сброс посредине склона. И однажды, когда снег почти всюду стаял, Таруотер перебрался через ручей и поднялся к сбросу. Там, где солнце припекало сильней, земля уже оттаяла на целый дюйм. И вот в одном таком месте Таруотер стал на колено, большой заскорузлой рукой ухватил пучок мха и вырвал его с корнями. Что-то блеснуло и загорелось в ярких лучах весеннего солнца. Он тряхнул мох, и с корней, будто гравий, на землю посыпались крупные самородки — золотое руно, которое оставалось теперь только стричь!

У аляскинских старожилов еще свежа в памяти золотая горячка лета 1898 года, когда из Форта Юкон на новооткрытые прииски Таруотера хлынули толпы народа. И когда старый Таруотер, продав свои акции компании Боуди за чистые полмиллиона, отправился в Калифорнию, он до самой пароходной пристани Форта Юкон ехал на муле по великолепной новой тропе с удобными трактирами для проезжих.

На борту океанского парохода, вышедшего из Сент-Майкла, Таруотер за первым же завтраком обратил внимание на скрючен-

ного цингой седоватого официанта с испитым лицом, который, морщась от боли, подавал ему на стол. Но, только еще раз пристально оглядев его с головы до ног, он удостоверился, что это и в самом деле Чарльз Крейтон.

— Что, плохо пришлось, сынок? — посочувствовал Таруотер.

— Уж такое мое счастье,— пожаловался тот, когда узнал Таруотера и они поздоровались.— Из всей нашей компании ко мне одному прицепилась цинга. Чего только я не натерпелся! А те трое живы-здоровы и работают, собираются зимой отправиться на разведку вверх по Белой. Энсон плотничает, зарабатывает двадцать пять долларов в день. Ливерпул валит лес и получает двадцать. Большой Билл, тот работает старшим пильщиком на лесопилке, выгоняет больше сорока в день. Я старался, как мог, да вот цинга...

— Старался-то ты старался, сынок, только можешь ты мало, уж очень коммерция тебе характер испортила, больно ты мужчина черствый да раздражительный. Так вот что я тебе скажу. Хворый ты не работник. За то, что вы взяли меня с собой в лодку, я уж заплачу капитану за твой проезд, отлеживайся и отдыхай, пока едем. А что думаешь делать, когда высадишься в Сан-Франциско?

Чарльз Крейтон пожал плечами.

— Так вот что,— продолжал Таруотер,— пока не наладишь свою коммерцию, для тебя найдется работенка у меня на ферме.

— Возьмите меня к себе управляющим...— сразу оживился Чарльз.

— Ну нет, голубчик,— наотрез отказал Таруотер.— Но другая работа всегда найдется: ямы рыть для столбов, колоть дрова, а климат у нас превосходный...

К возвращению блудного дедушки домашние не преминули заколоть и зажарить откормленного тельца. Но, прежде чем сесть за стол, Таруотер пожелал пройтись и оглядеться. Тут, разумеется, все единокровные и богоданные дщери и сыновья непременно пожелали его сопровождать и подобострастно поддакивали каждому слову дедушки, у которого было полмиллиона. Он шествовал впереди, нарочно говорил самые нелепые и несообразные вещи, однако ничто не вызывало возражений у его свиты. Остановившись у разрушенной мельницы, которую он когда-то построил из мачтового леса, он с сияющим лицом глядел на простиравшуюся перед ним долину Таруотер и на дальние холмы, за которыми возвышалась гора Таруотер — все это он мог теперь снова назвать своим.

Тут его осенила мысль, и, чтобы скрыть веселые огоньки в глазах, он поспешил отвернуться, делая вид, что сморкается. По-прежнему сопровождаемый всем семейством, дедушка Таруотер

прошел к ветхому сараю. Здесь он поднял с земли почерневший от времени валек.

— Уильям,— сказал он,— помнишь наш разговор перед тем, как я отправился в Клондайк? Не может быть, чтобы не помнил. Ты мне тогда сказал, что я рехнулся. А я тебе ответил, что, если бы я посмел так разговаривать с твоим дедушкой, он бы мне все кости переломал вальком.

— Я только пошутил,— старался вывернуться Уильям.

Уильям был сорокапятилетний мужчина с заметной проседью. Его жена и взрослые сыновья стояли тут же и с недоумением смотрели на дедушку Таруотера, который зачем-то снял пиджак и дал его Мэри подержать.

— Подойди ко мне, Уильям,— приказал он.

Уильям скрепя сердце подошел.

— Надо и тебе, сынок, хоть раз попробовать, чем меня частенько потчевал твой дед,— приговаривал Таруотер, прохаживаясь вальком по спине и плечам сына.— Заметь, я тебя хоть по голове не бью! А вот у моего почтенного родителя нрав был горячий, бил по чему попало... Да не дергай ты локтями! А то по локтю огрею. А теперь скажи, любезный сыночек, в своем я уме или нет?

— В своем! — заорал Уильям благим матом, приплясывая на месте от боли.— В своем, отец. Конечно, в своем!

— Ну то-то же! — наставительно заметил старик и, отбросив валек, стал натягивать пиджак.— А теперь пора и за стол.

1917

КРИС ФАРРИНГТОН — НАСТОЯЩИЙ МОРЯК

— На европейском судне такой юнец, как ты, мог бы быть только юнгой и прислуживать настоящим морякам. Там, если бы моряк крикнул: «Юнга, кувшин воды!» — ты бы пулей помчался за водой. А если бы он крикнул: «Юнга, мои сапоги!» — ты бы принес и сапоги, и был бы вежлив, и отвечал: «Да, сэр», «Нет, сэр». Но ты на американском судне и воображаешь, будто ты настоящий моряк. Крис, мой мальчик, я плаваю уже двадцать два года, так неужели ты думаешь, что можешь сравниться со мной? Я стал моряком задолго до того, как ты родился. Я вязал узлы, брал рифы и сращивал тросы, когда ты еще крутил волчок и запускал змеев.

— Ты несправедлив, Эмиль! — воскликнул Крис Фаррингтон, и его живое лицо, вспыхнув, приняло обиженное выражение. Это

был стройный, но крепко скроенный семнадцатилетний паренек, настоящий янки.

— Опять за свое! — взорвался швед.— Меня зовут мистер Иохансен, и такой щенок, как ты, не смеет называть меня «Эмиль»! Подобное издевательство сходит с рук только на американском судне!

— Но ты же называешь меня Крисом! — запротестовал юноша.

— Ты еще мальчишка.

— Который выполняет мужскую работу,— отпарировал Крис.— А раз я работаю, как настоящий мужчина, я имею такое право называть тебя по имени, как и ты меня. Здесь, на баке, мы все равны, и ты это отлично знаешь. Когда в Сан-Франциско мы нанимались в плавание, нас взяли на «Софи Сэзерленд» простыми матросами, и между нами не делалось никакого различия. Разве я не справляюсь со своей работой? Или когда-нибудь отлынивал? Разве тебе или кому-либо приходилось стоять вместо меня у штурвала, нести вахту или быть впередсмотрящим?

— Крис прав,— вмешался молодой матрос-англичанин.— Никому из нас не приходилось помогать ему в работе. Он нанялся, как любой из нас, и показал себя не хуже...

— Лучше! — вставил матрос из Новой Шотландии.— Лучше, чем кое-кто из нас. Когда мы наткнулись на лежбище котиков, он оказался одним из лучших рулевых. Только француз Луи, который уже много лет сидит за рулем, смог обойти его. Я, простой гребец, но и ты, Эмиль Иохансен, тоже всего лишь гребец, хоть плаваешь двадцать два года. Почему бы тебе не стать рулевым?

— Слишком он медлителен и неповоротлив,— засмеялся англичанин.

— Все это чепуха,— пришел на помощь своему скандинавскому собрату датчанин Юргенсен.— Эмиль — взрослый человек и настоящий моряк, мальчишка же пока еще ничто.

Так с переменным успехом продолжался спор между шведами, норвежцами, датчанами, из солидарности вставшими на сторону своего соплеменника, и англичанами, канадцами, американцами, поддерживающими Криса. Если судить беспристрастно, то прав был Крис. Он в самом деле работал не хуже других. Но скандинавы были слишком предубеждены, и поэтому спор перерос в длительную ссору, разделившую бак на два лагеря.

«Софи Сэзерленд» была приписанной к Сан-Францисскому порту зверобойной шхуной, охотившейся на морского пушного зверя вдоль берегов Японии в направлении к Берингову морю. Другие суда были двухмачтовые, но «Софи Сэзерленд», самая большая в этой флотилии, несла три мачты. Это была совсем новая шхуна с полной оснасткой.

Хотя Крис и был уверен в своей правоте, часто втайне он мечтал о каком-нибудь непредвиденном событии, благодаря которому ему удалось бы доказать, что он тоже настоящий моряк.

Но однажды ночью во время шторма случайно, не по его вине, при осмотре якорной цепи ему сильно помяло пальцы на левой руке. И надежды его рухнули, потому что он больше не мог охотиться на шлюпке и вынужден был без дела слоняться по шхуне, пока не заживут пальцы. Все еще не оставляя своей мечты, он и не подозревал, что именно этот случай даст ему долгожданную возможность показать себя.

Однажды в конце мая «Софи Сэзерленд» покачивалась в послеполуденном мертвом штиле. Котики были в изобилии, охота велась отлично, и шлюпки были далеко в море. На них ушла вся команда. На шхуне, кроме Криса, остались лишь капитан, штурман и кок-китаец.

Капитан назывался капитаном только из вежливости. Старику перевалило за восемьдесят, и он пребывал в блаженном неведении относительно всего, что касалось моря и его обычаев; но он был хозяином шхуны, что и дало ему право на этот почетный титул. На деле же капитаном был штурман, опытный моряк. Помощник капитана, который должен был оставаться на шхуне, ушел со шлюпками, временно заменив у руля Криса.

Когда хорошая погода и удачная охота приходили вместе, шлюпки уплывали далеко в море, часто возвращаясь на шхуну за полночь. И хотя охота в этот день была особенно удачной, Крис заметил растущее беспокойство штурмана. Он нервно шагал по палубе, все время посматривая на горизонт в морской бинокль. Ни одной шлюпки не было видно. Перед заходом солнца он послал Криса на топ мачты, но безрезультатно. Шлюпки едва ли могли вернуться раньше полуночи.

После полудня барометр начал падать с невероятной быстротой. Все свидетельствовало о приближении шторма, силу которого не мог предвидеть даже сам штурман. Он и Крис начали готовиться к шторму. Они наложили штормовые сезни на свернутые марсели, спустили и убрали фок, спенкер и два стаквеля. На оставшихся кливере и гроте они взяли по рифу.

Ночь наступила до того, как они успели кончить свою работу, и вместе с темнотой пришел шторм. Глухой стон пронесся над морем, и удар ветра почти положил «Софи Сэзерленд» на бок. Но она быстро выпрямилась и благодаря усилиям стоявшего на руле штурмана повернулась носом на пять румбов от ветра. Действуя с ловкостью, какую допускала забинтованная рука, Крис бросился вперед и с помощью кока, правда, весьма незначительной, вынес кливер на наветренную сторону. С кливером и гротом на вантах шхуна легла в дрейф.

— Да поможет бог нашим шлюпкам! Это не шторм! Это тайфун! — прокричал штурман в одиннадцать часов.— Слишком много парусов! Придется взять еще два рифа на гроте, и сделать это нужно немедленно.— Он взглянул на полумертвого от страха капитана, который стоял у нактоуза и дрожал, закутавшись в дождевик.— Нас только двое, Крис, ты да я, от кока мало толку.

Чтобы взять риф, необходимо было спустить грот, но так, чтобы в результате давления ветра на кливер шхуна не увалилась под ветер.

— Встань к штурвалу! — приказал штурман.— И по моему сигналу поверни его на наветренный борт. А когда она встанет против ветра, закрепи штурвал. Так и держи. Мы снова ляжем в дрейф, как только я возьму риф.

Крепко сжимая вырывавшийся из рук штурвал, Крис наблюдал, как штурман и по-прежнему не проявляющий энтузиазма кок скрылись в ревущей тьме. «Софи Сэзерленд», отчаянно сопротивляясь, ныряла в огромные встречные валы, и туго натянутые снасти гудели на ветру, как струны арфы. Сдавленный крик донесся до Криса, и он почувствовал, что нос шхуны, не повинуясь управлению, уваливается под ветер. Грот был спущен.

Крис круто повернул штурвал и по тому, как дрейфовало судно, уловил тревожный сигнал изменившегося направления ветра. Это был критический момент. Выполняя маневр, шхуна должна была стать всем бортом к волне, чтобы повернуться прямо против ветра. Ветер дул справа, когда Крис почувствовал, что «Софи Сэзерленд» накренилась и начала подыматься куда-то бесконечно вверх, казалось, прямо в небо. Неужели она проскочит гребень этой гигантской волны?

Вокруг ничего не было видно, почти инстинктивно Крис понял, что стена воды вздымается и изгибается высоко над ним вдоль наветренной стороны. Выросшая стена на мгновение загородила шхуну от ветра. Это было минутное затишье. Шхуна выпрямилась, на секунду, казалось, замерла в абсолютном покое и затем качнулась навстречу обрушившейся стремнине.

Крис крикнул капитану держаться крепче и сам приготовился к удару. Но не было человека, который мог бы выдержать его. Океан воды с силой ударил Криса в спину, и его руки, отчаянно вцепившиеся в штурвал, вдруг ослабели, как у ребенка. Оглушенного, обессилевшего, его, словно соломинку на поверхности бурлящего потока, понесло куда-то вперед. За углом каюты его швырнуло, пронесло футов сто от кормы и с силой ударило об основание фок-мачты. Вторая волна, обрушившаяся на палубу, отнесла его тем же путем обратно и оставила полузахлебнувшегося там, где должен был быть кормовой трап.

Весь в синяках и кровоподтеках, с трудом соображая, что делает, он нащупал поручни и тяжело поднялся на ноги. Он понимал, что, если ничего не предпримет, наступит конец. Он повернулся к корме и чуть не задохнулся от дующего в лицо ветра. Это сразу привело его в себя. Ветер дул прямо в корму. Шхуна вырвалась из ложбины между валами. Но удары воды могли снова столкнуть ее обратно. Ползком передвигаясь по проходу, он добрался до штурвала как раз вовремя, чтобы успеть предотвратить катастрофу. Огонь на нактоузе еще горел. Они были спасены.

Собственно, спасены были только он и шхуна, судьба его трех товарищей была ему неизвестна. Но он не мог оставить штурвал, чтобы разыскать их, потому что, дабы удержать шхуну на курсе, нельзя было ни на секунду ослаблять внимания. Малейшая неосторожность — и напор воды за кормой мог развернуть шхуну бортом к волне. Так он, мальчишка весом всего в сто сорок фунтов, взвалил на себя геркулесову задачу вести судно водоизмещением в две сотни тонн среди хаоса разбушевавшейся стихии.

Полчаса спустя, охая и всхлипывая, к ногам Криса подполз капитан. Все пропало, хныкал он, измятый до полусмерти. Камбуз, грот, бегучий такелаж — все было смыто за борт.

— Где штурман? — крикнул Крис, передохнув после того, как ему удалось сдержать очередной резкий крен шхуны. Вести в тайфун судно под единственным рифом на кливере — далеко не детская игра.

— На носу,— ответил старик.— Его придавило на полубаке, но он еще дышит. Он говорит, что у него сломаны обе руки и неизвестно, сколько ребер. Ему здорово досталось.

— Он захлебнется там, вон как хлещет вода через клюзы. Отправляйтесь туда! — приказал Крис, взяв на себя командование как нечто само собой разумеющееся.— Скажите ему, пусть не беспокоится: я у штурвала. Помогите ему чем можете и заставьте его...— Он остановился и круто повернул штурвал вправо как раз в тот момент, когда громадная волна поднялась под кормой и положила шхуну на левый борт.— Заставьте его потом самого заботиться о себе. Откройте люк на баке и уложите его на койку. Не забудьте задраить люк судна снова.

Капитан повернул сморщенное лицо в сторону бака и задрожал от страха. Шкафут судна был заполнен водой до фальшборта. Он только что проделал этот путь и знал, что смерть подстерегает его на каждом шагу.

— Отправляйтесь! — свирепо заорал Крис, а когда перепуганный старик двинулся вперед, добавил: — И отыщите кока!

Два часа спустя полумертвый от перенесенных страданий капитан вернулся. Он выполнил приказ. Беспомощный штурман был

уже в безопасности, кок исчез. Крис отправил капитана в каюту переодеться.

В напряженном труде шли бесконечные часы, пока наконец не забрезжил серый холодный рассвет. Крис осмотрелся. Подгоняемая тайфуном «Софи Сэзерленд» неслась вперед, словно одержимая. Дождь перестал, но ветер поднимал морские брызги на высоту мачты, оставляя в поле зрения только то, что находилось в непосредственной близости.

Одновременно Крис мог видеть лишь две волны: одну впереди, другую сзади. Какой маленькой и жалкой выглядела шхуна среди длинных тихоокеанских валов! Взлетев на умопомрачительную высоту, она, подобно скорлупке, замирала на этой неустойчивой вершине, бездыханная и колеблющаяся, с тем, чтобы тотчас вновь, совершив головокружительный прыжок, погрузиться в зияющую бездну, зарываясь в облако пены на дне ее. А потом все сначала: новая гора воды, новый захватывающий дыхание полет вверх, новая остановка и стремительное падение. Впереди, справа по борту, словно тень бушующего шторма, Крис видел летящего рядом со шхуной кока. Очевидно, после того, как его смыло за борт, он ухватился за свисающий фал и запутался в нем.

Еще три часа один на один с этим ужасным компаньоном Крис вел «Софи Сэзерленд», борясь с ветром и океаном. Он уже давно забыл о своих искалеченных пальцах. Повязки были сорваны, и холодная морская пыль въедалась в полузалеченные раны до тех пор, пока они не онемели и не перестали болеть. Ему не было холодно. Нечеловеческое напряжение выжимало пот из каждой его поры. Он пребывал в полуобморочном состоянии, ослабев от голода и истощения, и поэтому с восторгом встретил появление на палубе капитана, который накормил его целым фунтом шоколада. Это сразу восстановило его силы.

Он приказал капитану обрубить фал с телом кока, а потом пройти вперед и освободиться от кливер-фала и шкота. Когда капитан выполнил приказание, кливер еще несколько мгновений трепетал на ветру, как носовой платок, а затем сорвался с ликтроса и исчез. «Софи Сэзерленд» неслась вперед без парусов.

К полудню шторм выдохся, а к вечеру волны улеглись настолько, что Крис смог оставить штурвал. Нечего было мечтать о том, чтобы маленькие шлюпки сумели справиться с тайфуном, но нельзя терять надежды, когда речь идет о спасении человеческой жизни, и Крис сразу же решил лечь на обратный курс. Ему удалось взять риф на одном из нижних кливеров и двойной риф на бизани, а затем с помощью талей поднять их, несмотря на все еще сильный ветер. И всю ночь напролет, лавируя вперед и назад, он шел обратным курсом, прибавляя парусов, как только позволял ветер.

Искалеченный штурман начал бредить, и Крис занимал капитана то заботой о штурмане, то помощью по управлению судном. «Он научил меня морскому делу больше, чем выучился я сам за всю мою жизнь»,— вспоминал потом капитан. Но на рассвете его слабые силы сдали, и он забылся в тяжелом сне на полуюте.

Крис, который теперь уже мог оставить штурвал, прикрыл старика принесенными снизу одеялами и отправился в кладовую в поисках пищи. Но на следующий день он почувствовал, что сдает, временами впадая в полузабытье и приходя в себя, только чтобы осмотреться.

К полудню третьего дня он наткнулся на шхуну, которая была порядком потрепана и без матч. Приведя судно в самый крутой бейдевинд и приблизившись к ней, он увидел, что палуба ее заполнена необычайно большой командой, а подойдя еще ближе, узнал в этих людях своих пропавших товарищей. Он пришел как раз вовремя, потому что они вели безнадежную борьбу у помп. Час спустя вместе с командой тонущего судна они были на борту «Софи Сэзерленд».

Далеко уйдя на шлюпках от своей шхуны перед началом шторма, команда «Софи Сэзерленд» нашла убежище на скандинавском судне, для которого этот рейс был первым и, как оказалось, последним.

Капитану «Софи Сэзерленд» было о чем порассказать, и, по-видимому, история его звучала настолько убедительно, что когда все матросы собрались на палубе во время полувахты, Эмиль Иохансен подошел к Крису и крепко пожал ему руку.

— Крис,— сказал он так громко, чтобы все могли слышать,— Крис, я сдаюсь. Ты оказался таким же хорошим матросом, как и я. Ты крепкий парень и настоящий моряк, и я горжусь тобой! И еще, Крис,— он отвернулся, как будто забыл о чем-то, и затем добавил: — С этого времени всегда называй меня просто Эмиль.

<1901, 1923>

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Злобин. Мечты и смерть Мартина Идена 5

МАРТИН ИДЕН. *Перевод Р. Облонской*

Глава 1 17
Глава 2 25
Глава 3 33
Глава 4 39
Глава 5 43
Глава 6 47
Глава 7 53
Глава 8 62
Глава 9 69
Глава 10 76
Глава 11 81
Глава 12 86
Глава 13 90
Глава 14 98
Глава 15 108
Глава 16 114
Глава 17 120
Глава 18 126
Глава 19 129
Глава 20 135
Глава 21 141

Глава 22 145
Глава 23 151
Глава 24 156
Глава 25 163
Глава 26 170
Глава 27 179
Глава 28 190
Глава 29 195
Глава 30 204
Глава 31 211
Глава 32 218
Глава 33 223
Глава 34 228
Глава 35 233
Глава 36 236
Глава 37 243
Глава 38 250
Глава 39 253
Глава 40 259
Глава 41 264
Глава 42 270
Глава 43 277
Глава 44 284
Глава 45 291
Глава 46 302

РАССКАЗЫ

За тех, кто в пути! *Перевод А. Елеонской* 311
Сын Волка. *Перевод Н. Галь* 318
Северная Одиссея. *Перевод Н. Георгиевской* 332
Мужество женщины. *Перевод Н. Емельяниковой* 358
Сивашка. *Перевод И. Гуровой* 369
Закон жизни. *Перевод А. Елеонской* 380
Костер. *Перевод В. Топер* 385
Нам-бок — лжец. *Перевод А. Слонимской* 398

Лига стариков. *Перевод Н. Банникова* 411
Тысяча дюжин. *Перевод Н. Дарузес* 425
Любовь к жизни. *Перевод Н. Дарузес* 439
Отступник. *Перевод З. Александровой* 455
Шутка Порпортука. *Перевод Б. Грибанова* 470
Исчезновение Маркуса О'Брайена. *Перевод Б. Грибанова* . . 491
Золотая Зорька. *Перевод Б. Грибанова* 503
Потерявший лицо. *Перевод Б. Грибанова* 516
«Алоха Оэ». *Перевод М. Абкиной* 527
Кулау-прокаженный. *Перевод М. Лорие* 533
Под палубным тентом. *Перевод И. Гуровой* 545
Мексиканец. *Перевод Н. Ман* 552
Как аргонавты в старину... *Перевод В. Курелла* 573
Крис Фаррингтон — настоящий моряк. *Перевод М. Поповой* 597

Лондон Дж.

Л76 Мартин Иден: Роман; Рассказы: Пер. с англ. /Вступ. ст. Г. Злобина; Худож. П. Пинкисевич.— М.: Худож. лит., 1986.—606 с., ил. (Б-ка классики. Зарубеж. лит.)

В книгу американского писателя Джека Лондона (1876—1916) вошли роман «Мартин Иден» (1909) и рассказы разных периодов творчества писателя.

Л $\frac{4703000000\text{-}281}{028\ (01)\text{-}86}$ 133-86 ББК 84.7США

БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ

Зарубежная литература

Джек Лондон

МАРТИН ИДЕН

Роман

РАССКАЗЫ

*

Редактор Т. Блантер

Оформление «Библиотеки»
И. Сальниковой

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технические редакторы
Л. Коротеева, Л. Витушкина

Корректоры
Б. Тумян, Т. Филиппова

*

ИБ № 4501

Сдано в набор 29.11.85 Подписано в печать 20.05.86. Бумага типограф. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. Усл. печ. л. 35,45+4 нак.=36,39. Усл. кр.-отт. 39,3. Уч.-изд. л. 40,58+ +4 нак.=41,61. Тираж 500 000 экз. (1-й завод 1—250 000 экз). Изд. № I-2167. Заказ № 1888. Цена без суперобложки 4 р. 80 к., в суперобложке 4 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28

Scan Kreyder - 08.04.2019 - STERLITAMAK

4p. 80a.